ИВАН ЕФРЕМОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ТРЕТИЙ

(КНИГА ПЕРВАЯ)

ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ

РОМАН ПРИКЛЮЧЕНИЙ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1975

Р2
Е92

$Е \frac{70302-299}{078(02)-75}$ — подписное

ОТ АВТОРА

В предисловии к первому изданию своего романа я назвал его «экспериментальным», потому что, отступив от прежних канонов художественной литературы, я нагрузил повествование множеством познавательного, научного материала, значительную часть которого пришлось, естественно, дать в форме лекционных монологов.

Со времени первого издания романа я получил тысячи писем, показавших мне как нельзя лучше успех эксперимента. Очевидно, принятая мною форма соответствует потребности читателей настоящего времени, ибо они увидели наиболее интересные стороны «Лезвия бритвы» именно в научно-познавательной нагрузке динамического романа приключений. Критика в опубликованных статьях отнеслась к «Лезвию бритвы» двояко. Одни, с точки зрения старых канонов художественной литературы, осудили роман как неудачу автора. Они были и правы и неправы, потому что роман нарушал требования прежней беллетристики, и неправы в том, что автору не удался его замысел.

Я нарушил каноны сознательно, пытаясь построить произведение нового типа. Огромный интерес читателей показал, что, вероятно, этих произведений должно появляться больше. Другие критики, одобрившие произведение, все же указывали на перегрузку его лекционным материалом.

Научные исследования первостепенной важности для познания человека не изменили своей линии за прошедшие десять лет и по-прежнему отстают от темпов развития наук физико-математических. Пожалуй, в некоторых отношениях этот разрыв стал резче, еще острее встали вопросы профилактики психических заболеваний и сохранения природы. Основная ориентировка романа оказалась совершенно верной. В настоящем издании мне не пришлось ничего исправлять, а только дополнить и подкрепить поставленные вопросы некоторыми новыми фактами.

В одном из главных положений — красоты, как физической целесообразности, у меня появилось множество единомышленников. Как один из примеров поразительного совпадения мыслей, опубликованных в романе, и размышлений другого ученого, приведу несколько фраз из недавно изданной у нас книги ис-

панского зоолога Ф. Родригес де ла Фуэнте «Африканский рай» (Москва, «Наука», 1972).

«Поневоле задаешь вопрос: нет ли общего понятия прекрасного для мира животных и мира людей?..

По-моему, на эти вопросы есть лишь один ответ: красота всегда целесообразна. У тех, кто больше бегает, зорче вглядывается, лучше прячется, упорнее сражается — стройнее формы, ярче глаза, сильнее тело, мягче шерсть... В совершеннейшем механизме эволюции красота стоит на службе естественного отбора и отражает безупречное функционирование организма».

Не может быть лучшего совпадения с главой романа «Две ступени к прекрасному», и я выбрал это высказывание из многих соображений биологов и физиологов по этому вопросу. К сожалению, голоса художников или искусствоведов не слышно, как и прежде!

Среди множества писем, мною полученных, больше всего волновали меня трагические просьбы о помощи в болезнях. Читатели принимали меня за врача или, во всяком случае, просили познакомить их с прототипом главного героя.

Заранее должен сообщить, что я сам — не врач, а прототипом Гирина послужил мой покойный друг, врач и анатом, ленинградский профессор А. П. Быстров, который, увы, уже не придет ни к кому на помощь.

Чтобы предупредить еще одну очень многочисленную группу вопросов, скажу, что постижение даже самых низших ступеней хатха-йоги требует обязательного руководства опытного учителя.

Книги по йоге, составленные в Индии, и сама ее тысячелетняя практика созданы не для нашего времени и не для нашего климата, питания, жизненной обстановки.

Без сомнения, сейчас дело изучения хатха-йоги в нашей стране сдвинулось с мертвой точки: появились фильмы, изданы даже руководства. Однако еще предстоит огромная работа; она прежде всего должна производиться учеными-физиологами и врачами. Всякая самодеятельность в этом направлении обычно приносит серьезный вред, особенно если люди попадают под влияние снабженных даже какими-то дипломами псевдойогов.

Для предварительного ознакомления с хатха-йогой я могу рекомендовать лишь изложение ее, сделанное доктором медицины Б. В. Смирновым в примечаниях к его переводу Махабхараты (т. VII. Ашхабад, 1963), а также «Упражнения йогов» болгарских врачей Борисова и Милановой (Киев, 1971).

И. ЕФРЕМОВ

ПРОЛОГ

Все быстрее нарастает познание в современном мире. Обрисовывается точнейшая взаимосвязь, обусловленность кажущихся различными явлений мира и жизни. Всеобщее переплетение отдаленных случайностей, вырастающее в необходимость, то есть в законы природы, пожалуй, самое важное прозрение современного человека.

И в человеческом существовании незаметные совпадения, давно наметившиеся сцепления обстоятельств, тонкие нити, соединяющие те или другие случайности, вырастают в накрепко спаянную логическую цепь, влекущую за собой попавшие в ее орбиту человеческие жизни. Мы, не зная достаточно глубоко причинную связь, не понимая истинных мотивов, называем это судьбой.

Если проследить всю цепь, а затем распутать начальные ее нити, можно прийти к некоему отправному моменту, послужившему как бы спусковым крючком или замыкающей кнопкой. Отсюда начинается долгий ряд событий, неизбежно долженствующих сблизить совершенно чужих людей, живущих в разных местах нашей планеты, и заставить их действовать совместно, враждуя или дружа, любя или ненавидя, в общих исканиях одной и той же цели.

5 марта 1916 года в Петрограде, на Морской, открылась выставка известного художника и ювелира, собирателя самоцветных сокровищ Урала Алексея Козьмича Денисова-Уральского.

Еще внизу, в гардеробной, где суетились, угодливо кланяясь, слуги, веяло слабым ароматом французских духов и проплывали, шелестя тугими платьями, дамы, можно было заключить, что выставка пользуется успехом.

«Речь» и «Петроградские ведомости» одобрили «патриотическое художество», посещение выставки стало считаться в столичном «свете» тоже патриотичным.

Низкие залы казались пустоватыми и неуютными в тусклом свете пасмурного петроградского дня. В центре каждой комнаты стояли одна-две стеклянные витрины с небольшими скульптурными группами, вырезанными из лучших уральских самоцветов. Камни излучали собственный свет, независимый от капризов погоды и темноты человеческого жилья.

Худощавый молодой инженер в парадном сюртуке так глубоко задумался у одной из витрин, что только прикосновение к плечу заставило его обернуться, встретить приветливой улыбкой крупного человека с острой бородкой, щегольски одетого.

— Ивернев, — зову, Максимильян Федорович, — зову, не откликается. Горняцкое сердце взыграло от каменьев? И где это Алексей Козьмич такие откапывает?

— Собирались сотней людей и десятками лет, — возразил инженер на последний вопрос. — Хороши, в самом деле... Но вот я стоял и думал...

— Ага! Не стоило такие камни и такое умение на пустяки тратить!

Молодой инженер встрепенулся.

— Как вы правы, Эдуард Эдуардович! Да пойдемте посмотрим еще раз.

Они обошли выставку, ненадолго задержавшись у каждой из скульптурных групп-миниатюр, как назвал их сам художник. Белый медведь из лунного камня, редкого по красоте, сидел на льдине из селенита, как бы защищая трехцветное знамя из ляпис-лазури, красной яшмы и мрамора, а аметистовые волны плескались у края льдов. Две свиньи с человеческими лицами из розового орлеца на подставке из бархатно-зеленого оникса — император Австро-Венгрии Франц Иосиф и султан турецкий Абдул Гамид — везли телегу с вороном из черного шерла, в немецкой каске с острой пикой. У ворона были знаменитые усы Вильгельма Второго — торчком вверх.

Дальше британский лев золотисто-желтого кошачьего глаза; стройная фигурка девушки — Франции, исполненная из удивительно подобранных оттенков амазонита и яшмы; государственный русский орел из горного хрусталя, отделанный золотом, с крупными изумрудами вместо глаз...

И опять — Козьма Крючков со знаменитой пикой и насаженными на нее немцами из змеевика на подставке из редкостного малахита небывало густого цвета, толстый султан-свинья из полированного мориона, улепетывающий от топазового английского единорога на берегу Черного моря — широкой пластины из гематита (красного железняка), кровавый отлив в отшлифованной черноте которого как бы напоминал о льющейся в Дарданеллах крови...

Искусство художника-камнереза было поразительно. Не меньше восхищало редкостное качество камней, из которых были выполнены фигурки. Но вместе с тем становилось обидно, что такое искусство и материал потрачены на дешевые карикатуры, годные для газетенки-однодневки, «недопрочитанной, недораскрытой».

— Довольно, пожалуй, — вздохнул инженер Ивернев.

— Довольно, — согласился его спутник, известный геолог Анерт, и повел рукой по направлению к дальней стене, где висели картины — модели уральских горных разработок. Гипсовые барельефы, отделанные натуральными породами, показывали в разрезе шахты и пещерки с согбенными черными фигурками горщиков — искателей самоцветов.

В витринах-столиках, расставленных вдоль стен и окон, сверкала нетронутая природная красота: сростки хрусталя, друзы аметиста, щетки и солнца турмалина, натеки малахита и пестрые отломы еврейского камня...

— Видите, Максимильян Федорович, — Анерт кивнул на беленького мальчишку лет восьми, с круглой белой головенкой и огромными голубыми глазами, зачарованно уставившегося на витрину с горками, — вот где оно, настоящее, что и младенцу понятно...

Горки, издавна прославившие екатеринбургских мастеров, особенно хорошо удавались Денисову-Уральскому и шли нарасхват, так же как и его коллекции уральских камней в больших и малых ящиках с клеточками-гнездами.

Горка — особый способ экспозиции камней, теперь незаслуженно забытый, но очень распространенный в начале века. Различные куски красивых горных пород склепваются так, что образуют модель заостренной скалы с глубокой пещеркой у подножия, иногда несколькими. Игольчатые кристаллы берилла, турмалина, а то и просто наколотые столбики отдельностей гипса-селенита изобра-

жают сталактиты в сводах пещерок. В глубине сверкают щетки мелких кристалликов горного хрусталя, аметиста, топаза или синего корунда. Уступы «скалы» украшены искусным подбором полированных кусочков агата, малахита, азурита, красного железняка, амазонита. Кое-где вклеены черные зеркальца биотита, а в стенках «пещер» блестят, подсвечивая прозрачные камни, листочки белой слюды — мусковита или цинвальдита.

Именно у такой горки, самой богатой по количеству минералов, и застыл зачарованный мальчишка.

— Как тебя зовут? — погладил круглую головенку Ивернев.

Мальчик нехотя поднял взгляд.

— Ваня. А что?

— Нравится горка?

— Угу!

— А что еще понравилось?

— Вот, — мальчик ткнул в штуф, добытый безвестным мастером невесть из какой ямы в Ильменских горах, — плоский кусок желтого зернистого кварца с мельчайшими блестками слюды, по которому были разбросаны с причудливой прихотливостью короткие блестящие столбики черного турмалина, — и вот, — мальчик ринулся к другой витрине.

Рядом послышалось шуршание шелка, повеяло духами «Грезы». Инженер увидел высокую молодую даму с пышной прической пепельно-золотистых волос и такими же ясными озерами голубых глаз, как у мальчика.

— Ваня, Ваня, пойдем же, пора! Ужасно поздно! — Она поднесла к носу мальчишки браслет с крохотными часами.

— Простите, господа, я должна увести сына. Он у меня чудак — не оторвешь от камней. Второй раз здесь из-за него...

— Не считайте сына чудаком, мадам, — улыбнулся Ивернев. — За необычными интересами часто кроются необычные способности. Мы по нему проверяли правильность наших собственных впечатлений.

— И не ошиблись! — склонил лысеющую голову Анерт, явно восхищенный красивой дамой.

Мать и сын удалились, а приятели продолжали лениво обходить выставку.

— Не пойти ли нам покурить? — предложил Ивернев, но Анерт остановил его жестом.

— Постойте-ка, Максимильян Федорович, что я! Когда вы вернулись из Туркестана, помните, вы рассказывали о том, что нашли камни, может быть, неизвестные науке. Вы собирались отдать их Денисову-Уральскому для огранки. И что же вышло?

— Что вышло — увидите, они тут, на выставке.

— Как же я мог просмотреть?

— А это значит, что ничего особенного не вышло.

Они подошли к высокой, столбиком, витринке, внутри которой на черном бархате сверкали готовые ювелирные изделия, сделанные по эскизам все того же неутомимого художника-камнереза.

— Вот они, — инженер показал на подвеску из четырех небольших камней, прикрепленную под кулоном из желтого топаза, такого яркого, что он был виден от входа.

В камнях, на которые показал инженер, на первый взгляд не было привлекательности. Ограненные плоской «зеркальной» гранью и заделанные в модную тогда платину, камни казались серыми, сливающимися с матовым металлом оправы и цепочки. Требовался знающий глаз, чтобы понять необыкновенность самоцвета — прозрачного и в то же время пронизанного едва заметными точками с металлическим блеском. Облако этих точек, рассеянных в прозрачной основе, придавало камню его странный серый цвет и вид как бы хрустально прозрачного металла, гармонировавшего с глухой сероватостью платины.

— Э, да это вовсе не так, — возразил Иверневу после долгого молчания Анерт. — Я тоже горный инженер и тоже любитель камня. Что до Алексея Козьмича, то он просто молодец и вы ему многим обязаны. Он сразу понял ваш самоцвет. М-да... И что вы собираетесь с этим делать?

— Право, не знаю. Я хочу оставить их себе, но боюсь, что дорого обойдется. По глупости я заранее не договорился с Алексеем Козьмичом, а ведь, вы знаете, он купец прижимистый. Опасаюсь, что шкуру сдерет за работу...

Анерт недовольно нахмурился.

— Прижимистый сами знаете почему — ему много надо денег, да не для себя — за уральское каменное мастерство воевать. А с этим — где взял, а где и погорел. Не грех и заплатить как следует, у вас жалованье не плохое! Слыхал я от Александра Павловича, что вам Минералогическое общество за отчет о туркестанских исследо-

ваниях прочит медаль имени инженера Антипова. Наверное, и денежная премия последует.

— Все это так, — согласился Ивернев, — но... — оп заколебался и выпалил: — Я женюсь, Эдуард Эдуардович!

— Вот что! Поздравляю! Спрошу на правах старшего, простите, — не наспех? По годам-то не рано... а вот война!

— В том-то и дело, что война! Скверная, долгая, никому не нужная. И моя Вера хочет на фронт, сестрой. Такая уж она. Что ж получится: я в Сибирь, она на фронт? А браком удержу! — улыбнулся инженер, но улыбка вышла какой-то неуверенной.

Анерт серьезно сказал:

— Коли так, помогай бог! Квартиру нашли?

— На Васильевском, хорошую.

— Зовите на свадьбу, Максимильян Федорович! Польщен признаньем, как знаком дружбы. Однако насчет камней не ясно-с. Если не станете выкупать подвеску, значит, оставите Денисову-Уральскому? Лучше уж я куплю! Кстати, как вы назвали новый камень?

— Никак еще! Собирался описать, да сами знаете, какое сейчас время! Нам, геологам, никакого покоя с производительными силами, комиссией этой, да еще затевается кое-что на Дальнем Востоке — лучше меня знаете. Война окончится, тогда, дай бог, наукой займемся!

— Двадцать две причины, а главное — не было пороху! — усмехнулся Анерт. — Боюсь, что главная тут причина не в порохе. Шерше ля фам... Ну вот что, по старой дружбе — уважьте, раз так.

— Понимаю. С действительного статского советника Анерта Алексей Козьмич сдерет так, что все ваши проповеди о пользе камнерезного дела из головы вон! Следовательно, камни я выкупаю для вас! Вы на прежней квартире живете?

— Там же, на Троицкой, 23. А вот и сам Денисов, легок на помине!

В зал вошел известный всем любителям самоцветов Денисов-Уральский. Родом из старинной горщицкой семьи, сын шахтера Березовского рудника, уроженец Екатеринбурга, этот русский самородок был «последним выдающимся мастером каменного дела в России», как называли его газеты. Юношей оставшись без отца, он

сумел обеспечить семью и приобрести известность своими «наборными картинами», то есть пейзажами, собранными из камней. В конце прошлого века Денисов-Уральский, уже известный художник по камню, учился на гроши в школе Общества поощрения художеств.

Ивернев смотрел на приближающуюся знакомую фигуру с вечно растрепанной гривой непокорных волос и клочковатой бородой, обрамлявшей староверческое высоколобое лицо художника.

«Чувство меры, подлинный вкус художника почему-то изменили нашему знаменитому камнерезу, — думал геолог. — Почему? Или с известностью, деньгами, большой дачей в Финляндии оборвалась та драгоценная связь с глубиной народного искусства, которая и дает безошибочное чутье настоящего?..»

Денисов-Уральский издалека крикнул: «Здравствуйте, Ивернев!» — и тотчас отвернулся к шедшему рядом высокому человеку, продолжая разговор.

— Кто это с ним, Эдуард Эдуардович, вы ведь петербургское, тьфу, петроградское общество знаете?

— Персона довольно значительная: князь Витгенштейн!

— Ого, архимиллионер?

— Не тот! Кузеном ему приходится. И тоже богат!

— Ну тогда обождем. Пойдемте вниз и покурим, а вечерком я позвоню Алексею Козьмичу на квартиру.

— Нет, я уж пойду. Мне надо в Общество русских ориенталистов, тут по соседству, на Морской, — откланялся Анерт.

Денисов-Уральский подвел князя к той самой витрине, где искрились на бархате странные серые камни.

— Вот, ваше сиятельство, редкость невиданная, — сказал он, привычно упирая на «о», так как любил щегольнуть простонародным говорком, — других таких камней в России и, почитай, во всем мире не имеется! Найдены опи тем инженером, с которым я здоровался. Он и сам пе знает, что это за самоцветы, и дал мне на пробу. Еще минералогии неизвестный образец!

Князь, согнувшись, долго рассматривал платиновую подвеску и, наконец, выпрямив уставшую спину, провел рукой по подкрашенным усам.

Художник пытливо вглядывался в князя, стараясь разгадать, насколько он заинтересован, и как бы невзначай заметил:

— Вчера был здесь Летуновский, Николай Николаевич, знаете — миллионер, на Покровской у него особняк. Хотел сегодня жену привезти, ей показать.

— Я бы дал за них... — князь Витгенштейн подумал и назвал сумму.

Охолодевшее лицо художника сказало ему, что цена оказалась много меньше той, на которую рассчитывал Денисов-Уральский. Это был промах. Камни понравились князю. Назови он цену, близкую к правильной, художник, конечно, уступил бы, а теперь капитуляция будет с его стороны и, как всякая капитуляция, дорого обойдется побежденному.

Чтобы выгадать время, князь захотел посмотреть камни поближе. Денисов-Уральский послал за ключом, открыл витрину, и камни, подставленные свету на окне, засверкали еще ярче своей странной металлической игрой.

Под усами художника мелькнула хитрая улыбка. Князь нахмурился и, глядя в окно, сказал:

— Хорошо, я беру камни. Сейчас. Пусть принесут футляр.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КОРНИ ГНЕВА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
АННА

Ноги скользили по талому снегу. Гирин ступал по-солдатски — на всю ступню, раскидывая желтые брызги. Два месяца прошло со времени его приезда в Москву, и только теперь он может выполнить просьбу друга. Два месяца, заполненных недоумением, бесконечными вопросами и хождением «по инстанциям». «Кто вызвал? Зачем вызвал?» — так встречали его, вопрошая с подозрением, как некоего ловкача, старающегося пробиться в столицу из «провинции». Не сразу сообразил Гирин, что его демобилизация и вызов были ловким ходом в какой-то игре, сути которой он не понимал; узнал лишь, что его кандидатурой, как шахматной пешкой, заперли ход кому-то, чье возвышение по научной иерархии стало невыгодным неизвестному, обладавшему достаточной властью, чтобы оформить приглашение Гирина в Москву.

Гирин не сомневался, что разгадает все, но пока мерзкое двойное чувство — обмана и самозванства — не покидало его и мешало как следует отстаивать свои права. «Но отбросим это пока...» Гирин извлек из кармана потертое письмо — посмертную просьбу друга-скульптора, погибшего на фронте шестнадцать лет назад. Долго пришлось дожидаться и просьбе, и самому Гирину, но — военный хирург и начальник госпиталя — он не мог выбрать время.

Да вот эта улица, за стадионом «Динамо»! Гирин еще раз посмотрел на план, сделанный четкой рукой художника. Большой серый Дом художников на Масловке показался суровым. В мастерских нижнего этажа за пыльными большими окнами двигались люди. Гирин вошел в широкий подъезд и повернул от лестницы направо в коридор, загроможденный гипсовыми отливками статуй, бюстов, голов и вовсе бесформенными кусками гипса с тор-

чащими из них проволоками ржавого каркаса. Они неприятно напоминали Гирину обломки гипсовых повязок, кучи которых накоплялись в углу двора его большого госпиталя. В темном коридоре Гирин подвигался ощупью, извлекая из кармана фонарик. Первая, вторая, третья дверь... здесь! Но на двери висел продетый в кольца замок. Пришлось постучаться напротив, туда, где слышался разговор.

Маленький человек в халате, донельзя замызганном гипсом, вопросительно улыбнулся.

— Не скажете ли, как попасть в мастерскую Пронина? — спросил Гирин.

Улыбка исчезла с лица маленького человека, а его собеседник — небритый человек в очках и черном поношенном пальто — нахмурился.

— Пронин, он, знаете ли... — забубнил он.

— Знаю все, — перебил Гирин, — мне надо найти его мастерскую.

— Мастерская его занята другим скульптором... мною, — ответил человек в пальто.

— И давно?

— С пятидесятого года. Уже одиннадцать лет!

— Но как же скульптуры Пронина?

— Что ж поделать, выставили в коридор. Думали, кто возьмет из родственников, а у него их нет... или не интересуются.

— Вы сами скульптор и так спокойно об этом говорите? Ведь это варварство!

— Э, бросьте, такими вещами полна жизнь. Куда деваться? Я сам, когда вернулся, то нашел свое... там! — художник показал в сторону двора, на котором громоздилось тоже немало обломков скульптур как памятник творческой борьбе и несбывшимся надеждам.

— Кстати, — продолжал он, — у Пронина почти ничего не было, только десяток небольших эскизов. Накануне войны он работал над единственной статуей...

— Да, да, где же она? — насторожился Гирин.

— Здесь.

— Как здесь?

— Где же еще? Там вот, в конце коридора. Сохранилась, не отдали на дрова в войну...

— На дрова? — Даже выдержанный Гирин не мог скрыть возмущения.

— Кому она нужна! Из всех нас только Пронин

упорствовал с нагой натурой. До войны было ему совсем плохо. Да и теперь в искусстве обнаженность... хм, не в моде. Натурализм, буржуазно...

— Спасибо, я все понял. С вашего разрешения посмотрю на статую. Всего хорошего!

Гирин шагнул в коридор, не обратив внимания на недоумевающие взгляды, которыми обменялись оба скульптора. Он поднял фонарик и сразу увидел у простенка за последней дверью большую деревянную статую в полтора человеческих роста. Окруженная безликим хламом изуродованных скульптур, она стояла в свободной и открытой позе, резко выделяясь живой тканью дерева среди белой слепоты гипса. Дерево потрескалось — глубокие черные трещины бороздили руку статуи и лицо справа, рассекали во всю длину левый бок и левое бедро, покрывали мелкими продольными штрихами всю фигуру. Гирин направил фонарь на лицо статуи. Она, Анна! Из глубины прошлого, через непереходимую бездну, отделявшую мертвую от живого, поднялось, ожило чувство утраты. Густая темная пыль покрывала голову и плечи статуи, будто древний знак скорби, и ее открытая обнаженность была так беззащитна здесь, в холодном углу грязного коридора, что сердце Гирина сжалось, как в те давно прошедшие годы, когда беззащитность живой и юной Анны была предметом его острой жалости.

Разряженная батарейка фонаря быстро сдавала, свет меркнул, но Гирин уже освоился с темнотой коридора и сунул фонарь в карман. Пахнувший плесенью полумрак скрыл неприглядность окружающего, трещины и пыль на статуе, которая ожила в неопределенной таинственности очертаний. Лицо скульптуры в мерцающей игре теней стало лицом той Анны, которую он увидел впервые много лет назад... Мгновение — и он уже стоял в сводчатой комнате с аркадами высоких окон — кабинете его учителя профессора Медникова, в одном из многочисленных корпусов Военно-медицинской академии Ленинграда...

Девятнадцатилетний студент первого курса, он отправлялся выполнять свое первое самостоятельное исследование. Профессор, веря в его способности, поручил ему добыть образцы питьевой воды, в употреблении которой он видел причины возникновения болезни Кашин-Бека в трех селах Поволжья. Загадочная болезнь выражалась в поражении суставов ног, преимущественно коленных. В суставах исчезал хрящ, и головки костей, лишенные

хрящевой прослойки, терлись друг о друга при ходьбе так, что поверхность кости делалась отполированной. Нечего и говорить, что такая ходьба была очень мучительной — и от боли, и от затрудненности движений, скрипа и хруста в коленях. Болезнь встречалась только в трех деревнях одного района, соседствовавших с селами, в которых никогда не бывало и признаков этой болезни. Селения, пораженные болезнью Кашин-Бека, были давно известны в Забайкалье, на реке Урове, но там в дополнение к ней встречалось развитие зоба — зобная болезнь, как тогда считалось, вызывавшаяся отсутствием йода в чистейшей воде горных речек района. Профессор Медников подозревал, что и болезнь Кашин-Бека тоже обусловливалась нехваткой каких-либо химических веществ в воде или почве. Задача Гирина заключалась в том, чтобы собрать образцы почвы с полей и воды из колодцев и речек как из пораженных болезнью деревень, так и — обязательно — из совершенно здоровых соседних сел. Путем этого сравнения профессор хотел установить недостаток какого-либо из редких элементов и получить ключ к объяснению странного заболевания.

Так студент Гирин в знойное лето 1933 года оказался на великой русской реке. Он уже сделал большую часть работы, когда в один из пасмурных дней ему понадобилось переехать на высокий правый берег Волги. Переправа через могучую реку — длинное дело, и паромщики подолгу выжидали, пока не наберется достаточно народу. Гирин, которого благодаря военной форме все считали за солдата, весело перешучивался с задорными девушками, успел и серьезно потолковать со старым паромщиком, покуривая моршанскую полукрупку, пока, наконец, обшарпанный паром отчалил от берега. Всего две телеги переезжали на правый берег, и на площадке парома было свободно. Гирин остался на корме, рядом с паромщиком, изредка подававшим негромкую команду своим опытным помощникам. Три молодые женщины задумчиво выплевывали шелуху семечек в волжскую желтоватую воду, а девушки собрались в кучку на носу, оживленно болтая о каких-то богородских парнях, явно более авантажных, чем ребята-односельчане. Только одна девушка стояла особняком, глядя на воду. В ее позе заметно было напряженное отчуждение, и, несмотря на то, что ее отделяло от подруг расстояние не более сажени, Гирин почувствовал, что это целая пропасть.

Теплый низовой ветерок нанес тучи поплотнее, поверхность реки стала оловянно-тусклой, брызнуло мелким, смахивающим на туман дождем. Правый берег расплылся в завесе дождя, стал далеким. Девушки замолчали, и даже крепкие важные молодки перестали выплевывать кожуру семечек.

— Эй, запевай! — крикнул старик паромщик.

Гребцы рявкнули нечто хриплое, прокашлялись и после второй попытки умолкли окончательно.

— Позавчера престол был, — подмигнул Гирину синеглазый парень в косоворотке, — горла-то, знаешь, как надрали. Не можем теперь петь. Дядя Михаил, — обратился он к старшо́му, — с нами Нюшка Столярова переезжает. Пусть поет, перевезем бесплатно!

— А я и так ее всегда бесплатно беру, — ответил бородач, — за отца. Нюша!

На оклик старшого обернулась стоявшая отдельно девушка. Гирин увидел скользящий взгляд темных глаз, взмах ресниц и несколько вьющихся прядок золотистых волос, выбившихся из-под косынки. Лицо девушки — широковатое, с высокими скулами — нельзя было назвать красивым, но в нем было что-то выделявшее ее из всех находившихся на пароме женщин. Тревожное, почти смятенное внимание, лукавство, доброта и горечь как-то странно перемешивались на лице девушки, мгновенно сменяя друг друга. Привлекательное, но неспокойное лицо.

— Петь, что ли, тебе, дядя Михаил? — спросила девушка.

Бородач ласково кивнул.

По тому, как насторожились девушки и подняли головы похмельные гребцы, Гирин понял, что Нюша должна быть певуньей. Он не ошибся. Девушка повернулась к низовью реки, взявшись за перила парома, поставила босую и мокрую ногу на перекладину. Минута молчания, и глубокий сильный голос — настоящее меццо-сопрано — пронесся по серому туманному простору реки.

Ночь темна, темнешенька, в доме тишина...

С детства знакомые слова старинной песни о тяжелой женской доле зазвучали с трагической силой и чувством. Гирин — сам любитель музыки и неплохой по студенческим меркам певец — замер. Пожалуй, он впервые слышал столь яркое исполнение «Лучинушки». Очень шла эта грустная мелодия к бессолнечному дождливому

вечеру на широкой реке, к притихшей группе людей на старенькомм, усыпанном трухою сена пароме, к размеренному аккомпанементу скрипучих весел.

А голос Нюши несся и звенел над Волгой:

Я ли не примерная на селе жена,
Как собака верная, мужу предана!

Яростная тоска песни невольно заставляла Гирина сжимать кулаки. Девушка умолкла, низко опустив голову, и паромщики издали дружное «Уфф!».

— Да, поет... — неопределенно ухмыльнулся синеглазый гребец. — Ну-ка, Нюша, давай еще!

— Дай отдохнуть девке, ишь ты какой, — вступился старый паромщик, — пусть-ка другие теперь поют. — Глаза его озорно блеснули, уставившись на Гирина. — Вот тут студент, товарищ будущий доктор... (Гирин увидел, как Нюша вздрогнула и подняла голову.) Неужели не сможет показать, как в столице поют?

— Я не из столицы, из Ленинграда, — поправил старика Гирин, — и до доктора мне как до неба.

— Все равно, еще того лучше — первый город, — не смутился паромщик. — Айда качай, студент!

Несколько секунд Гирин размышлял, что же спеть своим случайным попутчикам. И, отвечая внезапному желанию исполнить серьезную вещь, которая подходила бы к настроению этого вечера на реке, но не была бы полна такой отчаянной тоски, как «Лучинушка» Нюши, Гирин запел серенаду Шуберта:

Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной...

Он пел, глядя на девушку, и замечал, как становилось строже ее лицо, а гибкая ладная фигура выпрямлялась, будто в стремлении подставить себя всю под звуки песни.

Никогда еще не пел он с таким воодушевлением, протестуя против дремучей деревенской судьбины, только недавно начавшей поворачиваться к настоящему свету.

Чувство неведомо откуда взявшейся силы помогло ему наполнить торжествующим властным призывом последние слова серенады:

И на тайное свиданье приходи скорей!
Приди, приди!..

— Эй, зазевались, ворочайся, а то придется бечевой подымать! — прервал молчание недовольный бас стар-

шого. Гребцы начали поспешно рвать весла, и паром сошел со стрежня в тихий затончик под красными обрывами крутого берега. Еще несколько минут — и мочальные веревки были надеты на вбитые в дно колья. Гребцы потащили трапы для съезда телег.

— Здоров петь, студент! — крикнул ему синеглазый парень, как давнему знакомому. — Вот бы вас в пару с Нюшкой-то! Приходи, завсегда перевезем без копейки, только пой!

Гирин улыбнулся паромщикам и сунул гривенник в заскорузлую руку дяди Михаила, заканчивавшего сбор денег.

— Торопишься, доктор? — проворчал старик. — Тебе, чаю, в Никольское?

— В Никольское. А может, у вас там есть кто знакомый? — спросил Гирин.

— Тебе чего, на квартиру стать? А сельсовет?

— Так мне недели на две, хочется по сговору у хороших людей.

— Постой-ка! Нюша! — окликнул он уже спрыгнувшую на берег девушку-певунью. — Не возьмешь ли студента-то? Изба ведь большая да пустая!

Девушка залилась неожиданно темным, жарким румянцем.

— Да я бы рада... может, маме чего посоветует товарищ доктор... Только сами знаете, дядя Михаил, чем гостя-то пестовать, хозяйства нету.

Гирин не мог подавить в себе желание познакомиться с привлекательной и какой-то странной девушкой.

— Ну и что ж, — вмешался он, — разносолы мне ни к чему, а ведь молока да хлеба достанете? Если не стесню...

— Чего там, — явно обрадовалась девушка, — если только вам не покажется... ну, можно и перейти куда.

— Вот и сговорились, — довольно сказал старшой, как бы торопясь окончить дело. — Ты, доктор, ежели не торопишься, то посиди, покури со мной. Хочу еще спросить тебя насчет науки.

— Давай покурим... А как вас найти, Нюша?

— Как по этой дороге подойдете к селу, увидите крайний дом. Село невелико, один порядок, левая сторона долгая, правая короче. И тут сразу через ложбину справа бугорок, а на нем пятистенок с резным крыльцом.

— Гляньте, девки, Нюшка себе еще хахаля нашла! —

вдруг визгливо крикнула одна из попутчиц, высокая, в темно-красном платке с цветами. — Сговаривается! Смотри, Нюшка, будет тебе от уразовского сынка выволочка! И студенту, я чай, достанется!

Девушка повернулась как подхлестнутая и быстро пошла в гору, скользя по размокшей желтой глине и не оглядываясь.

— Что вы, как вам не стыдно! — крикнул Гирин.

— Чего там стыдно? Гулящая она! Иль тебе лестно?

— Пошли прочь, кобылищи! — грубо приказал старик паромщик. — Только и знают страмить человека, а за что?

— Знаем за что! — хором закричали девушки и со смехом пошли по дороге.

Старик, недовольно хмурясь, отсыпал на ладонь махорки из коробки Гирина.

— Почему это они? — спросил Гирин. — Девушка какая-то очень хорошая.

— Такую не скоро найдешь. Да неладно у ней судьба сошлась. Я всю их семью знаю.

— В чем же ей не повезло? Я сразу заметил, что у нее что-то неладно.

— Ага, студент, остановила взгляд твой Нюша! Да и впрямь только слепому не заметить. Поживешь у них, может, поможешь чем, советом каким по лекарской части. Ладно это я удумал тебя на квартиру сосватать!

— Так...

— Не топчись, все объясняю порядком. Отец, вишь, Нюшкин — верховой волгарь, столяр, взят в дом к ейной матери. Воевал в германскую и гражданскую, вернулся не то чтобы партийным, но сознательным и, конечно, по всем новым делам коноводом. Село это старое, богатое, кулаков много, а подкулачников и того больше — не полюбился им Павел, Нюшкин отец. Только еще разговоры о коллективизации пошли — случись тут кулацкая заварушка... — Старый паромщик нахмурился и запыхтел козьей ножкой.

— Восстание? — спросил Гирин.

— Нет, так, пальба бандитская. По ночам в окна стрелять да за кустами подкарауливать... Ну, между прочим, рассчитались и с Павлом. Вечером, как сидели Павел с женой да с Нюшкой за ужином, ворвались в избу двое с наганами и со страшной руганью Павла застрелили. Так мозги напрочь и вылетели. Жена Павлова,

Нюшкина мать, повалилась как неживая, а Нюшка, тогда совсем девчонка, зверюкой на них бросилась. Ну, кто-то из бандюг ее двинул, не скоро в себя пришла.

— Разве никто выстрелов не слышал?

— Дом у них, сам увидишь, на краю села. А ежели кто и слышал, так ведь боятся, всяк о своей шкуре.

— И что же дальше?

— На том все и кончилось. Нюшкина мать с той поры не встает, не говорит, мычит только. Руки-ноги совсем отнялись. И Нюшка при ней как прикованная — куда денешься от родной матери? Дом хороший, хозяйство — все пошло прахом. Что девка одна-одинешенька-то сделает? Бьется как рыба об лед, батрачит, стирает, огородом малым пробавляется.

— А в колхозе что?

— Да вишь ли как, — паромщик грубо выругался, — повернулось дело, что вроде в драке, по пьяному делу Павла стукнули. Это у нас завсегда — чуть что, надо закон обойти, на пьянство валят. А я бы их, этих пьяных, еще того хлестче, — плюнул старик. — Словом, не было никакого вспомоществования, разве кто из добрых людей от своего куска отделит. Так ведь Нюшка гордая, не от каждого возьмет. Вот и сошлась жизнь девке клином, и нет вызволения!

— А почему ее гулящей зовут?

— Сам рассуди, коли понятие имеешь. Девка из себя особенная, такая стать нашего брата всегда манит. Чем шкурка красивей, тем охотники хитрей! Самые что ни на есть мастера по бабьему делу гоняться начинают. А молодость зеленая да кровь горячая, закружилась голова в ночку жаркую — и пропала девка, пошла в полюбовницы. Тут уж все, что перед ней вились да стелились, в зверей оборотятся, рыло свое покажут. А уж бабье-то, не дай бог, так страмят, ну прямо в гроб загонят безо всякой жалости! Завидки их, что ль, берут на красоту да на смелость, не пойму, чего так нещадны, тож ведь молодые. Парень-то, что Нюшку окрутил, красив как сокол, а душой — змея, подкулачник раскудрявый. Не только жениться, даже никак от сраму прикрыть не хочет. Болтают на селе, что проиграл он Нюшку своему приятелю, что теперь она с тем путается, да не верю я! А бабы остервенелись просто. И живет девка бедная как в аду за свое доверчивое сердце, за доброту и красоту. Тьфу!

Старик расстроился и отмолчался на другие вопросы,

которые попытался ему задать Гирин. Отсыпав паромщику полюбившейся ему махорки, студент взвалил на плечо свой чемодан и зашагал по подсохшей дороге, поднимаясь наискось на высокий берег.

Из тени обрывов Гирин вышел на простор полей, где тусклый свет заката прорвался сквозь ровную пелену туч и оживил красноватым отливом длинные лужицы в дорожных колеях и мокрую, свежевымытую листву мелких, корявых, как кустики, дубков. Большая белая церковь с граненым, недавно покрашенным куполом тяжело осела на вершине холма, вдоль подножия которого протянулось село. Большие избы с высокими крытыми крылечками, несколько железных крыш и каменные амбары свидетельствовали о крепкой жизни местных хозяев, а выкрашенная в синий цвет большая лавка на каменной подклети надменно выпятилась из общего порядка домов, недалеко от церковной площади. Гирин сразу увидел дом Анны, она точно описала его. Давно не крашенный, серый, как большинство старых деревянных строений, дом тем не менее носил следы хорошей хозяйской руки. Резные наличники рам, резное, с фантазией, крыльцо с крепкой дверью, открывающейся не прямо в сени, а в длинную крытую галерею вдоль двора, — погибший отец Анны строил хорошо и красиво. Но хотя с его смерти прошло не так много лет, крыша уже подалась, ворота покривились и забор жалобился плохо пригнанными случайными кусками досок и жердей. Гирин оскреб грязные сапоги, постучался и тотчас же услышал быстрый топоток босых ног. По тому, как широко распахнулась дверь и как просияло грустное лицо девушки, Гирин понял, что явился желанным гостем, и тут же обещал себе помочь ей как сумеет.

— Только-только успела прибраться, — слегка задыхаясь, сказала Анна и открыла дверь в довольно большую горницу, с широкой деревянной кроватью в ближнем углу, с чистым некрашеным столом и лавками.

Всю правую стену заклеивали плакаты из «Окон РОСТА» и агитплакаты гражданской войны: суровые красноармейцы, могучие рабочие с огромными молотами, толстопузые буржуи во фраках и блестящих цилиндрах, кулаки, попы.

— Тихо у нас тут, — как бы извиняясь, сказала девушка.

— И очень хорошо, мне ведь заниматься надо! — сказал Гирин, ставя с решительным видом чемодан на лавку.

— Пойдемте, покажу, где что, — по-прежнему застенчиво и негромко позвала Анна.

Они вышли в задние сени, где Гирина ждал большой, доверху полный глиняный рукомойник.

— Сюда вот, — Анна открыла разбухшую дверь в просторную кухню с русской печкой. — Мама здесь помещается, а я — налево, в запечной комнатке.

Гирин сразу почувствовал тяжелый запах помещения, в котором находится долго не встающий больной. Он зашел в кухню и поклонился еще не старой, страшно бледной и худой женщине, недвижно прислонившейся к груде подушек на покрытой пестрым лоскутным одеялом постели. Ее напряженные умные глаза, такие же, как у Анны, осмотрели Гирина внимательно и сурово, постепенно теплея.

...Со скрипом раскрылась дверь за спиной Гирина, и полутемный коридор осветился. Из студии вышли те двое. Скульптор в пальто пробормотал:

— Гость еще здесь. Созерцает! Значит, хороша!

— Проваливайте! — резко ответил ему Гирин, раздосадованный и помехой, и собственной несдержанностью.

Тот, язвительно прокричав что-то об интеллигентности и воспитании, скрылся. Нарушилась стройная цепь воспоминаний. Гирин быстро вышел из мрачного коридора, решив во что бы то ни стало найти для статуи Анны достойное пристанище. Гирин представил себе свою еще совсем пустую комнату, с походной койкой и небогатым скарбом, с огромной статуей под самый потолок, и даже развеселился. До приема, назначенного ему в институте, оставалось еще много времени. Гирин прошел двором к стадиону «Динамо», обогнул его и вышел на бульвар Ленинградского шоссе. Здесь, найдя обсохшую скамейку, он сел и, никем не тревожимый, унесся снова к дням далекой молодости...

Устроившись в доме Анны, он занялся исследованиями, заполняя герметические склянки водой и землей и тщательно упаковывая их в небольшие почтовые ящики.

Оставалось время и для неторопливых одиноких прогулок вдоль высокого берега Волги и на кое-какую мужскую помощь Анне по дому. Покосившиеся ворота выпрямились, ступени заднего крыльца белели свежим деревом новых досок, а протекавшая над кухней и над сеновалом крыша теперь могла выдержать осенние дожди.

Однажды ночью Гирин был разбужен неясным шумом. Спросонок он подумал, не плохо ли с больной, и прислушался.

Затрещала дверь, два мужских голоса тихо забормотали угрозы, перебивая друг друга. Снова молчаливая борьба, и Гирин услышал задыхающийся гневный шепот Анны:

— Уйди, не хочу... зверь... Мать услышит, ее хоть не мучь!

— Что твоя мать — чурбак с глазами! — забубнил нарочито гнусавый голос. — Будет кобениться...

— Пользуешься, что мать больная, ух ты, подлюга! Ой!

Дверь в комнатушку Анны раскрылась и захлопнулась. Один из пришельцев удалился, нагло топоча сапогами. Гирин стоял в нерешительности, загоревшись яростным желанием дать бой негодяям и боясь вмешаться в неизвестные ему отношения. Но когда он начал размышлять о тяжкой трагедии Анны, его невмешательство показалось ему постыдным. Он лежал без сна, жалея о том, что, несмотря на свой рост и большую силу, он все же лишь неопытный мальчишка. И так захотелось ему быть суровым и бородатым вроде паромщика. Тогда он был бы уверен, что не уступит девушку ее нелепой судьбе.

Гирин заснул лишь под утро и поднялся, когда солнце уже высоко стояло над кустами вырубки, почти вплотную подходившей под его окна. Анна принесла ему обычный завтрак: холодного молока, яиц, хлеба. Она низко повязалась платком и ходила, опустив прикрытые ресницами глаза. Взгляд, брошенный украдкой, и зардевшиеся щеки Анны показали Гирину, что ее мучит стыд. Нет, Анна отнюдь не походила на счастливую возлюбленную, и Гирин решил как-то действовать.

Весь день, обходя очередные поля, колодцы и родники, он думал, как вызволить Анну из ее жестокой кабалы. Ключ к решению вопроса заключался в болезни матери — Анна не могла расстаться с парализованной ни при каких условиях. Взять с собой в Ленинград Анну с больной матерью было не под силу одинокому студенту. Значит, прежде всего надо было или устроить мать Анны в хорошую больницу, или... вылечить ее. И тут, возобновляя в памяти все, что было ему известно о лечении психических параличей, Гирин вспомнил некогда прогремевший на весь Ленинград опыт профессора Аствацатурова.

Выдающийся невропатолог, начальник нервной клиники Военно-медицинской академии, прозванной студентами «Дантовым адом» за скопление устрашающе искалеченных нервными повреждениями больных, принял привезенную откуда-то из провинции женщину, пораженную психическим параличом после внезапной смерти ребенка. Как раз таким же параличом, как мать Анны, то есть она могла слышать, видеть, но была не в состоянии говорить и двигаться. Знаменитый Аствацатуров оставался для той женщины последней надеждой — все усилия лечивших ее врачей были безрезультатными.

Аствацатуров целую неделю думал, намеренно не встречаясь с больной, пока не пришел к смелому и оригинальному решению.

После долгого и напряженного ожидания больная была извещена, что сегодня ее примет «сам». Помещенная в отдельную палату, в кресло, прямо против двери, парализованная женщина была вне себя от волнения. Ассистенты профессора объявили ей, чтобы она ждала, смотря на вот эту дверь, — сейчас сюда войдет «сам» Аствацатуров и, конечно, без всякого сомнения, вылечит ее. Прошло четверть часа, полчаса, ожидание становилось все напряженнее и томительнее. Наконец с шумом распахнулась дверь, и Аствацатуров, громадного роста, казавшийся еще больше в своем белом халате и белой шапочке на черных с проседью кудрях, с огромными горящими глазами на красивом орлином лице, ворвался в комнату, быстро подошел к женщине и страшным голосом закричал: «Встать!»

Больная встала, сделала шаг, упала... но паралич прекратился. Так ленинградский профессор совершил мгновенное исцеление не хуже библейского пророка. Он использовал ту же гигантскую силу психики, почти религиозную веру в чудо.

Как бы сделать что-то подобное в отношении матери Анны — ведь психические параличи могут быть вылечены именно таким сильнейшим нервным потрясением. Но как заставить женщину, уже несколько лет живущую в безысходном отчаянии, придавленную еще трагедией дочери, не понимать которую она не могла, — как заставить ее поверить в мальчишку-студента, хотя бы и приехавшего из такого «ученого» города? Нет, способ Аствацатурова не годится, а что же он, Гирин, может придумать?..

Прошло два дня, и Гирин (он теперь старался заснуть не сразу, а лежал в темноте, чутко вслушиваясь в ночную тишину) вновь вскочил от воровской возни с дверью со двора. Настойчиво пытались отодвинуть деревянную щеколду. Гирин выскочил в сени в тот момент, когда дверь распахнулась и неясная тень возникла на пороге у входа в комнату Анны.

— Стой, застрелю! — тихо и спокойно, сжав зубы, сказал Гирин.

— Но-но, ты чего? — забормотала фигура, опасливо вытянув вперед шею.

— Пшел, убью! — рявкнул Гирин, поднимая зажатый в руке коленчатый шприц.

Темная фигура опрометью бросилась в темноту двора, кто-то упал, охнул.

Анна вышла из своей комнаты с зажженной спичкой, увидела Гирина: еще дрожа от возбуждения, он накрепко запирал дверь. За две-три секунды света Гирин прочел такую благодарность в ее встревоженном и восхищенном взгляде, что и впрямь почувствовал себя героем.

— Спасибо, родной, — громко сказала Анна.

Гирин пробормотал что-то.

— Надо поглядеть на маму, — продолжала девушка, жестом предлагая Гирину следовать за ней.

Они вошли в кухню, освещенную крохотной лампадкой — у больной огонь горел всю ночь, — и сразу же встретились с широко раскрытыми глазами парализованной. Безусловно, она знала все — при виде вошедших ненависть в ее взгляде сменилась торжеством. Анна стала поправлять подушки, шепча что-то матери. Гирин почувствовал себя лишним, поклонился, понял, что сделал это как-то глупо, по-городскому, и, смутившись, вышел. Внезапная догадка, еще невнятная, едва-едва намечающаяся, пришла ему на ум при виде глаз матери Анны. Она не исчезла, а оформилась, когда он лежал на постели и глядел на звезды в верхних стеклышках маленьких окон.

Веры в могущество его, Гирина, веры в исцеление не было у матери Анны. Но другая, могучая эмоция могла, пожалуй, произвести необходимое потрясение — сила ненависти. Ненависти к тем, кто убил ее мужа, так ужасно искалечил ее собственную жизнь и теперь еще издевался над молодостью и чистотой ее дочери. Да, это была реальная надежда! И единственная попытка излечения должна быть обставлена со всей возможной тщательностью!

Выдался серенький день. Гирин шагал вдоль высокого берега Волги, направляясь в дальнюю деревню — последнюю, которую ему оставалось обследовать на правом берегу. Ветер уныло шелестел поспевающим овсом, широкими разливами клоня его метельчатые верхушки. Не успел Гирин отойти с полверсты от села, как впереди него, на дороге, из кустов на бровке обрыва возникли две мужские фигуры. Сердце Гирина забилось — подходил момент расплаты за ночное геройство. Твердо решив не уступать, он неторопливо приблизился к ожидавшим, сунул руку в правый карман и остановился. По светлым кудрям, прикрытым зачем-то каракулевой кубанкой, Гирин определил обольстителя Анны, действительно красивого человека с наглым взглядом выпуклых голубых глаз. Другой, пониже ростом и поплотнее, с зоркими медвежьими глазками, не выделялся ничем, кроме одежды — пиджака из отличного шевиота, надетого на нарядную рубашку, и таких же галифе, заправленных в сапоги, лучше которых не носил и начальник Военно-медицинской академии.

Оба неприятеля медлили, обменявшись быстрыми фразами, не расслышанными Гириным. Они, не отрываясь, смотрели на его засунутую в карман правую руку, и тут Гирин сообразил. Его враги уверены в том, что у него есть оружие. В самом деле, военная форма Гирина и его непонятные занятия, вероятно, делали его загадочным, а следовательно, и опасным для недобрых людей. Студент — а вроде военный, доктор — а ходит по деревням, ищет колодцы и родники... Он решительно шагнул вперед, сделав жест, как бы сметающий с дороги. Оба парня неохотно отошли на обочину, и Гирин прошел мимо, следя уголком глаза за врагами.

— Эй ты, студент, али красноармеец, али кто еще! — окликнул его кудрявый красавец.

Гирин остановился.

— Ты вот что, — с деланным миролюбием и угрозой продолжал парень, — в наши дела не мешайся и с девкой гляди не схлестнись. Дело твое чужое, прохожее, дак кончай его и — айда! А не то...

— А не то? — Гирин взглянул ему прямо в лицо, чувствуя боевую злобу, возникающую у доброго человека, когда он сталкивается с темной силой людского зверства.

— Отделаем по-свойски, — оскалился приземистый в богатой одежде, — так что в этом году не придется, пожалуй, за чужими девками бегать!

— Последнее тебе слово, — перебил кудряш, — а не так — пеняй на себя. Нас тут много, да ночки темные наступают — не поможет и наган твой.

Гирин не спеша пошел по дороге, раздумывая над встречей. Даже если бы у него был наган, то все равно в любом месте, за любым кустом, у колодца или на дороге его могла подкараулить лихая засада, оглушить чем попало и если не убить, то отделать так, что прощай все планы спасения Анны и скорого возвращения к занятиям. Гирин чувствовал, что помощь Анне сделалась ближайшей целью его существования, и он не мог ни под какими угрозами отказаться от нее. Однако было бы неумно не отдавать себе отчета в явной опасности.

Гирин в размышлении отошел уже на две версты от села, как вдруг повернул и зашагал обратно. Не без труда разыскал он вожака немногих сельских комсомольцев, угрюмого, озабоченного парня, усердно подшивавшего старую седелку. Парень неодобрительно выслушал Гирина, свернул цигарку, затянулся, сплюнул под ноги.

— Лезешь не в свое дело, — процедил комсомолец, — али полюбилась Нюшка-то? Брось это, как друг говорю. Сама виновата, спуталась с бандитским элементом еще в двадцать девятом — туда ей и дорога! А тебе нечего башкой рисковать.

Нотка горечи прозвучала в ответе парня, и Гирин, ставший за последние дни необычайно чутким, понял. Он придвинулся ближе к комсомольцу и негромко стал выкладывать ему собственные мысли об обманутой девушке.

— И ежели ты ее любил, — внезапно сказал Гирин,— так твое дело не воротить морду, будто ты святоша какой, а помочь по-серьезному. Вырвать ее отсюда надо, а не отдавать на растерзание. Они глумились, а ты, как сукин сын, смотрел да радовался.

— Ну на это ты не налегай, полегче! — озлился парень.

— И ничего не полегче! Подумаешь, так сам поймешь... Только думай скорее.

— Дак я разве против... Только чем я али мы помочь можем? Охрану тебе выставить — разве можно? Трое нас, и так-то сами завсегда под угрозой.

— Не о том я! Разыграть надо одно представление. Нужны два нагана да человек надежный, постарше нас с тобой... — И Гирин протянул комсомольцу свою зна-

менитую махорку, объясняя, зачем требуются эти странные приготовления.

Парень, слушая, улыбался все шире, показывая крупные ровные зубы.

— Ну голова! — хлопнул он по плечу Гирина. — Вишь, недаром вас там учат, одевают да кормят. Того стоит... Айда, пошли! — Комсомолец повесил седелку на гвоздь, аккуратно убрал шилья и ремешки, подпоясался.

Они зашагали в другой конец села, где в крохотной избенке жил бывший красноармеец, член партии Гаврилов, бледный и худой, еще не вполне оправившийся от сильной болезни. На счастье, он оказался дома и обрадовался, увидев на посетителе военную форму.

Гирин вторично изложил свой план. Гаврилов сначала хмурился, возражая, но потом расплылся в усмешке, так же как и комсомолец. Только усмешка его была недоброй, не обещавшей ничего хорошего насильникам и скрытым бандитам. Он расправил жидковатые усы и, сощурив острые глаза, повернулся к комсомольцу.

— Выходит, приезжий-то, Иван... как вас по батюшке?..

— Не надо, молод еще!

— И то, Ванюшка-то крепче тебя оказался, да и смекалистей!

— На то он и ученый.

— Лукавишь, Федька! И по роже видно, врать не могешь. Коли ежели бы да не ходил сам за Анной, скорей бы сообразил, что делать. А тут, вишь, ослеп!

— Ладно, дядя Андрей, будет уж. Порешили ведь. Значит, Иван сговаривается с Нюшкой, а завтра мы к ним туда заявляемся.

— Так-то так, — вдруг заколебался Гаврилов, — а как вдруг старуха загнется?

— Ух ты! — завопил Федор. — Тогда всех засудят. Ой, не подумали!

— Не всех — меня, — решительно возразил Гирин, — расписку дам. Сейчас написать?

— Ладно уж, там увидим. Сначала дело. Ответ потом.

— Ну, спасибо вам, прямо до земли, — облегченно вздохнул Гирин. — Получится или нет, видно будет, а за помощь и за дружбу кланяюсь.

— Чего там, тебе самому спасибо, что надоумил. Хотя... подозреваю, свою корысть имеешь, — уставился

вдруг Гаврилов на покрасневшего Гирина. — Да ничего, что тут плохого! Этот, — показал бывший солдат на комсомольца, — не в счет, Нюшку он потерял.

— Да не нужна она мне вовсе, — оправдывался парень, — на что ее, Анну, теперь!

Гирин медленно шел к дому, обдумывая предстоящий разговор с Анной. Надо было, чтобы она постаралась вспомнить обличье тех, кто убивал ее отца, и согласилась стать действующим лицом маленькой инсценировки, задуманной Гириным. Ходу логических заключений мешало что-то досадное, резанувшее его при последних словах комсомольца: «На что ее, Анну, теперь!» В этих словах заключалось все дремучее «достоинство» обойденного мужчины, горький и злой отказ от той, которая уже посмела принадлежать другому, не ему. И если этот был к тому же явная сволочь? Разве не прав Федор?..

Едва Анна поняла задуманное Гириным, как страшное волнение охватило ее. Взявшись ладонями за виски извечно девическим жестом, она затаив дыхание слушала студента и долго старалась вспомнить лица убийц отца. Она не сумела точно описать их — при тусклом свете пятилинейки негодяи ворвались с нахлобученными фуражками, одетые в поношенную военную форму. Однако это было к лучшему и позволяло обойтись без грима, для которого не было никаких приспособлений и никакого умения. Гирин решил, что одним из «бандитов» будет сам, а вторым — Гаврилов. Кричать придется Гаврилову, так как больная уже знала голос своего жильца. Ничем, даже мелочью, нельзя было рисковать. Гирин сделал новые запоры на дверях и окнах, какие и лошади не под силу сломать. Нечаянное вторжение «приятелей» Анны могло бы испортить дело. Когда все было подготовлено, Гириным овладела страшная тревога. Он почти не спал ночь и весь день не мог найти покоя, пока не отправился за Гавриловым и Федором. Комсомолец соглашался дать свой наган, но лишь с условием, что сам будет поблизости. Гирин увидел бывшего красноармейца донельзя разозленным. У Федора тоже горели уши, как у обруганного.

— Ты посмотри, — обратился Гаврилов к Гирину, показывая на полдесятка исковерканных наганных патронов, — это я старался пули вынуть. Какая собака так придумала — засажено насмерть, ничем не вытащишь!

— Хорошо придумано: без пули враг не останется, — улыбнулся Гирин.

— Тебе хорошо, — буркнул Гаврилов, — а для меня да для него патроны дороже золота...

— А ты напильником гильзу срежь наполовину, — посоветовал Гирин.

— Тогда как стрелять? Огнем шарахнет из барабана!

— И черт с ним! Еще страшнее будет. Только держи подальше от глаз...

— И то! Дело сказываешь... вот эти, которые испорченные, пойдут теперь. Двух хватит?

— Пожалуй, надо три... Помни: сперва ты стреляешь вверх при входе, потом я в Анну, а там ты целишь в мать!

— Чудно все это! Ну ладно, сказано — сделано! Сейчас пойдем.

Начало темнеть, когда Анна стала собирать на стол перед постелью матери, нарочно запоздднившись. Они всегда ели вместе — Анна придвигала стол, усаживала больную и кормила ее, потом ела сама, и мать следила за ней тревожно, ласково и жалостно. Сегодня девушка с трудом скрывала от матери колотившую ее нервную дрожь. Покормив больную, она села за стол и переставила маленькую лампу на дальний конец стола. Это был сигнал. С грохотом распахнулась отброшенная сапогом Гирина дверь. Изрыгая гнусную матерщину, в кухню ворвались двое бандитов в расстегнутых гимнастерках, с низко нахлобученными фуражками и наганами в руках. С воплем вскочила, опрокинув стул, Анна. Хлестнул выстрел, наполнив избу громом и кислой вонью бездымного пороха. Широко открыв рот, с вылезающими из орбит глазами, мать Анны уставилась на Гаврилова, который завизжал, как от нестерпимой злобы:

— Ага, попалась! Тогда не добили Павлову суку, теперь пришла пора! Степка (это к Гирину), застрели ее отродье, а я с ней расправлюсь! — вопил Гаврилов, прицеливаясь в переносицу больной.

Но она, белая как мел, не смотрела на него, а следила за метнувшейся к окну дочерью. Грохнул второй выстрел, и Анна повалилась под лавку. Гаврилов и Гирин яростно заревели. Бывший солдат уже прицелился в больную, как произошло то, чего добивался Гирин. Забыв обо всем на свете, кроме своего застреленного детища, мать Анны вдруг издала неясный крик и рванулась с постели.

— Ды-ы-о-ченька! — раздался ее навсегда запомнившийся Гирину вопль.

Больная рухнула на пол, сильно стукнулась головой

и, очевидно сделав чудовищное усилие, уцепилась за лавку, пытаясь встать. Гирин и Гаврилов бросились к ней, подхватывая ее под руки. Из последних сил мать Анны попыталась плюнуть Гирину в лицо и потеряла сознание. Гирин, положив ее на постель, слушал пульс, «ожившая» Анна кинулась за водой в сенцы и столкнулась с любопытным и встревоженным Федором. Комсомолец тяжело ввалился в избу и первым делом ухватился за свой наган, брошенный Гириным на стол.

— Ну как? Что? Получилось? Али насовсем убили? — приставал он к Гирину, который только мотал головой, стараясь привести больную в чувство.

Наконец холодная вода, растирания, нашатырный спирт возымели свое действие, и мать Анны открыла глаза. Недоумение, граничащее с безумием, мелькнуло в них, когда она увидела склоненную над ней дочь, живую и невредимую.

— До-чень-ка, Ан-нушка... — глухо и невнятно, запинаясь, сказала больная и с усилием подняла тонкую руку, вернее, обтянутый кожей скелет руки.

Анна упала на ее постель, разразилась безудержными рыданиями. Гирин отступил и огляделся. Гаврилов, весь мокрый от пота, утирал лицо рукавом и приводил в порядок свою поношенную, но аккуратную форму, нарочно расхлыстанную им для приобретения бандитского вида.

— О, и труханул же я, когда Марья... того. Думал, загнулась насовсем, и что же теперь будет? Рисковое, брат, дело! И как это ты сумел меня в него впутать? Обошел ведь, — сердито бурчал Гаврилов, смотря на студента с ласковым одобрением.

— Я больше перетрусил, — признался Гирин. — Затеял дело! А ведь дело таково, что очень просто убить человека. Все перед глазами у меня был Аствацатуров, тот профессор, о котором я вам рассказывал. Поверил я в него не хуже той больной.

— Ладно, вижу, что добром кончилось. Я пойду. — И он приблизился к постели с хитрой улыбкой. — Будь здорова, Марья! Подымайся теперь скорее! — сказал Гаврилов и вышел в сопровождении Федора, немого от изумления.

Каждая жилка еще дрожала в теле Гирина, в горле стоял комок, когда он слушал невнятные, звучащие каким-то нелепым иностранным акцентом слова матери Анны. Впервые после мучительных и долгих лет она мог-

ла выразить дочери всю любовь, заботу и тревогу — то, что до сих пор силилась передать глазами. Слезы безостановочно катились по щекам обеих женщин, прильнувших друг к другу в этот час чудесного избавления. Гирин медленно повернулся и шагнул к двери. Анна вскочила и бросилась к ногам донельзя смущенного студента.

— Что вы... как можно... какая ерунда... — запинаясь, забормотал Гирин, одним сильным движением поднял Анну и укрылся в своей комнате, слыша рыдания: «По гроб обязана... никогда не забуду... навеки...»

Страшное напряжение и жгучие опасения последних суток так измучили Гирина, что он обмяк и отупел. Механически свертывая цигарку, он присел на кровать, не раздеваясь и не снимая сапог, попробовал обдумать дальнейшее лечение Аниной матери и... проснулся поздним солнечным утром. С удивлением оглядевшись и потягиваясь онемевшим телом, Гирин поднялся с огромным облегчением. Нечто очень трудное и страшное осталось позади, он победил. Настоящая победа, самая радостная... Какое это счастье — избавить человека, нет, двух от незаслуженно тяжкой судьбы, от последствий давнего преступления! Теперь дело времени, и не очень долгого, чтобы излеченная от паралича мать Анны стала нормальным человеком.

За дверью послышались осторожные шаги босых ног — видимо, не в первый раз Анна подходила и прислушивалась, боясь разбудить.

— Анна! — окликнул ее Гирин, и девушка вихрем ворвалась в комнату, на секунду замерла, ослепленная солнцем, и, вскрикнув: «Родной!», бросилась ему на шею. Безотчетно Гирин обнял Анну, девушка крепко поцеловала его в губы, застыдилась и убежала.

Ошеломленный этим бурным проявлением чувств, Гирин не сразу пошел на хозяйскую половину проведать мать Анны. Трудно человеку в девятнадцать лет, да еще застенчивому по природе, слушать восторженные благодарности, граничащие с поклонением. Еще труднее, когда эти слова произносятся в трогательных и жалких усилиях — губами и языком, еще непослушными после пяти лет безнадежного молчания. И совсем уже неловко, если рядом сидит прелестная девушка и ловит, как дар свыше, каждый твой взгляд и каждое слово. Гирин кое-как вытерпел неизбежное. Он узнал о порядочном переполохе среди соседей, вызванном ночной стрельбой, криками и

руганью. Никто не мог ничего понять, а Гаврилов с Федором отмалчивались. Во всяком случае, таинственные дела в доме Анны отразились и на ночных посещениях — покой выздоравливающей ничем не нарушался.

Гирин отправился в Коркино — дальнюю, еще не обследованную деревню — и вернулся через четыре дня, чтобы убедиться, что мать Анны могла уже понемногу ходить по избе и даже выбираться на крыльцо. Новость потрясла всех односельчан, и, видимо, кто-то из помощников Гирина в конце концов проговорился. Даже недоброжелатели, до того смотревшие на студента как на пустое место, стали здороваться. Наглые парни ничем себя не проявляли, но Гирину пора было уезжать.

Анна как будто избегала его в последние дни, до тех пор пока Марья не позвала однажды вечером дочь и студента на семейный совет. Кухня, начисто проветренная, с распахнутыми окошками, преобразилась. Гирин с удивлением увидел, что мать Анны, которую он считал старухой, вовсе не стара и сохранила многое от прежней, унаследованной дочерью, красоты. Женщина наливалась жизнью с каждым днем, и с каждым днем становилась решительнее в определении своей дальнейшей судьбы.

— Лишний день оставаться здесь не могу, — говорила она, — в этой избе проклятой. Здесь, где убили Павла, где мы с дочерью мучились без просвета, почитай, пять годов, нет, не житье тут! Куда угодно, только не тут.

Анна выжидательно смотрела на Гирина. Тот напомнил свой совет Анне — ехать в город и поступать на рабфак. Мать могла теперь найти работу в городе, а Гирин обещал приискать в Ленинграде дешевую комнатку. Дом, с любовью строенный Павлом, был еще хорош, и денег от его продажи могло хватить на первое время, пока все устроится.

Анна радостно завертелась по кухне, а Марья попрежнему медленно, но теперь уже совершенно внятно произнесла:

— Ладно, зови завтра же Объедкова — он давно к тебе с домом приставал, чтоб продали. Я сама сделаю уговор, и поскорее. Только вот что, дочка, чтобы нам тут без Ивана не оставаться — сама знаешь почему! Надо поехать вместе до пристани. В Богородском пока на квартиру станем. Был бы ты сам с родными из Ленинграда, тогда бы, пожалуй, я попросилась бы с тобой. А так — лучше подождем в Богородском, нас никто там не тро-

нет. Да и я обвыкну больше — думаешь, легко с края могилы вернуться, опять жить начинать?

Так и решили. Собрать и связать имущество Столяровых было пустяковым делом. Анна в последние два дня вставала до света и исчезала куда-то, появляясь лишь поздним утром. Гирин не мог подавить в себе брезгливое подозрение и стал невольно отстраняться от девушки, пока она сама не позвала его с собой. На вопрос «куда?» Анна лишь загадочно улыбнулась и, сжав руку Гирина своей — горячей и жесткой, шепнула: «Увидишь сам!»

Гирин встревожился — откровенная любовь смотрела из радостных глаз Анны. Завтра должен был быть последний день их пребывания в селе. Увлеченный своей ролью рыцаря-спасителя, он не заметил, как стал очень нежен с Анной, поддавшись обаянию девушки. А ведь в Ленинграде его ждала гордая Настя с глазами, как незабудки, — студентка биофака, его ровесница. Он, честно сказать, немного позабыл о ней в своих приключениях, но теперь все это отходит и... надо держать ответ перед Анной. Гирин знал, что после такого разговора все будет по-иному, не хотел этого и откладывал выяснение отношений. Но, пожалуй, завтра отступать будет некуда!

Анна разбудила Гирина, когда небо еще не начало светлеть. Яркие августовские звезды мерцали особенно сильно и приветливо. Уборка хлеба была в разгаре, и днем село пустовало, предоставленное детям и старикам, но время было раннее даже для жнецов. В избах загорались огоньки, и хозяйки только начинали сборы. Анна и Гирин не встретили ни одного человека и, незамеченные, вышли за околицу, направившись по Лешновской дороге на север. Невдалеке начиналась роща стройных сосен, давно уже не знавших вырубки. Гирин остановился, чтобы задать Анне какой-то вопрос, но девушка, сосредоточенная и торопливая, молча потянула его за рукав. Студент ускорил шаг. Полевая дорога, покрытая толстым слоем пыли, глушила стук сапог, и Гирину казалось, что он крадется в ночной тиши, подобно зверю.

Дорога отвернула от полей, сузилась в тропинку. Лесная трава и маленькие кустики были обильно смочены росой. Анна высоко подоткнула юбку, быстро переступая мокрыми босыми ногами, а поношенные сапоги Гирина начали хлюпать. Колени намокли в холодноватой росе. Гирин шагал за спешившей и молчаливой Анной, наполненный ожиданием чего-то хорошего. Узкий серпик луны

висел над приближавшимся лесом, но давал света меньше, чем крупные звезды и едва-едва заметный проблеск нарождавшейся справа за лесом зари.

Странное чувство взволновало Гирина. Он как будто ушел из мира повседневных дум и забот, мыслей о скором свидании с полюбившимся накрепко Ленинградом и синеглазой Настей, об отчете перед профессором, о неожиданном излечении матери Анны, о том, как помочь Анне устроить новую жизнь... Первобытное чувство слияния с природой отодвинуло все. Осталось настороженное ощущение, что он идет, наслаждаясь быстротой, тишиной, росяной влагой и призывом звездных огней, рядом с Анной, в бесконечно свободную и все обещающую даль. Но звезды исчезли. Их сменил глубокий мрак высокоствольного леса. Бор рос на длинном песчаном валу, когда-то нагроможденном ледником. Здесь было сухо, белый мох шуршал под ногами. Гирин знал такие боры — в них почти нет травы или кустов, скот пасти здесь нельзя. За исключением грибного времени, эти леса совершенно безлюдны. Сейчас, в уборочную страду, можно быть уверенным, что не встретишь ни одной живой души.

Медленно рассеивался ночной мрак — за лесом поднималась заря. Суровая серая мгла заполняла лес, сквозь ветки которого уже просвечивало медное восточное небо.

Чувства Гирина изменились. Он был уже не зверем, бездумно впитывавшим в себя все запахи, шорохи и огоньки природы, а человеком, торжественно, как художник, вступавшим в таинство лесного храма в момент пробуждения природы от ночного сна.

Лес окончился, они вышли на широкую поляну на самой вершине холма. Сумеречный простор был внезапен после лесных стен, ветер бодрящей волной прошел над поляной, чуть приглаживая высокую, обильно покрытую росой траву. От медной зари миллионы ее капель отливали то теплой краснотой, будто бесчисленные искорки развеянного костра, то холодным серебряным блеском, просвечивающим сквозь редеющую тьму. Жемчужные полосы предрассветного тумана вились покрывалом над росистой поляной и никли, стелились, уходя в черную, глубокую тьму па опушке высокоствольного леса.

Разгоревшаяся заря гасила серпик месяца, все шире расходилась россыпь гранатовых огоньков, стебли травы оживали. Тишина и тайна реяли над этой поляной, молчаливо прощавшейся с умирающими звездами. Все за-

мерло, лишь туман вел свою волшебную игру, становясь все более розовым и неясным. Гирин подумал, что, может быть, правы наши предки, верившие в чудодейственную силу росистого утра. Во всех былинах и сказках люди купались и купали своих лошадей на рассвете в росе, чтобы приобрести особенную выносливость для борьбы с врагами. Кто знает, какая сила скрыта в этой поляне, впитавшей в себя и ночное сияние звезд, и первый свет рождающегося дня? Он ощутил, как расширяется грудь, набирая живительный воздух, как сильно стучит его сердце. Анна приняла шумный вздох Гирина за нетерпение. Рука девушки нашла его руку, и он услышал шепот:

— Это здесь, видишь?

— Что здесь?

— Заветная поляна. Я уж который раз бегаю сюда на рассвете — омыться в росе.

— Как это ты делаешь?

— Меня одна старуха научила. Ну, разденешься совсем как есть и бежишь через поляну стремглав, потом назад, потом налево, направо, куда глаза глядят. Поначалу замрешь вся, сердце захолонет, к горлу подступает — роса-то холодная, много ее, так и льет с тебя. А потом разогреешься, тело горит пламенем, вся усталость отходит. Оденешься и идешь домой, а на душе покойно, и вся ты насквозь чистая, как в небе побывала! Это место не простое, древнее, старики говорят, тут тыщу лет назад идолы стояли, с тех пор такая поляна круглая. А траву здесь не косят — говорят, скотина с нее болеет: сила большая в бурьяне этом.

— А ты не боишься, что заболеешь? Ведь так и простудиться можно.

— Не заболею я, только крепче стану.

И девушка пристально взглянула на Гирина.

Глубокие тени делали лицо Анны таинственным, и вся она, выпрямившаяся на фоне зари, показалась Гирину величавой.

— Тогда зачем же не купаться просто в реке? — спросил он, пытаясь как-то отвлечься от все сильнее овладевавшей им тревоги, что сейчас надо объясниться с Анной и... потерять ее.

— Здесь вся нечисть отходит, как вновь родишься, — тихо ответила Анна, — а мне нужно быть чистой, чистой... — Она умолкла, вплотную подойдя к Гирину и

глядя ему в лицо широко открытыми глазами. Он не запомнил, сколько времени они смотрели друг на друга.

Птицы заливались в проснувшемся лесу, пологие лучи солнца проникли между красными стволами сосен, бугорки мха белели в россыпях ощетинившихся шишек. Вдали, еще робкая и вялая, зазвучала первая песня жнецов. Анна так долго разглядывала Гирина, что студент почувствовал неловкость. Он не умел и не хотел притворяться, но, боясь обидеть ее, попытался шуткой прикрыть свои чувства, вернее, отсутствие их.

— Сядем, — коротко бросила она, указывая на мшистый бугорок. — Скажи, я для тебя стара или порчена?

— Что ты, Анна, — искренне возмутился Гирин, — я... ты нравишься мне, но...

— Ладно, нечего говорить. Ты парень вовсе молодой, а я гулящая, — твердо и горько сказала Анна.

Гирин промолчал, кляня себя за неумение объяснить ей, что дело вовсе не в этом. Просто он любит другую.

Анна лежала, закинув руки за голову, и о чем-то напряженно думала, следя за облаками в ярко-голубом небе. Отчаявшись наладить разговор, Гирин стал уговаривать Анну петь. Девушка села, по-прежнему обратив взор в небо, и, следя за покачивавшимися верхушками высоких сосен, запела старинную и печальную песню:

Выше, выше, смолистые сосны, вырастайте в сиянии дня,
Только цепи мои неизносные скиньте, сбросьте, не мучьте меня!

И прежняя тоска в ее голосе напомнила Гирину встречу на пароме и «Лучинушку». Гирин слушал задушевное пение Анны, уйдя в свои мысли.

Он очнулся, когда Анна разразилась отчаянными рыданиями. Гирину не пришлось утешать ее. Девушка вскочила, обдернула юбку, и они молча пошли домой по полевой дороге вдоль лесной опушки. Гирин украдкой наблюдал за гордой походкой Анны. Еще не вполне обсохшая кофта туго облегала ее, и девушка шла выпрямившись, стройная как сосенка, высоко подняв голову. Грудь полностью обрисовывалась под тонкой тканью, как бы устремляясь вперед в гордом порыве. Гирин смотрел на девушку и думал, как красива такая свободная походка, когда гордая юность не стыдится своего цветущего тела и ничего не прячет, ничто не считает постыдным. Наверное, от монголов-завоевателей пришла к нам

эта нездоровая стыдливость, когда женщина уродливо сгибает плечи и старается спрятать грудь. А может быть, стыдливость эта была необходимостью во время татарского ига, когда прекрасные девушки портили свою красоту, выходя из дому, чтобы не попасть в наложницы победителей. Ведь немного больше века тому назад по всей России для женщины считалось неприличным показывать волосы из-под головного убора или платка. Еще одно природное украшение женщины кто-то сделал постыдным. Продолжают бытовать слова, хотя мы уже не понимаем их значения, вроде «опростоволосилась».

Гирин еще раз оглядел задумчивую Анну, шедшую рядом, и тоже почувствовал гордость за нее.

— Эй, военный, возьми Нюшку за титьки, чего зеваешь! — раздался зычный окрик с поля, где работал здоровенный парень.

Гирин вздрогнул, очнувшись от дум, и спросил у Анны, что кричит парень.

— Да так, глупости разные, — ответила девушка, краснея и опуская взгляд, а вместе с ним и плечи, мгновенно превращаясь в стыдящуюся своей красоты жительницу старой деревни...

...Пронзительный вой сирены разнесся по бульвару, и Гирин мгновенно вернулся к настоящему. «Скорая помощь» пронеслась по направлению к Белорусскому вокзалу, спасая чью-то жизнь. И не было больше ни студента Гирина, ни знойного волжского лета, ни голосистой и печальной Анны. Многоопытный врач-ученый медленно поднялся со скамьи и зашагал к остановке троллейбуса. Что же, превосходная память не утратила ничего из случившегося на Волге много лет назад. Тогда, провожая его на пароход, девушка сказала, что поставила себе целью стать образованной, как он. И Анна сдержала свое обещание. Начав учиться в Ленинграде, она потом перебралась в Москву, сделалась хорошей, хотя и не знаменитой, певицей, исполнительницей народных песен.

Анна увлекалась живописью и скульптурой, познакомилась с его другом Прониным — пожалуй, единственным в те времена скульптором обнаженного тела. Они стали друзьями, а потом мужем и женой. Последние годы перед войной Гирин, занятый своими исследованиями, редко бывал в Москве и как-то потерял Анну из виду, а в один из недобрых дней узнал от общих знакомых, что Анна пошла добровольцем и погибла под Мо-

сквой. И уже в самом конце войны Гирин получил письмо от Пронина, лежавшего в госпитале с тяжелым ранением. Скульптор знал, что умирает, и просил Гирина в память давней дружбы разыскать и сохранить последнее его творение — незаконченную статую Анны. Он запер ее в мастерской, уезжая на фронт через несколько дней после отъезда жены. Друг умер, и Гирин только теперь смог исполнить его последнюю просьбу.

Как ни быстро пронеслось его первое лето самостоятельных исследований, все, что случилось тогда, на всю жизнь определило его путь ученого-врача и его интересы, всю его многогранную последующую деятельность. Наверное, потому так живо стоят перед ним воспоминания каждого дня того года, которые, точно накрепко вбитые столбы, создали основу его восприятия жизни.

Удивительное излечение матери Анны навсегда убедило Гирина в том, что психика в организме человека, и здорового и больного, играет куда более важную роль, чем это думали его, Гирина, учителя. Отсюда родилось убеждение, что человеческий организм является настолько сложной биологической машиной, что прежняя медицинская анатомия и физиология, в сущности, едва намечали грубые очертания этого неимоверно сложного устройства. Еще не дождавшись анализов собранной им коллекции воды и почв, он уже сам для себя отверг предполагаемое влияние редких элементов на возникновение болезни Кашин-Бека. Если это влияние в какой-то мере существовало, то оно должно было служить лишь косвенной причиной запутанного процесса, вскрыть который методами науки того времени не представлялось возможным. Гирин оказался прав — профессор Медников не смог установить причины болезни.

Встреча с Анной породила в нем особенное внимание к красоте человека и жажду добиться научного понимания законов прекрасного, хотя бы того, что выражено в человеческом теле. И еще более важным стало стремление понять законы, по каким древние инстинкты, с одной стороны, и общественные предрассудки — с другой, преломляясь в психике, влияют на физиологию. Из всего этого оформилось ясное представление о необходимости психофизиологии, как серьезной науки именно для человека — мыслящего существа, у которого вся медицина до той поры существенно не отличалась от ветеринарии, то есть медицины для животных.

ГЛАВА ВТОРАЯ

УЗКАЯ ЩЕЛЬ

Гирин поднес руку к лацкану пиджака, где должен был быть карман кителя, спохватился и вынул пачку документов из внутреннего кармана. Профессор Рябушкин небрежно перелистал справки и удостоверения.

— Я все это знаю, но почему же институт Тимукова отказался от вас? Правда, вы за войну не выросли как ученый.

— Я изменил специальность и стал хирургом. Думаю... — Гирин хотел было объяснить истинное положение вещей, но сдержался.

— Конечно, конечно, — спохватился Рябушкин, — все это послужило для вашей пользы, хорошо для экспериментальных работ, но до докторской диссертации вам куда как далеко!

— Я не претендую на какое-либо заведование и могу быть хоть младшим сотрудником.

— Отлично! — воскликнул с облегчением Рябушкин. — Тогда, значит, прямо в мою лабораторию. Проблема боли в физиологическом аспекте, а для вас — с психологическим уклоном.

И заместитель директора института принялся объяснять существо разрабатываемой им проблемы. Гирин хмурился и, воспользовавшись передышкой в речи профессора, сказал:

— Нет, мне это не подходит.

Рябушкин остановился, как осаженная на скаку лошадь.

— Позвольте узнать: почему?

— Мне кажется неприемлемым ваш подход к изучению проблемы. Болевая сыворотка — средство вызывать боль, вместо того чтобы бороться с ней.

— Да неужели вы не понимаете, что, узнав механизм появления и усиления боли, мы сможем действовать наверняка в борьбе с нею! — с раздражением воскликнул профессор. — Видно, что вы не диалектик.

— Диалектика — вещь сложная, — спокойно возразил Гирин. — Вот, например, может быть и такая диалектика: живем мы еще в далеко не устроенном мире, еще сильна всяческая дрянь, и ваша болевая сыворотка преотличнейшим образом может быть использована для неслыханных пыток. А что касается секретности, то вам, научному администратору, должно быть известно, что секреты в науке лишь отсрочка, тем более короткая, чем более общей проблемой вы занимаетесь. И все это на фоне успехов нашей анестезиологии выглядит неважно.

— Какую ерунду вы городите! — не сдержался профессор. — Так, по-вашему, некоторыми вещами нельзя и вовсе заниматься!

— Есть вещи, которыми нельзя заниматься, пока не будет лучше устроено общество на всей нашей планете, — подтвердил Гирин, — и ученым следует думать об этом. Меня тревожит, например, не слишком ли много кое-где развлекаются с энцефалографами и с лазерами.

— Ну и что?

— А то, что ряд американских физиологических лабораторий занят усиленным изучением прямого воздействия на определенные участки мозга. Вызывают ощущения страха или счастья, полного удовлетворения — эйфории. Пока у крыс и у кошек, но мостик-то ведь узок!

— Послушать вас, так я вредной вещью занят?

— Я думаю, что так.

— И вы не хотите работать в моей лаборатории именно по этой причине?

— Прежде всего по этой.

Профессор некоторое время собирался с мыслями и подавлял негодование.

— Вот какой вы! Но другой работы мы не найдем для вас в институте! Впрочем, нас недаром предупреждали... — Рябушкин умолк, спохватившись, но Гирин насторожился.

— Это о чем же предупреждали, можно узнать? О моем несговорчивом характере?

— Характер — пустяки! Есть кое-что похуже!

— Вот как? Тогда уж извольте сообщить, а то я все равно в партком пойду. Там добьюсь, в чем дело.

Рябушкин поморщился и нехотя начал, постепенно оживляясь:

— Есть такой за вами грешок, что там — целый грех, за это раньше даже врачебный диплом отнимали. Лечили вы одного больного якобы от рака, а на самом деле отравили анестезией, рака-то и не было, а вы такую дозу закатили, что больной умер. Оправдаться-то оправдались перед комиссией, а вот слава хвостом идет...

— Да, вы правы, хвостом! Вот эти хвосты и превращают людей, кто послабее, в пресмыкающихся с хвостом! — отвечал Гирин, вставая.

Встал и Рябушкин, избегая смотреть ему в глаза.

— Приглашение, которое вам послали, мы аннулируем! — крикнул профессор вслед уходившему.

— Я сам позабочусь. Прощайте.

И Гирин прямо от замдиректора института направился в министерство.

— Я вряд ли смогу вернуться, не игрушки — сорвали с дела, демобилизовали для научной работы. Но могу принять любое назначение — подальше, если уж не гожусь для Москвы, — говорил Гирин начальнику отдела кадров.

— Кто вам сказал, что не годитесь? Рябушкин?

— Не только. Разве не отделались от меня в тимуковском институте? Ну и Рябушкин — после отказа работать в его лаборатории.

— Да, да. Но это еще не последняя инстанция. Найдем для вас хорошее дело. Сейчас пригласим нашего консультанта, профессора Медведева — может быть, знаете?

— Слыхал...

— Здравствуйте, доцент Гирин, — приветствовал его маленький подвижный профессор, по виду никак не соответствовавший своей фамилии.

— Какой же я доцент, никогда не преподавал, только в госпитале!

— Все равно, раз вы кандидат медицинских наук. Извините, я уж привык табель о рангах в науке свято соблюдать. Обижаются люди, ежели назовешь не так. Ну, не будем терять времени. Вы, как и я, невропатолог, а с вашими статьями по психофизиологии я знаком. Наверное, и сейчас о том же мечтаете?

— После войны еще больше. Но...

— Теперь не те времена.

— Как бы не так! Инерция велика. Вот и за мной хвост какой-то тянется, как сказал мне Рябушкин. Откуда он знает? Я, конечно, рассказывал о своей практике товарищам по работе. Видимо, кто-то нашел нужным написать вам сюда. Еще Лев Толстой упрекал русскую интеллигенцию в «неистребимой склонности писать доносы» — его собственная формулировка.

— Положим, вы это слишком! — в один голос воскликнули оба собеседника. — Ведь знать людей-то надо.

— Только по делам, а не по хвостам. Мы не крокодилы, у тех, наверное, в почете тот, у которого хвост длиннее. Разрешите мне рассказать вам одну короткую историю. Можно? — И на согласный кивок начальника кадров Гирин продолжал: — Вы знаете, что еще в прошлом столетии ученые-археологи в Египте раскапывали Тель-эль-Амарну — развалины столицы фараона Эхнатона. Особенного фараона, реформатора религии и общественной жизни. Нашли громадный архив папирусов или чего еще там, на чем писали в те времена, всего несколько тысяч документов, книг, записей — целую библиотеку дворца фараона. Ученые набросились на нее, как коршуны, — библиотека за полторы тысячи лет до нашей эры, да еще в эпоху реформ! Нашелся ключ ко всей истории, науке, религии Древнего Египта. Кропотливая расшифровка иероглифов продолжалась до двадцатых годов нашего века. И что же? Никаких данных о науке, жизни, даже религии. Тысячи кляуз! Не ручаюсь, точно ли помню, но примерно так — шестьдесят процентов доносов, сорок процентов униженных просьб пожаловать, что тогда жаловали холуям — землю, дачу, рабов, не знаю уж что. Это было три с половиной тысячи лет назад! А сейчас, да еще в первом социалистическом государстве мира, надо, чтобы даже памяти о таком не осталось. Прежде всего надо покончить с этим хвостом старого мира.

— Хорош! — кивнул на него Медведев. — Ежели всегда вы так задиристы с коллегами, то и неудивительно. Еще не то напишут!

— Важно не то, что напишут, важно, чтобы...

— Ладно, понятно. Но вы все-таки расскажите, что это был за случай.

Гирин начал без воодушевления:

— До войны, когда я работал в Вологодской областной больнице... — А в памяти уже возникли все подробности его неудачи.

...Побывав на консультации в районе, он на обратном пути заночевал в небольшой деревне на областном тракте. Около часу ночи его разбудили двое детей из соседней деревни, прибежавших сюда в надежде на помощь проезжающих.

— Отец заболел, слышь-ко, сильно-т как, муценье глядеть, — обясняла запыхавшаяся белобрысая девчонка, в то время как мальчик лет двенадцати, ее брат, исподлобья и с детской надеждой смотрел на сонного Гирина.

Из расспросов выяснилось, что вечером у отца на щеке вдруг появилось красное пятно, началась сильная боль, так что здоровый сорокалетний мужик иногда «криком кричал». А пятно стало красным как уголь, и смотреть на него было никак невозможно...

— Почему невозможно? — тщетно домогался Гирин, перебирая в памяти все, что он знал о нарывах, гангренах и прочих гнойных заболеваниях.

— Скорее, дяденька доктур, очень муцается он, — торопила девчонка, пока Гирин одевался и проверял свой медицинский чемоданчик, в котором возил все нужное для первой помощи.

И вдруг Гирина осенило — его отличная память не подвела и на этот раз.

— Слушай, — задержал он метнувшуюся было к двери девочку, — я знаю, почему невозможно смотреть на пятно. Только говори верно — пахнет?

— Ой, как пахнет-то, все внутри переворачивается!

«Так и есть, нома, или водяной рак, одно из заболеваний, с которым врач-неспециалист сталкивается раз в жизни, а то и совсем не встречается!» — соображал Гирин, спотыкаясь в темноте, стараясь не отстать от проворных ребят.

Нома — редкое заболевание гангренозного характера у детей и лишь в совершенно исключительных случаях у взрослых. Воспаление начинается на слизистой оболочке рта и быстро выходит наружу в виде небольшой опухоли ярко-красного цвета, от которой в разные стороны расползаются валикообразные отростки. Вдоль отростков живая ткань распадается в густую жидкость с невыносимо тяжелым запахом.

Буквально на глазах большой участок тела может

распасться, обнажая кости. Нома сопровождается иногда ужасной болью, иногда, наоборот, протекает при пониженной чувствительности. Гирин силился воскресить в памяти случаи выздоровления от номы, но таких не было. Только при срочном вмешательстве хирурга, если нацело иссекался весь пораженный участок и еще большая область вокруг него, тогда страшный водяной рак оставлял свою жертву искалеченной, но живой.

И если его ждет действительно нома, то что он может сделать? В то время он не занимался хирургией, кроме несложных вскрываний нарывов, лечения переломов, извлечения заноз — всего того набора простых ран, с которым приходится иметь дело каждому врачу, подающему первую помощь. Скальпель, турникет, ножницы, пинцет — вот и весь набор в его чемоданчике.

В хорошей чистой избе его встретила насмерть перепуганная женщина. Сам хозяин метался на постели, издавая приглушенные стоны. Рубаха взмокла от пота, так же как и полотенце, наброшенное на плечо и шею. Капли пота выступили и на лбу под спутавшимися и взмокшими волосами. Маленькие, глубоко запавшие глаза взглянули на Гирина с такой радостной верой, что тот постарался прикрыть смущение бодрыми словами: «Ну сейчас посмотрим».

Страшная вонь, не похожая на то, с чем ему приходилось встречаться прежде, ударила Гирину в нос. Он постарался сдержать тошноту и не дышать, но запыхавшемуся после быстрой ходьбы этот запах так и лез в ноздри. Да, все было так. Красная опухоль с короткими тупыми отростками находилась на левой щеке, снизу, почти у самого угла нижней челюсти, а самый большой отросток уже достиг края надключичной ямки, рассекая кожу неширокой бороздой, на дне которой смутно просвечивала кость. Достаточно было минутного осмотра, чтобы убедиться в том, что для иссекания номы требуется сложная операция, которую районный хирург, вероятно, проделает с уверенностью. Но пока больного довезут в больницу, опухоль сильно разрастется, и тогда понадобятся оборудование и персонал областной клиники. Пока доставят в клинику... Гирин оборвал сам себя, сочтя, что не имеет времени для бесполезных рассуждений. Чтобы спасти больного, надо было или немедленно доставить его в больницу, или... или замедлить развитие опухоли. Доставить немедля было нельзя, значит, оста-

валось одно — замедлить! Как? Если перерезать все ткани вокруг пораженного места? Но на какую глубину идут отростки? И какая гарантия, что они не перейдут через разрезы?

Гирин уселся на подставленный стул и задумался. Вся семья стояла по углам избы в молчаливом оцепенении, и даже хозяин перестал стонать, следя за врачом.

А тот, напрягая все душевные силы, пытался найти верное решение. Враг, с которым он столкнулся, был настолько страшен, что нельзя было допустить неточности решения. Сам не чувствуя большой уверенности, он потребовал горячей воды, чистую простыню, раскрыл чемодан и взял шприц — в заранее стерилизованной коробке. И в тот самый момент, когда он раскрыл коробку, его вдруг точно встряхнуло. А может, вместо рассечения тканей инъецировать их новокаином? Может быть, уместно что-то вроде новокаиновой блокады? Если нома — вирусное заболевание, то все равно воспаление не должно происходить без участия нервной регулировки! А если так — новокаин затормозит процесс настолько, чтобы успеть в операционную. Самое плохое — неизвестно, насколько глубоко проникает опухоль: ведь барьер из анестезированной ткани надо создать и под опухолью! Надо много анестетика — не беда, он взял целую коробку.

Медлительная неуверенность слетела с Гирина. Короткими повелительными фразами он начал отдавать распоряжения. Запрягать лошадь и ждать его с больным. Бежать на тракт и останавливать там первую проходящую машину чем угодно: мольбами, деньгами, угрозами — весь вопрос был в том, чтобы эта машина случилась теперь же, а не тогда, когда окончится действие лекарства. Уверенно он приступил к анестезии, шаг за шагом пропитывая ткани, вспоминая, чему учили Спасокукоцкий и Вишневский. Скоро бледное кольцо окружило опухоль онемелым, нечувствительным валиком. Больной перестал метаться, улыбнулся, попросил молока.

Все шло удачно — и машину остановили па тракте, и быстро привезли больного, и доехали до рассвета до больницы, и хирург готов был сделать иссечение, но... больной погиб от коллапса через каких-нибудь полчаса после приезда. Гирин так и не смог установить, что именно случилось — была ли у больного аллергия к новокаину, или анестезированная область захватила аномально проходившую крупную веточку десятого нерва.

или вообще он впрыснул количество анестетика, оказавшееся больному не под силу, хотя тот и выглядел крепким человеком. Но самое важное — опухоль не только не прогрессировала, а сократилась настолько, что хирург и главврач больницы отказались подтвердить диагноз номы! Получилась большая неприятность: как будто Гирин ошибся в диагнозе и отравил больного ненужно большим количеством новокаина, вдобавок впрыснутого неумело! Гирин сумел доказать свою правоту, представив анализ опухоли и разъяснив мероприятие, но все же сомнение оставалось и потащилось за ним, как пресловутый крокодилов хвост. И обвинявшие и оправдавшие его врачи еще не сталкивались с номой. Все рассуждения носили теоретический характер.

Оба министерских работника внимательно выслушали его рассказ и молча переглянулись. Скрывая улыбку, Медведев спросил:

— А правда, что вы еще студентом лечили кого-то с помощью нагана?

— Не нагана, а с помощью Аствацатурова, — возразил горячо Гирин. — Видите, вам и это известно!

— Но вы ведь никогда и не скрывали?

— Нет, конечно. Только все это было так давно.

Никто не отозвался на вызов в тоне Гирина.

— Так, — произнес, помолчав, начальник отдела кадров. — Знания и способности у вас, видимо, большие, и вы нужны в исследовательских институтах, а вот... — говоривший умолк.

— Досказывайте, раз начали.

— Сами понимаете или позже поймете. Что вы скажете, профессор?

— Я полагаю — направить в ту физиологическую лабораторию, о которой я вам говорил. Пойдете младшим сотрудником в сравнительную физиологию зрения? — повернулся он к Гирину.

— Пойду... пока, — равнодушно согласился тот.

— Что значит «пока»?

— Пока не будет создана специальная психофизиологическая лаборатория, необходимость которой докажу и добьюсь организации!

— Ну вот и хорошо, — заключил начальник отдела кадров.

«Неудачно началось у меня в Москве, — раздумывал Гирин, оглядывая свою комнату с кое-какой приоб-

ретенной наспех мебелью. — Провалилось дело с работой в нужном мне институте. Безденежье не дает возможности реставрировать статую Анны и привезти ее на выставку. Художники сказали, что выставят, если я возьму на себя все расходы. И на том спасибо».

На другой день Гирин отправился в геологический институт, где работала едва ли не половина тех геологов, которым наша страна обязана рудами и нефтью, углем и алмазами, бокситами и цементом. Гирин шел по темным, заставленным шкафами коридорам, с волнением читая на дверях известные по газетам фамилии и негодуя на тесноту устарелого здания постройки тридцатых годов. Андреев встретил его в проходе разгороженного шкафами кабинета. Гирин подумал, что эта узкая щель никак не подходит человеку, вся жизнь которого прошла в просторах казахских степей, бесконечных болотах сибирской тайги, высях Алтая и Тянь-Шаня. Геолог, должно быть, прочел его мысли, потому что, слегка усмехнувшись, сказал:

— Это не беда, после тайги хорошо сидеть потеснее. Устанешь, знаете, когда полгода без стен — трудно сосредоточиться.

— Вы все тот же, — приветливо, но не принимая шутки, ответил Гирин. — Бывает ли у вас то, что вы назовете бедой?

Геолог заулыбался еще шире и вдруг сердито стукнул по столу.

— Как же нет беды? Беды нет только разве у полных идиотов. Есть такие — всем довольны... а вот у меня! — Андреев распахнул высокие створки простецкого фанерного шкафа, открыв две колонки некрашеных лотков.

В полутемной глубине замаячили угловатые куски горных пород. Даже на неопытный взгляд Гирина камни удивляли разнообразием: то угрюмым темно-серым, то теплым, красным, желтым цветом, то сочетанием разнокалиберной пятнистости. Какие-то блестки, серебристые и черные, огоньки маленьких кристаллов — зеленых, розовых, синеватых — слабо мерцали в кусках камня, как бы подразнивая Гирина и укоряя в невежестве.

— Видите, все полно! — крикнул Андреев, и Гирин сразу понял, что геолог действительно говорит о самом наболевшем. — И здесь, и в коридоре, и на складе, паршивом складе тоже. А здесь каждый из этих, для вас

простых, камней — редчайшая вещь. Вот эти, — Андреев рывком выдвинул тяжеленный лоток, — отбиты от скал в почти недоступном ущелье притока Индигирки. Мы, надрываясь, несли их в заплечных мешках, перегружали на оленей, мчали на плотах через бушующие пороги. А эти — с вершинного гребня... хм, одной громаднейшей горы — я и сам не знаю, как удалось спуститься с грузом образцов. А эти — чтобы добыть их, мы поднимали лошадей на веревках на отвесные кручи ригелей — перегородок в ледниковых ущельях... Там, в левом шкафу, — мы вывезли их сквозь страшные пески из хребта, от которого четыреста километров до ближайшей воды... А вот там — из жарких болот Африки — первые, которых коснулась рука ученого, а не равнодушные пальцы белого проспектора, стремящегося лишь к обогащению!..

Гирин с уважением осматривал стойки с рядами одинаковых лотков.

— Неужели негде хранить? — спросил он. — Как же это?

— Негде! Когда-то, в первые пятилетки, нам отчаянно не хватало геологов. И мы посылали на ответственные работы студентишек со второго курса... а уж дипломники, те чуть ли не в начальниках групп ходили. Конечно, съемка получилась пестрая и коллекции были собраны разной ценности. С тех пор утвердился взгляд, что геологические коллекции хранить не следует — надо слишком много места, документировали карту, представили пробу — и долой. До сих пор не переломить заскорузлой косности. А по-моему, та сумма труда, которая затрачена на то, чтобы проникнуть в недоступные места, вынести оттуда эти камни, — уже сама по себе заслуживает сохранения. Мало ли что когда понадобится — ведь всех маршрутов и экспедиций не повторишь, — полстолетия пройдет, пока кто-нибудь опять явится на то же место! Так неужели нельзя построить — тьфу, дрянь! — большой каменный сарай с несколькими отопляемыми кабинетами и сделать для страны настоящее хранилище? При нашей теперешней технике — ерунда, дешевка, а какие ценности будут сохранены. Только построй с расчетом — с запасом места, иначе через пять лет повторится то же самое.

— Совершенно ясно! Одного не пойму: как же это не очевидно вашим большим деятелям? Ведь по современным масштабам вопрос в самом деле пустяковый!

— Верно, что пустяковый. Но его не возьмут отдельно, а вместе с целой кучей других — и выйдет, что еще не время, — пробурчал Андреев. — Беда в том, что академики наши давно перестали сами собирать коллекции в поле. Нас, старых геологов, дразнят суевериями, якобы мы в таежных путешествиях набрались первобытности от шаманов. Не выступаем в маршрут в понедельник, опасаемся зловещих мест и чересчур ценим собранные каменья. Те, кто всю жизнь проводит в городах или курортах, всегда под защитой крыши, стен, света и тепла, даже не представляют, как необъятен ночной простор степи и тайги, как опасен каждый шаг в темных горах, как грозно ревут волны во время бури в открытом море или когда река, стиснутая ущельями, бешено хлещет пенными струями о камни порогов. Кто знает опасности камнепада или морозной вьюги, тот понимает, что даже самая хорошая выучка и знание дела, самый широкий опыт не могут застраховать от непредвиденной катастрофы в океане громадного, еще мало познанного мира вокруг нас. Потому мы цепляемся за каждый вынесенный из маршрута образец, каждый набросок карты, а идиотская сарайная экономия отнимает от нас драгоценные документы труда и риска...

— Эге, я посмотрю, у каждого своя беда, даже у таких столпов науки, как вы!

— Жизнь, что поделаешь! — Геолог успокоился так же внезапно, как рассердился.

Гирин помолчал и тихо, точно самому себе, сказал:

— Завидую вашему характеру. Мы в психологии называем это хорошо сбалансированной личностью. Быстрое торможение и приход в норму.

— Должно быть, привычка к самым различным невзгодам, — ответил Андреев и почему-то вздохнул. — Если бы вы попутешествовали столько, сколько я, в первые годы Советской страны, в первые пятилетки, при еще мало развитом транспорте. Одному богу, да разве еще черту, известно, сколько томительных часов и дней я провалялся на почтовых и железнодорожных станциях, пристанях, аэродромах! Сколько убеждений, угроз, мольбы, чтобы своевременно отправить свою экспедицию, отослать груз, вывести людей домой. Что перед этим таежные невзгоды — пустяки, в них зависишь от себя, своего здоровья, смекалки и крепости. А вот когда вы попадаете в зависимость от человека, да еще нередко

плохого... — геолог поморщился, — черт его знает, случайность это или закономерность, что там, где надо иметь дело с людьми, с их нуждами и заботами, там попадаются как раз дрянь людишки. А будь моя на то воля, подбирал бы совершенно особых людей, чтобы выслушивать человеческие нужды и просьбы в жилотделах, собесах и, уж конечно, для геологов — на транспорте. Да еще ставил бы над ними этакую независимую и вдумчивую инспекцию с беспощадными правами, вроде Рабкрина прежних лет!

— Вижу, что натерпелись! — рассмеялся Гирин, а геолог вспыхнул негодованием.

— Представьте на минуту — большая река в тайге. Пустынные берега в неглубоком восточносибирском снегу, ранние морозы крепчают по ночам, и река туманится паром, а по ней с громким шорохом ползет, теснится, а на быстринах мчится шуга. Со дня на день река станет — тогда всей экспедиции, только что выбравшейся из тайги, придется два месяца ждать санного пути по реке.

— Почему два месяца? Ведь вы сами сказали, что река вот-вот...

— А потому, что шиверы, перекаты и порожистые места много позже покроются льдом, по которому можно будет возить грузы. Другого пути нет, разве что оленьими нартами, но в охотничий сезон, наступающий для орочонов — оленных людей, не скоро соберешь такой караван, чтобы вывезти все: людей, грузы, имущество, коллекции — вот эти самые, которые негде хранить. Такая ситуация! Что получается, когда к поселку причаливает последний пароход? Всякий знает, что он последний, что переполнен до отказа, а люди рвутся, только бы попасть. Сибиряки-таежники — народ серьезный и здоровый, поэтому капитан ставит к трапу отборных матросов, человек по шесть. Парни могучие и прямо-таки озверелые от постоянных атак в каждом поселке, на каждой пристани. Какой тут выход?

— А он есть?

— Есть! Часть моих ребят-рабочих всегда остается в поселке — или чтобы идти в тайгу в обрат, или ждать санного пути, а пока поработать в жилухе. Вот эти ребята с добровольцами из местных жителей, кому поставлена соответствующая порция, нагло прут на трап и завязывают с матросами пустяковую, но упорную драку.

На помощь сбегается вся команда с капитаном во главе, драка разрастается, подходят подкрепления из кандидатов в пассажиры. Вконец озлобившийся капитан приказывает отваливать, и, когда пароход уже ушел от поселка на середину реки, пробившись сквозь свежие забереги, обнаруживается на нем наша экспедиция.

— Это как же?

— А драка на что? Пока команда занята ею, мы с речного борта пристаем на лодке, в момент выбрасываем на пароход наш груз, укрываемся где-нибудь за трубой или за кучей палубного груза, а лодка быстренько уходит.

— Но что же капитан, когда вас обнаружат?

— Есть или был раньше неписаный закон, свято соблюдавшийся на всех таежных реках: сумел забраться на пароход — никто не смеет с него прогнать. Да оно и понятно! Высадить людей где-то на берегу среди тайги на застывающей реке — это подвергнуть их смертельной опасности. А возвращаться еще хуже: нельзя терять и часа — пароход может зазимовать. Так и получаются законы — из жизненной необходимости... — Геолог помолчал, взглянул на часы и спросил: — Так что у вас за дело?

— Оно небольшое: одолжите мне рублей триста, только вот что плохо, месяцев на пять.

— Ничуть не плохо! На сберкнижке есть, понадобятся не скоро. Все геологи покупки делают осенью, по возвращении из экспедиций — многолетняя привычка. С молодости весной — пустой, а из тайги — с мошной. Как же быть? Самое лучшее — приходите сегодня вечером. Чаю выпьем, настоящего, крепкого. В Москве измельчал народ, даже геологи пьют пустяки какие-то вместо чая.

Гирину очень нравилась жена Андреева, Екатерина Алексеевна — совершенная противоположность мужу. Крепкий, невысокий, очень живой геолог и крупная, дородная, как боярыня, жена составляли отличную пару. Спокойная, чисто русская красота Екатерины Алексеевны, чуть медлительные, уверенные ее движения, пристальный и проницательный взгляд ее светлых глаз, грудной глубокий голос — Гирин, шутя сам с собой, думал, что он влюбился бы в жену приятеля, не будь она так величественна. Он любил редкие посещения их заставленной книгами квартиры, уют и покой этого приспособлен-

ного для работы и отдыха дома. Стремительная, резкая речь Андреева выравнивалась неторопливым, едва заметно окающим говорком жены (родом из древнего Ростова Великого), когда она, с вечно дымящейся папиросой в тонких пальцах, успокаивала и смягчала юмором суровые или грубоватые слова геолога. Всегда мало евший Гирин уходил от четы Андреевых едва дыша — уму непостижимо, когда успевала очень занятая Екатерина Алексеевна (она была известной художницей) готовить столь вкусные яства и в таком невероятном количестве.

На этот раз Андрееву не пришлось «подкормить» Гирина — жена была в отъезде, а дочь Рита, студентка, «скакала где-то по чужим дворам», по выражению геолога. Однако темный как смола чай был заварен на славу.

— Ну, жду рассказа, — строго сказал Андреев, наливая по второй пиале из опалово-прозрачного фарфора — лишь Андреевы ведали, какой страны и какого века.

— Рассказывать пока нечего, — неохотно откликнулся Гирин.

— Как так? — вскинулся геолог. — Если мой старый приятель, достигнувший определенных высот в своем врачебном положении, вдруг появляется в Москве, где у него ни кола ни двора, да еще бросается занимать деньги, не нужно быть мудрецом, чтобы понять серьезный поворот судьбы. Ясно как день — поворот этот связан с возвращением в сферы теоретической науки. И утверждаю: после разрыва с женой все еще ходит в холостяках — женатый человек не будет так «очертяголовничать». Он позаботится о твердом окладе, квартирке, перспективах. Что скажете о вашем новом роде занятий? Удалось ли вам организовать... как это, помните, что вы давно хотели, — физиологическую психологию?

— Как вы запомнили? Ведь я писал вам об этом десять лет назад.

— Запомнил, потому что интересно и еще потому, что писали с чувством обреченности. Я не в насмешку, так запомнилось, не смыслом, а ощущением. А сейчас вы снова приехали, чтобы добиваться уже здесь, в столице?

— На этот раз — да! Но обреченности нет, даже странно — почему? Ничего еще не сделал, скорее пока неудача, а уверенность есть.

— Я понимаю почему. То, что проницательные люди предчувствовали уже давно, это гигантское восхождение науки, ныне начинают понимать все!

— Вы правы! Каждому стало ясно, что наука поможет обеспечить будущее его детей, создаст все нужное для того, чтобы прокормить, одеть и предохранить от болезней всю массу растущего населения. Стало очевидно, что мы должны строить будущее по законам науки, иначе... — Гирин прервал себя выразительным жестом.

— Этот гимн науке был бы верен, если бы не было и другой ее стороны — термоядерных бомб, например. Однако и тут ее сила тоже ясна! Но я хотел сказать, что нет наук бесполезных, что существовавшее совсем недавно их деление безнадежно устарело. Даже самый прозорливый человек не сможет теперь разграничить исследование важное от неважного. Эта ваша психофизиология, казавшаяся до войны вам самому еще далекой от применения, теперь должна стать важнейшей отраслью биологии и медицины.

— Совершенно верно! Новая жизнь создает новые потребности, новые машины требуют новых людей, умеющих владеть своей психикой. Да и психику эту надо тренировать, укреплять, развивать. Но нам, материалистам, очевидно, что психика основана на физиологии, возникает и вырастает из нее, — следовательно, прежде всего нужно изучать их взаимосвязь, а она сложнее и устойчивее системы автоматизирования, то есть рефлексов. А мы, биологи, оказались беспомощны, не подготовлены к изучению работы мозга. Оперировали почти мистическими понятиями — разум, воля, эмоции. Пока физики и математики не показали, не ткнули носом в кибернетику. Тогда и стало ясным, с какой наисложнейшей постройкой нам приходится иметь дело. Но создать институт, посвященный психофизиологии, еще не догадались, а надо бы несколько таких научных центров.

— А все же я дам пинка вашей самомнительной науке, — усмехнулся Андреев. — По части зависимости от среды, связи с ней и значения всего этого для психологии и морали она все забыла!

— Верно! Лучше сказать — не дошла, — помрачнел Гирин. — Однако уже поздно. Мне всегда интересно с вами, и я забыл о времени. Еще чашку испить, и пора шагать. Теперь я с капиталом и завтра же приступлю к исполнению одного долга.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТУСКЛЫЕ СТЕНЫ

Гирин вошел в длинный зал и огляделся. Да, вот в самом конце статуя Анны. Очищенная от многолетней пыли, с залеченными ранами-трещинами, заново отполированная и такая яркая на фоне тускло-серых стен. Только сейчас Гирин понял цель Пронина, сделавшего статую больше естественных размеров. Отсюда, с расстояния в несколько десятков метров, статуя вызывала особое впечатление. Не монументального величия — нет, изображение Анны было выполнено совершенно другим способом. Незнакомый с техникой скульптуры, Гирин мог назвать его для себя — живым. И в то же время размеры статуи как бы отделяли ее от обыденности, заставляли невольно сосредоточивать на ней внимание и воспринимать ее красоту.

Гирин вздохнул, смутно поняв что-то. Будто бы Анна сказала ему: «Это не я, а другая, та, которой ты служишь и к которой стремишься всю жизнь. Но я помогла тебе понять ее, в этом я — она...»

Пришло редкое для пожилого человека и обычное для юноши ожидание чего-то неопределенного, но очень хорошего. Ожидание это часто прилетает с весенним ветром, запахом дыма в морозной ночи, манит лунными бликами на широкой реке, шелестит в жестких травах степей...

На выставке в утренний час было мало народу. Гирин пошел через зал, прямо к кубическому пьедесталу статуи. Там стоял, опираясь рукой на угол подставки, слегка сгорбленный человек в очках и пристально вглядывался в статую, порой так приближая лицо, что почти касался ее колен своим остреньким носом. Увидев подходившего Гирина, человек явно обрадовался собеседнику.

— Видали? Какова работа? — торжествующе ткнул незнакомец в изгиб колена.

Гирин, улыбаясь внутреннему ходу мыслей, согласился, что работа очень хорошая. Незнакомец оторвался от статуи, взглянул на Гирина и презрительно фыркнул.

— Я не про всю скульптуру, а про то, как отделана поверхность. Смотрите. — И незнакомец коснулся полированного дерева с нежностью, будто лица любимого человека. — Проведите пальцем, и вы почувствуете, увидеть может лишь скульптор, что она не гладкая, на ней сотни крохотных бугорков и ямочек. А для вас это зрительное впечатление живого тела.

— Разве не в каждой скульптуре...

— Конечно, нет. Сейчас никто уж так не работает, это старомодный прием. — И незнакомец снова издал короткое фырканье.

— Почему?

— Тому причин немало! И главная в том, что выполнение скульптуры в таком античном стиле — это нещадный, долгий труд. И глаз нужен, как у орла, чтобы художник мог увидеть все эти мельчайшие подкожные мускулишки и западинки, которые вам и кажутся живым телом. А для этого надо натуру высшего класса, с таким вот живым телом и кожей.

Создать, проявить, собрать красоту человека — такую, чтоб она была реальной, живой, — это большой подвиг, тяжело. Проще дать общую форму, в ней подчеркнуть, выпятить какие-то отдельные черты, отражающие тему, — ну, гнев, порыв, усилие. Скульпторы идут на намеренное искажение тех или иных пропорций, чтобы тело приобрело выражение, а не красоту. А изображение прекрасного тела требует огромного вкуса, понимания, опыта и прежде всего мастерства. Оно практически недоступно ремесленничеству, и в этом главная причина его мнимой устарелости. Красота всесторонняя, с какой стороны, и с каким настроением, и кто угодно ни смотри, все будет ладно, вот это и есть пронинская женщина.

Человек в очках, очевидно знаток искусства, говорил громко. Разговор привлек нескольких посетителей.

— Позвольте, гражданин, — обратился к знатоку скульптуры один из круга слушателей, — вы говорите про всестороннюю красоту. И статую эту берете примером, так я вас понял?

— Так!

— А по-моему, по-простому, не то что выставлять, делать такие статуи ни к чему.

Знаток скульптуры воззрился на говорившего из-под очков и улыбнулся недоуменно и сконфуженно. Тот, упрямо наклонив голову, отчего собрались складки на плохо выбритом подбородке, встретил противника тяжелым взглядом глубоко запавших глаз.

— Дело ваше, — пожал плечами знаток. — К счастью, не все держатся таких представлений. И для огромного большинства людей красота человеческого тела — это большая радость и духовное наслаждение.

— Знаем мы это духовное наслаждение! Только портить молодежь, развращать. Для меня лично красота девушки или женщины нисколько не теряет оттого, что их неприличные места прикрыты лифчиком и трусиками.

На лице знатока скульптуры выразилось беспомощное отвращение. Тогда вступился Гирин. Он-то знал подобных людей со скрыто-поврежденной психикой, агрессивный параноидальный тип.

— То, что вы здесь высказываете, уважаемый гражданин, ошибка. Результат вашего неудачного жизненного опыта. Ручаюсь, что вас всегда точит удар, полученный в жизни, какая-то трещина в отношениях с женщиной, которую вы любили.

Нападавший побагровел и резко обернулся к Гирину, оттопыривая нижнюю губу.

— Вы что за отгадчик здесь такой? У цыганки учились?

— Не у цыганки, наука такая есть — психология. Можете прийти ко мне на прием, я объясню вам, откуда у вас такие дикие «художественные» вкусы. Держите их при себе! Помните, если вы, глядя на красоту нагой женщины, видите прежде всего «неприличные места» и их надо от вас закрыть, значит, вы еще не человек в этом отношении.

Аудитория встретила реплику Гирина одобрительно.

— Так вы хотите сказать, что я скот? — И противник, еще более разъярившийся, стал подступать к Гирину, угрожая «привлечь за оскорбление».

Гирин в упор взглянул на него, и грубая напористость собеседника точно смялась. Будто остановленный

невидимой рукой, он отступил и скрылся за группой людей, выходившей из соседнего зала. Небрежные жесты и нарочито спокойный осмотр выставленного выдавали профессионалов-художников, чье показное равнодушие прикрывало острую ревность и глубокий интерес знатоков.

— Не понимаю: зачем вдруг выставили пронинскую вещь! — громко спросила тонкая узколицая женщина, проходя мимо статуи Анны. — Некрасиво, старо, нет мысли, грубый примитив.

— Согласен с вами, не стоило выставлять, — ответил шедший позади полный, хорошо одетый человек, — что миновало, то миновало. Наше время должно жить находками красоты иного порядка.

Прислушиваясь к разговору и оглядывая зал, Гирин обратил внимание на среднего роста девушку, стоявшую под большим панно. Ее прямая и в то же время свободная, нескованная осанка говорила о долгой дружбе со спортом, гимнастикой или танцами. Простое голубое платье, туго стянутое черным пояском, не скрывало фигуры, столь соответствующей гиринскому понятию прекрасного, что у того перехватило дыхание. Ее необычайно большие серые глаза, казавшиеся темными от ярких, как у детей, белков, вдруг встретились со взглядом Гирина. Девушка чуть улыбнулась, встряхнула короткими черными волосами. Гирин почувствовал немое ободрение. И, повинуясь ему, существовавшему, наверное, только в воображении, Гирин подошел к художникам.

— Я услышал ваши высказывания насчет скульптуры, — обратился Гирин к полному, с сильной проседью художнику, показавшемуся главой этой группы. — Может быть, вы поясните мне, что вы понимаете под красотой? Ваша соратница по искусству, — Гирин кивнул в сторону худенькой женщины, — заявила, что статуя некрасива, а мне она кажется очень красивой. Следовательно, я чего-то тут не понимаю?

Глава художников посмотрел на Гирина со снисходительным сожалением.

— Надо различать красоту и красивость, — назидательно сказал он. — Красивость — это то, что представляется красотой для людей обычных, с неразвитым вкусом, а красота... — Он многозначительно умолк.

— И все же?

— Как бы это яснее... — Несмотря на свой апломб,

художник замялся. — Это... это отношение художника к жизни. Если оно светлое, с верой в счастье, с близостью к народу, к жизни, глубоко проникает в жизнь, то тогда получается красота.

— В произведениях художника?

— Безусловно!

— Я не про то спрашиваю. Есть ли в природе, вне художника, эта красота или красивость — все равно, или она получается только путем создания ее художниками, что, по-моему, идеалистическая выдумка?

Художник покраснел. Привлеченные спором, посетители подошли поближе.

— Конечно, красота существует в мире. Но для ее понимания нужен развитый вкус, нужно чутье художника. И его долг выявлять и показывать ее людям.

— Вот наконец-то! Значит, красота существует помимо нас, в объективной реальности, как говорят философы. А если так, то какие критерии есть у вас для определения красоты?

— Я вас не понимаю, — пробормотал художник, более уже не смотревший на Гирина с превосходством жреца искусства.

— Жаль. Тогда попробуем на примере. Вот ваш товарищ, художница... — Гирин вопросительно посмотрел на суровую критиканшу.

— Товарищ Семибратова, она график.

Гирин поклонился.

— Товарищ Семибратова сказала, что статуя некрасива. Почему? Объясните мне, каков ваш критерий для столь категорического суждения. Посмотрите, — он обвел рукой всевозраставшую группу слушателей, — здесь, мне кажется, большинство находит статую красивой.

Слушатели закивали одобрительно.

Художница поджала тонкие губы.

— Мне трудно говорить с человеком, не знающим наших художественных понятий. Но попробую. Образ женщины, чистый и светлый, должен быть лишен подчеркнутых особенностей ее пола.

— Почему? Это же ее пол?

— Если вы будете меня перебивать, я ничего не скажу! Женщина в новой жизни будет похожей на мужчину, тонкой, стройной, как юноша, чтобы быть повсюду товарищем и спутником мужчины, чтобы выполнять лю-

бую работу. А тут, смотрите, широкие, массивные бедра. Чтобы соблюсти пропорциональность, ноги пришлось утолстить, сделать сильнее икроножные мышцы и валики мускулов над коленями. Как много здесь животного, ненужной силы. Зачем это в век машин? И вдобавок не просто силы, а силы пола, эротической. Вот, пожалуй, все.

— М-м! Во всяком случае, теперь я понимаю ход ваших мыслей, — Гирин посмотрел на художницу с уважением. — Могу я обобщить это так, что вы видите красоту такой, какой, по-вашему, она должна быть? И не принимаете того, что не согласно с вашими представлениями?

— Пожалуй, так.

— Но ведь тогда получается снова, что красота — это нечто исходящее из вас самой, из ваших идей и мыслей о том, какими должны быть люди и вещи. Значит, мы опять приходим к тому, что красота не существует вне художника и не является, следовательно, объективной реальностью? Красота относительна, и задача художника открывать ее новые формы — это глубоко ошибочное суждение. Откуда же возьмет ее художник — из собственной души только? Открывать законы красоты во всем бесконечном многообразии вещей и людей — вот формулировка материалиста-диалектика. Можно сказать по-иному: искать то из существующей вне нас объективной реальности, что вызывает в человеке чувство прекрасного.

— Не пытайтесь поймать меня вашей казуистикой, — вдруг рассердилась Семибратова. — Ведь могла я выбрать такой тип красоты, какой мне нравится, какой я действительно встречала!

— У меня нет никакой казуистики. Я ничего почти не знаю, это уж вы, художники, виноваты: где книги, просвещающие нас, обычных людей, ваших зрителей? Но все же — вот вы встретили такой тип красоты, какой вам нравится, потому что соответствует вашим идеям. А я встретил такой, какой мне нравится, — вот этот. — Гирин показал на статую. — Есть ли все-таки объективный критерий, кто из нас прав? Что говорят по этому поводу художественные светила?

— Ничего не говорят! Ну, конечно, анатомическая правильность, есть такая старинная книга одного аббата, там он собрал все пропорции...

— И объясняет их или только приводит?

— Не объясняет!

— Ну тогда все ни к чему Но вот вы верно сказали: анатомическая правильность. Но что это такое? Кто может сказать? — резко бросил Гирин молчавшим художникам. — Или это, по-вашему, только эмпирическое соотношение частей?

— Так, может, вы нам откроете сию тайну, — язвительно буркнул главный из художников, — раз уж вы такой знаток.

— Я не знаток, я просто врач, но я много думал над вопросами анатомии. Если упростить определение, которое на самом деле гораздо сложнее, как и вообще все в мире, то надо сказать прежде всего, что красота существует как объективная реальность, а не создается в мыслях и чувствах человека. Пора отрешиться от идеализма, скрытого и явного, в искусстве и его теории. Пора перевести понятия искусства на общедоступный язык знания и пользоваться научными определениями. Говоря этим общим языком, красота — это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия и сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве, во всякой вещи, всяком организме. А восприятие красоты нельзя никак иначе себе представить, как инстинктивное. Иначе говоря, закрепившееся в подсознательной памяти человека благодаря миллиардам поколений с их бессознательным опытом и тысячам поколений — с опытом осознаваемым. Поэтому каждая красивая линия, форма, сочетание — это целесообразное решение, выработанное природой за миллионы лет естественного отбора или найденное человеком в его поисках прекрасного, то есть наиболее правильного для данной вещи. Красота и есть та выравнивающая хаос общая закономерность, великая середина в целесообразной универсальности, всесторонне привлекательная, как статуя.

Нетрудно, зная материалистическую диалектику, увидеть, что красота — это правильная линия в единстве и борьбе противоположностей, та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки и назвали аристон — наилучшим, считая синонимом этого слова меру, точнее — чувство меры. Я представляю себе эту меру чем-то крайне тонким — лезвием бритвы, потому что найти ее, осуществить, соблюсти нередко так же трудно, как пройти по

лезвию бритвы, почти не видимому из-за чрезвычайной остроты. Но это уже другой вопрос. Главное, что я хотел сказать, это то, что существует объективная реальность, воспринимаемая нами как безусловная красота. Воспринимаемая каждым, без различия пола, возраста и профессии, образовательного ценза и тому подобных условных делений людей. Есть и другая красота — это уже личные вкусы каждого. Мне кажется, что вы, художники, больше всего надеетесь именно на эту красоту второго рода, пытаясь выдавать ее, вольно или невольно, за ту подлинную красоту, которая, собственно, и должна быть целью настоящего художника. Тот, кто владеет ею, становится классиком, гением или как там еще зовут подобных людей. Он близок и понятен всем и каждому, он действительно является собирателем красоты, исполняя самую великую задачу человечества после того, как оно накормлено, одето и вылечено... даже, и наравне с этими первыми задачами! Тайна красоты лежит в самой глубине нашего существа, и потому для ее разгадки нужна биологическая основа психологии — психофизиология.

Художники смотрели с удивлением на неожиданного оратора.

— Значит, вы считаете, — заговорила Семибратова, — что эта скульптура...

— Есть красота первого рода — безусловная, — подтвердил Гирин.

Художница пожала плечами и оглянулась на собратьев. Полный седоватый художник сделал шаг к Гирину и протянул руку. Тот назвал себя.

— Рад познакомиться! Мне кажется, вы заинтересовали нас. Конечно, не ждите, что мы сразу с вами согласимся, а все же интересно. Слушайте, — вдруг оживился он, — не могли бы вы сделать нам доклад на эту тему, видно, что вы размышляли о таких вещах, о каких естественники обычно не думают. Ну, скажем, так: «Красота как биологическая целесообразность»? Насколько я понял, вы собираетесь расшифровать ее так?

Гирин думал недолго.

— Почему бы нет? Назначайте время и место. По четным дням я могу с утра до трех часов, а в нечетные — только вечером.

Они сговорились о встрече в одном из залов Дома художников. Стоявшие вокруг посетители зашумели, прося разрешения прослушать завершение интересной дис-

куссии. На их счастье, седоватый художник оказался одним из членов совета дома и пригласил всех на будущий доклад.

Гирин попрощался с недавними врагами и стал искать глазами девушку в голубом. Он увидел ее на том же месте под панно и направился к ней, внутренне опасаясь, что она скроется в соседнем зале. Девушка шагнула ему навстречу. Гирин улыбнулся ей, но ее лицо осталось серьезным.

— Я оправдал ваши надежды? — полушутливо спросил Гирин.

— Они не имеют значения. Но я очень, очень рада. Знаете, как хорошо бывает, когда думаешь и чувствуешь и не у кого спросить, а вдруг все оказывается верным. И от этого все становится светлее и ближе!

— Хорошо знаю! — воскликнул Гирин.

— Я приду на ваш доклад, — произнесла она тоном полувопроса, полуутверждения.

— Обязательно приходите! Но давайте сначала познакомимся. — Гирин назвался и выжидательно взглянул на девушку.

— Меня зовут Сима... Серафима Юрьевна Металина, если хотите полное звание. Я преподаватель физкультуры, ну и сама занимаюсь спортом. Только и всего. Никакого отношения к искусству.

— Может быть, и хорошо. Иногда трудно иметь дело с профессионалами. Слишком много предвзятого... Но вы хотите что-то еще сказать?

— Мне надо бы еще спросить вас, но вы, должно быть, торопитесь. Да и мне скоро на вечерние занятия.

— Так пойдемте. Я провожу вас, если разрешите.

В гардеробе Гирин еще раз с нескрываемым удовольствием поглядел на девушку, когда она отошла к зеркалу, чтобы поправить волосы. Как быстро она успела это сделать: два движения гребнем, легкое прикосновение пальцев, и какие-то незримые для Гирина дефекты были устранены.

Давно не испытанная отрада холодком прошла по его спине. Плавные и в то же время быстрые движения Симы, ее гордая осанка и открытый внимательный и веселый взгляд — казалось, девушка эта явилась из будущего. Действительно, Сима не стеснялась и не прятала свою высокую грудь, стройные ноги и крутые бедра. В свободных и гибких движениях ее сильное тело приоб-

ретало ту независимость, без которой подчас трудно живется женщинам. Физическая красота девушки сливалась с ее душевной сущностью, растворялась в ней, странным образом теряя свой вызывающий оттенок.

Сима надела пальто и берет, придавший ей мальчишески независимый вид. Гирин сразу оценил преимущества лица Симы. К такой головке средиземноморского типа, с мелкими, твердыми чертами, большеглазой из-за правильности профиля, гордой шеи и высоко поставленных ушей, с большим расстоянием от них до глаз, пойдет решительно все — любая прическа, любая шляпка, чем и пользуются, например, итальянки... Они вышли во всегдашнюю людскую толчею Кузнецкого моста.

Налетавшие порывы ветра разъединяли их, и беседа не клеилась. Чтобы быть поближе к девушке, Гирин взял ее под руку. Сима легко приноровилась к его походке и пошла танцующим широким шагом, с упругим и четким ритмом. Гирину невольно захотелось тоже войти в музыку этой походки-танца. Он зашагал, стараясь ставить и поворачивать на ходу ступню так, как это делала Сима, оступился и засмеялся. В ответ на ее безмолвный вопрос Гирин признался в своем смешном поступке. Сима чуть покраснела, нахмурилась и, к огорчению Гирина, пошла обычной мелкой походкой, какой женщины ходят на каблуках. Только сейчас Гирин заметил, что ее маленькие туфли — с высокими «гвоздиками» и, следовательно, она несколько меньше ростом, чем он думал. Девушка, помолчав, сказала:

— Я всегда так хожу, когда случается радость. Только что смешного в этом?

Гирин поспешил уверить Симу, что ему показался смешным он сам. Она возразила:

— Хоть бы и вы сами? Разве не бывало с вами так, что все тело поет? Тогда невольно идешь, будто танцуешь.

— А вы любите танцевать? — уклонился Гирин от прямого ответа.

— Очень. А вы?

— Ну какой из меня танцор! Даже смолоду. От предков и родителей костяк мне достался тяжелый. Было на что опираться могучей силе русского землепашца. А у меня пропадает зря, и не могу порхать в танце.

Сима звонко расхохоталась, откидывая назад голову. Тренированный глаз анатома отметил абсолютную пра-

вильность ее зубов, дужки которых были словно вычерчены циркулем.

— Такое категорическое отрицание? Боитесь, что рок-н-ролл приглашу танцевать?

— А вы разве умеете?

— О каком в газетах пишут, с нарочитым выламыванием, нет. Но можно и рок, и все что угодно станцевать красиво. Иногда так и потянет на головоломную штуку, если партнер хорош, и разойдешься, как ветром понесет сердце и ноги.

Гирина слегка уязвили слова «когда партнер хорош», он-то никак не мог считать себя «хорошим партнером».

— Это хорошо: ветром понесет сердце и ноги! И верно!

— Ага, вы доктор и считаете, что верно!

— Не доктор, а врач. Доктор — это тот, кто имеет степень доктора медицины. По старинке врачей зовут докторами, когда заболевают, из заискивания, перешедшего в обычай.

Сима снова засмеялась. «Как веселый заяц в фильме «Бэмби», — подумал Гирин.

— Человеку нужно чередовать периоды покоя или неподвижности с энергичным движением, и танцы в ритме музыки имеют очень серьезную физиологическую основу, — продолжал Гирин, — это потребность, а не прихоть. Людей, не занятых физической работой, привлекают танцы наиболее неистовые, а тяжело работающих — плавные. Распространение разных рок-н-роллов, мамбо и твистов в Европе — это закономерность, результат роста городского населения и числа молодежи, не занятой активным физическим трудом. Эти танцы — явление почти социальное. Впрочем, ничего плохого в акробатическом танце не было бы, если избегать гнусного кривлянья. Вообще-то куда как лучше для молодежи гимнастика, особенно художественная для девушек: какая красота!

Сима улыбнулась, вся засветившись.

— А вы молодец. Можно вас так назвать? И я рада, что познакомилась с вами. Мне казалось, что так и не бывает: я чувствую, а вы говорите про это, да еще так просто и ясно! И вообще...

— И вообще?.. — переспросил Гирин.

— Вообще с вами просто. И хорошо. А то чаще бывает... — Сима умолкла, смотря перед собой, и только

тонкие морщинки в уголках ее изогнутых губ выдавали память горьких минут.

Гирин осторожно сжал двумя пальцами ее тонкое запястье.

— Все понимаю. Но как быть? Живешь среди людей, таких разных и по большей части худо воспитанных.

— О да! Вы даже не подозреваете, наверное, как много людей, мужчин, считают, что достаточно нескольких нежных глупостей, чтобы покорить незнакомую девушку, только что встреченную на улице. Иногда так устаешь от этого, особенно летом, когда ходишь...

— Легко одетая, это ясно. И от себя добавлю: есть немало людей, у которых красота вызывает неосознанную злобу, те стремятся оскорбить и унизить красивую девушку, бросить вслед грубое слово.

— Как вы все это знаете? Вы ведь не женщина.

— Зато психиатрия — одна из моих любимых наук. Я как-нибудь расскажу вам о том, что руководит поступками людей, есть объяснение почти для всего. Все закономерно.

— Я буду вам так благодарна! Но вот я и пришла. Большое вам спасибо. И до встречи у художников.

— Одну минуту! — Гирин вырвал листок из записной книжки, написал свой телефон и протянул девушке. — Мало ли, вдруг случится надобность. С врачом, тем более с хирургом, знакомство полезно.

Сима взглянула на него искоса и лукаво своими громадными серыми глазами.

— А почему вы не спрашиваете моего телефона или адреса?

— Чтобы вы были свободны — от меня. Захотите — позвоните мне сами, нет так нет. А то я могу не угадать и оказаться навязчивым.

— А не чересчур ли вы скромны, проницательный психиатр? — И она вдруг коснулась его виска теплой ладонью.

Ласка была так мгновенна, что Гирин потом спрашивал себя: не показалось ли ему? Сима повернулась и исчезла между неуклюжих бетонных колонн за воротами школьного сада. Гирин постоял, глядя в пространство с ясным ощущением драгоценной неповторимости случившегося. Его буйная фантазия представила судьбу в виде улыбчивой греческой богини, благосклонно кив-

нувшей ему из глубины триумфальной арки, в какую превратились железные стандартные ворота. Гирин усмехнулся и пошел прочь. Неисправим! Сколько раз та же судьба представлялась ему лесом мрачных тяжелых колонн, между которыми витала тьма, сгущавшаяся в непроницаемый мрак! Эти давящие колонны в беспросветной темноте всегда служили для Гирина образом, отражавшим его собственные неудачные поиски, подобные блужданию между каменными столбами. Но как мало надо человеку со здоровой психикой и телом: чуть повеяло ветром надежды на хорошее, едва соприкоснулся с прекрасным — и возрождается неуемная сила искания и творчества, желание делать что-то хорошее и полезное, оказывать людям помощь. Вот в чем величайшая сила красоты! «Красавица — это меч, разрубающий жизнь», — гласит древняя японская поговорка. Ей вторит среднеазиатская загадка: «Что заставляет злого быть самым злым, доброго — самым добрым, смелого — самым смелым?» И ответ ее прост: «Красота!» Понимание этого мы порядком утратили — в нашем разобщении с природой.

— Хватит на сегодня! — Гирин выключил энцефалограф. Широкая лента миллиметровой бумаги, ползшая по столбу прибора, замерла. Перья, вычерчивавшие ряды угловатых записей биотоков от разных участков мозга, прекратили свои колебания. Лаборантка Вера нажала массивный рычаг и отворила толстую дверь камеры, изолированной от света, звука, электрических колебаний и магнитных влияний, зачерненной и заземленной. В глубоком кресле сидел студент-доброволец, подвергавшийся опыту. Лаборантка расстегнула пряжку тугой резиновой ленты, которая удерживала на голове испытуемого сетку с двадцатью электродами, посылавшими пучок разноцветных проводов через стену камеры в огромный энцефалограф — прибор, записывающий биотоки мозга. Студент почесал раздраженную электродами голову, пригладил волосы и весело вскочил с кресла. Извинившись, он сладко потянулся.

— Ура! Закончили. Признаться, надоело! Какой сегодня опыт по счету, Верочка?

— Пятьсот семьдесят четвертый, — отозвалась лаборантка.

— И сколько будет еще, Иван Родионович?

— Наверное, до семисот. Как скажет профессор.

— Признайтесь: вам не осточертело это топтание на месте?

— Почему топтание? Даже в отрицательных данных, которые получаются у нас, есть смысл.

— Так-то так, — уныло согласился студент. — А все же хотелось бы чего-то потрясающего, совсем нового. И скорого. Ведь столько в нашей науке возможностей, непроторенных путей. И вы, я вижу, знаете много такого, о чем мы даже не получили представления на биофаке. А должны выполнять скучную, бескрылую работу, ведь старик наш весь в прошлом!

— Разве я не говорил вам, что в науке могут быть два пути — путь смелых бросков, догадок, с отступлениями, провалами и разочарованиями, и путь медленного продвижения, когда постепенно нащупывается истина. И оба полезны, и один не может обойтись без другого. Без таких вот тяжеловозов науки, тянущих громадный воз точных фактов, как наш профессор. Уважайте их, Сережа, это прочные опорные камни!

— Так-то так, — буркнул студент.

В углу лаборатории зазвонил телефон, и лаборантка подала трубку Гирину.

— Иван Родионович, дорогой, как хорошо, что я вас застал, — услышал он громкий голос Андреева. — Вы мне очень нужны. Помогите. Может, приехали бы, а? Катя еще не вернулась, но я чаем уважу... Поговорить надо одному товарищу (он назвал имя известного геофизика) с умным врачом. Неофициально, так сказать, без профессиональной церемонии, как ученому с ученым. А?

Гирину не хотелось ехать после одиннадцати часов работы, но он не мог отказать Андрееву.

И, сидя в знакомом глубоком кресле у курительного столика кашмирской работы, он выслушал трагическую повесть о нелепой судьбе сына геофизика. Не было более талантливого математика на всех курсах инженерно-физического института. И вдруг красивый и здоровый юноша, способный музыкант, шахматист, заболел. Вялость, быстрая утомляемость и боли в правом боку быстро сменились расстройством походки, плохой координацией движений рук, сильными головными болями. Долго искали причину, юноша перекочевал уже в третью больницу, и ему становилось только хуже. Но теперь...

— Погодите минуту. Кажется, я догадываюсь. Наследственный сифилис исключен был сразу? И мозговая опухоль тоже?

Профессор геофизики молча кивнул.

— Тогда, значит, нашелся умный врач и велел сделать анализ мочи на металлические соединения и обнаружил...

— Да, да, конечно, медь!

— Следовательно, вильсонова болезнь. — Настроение Гирина заметно упало.

Геофизик встал, прошелся по комнате и вдруг решительно подошел к Гирину. Тот понял, что сейчас последует именно тот вопрос, ради которого просили его приехать.

— Болезнь Вильсона — отчего она бывает? Только от дурной наследственности?

— Только наследственность тому виной. Но вы информированы неправильно. Это не дурная наследственность, а случайность наследственности.

— Разве это не одно и то же?

— Разница фундаментальная! Дурной наследственностью можно назвать повреждение наследственных механизмов какой-либо болезнью. В результате ряд дефектов, преимущественно в нервной системе, как, например, маниакально-депрессивный наследственный психоз, амавротический и монголизмический идиотизм, или же в крови, как талассемия. А есть болезни, которые обязаны случайному разнобою во всей чудовищной сложности развития нового организма. Это не болезни родителей или каких-либо предков, не сочетание их поврежденных наследственных устройств, а неудачная комбинация. Ведь и совершенно здоровая наследственность дает естественные колебания в биохимическом отношении. Мы еще только начинаем нащупывать эти различия. Например, часть людей не ощущает никакого особенного вкуса в препарате, называемом фенилтиоурен, а другая часть чувствует его нестерпимо горьким. Какие-то одна-две молекулы не сойдутся точно в развитии спиральных цепочек наследственных механизмов, и в новорожденном организме выпадает крохотная, нами пока не улавливаемая деталь. Отсутствие этой детали может проявиться не сразу, ребенок вырастает вполне нормальным, и вдруг...

— Да, вдруг, — выкрикнул геофизик, — такой страшный удар! Такой удар!

Чувствительный Андреев поспешно отвернулся, хватаясь за папиросу. Гирин продолжал, не меняя тона:

— А может, и сразу. Встречается появляющийся у новорожденных молочный диабет — тоже болезнь обмена веществ, когда организм не усваивает молочный сахар, и тот отравляет ребенка. В этих случаях материнское молоко смертельно! Но это излечимо, если своевременно разобраться. Неизлечима черная моча — алькаптонурия: организм не может переработать некоторые вещества обмена. Есть случаи, когда печень ребенка не может превращать одну из аминокислот — фенилаланин — в другую — тирозин. Содержание первой в крови ненормально повышается, и ребенок делается психически дефективным, как — этого мы еще в деталях не знаем. Важно, что ничтожнейший, образно говоря, на одну миллионную толщины волоса, сдвиг от нормы в чрезвычайно тонком и сложном процессе обмена веществ ведет к далеко идущим последствиям. Только недавно мы стали представлять себе всю сложность биохимических процессов в нашем организме, а следовательно, и сложность передачи этих процессов по наследству. И, конечно, редкие случайности вполне возможны; самое удивительное, что они так редки. Впрочем, простите, вам от этого не легче!

— Нет, гораздо легче! Вы не представляете, какую тяжесть снимаете с меня и моей жены. Она в отчаянии от сознания вины перед нашим мальчиком. Умоляю вас, Иван Родионович, объясните все это Наташе, моей жене. Я позвоню ей, она сейчас приедет. Вы не представляете, как это важно и как поддержит ее, раненную прямо насмерть.

Что оставалось делать Гирину? Через двадцать минут он возобновил свои объяснения, а не старая еще женщина с измученным лицом слушала его, как если бы некий пророк передавал ей откровение свыше.

Объясняя, Гирин думал о том, как необходимо и благотворно непрестанное разъяснение гигантских достижений современной науки. Без насмешки над собой он понял, что превращается в проповедника, занимающегося передачей научных знаний самым различным, нередко первым встречным, людям и что, собственно, первые ученые и были именно такими проповедниками. Самое слово «профессор» означает по-латыни «проповедник», или «провозвестник», подчеркивая важнейшую роль популя-

ризации в деятельности людей науки. Было бы замечательно, если бы люди выдающегося ораторского таланта читали лекции о достижениях науки, как о достижениях искусства, просто и широко говоря о необъятных перспективах, все шире открывающихся перед современным человеком. Талантливых лекторов в науке мало, но зато каждый из них ведет в науку многих будущих больших ученых. Насколько было бы полезнее, если бы, например, церковные пастыри, среди которых встречаются отличные ораторы, проповедовали бы науку вместо тех миллионов религиозных внушений, какие ежедневно звучат во всех церквах мира!

Гирин убедил исстрадавшуюся мать в ее полной невиновности в ужасной судьбе сына. Он рассказывал, какие сложные химические системы раскрываются в жизнедеятельности человеческого организма, как мало нужно для того, чтобы организму был нанесен сокрушительный ущерб. Жизнь протекает в напряженной борьбе противоречивых химических процессов, и наше существование зависит от точнейшей регулировки, которая все время ведется в организме тремя системами. Самая древняя, унаследованная от первичных живых существ, — это химическая регулировка путем особых веществ — катализаторов и ускорителей химических процессов. Эти так называемые ферменты, или энзимы и гормоны, тысячи их, взаимодействующие с другими тысячами, связаны в единую стройную систему, ведающую превращениями пищи в энергию, созданием новых клеток тела, перестройкой ядовитых отходов в безвредные и легко удалимые из тела. Энзимы — ключ к болезням, особенно наследственным. Вторая система — автоматическая, или симпатическая нервная, независимая от сознания и воли. Третья — собственно нервная система, действующая по принципу импульсной регулировки, в работе которой принимает участие наше сознание.

Такая трехслойная система регулировки обеспечивает *нам* жизнь и устойчивость даже в самых неблагоприятных условиях. И в то же время наш организм как биологическая машина работает в очень узких пределах, и всю жизнь мы как бы балансируем на лезвии бритвы. Чуть больше сахара в крови — потеря сознания и, если положение не будет исправлено, смерть, чуть меньше — потеря сознания, коллапс и смерть. Общеизвестные тепловые удары лишь не так давно получили свое объясне-

ние — это падение (разумеется, ничтожное) содержания соли в крови, потому что при жаре с потом уходит из организма много соли. Простое предупреждение тепловых ударов — дача соли перед тяжелой работой или походом в жару — теперь широко применяется повсюду.

В изменчивых обстоятельствах наша жизнь все время качается на грани смерти, и все же мы живем, делаем гигантские дела, совершаем невероятные подвиги, чудеса физической стойкости и горы умственной работы — вот как хорошо регулируется и сведена в единство вся многообразная сумма процессов жизнедеятельности. Не мудрено, что для воспроизведения нового организма, для передачи по наследству не только сложнейших структур, но и инстинктов, требуются колоссальной сложности наследственные механизмы. В двух родительских клетках — крохотных, видимых лишь под микроскопом, — находятся двойные спирали-цепочки молекул, заключающих всю информацию и всю программу, по которой будет заново создан человек. Не мудрено, что малейшие, неизмеримые для нашей современной техники неточности в соединении молекул обязательно выразятся неточностями в организме.

— Так случилось и с вашим мальчиком, — продолжал Гирин. — Мы еще не можем сказать точно, почему это так, но знаем, что у больного в крови малая концентрация церулоплазмина — содержащих медь белковых молекул. В крови мало меди, а в то же время значительное количество ее находится в моче, — следовательно, не удерживается в организме, выбрасывается. Мало и много — это понятия относительные, на самом деле они выражаются тысячными долями грамма. И вот эта нехватка меди медленно, но верно ведет к перерождению печени и мозжечка... Мы не знаем — как, от нас скрыта еще одна или больше стадий сложных химических превращений.

Едва успел Гирин кончить свою «проповедь», как мать задала ему неизбежный вопрос: можно ли было бы спасти больного, если бы давали ему медь в какой бы то ни было форме?

— Нет, — ответил Гирин. — Ведь те тысячные грамма, которые были нужны для нормальной жизни, он получал с любой пищей. Но организм не мог усвоить их, задержать в себе. А мы не знаем, в какой именно форме медь усваивается, обеспечивая устойчивость организма,

и неизвестно, какой фермент или гормон ответствен за это.

— Но, доктор, может быть, еще не поздно что-то сделать? Может быть, вы... — самые молящие в мире глаза, глаза матери больного ребенка, смотрели на Гирина, — повидали бы его. Он недавно в этой больнице!

И опять прирожденный врач в Гирине не смог произнести жестких слов отказа, объяснить, что неизличимая вообще болезнь зашла, вероятно, уже далеко, что его поездка так же бесполезна, как если бы позвали музыканта или фокусника. Но, как психолог, он знал, что нельзя пренебрегать малейшим шансом, чтобы облегчить горе, уменьшить депрессию и отчаяние матери, мнящей, что она еще что-то делает для погибающего сына. Укоризненно взглянув на огорченного и смущенного геолога, страдавшего и за своих друзей, и за Гирина, Иван Родионович распрощался с ним и пошел к стоянке такси вместе с обоими супругами.

Как это нередко бывает, непрошеный консультант был холодно встречен больничными врачами, и это уже усилило неловкость, всегда испытываемую Гириным, когда ему приходилось поневоле вмешиваться в то, что казалось ему совершенно правильным.

Юноша лежал в трехместной удобной палате около окна и находился в забытьи. Гирин отвел в сторону палатного врача (он, на удачу, оказался в этот вечер дежурным) и вполголоса извинился перед ним, сознавшись, что уступил лишь родителям, а сам знает, что такое вильсонова болезнь. Палатный врач так же тихо сказал, что разрешит осматривать больного хоть десяти врачам, если это облегчит переживания родителей. Гирин крепко пожал ему руку и пошел к больному, твердой рукой откинул одеяло и сел на стул, в то время как родители в коекак напялепных белых халатах переминались около пустой койки рядом.

Красивый, хорошо сложенный юноша лежал совершенно неподвижно. Припухшие веки были сомкнуты с напряжением, придававшим лицу выражение мучительного усилия. На высоком лбу проступали едва заметные капельки пота, побелевшие губы застыли в жалкой гримасе. Гирин отметил хорошую, чистую кожу больного, еще носившую следы прошлогоднего загара, ощупал ступни и кисти, вопреки ожиданию — горячие и сухие. Что-то во всем облике больного намекнуло опытному глазу Гирина

на состояние, не соответствовавшее гибельному заболеванию. Крайняя, каталептическая фаза истерии, а не коматозный эффект тяжкого заболевания. Далекий еще от какого-нибудь заключения, Гирин осторожно ощупал мышцы ног и рук. К удивлению, мышцы были ригидны — тверды и упруги, вовсе не в той степени истощения, как то должно было быть при вильсоновой болезни.

Искра предположения, почти невозможной догадки заставила Гирина, как всегда, напрячься всем телом и задержать дыхание в радостном предчувствии новой возможности, бесконечно далекой от всего того, с чем он шел к постели больного. Он глубоко задумался и не заметил ухода палатного врача. Негромкий голос с койки, стоявшей у другой стены, заставил Гирина очнуться. Старый человек с жидкой бородкой, по-видимому казах, приподнялся на локте.

— Хороший, молодой, ай-яй, пропадает. Жалко, сердце болит. День лежит совсем мертвый, а ночью встает...

— Встает! — Гирин вскочил так резко, что мать больного вскрикнула, а старый казах обиженно поджал губы.

— Говорю, встает, чего пугался? Я неделя как пришел, а он два раза вставал. Молчит, не смотрит, дышит, как загнанный конь. Встанет, обратно упадет на койку, опять встанет. Потом в горле у него зарычит, он — назад падал, как бревно делался. Я подходил, поправлял, чтоб не катился койка на пол.

— А вы говорили что-нибудь докторам?

— Зачем говорил? Кто меня просил? Доктор сам знает. Главный доктор знаешь какой серьезный!

— Ох, спасибо тебе, рахмат, аксакал! — Гирин невольно заговорил по-казахски — он немного знал язык, побывав в Киргизии и Казахстане. — Куп джахсы!

— Что такое? Что он говорит? Вы думаете, есть надежда? — Прерывистая речь матери говорила о крайнем нервном напряжении, могущем перейти в истерический припадок.

— Уведите ее домой, — вполголоса приказал Гирин профессору геофизики. — Не говорите ей абсолютно ничего — взлет надежды, которая не оправдается, может погубить вашу жену. — И Гирин, улыбнувшись старому казаху, пошел искать палатного врача.

Побледневший профессор выскочил вслед за ним в коридор.

— Только одно слово: надежда есть?

— Слабая, почти невероятная, но есть. Только если вы проговоритесь... — и Гирин погрозил увесистым кулаком.

— Хорошо, хорошо, — геофизик всхлипнул.

— Молчать! — сердито приказал Гирин, и профессор скрылся в палате.

Палатный врач и Гирин долго сидели в небольшом холле отделения. К ним подошла заведующая отделением, и врач представил Гирина, коротко изложив существо его соображений. Заведующая опустилась в кресло, скептически глядя на пришельца и сдвинув аккуратно подбритые брови.

— Боюсь, что мне придется не согласиться с вашими доводами, — твердо сказала она, помахивая рукой, чтобы разогнать табачный дым. — Соня, откройте окно, — окликнула она возившуюся у холодильника медсестру.

— Чем вы рискуете в попытке спасти приговоренного? — настойчиво спросил Гирин.

— Чем рискует врач, если способ лечения будет признан неудачным? Когда ничего не смыслящие в медицине родственники начнут дело о якобы загубленной жизни? Разве сами не знаете?

— Хорошо знаю, — горьковато усмехнулся Гирин. — Но тут вам ничего не грозит — родители вполне интеллигентные и умные люди, я объясню им все. А если вы считаете недостаточным, сделаем по-другому. Завтра же родители возьмут сына у вас «под расписку».

— И если он погибнет...

— Вы-то уж отвечать не будете. А если выздоровеет? Как тогда? Ответственность за неверный диагноз и неправильное лечение ведь тоже есть! Решайте.

— Хорошо. Перестанем говорить формально.

— Давно бы так.

И Гирин стал излагать внезапное предположение, возникшее у него в палате. Он говорил, что психиатрам известно множество заболеваний, возникающих только на психической основе. Может развиться даже склероз головного мозга, совершенно не отличимый от возрастного. Количество таких психоболезней резко возрастает в эпохи эпидемий, войн, голода, террора. Это показывает, что главной причиной таких болезней является истерия, не в обывательском смысле, а в медицинском. Зачастую это душевный конфликт в области подсознательной, но в основном это углубляющееся и расширяющееся разобще-

ние сознательного и подсознательного вследствие какого-либо длительного воздействия тяжелых для больного обстоятельств жизни или длительного подавления сильных чувств. Человек бессознательно пытается уйти от тяготящей его, невыносимой для его слабых или ослабевших душевных сил жизненной обстановки. В те же средние века этот уход был во внушенную самому себе инвалидность. Количество паралитиков самых различных возрастов было чудовищно в сравнении с небольшой тогда численностью населения. Таким же неестественно большим становилось количество излечений, поднимавших авторитет религии и церкви. Глубокая истерия, создавая болезнь (часто — самовнушением), в то же время делает человека чувствительным к внушению. Поэтому истерические заболевания дают те внезапные и как бы чудесные исцеления, на какие падки приверженцы религии. Есть и пугающие случаи. Мощные мышцы бедра при спазматической истерии легко переламывают свою же бедренную кость — так называемые автопереломы.

Множество подобных заболеваний наблюдалось в обе мировые войны. К сожалению, врачи еще мало умеют распознавать истерическую, вернее психическую, природу ряда заболеваний. Еще меньше делается для предупреждения их.

— Вы думаете о специальных госпиталях? — спросила заинтересованная заведующая.

— Совершенно верно. Даже не о госпиталях, а о каких-то изолированных от внешнего мира общежитиях, где в условиях строгой дисциплины усталый, находящийся накануне заболевания человек мог бы заниматься несложной работой, преимущественно физическим трудом, и пробыть два-три года, иногда меньше, до восстановления сил. Кстати, монастыри в старину привлекали многих людей именно возможностью передохнуть от конфликта с жизнью, от психического разлада. Немало народу приходило туда, но становилось не монахами, а послушниками, то есть они выполняли определенную работу за келейку и питание. Укрывались там и богачи — те, разумеется, за плату. Но это особый вопрос. Вернемся к нашему больному. Я почти уверен, что у него тяжелая форма истерии с каталептического характера трансами.

— Но ведь в моче — верный признак вильсоновой болезни. И все другие симптомы...

— Попробуем быть диалектиками. Недостаточность энзима вызывает потерю меди, а эта потеря ведет к поражению определенных участков мозга. Перевернем ситуацию. Поражение, или психическое подавление, тех же участков мозга ведет к изменению биохимии организма, потере этого самого энзима и выделению меди. Возьмите болезнь Граве или психическую базедову болезнь — разве здесь нет серьезного нарушения гормонального биохимического равновесия?

— А ведь получается неплохо, — вырвалось у палатного врача, но он умолк, искоса взглянув на свою серьезную начальницу.

— Что ж будем делать? — спросила та уже гораздо мягче. — Пожалуй, следует прежде всего проверить ваше предположение. Я попрошу доктора Синицына сейчас же позвонить родителям Миши и расспросить о периоде, предшествовавшем заболеванию. С точки зрения психической депрессии.

Палатный врач встал и пошел к телефону.

— Великолепно! — воскликнул Гирин. — А потом, вероятно, следует начать с успокоителей. Этих зонтиков, широко защищающих мозг от всяких потрясений.

— Зонтиков — какое меткое название! — рассмеялась заведующая. — Биохимики прямо поэты. Мне так и представляется широкий зонтик, раскрытый над обнаженным мозгом больного!

— А собственно, так и есть. Все эти родственные атропину, да и кураре, успокоители отлично действуют даже при эпилепсии. Итак, мелларил. Дадим вдвое.

— А потом?

— Проконсультируемся с профессором Рогачевым насчет гипноза. По-моему, хорошее внушение, и вильсонова болезнь, если она мнимая, исчезнет. Это я беру на себя, а вы — зонтик. Идет?

Заведующая кивнула, глядя в конец коридора, откуда появился палатный врач.

— Выяснили?

— Ничего особенного. Перед заболеванием мальчик был очень угрюм, молчалив, но ни в чем не признавался родителям, не подтвердил ни одного предположения матери: несчастная любовь, плохая компания и тайная болезнь: этот набор у всех матерей одинаков.

— И, кстати, наиболее част на самом деле, — сказал Гирин. — Но это выяснится потом, а сейчас похоже на

депрессию, отчего бы она ни произошла. А долго было это состояние, не сказали?

— Сказали. Около года.

— Вполне достаточно. Эх, родители! То слишком вмешиваются, портят жизнь и психику детей, то предоставляют им свободу, когда этого делать нельзя. Скоро ли мы сумеем давать обществу правильно воспитанных детей? Когда поймем, наконец, что воспитание — самое важное дело и здесь нельзя пренебрегать никакими возможностями?

— Какой вы странный человек, — сказала заведующая. — Огорчились, будто вам самому нанесли большой ущерб.

— А кому же? Я частица нашего общества и страдаю, если в нем еще не все идет как надо. Это касается меня непосредственно: ведь я живу в этом обществе, и ни в каком другом жить мне не придется. Значит, обо всем договорились и действуем. Только пока матери — ни гугу.

Заведующая и палатный врач проводили Гирина до самой лестницы, и прощание было совсем не похоже на встречу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
КОРОЛЕВА УЖЕЙ

Сима лежала на диване, закинув руки за голову, и старалась войти в то расслабленное, с приглушенными мыслями состояние, которое помогает спортсмену избежать «скованности» или нервного перенапряжения. Даже любители спорта, хореографии, циркового искусства, музыки не знают, как много талантливых людей не смогли добиться настоящего успеха из-за того, что их нервная система в самый ответственный момент как бы цепенела, лишалась той точнейшей, поистине музыкальной, координации, которая нужна каждому, кто превращает свое тело в инструмент для выражения чувств, выносливости или силы.

Бывает так: долгая тренировка отработала точную координацию движений, мышцы развиты и полны накопленной силы, сердце сделалось неутомимым двигателем, готовым перекачать те тонны крови, что пройдут через него во время спортивного соревнования или артистического выступления. И вдруг словно тайная отрава поражает мозг: внезапное предчувствие беды, поражения или страха, может быть, какое-то психическое воздействие вроде гипноза со стороны почему-либо недоброжелательных или скептических зрителей. Тогда у неустойчивых душевно людей возникает самовнушение. Достигнутый долгим трудом автоматизм действий, переведенных из сознательного в подсознательное, переходит обратно в ведение сознания, уже отравленного случайным внушением. И все! Великолепная координация разлаживается, мышцы скованы устрашившимся сознанием, вместо плавных движений совершают рывки, вместо мгновенных рывков — замедленные, заторможенные усилия. И надолго, если не навсегда, поселяется в душе артиста или спортс-

мена страх выступления, иного заставляя даже расставаться с любимым занятием, избранным по призванию и по способностям.

Вот почему психическая тренировка человека, призванного служить своим телом искусству или спорту, не менее важна, чем всякая другая. Это одна из причин, почему, например, балетные школы, чтобы создать безупречных артистов, начинают обучение с детского возраста. Но у многих спортсменов, неожиданно пришедших к спорту, срок тренировки и обучения гораздо короче, и тут-то меры психического воспитания чрезвычайно важны.

Сима знала это, но для ее здоровой психики со слитой в единое целое сознательной и подсознательной работой мозга не было проблемы скованности. В художественной гимнастике еще помогает музыка. Музыка создает настроение, поддерживает ритм, помогает соразмерности поз силой звучания. Другое дело — выступления на снарядах, под безмолвным взглядом тысяч глаз, оценивающих каждый поворот тела, каждый взмах руки или сгиб ноги. Но и здесь приходит на помощь веселый задор, огненное чувство уверенности, какое дает лишь упорная тренировка.

Сима подняла руку и посмотрела на часы. Рита скоро придет помочь разучивать новую композицию, а она еще не переоделась. Сегодня ей никак не удается сосредоточиться и продумать вторую, медленную часть выступления. Мысли возвращаются к недавной встрече на выставке московских художников. Перед Симой вновь, в который раз, встала в памяти сцена: группа людей у подножия огромной деревянной статуи, скептически равнодушные или насмешливые лица. А среди них доверчивый и в то же время с глубокой внутренней уверенностью, слегка наклоняя голову и простодушно спрашивая знатоков искусства, стоит он, этот любопытный врач-искусствовед, Иван Гирин. Такое русское имя и весь облик, дисциплина и точность во всех движениях, мыслях, сдержанная речь, глубокий голос.

Сима не терпела дешевой насмешки, того вульгарного осмеяния, которым люди невежественные или слабые нередко прикрывают свое недоверие к новому, зависть к красивому, испуг перед глубиной знания. Ей показалось, что художники хотели посмеяться над незнакомцем, посмевшим как-то обосновывать свой собственный взгляд

(совпавший с восприятием Симы) на произведение скульптуры. Полная сочувствия, она послала ему мысленное одобрение. А он вовсе не был смущен или робок и не то чтобы показал знание законов искусства, но изложил захватывающе интересные соображения о существе прекрасного.

Получилось просто и неизбежно, что они познакомились и пошли вместе, говоря так же открыто и просто обо всем, что глубоко затрагивало и волновало обоих. Сима впервые встретила человека, для которого многое в науке было открытой книгой. Благодаря ему оно стало доступно и Симе, умеренно образованной, обыкновенной женщине, для которой радость тренированного, гибкого и сильного тела, что скрывать, не раз казалась стоящей многих серьезных книг. Благодаря Гирину Сима словно отдернула завесу обычной жизни.

Легкий стук в дверь прервал ее мысли. На пороге появилась Рита Андреева, высокая, золотоволосая, с веснушками на симпатичном мальчишеском лице.

— О великий и мудрый халиф! Я прихожу к тебе смиренным музыкантом и застаю твое величество овеянным восточной негой. Прикажешь ли ожидать своему визирю? Или, быть может, Гарун-аль-Рашид захворал, да сохранит его аллах!

Расхохотавшись, как школьница, Сима вскочила, наградила подругу поцелуем и большим апельсином и принялась надевать спортивный костюм за раскрытой дверцей шкафа. Рита была еще первокурсницей в институте физкультуры, когда, подружившись, они придумали эту наполовину игру, наполовину серьезную деятельность, продолжавшую тимуровские мечты детства. Подруги занялись «самодеятельностью». Как романтический халиф арабских сказок, по вечерам переодевавшийся в простолюдина и вместе с великим визирем обходивший город в поисках нуждавшихся в помощи несчастных, Сима приняла имя Гарун-аль-Рашида. Была приобретена толстая тетрадь, куда записывалось содеянное — самые разнообразные дела, по существу, весьма скромные, ибо какие возможности были у двух девчонок, кроме добрых сердец и сильных ног?

— Поиграй что-нибудь, я разомнусь, — сказала Сима, выходя из-за шкафа.

Рита тщательно вытерла смоченные липким апельсиновым соком пальцы и уселась за пианино, огласив ком-

нату торжественным гавотом. Сима начала разминку, глядясь в зеркало, занимавшее всю стену бедно обставленной, просторной комнаты.

— Пока можно с тобой разговаривать? — спросила Рита. — Вообще-то есть серьезное дело, гарун-аль-рашидское, но о нем после. А пока... ты знаешь, я люблю трещать, как говорил твой бывший муж.

— Только я буду молчать, чтобы не терять дыхания.

— Знаю. Я вдруг вспомнила, как ты рассказывала о своей приемной матери. Давно еще, когда я впервые пришла к тебе, я удивилась, что у одинокой девчонки большая комната, пианино да еще зеркало такое. Это от нее и твой английский язык, и знание искусства?

— Да, она воспитала и выучила. И положила массу труда, чтобы я стала образованной. А я не сумела. — Сима закружилась, сделала несколько прыжков и, перевернувшись через голову, оказалась на диване. — Теперь пять минут отдыха, и начнем композицию. В нотах я отметила, что пропустить. Ты уже разыгрывала адажио из «Эгле»?

Вскоре лицо Симы стало сосредоточенным. Она встала перед зеркалом в застывшей позе, выдвинув вперед правое плечо и скрестив опущенные и напряженные руки.

— Я начну прямо с этой, как ее... замедленной части? — спросила Рита.

Сима молча кивнула. Рита заиграла, стараясь следить и за нотами и не упускать из виду отраженную в зеркале подругу.

Композиция, задуманная Симой, была нелегка. Размеренный шаг аккордов отражался в резковатых, с внезапными остановками движениях гимнастки, которые показались бы отрывистыми, если бы не сменялись плавными, как бы растянутыми переходами. Гимнастка хотела создать композицию, соответствовавшую темпу современной жизни и частой, нервной смене впечатлений. Сима давно сказала Рите, что многие танцы, вернее выражение чувств в них, созданы по образцу прошлых времен, когда у женщины имущих классов было много времени на сложнейшее развитие ощущений и эмоций, когда ей надлежало переживать муки и радость любви во много раз сильнее, чем мужчине, безраздельно поддаваться страсти, быть шаловливой, быть забавной. А Симе хотелось, чтобы в ее танцевально-гимнастической сюите была совре-

менная женщина, тоже чувствующая сильно и глубоко, но пытающаяся осмыслить свое место в жизни и мире. Женщина, занятая разнообразным делом, а не только ожидающая прихода избранного мужчины. Вряд ли задуманное полностью удалось, но что-то получалось, серьезное и красивое.

— Финал играть? — спросила Рита, не останавливаясь.

— Да, да!

Быстрые, почти неуловимые движения Симы сменялись мгновенной остановкой в позе, полной пластического изящества, неподвижность которой подчеркивалась коротким, резким, вызывающим заключительным сгибом руки, поворотом головы или раскрытием пальцев. Резко поднятая и остановленная нога, сгибание или выпрямление кистей закинутых над головой рук казались смешливыми после трудных балетных па гимнастического танца.

И превосходное сложение Симы сделало танец похожим на кинокадры с отточенного произведения живой скульптуры. Смена выразительных поз в ритмической последовательности, и все тело застывало в немыслимой балансировке, а резкие заключительные движения рук как бы говорили о том, как легко и весело гимнастке. Адажио кончилось.

— Еще раз финал! — отрывисто потребовала Сима.

— Отдохни!

— Нет! Я не устала.

Рита играла снова и снова, пока Сима не попросила перерыва. Рита, повернувшись на винтовом табурете, пристально смотрела на подругу.

— Ты хороша! Прямо по-свински хороша!

— При чем же тут свинство? Хороша, как свинья? И это дружеское одобрение?

— Перестань! Не прикидывайся, что ты ничего не понимаешь! Свинство заключается в том, что у тебя все так ладно: и фигура, и движения, и чутье при исполнении. Сколько бьешься, чтобы все это привести в соответствие, а у тебя оно готовое... Помнишь австрийскую фигуристку, выступавшую на показательных соревнованиях в апреле, Карин Фронер?

— Конечно. Помню ее произвольную композицию — танец «модерн». И что же?

— Она совсем такая же черненькая симпатяга, и фигура в точности твоя.

— Рита, милый мой визирь, — Сима усадила подругу и обняла ее за плечи, — а мне вот хочется быть повыше, такой, как ты. И с таким же легким телом, как у Люси. Вспомни ее прыжки! Куда мне! А вспомни эту дивную маленькую девчушку, Лену Карпухину. Несомненно, будет чемпионка. Гибкость, подлинное изящество, не могу точно выразить, красивая свобода движений, быть может. И все ладно в этом ее крепком теле, несмотря на рост.

— А ты очень похожа на Карпухину, знаешь? Только, конечно, взрослее и — очень женщина, в этом твоя особенность и твоя сила. Мужчины должны бы повалиться к ногам твоим и на руках тебя носить.

— Они и рады носить, только быстро роняют, — рассмеялась Сима, — как Георгий, мой бывший муж. Ну, ты его знаешь!

— А другие? Ведь на нем свет клином не сошелся.

— Не сошелся, ничуть. Но как-то получается, что от тебя требуют быть такой, какой им хочется. Стараются тебя слепить по подходящей для них форме. И беда, если ты оказываешься сильнее! Тогда им надо выказать свое превосходство, а если его нет, то, значит, надо унизить тебя, пригнуть до своего уровня и даже еще ниже.

— Ух, это я знаю! — важно согласилась Рита. — Ну, поставим чайник? Кончили?

— Если не устала, еще разок? До девяти часов, хорошо?

И Рита играла адажио из балета Бальсиса еще целый час, а Сима старательно отрабатывала свою произвольную программу. Наконец она умчалась под душ, оставив Риту в задумчивости перед пианино.

— Что ты скажешь о моей программе? — спросила Сима, причесывая свои густые волосы.

— Знаешь, все хорошо. Но... — Рита подумала, собираясь с мыслями, — я бы искала что-то другое. Тут нет завершения, последнего взлета, какого-то отчаянного накала, ну того, чем бы должна закончиться композиция, идущая так сильно. Я бы даже сказала, что она чуть холодновата для тебя. Впрочем, может быть... — Рита умолкла.

— Что может быть? Я сама кажусь тебе холодноватой?

— Иногда. Но и как-то странно: где бы женщине надо быть пылкой — ты спокойна, а порой проявляешь прямо яростный темперамент.

— О, интересно! А ведь ты, наверно, права, — ответила Сима, садясь на край дивана. — Мне почему-то всегда думалось, что любовь сильных и здоровых людей должна быть легка и светла. В ней ничего не искажается и не подавляется. А если проходит, то тоже без «самораздирательства», без мрака и безысходности. У меня так и получалось — проходило легче, чем у других людей. Но не потому, что я прыгала по верхушкам.

— Не потому, — согласилась Рита. — Я тебя достаточно знаю, чтобы не сделать предположения, какое, наверное, пришло бы некоторым в голову. Если у тебя разные интересы, если захватывает работа, тогда понятно, что ты не та женщина, у которой один свет в окошке — ее любовь.

— Может быть. Всегда бывало так: горько, печально, тяжело, и в то же время где-то в глубине таится уже какое-то облегчение: вот все кончилось, и стало по крайней мере ясно.

— И одиноко и пусто.

— Да. Вот этот страх одиночества, по-моему, самый сильный у нас, женщин. Сколько хороших девушек поспешили из-за него выскочить замуж за первого попавшегося и до сих пор расплачиваются за эту поспешность. Одиночество пугает, как представишь себя больной, пожилой... Да, этот страх всосан с молоком матери, он идет от старой деревенской жизни, когда действительно одинокой женщине предстояла нищета, горькая жизнь. Не то теперь. Женщина умеет заработать свой хлеб не хуже мужчины, вокруг нее много людей, она всегда может найти себе дело и в старости. — И Сима потянулась, унесшись мыслями к событиям позавчерашнего дня, пока Рита не встряхнула ее за плечо.

— Что с тобой, о несчастная? Ох, халиф, уж не влюбился ли ты в какую-нибудь рабыню из далекой страны?

— Нет, я лишь подружился. Она во-от такого роста.

— Что-то новое, Сима! Ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной?

— Как хочется верить! Иногда мне кажется, что мы, современные люди, еще не доросли до этого. Во всяком случае, двое хороших мужчин говорили мне о дружбе, а кончили... Один подолгу объяснял, что он тоскует без женщины-друга, что сейчас совсем прекратилась дружба между мужчиной и женщиной из-за засилья мещанства,

что было бы так замечательно дружить без обязательного требования любви, от которой он устал. Но ничего не вышло!

— Может, вышло бы, будь ты похуже?

— Не знаю. Но уверена: в дружбе не так, как в любви, дружба требует обязательной взаимности. И равенства во что бы то ни стало. Но не в смысле одинаковости. Понимаешь?

— Конечно, и, думается, ты права, Сима. Но расскажи о рабыне халифа.

— Я люблю таких людей за то, что они работники в полном смысле этого слова!

— Как мой отец и мама! — воскликнула Рита. — Мама говорит, что никогда не устает, если ей что-либо интересно или нужно позарез.

— Мне надоели люди, считающие, что они все уже сделали для семьи, государства и себя. Часто это скрытые бездельники...

— Сколько же все-таки лет рабыне?

— Она не очень молода, честно говоря, много меня старше.

— Не знаю, не знаю, — неодобрительно покачала головой Рита.

— Ты выглядишь разочарованной. Что тебе не нравится?

— Я могу поклясться, что ты увлечена, Сима. Но мне всегда думалось, что у тебя появится такой настоящий, достойный тебя и ты станешь для него богиней, зажигающей его, он должен дрожать от желания и нетерпения. И он будет фантазер, неистощимый на выдумки и неутомимый в старании выразить свою любовь, восхищение. А пожилой... Я понимаю: знание, опыт жизни, чуткое понимание, все эти рассказы о пережитом... И все это ничего не стоит перед большой и юной любовью.

— Ты забываешь, что я уж не юна сама, и потом... все это уже было у меня. И если б ты знала, как быстро исчезает новизна, если нет обоюдного понимания пути, я не знаю, как лучше сказать. И, конечно, мне нужно, чтоб был у обоих интерес ко многому, а у него еще знание.

— Я жду другого. Пусть он будет весь в мечтах обо мне, пусть будет восхищаться мной и ревновать, пусть даже будет какая-то доля мужской свирепости, чтобы я чувствовала себя сразу и богиней, и покорной невольницей!

— Ой, это кончится плохо, Рита! Времена корсаров

и рыцарей миновали. Твой партнер в жизни будет скорее всего следить, как бы ты не заставила его делать больше, чем делаешь сама.

— Не смейся, халиф, я совершенно серьезна. Не выйдет, то обрету опять свободу.

— Свобода возможна лишь при условии большого одиночества, это люди часто не понимают и ты тоже. Лучше будем пить чай. И что за дело к халифу?

Рита рассказала о происшествии, взволновавшем всех ее учениц в общежитии. Одна из работниц, юная, хрупкая, беленькая девушка, Надя, полюбила молодого, только что «испеченного» летчика, статного и самоуверенного. Ни у кого из них не было комнаты, поэтому подруги, потеснившись, выделили для молодоженов небольшую комнату в общежитии на время, пока они найдут себе пристанище. Ночью подруги Нади, еще занятые уборкой после свадебного пиршества, стали свидетелями мерзкой сцены. Дверь из комнаты молодых распахнулась. Летчик, кое-как одетый, с чемоданом в руке, обернулся на пороге, выругавшись. Его молодая жена, рыдая, цеплялась за рукав разъяренного мужа и, грубо отброшенная, упала на колени. «Проститутка!» — заорал летчик и выскочил из общежития.

Прибежавшие подруги подняли Надю, усадили на постель, прикрыли одеялом. Из бессвязных всхлипываний удалось понять, что Надя не была невинной девушкой, но побоялась сказать об этом своему любимому. Она думала, что как-нибудь скроет то, что было коротким и неудачным романом ее юности. Но летчик почел себя оскорбленным в лучших чувствах, ограбленным и обманутым. Никакие мольбы не тронули ревнивца, он так и не появился больше.

— Может быть, ты придешь поговоришь с ней? Надя твердит одно: жизнь кончена, сама себя погубила, кому нужна теперь такая?

— Ну уж и летчик, изувер какой-то! — возмутилась Сима.

— А ты взгляни по-другому. Его так воспитали. Так считается у мужчин, что очень важно, если он первый. Найдешь в любом романе.

— Нашла, на что ссылаться, на книжное старье.

— При чем тут старье? Возьми некоторые наши современные произведения — там тоже герои очень чувствительны в этом отношении. Упаси бог, чтобы у героини

был кто-то раньше, начинаются терзания, унижения. Так чего же ты от парня хочешь? Он мечтал, чтобы все было, как его учили. А дурешка Надя оказалась трусихой и не смогла ему сказать!

— Насчет книг ты права, Маргарита. Но с трусихой... Что же, встань во фронт и рапортуй: знаешь, я не невинна, хочешь — люби, а хочешь — нет? Что-то есть в этом противное...

— И в то же время ничего не сказать тоже нехорошо. Будто прячешься от того, кто должен стать самым близким на свете, — возразила Рита.

— Да, и так и этак получается неладно. Как же быть? — задумалась Сима. — Ага, вспомнила, кто говорил о тончайшей линии, как лезвие бритвы, проходящей между двумя неверными крайностями. Маргарита, я позвоню ему, посоветуюсь насчет Нади.

— Кому это? Ох, Серафима, с чего это вдруг понадобились тебе советы? Разве поглупела?

— Не говори глупостей сама!

— Да кто же он, в конце концов? Академик, профессор?

— Без столь высоких званий. Научный сотрудник или врач, не знаю точно.

Профессор геофизики яростно наседал на Андреева, требуя адрес Гирина. Тот уверял, что еще не знает, где живет недавно приехавший в Москву приятель и что адресный стол тоже не поможет: Гирин, наверно, прописан еще временно. Геофизик разразился проклятиями.

— Наташа меня казнит, если я вернусь без адреса. Она говорит, что никогда раньше не испытывала такой неистовой благодарности.

— А он сказал бы, что это последствие перенапряжения психики. Посоветовал бы лекарство, чтобы избавиться от диких порывов.

— Посмей-ка это сказать Наташе, когда сын уже встает. Несколько приемов лекарств, два сеанса внушения, и чудо совершилось! — крикнул геофизик.

— То-то и хорошо, что нет чуда. Просто эрудиция и ясный ум врача. Но я сообразил, как ты можешь узнать адрес: позвони в его институт, я случайно запомнил название. Только, право же, зря.

— Так ведь для Наташи... Нет, вру, и для себя тоже.

...— Верочка, вот конфета, большущая. В связи с окончанием можно бы и поцеловаться... Впрочем, не стоит, у тебя вид сердитый, — сморщился студент Сергей, помощник Гирина. — А что теперь, Иван Родионович? Может, вашим займемся?

— Займемся. Мы наработали столько материала для нашего профессора, что ему разбираться хватит месяца на три. По договоренности, я могу теперь воспользоваться лабораторией... и вами, если захотите.

— Еще бы! Вы говорили насчет эйдетики?

— Угадали. Ею и займемся. Подобраны интересные люди.

— А что это такое, Иван Родионович? — спросила лаборантка.

— Иногда встречается необычайно сильное зрительное воображение. Мысленные картины такой поразительной яркости и живости, что они кажутся реальнее подлинной жизни. Если поставить перед таким человеком экран, то он, рассказывая, как бы проецирует мысленные изображения на него, словно смотрит через окно на происходящее в действительности.

— А эта возникшая картина так и остается неизменной в его уме?

— Обычно. Но бывает и так, что проходит последовательно сменяющийся ряд картин, следуя, очевидно, развитию воображаемой истории.

— Ух как здорово! Я бы хотела обладать этой способностью.

— А может, она была и у вас. Эйдетическое воображение вовсе не так редко, встречается у многих детей, впоследствии утрачивающих эту способность.

— Ручаюсь, Верочка, что у вас ее никогда не было, — вмешался Сергей.

— Это почему?

— Иначе вы непременно влюбились бы в меня.

Гирин с улыбкой наблюдал за дружеской пикировкой своих молодых помощников, продолжая размышлять над предстоящими опытами. Вся суть поставленной им проблемы заключалась в том, что в отдельных случаях эйдетическое воображение детей показывало больше информации, чем они могли успеть получить всеми доступными им способами из внешнего мира. Идеалисты объясняли эту избыточную информацию или существованием некоего мира нематериальных психических восприятий, откуда

душа ребенка якобы могла получить самые необычайные сведения, или чаще памятью прошлой жизни, если следовать учению о переселении душ, странствующих из тела в тело после смерти. Естественно, наука не могла принять идеалистических «разъяснений». Но, отрицая категорически мистику, надо было добиться настоящего понимания. С развитием кибернетики многие непонятные процессы мышления и памяти стали приобретать зримые материальные контуры. Гирин теперь мог обратиться к опытам, пусть еще только нащупывающим метод, пусть не достигшим той целеустремленности, какой отличаются научные исследования, уже накопившие много фактов. Ему надо было найти взрослых людей, сохранивших способность эйдетики, людей, которые могли бы добровольно подвергнуться опытам и сумели бы описать свои ощущения. Такие люди нашлись: девушка-студентка, инженер, художник и электромонтер. Все горели нетерпением послужить науке, нужно было только время, а вернее — свободная лаборатория. Теперь пора!

— Вас, Иван Родионович! — окликнула его лаборантка из дальнего угла лаборатории и подала ему трубку.

Гирин не сразу сообразил, кому принадлежит этот негромкий голос и что по телефонному проводу принеслась к нему настоящая радость. Явственный для Гирина оттенок волнения говорил ему, что разговор был небезразличен и для позвонившей, от этого ему стало еще приятней. Он сказал, что удобнее всего ему прийти сегодня же, потому что завтра начинаются опыты, и получил согласие. Гирин постоял у телефона, рассчитывая время. Здесь его настиг студент, собиравший оставшиеся от прежней работы записи, диаграммы, схемы полей зрения, черновые протоколы опытов.

— Завтра начнем, Иван Родионович?

— Обязательно. Монтер работает в вечернюю смену, так мы его с утра. Я позвоню ему.

— А что готовить? Только экраны, карандаши и общий медицинский набор?

— Нет, пусть Вера приготовит и энцефалограф. Большой. Электроды будем ставить лишь на заднюю половину головы, одиннадцать штук. Лекарства я принесу, шприц тоже свой, мне привычнее.

— Разве прием лизергиновой кислоты не через рот?

— Через рот. Но всякое может быть. Да, вот хорошо,

что зашел разговор, — на всякий случай заготовьте кислород: баллон и маску, не подушки.

— А разве...

— Опыт ставится на человеке, и хотя опасности нет, но ничего не должно быть упущено, — нетерпеливо сказал Гирин. — Психика иногда выкидывает такие вещи... Ну, мне пора. Заканчивайте и вы, отдохните как следует. Идите гулять, в кино, повезите Верочку домой на пароходике. Вечер на редкость теплый. До свиданья.

Оставшись вдвоем, студент и лаборантка переглянулись.

— Это сегодня-то теплый вечер! Холодище, без пальто не выйдешь, — удивленно сказал студент.

Верочка улыбнулась так многозначительно, что Сергей воскликнул:

— Неужели звонила «она»?

— Разумеется. Какой ты глупый еще, Сережа!

— Не верю. Это ты нарочно. Такую кибернетическую машину, как наш Иван Родионович, разве свернешь? Голову закладываю, что это очередной объект для опыта!

— Если голова не очень нужна, то можешь. Я бы на твоем месте не отдавала и пальца.

— Да ну! А какая она... по голосу?

— Ничего, голос приятный, говорит вежливо и спокойно.

— Я не про то. Лет сколько, раз уж ты насквозь все видишь?

— Да как сказать... Пожалуй, молодоват голос-то. Но довольно трепаться! Собираемся, пошли! Выполняй приказ — вези на речном трамвае.

Гирин вернулся домой поздно.

Они с Симой долго бродили по великолепной липовой аллее Воробьевского шоссе. Сима поведала о несчастной Наде. Гирин обещал сразу же после лекции у художников показать Симе малоизвестную страницу истории средневековья. Они пойдут в библиотеку и посмотрят на чудовище, причинившее наибольшие муки и вред женщинам всей Европы. Корни ревности и злобы, разрушивших счастье кроткой Нади, идут оттуда. Гирин думал, что понимание этой связи вооружит Симу, а через нее и Надю мужеством, достаточным для того, чтобы справиться с крушением любви.

Посадив Симу в троллейбус, Гирин пошел домой пешком, перебирая встревожившие его воспоминания.

В квартире все давно спали. Гирин осторожно снял пальто и подошел к столу. На стене висела красочная репродукция. Отвернувшись от темноты ночи, озаренная ярким светом, на краю стола сидела, скрестив ноги, девушка в белом костюме Пьеретты. Она откинулась назад, высоко поднимая розу. Тонкая ткань не скрывала линий ей цветущего тела. Полумаска, скрывавшая часть лица, казалась равнодушной в резком контрасте со сверкающими зубами и приподнятыми беспечным смехом холмиками девичьих щек. Короткая пышная юбочка высоко открывала ноги, переплетенные и согнутые для удержания равновесия. Миг огненного веселья на грани света и мрака, выхваченный и остановленный искусством художника. Секунда — и девушка вскочит на стол, танцуя, или спрыгнет и скроется во тьме ночи...

Гирин снял со стены репродукцию, повернул ее так, чтобы не отсвечивало стекло, и прочитал стихотворные строчки, написанные крупным четким почерком наискось в правом нижнем углу:

Если узнаешь, что ты другом упрямым отринут,
Если узнаешь, что лук Эроса не был тугим...

Яркое воспоминание тоскливо стеснило грудь, но Гирин отбросил его, подумав, что память, особенно когда дело идет о давно прошедшем, вещь очень коварная. Ведь мы запоминаем преимущественно хорошее, яркое, сильное, а длинные куски незначащей жизни тонут в одинаковой череде дней. Всегда и везде с осторожностью относитесь к воспоминаниям людей старшего поколения. Они вовсе не думают обманывать себя и других, но сами видят вместо прошедшей жизни мираж отобранных памятью ощущений и образов, окрашенных вдобавок тоскливым сожалением о днях выносливой и здоровой молодости, быстро отдыхающей, крепко спящей. И полагающей, что так будет всегда, что естественный конец всего живого ее или не касается, или скрыт в неведомой дали. В общем получается, как в литературном произведении. Жизнь как будто и настоящая, реальная, но в то же время концентрированная — большие переживания и впечатления заслоняют собой медленные тоскливые дни с их мелкими разочарованиями. Вот так и тут: он, Гирин, вспоминает не действительность прошлого, а некий экстракт самого лучшего, красивого и милого сердцу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ДВЕ СТУПЕНИ К ПРЕКРАСНОМУ

Небольшой зал на Кропоткинской оказался сверх ожидания заполненным, и преимущественно молодежью. Пожилых и состарившихся «вельмож» изобразительного искусства можно было узнать в первых рядах по скучающему или нарочито презрительному выражению лиц. Гирин не раз уже встречался с этим удивительным для людей советского общества желанием напускать на себя глупую надменность.

Он смотрел в зал внимательным, ничего не упускающим взглядом натуралиста и увидел в шестом ряду Симу, высоко поднявшую круглый твердый подбородок, чтобы смотреть поверх голов. Мгновенное, как искра, ощущение радости объяснило, насколько привлекательна для него эта девушка. Странно, почему именно сейчас, в разгар напряженных поисков, сражений с косностью и лицемерием, с вечным сожалением об упущенном времени.

И, несмотря ни на что, вот она сидит, не видя его, в платье кофейного цвета, и ее присутствие в чем-то важнее для него всего остального. Или человеческое сердце всегда остается открыто прекрасному, и каждая встреча с ним обновляет вечное бессознательное ожидание нового, ради которого, собственно, и стоит жить?

Гирин скрыл улыбку и вышел на кафедру, не отрывая глаз от Симы. Ее лицо осветилось откровенной радостью.

Председательствующий объявил о начале доклада.

— Я не назвал бы своего выступления докладом, — медленно и четко сказал Гирин. — Проходя по залу, я слышал некоторые высказывания обо мне и будущем выступлении. Одни, наиболее молодые, говорили, что с удовольствием послушают, как высекут зазнаек и мазилок.

Другие, постарше, заявили, что с наслаждением разгромят докторишку, вздумавшего учить художников уму-разуму. Могу вас уверить, что я пришел сюда не для того, чтобы учить, сечь или быть разгромленным.

Мне думается, тут не митинг политических противников, не судьбище и не стадион. Я рассчитываю здесь подумать над труднейшими вопросами человеческой природы вместе с умными и жаждущими познания людьми. Может быть, впервые за всю историю человечества наука дает возможность решать эти вопросы.

Аудитория стихла, заинтересованная необычным выступлением. Гирин продолжал:

— В 1908 году на дне Эгейского моря, близ острова Тера, который сейчас ученые считают центром Атлантиды, водолазы нашли остатки древнегреческого корабля первого века до нашей эры — точно не установлено. С корабля, в числе прочих предметов, подняли странный бронзовый механизм: сложное переплетение зубчатых колес, несколько похожее на механизм гиревых часов. В течение полувека ученым не удавалось разгадать тайну этого механизма. Только теперь выяснено, что это своеобразная счетная машина, созданная для вычисления планетных движений, очень важных в астрологии тех времен.

Но дело не в машине, а в том, что мы не смогли понять ее назначения до тех пор, пока сами не создали подобных же инструментов, конечно, гораздо более совершенных. И тысячелетия мы стоим не перед примитивной машиной, а перед высочайшим и сложнейшим совершенством биологических механизмов, управляемых теми же законами физики, химии, механики, что и любые созданные нами машины. Только в самые последние годы — между сороковыми и пятидесятыми годами нашего века — совершился небывалый взлет, беспредельное расширение горизонтов науки. Все человечество уверилось в ее могуществе, злом или добром — это зависит от нас.

Взлет науки дает нам силу приступить к изучению самого сложного творения природы — мыслящего существа, человека. Мы изучали его и раньше, но наивно думали, что простой скальпель, весы и примитивный химический анализ могут решить вопросы, для понимания которых нужны квантовый микроскоп, электронные анализаторы и счетные машины. Биология и все науки о че-

ловеке получили возможность вскрывать особенности организма, прежде недоступные нашему пониманию.

Гирин говорил о гигантской длительности пути исторического развития животных, давшего, наконец, человека. Говорил о миллионах тончайших связей, пронизывающих все клетки организма нитями, протянутыми во внешний мир, отзывающимися на различные излучения, световые, тепловые, звуковые, молекулярные, магнитные потоки, несущиеся и вибрирующие вокруг нас. Рассказал о наследственных механизмах, передающих не только всю нужную для создания нового человека информацию, но и огромную память прошлых поколений, отраженных в инстинктах и в подсознательной работе мозга. В последнем находится как бы автопилот, ведущий нас через все обычные изменения окружающей обстановки без участия сознательпой мысли, надежно охраняющий от болезней, непрерывно следящий за той регулировкой организма, которую ведут и нервная система, и более древняя система химической регулировки — гормоны, энзимы.

Мозг человека — колоссальная надстройка, погруженная в природу миллиардами щупалец, отражающая всю сложнейшую необходимость природы и потому обладающая многосторонностью космоса. Человек — та же вселенная, глубокая, таинственная, неисчерпаемая. Самое главное — это найти в человеке все, что ему нужно теперь же, не откладывая этого на сотни лет в будущее и не апеллируя к высшим существам из космоса, все равно под видом ли астронавтов с других звезд или богов.

У человека область подсознательного очень велика. Емкость инстинктивной памяти, в ней заключенной, трудно даже себе представить. В дикой жизни подсознательные психические процессы играют первостепенную роль в сохранении вида, и животные в гораздо большей степени автоматизированы, роботизованы, чем мы это представляли себе раньше.

— Дикая жизнь человека, — тут Гирин поднял ладонь высоко над полом, — это вот, а цивилизованная — вот, — он сблизил большой и указательный пальцы так, что между ними осталось около миллиметра. — Мозг — это природа и вселенная, но вселенная не одного лишь текущего момента, а всей ее миллионолетней истории, и опыт мозга отражает не только необъятную ширину, но и изменчивость природных процессов. Отсюда и диалек-

тическая логика — выражение сущности этого мозга, а наша психика, отражающая внешний мир, — это такой же процесс и движение, как все окружающее.

Основы нашего понимания прекрасного, эстетики и морали восходят из глубин подсознания и, контактируя с сознанием в процессе мышления, переходят в осмысленные образы и чувства. Простите, знаю, что объясняю плохо. На этом можно и закончить затянувшееся вступление. Остается сказать, что все наше чувство прекрасного, эстетическое удовольствие и хороший вкус — все это освоенный подсознанием опыт жизни миллиардов предыдущих поколений, направленный к выбору наиболее совершенно устроенного, универсального, выгодного для борьбы за существование и продолжение рода. В этом сущность красоты, прежде всего человеческой или животной, так как она для меня, биолога, легче расшифровывается, чем совершенство линий волны, пропорций здания или гармонии звуков.

Надо понять, что я говорю о красоте, не касаясь того, что называется в разных случаях очарованием, обаятельностью, «шармом», того, что может быть (и чаще бывает) сколько угодно у некрасивых. Это хорошая душа, добрая и здоровая психика, просвечивающая сквозь некрасивое лицо. Но здесь речь не об этом, а о подлинной анатомической красоте. Фальшивый же термин «красивость», как всякая полуправда, еще более лжив, чем прямая ложь.

Гирин умолк. Гул прошел по залу, и тотчас же поднялся полный человек с короткой бородой — эспаньолкой.

— Вы, я понимаю, сводите всю нашу эстетику к неким подсознательным ощущениям. Это, право же, хлестче Фрейда! — Оратор повернулся к аудитории, как бы желая разделить с ней свое негодование.

Гирин не дал ему высказать второй, очевидно, хорошо подготовленной фразы.

— Сводить — выражение, не соответствующее действительности. Не будем играть пустыми словами. Я думаю, что главные устои наших ощущений прекрасного находятся в области подсознательной памяти и порождены не каким-то сверхъестественным наитием, а совершенно реальным, громадной длительности, опытом бесчисленных поколений. Что касается Фрейда, то тут недоразумение.

Фрейд и его последователи оперировали с тем же материалом, что и я, то есть с психической деятельностью человека. Но путь Фрейда — спустившись в глубины психики, показать животные, примитивные мотивы наших поступков. Фрейдовское сведение основ психики к четырем-пяти главным эмоциям есть примитивнейшее искажение действительности. Им отброшена вся сложнейшая связь наследственной информации и совсем упущено могучее влияние социальных инстинктов, закрепленное миллионолетним отбором. Наряду с заботой о потомстве оно заложило в нашей психике крепкие основы самопожертвования, нежности и альтруизма, парализующие темные глубины звериного себялюбия. Почему Фрейд и его последователи забыли о том, что человек уже в диком существовании подвергался естественному отбору на социальность? Ведь больше выживали те сообщества, члены которых крепче стояли друг за друга, были способны к взаимопомощи. Фрейдисты потеряли всю фактическую предысторию человека и остались, точно с трубами на пожарище, с несколькими элементарными инстинктами, относящимися скорее к безмозглому моллюску, чем к подлинной психологии мыслящего существа. Моя задача, материалиста-диалектика, советского биолога, найти, как из примитивных основ чувств и мышления формируется, становится реальным и материальным все то великое, прекрасное и высокое, что составляет человека и отличает его от чудовищ, придуманных фрейдовской школой. Разве не ясно?

— Допускаю, — сказал, недовольно морщась, художник с бородкой. — Но неужели понятие красоты, особенно красоты человека, его великолепного тела, это только всосанное с молоком матери чувство какой-то правильности устройства, пригодности для продолжения рода? Это нечто животноводческое, даже оскорбительное, для женщин в особенности!

— Скажите еще, что оскорбительно быть человеком, потому что имеются кишки, а с ними известные необходимые отправления и надо есть каждый день, — спокойно и, как показалось Симе, печально ответил Гирин, вызвав смех зала.

— Такое понимание не ново, — продолжал он. — В начале нашего века среди ученых было модно упрекать человека в несовершенстве, а природу, его создавшую, — в глупости. Даже, например, Гельмгольц, изучая челове-

ческий глаз, восклицал: «Какой плохой оптик господь бог! Я бы построил глаз куда лучше!» Увы, великий ученый сказал нелепость только из-за формального образа мышления. С диалектикой природы Гельмгольц не был знаком даже отдаленно, иначе он сумел бы понять, что глаз, отвечая нескольким назначениям, частью совершенно противоположным, как чувствительность к свету и резкость зрения, отличается замечательным равновесием этих противоположностей. У нас, прошедших столь большой путь после Гельмгольца, нет еще приборов, чувствующих всего два-три кванта света, как глаз. А его оптическое несовершенство чудесно исправлено в самом мозгу, опытом зрения. Итак, организм человека построен очень сложно и великолепно, но он — создание материального мира, построенного двойственно, диалектически. Организм и сам состоит из множества противоречий, преодоленных колоссально долгим путем развития. У организма нет никаких возможностей выхода за пределы материального, поэтому все наши чувства, понятия, инстинкты представляют собой реакцию на вполне материальные вещи. Так и с чувством красоты: это отражение очень реального и важного, если оно закрепилось в наследственной, подсознательной памяти поколений и стало одним из устоев нашего мироощущения — никак иначе, ничего другого, иначе мы снова опустимся в стоячую воду идеализма. Вся эволюция животного мира — это миллионы лет накопления зернышко за зернышком целесообразности, то есть красоты. А если так, то основные закономерности чувства прекрасного должны поддаваться научному исследованию. Прежде это было невозможно, теперь время пришло!

— Невероятно трудно! — воскликнул кто-то из задних рядов.

— Конечно, трудно! Все новое и неизвестное трудно. И несомненно, что совместные усилия вас, творцов, собирателей красоты, и ученых скоро приведут к глубокому пониманию прекрасного.

— А зачем? — щуря глаза и чуть ли не потягиваясь, спросила высокая женщина, сидевшая у самого подножия кафедры.

— В самом деле, зачем? — откликнулось сразу несколько голосов. — Сколько твердили, что разум своим вмешательством убивает творческое вдохновение.

— История Моцарта и Сальери, алгеброй гармонию

поверить, — презрительно бросил маленький человек с пышной седой шевелюрой.

Сима с тревогой наблюдала за Гириным, испугавшись, что лекция, так сильно ее заинтересовавшая, будет прервана. Но этот могучий, крупнолицый человек с глазами одновременно пронизывающими и добрыми, бровью не повел.

— Что ж, это хороший пример! Сальери был ученым в своем поиске, и ошибкой его, если мы примем поэтический образ за реальность, было то, что он применил не ту отрасль математики. А так заметим, что гармония уже поверена математикой и машины скоро будут писать симфонии — весьма посредственные, но ведь сколько было посредственности в искусстве всех времен и народов...

Сима заметила, как ярко вспыхнули щеки высокой женщины, принявшей самую ленивую позу.

— Но остается главный вопрос: зачем? Зачем познавать законы природы, мир вокруг себя, — объяснение этого здесь интеллигентной аудитории было бы просто комичным. Но скажу другое: разве вам, художникам, не интересны и не важны причины, по которым одну вещь мы считаем прекрасной, а другую — нет? Разве вам не нужно понять, что же такое критерий красоты, хорошего вкуса, на чем основано эстетическое удовольствие? Разве вам не хочется знать все это именно, чтобы избежать посредственности, личных ошибок, чтобы лучше вооружиться в борьбе за новые, высшие ступени искусства?.. Разве для вас строгая закономерность форм прекрасного кажется узами, а не ключом, открывающим путь к бездонному разнообразию творений природы? — Гирин обвел взглядом зал и чуть не вздрогнул от звенящего волнением голоса Симы.

— Довольно, не теряйте времени, рассказывайте нам об этих законах. Равнодушные пусть уходят или спят...

Последние слова девушки потонули в одобрительном гуле, смехе и аплодисментах. Улыбнулся и Гирин, глянув на Симу. Та смутилась и поспешила укрыться за спинами двух мрачного вида дядей, не пошевелившихся с начала выступления лектора.

— Хорошо! — голос Гирина неожиданно загремел. — Тогда условимся, что вы меня не перебиваете, каким бы странным вам ни показалось сказанное. А потом я к вашим услугам, спрашивайте, сомневайтесь, критикуйте.

Итак, наш организм может отталкиваться только от

чего-то вполне реального, стоять на материальной почве. Вот вы, художники, постоянно сравниваете, скажем, соотносительные длины линий на глаз, а как вы это делаете? — В наступившем молчании Гирин продолжал: — Я задал вопрос не для того, чтобы унизить вас, упрекнуть в незнании и показать свою мудрость. Мало людей представляет себе истинный механизм такого, казалось бы, простого процесса, как сравнение двух линий. Мы поворачиваем наши глаза, пробегая ими сначала по одной линии, потом по другой. Более длинная линия потребует более продолжительного поворота глаз. В мышцах, движущих глаз, накопится больше молочной кислоты — токсина усталости, а это на основании опыта нашего мозга и нервной системы даст впечатление относительно большей длины. Точность тут поразительная, потому что разница в количестве токсина усталости будет ничтожнейшая — буквально чуть ли не в несколько молекул. Но в то же время это совершенно материальная основа, использующая химический процесс работы мышц тела.

Человек из всего мира высших животных отличается наиболее развитым чувством формы, соразмерять и ощущать которую помогают указанные мышцы глаза. Это чувство использовано природой для выполнения важнейшей задачи — взаимного привлечения разных полов. У древнейших наземных позвоночных — пресмыкающихся — и родственных им птиц основным чувством было зрение, острота которого у них иногда поразительна: грифы с высоты видят лежащую на равнине падаль почти за сто километров. Очень зорки крокодилы и даже маленькие ящерицы, вообще все ящерообразные — зауропсиды, как называют их зоологи. И вот пестрота чешуй, перьев, самая причудливая раскраска или тончайшие оттенки цветов составляют у зауропсид сигналы распознавания, отличия и приманки. У птиц с их более развитым, чем у пресмыкающихся, мозгом, красочный наряд самца зачаровывает самку и покоряет ее. Чем выше интеллект, тем более сильные средства надо применить, чтобы заставить особи разных полов, и главным образом самку, подчиниться требованиям природы. Определенная гамма цветов просто гипнотизирует чувствительное к этому животное.

Пройдем выше по лестнице эволюции. У высших позвоночных — млекопитающих, к которым принадлежим и мы, главным чувством стало обоняние — это ведущее

чувство у зверей, хотя и зрение стоит у них довольно высоко в ряду восприятий внешнего мира. Запах — вот главное средство привлечения и очарования разных полов у зверей. Человек, с его более слабым обонянием, возместил недостаток этого чувства предметным, бинокулярным зрением, остро воспринимающим глубину и форму. Сходным зрением обладают многие хищники и обезьяны: чтобы скакать с ветки на ветку на страшной высоте, надо видеть очень точно — так же как и при преследовании добычи. Высокая психическая мощь мозга человека еще больше обострила предметность зрения. Чувство формы стало у нас очень важным ощущением, и это немедленно использовала природа для той же великой задачи продолжения рода. Остро чувствуя форму, кроме цветов, звуков и запахов, мы получили всю гамму ощущений, из которых складывается восприятие красоты. И вот, использовав чувство формы для влечения полов, природа необходимо должна была обеспечить автоматическую правильность выбора, закодировав в форме, красках, звуках и запахах восприятие наиболее совершенного. Тогда предок человека, стоя еще на очень низкой, звериной ступени развития, стал правильно выбирать лучших жен или мужей. Половой отбор стал действовать не только интенсивнее, но и в верном направлении, — словом, все пошло как надо для быстрого восхождения по лестнице исторического развития, все большего совершенствования организма. Потом, когда мы стали мыслить, этот инстинктивный выбор, закодированный так, что он радует нас, и стал чувством красоты, эстетическим наслаждением. А на самом деле это опыт, накопленный в миллионах поколений при определении того, что совершенно, что устроено анатомически правильно, наилучше отвечает своему рабочему, функциональному назначению... Механизм — да! Но в этом механизме длительное историческое развитие заложило программу неизбежного совершенствования, восхождения к лучшему. Вот почему прекрасное имеет столь важное для человека значение.

Решительно все виды чувств, доставляющие нам ощущение красоты, в своей основе имеют важное и благоприятное для нашего организма значение, будь то сочетание звуков, красок или запахов. Что линии, которые мы воспринимаем красивыми, гармоническими, построены по строгим математическим закономерностям, — это уже бесспорно. Дальнейшее же раскрытие тайн красоты за-

висит от точных физических исследований процессов, совершающихся в нашем организме. Но я не буду отвлекаться на то, что еще должно быть сделано, — это целое море интереснейших и загадочных явлений, — а ограничусь разбором примеров красоты человека, физического совершенства его тела.

— Неужели все так просто — только анатомическая целесообразность? — вырвалось у красивой золотистой блондинки с черными бровями, сидевшей недалеко от кафедры.

— Вы правы, — ответил ей Гирин, — совсем не просто. Это лишь те фундаментальные, скелетные основы восприятия, на которых строится вся запутанная гамма нашей психологии и личных вкусов, зависящих уже от индивидуальной структуры, темперамента и опыта. Но надо начинать с этих основ и, найдя в них конец нити, постепенно, осторожно и медленно распутывать весь клубок. В этом без помощи художников обойтись немыслимо.

— Но ведь художники издавна занимались познаванием законов красоты, и я не понимаю, о чем вы говорите, — раздраженно перебил человек с бородкой.

— Что ж, тогда я не сумел ничего объяснить, — с едва заметной насмешкой отозвался Гирин. — Жаль, что я не подчеркнул с самого начала, что за все тысячелетия существования изобразительного искусства не было ни единой действительно научной попытки объяснить чувство красоты. Каноны, измерения, куча немецких псевдонаучных, лжеантропологических книг, жонглирование словами «объемы, соотношения, каноны» у искусствоведов, переводивших язык искусства в рационалистические понятия. Пропорции человеческого тела тысячекратно измерены одним ученым аббатом в семнадцатом веке. Нельзя не склонить голову перед титаническими усилиями понять красоту в Древней Индии, древней и новой Европе, Китае, Японии! Но нельзя и не видеть всей безрезультатности этих попыток, потому что объяснение искали вне человека. Теперь уже совершенно ясно, что ощущения красоты заложены в глубинах нашего существа. Надо идти дальше и установить причинные закономерности, по которым определенные формы, линии, краски отражаются в нашем сознании «красой ненаглядной». И если говорить о человеческой красоте, то никак нельзя отрывать ее от чувства страсти, потому что ее первоначальная цель — это компас в поиске совершенного,

наилучшего для продолжения рода! Однако рассмотрение, даже самое поверхностное, великой сложности строения человека увело бы нас далеко. Вернемся к наиболее простому.

Каковы общие отправные точки нашего заключения: человек этот красив? Блестящая, гладкая и плотная кожа, густые волосы, ясные, чистые глаза, яркие губы. Но ведь это прямые показатели общего здоровья, хорошего обмена веществ, отличной жизнедеятельности. Красива прямая осанка, распрямленные плечи, внимательный взгляд, высокая посадка головы — мы называем ее гордой. Это признаки активности, энергии, хорошо развитого и находящегося в постоянном действии или тренировке тела — алертности, как сказали бы физиологи. Недаром актеров, особенно киноактрис, танцовщиц, манекенщиц, — всех, для кого важно их женское или мужское очарование, специально обучают ходить, стоять или сидеть в алертной, мы в просторечии скажем — подтянутой, позе. Недаром военные выгодно отличаются от нас, штатских, неспортсменов, своей подтянутостью, быстротой движений. Скажу больше. Обращали ли вы внимание, в каких позах животные — собаки, лошади, кошки — становятся особенно красивы? В моменты высшей алертности, когда животное высоко приподнимается на передних ногах, настораживает уши, напрягает мускулы. Почему? Потому, что в такие моменты наиболее резко выступают признаки активной энергии тела! Неспроста древние греки считали удачными изображения своих богов лишь в том случае, если ваятелю удавался энтазис — то серьезное, внимательное, напряженное выражение — основной признак божества. Вспомните великолепную голову Афины Лемнии — в ней алертность или энтазис может служить образцом для всех остальных скульптур.

Итак, тугая пружина энергии, скрученная нелегкими условиями жизни, в живом теле человека воспринимается нами как прекрасное, привлекает нас и тем самым выполняет поставленную природой задачу соединения наиболее пригодных для борьбы за существование особей, обеспечивая правильный выбор. Таково биологическое значение чувства красоты, игравшего первостепенную роль в диком состоянии человека и продолжающееся в цивилизованной жизни.

Идеально здоровый человек не испытывает потребности сморкаться или плевать и обладает лишь слабым соб-

ственным запахом. Излишне пояснять, какое большое значение имела такая отличная химическая балансировка организма в дикой жизни, когда человека выслеживали хищники или он сам подкрадывался к добыче.

Но это лишь первая ступень красоты, хотя и основная. Пойдем дальше. Что безусловно красиво у человека вне всяких наслоений индивидуальных вкусов, культуры или исключительных расовых отклонений? Скажем, большие глаза и притом широко расставленные, не слишком выпуклые и не чересчур впалые. Чем больше глаза, тем больше поверхность сетчатки, тем лучше зрение. Чем шире расставлены глаза, тем больше стереоскопичность зрения, глубина планов. Насколько ценилась испокон веков широкая расстановка глаз, показывает очень древний миф о красавице, дочери финикийского царя Европе. Ее имя по-древнегречески означает или «широколицая» («широковзорная») или «широкоглазая».

Положение глаз в глазных впадинах говорит о состоянии окружающих тканей и точности гормональной регулировки организма: очевидно, что среднее их положение во впадинах — наилучшее. Красивы ровные, плотно посаженные зубы, изогнутые правильной дугой, — такая зубная дуга отличается наибольшей механической прочностью нри разгрызании твердой растительной пищи или сырого мяса. Красивы длинные ресницы — они лучше защищают глаз. Нам кажутся они изящнее, если изогнуты кверху, — ощущение верно, потому что отогнутые вверх кончики не дают ресницам слипаться или смерзаться.

Анатомическое чутье, заложенное в нас, очень тонко. Подсознательно мы сразу отличаем и воспринимаем как красоту черты, противоположные для разных полов, но никогда не ошибаемся, какому из полов что нужно. Выпуклые, сильно выступающие под кожей мышцы красивы для мужчины, но для женщины мы это не считаем достоинством. Почему? Да потому, что нормально сложенная здоровая женщина всегда имеет более развитый жировой слой, чем мужчина. Это хорошо известно, но так ли уж всем понятно, что это не более как резервный месячный запас пищи на случай внезапного голода, когда женщина вынашивает или кормит ребенка? Попутно заметьте, где на теле женщины располагаются эти подкожные пищевые запасы? В нижней части живота и области вокруг таза — следовательно, эта резервная пища одно-

временно служит тепловой и противоударной изоляцией для носимого в чреве ребенка. И в то же время этот подкожный слой создает мягкие линии женского тела — самого прекрасного создания природы.

Еще пример. Стройная длинная шея немало прибавляет к красоте женщины, но у мужчины она воспринимается вовсе не так — скорее как нечто слегка болезненное. Шея мужчины должна быть некой средней длины и достаточно толстой для прочной поддержки головы в бою, для несения тяжестей. Женщина по своей древней природе — страж, а ее длинная шея дает большую гибкость, быстроту движений головы, — снова эстетическое чувство совпадает с целесообразностью. Наконец, одна из главных противоположностей полов — широкие бедра прямо безобразны у мужчины и составляют одну из наиболее красивых черт женского тела.

— Это в домостроевское время, старо! Теперь все изменилось, что и доказывает вашу неправоту. Нет вечных канонов красоты! — бесцеремонно перебила женщина с тягучими движениями и словами, та, которая спросила: «Зачем?»

— О-о! Я ожидал подобных возражений. Действительно, в истории человечества было немало периодов, когда здоровые идеалы красоты временно заменялись нездоровыми. Подчеркиваю: я имею в виду только здоровый идеал, канон, называйте его как хотите, — в природе никакого иного быть не могло. Да и во всех культурах в эпоху их наибольшего расцвета и благоденствия идеалом красоты было здоровое, может быть, с нашей современной точки зрения, и чересчур здоровое тело. Таковы, например, женщины, которых породили матриархатные общества Крита и протоиндийской, дравидийской цивилизации, древняя и средневековая Индия. Интересно, что у нас в Европе в средние века художники, впервые изображавшие обнаженное тело, писали женщин-рахитичек с резко выраженными признаками этой болезни: вытянуто-высоких, узкобедрых, малогрудых, с отвислыми животами и выпуклыми лбами. И не мудрено — им служили моделями запертые в феодальных городах женщины, почти не видевшие солнца, лишенные достаточного количества витаминов в пище. Поредение волос и частое облысение, отодвигание назад границы волос на лбу даже вызвало моду, продержавшуюся более двух столетий. Стараясь походить на самую рахитичную городскую аристо-

кратию, женщины выбривали себе волосы надо лбом. Они все одинаковы, эти патологические, трагические фигуры Ев, «святых» Ариадн и богинь пятнадцатого века на картинах Ван-Эйка, Бурдиньона, Ван-Геса, де Лимбурга, Мемлинга, Иеронима Боша, Дюрера, Луки Кранаха, Николая Дейтша и многих других. Ранние итальянцы, вроде Джотто и Беллини, писали своих красавиц в кавычках с таких же моделей, и даже великий Сандро Боттичелли взял моделью своей Венеры типичную горожанку — рахитичную и туберкулезную. Позднее итальянцы обратились к моделям, происходившим из сельских или приморских здоровых местностей, и результаты вам известны лучше, чем мне. Интересно, что печать ослабления здоровья в городских условиях жизни лежит уже на некоторых фигурах позднейших римских фресок — те же, более слабые в солнечном климате следы рахита, нехватки витаминов, отсутствия физической работы.

Насколько глубоко непонимание истинно прекрасного, можно видеть в известном стихотворении Дмитрия Кедрина «Красота»: «Эти гордые лбы винчианских мадонн я встречал не однажды у русских крестьянок...» Загипнотизированный авторитетом великих мастеров Возрождения, наш поэт считает выпуклые, рахитичные лбы «гордыми». Находя их у заморенных работой и голодом русских женщин прошлого, что в общем-то вполне естественно для плохих условий жизни, он проводит знак равенства между мадоннами и ими. А по-нашему, врачебному, чем меньше будет таких «мадонн», тем лучше.

В нашем веке начинается возвращение к этим канонам — ярко выраженные рахитички составляют темы живописаний Мюнха, Матисса, Пикассо, Ван-Донгена и иже с ними. Мода современности ведет к признанию красоты в удлиненном, как бы вытянутом теле человека, особенно женщины, — явно городском, хрупком, слабом, не приспособленном к физической работе, успешному деторождению и обладающем малыми резервами сил. И опять появляются «гордые» рахитические лбы, непомерно высокие от отступающих назад жидковатых волос, некрасиво выпуклые, с вогнутой, вдавленной под лоб переносицей. И опять идеальный женский рост в 157—160 сантиметров сменяется «городским» в 170—175, как бы специально для контраста со странами, где у бедно

живущих народов «экономный» женский рост в среднем около 150 сантиметров.

— Словом, у вас древние вкусы! — съязвила та же женщина.

— Я не говорю здесь ничего о вкусах и не могу обсуждать, правильны они или нет. Безусловно, появление множества женщин городского, нетренированного облика, не делавших никогда долгой и трудной физической работы, должно оказать влияние на вкусы нашего времени. Разве их можно назвать неправильными для настоящего момента? Однако они будут неправильны с точки зрения наибольшего здоровья, мощи и энергии, на какую, так сказать, рассчитан человек. В связи с этим поговорим еще немного о широких бедрах, не имея в виду их красоту, хотя древние эллины, обращаясь к женщинам, частенько восклицали: «Красуйтесь бедрами!»

Процесс рождения ребенка у человека более труден, чем у животных, и ведет к более резкому различию полов. Налицо крупное противоречие.

Вертикальная походка человека требует максимального сближения головок бедренных костей — этим облегчается бег, равновесие и обеспечивается выносливая ходьба. Но человек рождается с огромной круглой головой, и процесс рождения требует широкого таза с раздвинутыми бедренными суставами. Проклятие Евы, так умело использованное религией, — «в муках будешь рождать детей своих» — существует на самом деле: процесс родов у человека более мучителен и болезнен, чем у животных. В истории развития человека это противоречие возрастало — увеличение мозга требовало расширения таза матери, а вертикальная походка — сужения таза. Разрешением этого противоречия частично явились роднички — незаросшие области на темени ребенка. В момент прохождения через нижнее отверстие таза кости свода черепа ребенка заходят одна на другую, череп сдавливается, и голова приобретает характерную удлиненную форму, впоследствии исправляющуюся. Но мало и этого. Человек рождается абсолютно беспомощным и требует продолжительного кормления материнским молоком, дольше, чем все животные. Из сравнения развития человека и слона — животного, наиболее сходного с ним по долголетию и всем этапам роста, можно думать, что человек родится недоноском и что нормальный срок для беременности у человека должен был быть того же по-

рядка, как у слонихи, носящей детеныша 22 месяца. Очевидно, что за такой срок ребенок стал бы значительно больше и его огромная голова обязательно погубила бы мать. И тут пришло на помощь особое биологическое приспособление — возвращение к стадии низших млекопитающих — сумчатых, рождающих недоношенных детенышей. Только у человека вместо сумки — интеллигентность, самоотверженность и нежность матери.

А для того чтобы нанести наименьшие повреждения мозгу ребенка, так же как и для того, чтобы выносить его в наилучшем состоянии, мать должна быть широкобедрой. В то же время спутница жизни дикого человека, много бегающая, носящая подолгу добычу, да и ребят за собой, в процессе отбора становится узкобедрой, часто гибнет при родах, рождает ребят менее жизнеспособных. Живущие в наилучших условиях представители человечества — дикие охотники Австралии, пигмеи, многие лесные племена Южной Америки — могут служить примером. Как только люди стали жить более оседло — еще в пещерах Южной Европы, Северной Африки, Азии, — начался отбор могучих широкобедрых матерей, давших человечеству тех его представителей, которые по праву заслужили название хомо сапиенс — человека мудрого. Это происходило во всех частях света, от Японии до Англии — в удобной для жизни средиземноморской полосе, когда обилие животной и растительной пищи, а также изобретение копья и дротика превратили человека из бездомного бродяги в обитателя крепкого жилья.

Так, в инстинктивном понимании красоты запечатлелось это требование продолжения рода, слившееся, разумеется, с эротическим восприятием подруги, которая сильна и не будет искалечена первыми же родами, которая даст потомство победителей темного необозримого царства зверей, как море окружавшего наших предков. И что бы там ни говорили законодатели мод и выдумщики всяческих оригинальностей, когда вам, художникам, надо написать образ женщины-обольстительницы, покорительницы мужчин, в серьезном или шутливом, бидструповском, оформлении, — кого же вы рисуете, как не крутобедрую, высокогрудую женщину, с осиной талией? Заметим кстати, что тонкая, гибкая талия есть анатомическая компенсация широких бедер для подвижности и гибкости всего тела.

Для мужчин тонкая талия, увы, противопоказана, если

они хотят быть действительно мужчинами, могучими и выносливыми, как древние эллины. Я уже говорил, что тело человека не имеет скелетной компенсации позвоночнику спереди. Поэтому, для того чтобы носить тяжести, поднимать их, быть выносливым (вспомните об особенностях мужского дыхания), на передней поверхности тела, между ребрами и тазом, должна быть толстая и крепкая мышечная стенка, да что там, целая стена, сантиметров в пять толщиной, как на греческих статуях. Не меньшей мощности пластины нужны и на боковых сторонах — косые брюшные мышцы. Тут уж не до гибкой талии, в этом месте мужчина становится шире, чем в бедрах, зато приобретает великую мощь.

А у женщин важнее совсем другие, не поверхностные, а внутренние мышцы, способные в прочной чаше удерживать внутренности при огромной дополнительной нагрузке — ребенке. Помните, все это не для города и даже не для деревни. Создавалось оно в дикой жизни, полной огромного напряжения. Поэтому широкий и крепкий лист поперечной брюшной мышцы стягивает талию глубже косых мышц, до самого лобка, низко поддерживая мышечную чашу живота с помощью еще и пирамидальной мышцы, которая, будучи сильно развита, дает тот плоский живот, о котором мечтают красавицы. Я думаю, что мускульная анатомия вам известна. Упомяну еще, что у хорошо танцующих женщин наиболее сильно развиты средняя и маленькая ягодичные мышцы, а в самой глубине — грушевидная и подвздошно-поясничная. Все они заполняют впадину над вертлугом и дают выпуклую, «амфорную», линию крутых бедер. Можно прибавить развитие самого верхнего конца портняжной мышцы и мышцы, натягивающей широкую фасцию. Если проанализировать мускулатуру превосходно развитых танцовщиц, конькобежек и гимнасток, то мы увидим несколько иное, чем у мужчин, усиление самых верхних частей аддукторов бедренных мышц. Посмотрите на фигуры здоровых, привычных к разнообразному труду деревенских девушек, и вы увидите, что и тут наше эстетическое чувство безошибочно отмечает наивысшую целесообразность.

Вот мы и разобрали вторую главную ступень красоты — гармоническое разрешение, казалось бы, губительных противоречий, разрешение, доведенное до той единственной совершенной возможности, которая, как лезвие бритвы, как острие стрелки, качается между противопо-

ложностями. Путь нашего познания прекрасного, поисков его везде и всюду, видимо, лежит через поиски этой тонкой линии, сформировавшейся за долгую историю и означающей совершенство в многостороннем преодолении величайших затруднений существования в природе живого мыслящего существа — человека. Позвольте на этом закончить!

Короткое молчание всего зала, и сначала с последних скамей, затем и отовсюду раздались аплодисменты, зал одобрительно загудел, послышались голоса: «Очень интересно!», «Спасибо, доктор!» Гирин поклонился и, сойдя с кафедры, оказался окруженным плотным кольцом молодежи. Сима, хотевшая подойти к Гирину, была вынуждена стать в стороне и издалека прислушиваться.

Человек с короткой бородкой энергично напирал на Гирина, и только огромный рост выручал его от опасности оказаться затертым возбужденными художниками.

— Давно, вы были в ту пору мальчиком, — почти кричал человек с бородкой, — в Ленинграде был такой профессор — биолог Немилов! Он написал книжку «Биологическая трагедия женщины», доказывая, что рок деторождения так тяготеет над ней, что она никогда не поднимется до мужчины. Нет ли во всех ваших высказываниях некоторого э... э... влияния Немилова?

— Судите сами. Никакой трагедии у женщины я не вижу. Наоборот, во многом мы, мужчины, можем ей позавидовать. Разность полов существует совершенно реально, и с ней нельзя не считаться — вот тут и есть корень всех недоразумений. Не надо требовать от женщины того, чего она не может или что ей вредно, а во всем остальном она вряд ли уступит мужчине в наше время, когда ей открыты сотни профессий и в том числе наука. Надо объяснять нашей молодежи реальную разницу между женщиной и мужчиной — об этом мы как-то забыли или были принуждены трудностями индустриализации, потом войны.

— Если я правильно вас поняла, — спросила седовласая женщина в больших очках, — эстетическое удовольствие, чувство красоты сильнее от женского тела у мужчины, чем у женщины — от мужского?

— Это правильно, и причина заключается в некотором различии воздействия половых гормонов на психику, у мужчин, действующих порывами, импульсно, чрезвычай-

но обостряя восприятие всего, что связано с полом, следовательно, и красоты. Вопрос еще мало изучен, но в общем-то очевидно, что вся гормональная деятельность — вещь очень серьезная для психофизиологической структуры человека, и пренебрегать ею никак нельзя. Могучий половой тормоз — мозг, в природе стимулирующий естественную лень самца и сопротивление самки, у человека уравновешен очень сильной половой системой, еще более усиленной памятью и воображением. Человек обладает таким количеством половых гормонов, какого нет ни у одного животного. Они подавляют естественный протест интеллекта, по-иному поворачивают психическую настройку. Известно, что количество половых гормонов очень важно для энергетического тонуса организма, как, например, насыщение крови кетостеронами. Жизненно необходимо исследовать это и научиться переключать энергию гормонов на другие стороны жизнедеятельности и в то же время не утрачивать всей великой привлекательности и счастья половой любви.

— А вот вопрос, который ставит под сомнение все ваши не лишенные остроумия доводы, — вызывающе сказала художница, все время старавшаяся уязвить Гирина. С уверенностью испытанной обольстительницы она выставила стройную ногу, изящно обутую в босоножку на высокой «шпильке». — Женщины всего мира, — продолжала она, — при всех модах и вкусах исправляют вашу премудрую природу обувью на высоких каблуках. И попробуйте отрицать, что это менее красиво, чем ходьба босиком!

— И не попробую, потому что в самом деле красивее, — весело ответил Гирин. — Однако следует понять: почему? Что вы можете сказать, кроме того, что каблуки удлиняют ногу и делают маленькую женщину выше? Но ведь и высокие выглядят лучше на каблуках. Почему же так важно это удлинение ног? Не просто удлинение, а изменение пропорции ноги — вот в чем суть каблука. Удлиняется голень, которая становится значительно длиннее бедра. Такое соотношение голени и бедра есть приспособление к бегу, быстрому, легкому и долгому, то есть успешной охоте. Оно было у древнейших представителей нашего вида кроманьонской расы, оно сейчас есть у некоторых африканских племен. Наше эстетическое восприятие каблука доказывает, что мы происходим от древних бегунов и охотников, обитателей скал, — это под-

сознательное воспоминание о совершенстве в беге. Добавлю, что каблуки придают вашей ноге крутой подъем. Тут эстетика прямо, а не косвенно сходится с необходимостью высокого подъема для легкой походки и неутомимости. Все обладатели крутых подъемов знают, насколько они экономнее в носке обуви, чем люди с обычной или плосковатой стопой.

— Значит, мы испортились с древних времен? — не унималась длинноногая художница.

— Ничуть, хотя колебания в общих пропорциях у разных народов довольно значительны. Если мы как следует займемся собой, то быстро превратимся в кроманьонцев. Ничего из той наследственности, которую приобрели далекие предки, еще не утрачено. Вот свидетельство тому: как только человек длительное время живет в суровых условиях, но при обилии пищи и в здоровом климате, он превращается в высокорослого, с мощной мускулатурой и более длинными ногами. Такими среди населения старой России были староверы, некоторые казаки, поморы. И обратный процесс — неблагоприятные условия жизни, питания, вынашивания и выкармливания детей так же быстро снижают рост и физическую силу и, что очень интересно, приводят к укорачиванию ног, являющемуся компенсацией за утрату части жизненной мощи, без которой длинные ноги не нужны. Затрачивая слишком много энергии на бег, организм быстро сработается и долго не проживет.

— А длинные косы у женщин? — спросил кто-то из-за спины Гирина.

— Уже отмирающее эстетическое ощущение, уходящее потому, что десятки тысячелетий человек пользуется одеждой. Длинные волосы закреплялись в нашем чувстве прекрасного тогда, когда люди в теплую межледниковую эпоху еще не знали одежды. Возможность прикрыть маленького ребенка от ночного холода у своей груди, защитить от непогоды — вот смысл длинных волос и их значение для выбора лучшей матери.

— А почему красивее считается прямой нос? Не все ли равно?

— Прямой нос — прямой ход для вдыхаемого воздуха. Для нас, европейцев, северных людей, характерна высокая переносица и высокое нёбо — воздух проходит в горло по крутой дуге и лучше обогревается. Но все это надо еще исследовать. Действительно ли узкие глаза

монголоидов — это приспособление к богатому ультрафиолетовыми лучами свету в горах и высокогорных пустынях? Много есть подобных вопросов, которыми вместо расовой демагогии давно должна бы заниматься антропология. Но функциональной антропологии пока еще нет, и мы можем лишь догадываться, какие важные причины сформировали расовые особенности. Кстати, большинство расовых признаков, отвечающих опять же анатомической функциональной целесообразности, не кажутся нам чуждыми и вызывают в общем те же эстетические ассоциации. Все дело в том, что мы, люди вида сапиенс, безусловные сестры и братья по самому настоящему родству. Всего пятьдесят тысячелетий назад нас была лишь горсточка, и эта горсточка породила все великое разнообразие народов, племен, языков, иногда воображавших себя единственными, избранными представителями рода человеческого.

— А все-таки это страшно, — вдруг сказала красивая блондинка с черными бровями, смотревшая на Гирина, как на злого вестника. — Все наши представления о прекрасном, мечты и создания искусства... и вдруг так просто — для детей, для простой жизни!

— Простая жизнь? Ее нет, мы только по невежеству думаем, что она проста, и постоянно расплачиваемся за это. Очень сложна, трудна и интересна жизнь! Но не понимаю, отчего вам страшно? Оттого, что станет понятно, в чем суть прелести ваших красивых бровей? Брови, назначение которых отводить в сторону пот, стекающий со лба, и не давать ему заливать глаза, должны быть густыми. И при густоте они не должны быть чересчур широкими, чтобы в них не скапливалась грязь, не заводились паразиты. Вот секрет красоты ваших соболиных, узких и густых бровей.

Под необидный смех окружающих блондинка прикрыла лицо рукой.

Гирин продолжал:

— Но это лишь грубая основа нашего понимания причинности тех или других эстетических ощущений. А по этой основе миллионы лет будет плестись прелестный узор очарования синих, серых, зеленых и карих глаз, всевозможных оттенков волос, кожи, очертаний губ и всех других мыслимых комбинаций, число которых не меньше количества атомов в солнечной системе. Так что же вас страшит?

Блондинка умолкла, но тут к Гирину пробился широкоплечий юноша, давно уже не сводивший с него глаз:

— Можно вас попросить рассказать еще какой-нибудь пример противоречия в строении человека... такого, исторически сложившегося?

— Я боюсь задержать присутствующих. Лучше приходите ко мне, и мы побеседуем.

Юноша нервно теребил записную книжку.

— Если можно — сейчас. Я должен рассказать своим ребятам сегодня же...

— Хорошо, — уступил Гирин. — Вертикальное положение тела человека целиком перенесло вес его передней части, ставшей верхней, на позвоночный столб. Позвонки, особенно поясничные, стали нести вертикальную нагрузку, очень сильную при носке и подъеме тяжестей. В результате одно из наиболее характерных заболеваний человека — всякие болезненные изменения в поясничных позвонках, например, так называемый спондилоз, не говоря уже о болях в пояснице и радикулитах, одолевающих почти каждого человека к старости. Интересно, что такими же заболеваниями страдали вымершие саблезубые тигры — они одни могли посочувствовать человеку. У тех беда пришла в результате развития громадных сабельных клыков в верхней челюсти, удары которых, очевидно, давали очень сильную нагрузку на позвоночный столб, в этом случае не вертикальную, а горизонтальную, но действовавшую также по оси позвоночника. И вот среди сотен скелетов саблезубов, раскопанных в асфальтовых лужах Ранчо ла Бреа в Калифорнии, очень многие имеют признаки спондилоза.

— А чем же компенсировалось это противоречие?

— Развитием мышц брюшного пресса, вместе с лестничными межреберными мускулами, дающими дополнительную поддержку туловищу. Наибольшим развитием этих мышц, судя по статуям, отличались древнегреческие атлеты. Вспомним хотя бы лисипповского «Апоксиомена» или особенно поликлетовского «Копьеносца». Человек обязательно должен развивать эти мускулы — они жизненно важны во всех случаях.

— Вряд ли возможно сопоставлять древнего и современного человека, — сказал тот, ученого вида старик, который вспоминал Немплова. — Прежде всего у нас гораздо больше нервного напряжения, стрессов, чем в первобытной жизни. Отсюда, нужно думать, что прежние

каноны физической силы и выносливости сегодня неприменимы. Нужна крепкая нервная организация — это главное.

— Вы сделали сразу две крупные ошибки. Начну со второй, она проще, — возразил Гирин. — Крепкая нервная организация может быть только на основе полного здоровья, физической крепости и выносливости всего тела. Хилое тело, подвергнутое нервному напряжению, сразу же даст шизоидный комплекс психики. Что касается первобытных людей, живших в постоянной и смертельной опасности, в длительном напряжении охоты и поисков пищи, то их организм выработал способность отдавать сразу огромное количество адреналина для мгновенной форсировки мышечно-двигательной системы. Сильнейшие нервные стрессы, какие случаются у современных людей, кроме войны, всего несколько раз в жизни, заставляли наших предков жить в алертности, напряжении всего тела, расходуя всю пищу, какую только мог потребить организм. Никаких холестериновых накоплений, склероза или инфаркта. Мы унаследовали отличную боевую машину, приспособленную для битв с могучими зверями, и сетуем, что она может своими стрессами погубить наши вялые, нетренированные как надо тела. Я не имею в виду спортивные тренировки — они пока что истощают ресурсы тела. Индийская йога учит накапливать эти ресурсы, но мы еще не взяли ее за образец и не приспособили к нашим нуждам. Вот вам еще пример. Частыми заболеваниями у человека, обязанными не инфекциям и не травмам, являются подагра, отложение солей в суставах, а также образование камней в почках и мочевом пузыре. Это отложение мочевой кислоты, малорастворимого азотистого соединения. В крови почти всех животных, за исключением обезьян и человека, есть особый фермент — уретаза, переводящий мочевую кислоту в растворимую мочевину. Как случилось, что уретаза отсутствует у человека? Можно догадываться, что мочевая кислота, принадлежащая к группе пуринов, к которым относится и кофеин, является стимулятором нервной деятельности. Когда мозг стал ведущим приспособлением в жизни, обезьяне и человеку потребовалось держать нервную систему в постоянной алертности, возбуждении, и это было достигнуто упразднением уретазы. Избыток мочевой кислоты дал необходимую стимуляцию, но за это пришлось расплатиться. Мать-природа ничего не дает своим

детям без того, чтобы что-то не взять взамен, — этот важнейший закон мы, защищенные цивилизованными условиями жизни, плохо понимаем.

— Довольно! — Самоуверенный щеголеватый человек не очень вежливо отпихнул в сторону юношу с блокнотом. — Нельзя занимать доктора Гирина так долго. У всех еще много вопросов. Как понимать, доктор, что нам доставляют эстетическое удовольствие абстрактные комбинации линий, форм, красок? В какой мере это связано с восприятиями, о которых вы нам рассказывали?

— Ни в какой. Я взял одну лишь часть нашего чувства прекрасного, отнюдь не пытаясь охватить всю его широту. И я предупредил, что речь будет лишь о восприятии красоты человеческого тела.

— Простите, я запоздал к началу. Но все же, какого вы мнения об абстрактных произведениях искусства? Ведь не будете же вы отрицать их определенное эстетическое воздействие.

— Конечно, не буду. Но мне, подчеркиваю, что я говорю лишь как биолог и психолог, кажется, что сущность воздействия абстрактных вещей в том, что они являются памятными знаками. То есть опорными, отправными точками памяти, каким для нас часто являются запахи.

— Ага, идешь по улице, и вдруг потянет дымком, и сразу целая картина в голове...

— Вы совершенно точно пояснили сущность памятного знака. А знаков может быть великое множество. Часть из них относится к той же подсознательной памяти поколений. Например, вид огня, цвет меда, шум бегущей воды. А еще больше знаков — бессознательных заметок — накапливается опытом индивидуальной жизни, иногда вне анализа с детства.

— Позвольте спросить, — визгливым голосом перебила еще одна художница. — Значит, наше восприятие прекрасного в человеческом теле настроено, так сказать, на молодость. Верно?

— Совершенно верно!

— А что же делать пожилым? — Вопрос прозвучал невпопад, но от всей души.

— Подольше оставаться молодыми, — улыбнулся Гирин. — Для этого у человека есть все возможности. Юность — привилегия не только возраста. Она в крепости и плотности тканей тела. Особенно важна плотная и гладкая кожа. Все это показатели отличного физического

состояния превосходно отрегулированного организма, который вполне может сохраниться до старости удивительно молодым. Правильный и строгий режим жизни, тренировка...

— Режим, тренировка! — презрительно крикнула высоконогая. — А где же свобода и отдых? Человек рожден для счастья, а вы ему — режим!

— Разве я? — протестующе возразил Гирин. — В процессе эволюции человек подвергался суровым испытаниям и вышел из них победителем. Но вторая, оборотная, сторона этой победы в том, что его организм рассчитан на испытания и большие нагрузки. Он нуждается в них, и если мы не будем заставлять его работать, даже когда это не требуется городской жизнью, а также не будем устанавливать ему периодами ограничение в пище, неизбежны неполадки и прямые заболевания. Если вы унаследовали от предков, живших здоровой и суровой жизнью, отличный организм, он неизбежно испортится у ваших детей или внуков, коли не заботиться о его нормальной деятельности. А это значит — работа, в том числе и физическая, спорт, пищевой режим. Компенсация за это — красота и здоровье, разве мало? Практически каждый может добиться, чтобы его тело стало красивым, так пластично исправляются наши недостатки, если они еще неглубоки и если мы своевременно позаботимся о них. Пример — перед вами. Оставшись без родителей в гражданскую войну, я сильно голодал и был порядком заморенным ребенком. А теперь, как видите... — Гирин повел могучими плечами.

Юноша, в очках с толстой черной оправой и сам весь черный и смуглый, ринулся к Гирину из задних рядов.

— Пожалуйста, на минутку! Вы говорили о тонкой границе между двумя противоположными назначениями или процессами и употребили образное сравнение со стрелкой, трепещущей между противоположными знаками. Но ведь тогда математически — это нуль, а красота, как совершенство, тоже математически — нуль. Или, по-другому, красота есть и целесообразность, и жизненная энергия вместе. В ней замкнутая двойственность нуля.

Гирин круто остановился.

— Знаете, это очень глубокая мысль! Право, мне не приходило в голову. Индийские математики, открывшие нуль за много столетий до европейской мысли, считали

его абсолютным совершенством, числом, в котором, по их выражению, «двойственность приходит в существование». Красота, как нулевая линия между противоположностями, как линия наиболее верного решения диалектической проблемы, как то, что содержит в себе сразу обе стороны, обе возможности, — очень верная диалектическая формулировка. Вы молодец!

Гирин вытащил маленький блокнот, быстро написал номер телефона, сунул в руку покрасневшему от удовольствия юноше и окончательно повернулся спиной к своим слушателям. Не обращая более ни на кого внимания, он подошел к Симе, и та смутилась, увидев, что общее любопытство перенеслось на нее. Гирин заглянул под опущенные ресницы.

— Если вы не заняты, то пойдемте пешком. Я волнуюсь на выступлениях и теряю зря много нервной энергии.

— А мне иногда казалось, что вы мощны и бесстрастны, как мыслительная машина, — возразила Сима. — Конечно, пойдемте, я свободна целый день.

Улица встретила их дождливым ветром. Сима шла, чуть наклоняя голову и искоса поглядывая на Гирина. Она морщила короткий нос от щекотки дождевых капель, и тогда ее лицо становилось недовольным и лукавым. Брызги воды поблескивали в густых, круто вьющихся волосах.

— А две ступени красоты не испугали вас? Одна красивая дама... — начал Гирин.

— Заметила. Смотрела на вас, как на Мефистофеля или по меньшей мере как верующая на богохульника. Но я испугалась тоже своего незнания. В этом есть что-то устрашающее, как провал.

Гирин рассмеялся, и Сима покраснела.

— Я знаю, что сказала не так. Вам трудно понять, как можно жить так мало понимающей мир и жизнь. И знаете, кого вы мне напомнили? — Сима внезапно сменила свою тихую, почти грустную речь на смешливую интонацию. — Только не будете сердиться?

— Не буду. Только сперва я хочу сказать, что вы не так поняли мой смех. Чувство незнания часто посещает меня, и провалы в образовании мне хорошо знакомы. Да, да, вижу, что не верите, а это так. Ну, на кого я был похож?

— На медведя или кабана, окруженного собаками.

Наскакивает одна, молниеносный поворот, клацанье клыков, и псина летит в сторону, вторая — и опять то же.

— Вы любите животных? — смеясь, спросил Гирин. — Вообще или только собак?

— Животных вообще люблю, а собак не всех. Я перестала любить сторожевых псов после фашизма, войны, концлагерей. Это гнусно — злобные псы, травящие, выслеживающие, терзающие людей. Читая об этом или смотря фильмы, я всегда жалела, что человек утратил свою первобытную сноровку, когда ему ничего не стоило разогнать десяток этих мерзких зверей. А что хорошего в свирепых собачищах на некоторых дачах под Москвой? Давящаяся от злобы тварь за забором!

Гирин с любопытством слушал ее энергичную речь. Сима, видимо, когда была очень убежденной, говорила отрывисто.

— Пойдем когда-нибудь в зоопарк. Я люблю бродить там, смотреть на зверей и думать о биологических законах.

— О, пойдемте, обязательно! Жаль, что плохая погода, а то можно бы сейчас. На троллейбус и через пять остановок — на Кудринской. Вы, кажется, еще мало знаете Москву?

— Чтобы как следует освоиться в Москве, надо несколько лет, если только не стать шофером. Я не могу отвыкнуть от прямоугольной планировки Ленинграда.

Сима задумчиво посмотрела в затуманенную моросящим дождем даль Садовой, забитой ревущими грузовиками.

— Хотите, пойдемте ко мне? Я напою вас чаем и ручаюсь за качество. Моя приемная мать была знатоком, от нее узнала я некие тайны заварки.

— Была? — подчеркнул слово Гирин.

— Она умерла в пятьдесят шестом.

— Сколько же вам было лет тогда?

— Двадцать два. Я — 1934 года рождения.

— Никогда бы не думал! Мне казалось, что сейчас вам двадцать два — двадцать три, а я, как профессионал, ошибаюсь редко.

— Ничего не поделаешь — мне двадцать восемь.

— Вы замужем?

Сима повернула лицо к Гирину своим точным и резким движением.

— Вы начинаете неожиданно для меня спускаться с небес на землю!

— И очень хорошо — в небожители не гожусь. Но все же — почему?

— Замужняя женщина стала бы с вами прогуливаться по улицам, едва познакомившись? Тем более приглашать к чаю?

— Что ж тут такого?

— С моей точки зрения ничего. Потому и приглашаю. Но я одна. А представьте себе мужа, воспитанного по всем правилам мещанских понятий, что никакая дружба между мужчиной и женщиной невозможна, что если идет пара по улице, то только в совершенно определенных случаях. У нас даже в знаменитой песне поется, что бескорыстна мужская дружба. А женская?

— Знаете, это так, — помолчав, согласился Гирин.— Плохой я психолог.

— Психолог-то вы, наверное, хороший, а вот жаль, что ваша наука так мало занимается моралью и этикой.

— Вы опять правы, Сима, даже не знаете, до какой степени. Так как насчет чаю?

— Пойдемте. Я живу близко отсюда — вон тот переулок направо.

Они шли молча весь оставшийся путь, время от времени встречаясь глазами. И каждый раз теплый толчок в сердце подтверждал Гирину, как хорошо, что в еще чужом огромном городе живет эта удивительная девушка и ему посчастливилось встретить ее. Удивительная? Казалось бы, ничего необычайного не было в Симе. Величина ее серых глаз? Но ведь не так уж мало большеглазых, хотя такие, как Сима, редкость. Прекрасная фигура? Пожалуй, поклонники моды ее бы забраковали. Комбинация черных волос, серых глаз и очень гладкой, смуглой кожи? Нет, не то... Может быть, самое удивительное и есть эта сумма неброских черт, в целом куда более прекрасная, чем самая эффектная внешность... «Нечего сказать, — внутренне улыбнулся Гирин, — ясное у меня мышление. «Неуловимое совершенство»: вот, может быть, верное определение Симы. Нет, неверно, оно не неуловимое, а очевидное настолько, что, кажется, нет мужчины, да и женщины, которые не провожали бы Симу несколько озадаченным взглядом, сначала не заметив в девушке ничего особенного. Да-а, теоретик красоты запутался. О, нашел! Математическое выражение, то самое, о кото-

ром говорил молодой математик, — «диалектическая двусторонняя гармония, нуль-линия». Сима и «нуль» — это показалось Гирину комичным, и он расплылся в улыбке.

— Что-нибудь вспомнили? — спросила Сима.

— Думал о вас, о привлекательности вообще и вашей в частности. Вашему античному лицу идет решительно все — любая прическа, любая шляпа, кепка. Благодарите за этот дар природу и одевайте что угодно, — сказал Гирин.

— Вы находите, что у меня каменная физиономия греческой статуи? — поморщилась Сима.

— Не может быть худшего заблуждения! — свирепо возразил Гирин, — я имею в виду древний средиземноморский тип: правильные мелкие черты, твердый очерк подбородка, большое расстояние от глаз до высоких и маленьких ушей, короче, именно ваше лицо. Этот тип впоследствии был изменен на крупные черты, от примеси переднеазиатских и кавказских народностей, но и сейчас нередко проступает, чаще всего в Средиземноморье.

— Какая же привлекательность, если смешно?

— Смешон я, а не привлекательность.

Сима пожала плечами, показав одним этим жестом и непонимание, и легкую насмешливость. Они подошли к старому небольшому особняку с мезонином, стоявшему в тесном дворике с несколькими чахлыми деревцами. Красно-коричневая окраска облезла, местами осыпалась и штукатурка, показывая полусгнившую косую решетку дранки. Маленький дом, вероятно обреченный в недалеком будущем на снос, был не в чести у жилищного хозяйства.

— Ко мне сюда, — смущенно сказала Сима, направляясь к наружной железной лестнице, ведшей на обращенную во двор часть мезонина. Она открыла ключом обитую черной клеенкой дверь.

— Дом неказист, зато я практически живу в отдельной квартире. Снимайте пальто тут. — Сима зажгла свет, и Гирин увидел себя в передней величиной со шкаф. «Практически отдельная квартира» была комнатой под самой крышей. Часть комнаты отделили и превратили в крошечную кухню с отгороженным в углу душем. И все же, по теперешним московским нормам, Сима жила просторно, комната ее была больше гиринской.

Сима усадила гостя на диван и скрылась в кухне. Гирин с любопытством осмотрелся. Ничто так не рас-

крывает характер человека, как его жилье. Широкая тахта, тяжелый столик из старого темного дуба, жесткий ковер на полу — все было порядком потерто и безукоризненно чисто. Чистота приятно поразила Гирина, потому что, судя по пятнам на потолке от протекающей крыши, комнату нелегко было держать в таком блестящем порядке.

Широкое зеркало в свободном конце жилища и привинченный там же к стене круглый стержень озадачили было Гирина, пока он не вспомнил о художественной гимнастике. Единственной ценной вещью было пианино, раскрытое, с нотами на подставке. На стенах висели две репродукции в простых рамах: одна с акварели Борисова-Мусатова, другая — «Звенигород» Рериха.

Неприкрытая бедность и простота обстановки почему-то тронули Гирина, который сам был спартанцем в отношении вещей. Он встал и, подойдя к пианино, принялся разглядывать ноты. «Элегия» Рахманинова — нежная, звенящая вещь. Незаметно для себя Гирин стал перебирать клавиши. Посыпались пригоршни высоких нот, понижаясь и затихая.

Почувствовав появление Симы, Гирин обернулся. Девушка смотрела на него с радостным удивлением. Ее глаза потемнели и стали еще огромнее. «Как принцесса с Марса», — подумал Гирин и сказал:

— Я больше всего люблю Рахманинова.

— Это не мое, это Риты, — ответила Сима. — Она готовит выступление. «Элегия» хорошо подходит к ее плавным и как бы вьющимся движениям своей папевностью и разливом звуков.

— Рита ваша подруга! О, как я сразу не понял — Рита Андреева! Я давно знаю ее — вернее, ее отца.

— Вот как? Она моя лучшая приятельница, близкий друг.

— Действительно, мир узок. А какая музыка выбрана вами для себя?

— Адажио из балета «Эгле, королева ужей».

— Никогда не видел и не слыхал.

— Это новая вещь литовского композитора Бальсиса. Хотите сыграю, но только потом, чай остынет. Садитесь вон туда. Мне кажется, что вы должны любить крепкий чай?

— Угадали, хоть это и не типично для непутешественника.

— Но вы же воевали? Разве это не путешествие?
— И снова вы правы.
— Вы говорите так, будто скрываете удивление. Почему бы мне не делать логических умозаключений?
«В самом деле, — подумал Гирин, — почему бы Симе и не делать их?»
Сима налила чай в пестрые чашки и присела на тахту около стула Гирина. Именно присела, хотя Сима и сидела в свободной и спокойной позе, Гирину казалось, что она вот-вот встанет, легко, быстро и резко. Это-то впечатление скрытой готовности, силы и внимания поразило Гирина в первый же момент встречи.
— Положите на полку, пожалуйста, вам будет свободнее на столе, — Сима подала ему две маленькие книжки в белой бумажной обложке.
Около Гирина в углу высилась полка из некрашеного дерева, заполненная множеством книг. Уголком глаза заглянув туда, Гирин отметил: «Ни одного полного собрания сочинений». Он взял книжки, показавшиеся знакомыми, и вдруг воскликнул:
— Шкапская, вы ее любите?
— Очень. А вы разве тоже? Странно...
— Почему?
— Стихи ее женские, и многим они кажутся, как бы сказать...
— Знаю. Воспеванием примитивных, чуть ли не животных чувств. Как и всякое враждебное мнение, это утрировано. Мы автоматически утрируем то, что нам не нравится, но мало кто это понимает. Иначе меньше было бы внимания тому худому, что говорят про людей. Не знаю, замечали ли вы, что плохое мнение всегда представляется нам весомее хорошего, хотя бы к тому не было ни малейшего основания. В основе этого лежит тот же психологический эффект, который заставляет нас пугаться неожиданного звука: опасение и настороженность зверя в диком мире или индивидуалиста-собственника в цивилизованном.
— Как интересно, Иван Родионович! Вы объясняете мне то, что я инстинктивно, или называйте это женской интуицией, сама чувствую.
— Женская интуиция и есть инстинктивная оценка мудростью опыта прошлых поколений, потому что у женщины ее больше, чем у мужчины. Это тоже понятно почему — она отвечает за двоих. Но вернемся к Шкапской.

Я бы сказал, она отличается научно верным изображением связи поколений, отражения прошлого в настоящем. Как это у нее:

Долгая, трудная, тяжкая лестница,
Многое множество, тьмущая тьма!
Вся я из вас, не уйдешь, не открестишься, —
Крепкая сложена плотью тюрьма...

— Одно из лучших, — обрадовалась Сима. — Но мне больше нравится гордое, помните:

Но каждое дитя, что в нас под сердцем дышит,
Стать может голосом и судною трубой!

— Сознание всемогущества матери для будущего. Что ж, скоро оно придет, когда женщина познает свою настоящую силу, и все женщины будут ведьмами.

— Что вы говорите! — рассмеялась Сима, и Гирин снова залюбовался удивительной правильностью ее зубов.

— Я не шучу. Слово «ведьма» происходит от «ведать» — знать и обозначало женщину, знающую больше других, да еще вооруженную чисто женской интуицией. Ведовство — понимание скрытых чувств и мотивов поступков у людей, качество, вызванное тесной и многогранной связью с природой. Это вовсе не злое и безумное начало в женщине, а проницательность. Наши предки изменили это понимание благодаря влиянию Запада в средневековье и христианской религии, взявшей у еврейской дикое, я сказал бы — безумное, расщепление мира на небо и ад и поместившей женщину на адской стороне! А я всегда готов, образно говоря, поднять бокал за ведьм, проницательных, веселых, сильных духом женщин, равноценных мужчинам!

Сима положила свою теплую, сухую руку на пальцы Гирина:

— Как это хорошо! Вы даже не знаете как!.. — Она вдруг насторожилась и поднялась с тахты, ловко минуя угол стола.

Гирин тоже услышал быстрые шаги, скорее бег по лестнице. Сима открыла дверь, раздался звонкий поцелуй. Впереди хозяйки в комнату с уверенностью завсегдатая ворвалась высокая рыжеватая девушка. Увидев гостя, она остановилась от неожиданности.

— Ой, как же так, Иван Родионович? Вы — и вдруг здесь, у Симы. Почему?

— Рита, что ты говоришь? — возмутилась Сима. — По-твоему получается...

— Ничего не получается, и я, конечно, дура! Просто я давно знаю Ивана Родионовича, и мне папа много рассказывал про него. И вдруг вы... — она смешливо воззрилась на Гирина, — здесь, у моей Симы. Хи! Хи! Ну не сердись же ты на меня, не прядай ушками. Я-то бежала повозмущаться вместе с моим халифом. Мы ездили всей группой помогать на стройку, и я там разругалась вдрызг. До сих пор вся киплю!

— Сначала сядь. Хочешь чаю?

— Ужас как хочу. Но я вам помешала. — Девушка схватила чайник и выбежала на кухню.

Гирин посмотрел на часы.

— Вы торопитесь? — Отзвук разочарования мелькнул в вопросе Симы, обрадовав Гирина.

— За сколько времени можно отсюда добраться до Ленинского проспекта?

— Куда именно? Ленинский проспект очень длинен.

— Третья улица Строителей.

— Пожалуй, не меньше чем минут за сорок.

— Тогда есть еще двадцать минут. Вы обещали мне сыграть «Эгле, королеву ужей».

— Почему она вас заинтересовала?

— Хочется узнать, что вы подобрали для будущего выступления.

Сима послушно села за пианино, развернула ноты. Она играла хорошо, во всяком случае, для дилетантского понимания Гирина. И сама вещь, неровная, с перебивами мелодии, врывающимися резкими ритмами и печальными певучими отступлениями, очень понравилась ему. Рита, стараясь не шуметь, забралась на тахту и пила чай чашку за чашкой. Оборвалась высокая нота, и Сима повернулась к Гирину на винтовом стуле. Тот похвалил адажио.

— А я думала, вам не понравится, — сказала с дивана Рита. — Эта вещь современная. Вам должны нравиться больше классические вещи, как большинству людей вашего поколения.

Сима за спиной Гирина покачала головой. Но тот рассмеялся, как и прежде, от всей души.

— Вряд ли вы слыхали испанскую поговорку: «Мужчины только притворяются, что любят сухое вино, тонких девушек и музыку Хиндемита. На деле все они пред-

почитают сладкие вина, полных женщин и музыку Чайковского».

— Действительно, не знала! — фыркнула Рита. — Вы меня озадачили.

— Я сам себя озадачил. Кроме шуток, я очень люблю Чайковского и вообще музыку мелодическую, широкую, напевную, но и ритмическую, смелую тоже. Всегда я считал себя скучным академистом. А на деле оказалось: когда я встречался с хорошим, как принято сейчас выражаться, «модерном», меня всегда тянуло в эту сторону, будь то музыка, живопись, скульптура. Но многие понимают модернизм не так. Под этим словом вместо широкого понятия современности в искусстве нередко подставляют мелкотравчатое фокусничанье во всем: живописи, архитектуре, поэзии. Даже в науку проникают эти струйки убогого самоограничения, попытки с помощью трюка привлечь к себе внимание и тем «пробиться». А ведь фокусничанье было во все времена, только от древности история, естественно, не сохранила этот хлам. В нашем веке прошло несколько волн таких лжемодернизмов с выдумками не хуже, чем сейчас.

— Я понимаю, — сказала Сима.

— Это хорошо, — заявила Рита. — Значит, вам понравится и Сима. Мы с ней две противоположности. И она как раз такая вот четкая, быстрая, вся ритмическая насквозь. Потому и выбрала это адажио. А что вы любите в книгах? Не ваших ученых, а в романах, рассказах?

— Тут я полностью старомоден и не выношу гнильцы, привлекающей любителей дичи с тухлятинкой, заплесневелого сыра, порченых людей и некрасивых поступков. Для меня любое произведение искусства, будь то книга, фильм или живопись не существует, если в нем нет глубоко прочувствованной природы, красивых женщин и доблестных мужчин...

— И зло обязательно наказано, — радостно захлопала в ладоши Сима, — и добро торжествует! Простите, Иван Родионович, — спохватилась девушка, — мы все говорим, а вам — пора.

— Очень хотел бы остаться, но ждет больной. К больному нельзя опаздывать — такова старая врачебная этика.

— Разве вы практикуете, лечите? — спросила Сима, провожая Гирина в свою шкафообразную переднюю.

— О нет! Без того не хватает времени на исследования. И все же приходится, меня передают по эстафете от одного тяжелобольного к другому. Дело в том, что у меня есть способность к диагностике. А когда мы увидимся?

— Если хотите — завтра. У меня нет телефона, но я могу позвонить. Назначайте время.

На следующий день Гирин спускался по полутемной лестнице в цокольный этаж института с отчетливым ощущением чего-то приятного, что совершится сегодня. Ожидание это не относилось к монотонной череде опытов. Не предстояло никакой интересной научной дискуссии, очередные «жертвы», как называл испытуемых Сергей, могли посетить лабораторию только на будущей неделе. Уже два дня назад он отпустил Верочку для какого-то зачета, а сегодня они с Сергеем приберутся и... он ждал звонка Симы.

И звонок последовал не вечером, как думал Гирин, а едва он успел приоткрыть тяжелую дверь лаборатории. Голос Симы был неровен, как от сдерживаемого нетерпения. Она очень серьезно спросила Гирина, насколько важны его занятия на этой неделе, и, получив ответ, сказала:

— Сегодня четверг. Могли бы вы освободиться на пятницу и субботу! Поехать со мной!

— Хоть на край света! — пошутил Гирин, но Сима не приняла шутки.

— Я так и знала, поеду одна.

— Ничего вы не знали, — энергично возразил Гирин. — Я в самом деле могу освободить себе два дня и еще воскресенье. Куда и когда ехать?

— Самолет летит ночью, и я сейчас поеду брать билеты. Люблю ездить, летать, плавать ночью, когда все загадочно, необычно и обещающе.

— Однако все же...

— Все же нам надо увидеться, и я буду ждать вас против вашего переулка, у памятника. Вы кончаете в пять, — обычным для нее полувопросом, полуутверждением закончила Сима и повесила трубку.

Гирин, озадаченный и обрадованный, мог только благодарить судьбу за то, что приглашение Симы совпало с некоторым застоем в работе. И к пяти часам он стоял у памятника, отыскивая среди сидевших на скамьях людей черное пальто Симы.

— А вы рыцарь, Иван Родионович, — нежно сказала позади него Сима, — и это тоже хорошо, как ваш мысленный тост за ведьм. Но боюсь, что вам предстоит еще одно испытание. — И она рассказала Гирину, что вчера они с Ритой проверили свои четыре лотерейных билета. Выяснилось, что Сима выиграла какой-то ковер стоимостью в сто двадцать рублей. — Судите сами, на что мне ковер, — со смехом рассказывала Сима, а Гирин откровенно любовался ее возбужденно блестевшими глазами на зарумянившемся лице.

— И тут меня осенило, — продолжала Сима, еще больше краснея, — это не вещь, а нечаянные деньги, и я могу их потратить на мечту. На свиданье с морем, у которого я была лет шесть назад, во время соревнований по дальности плавания. Теперь техника позволяет слетать в Крым быстрее, чем съездить на Истру. Мне будет громадная радость, и почему-то, — Сима опустила взгляд и договорила на одном дыхании, — мне подумалось, что вам тоже было бы приятно съездить и... так захотелось, чтобы вы побывали у моря вместе со мной. Вот! — И она в упор взглянула на Гирина широко открытыми глазами, в которых он прочитал такую детскую наивную надежду, что созревший в душе мужской отказ замер у него на губах. И еще он увидел в Симе поразительную беззащитность, главное несчастие тонкой и нежной души, и тут же дал себе клятву никогда не ранить это уже дорогое ему существо с гибким, сильным телом женщины и душой мечтательницы девушки, покорявшей единорога в готических легендах.

— Вы поедете, о-о, хороший, а я так боялась!

— Что я откажусь из-за того, что вы платите за билеты? И то, я ведь собирался! — признался Гирин.

— Нет, не то, что наша поездка не состоялась бы. Другое!

— Ошибиться во мне?

— Да! — шепнула Сима, сияя, и протянула Гирину обе руки.

Так Гирин впервые в жизни попал в весенний Крым. Три дня мелькнули с быстротой киноленты и в то же время были так насыщены впечатлениями, что четко врезались в память всех пяти чувств. От удобного кресла рядом с Симой в слабо освещенном самолете началось то глубокое совместное уединение в природе, какое придало волшебный характер всему путешествию. Ни Сима, ни

Гирин не рассказывали друг другу о себе, ни о чем не расспрашивали, радуясь теплой крымской земле, горам и морю, весеннему, тугому от свежести воздуху.

Первый день они провели на склонах Ай-Петри, в колоннаде сосен и цветущих ярко-лиловых кустарников, под мелодичный шум ветра и маленьких водопадов, как бы настраиваясь на тот музыкальный лад ощущений, какой получает каждый человек на земле Крыма, Греции, Средиземноморья, понимающий свое древнее родство с этими сухими скалистыми берегами теплого моря.

Затем Сима повезла Гирина в Судак, где километрах в двух за генуэзской крепостью, на совершенно пустынном склоне берега рос ее «персональный» сад — кем-то давно посаженный арчовый лес. От леска широкая поляна с правильно расставленными, действительно как в саду, кустами можжевельника сбегала к крошечной бухточке с удивительно прозрачной водой, такой же зелено-голубой, как в бухте у Нового Света. Сима, конечно, не выдержала соблазна и выкупалась, а потом, разогреваясь, показала Гирину целое представление по вольной программе гимнастики.

Последний день промелькнул в Никитском саду. Вдоволь налюбовавшись кедрами и деодарами, простиравшими широкие пологи темных ветвей, «священными» гинкго и южными длинноиглыми соснами, они уселись под сенью исполинских платанов на скамью около каскада маленьких прудов. Вода, уже пущенная в каскад, плескалась, переливаясь миниатюрными водопадами, а за спиной звонко шелестела прошлогодняя, не потерявшая величия пампасская трава. Сима, притихшая и задумчивая, почти печальная, читала на память Гирину стихи Цветаевой.

Гирин уже знал, что Сима полна любви к русской старине, искусству и обычаям. К русской природе, русским местам, таким, как их изобразили великие художники Рерих, Васнецов, Нестеров: плакучие березы, громадные ели, стерегущие тайну сказочного леса, заколдованные болота со стелющимся голубым туманом и серебряным блеском месяца на зеркалах неподвижной воды. Степные дороги и волнующиеся поля, курганы и одинокие глыбы гранита или столбы древних памятников. Через эти теперь навсегда изменившиеся ландшафты чувствуется связь с прошлыми поколениями наших предков и тайнами собственной души. Гирин взрослел в такое время, когда чересчур старательно искореняли все старо-

русское из благих, но глупо выполняемых намерений изъять шовинистический и религиозный оттенок из вновь создаваемой советской культуры. Гирин был равнодушен к Древней Руси, но сейчас под влиянием Симы к нему пришло хорошее чувство интереса к русской старине и единства с жизнью своих предков.

Прежде Гирин не любил и не понимал поэзии Цветаевой, но Сима открыла в ее великолепных стихах глубокую реку русских чувств, накрепко связанных с нашей историей и землей.

Под аккомпанемент первобытных звуков льющейся воды, шелестящей травы и отдаленного плеска моря, в прозрачных, как газовая ткань, весенних сумерках, она читала ему «Переулочки» — поэму о колдовской девке Маринке, жившей в переулочках древнего Киева. Молодец Добрыня едет в Киев, и мать не велит ему видеться с этой девушкой, потому что она превращает добрых молодцев в туров. Конечно, Добрыня первым делом разыскивает Маринку. Той нравится Добрыня, и начинается заклятие. Сперва чарами природы, потом телом прекрасным, потом ликом девичьим... Мороком стелется, вьется вокруг него колдовство, и вот только две души — ее и его — остаются наедине, заглядывая в неизмеримую глубину себя. Сгущается морок, и, наконец, удар копытом, скок, и от ворот по тонкому свежему снегу турий след.

Сима читала поэму, склоняясь все ближе к Гирину, и тот видел, как озорные огоньки все чаще загораются в ее потемневших глазах. Она входила в роль ведьмы, дразняще изгибая тело и приближая лицо к лицу Гирина, точно и в самом деле заглядывая в глубины его души.

— Море, деревья, трава и мы, — сказала Сима низко и глухо, каким-то чужим голосом.

Гирин поддался колдовской силе, исходившей от девушки, ее близкому горячему дыханию, упорному взгляду. Забыв об осторожности, он приказал Симе подчиниться. Девушка, сникнув и опустив ресницы, припала к его груди. Гирин схватил ее, крепко прижал к себе и поцеловал в губы. По телу Симы волной прошла судорога, оно стало твердым, точно дерево, но Гирин уже опомнился и отпустил девушку. Она вскочила, залитая румянцем смущения, поднесла пальцы к вискам и села, опустив голову, подальше от Гирина.

— Ох, как глупо все получилось, — с усилием произ-

несла Сима, — я не понимаю, как это вышло. Ой, как нехорошо!

— Что ж тут плохого, — улыбнулся Гирин, — мне кажется, что все очень хорошо! Лучше быть не может!

— Вы ничего не поняли! — с возмущением воскликнула Сима. — Так нельзя, ведь я еще не пришла совсем. Захотелось созорничать, и вместо того, как будто мою волю смяло, и я стала покорной, как... как раба. Так мечтает Рита, а я... я не могу.

— Простите меня, Сима, — серьезно и печально сказал Гирин, беря руки девушки, — когда-нибудь вы поймете, что здесь виноват я. Забудем это. Считайте, что ничего не случилось!

Сима слабо улыбнулась, но весь путь до Симферополя держалась слегка отчужденно, ча́сто задумываясь. Только в самолете былая доверчивость вернулась к ней, и она сладко дремала на плече Гирина, а тот сидел недвижный, как изваяние, опасаясь нарушить драгоценное чувство близости своей спутницы.

Внезапно он понял, насколько психологически верна позма «Переулочки». Ступень за ступенью, отрываясь от элементарных чувств, восходит сознание ко все более широкому восприятию красоты.

«Отлично, — решил Гирин, — вот и заглавие для реферата лекции, который хотят опубликовать художники: «Две ступени к прекрасному».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ТЕНИ ИЗУВЕРОВ

Гирин встретил Симу на широких ступенях Библиотеки имени Ленина, и они вместе направились в Музей книги. Там не было особой средневековой комнаты — «кабинета Фауста» с готическими сводами, узким окном и тяжелой мрачной мебелью, какая поражает посетителей Ленинградской публичной библиотеки. Но и вполне современное помещение казалось угрюмым от громадных книг в толстых кожаных переплетах, хранящих следы железной оправы от эпох, когда книги приковывались тяжелыми цепями. Сима вся подтянулась и шла, осторожно ступая, будто опасаясь западни. Они вполголоса приветствовали знакомого Гирина — хранителя средневековых инкунабул. Тот подвел их к отдельному столу, на котором лежала порядочно потрепанная книга толщиной более полуметра, в гладком переплете из побелевшей кожи.

— Он? — односложно спросил Гирин.

— Он, «Молот». Издание примерно пятое, конец пятнадцатого века.

— Сколько же изданий насчитывает эта проклятая книга?

— Двадцать девять, последнее в 1669 году, первое в 1487-м. Неслыханное количество для тех невежественных веков!

Гирин хмыкнул неопределенно и угрюмо. Хранитель книг сделал приглашающий жест и удалился. Гирин медленно подошел к столу, глядя на книгу, и стоял перед ней так долго, как будто забыл обо всем в мире. Сима с любопытством наблюдала, как изменилось доброе лицо, уже становившееся для нее близким. Оно стало жестким, суровым, а сузившиеся, холодные глаза, казалось, принадлежали безжалостной мыслящей машине. Сима поду-

мала, что таким должен быть Иван Родионович в часы неудач или поражений, неизбежно сопровождающих настоящую творческую деятельность.

Не оборачиваясь к своей спутнице, Гирин молча раскрыл толстый кожаный переплет. Сима увидела крупные, видимо рисованные, буквы заглавного листа, сохранившие свою грубую четкость. Латинские слова в готической прописи были совершенно непонятны Симе, и она перевела вопрошающий взгляд на Гирина. Беглая гримаса отвращения исказила его хорошо очерченные губы, неслышно читавшие заглавие загадочной книги. Он очнулся, только когда она коснулась его руки.

Лежавшее перед ним чудовище вызывало гнев и боль, породившие, в свою очередь, яростную скачку мыслей. Гирин увидел страшный мир европейского позднего средневековья, словно отрезанный от всей просторной и прекрасной земли, тонувшей во мгле отравленного злобой, страхом, подозрениями религиозного тумана. Тесные города, где в ужасной скученности и грязи жило стиснутое крепостными стенами рахитичное население, променявшее чистый воздух полей на нездоровую безопасность. Но в полях обитатели небольших деревень тоже жили под вечным страхом грабежей, внезапных поборов, голода от частых неурожаев. Запуганные люди находились в жестоких клещах военных феодалов и отцов церкви, более мстительных, изворотливых и дальновидных, чем владетельные сеньоры. Непрерывные угрозы всяческих кар за непослушание и вольнодумство сыпались от власти светской и духовной на головы, склонявшиеся в покорности. Ужасные муки ада, придуманные больным воображением, сонмы чертей и злых духов незримо витали над психикой легковерных и невежественных народов, давя ее несимаемым бременем.

Как психологу, Гирину была совершенно ясна неизбежность возникновения массовых психических заболеваний. Деспотизм воспитания семьи и церкви превращал детей в фанатиков-параноиков. Плохая, нищая жизнь в условиях постоянного запугивания вызывала истерические психозы, то есть расщепление сознания и подсознания, когда человек в моменты подавления сознательного в психике мог совершать самые нелепые поступки, воображать себя кем угодно, приобретал нечувствительность к боли, был одержим галлюцинациями. Необыкновенное число паралитиков было среди мужчин. Психические параличи,

подобные болезни матери Анны, были попыткой бессознательного спасения от окружающей гнусной обстановки. Но еще тяжелее была участь женщин. Вообще более склонные к истерии, чем мужчины, вследствие неснимаемой ответственности за детей, за семью, женщины еще больше страдали от плохих условий жизни. Беспощадная мстительность бога и церкви, невозможность избежать греха в бедности давили на и без того угнетенную психику, нарушая нормальное равновесие и взаимодействие между сознательной и подсознательной сторонами мышления.

Заболевания разными формами истерии неминуемо вели несчастных женщин к гибели. Церковь и темная верующая масса всегда считали женщину существом низшим, греховным и опасным — прямое наследие древнееврейской религии с ее учением о первородном грехе и проклятии Евы. Кострами и пытками церковь пыталась искоренить ею же самой порожденную болезнь. Чем страшнее действовала инквизиция, тем больше множились массовые психозы, рос страх перед ведьмами в мутной атмосфере чудовищных слухов, сплетен и доносов. Перед мысленным взором Гирина пронеслись солнечные берега Эллады — мира, преклонявшегося перед красотой женщины, огромная и далекая Азия с ее культом женщины-матери... и все застлал смрад костров Европы. Чем умнее и красивее была женщина, тем больше было у нее шансов погибнуть в страшных церковных застенках, ибо красота и ум всегда привлекают внимание, всегда выделяются и падают жертвой злобы, вызываемой ими в низких душах доносчиков и палачей...

Гирин провел рукой по лбу и увидел встревоженное милое лицо Симы.

— Что с вами? — спросила она.

— Простите меня, Сима, — выпрямился Гирин. — Слишком велика моя ненависть к этому позору человечества, и я никак не могу подняться на высоту спокойного и мудрого исследования прошедших времен. Мне кажется, что я сам становлюсь участником злодеяний и несу за них ответ. Так вот, книга, лежащая перед нами,— это чудовище, замучившее несметное число людей, главным образом женщин. Мне противно трогать ее страницы, с них, кажется, и сейчас капает кровь. Это «Молот ведьм» — «Маллеус малефикарум», сочиненный двумя ученейшими монахами средневековой Германии — Шпрен-

гером и Инститором. Руководство, как находить ведьм, пытать их и добиваться признания.

— Это вы хотели показать мне? Зачем?

— Чтобы вы острее почувствовали страстную, от всей души убежденность в собственной правоте, в верности своих суждений, ту убежденность, которая составляет силу интеллигентного человека и которой часто не хватает вам, женщинам. Устроенная мужчинами культура даже в своих высших формах кое в чем грешит... даже теперь!

— Оправданием сильного пола и осуждением слабого?

— Да, в самых общих чертах. Но начало этого лежит глубоко, тому доказательство «Молот».

— Неужели он только касался женщин? А колдуны?

— Находились в числе несравненно меньшем. Самое название книги «Маллеус малефикарум» говорит об этом. — Гирин начал читать по-латыни, и звучные четкие слова казались ударами молотка. — «Маллеус малефикарум: консэквэнтер хэрэзис децэнда эст нон малефикорум сэд малефикарум ут а поциори фиат деноминацио». «Молот злодеек, поскольку эта ересь не злодеев, а злодеек, потому так и названо!» — Гирин перевернул несколько страниц и продолжал, уже прямо переводя с латыни: — «Если бы не женская извращенность, мир был бы свободен от множества опасностей. Женщины далеко превосходят мужчин в суеверии, мстительности, тщеславии, лживости, страстности и ненасытной чувственности. Женщина по внутреннему своему ничтожеству всегда слабее в вере, чем мужчина. Потому гораздо легче от веры и отрекается, на чем стоит вся секта ведьм...» Ну, здесь половина страниц запята перечислением гнусностей женского пола, взятых у древнехристианских писателей, вроде Иеронима, Лактанция, Иоанна Златоуста. Даже у древнегреческих, вроде больного истерией Сократа. Хватит, пожалуй?

— Но что же дальше? — воскликнула Сима. — Не в одной же только глупой брани по адресу женщин ужас этой книги?

— Конечно, нет! Это все, так сказать, подготовка для того, чтобы ожесточить сердце судей-мужчин.

— И?..

— Дальше следуют прямые указания. Вот. — И Ги-

рин открыл особенно потертую страницу: — «Необыкновенность и таинственность этих совершенно исключительных дел ведут к беспомощности обычной судебной процедуры. Уликами являются или собственное признание, или показания соучастников. Принцип «хэретикус хэретикум аккузат» — «еретик обвиняет еретика» — должен быть положен в основу. Опыт показывает, что признания и имена сообщников добываются лишь силой самой жестокой пытки: «сингуляритас исциус казус экспозит тормента сингулярия» — вот видите, строчка, написанная киноварью, будто запекшейся кровью: «особенность этих случаев требует особенных пыток». Отказаться от пыток значило бы в угоду дьяволу «потушить и похоронить все дело», ибо здесь «ведется состязание судей не с человеком, а с самим дьяволом, владеющим еретиками».

Вся остальная книга посвящена описанию пыток, того, как их применять, и технике допроса, ибо добиваться признания во что бы то ни стало — вот естественная задача подобных расследований. Райские венцы были обещаны инквизиторам римской церковью в знаменитой булле папы Иннокентия Седьмого, да и многими более ранними писаниями. Бешеное усердие этих «Домини канес», то есть «собак господа», приводило лишь к массовому распространению истерических психозов. Груды доносов, наговоров и оговоров на пытках росли горой, уменьшая и без того небольшое население. В одном лишь немецком городке Оснабрюке в шестнадцатом веке за год сожгли и замучили четыреста ведьм при общем числе женского населения около семисот человек! Церковь совершенно не понимала психических заболеваний. Глубочайшее невежество и тупость обусловливали легковерие судей: они верили самым нелепым измышлениям замученных, запуганных и истерзанных людей. Что же говорить про простой народ, пребывавший в чудовищном незнании!

— Так неужели народ не вставал на защиту несчастных женщин? — спросила Сима, все более возмущаясь.

— Не только не вставал, но, хуже того, проклинал и травил осужденных.

— Чем же это можно объяснить?

— Использованием церковной и светской властью скверных условий жизни! Неумелое управление, войны, поборы, истребление людей привели к неустойчивости экономики и прежде всего сельского хозяйства. Малейшие

недостатки в обработке земли, случайности погоды вели к неизбежному голоду среди и без того несытого населения. Возраставшее озлобление народа надо было отвести во что бы то ни стало. Не могли же признаться отцы церкви, что бог бессилен облегчить участь своих «детей», так же как и светская власть не могла признаться в своем неумении управлять.

Очень удобно: неурожай — ведьмы устроили; коровы не дают молока — ведьмы; напала вредная мошкара на виноград — ведьмы, и так во всем. И вот результат: все допросные листы наполнены признаниями несчастных женщин в том, что они вызвали голод, мор скота, болезни людей. Озлобление народа против ведьм росло с каждым годом, по мере того как ухудшалась экономика средневековой жизни. Но церкви этого казалось мало — на ведьм возводились самые чудовищные обвинения в таких гнусностях, что даже говорить противно.

— А все же?

— Ну, например, их обвиняли в выкапывании из могил трупов, особенно младенцев, в пожирании их... Да что там, разве расскажешь о всей мерзости, какую мог выдумать невежественный и гнусно направленный ум, распаленное воображение бездельников и садистов? Помните рисунок Гойи «Нет помощи»? В нем все сказано. Измученная молодая женщина в дурацком колпаке с изображениями чертей привязана к мулу, лицом к хвосту, ее везут, очевидно, на казнь. Широко раскрытые глаза «ведьмы» в мольбе о помощи с безмерной тоской устремлены поверх моря разъяренных и тупых лиц.

— Но неужели же не нашлось ни одного разумного, образованного человека, который смог бы подняться на защиту не с мечом, а с пером в руке?

— Находились! Хотя бы известный ученый богослов Вейер, знаменитый противник инквизиции. Он доказывал, что все эти процессы ведьм — хитрости самого дьявола, им же устроенные. Вот что писал он — я помню почти дословно перевод одного из лучших наших исследователей истории ведьм, Николая Сперанского: «Толпа стоит и смотрит, как на телеге живодера везут ведьм на место казни. Все члены у них часто истерзаны от пыток, груди висят клочьями; у одной переломаны руки, у другой голени перебиты, как у разбойников на кресте, они не могут ни стоять, ни идти, так как их ноги размозжены тисками. Вот палачи привязывают их к столбам, обложенным дро-

вами. Они стонут жалостно и воют из-за своих мучений. Одна вопиет к богу, другая призывает дьявола и богохульствует. А толпа, где собрались и важные особы, и беднота, и молодежь, и старики, глядит на все это, нередко насмехаясь и осыпая руганью несчастных осужденных...»

Гирин остановился, заметив, как повлияли на Симу его слова.

— Думаю, что довольно. Добавлю лишь, что нельзя обвинять в этих ужасных злодействах только католическую церковь. Протестанты, кальвинисты и лютеране едва ли не с большей жестокостью преследовали мнимых злодеек и не уступали католикам в чудовищной изобретательности пыток. И книга, лежащая перед вами, — это не начало, а результат вековых экспериментов в застенках и обдумывания их в монашеских кельях!

— Ужасно! — прошептала Сима. — Я так мало об этом знала.

— Здесь не вы виноваты. Не научились мы еще по-настоящему преподавать историю. Античные времена в учебниках очень красивы, но мало там настоящего экономического марксизма, средние века стыдливо прикрыты христиански настроенными учеными, и мы их как следует не разоблачили. Только недавно началось равноправие истории Запада и Востока, но и теперь еще ничтожные события Европы мы знаем лучше великих исторических перемен Востока. Надо изучать реальную жизнь: и успехи и ошибки человечества, строящего эту жизнь... особенно такие страшные ошибки, как эта. Мрачные имена Шпренгера и Инститора, Бодена, Дельрио, Карпцова должны служить не пугалами жестокого изуверства, а сделаться предметом научного исследования. Пора отогнать от истории средневековья церковников или верующих, стремящихся смягчить и замазать этот позор церкви, и призвать материалистически мыслящих ученых, сведущих в психологии и общественных науках.

— Неужели все подозреваемые женщины сознавались в гнусных измышлениях, внушаемых им? — спросила Сима.

— Что же им было делать? Уже по поразительному однообразию их признаний можно было заключить, что тут что-то неладно. Но где было рассуждать их фанатичным палачам? И все же многие протоколы допросов говорят о великолепном геройстве некоторых женщин:

и совсем юных девушек, и старух. Я склоняюсь перед их памятью, ибо нет на Земле высшего геройства, чем подобная стойкость. Непреклонность этих женщин ожесточала инквизиторов. Пытку усложняли, доводя до самых высших ступеней, самими судьями называвшихся бесчеловечными. А подсудимые упорно не сознавались или, уступив невероятным страданиям, потом сразу же брали признание обратно. Пытку повторяли множество раз. В одном протоколе записано: пятьдесят три раза! Героини умирали в застенке, оставленные всеми, отрезанные от мира, не сознавшись и не сказав того, что требовали судьи. Не из страха казни (потому что пытка была куда страшнее смерти, «ужаснее десяти смертей», по признанию одного из инквизиторов, «отца»-иезуита Шпе), а из-за своей высокой моральной чистоты, не давшей им оболгать невинных и обречь их на такие же мучения. Полные отвращения, отвергая мерзкие наветы, выдуманные церковниками, в одиночку боролись эти женщины, могущие быть примером и честью человечества. Вот записанные показания, вернее, вопль невинной и стойкой души, какими не раз оглашались проклятые застенки: «Я не виновна, господи Иисусе, не оставь меня, помоги мне в моих муках... Господин судья, об одном молю вас, осудите меня невиновною. О боже, я этого не делала, если бы я это делала, я бы охотно созналась. Осудите меня невиновною! Я охотно умру!..»

Гирин переводил, не замечая, как вздрагивает Сима.

— Дальше тут говорится, что она так и умерла, подобно другой, очень красивой молодой женщине, которая не издала ни звука, хотя в нее «били, как в шубу, сажали на козла и раздробили кости...».

— Но как же это возможно?

— Это явление известно в психологии как истерическая анальгезия, или утрата болевых ощущений от заболевания тяжелой истерией. Среди «ведьм», как я уже говорил, было много нервнобольных, и, уж конечно, психические расстройства возникали от пыток. Но в большинстве случаев, и это физиологически вполне закономерно, что от тюрьмы, голода, страха и пыток психика человека надламывалась. Он превращался в безвольное, покорное своим палачам существо, готовое возвести па себя любую вину, сознаться в чем угодно, лишь бы избавиться от мук. И все шли на костер. Впрочем, не все. Кальвин в отличие от «псов господа» замуровывал жен-

щин живыми. За редчайшими исключениями, никто пз схваченных не спасался: слуги божьи не могли ошибаться...

— Довольно! — вырвалось у Симы.

— Я тоже думаю.

— И вы считаете, что связь между несчастьем Нади и «Молотом» — это ненависть к женщине, взращенная церковью...

— Да в этом-то и скрыта суть дела! Воспитанием европейского человека уже примерно веков семнадцать занималась христианская церковь. Неудивительно, если остатки этой морали уцелели в скрытых, подчас неосознанных формах и в нашей, Советской стране, давно порвавшей с религией. Именно по отношению к женщине у нас еще много христианских предрассудков, и случай с Надей имеет прямое ко всему этому отношение. Я привел вас к «Молоту ведьм», чтобы показать ту глубипу позора и падения, ту кульминацию мракобесия и жестокости, которая не может быть ничем смыта с христианской церкви ни теперь, ни в будущее тысячелетия. Точно так же, как позор фашизма и лагерей смерти ничем не смоется с европейской культуры нашего века!

— Да, всех тяжелей приходилось женщине.

— Христианство полностью взяло из древнееврейской религии учение о грехе и нечистоте женщины. Откуда оно взялось у древних евреев — самого архаического народа на планете, пережившего всех остальных своих современников, кроме разве китайцев, — это нетрудно установить, если подумать о бытовых условиях их жизни на краю пустыни, под ежечасной угрозой нападения соседей. Но сейчас не об этом речь. Дело в том, что эти моральные принципы вошли полностью в христианскую религию и затем прочно усвоились церковью. Основатель римской церкви апостол Павел, с современной точки зрения — явный параноик с устойчивыми галлюцинациями, особенно круто утвердил антиженскую линию церкви.

Церковь к концу средневековья разрослась в мощную организацию с широкой и неограниченной властью, и по законам диалектического развития зерна ошибок, посеянных при ее основании, разрослись до неизбежного противоречия с самым существом христианской религии — до чудовищного по кровожадности и жестокости преследования ведьм, а заодно и всякого свободомыслия, на века отбросившего назад человечество — вернее, нашу европей-

скую цивилизацию — и поставившего Европу на грань полного экономического краха. Если бы не подоспело ограбление Азии и Африки, то вряд ли Европа выдержала бы такой крах своей культуры и воспитания. Дошло до того, что красивые женщины в Германии, Испании и других странах стали редкостью!

Испания, где инквизиция особенно разгулялась в течение почти трех веков, постепенно, поколение за поколением, лишилась вообще всех своих наиболее талантливых, мужественных и образованных людей, чем и погубила себя как мировую державу, сделавшись третьеразрядной страной, переставшей влиять на развитие европейской экономики и культуры.

Кстати, у нас на Руси в те времена ничего подобного не было. Ну, конечно, церковники тоже казнили ведьм или колдунов. У нас было больше колдунов, но общественного бедствия не было. Сравните с тем, что писал про Германию того времени священник Мейфарт, цитирую на память по Сперанскому: «Любая беда мерещилась случившейся неспроста и вызывала подозрения и доносы. Честный человек с добрым именем мог гораздо безопаснее, безмятежнее и спокойнее жить среди турок и татар, нежели среди немецких христиан».

— И как мог народ переносить все это? — спросила Сима.

— Сам не понимаю. Я сказал уже, что нужны серьезные исследования. Интересно, что возвращение к нормальным условиям существования, к гуманизму и уважению к женщине вернуло нас к прекрасному и вызвало великое возрождение искусства. Как писал известный исследователь Тейлор, «церковь никогда не смогла добиться всеобщего приятия ее сексуальных правил. Однако по временам она становилась способной так усилить половую воздержанность, что породила массу психических заболеваний. Не будет слишком сильно сказано, что средневековая Европа стала напоминать сумасшедший дом».

— Как же дошла до этого церковь?

— За многие века ее существования машина церкви стала хорошо устроенной и могучей. И фанатики, хоть и в малом числе, что еще опаснее, получили контроль над всей этой машиной. Впрочем, таковы же были и цари, и владетельные сеньоры, все от мала до велика зараженные дикими идеями веры, как я уже сказал, отправившей женщину, ее любовь, ее красоту и ее тело в бездны ада.

До сих пор не обнародовано все, книг об этом очень мало. Да и как было человеку религиозному не стараться замолчать этот позор церкви? Как сама она могла признаться в таких ужасающих злодеяниях? Это бы значило отвратить от себя всех мало-мальски мыслящих людей!

Церковь не справилась со взятой на себя ролью морального воспитателя человечества. Сама организация церкви стала смертельно опасна для нормального развития культуры. Конечно, ее могущество даже на Западе сейчас очень ослабло. Но и римская церковь, и протестанты, и лютеране — все показали себя в средневековье одинаково, что еще раз подтверждает: в самой основе христианской церкви коренятся гибельные семена нетерпимости, мракобесия и тирании, то есть фашизма.

— Боже мой, как же мало я знала о средневековье, — горестно покачала головой Сима.

— Разве только вы? Удивительно, что в нашей стране, первом атеистическом государстве мира, нет на подобные темы никакой серьезной литературы. Этот аспект средневековья нам, как и всем, малоизвестен. Случайно или нет? Думаю, не случайно, мы следуем за церковниками от несознательности. Видите, и вы, родившаяся почти в двадцатилетний юбилей Советского государства, призываете бога. Это только привычное восклицание, но все же. Почему же вы удивляетесь, что так живучи пережитки церковной морали? Почитайте-ка современных литераторов — и в каждой второй книге найдете все эти ревности, женские целомудрия, осуждение «падшей»... Это пишется с добрыми намерениями, во имя укрепления семьи, но не на отживших же церковных принципах надо бороться за новую семью! И «падшие» начинают верить, что они существа неполноценные, жертвы, безответственные.

— Я поняла все! — воскликнула Сима. — По церковной морали мы, женщины, существа низшие, наша любовь и страсть — грех, проклятие Евы лежит на всех ее потомках. Но так как никто, даже самая свирепая религия, не может запретить естественных потребностей, то пришлось религии мириться с физической любовью, да и как иначе стало бы существовать человечество? Но женщина может принадлежать лишь одному избраннику, поэтому должна быть «чиста», то есть целомудренна до брака. Если она кого-то уже любила, то ее можно унижать, проклинать, истязать. Так?

— Так. Считая, что с церковью все покончено и она уже никогда не будет влиять на умы советских людей, мы пренебрегли живучестью старых понятий и не постарались тщательно их искоренить. То там, то сям поднимают голову эти тайные, глубоко запрятанные в душах пережитки средневековья. Потому и показалось Надиному летчику, что он подло обманут, что он оскорблен. Это основа, а дальше идет еще множество последствий. Когда жрецы мракобесной морали получают неограниченную власть, как то было со средневековой церковью, то результат вот он. — И Гирин показал на страшную книгу, мирно покоившуюся на столе. — Нужна борьба, сознательная, освещенная знанием. Поэтому и вы здесь — перед тем как увидеться с Надей.

Гирин умолк, и Сима долго и пристально смотрела на него. Залившись румянцем, она шагнула вперед и, поднявшись на носки, смело обхватила руками шею Гирина и поцеловала его.

— Иван Родионович, спасибо!

— Не нужно, Сима! Это тоже пережиток.

— Но если так... Найдется у вас еще час-полтора?

— Сегодня — да!

— Я всегда убегаю от огорчений в зоопарк. И сейчас, после экскурсии в прошлое, я не могу сразу вернуться к себе. Пойдемте?

Гирину радостно было чувствовать рядом с собой крепкое плечо Симы, шагать в такт ее быстрой и легкой походке. Они пошли по улице Воровского, где черные деревья подернулись зеленеющей дымкой. На углу Садовой Сима, упорно молчавшая всю дорогу, внезапно остановилась.

— Хорошо, что вы врач, физиолог, психиатр, значит, я получу исчерпывающий ответ на важный вопрос. Последний сегодня! Но мне надо покончить с этим перед тем, как мы придем в зоопарк.

— Смотря какой. Я же не мудрец Востока.

— О, — начала Сима, волнуясь, — вот какой. В этой ревности у мужчин к прошлому женщины, кроме того, о чем вы говорили, сказывается первобытность, а потом церковная мораль. А есть ли еще какая-то основа, как вы ее называли, психофизиологическая? Нечто идущее из психики, но современное, нынешнее?

— Увы! Оттого-то и не умирают отжившие моральные понятия, что попадают на пригодную для них почву.

— И эта почва?

— Возрастающее ослабление физической выносливости и душевной энергии при городской жизни без физической работы и закалки и в то же время при значительной нервной нагрузке. Получается, что все чувства и желания как бы приглушены, стерты и не дают полноты переживаний, глубоких впечатлений, свойственных здоровой психике. Это порождает чувство собственной неполноценности, что, в свою очередь, делает невыносимой самую мысль о сопернике и, следовательно, возможности сравнения у возлюбленной. Ох, как важно заниматься физической культурой!

— Вы это говорите мне! — рассмеялась Сима. — А мне кажется, что я слишком много уделяла внимания развитию тела и отстала в духовном отношении.

— Нет, — с задумчивой уверенностью возразил Гирин, — чем больше я знакомлюсь с вами, тем больше мне кажется, что у вас все хорошо уравновешено. То, что я проповедую и о чем мечтаю, — о лезвии бритвы.

Сима, захваченная прежними мыслями, не смогла отвлечься и молчала до тех пор, пока они не оказались на территории зоопарка. Время было самое удобное: вторая школьная смена уже пошла на занятия, а первая еще не появилась. Главные посетители отсутствовали, и взрослые люди степенно расхаживали между сетками. Сима преобразилась, нежно приветствуя своих любимцев: важную маленькую панду, скуластую, раскосую, восседавшую в углу клетки с миной оскорбленного бюрократа, строптивых и лохматых пони, протягивавших из-за решетки теплые губы к ласковым ее рукам, и старательного волка, рывшего глубокую яму в открытом вольере. Звери прислушивались к голосу Симы и подолгу не сводили с нее бдительных и глубоких глаз.

Стайка молодых диких уток неуклюже карабкалась по размокшей глине, пробираясь к кормушке. Сима подбодряла их, утята переваливались на скользивших лапках, оступались, валились набок, скатывались и снова штурмовали берег.

Гирин любовался Симой, превратившейся в охранительницу жизни, переполненную нежностью и заботой ко всему маленькому, беспомощному, неумелому. Он думал о женщине — кормилице домашних животных и вообще всех животных, потому что ее материнского сердца с избытком хватало не только на собственных детей. Потому-

то древние обитатели некогда сказочно богатых зверьем равнин и холмов Ирака, где библейские предания помещали мнимый рай, верили в богиню — владычицу зверей. Они передали эту веру многим народам. Тысячелетия сохранялось представление об особой власти женщины над животными. Обскуранты извратили его, распространяя легенды о ведьмах, повелевавших волками-оборотнями, бешеными медведями, полчищами крыс. Гирин внутренне усмехнулся, представив себе Маргариту Назарову с ее тиграми в древности. На Востоке ее сделали бы богиней, в Европе — сожгли. Тут-то и спрятан ключ, вскрывающий разницу культур, и не в нашу, европейскую, пользу...

Получить лучшее, создать совершенство природа может лишь через бой, убийство, смерть детей и слабых, то есть через страдание, наращивая его по мере усложнения и усовершенствования живых существ. Это первичный, изначальный принцип всей природной исторической эволюции, и он изначально порочен. Поэтому понятие о первородном грехе, издревле обрушенное на женщину, должно быть перенесено на неладную конструкцию мира и жизни, и, если бы был создатель всего сущего, тогда это — его грех. Ибо мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении страдания, а не увеличении его, какая бы цель ни ставилась, потому что все цели — ничто перед миллиардом лет страданья. Впрочем, черт с ними, с изуверами всех эпох и времен! Сима, расточающая свою нежность животным, так хороша, что эти минуты кажутся важнее всего, что было, есть и будет с ним, Гириным.

— Скажите, вам не смешно мое... мое отношение к зверям? — прямо, по своему обыкновению, спросила Сима.

— Нет, мне оно нравится. Жалею, что сам не могу.

— И хорошо. У мужчин по-другому. Странно, но если мужчина уж чересчур, до сентиментальности любит каких-нибудь зверей или домашних животных, он зачастую эгоист, жесток или нечист совестью!

— Откуда вы это знаете, Сима?

— Не знаю. Наблюдала, может быть, читала.

Прошло уже немало времени, а Гирин с Симой бродили от клетки к клетке, подолгу останавливаясь перед заинтересовавшими их животными.

— Смотрите, какие изумительно ясные глаза у хищников, — говорила Сима, всматриваясь в презрительную

морду леопарда. — Хорошо бы нам получить от природы такие же.

Гирин объяснил Симе, что зрение для хищников — вопрос существования всего вида. Поэтому и у хищных птиц, и у плотоядных зверей такие замечательные чистые глаза, иногда еще обладающие способностью аккумулировать свет для охоты в сумерках или ночью.

— Видите, они смотрят прямо перед собой, — показал он на крупную львицу, — их взгляд похож на наш. Это двуглазое, стереоскопическое зрение, отличающееся своей сосредоточенностью от рассеянного взора травоядного. Зато травоядное обладает куда более широким обзором, почти во все стороны, откуда может приблизиться враг. Но это давно известные вещи, а сейчас начинают раскрываться гораздо более сложные приспособления глаз к поляризованному свету и к видению в инфракрасных лучах, позволяющему змеям или совам в полной тьме различать контуры теплого тела и даже выслеживать добычу по оставляемому ею тепловому следу, как выслеживают по оставленному запаху. Глаза крокодилов обладают повышенной способностью к изменению окраски сетчатки, поэтому они видят отчетливо и днем и в сумерках. Можно без конца говорить о чудесном мире животных, об удивительных устройствах их организмов, раскрытие которых ведет к новому пониманию человека.

— А все-таки расскажите еще немного, — попросила Сима. — Я становлюсь крокодилом и начинаю видеть в сумерках.

И Гирин, подчиняясь интересу и вниманию своей спутницы, рассказывал ей о жирафах, пасущихся в тени деревьев среди саванн, залитых ярким солнцем, и потому вооруженных поляроидными фильтрами в роговице глаз, о древних полукошках Тибета и Горного Китая, обладающих особо молниеносными движениями, о крошечных землеройках, которые так малы, что зимой не могут сохранить нужной теплоты тела и вынуждены находиться в постоянном движении, пожирая за сутки количество пищи, в три раза превосходящее вес тела. Он говорил о крохотной мыши-перогнате из пустынь Северной Америки, весящей всего семь-восемь граммов и никогда не пьющей воды. В полную противоположность нашей землеройке эта мышь приспособилась впадать в спячку при каждом неблагоприятном случае: если становится слиш-

ком жарко, или холодно, или не хватает пищи, животное сразу же погружается в продолжительный сон.

От ультразвуковой локации летучих мышей Гирин перешел к радиолокации африканских рыб — мормирусов, обитающих в непроницаемой для зрения илистой воде глубоких речных устьев, к звуковой ориентировке невероятно умных дельфинов, устроенной в точности, как сонар современных боевых судов. Он рассказывал о поразительном количестве летучих мышей в Центральной Америке, где в пещерах находят во время их спячки «связки» по пять метров в поперечнике, о смертельно ядовитых вампирах — сосущих кровь летучих мышах, обитающих в Панаме...

— Какая мерзость! — поежилась Сима. — Я представляю себе разных насекомых: клещей, комаров, пьющих кровь, но ведь летучая мышь — вампир — это млекопитающее, даже в какой-то степени родственное низшим приматам!

— О, вы неплохо знаете зоологию, — удивился Гирин. — Но что вы скажете о человеке-вампире?

— В страшных сказках средневековья?

— В самой реальной действительности. Скотоводческие племена Восточной Африки — ватусси и масаи, кстати сказать, наиболее интеллигентные, красивые и храбрые, питаются в основном молоком, смешанным с кровью коров, которую они берут из шейной вены. Разве это не злодеяние вампира с точки зрения коровы? А с точки зрения человека? Вместо того чтобы убить животное, лучше взять у него немного крови: если делать это с умом, то вреда никакого не будет.

— И верно! Казалось бы, пугающая вещь, а оборачивается даже гуманностью!

— Как все в нашем диалектически сложном мире. И почти всегда мы об этом забываем. Нас с детства учат логике, но однолинейной, однобокой, математической. Пора бы уж подумать об иной педагогике. А то, например, мы привыкли с детства считать, что рыба — типичное холоднокровное животное, стоящее в физиологическом отношении куда ниже наземных позвоночных. Но ведь есть теплокровные рыбы с мясом, похожим на говядину, потому что оно так же обильно снабжено кровью. Это тунцовые, из них меч-рыба и парусная рыба мчатся по океану со скоростью девяносто километров в час. Такая сумасшедшая скорость под силу лишь

самым мощным нашим кораблям, а тут просто рыба. Но рыба со стальными мышцами, не поддающимися даже сильным ударам, обильно омываемыми кровью и работающими при той же крайней для белка температуре, что и мускулы самых высших животных. И тут сразу же вступает в силу противоречие: низкий уровень снабжения кислородом через жабры не позволил бы получить нужной для такой скорости энергии, если бы сама скорость не пришла на помощь. Через широко раскрытые жаберные щели на бешеном ходу проносится громадное количество воды, насыщенной кислородом, что и заменяет дыхание высших позвоночных.

Есть рыбы, выкармливающие своих мальков подобием молока, выделяющегося особыми железами прямо на поверхности тела. Это симфизодоны, обитающие в реках бассейна Амазонки.

Таково бесконечное многообразие отношений организма и природы — двух частей одного целого, туго переплетшихся в преодолении противоречий развития за сотни миллионов лет истории Земли.

Теперь мы стали понимать, как лепится животная форма, связанная сложнейшими взаимоотношениями с окружающей средой; это долго оставалось загадкой и было главным козырем идеалистов. Отсюда мы пойдем к человеку, распутывая всю сложность его физиологии и психики, и получим твердую опору для настоящей медицины, новой морали и этики.

— Я ошибаюсь, или мне кажется, что вы пока говорите о желаемом, но не о фактическом состоянии биологии? — спросила Сима.

Гирин усмехнулся с нескрываемой горечью:

— Вы правы. Очень долго бытовал у нас устаревший взгляд на биологию, особенно зоологию, анатомию, морфологию, как на второсортные науки. Только недавно мы наконец обратили внимание на отставание биологии. Энергетика живых организмов, изучение их самоуправления и регулировки породили кибернетику, биоэнергетику и бионику. И в то же время кое-где у нас еще продолжают твердить о ненужности анатомии и морфологии, изучения форм и их соотношения с природой, сокращают ассигнования некоторым лабораториям. Мы долго отдавали на откуп Западу антропологию, генетику человека, психофизиологию и вообще ряд отраслей науки, занимающихся человеком. Довольно длительное время все это было под

запретом. А ведь для коммунизма самое главное — человек и, следовательно, все относящееся к нему. Техника — что она без людей: звездолет с автоматическим управлением может вести и дикий в других отношениях человек. Летали же фашистские негодяи на самых сложных самолетах, и не так уж плохо летали! Простите, — спохватился Гирин, — вы затронули больное место, и я обрушил на вас свои заветные мысли. Пойдемте дальше!

— Вы говорили о глазах, — задумчиво сказала Сима. — А вы замечали выражение их у разных животных? Смотрите, какая бездушная, бесстрастная зоркость у хищных птиц и совсем другие глаза у собак, волков — думающие, тоскующие. Тупые, кроткие и равнодушные у жвачных. А вот посмотрите! — Она показала на большую бурую гиену из Южной Африки, развалившуюся на невысокой полке. — Видите, какие у нее безумные глаза. Такое выражение бывает у сумасшедшего или омерзительно пьяного человека. И я заметила похожее выражение безумия у кенгуру, даже у хорьков. Что это, как не показатели разных мыслительных процессов? Мне становится страшно, когда я смотрю в глаза гиене.

— Очень интересно, — подумав, согласился Гирин. — Ведь и в самом деле птицы наиболее автоматизированы в своих жизненных процессах, это почти роботы, руководящиеся главным образом памятью поколений — инстинктами. Гиены, хорьки, особенно кенгуру — психически низко организованные млекопитающие. Они руководятся подсознательными процессами, регулируемыми древними инстинктами, без активного влияния памяти, для человека это было бы безумием.

Вы натолкнули меня на идею сравнительного анализа психических процессов у всех этих животных. Спасибо. А что вы скажете насчет львов или тигров? — Он показал на ряд клеток с крупными кошками, к которым они снова подошли, миновав гиену.

Сима ответила не сразу, задумчиво глядя на льва, выпрямившегося за прутьями клетки и втягивающего влажный ветер. В его ленивом и гордом выражении не было ничего похожего на бесстрастную автоматику птиц, на вызывающую готовность медведя, низкопоклонство собак. Даже самодовольная замкнутость мелких кошек ничем не напоминала взгляда желтых глаз льва и расположившейся рядом крупной львицы.

— Это спокойная безжалостная сила, — наконец сказала Сима. — Они владыки над другими зверями в их жизни и смерти... — Сима подумала и закончила: — А все-таки жаль, что мы произошли не от этих благородных зверей, а от гнусных обезьян!

— А! И вы тоже! Я терпеть не могу эти пародии на человека, может быть, именно из-за их похожести на нас.

— Но почему тогда обезьяны пользуются таким успехом? — Сима показала на людей, столпившихся перед высокими стеклами обезьянника и со смехом восторгавшихся ужимками и кривлянием своих отдаленных сородичей.

— Потому, что мы сохранили частичку их психологии, увы, — расхохотался Гирин. — Западные психологи назвали бы ее комплексом униженности. Вместе с развитием мозга обезьяны получили способность сравнивать и завидовать. Сознавать свою неполноценность перед могучими хищниками или огромными травоядными. И, завидуя, они всегда рады поиздеваться, оскорбить, осмеять, тем самым удовлетворяя свое недовольство на безопасной высоте деревьев. Самые страшные завистники, ревнивцы и собственники — обезьяны, особенно такие, как павианы, казалось бы — стадные животные.

— Стадные, но не коллективные, — вставила Сима.

Гирин согласно кивнул.

— И, к сожалению, насмехаться над непонятным, издеваться над слабым или больным, унизить чужого — нередкое свойство и хомо сапиенс, стоящего на низкой ступени культуры и дурно воспитанного. В частности, смех над обезьянами, мне кажется, того же обезьяньего происхождения. Вероятно, и корни садизма те же самые.

— Как жаль все же, что мы произошли от завистливых мещан в мире животных, а не от царственных львов или могучих слонов. Я согласна даже на быков! — Сима подошла к толстым рельсам загородки, за которой покачивал тяжкой головой огромный зубробизон.

— Вряд ли было бы хорошо — туповаты звери, — серьезно возразил Тирин, — а со львом и тигром тоже не выйдет. Природа ничего не дает даром. И расплата льва за силу и нервную энергию — короткий век, в который не наберешь мудрости.

— А верно, что немецкий ученый возродил вымер-

ших диких быков — туров — и что их уже целое стадо? — спросила Сима.

— Вероятно, в дальнейшем наука будет способна и не на такие чудеса. Действительно, все признаки туров есть у этой породы быков. Но все же это лишь подобие когда-то живших туров, утратившие могучую силу, накопленную половым отбором за тысячи веков существования вида. У одного английского зоолога я прочел интересное соображение. Он считает, что одомашниванию могли поддаться лишь умственно дефективные особи. Я бы сказал о том же по-иному. Естественные виды животных — это средний стандарт, отобранный за миллион лет, та же мера и середина всесторонней пригодности, как и красота. А искусственно выведенные породы — это фокусы, отклонения, и без помощи человека они были бы вскоре сметены с лица Земли.

Гирин спохватился, взглянул на часы.

— Вы не опоздали? — встревожилась Сима. — Тогда бегите! Не беспокойтесь, я побуду здесь одна, мне надо подумать...

Пожатие крепкой руки, милый взгляд, уже не чужой, все понимающий, — и Гирин вышел на шумную Грузинскую улицу, сразу очутившись в мире спешащих и грохочущих металлом машин.

Сима вернулась на уединенную дорожку у оленьих загонов и замерла в раздумье, едва касаясь пальцами холодной проволоки. Под смех и редкие аккорды гитары к ней направлялась компания молодежи. Ее окликнули две девушки из гимнастической школы. Сопровождавшие их молодые люди тоже были знакомы Симе, веселые и музыкальные ребята из самодеятельности соседнего завода, дружная тройка, часто ожидавшая девушек после занятий.

— Серафима Юрьевна, какую смешную песню нам спел Володя! Ну-ка повтори для Серафимы Юрьевны! — воскликнула одна из девушек, обращаясь к статному парню с кудреватыми золотистыми волосами русского добра молодца. Тот устремил на Симу долгий, пристальный взгляд, и она сразу вспомнила. Этот взгляд всегда провожал ее, когда она встречалась с тремя приятелями.

Парень упрямо свел четкие брови и вдруг согласился.

— Я спою другую! — Он озорно подмигнул товарищам и стал перед Симой в нарочитую позу певца. Звуч-

ным, хорошим голосом он начал старый романс о глазах, как море, от которых не ждешь ничего хорошего, в темной их глубине видятся странные тени.

В них силуэты зыбкие растений
и мачты затонувших кораблей.

Парень пел, а взгляд его выражал действительно мольбу о том, чего не могло быть. Чем больше настораживалась Сима, тем сильнее расходился певец, рвя гитарные струны. Парни улыбались, а девушки, женским чутьем поняв происходящее, притихли.

С бесшабашным шутовством парень рухнул на колени перед Симой, широко развел руки и отогнулся назад.

И я умру, умру, раскинув руки,
на темном дне твоих зеленых глаз! —

завопил он, нажимая на слово «умру».

Сима склонилась к певцу и тихо сказала:

— Зачем, Володя? Разве можно шутить, унижая себя и ту, для кого это делается? Ведь вы серьезный, хороший человек, глубоко понимающий музыку. Никогда не старайтесь представить свои чувства шутливыми, это не поможет от них избавиться, а только... — Сима замолчала.

— Что только, Серафима Юрьевна? — так же тихо спросил парень, вскакивая и машинально отряхивая колени.

— Только обесценит их. Для других и для вас самого. А что может быть хуже, как жить по дешевке?

— Что, получил, Володька? — хохотнула одна из девушек, но тут же осеклась от укоризненного взгляда Симы.

— Прощайте, Володя, и будьте всегда сами собой, — сказала Сима, протягивая руку молодому человеку, которую тот крепко сжал.

Сима ласково улыбнулась ему, попрощалась с ученицами и пошла, чувствуя на себе неотрывные взгляды пяти пар глаз.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«ЭКС СИБЕРИА СЕМПЕР НОВИ»

— Пора бы сделать перерыв, Иван Родионович! — вырвалось у Веры, когда она получила распоряжение ехать за новой порцией лекарств. Это означало продолжение опытов, длившихся уже третью неделю без особенного успеха.

«Есть интересные факты, — думал Гирин, — но все не то, что я ищу... Все не то». И чем меньше обещали опыты, тем яростнее работали все их участники. Гирин даже ночевал в смежной с лабораторией комнатушке, и Вера была единственной, кто отлучался по делам. Накопился ворох протоколов — стенографических записей, устных рассказов или странных рисунков самих испытуемых, сделанных в моменты галлюцинаций, искусственно вызванной шизофрении. Оба — и Сергей и Иван Родионович — осунулись, побледнели, и сердце лаборантки не могло перенести такого небрежения к себе.

— Зря беспокоитесь, Верочка. — Голос Гирина звучал совсем нежно. — Ничего не случится с Сергеем, а я закален. Мы слишком носимся с опасениями перегрузить мозг. Пустое, мозг способен усвоить непомерно больше того, что мы ему даем. Надо только уметь учить, а емкость мозга такова, что он вместит невероятное количество знаний. Следует усвоить, что можно и надо подвергать и весь организм перегрузкам страшнейшей работой, но только делать потом долгие отдыхи. Так мы устроены, такими мы получились в длительной эволюции, и с этим нельзя не считаться.

— Видишь, Вера, я что тебе говорил, — торжествующе сказал студент, — получила? Иван Родионович доказал, что мы, цивилизованные люди, мало нагружены и мало заняты. А для полной жизни и здоровья нужна полная нагрузка по всем трем линиям: для мозга, для эмо-

ций и для тела. А у нас? То тело нагружено, а голова пуста, голова занята — тело бездействует. Если равнодушно ко всему относиться, то и чувства тоже не будут волновать, стимулировать, давать взлет душе и телу. Как у тебя никакие чувства ко мне не волнуют, оттого ты и такая... без огня и блеска!

— Сам-то какой блестящий, подумаешь! — рассвирепела Верочка, поворачиваясь спиной к Сергею. — Нет, Иван Родионович, при всем вашем авторитете не соглашусь с вами. Сколько бывает болезней от перегрузки работой!

— Все дело в том, какая перегрузка. Если выравнивать все три линии нагрузки, о которых говорил Сережа, то получится большой психологический подъем, который сделает весь организм невосприимчивым не только к усталости, но и к болезням. Возьмите войну — как редко болеют люди на войне, а ведь худших условий не сыщешь. И перегрузка самая чудовищная по всем линиям. Все ученые, конструкторы, художники, пока захвачены работой, матери с больными детьми не поддаются болезни. Восемьдесят процентов наших болезней — психические, то есть зависят от ослабления психики, за которой следует ослабление главных «биохимических осей» организма. Человек в отличие от животных приобрел могучее мышление и воображение. Животные автоматизированы в гораздо большей степени, чем человек. Поэтому все психические воздействия у них проходят и исчезают очень быстро, а у человека остаются надолго и могут быть причиной болезни. Но есть и другая, сильная сторона того же: человек обеспечен гораздо большей психической силой, что влечет за собой стойкость и выносливость организма, сопротивление смерти и тяжелой болезни значительно большие, чем даже у могучих животных.

— Нет силы с вами спорить, Иван Родионович, — сдалась лаборантка, — и все же...

— И все же отправляйтесь в антекоуправление. А я сейчас позвоню нашей очередной жертве.

Словно в ответ на слова Гирина, зазвонил телефон.

— Иван Родионович, вас просят срочно подняться в дирекцию, — сказала кинувшаяся на звонок Вера. — Изменений не будет?

— Нет. Поезжайте. Я сам вызову добровольца. Кто у нас на очереди?

— Женщина. Соловьева Татьяна Павловна, — откликнулся Сергей.

— Пожалуй, получится все же перерыв часа на три. Идите погуляйте, Сережа. Или съездите домой. Или пойдите с Верочкой. Работать будем весь вечер допоздна.

Проходя узкими коридорами и темными закоулками, отделявшими изолированную лабораторию от главного здания института, Гирин досадовал на внезапное вторжение в свое отшельничество. Досада превратилась в беспокойство, едва он ступил на широкую, залитую светом лестницу. Будто бы раскрывалось и выставлялось на обозрение что-то его сокровенное, еще незрелое и беспомощное. С этой тревогой он вошел в кабинет директора. Болезненный директор неохотно привстал, здороваясь, и снова опустился в кресло. Рядом с ним восседал маленький коренастый профессор. Гирин знал его как одного из заведующих лабораториями института. По лицам обоих угадывался неприятный разговор.

— Вы работаете у Вольфсона младшим сотрудником со степенью?

— Да, у профессора Вольфсона.

— И что же вы делаете у него?

— Я не уполномочен профессором обсуждать его работу даже с руководством института. Профессор заканчивает на дому свой отчет и, безусловно, даст вам все нужные разъяснения.

— Вот как, секреты!

— Никаких секретов. Элементарная субординация. И научная этика.

— По-вашему, мы неэтичны?

Гирин молча пожал плечами. Директор неприязненно сжал губы. Вмешался сидевший с ним рядом профессор:

— Вы неверно поняли, товарищ Гирин. Вас спросили не о работе вашего руководителя, а о вашей собственной.

— Простите, у меня пока нет своей работы, я выполняю лишь задания профессора Вольфсона. В плане института за мной ничего не значится.

— Не значится! — согласился директор. — Однако вы ведете какую-то свою работу, пользуясь лабораторией, и дирекция ничего об этом не знает. Вы считаете это правильным?

— Ни в коем случае. Я провожу серию психофизиологических опытов по договоренности с профессором

Вольфсоном сейчас, когда в его плановых опытах наступил перерыв. Я полагал, что профессор поставил вас в известность. Работа не имеет ничего общего с планом, проводится мною на свои собственные средства, и я пользуюсь лишь помещением и добровольной работой студентов, моих учеников.

— Что это за опыты по существу?

— Попытка раскрытия избыточной информации у одаренных эйдетикой людей.

— М-да! Далеко от чего бы то ни было в нашей тематике. Вам бы, наверное, надо работать у Кащенко. Ну и как же вы ведете это раскрытие?

— Эйдетик получает прием ЛСД-25. Это производное спорыньи, диэтиламид-тартрат д-лизергиновой кислоты. Оно уменьшает выброс фосфора из организма, подавляя действие гормона гипофиза. Тем самым нарушается важнейшая питуитарно-адреналиновая психическая ось во внутренней секреции организма и получается искусственный психоз типа глубокой истерии или шизофрении. На три-четыре часа.

— И зачем вам это нужно?

— Чтобы расщепить нормально сбалансированное сознание, отделив сознательный процесс мышления от подсознательного, и этим путем открыть подавленные сознанием хранилища избыточной информации. Я предполагаю, что в них хранится память прошлых поколений, обычно вскрывающаяся у человека только на низших ступенях нервной деятельности и гораздо более развитая у животных, с их сложными инстинктами и бессознательными действиями.

— Но ведь это чепуха! Мистика какая-то!

— Что и требуется проверить опытами. Кибернетику тоже не так давно считали чепухой. А именно кибернетика дала нам возможность впервые создать научное представление о работе мозга. То же будет и с памятью.

— Не намерен с вами спорить. Хотя стоило бы разгромить вас как следует.

— Мы много говорим о спорах. «Надо спорить, спорное утверждение, пьеса, книга» — встречается на каждом шагу. Но как-то забывают, что словесный спор — это всего лишь схоластика, не более. Единственный серьезный и реальный спор — делом, не словами. Спорный опыт — поставьте другой, спорная книга — напи-

шите другую, с других позиций, спорная теория — создайте другую. Причем по тем же самым вопросам и предметам, не иначе. Я тоже не хочу спорить, а просто работаю.

— Работа ваша опасна! — внезапно выпалил директор.

Гирин изумленно воззрился на него.

— Да, опасна и безответственна. Подумали ли вы, что может случиться с какой-либо из ваших «морских свинок»? Что отвечать придется институту, мне!

— Позвольте, я вас не понимаю. Кто же может прежде всего судить об опасности и безопасности, как не те, кто работает? И кто, как не я — врач, — отвечает в первую очередь? Куда серьезнее, чем вы, тем более что и вся-то ваша ответственность в этом деле больше воображаемая.

— Достаточно. Надеюсь, вы поняли, что я намерен разобраться в этом деле. Кто разрешил использовать лабораторию для ваших опытов? Спасибо профессору Цибульскому, — директор кивнул в сторону сидевшего рядом, — я бы ничего не знал, пока гром не грянул!

Гирин хотел возразить, но лишь махнул рукой.

— Можно подумать, что вы бескорыстный поборник науки, — недобро вмешался Цибульский. — А что это такое? — и он помахал листком бумаги, который схватил со стола директора.

— Да, да, объясните, пожалуйста, — вскинулся директор. — Вы занимаетесь частной практикой?

— Не вздумайте меня допрашивать, потому что такие вопросы вне вашей компетенции. Но на просьбу сообщить извольте: никакой частной практики у меня нет. И не было с момента получения диплома врача. Конечно, при нужде в помощи никогда не отказывал.

— А потом ваши пациенты пишут восторженные письма нам в институт и доказывают, какой вы великий человек, — язвительно проговорил Цибульский.

— Не понимаю, откуда это! Перестаньте издеваться, профессор, это не прибавляет уважения к вам.

— Вот как? А вам прибавляет то, что вы заставили... — Цибульский назвал фамилию геофизика, — и мать и отца, у которых вы якобы спасли сына, писать сюда о ваших доблестях и дали адрес института?

Молниеносная догадка пронзила Гирина, и глубокое отвращение отразилось на его лице.

— Теперь я понял. Действительно, что мне вам сказать, — Гирин запнулся и продолжал: — Какую же надо иметь психологию, чтобы так принять естественную благодарность матери и так оценить мое в этом участие! Жаль, что еще не созданы машины для чистки мозгов от мусора, и особенно для ученых! Извините, товарищ директор, но вы ничего больше не хотите сказать мне? Тогда разрешите откланяться.

И Гирин, покинув начальство, стал медленно спускаться по залитой солнцем центральной лестнице.

— Видели, как мы его скрутили? В бараний рог! — воскликнул Цибульский, едва дверь кабинета закрылась за Гириным. — Ему ничего не осталось, как бежать.

— Да нет, — задумчиво возразил директор, — его уход не был похож на бегство. Так уходят только правые люди, и я тут, очевидно, сделал промах. Можете идти, — отпустил директор Цибульского, озадаченного таким оборотом дела.

Гирин шел в лабораторию бесконечными подвальными переходами и спокойно размышлял о случившемся. Жизненный опыт и знание психологии научили его не огорчаться из-за подобных столкновений с косностью, гнусностью или непониманием. «На то и существуют люди, подобные Цибульскому, чтобы ученый делался крепче, яростнее, убежденнее» — так перефразировал он старую пословицу. Конечно, он попросит помощи у партийной организации, чтобы убедить дирекцию и сохранить за собой лабораторию. Беда в том, что он сам не уверен в правильности своего пути с эйдетикой. Еще не добыты сколько-нибудь убедительные данные. Пусть неудачными окажутся эти первые опыты, все равно они лишь малая часть исследований, намеченных им в ближайшие годы!

Кто-то догонял его, учащенно дыша и в то же время не решаясь обратиться, шагал за его спиной. Гирин по какому-то древнему инстинкту терпеть не мог, когда кто-нибудь неотступно шел позади. Он резко повернулся, встретившись с взволнованным и серьезным Демидовым, которого знал как хорошего работника из лаборатории транквилизаторов.

— Иван Родионович, можно вас на два слова? Извините, что я так... на ходу, но в другое время трудно вас поймать — либо идут опыты, либо вас нет.

Гирин, немного досадуя на перебивку мыслей, подошел вместе с Демидовым к широкому окну нижнего этажа.

— Мне только один ваш совет, как психолога глубинных структур.

— Вы произвели меня в новый чин и новую специальность, — улыбнулся Гирин, — я ведь прежде всего — врач.

— Так и я тоже. Потому и советуюсь, — успокаиваясь, сказал Демидов, — вы работаете с ЛСД и другими галлюциногенами. А мне внезапно пришла в голову такая идея, что показалась куда важнее всего, чем я занимаюсь сейчас. Издавна мечтой людей был напиток счастья, например в Ведах Индии, эта, как ее?..

— Сома?

— Да, да! И помните у поэта: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой».

— Так вы хотите заняться изобретением напитка?..

— Лекарства!

— Все равно! Лекарства «Сон золотой»?

— Вот именно! Подумайте только...

— Давно уже думано. И отброшено.

— Но почему же?

— Чтобы видеть сны золотые, надо иметь золотую душу. А в бедной душе откуда возьмется богатство грез? Люди лишь отупеют и одуреют, как от алкоголя. Некогда вино вдохновляло поэтов, а теперь обессмыслившиеся от него до скотского состояния мужчины избивают детей и женщин.

— Значит, дело не в лекарстве?

— Вы поняли меня. Надо дать человеку богатство психики — вот за что мы, врачи, должны бороться. А без этого, как бы хорош ни был ваш состав, он неминуемо обернется бедствием, расслабляя торможение и высвобождая дьявола первобытных инстинктов.

Демидов сник. Гирин ласково погладил его по рукаву и пошел к себе.

Вернувшиеся полтора часа спустя Вера и Сергей застали его глубоко задумавшимся над одним из рисунков инженера-электрика: белым цветком, обвитым синей спиралью на фоне сплошной черноты. Молодые люди почувствовали неладное, потому что все материалы и приборы были убраны, даже пучки проводов энцефалографа тщательно смотаны.

— Что-нибудь случилось, Иван Родионович? — испуганно спросила Вера.

— То, на чем вы настаивали, — небольшой перерыв в работе.

— Знаем, — воскликнула лаборантка, — это они... они давно уже косо глядели. Вы такой ученый, а у них просто младший сотрудник, и вдруг какие-то опыты. О, я их знаю!..

— Не стоит вашего огорчения, Верочка, — весело перебил ее Гирин. — Знаете что...

Но лаборантка не дала ему закончить мысль:

— Иван Родионович, если сегодня перерыв, то я скажу вам, я так обещала!

— Что, кому?

— Ей, она звонила, как только вы ушли. Спросила меня, очень ли вы заняты, а я знала, что если вас позвали к директору, то помешают сегодня работать... и я сказала, что, может быть, не очень.

— И что же?

— И она попросила меня, если вы не будете заняты, передать вам, что сегодня в девять пятнадцать ее выступление по телевидению. Передача по второй программе, художественная гимнастика.

— Вот и хорошо! В утешение! Надо быть у телевизора в это время. Будем разбегаться, исследователи?

— Иван Родионович, — начал студент, — если хотите, то... можно ко мне, у нас хороший «Рекорд».

— Спасибо, Сережа. У соседей есть «Рубин», и ходить никуда не нужно. До завтра, верные мои ассистенты!

Оставшись одни, молодые люди убирали лабораторию. Внезапно Вера испустила горестный вопль.

— Что случилось? — подбежал испуганный Сергей.

— Дура я, самая что ни на есть. Забыла спросить у Ивана Родионовича. Теперь все пропало!

— Вот так беда! Позвонишь вечером.

— Да не то. Мне так хотелось увидеть, наконец, ее. И я решила, что буду смотреть телевизор во что бы то ни стало. А он как-то заторопился, и я забыла спросить: как же ее зовут? Выступает там много, как я узнаю? Эх, дура!

Сергей облегченно расхохотался.

— Любопытная дочь Евы наказана по заслугам. Но ваша милость недооценивает мои скромные способ-

ности. Ручаюсь, что я угадаю сразу, только придется смотреть телевизор у меня. Признаться, мне тоже не терпится, уж очень интересный наш Гирин, занятно, каков его выбор.

Сергей нахмурился, вдруг щелкнул пальцами и добавил:

— Удивляюсь я на скотскую тупость нашего начальства. Такие ученые, как Иван Родионович, очень нужны, прямо необходимы науке. Он — бездна знания, настоящий энциклопедист и всегда будет центром кристаллизации научных идей, всегда держать научную мысль на высоком уровне. Специальность его не имеет значения, ведь он не прямой изобретатель, а разгребатель огромной кучи бессмысленного набора фактов. Он прокладывает дороги сквозь эту кучу, за которой большинство просто не видит пути, а громоздит ее все выше.

— Ого, да ты соображаешь! — поглядела на студента с уважением Вера.

— А ты что думала, зря меня Иван Родионович позвал работать? — важно ответил юноша.

— Пошел хвастаться! Уверена, что не угадаешь. Я, быть может, по женской интуиции еще смогу.

— Ну, тогда не отвертишься, поедем ко мне. Погуляем, пообедаем и разоблачим таинственную обладательницу приятного голоса.

Рита и Сима, выбежав на улицу, как по команде, жадно вдохнули весенний ветер. Постояв немного, Рита вздрогнула и зябко прижалась к подруге.

— Всегда дрожу перед выступлением, — пожаловалась она, — а ты держишься будто железная. И еще уверяешь, что волнуешься!

— Конечно, волнуюсь. Как иначе? Ведь кажется, что важнее ничего нет на свете, иначе какая же ты спортсменка?

— Ну ясно, и я тоже. Только, знаешь, сегодня особенно страшно. Мама и папа будут смотреть на меня. Ух, ты не представляешь, какой строгий критик мой отец.

— Я думаю, Иван Родионович тоже будет сегодня смотреть. Но если бы я знала, что он смотрит, мне было бы легче. Он взглянет, и на душе делается светлее и спокойнее.

Они сели в полупустой троллейбус, забились в уголок.

Рита стала смотреть в окно на весеннюю вечернюю синеву асфальта, а Сима вспоминала события последних дней. Как она говорила с Надей, рассказывая ей о встрече лицом к лицу с чудовищем средневековья, забытым, но не осужденным человечеством. Юная женщина не разделила ее чувства, а может, и она, Сима, не сумела этого добиться. И все же с Нади свалилось гнетущее ощущение собственной вины. Она начала понемногу оживать. Заботливые подруги довершат внешнее исцеление, но глубокая душевная рана останется надолго. Как прав Гирин, когда говорит, что нельзя выпускать ребенка в мир не вооруженным идейно, не обученным основным знаниям физиологии, наследственности, психологии, исторической диалектики. Только из этих знаний, из серьезной подготовки вырастает устойчивая собственная мораль и убежденность в правоте, которая выдержит любые удары жизни.

Этот счет мы можем предъявить нашим педагогам. В школьных программах все больше расширяется разрыв со сложной современной жизнью, насыщенной наукой, переплетением личных и государственных проблем. И все меньше уделяется времени на воспитание и самовоспитание, а как трудно без этого уверенно искать свое место в жизни...

— Задумалась! Выходить пора!

Сима вскочила на окрик подруги, но так и не смогла оторваться от своих мыслей на всем пути вдоль высокого забора спортивного центра. Она вспомнила странное, кружащее голову чувство, когда, стоя над «Молотом ведьм», Гирин пересказал ей пронесшееся перед ним видение прекрасной Эллады, как бы затянутое дымом костров христианских изуверов. Во внезапном озарении она поняла, что совершенное физическое развитие без образования, так же как и мораль без знания, еще не дают человеку возможности найти свое место в мире, и ему остается лишь вера. Но до чего может довести невежественная вера! Нагромождение чудовищных измышлений, злодейств... Да, озарение в тот момент, в библиотеке, было очень ярким. Оно не ушло, осталось в душе, как нечто крепкое, ясное, вооружающее.

В глубине телевизорного экрана девушки в черных гимнастических костюмах дефилировали парами, расходясь

и исчезая из поля зрения. Сергей и Вера впились в проходящих, стараясь угадать, найти «ее», завоевательницу сердца их руководителя.

— Мне кажется, — шепнул Сергей, — вот эта высокая блондинка, вторая справа, такая стройная и прямая. Хороша-то как!

— Да тут все они замечательные, — отозвалась Вера.

Словно отвечая желанию студента, высокая рыжеватая блондинка выступила вперед.

— Мастер спорта Маргарита Андреева, — объявила ведущая. — Рита, может быть, вы расскажете зрителям о себе?

Девушка коротко и живо рассказала о своем увлечении спортом, долгой работе над собой. Затем последовало блестящее выступление Риты с обручем, такое изящное, красивое и точное, что вечно спорящие помощники Гирина следили за ней, не проронив ни слова. Шум аплодисментов пронесся по залу, и Рита исчезла с экрана.

— Ну что, я не прав? — уверенно крикнул Сергей. — Она! Завидую Ивану Родионовичу, у него отличный вкус.

Вера упрямо покачала головой.

— Хороша, но не она. Не забывай, что я говорила с нею два раза, а ты — только раз. Голос не тот. Да и вообще для Ивана Родионовича чего-то не хватает, не знаю, как сказать, оригинальности, быть может.

— Зато у него оригинальности хватит на двоих. Может, так и должно?

— Часто бывает, а все же... — Вера не договорила.

Девушки выступали одна за другой, и трудно было решить, какая из них лучше по исполнению, или по красоте сложения, или по тому и другому вместе.

— Да-а, — обескураженно протянул Сергей. — Как на грех, сегодня весь состав у них мастера или перворазрядницы.

— Мастер спорта Серафима Металина выступит без предмета, — раздался голос за экраном.

Черноволосая смуглая девушка выбежала на середину зала, и тотчас же ведущая поднесла к ней микрофон. Камера придвинулась, лицо девушки заняло весь экран, ее необыкновенно большие, показавшиеся темными глаза открыто взглянули на зрителей. Твердый маленький подбородок был задорно приподнят, а бесхитростная улыбка очень располагала к ней.

— Все мы рассказываем о том, как стали гимнастками, и невольно получается так, будто мы какие-то особенные.

Вера так и подскочила на диване.

— Она, это она!

— Погоди, не мешай, — отмахнулся Сергей. — Я еще не уверен.

— Каждая из вас, наши зрительницы, может стать такой же и открыть в себе талант — в ритмике или в силе, гибкости или равновесии. Мы слишком мало обращаем на себя внимания, а наши дорогие спутники жизни — мужчины — говорят, что мы должны украшать их существование. Надо прежде всего украсить самих себя, а это возможно только при долгом и терпеливом физическом воспитании. Гимнастика, танцы, коньки сделают любую фигуру красивой, а здоровье, гибкость, точность и быстрота движений, гордая, прямая осанка несравненно очаровательнее одного лишь красивого лица. Для работы, забавы, для чувства жизни всестороннее физическое развитие так же необходимо, как и для хорошего материнства. Подумайте, как хорошо детям с сильной мамой, не уступающей им в играх, беготне, плавании и умеющей научить их всему этому. Пусть на Западе женщины истощают себя диетой, чтобы затем искусно задрапировывать свои тощие тела в красивые платья. Мне и моим подругам простое платье, облегающее правильную и сильную фигуру, кажется гораздо лучше. Не нужно тех сложных портновских ухищрений, которые отнимают так много времени. Один знаменитый парижский портной сказал, что с его точки зрения идеальная женская фигура — это палка, дающая полный простор искусству драпировки... — Девушка с усилием подавила готовый прорваться смех и продолжала: — Везде, во всех странах, где ценилась подлинная женская красота, а не платье, всегда были особые школы для обучения девушек искусству правильной осанки, гибкости, танцам. Везде, где наши путешественники восхищались женщинами, — в Индии, Индонезии и других странах — женщины носят воду на голове. Эта их работа с детства и до старости вырабатывает и сохраняет великолепную гордую осанку, а простое платье — свободу движений. Вот что я хотела вам сказать. Занимайтесь с детства гимнастикой и танцами, будьте красивыми все без исключения... — Девуш-

ка остановилась, чуть смущенная, и закончила: — Это будет так хорошо!

Камера открыла зал. Черноволосая поборница всеобщей гимнастики стояла уже поодаль, в глубине. Она взметнула головой, отбрасывая волосы. Раздались первые аккорды адажио из «Эгле».

Помощники Гирина смотрели на предполагаемую любовь своего патрона, и с каждой минутой в них крепла уверенность, что это — она. Не только отточенное искусство владеть всеми мышцами тела, не только благородная сдержанность движений — в Серафиме Металиной было нечто другое: поэзия, музыкальное совершенство тела, способность так соразмерять и сочетать свои движения, что каждый мгновенный изгиб тела приобретал выразительность мимики лица, одушевленность речи.

— Ну, не ошибся наш Иван Родионович, — восхищенно заявил Сергей, когда с выступлением Металиной закончилась спортивная передача. — Он выбрал из всех ту самую... не знаю уж, как сказать.

— Оригинальную! — сказала Вера.

— Да не в том дело! Оригинальная — это такая, которая нравится немногим, может быть, одному, ну, вот как, например, ты — мне. А ведь она нравится всем!

— Довольно язвить, Сергей, я серьезно. Ее фигура, ну, как тебе сказать, очень женская. Рост невысокий. Такую в платье заметишь не сразу, одетая, она неярка. Вот в нашем институте мужчины увлекаются больше крашеными блондинками в ярких платьях.

— За что и расплачиваются! — изрек студент, делая попытку обнять Веру. — Но я мудр: ты не блондинка и всего лишь в свитере.

Телевизор светился и в квартире Андреевых. Перед ним сидела целая компания. Екатерина Алексеевна, вернувшаяся из Ленинграда, удобно устроилась в кресле и небрежно разминала очередную папиросу.

— Опять куришь, — упрекнул ее муж, все же поднося зажженную спичку.

— Нельзя корить волнующуюся мать, — спокойно возразила Екатерина Алексеевна. — Смотри лучше, девушки-то какие! Неужто не дрогнет ретивое, Леня?

— Не дрогнет. Девчонки даже слишком хороши, но ведь подумай, как нелепо было бы влюбиться в моем возрасте даже в самую лучшую. Или если бы, например, высокоученый наш Гирин влюбился.

— Знаешь, насчет тебя я уверена, а вот Гирин, мне кажется, мог бы. Кстати, мне Ритка туманно намекала насчет него и своей подруги.

— Какая чепуха, Каточек! Тебе всегда приходят на ум сумасбродные вещи. Ты, слава богу, не совершаешь их сама, а хочешь, чтоб такое случалось с друзьями.

— Ну, хорошо, хорошо. А знаешь, эта черненькая, что выступила с речью, умно говорила об одежде.

— И мне нравится происходящее освобождение от лишней одежды, — отозвалась пожилая стройная дама — известная балерина в прошлом. — Подумать только, сколько ткани накручивали на себя наши бабушки, да что бабушки — мамы! Жаль, медленно идет процесс, еще много у нас ханжества, и не научились мы все радоваться красоте тела.

— То, что процесс идет медленно, это естественно, — попыхивая папиросой, сказала Екатерина Алексеевна. — Ведь надо не только научиться видеть красоту. Необходимо, чтобы и тело перестало быть неприличным, а это возможно только тогда, когда оно привыкнет быть открытым.

— Очень по-художнически, Катя, — возразила старая дама. — Как это перевести на простой язык?

— Примерами. Возьмите народы отсталые, живущие в теплых странах. Там принято ходить обнаженными, и отношение к наготе самое равнодушное при полном непонимании красоты тела. Наоборот, на прекрасную свою наготу навешивают нелепые украшения, накручивают проволоку, протыкают носы и губы, чтобы прицепить какую-нибудь ерунду. Очень характерные случаи подметил наш путешественник профессор Пузанов в Судане еще в 1912 году. Красивые суданки, шествуя гордо и свободно, при встрече с европейцем стараются прикрыться, значит, взгляд европейца, вероятно, излишне возбужден их наготой. Чтобы бороться с могучим азиатско-эллинским восприятием красоты тела через Эрос, христиане и мусульмане кинулись вспять, со страхом и ненавистью относясь к наготе. После этого, с позволения сказать, «воспитания» долгое время могли смотреть на обнаженное тело как на запрет, неприличие и в то же время только под специфическим углом зрения. Теперь новый поворот исторической спирали: мы опять стали понимать и видеть красоту тела. Зачем нам идти вспять, как хотели бы некоторые ханжи? Во имя чего? Назад к мракобесию и

греху? Что умерло, то умерло, и слава богу. Но нельзя и одним прыжком вернуться в Элладу, как того требуют разные натуристы и нюдисты на Западе. Сейчас время не совершенно обнаженного, а открытого тела, не скрывающего красоту своих линий, но еще не настолько ставшего совершенным, не настолько привычного, чтобы показываться нагим. Поживем, вернее, поживут наши потомки в коммунистическом обществе, тогда увидим. А пока считаю, что мы, женщины, должны всегда склонять головы перед отвагой и высокой моралью наших физкультурниц тридцатых годов, смело появлявшихся в своих купальниках перед тогда еще непривычной, не воспитанной в отношении открытости тела толпой.

— Боюсь, что далеко не все побеждено. Нам, женщинам, все еще приходится сталкиваться с рецидивами прежнего ханжества и дикого взгляда на наш пол, — возразила старая балерина. — Тем более удивительно, что ханжеское отношение к открытому телу вовсе не свойственно, нам, русским. Еще смелее в этом отношении узбеки и другие народы нашей Азии, — посмотрите только на их великолепные танцевальные постановки. Мне кажется, это чье-то чужое влияние...

— Не знаю, насколько чужое, — вмешался Андреев, — а вот я замечал, и неоднократно, в любой телевизионной передаче, что стоит лишь начать демонстрировать танец или в откровенном костюме, или чуть повилять бедрами, как операторы моментально оставят на экране танцовщице лишь голову, и плечи, и танец тю-тю. Или переключат объектив, и фигурка станет с ноготок. Даже такую прелесть, как Мухабат Абдуллаева из ансамбля «Бахор» с ее великолепной фигурой, едва она начинает арабский танец...

— А ведь ты совершенно прав, Леонид, — согласилась Екатерина Алексеевна, — женщине — нельзя, хотя бы красивой, но в глазах телевизионщиков — неприличной. А вот когда мужики, одетые в какие-то хвосты или шкуры, виляют задами, выпячивают животы и дико вертят бедрами — пожалуйста, сколько угодно, как на показе гвинейского ансамбля. В том же ансамбле, чуть прехорошенькие девчонки начинают извиваться в танце, для женщины естественном, их сразу спрячут от телезрителей. Да что там, в бальных танцах, едва девушки начинают вращение и юбки естественно закручиваются,

открывая бедра выше колен, так камера отворачивается в сторону, как стыдливый монашек...

— Это ты, Катя, заметила правильно — для женщины естественное. Именно для женщин извивание в танце и покачивание бедрами — движения естественные, а не специально эротические. Глубокая потребность развития внутренней мускулатуры для материнства, превращающаяся в наслаждение гибкостью и красотой собственного тела. Можете поверить старой балерине. А для мужчин подобные движения — несвойственны и потому некрасивы, неуклюже эротические. Однако хранители морали, ничего не понимая, переворачивают все наоборот, с ног на голову...

— Мне объяснял наш всеведущий Иван Родионович, — сказал Андреев, — что ханжество, непонятный нормальному человеку испуг перед женской красотой и смелостью, — это пережиток церковного отношения к женщине как к ведьме, злому началу... союзнице дьявола. Погодите минуту, — геолог принес старую книгу, нашел нужную страницу и прочитал: — «Женщина есть ехидна, и скорпион, и лев, и медведь, и василиск, и аспид, и похоть несытая, и неправдам кузнец, и грехам пастух, и вапыкательница. Скачет, пляшет, хребтом вихляет, бедрами трясет, головой кивает...». Тут еще много других комплиментов, расточавшихся женщине духовными пастырями старой России. Разве не одни и те же страхи господствуют у нас на телевидении, в художнических комиссиях, в иллюстрациях книг?

— Постой, Леонид, ты прочел какое-то мудреное слово!

— Вапыкательница? От слова «вап» — краска. Иначе говоря, накрашенная.

— Что ж, здорово! Ничего не скажешь, похоже, — согласилась балерина, — я думаю, что наши охранители морали напугались Запада. Не поняли они, где эротика, естественное влечение к красоте и совершенству, а где мразь, как в коммерческих фильмах или фоторевю, где любая тощая девчонка, лохматая и некрасивая, может сниматься, лишь бы обнаженной, в дурацких сценах. Да ладно, видно, немало лет нам еще выбираться из муры к подлинно чистому отношению к женщине, красоте тела и танца! Бог с ними!

— Я очень люблю художницу Татьяну Шишмареву, — продолжала хозяйка. — Перед войной Шишмаре-

ва создала много портретов физкультурников и спортивных картин. У меня есть репродукция ее картины тридцать девятого года «Спортсменка» — сидящая девушка в черном купальнике. Кстати, она чем-то похожа на черненькую, что выступала и сказала речь...

— Каточек, не пора ли кормить народ? — спросил хозяин.

Гости поднялись, чтобы выйти в столовую.

Звонок, слабо прозвучавший в передней, не привлек ничьего внимания. Спустя минуту все гости насторожились от громкого и радостного возгласа хозяина. Екатерина Алексеевна устремилась навстречу входившим — огромному мужчине могучего сложения и молодой девушке с толстыми русыми косами, с лицом в сплошном румянце волнения.

— Знакомьтесь! — весело завопил Андреев, — Иннокентий Ефимыч Селезнев с дочерью Ириной. Мой старый друг с реки Тунгира, охотник и владыка целого района.

Давний соратник Андреева, геолог Турищев, тоже бывший в числе гостей, поспешил к Селезневу, чтобы очутиться в медвежьих объятиях, от которых хрустнули суставы. Давно прошедшие дни мгновенно ожили в памяти обоих геологов.

Время далеких походов маленьких геологических отрядов с небогатым снаряжением, когда все зависело от здоровья, умения и выдержки каждого из участников. Пути сквозь тайгу, по необъятным ее марям — торфяным болотам, по бесчисленным сопкам, гольцам, каменным россыпям. Переходы вброд через кристально чистые и ледяно-холодные речки. Сплавы по бешено ревущим порогам на утлых лодках и ненадежных карбасах. Походы сквозь дым таежных пожаров, по костоломным гарям, высокому кочкарнику, по затопленным долинам в облаках гудящего гнуса. В липкую летнюю жару и яркую зимнюю стужу, в мокрой измороси или в морозном тумане пешком, верхом или на хрупких оленьих нартах...

Товарищи переглянулись с едва заметными улыбками, но в этой улыбке было все: и несгибаемое упорство, и печальная покорность невзгодам, облегчение от миновавшей опасности и глубокая радость от исполнения намеченного.

В одном из путешествий, на восточносибирской реке Тунгире, Андреев и Турищев встретились с Иннокентием Селезневым, с которым совершили немало походов в на-

более труднодоступные места Олекмо-Витимского нагорья.

Два брата Селезневы жили в усадьбе на берегу Тунгира, примерно в трехстах километрах от ближайшего жилья, и единственный путь к ним вел по этой беспокойной извилистой реке. Они охотничали, рыбачили, заготовляли для приисков по договорам голубику и черемшу. Старший брат, Илларион, был вдов, имел двух дочерей, Настю и Машу. Второй брат, Иннокентий, еще холостой, того же возраста, что и Андреев, жил в той же большой избе. Женской частью хозяйства управляла сестра, молодая вдова, и она же воспитывала обеих племянниц.

Удивительно дружная семья была так гостеприимна и уютна, что Андреев никогда не проезжал мимо и старался подогнать отдых к посещению дома Селезневых.

Не знавшие другой жизни, кроме таежной, проводившие на природе большую часть времени, Селезневы сделались людьми редкой даже для Сибири могутности и здоровья. Такие семьи Андреев встречал среди алтайских староверов, поморов или заволжских степняков. Мужчины — хмурые и добрые, громадного роста, выносливости и медвежьей силы, женщины — крепкие, точно литые, мало уступающие в силе мужикам, всегда веселые, проворные и смешливые. Семнадцатилетняя Настя и Маша, на год ее моложе, спокойно, как на обычное дело, отправлялись на далекую охоту в тайгу, били сохатых, медведей и рысей. На счету сестры Евдокии значилось шесть медведей, у Насти — два, у Маши — один, но такой громадный самец, что на его черную шкуру, снятую «ковром», с уважением поглядывали и бывалые медвежатники.

Братья были любознательными и образованными людьми. Несмотря на уединенное житье, они собрали большую библиотеку, выучили дочерей. Неторопливые вечерние беседы с этими людьми острой наблюдательности и здорового юмора приносили настоящее удовольствие. Ежегодная смена юных коллекторов в экспедициях Андреева и Турищева обязательно влюблялась в девочек Селезневых, и мрачные байроновские физиономии сопровождали геологов до конца экспедиции. Две длиннокосые охотницы могли покорить кого угодно удивительной для городских жителей отвагой, умением управляться с самыми разными делами, неистощимым задором и весельем.

Девушки сопровождали Андреева в один из боковых маршрутов по притокам Тунгира, и он мог оценить их искусство ходить, грести, вязать плоты, рыбачить, разжигать костры. Каждая неизменно предлагала своему очередному поклоннику бороться. На памяти Андреева только один раз шутливая борьба закончилась поражением Насти. В тот год среди его коллекторов был студент Прошко, получеркес-полуукраинец, черный, угрюмый и очень сильный. Чтобы отомстить, Настя и Маша придумали купаться. Тот, кто знает, что реки Восточной Сибири текут по вечной мерзлоте и очень студены даже в разгар лета, может оценить подвох, устроенный хитрыми девчонками. В самую жару девочки повели храброго Прошко к причаленному на глубоком месте карбасу. Заставив его отвернуться и ждать сигнала, они попрыгали в воду и поплыли, позвав коллектора. Тот в мгновение ока разделся и нырнул прямо с борта. Тонкий поросячий визг пронесся над рекой. Прошко, как ошпаренный, выскочил на берег. Шестиградусная вода после тридцатиградусной жары на воздухе была удачной местью. Как после признавался Прошко, «мене как дрючком кто по башке хватыв, в глазах потемнело, и я сознания лишився». Но еще горше было, что «те клятущие девчонки плывуть соби да плывуть!». Действительно, закаленным девушкам даже такой перепад температуры оказался нипочем.

Однако храбрый черкес-украинец все же посватался к Насте. Может быть, девушка и согласилась бы, но отец был категорически против. Ребенок, еще три года расти ей надо, потом о замужестве думать.

На предложение Прошко подождать старший Селезнев только покачал головой: «Тебе самому-то сейчас девятнадцать, так ты и через три года будешь тот же щенок, для Насти не годишься. Настоящий жених должен быть не меньше как на семь, а то на все десять лет старше невесты. Мы, сибиряки, так понимаем. Это у вас в России принято щенков женить, так с того ни хозяйства, ни потомства хорошего». Вероятно, Селезнев и не подозревал, что излагает принятые в Древней Элладе правила брака.

Вконец разобиженный, Прошко поехал дальше еще более мрачным.

Настя тоже погрустнела. Но на следующий год, когда Андреев повстречался с Селезневым по дороге с прииска

Калар и заехал на Тунгпр, Настя так же заразительно хохотала, как и прежде. На вопрос Андреева старший Селезнев улыбнулся сурово и довольно: «Пока еще дурь эту от них отвожу. Надолго ли, не знаю, больно самостоятельные девчонки, без матери растут, эх!»

— А Евдокия Ефимовна? Она им как мать.

— В заботе-то как мать! А кофточки у всех трех одинаковы!

Ничего не понимающий Андреев оглядел смутившуюся Евдокию, которая погрозила брату кулаком и выскочила за дверь.

В это же посещение Селезневых пришлось Андрееву быть свидетелем еще одного сватовства. На этот раз «задурило», как выразился Иннокентий, старшее поколение.

Верный товарищ Андреева, Турищев, давно присматривался к Дуне Селезневой. Андреев знал, что у товарища крупные семейные нелады, но все оставалось попрежнему до последнего года.

Евдокия только что вернулась с Усть-Тунгира, пройдя за три дня пешком без малого двести километров. Подвиг молодой женщины окончательно сразил геолога, и тут же состоялось объяснение, закончившееся полным поражением Турищева. Теперь байронический вид принял уже старый товарищ. Но геологи не коллекторы и не ходят вместе, а обязательно разъединяются, чтобы обследовать разные участки района. Поэтому Андреев не мог видеть, насколько серьезны были сердечные страдания товарища.

Только в конце экспедиции, когда оба наслаждались ослепительным светом, теплом и прочим комфортом спального вагона в сибирском экспрессе, особенно ощутительным после суровости проведенных в походе семивосьми месяцев, Турнщев рассказал, как отвергла его Евдокия.

Просто и мудро она возразила на все убеждения: «Ты ученый и не сможешь жить на воле все время, а я другой жизни не знаю и не хочу знать. Видишь, не получится у нас: я уступлю — буду терпеть, пока тоска не одолеет, ты уступишь — то же самое будет. Ученому без города, а мне без тайгп не житье».

На горячие убеждения Турищева, что одинокой, как она, жить тоскливо, молодая женщина спокойно ответила, что найдет или не найдет судьбу свою, но судьба эта здесь.

И, вспоминая все эти события, происходившие четверть века назад, Андреев смотрел на взволнованное лицо Турищева и чувствовал, что старый товарищ тоже заново переживает все прошедшее. Последний раз виделись они с Селезневыми в 1935 году. За несколько минут выяснилось, что Настя вышла замуж и уехала, а Евдокия тоже замужем, перебралась на один из Нюкжинских приисков. Иннокентий провоевал всю войну, побывал в Маньчжурии, женился еще в 1939 году, имеет сына и дочь, председательствует в большой охотничьей артели, живет у порожистой части реки Олекмы около Енюков, куда перебрался к нему с Тунгира и старший брат, Илларион, с Машей и ее мужем. Дочь Иннокентия, Ирина, окончила школу в Кудукельском интернате и курсы охотоведов, а сейчас отец взял ее посмотреть Москву, куда и сам-то попал по-настоящему впервые.

Пока шли расспросы, Екатерина Алексеевна уже распорядилась столом, обильно уставленным по андреевскому обыкновению всяческой едой.

Андреев усадил Иннокентия напротив себя и по старой памяти налил полный стакан водки. И вдруг этот огромный человек решительно отодвинул от себя зелье.

— Что ж не спрашиваешь, за каким делом приехал, — зорко глянул он на геолога и погладил аккуратно подстриженную бороду с сильной проседью.

— Сам расскажешь, — ответил Андреев. — Наверное, новости привез. У римлян в древности существовала поговорка: «Экс Африка семпер аликвид нови», то есть «Из Африки всегда что-нибудь новое». Мы теперь можем перефразировать ее: «Экс Сибериа семпер нови» — «Из Сибири всегда новое». А может, и просто так — нас посмотреть, себя показать.

— Просто так не собрался бы. Дел не оберешься, никак не высвободиться.

— Тогда говори дело.

— Вишь, оно пока несподручно. Неловко так, на людях, за столом. Вот уж поедим, тогда узнаешь, почему водку не пью, хоть и раньше-то меня к ней не больно-то тянуло.

Екатерина Алексеевна прервала разговор. Тут же решили, что Селезневы поселятся у Андреевых. Ирина будет передана на попечение Риты, которая вот-вот явится с гимнастического выступления.

Турищев, хватив на радостях больше обычного, уда-

рился в воспоминания о былых походах. Селезнев нетороплиго ел, иногда усмехаясь, иногда грустнея от того, что задевал в памяти Турищев.

Наконец охотник закурил и наклонился через стол, ближе к Андрееву.

— Слыхал я, со здоровьем неважно у тебя, Леонид? Потолстел, лицо с бюрократом стало схоже.

— Сердце сдало. Видишь ли, у нас, геологов, жизнь то слишком ходячая, то сидячая зимой. Отвыкаешь, и каждый год заново втягиваться надо. Ну, пока был молод, все сходило, а потом пошло под уклон. Своевременно не понял, что форму надо держать строго.

— Ну а как же без пути, без тайги, без гор? Разве можно?

— Представь себе, можно. Я тоже сначала думал, что все погибло и жизни больше нет. Осталась от меня одна пропастина!

— А теперь нашел другую дорогу?

— Нашел. Она оказалась совсем рядом с прежней. Все раздумья, знания, наблюдения, находки, что накоплены за сорок лет работы, пустил в дело, в мою науку. Не для рассуждений и разных там умствований, вроде геотектоники, где пока остроумная спекуляция на первом месте. Нет, использовать свой опыт и знания, как молоток или зубило, в толще горных пород.

Андреев, увлекшись, говорил громко и не сразу заметил, что все умолкли и слушают его.

Видя недоумение в глазах Селезнева, геолог продолжал рассказывать про необозримые дали, открывающиеся перед современной исторической геологией, вооруженной новыми достижениями физики и химии, обогащенной наблюдениями над геологическими процессами современности, не говоря уже о расширяющемся все больше познании геологической истории всех материков.

Андреев рассказывал об измерении направления, силы и длины водных потоков, текших по земной поверхности сотни миллионов лет назад; восстановлении ветров, дувших на исчезнувших материках; определении температуры морей, высохших невообразимо давно; радиации солнца, согревавшего некогда пустыни и горы, рассыпавшиеся песком, снесенным на дно морей, и временем превращенные в толщи осадочных пород.

Все это записано в горных породах, и надо расшифровать код, каким сделаны эти записи. Кодов много, и с

каждой новой ступенью восхождения науки мы получаем возможность читать все большее их количество. Ярче оживает перед нами история Земли, казалось бы, невозвратно исчезнувшая, тем самым давая в наши руки ключ к пониманию будущего.

— Теперь я понял, — сказал молчаливо куривший сибиряк. — Что ж, это тоже дорога, трудная и дальняя, не хуже тех, по каким мы ходили с тобой в молодости. Тут не вдруг — пал на коня и попер, пожалуй, заплотов на пути не счесть! Жизнь стоящая. Ты прости меня, Леонид, я чуть не согрешил против тебя, подумалось мне, что ты того...

— Зажирел, отупел, купил дачу! — расхохотался Андреев.

— Ну не так, но вроде.

— Не в коня корм, пусть даже немного мне осталось! Но пойдем ко мне в кабинет, там расскажешь, что с тобой случилось.

Андреев узнал об удивительных видениях, начавших посещать охотника вскоре после войны, едва только он оправился от ранения. Эти картины были настолько четки, что он мог бы все нарисовать по памяти, но очень рваные, путаные, иногда повторявшиеся много раз, иногда сменявшие друг друга в бешеной скачке. Селезнев испугался, что сходит с ума, и попробовал полечиться баней и водкой, но от нее видения стали только более продолжительными и какими-то мутными, страшными. Селезнев отправился на долгую охоту, потом отдыхал на Дарасунском курорте. Понемногу галлюцинации утихли и не появлялись несколько лет.

А год назад, после сильной простуды, они внезапно вернулись с еще большей силой. Местный врач, приятель Селезнева, только разводил руками. Охотник явился в Читу, где его стали уговаривать лечь в клинику нервнобольных, и чем сильнее уговаривали, тем больше тревожился Селезнев. На семейном совете было решено, что ему надо съездить в Москву, кстати повидать столицу, показать ее Ирине.

— Видишь, дело-то какое, — сокрушенно покачал головой сибиряк. — Может, ты что присоветуешь?

— И присоветую, представь себе! Явись ты год назад, я ничем не смог бы тебе помочь. А теперь тут живет мой старый приятель, доктор Иван Гирин.

— Ишь ты, имя какое, старорусское!

— Имя-то ладно. Дело в том, что Гирин как раз занимается такими случаями, вроде твоих. Если я правильно его понял, то ты для него такая же находка, как он для тебя. Завтра созвонимся с ним. А вот и Рита явилась. Как ты ее находишь?

Селезнев ничего не сказал, глядя на стройную дочь друга.

— А мне при первом же взгляде на твою Ирину вспомнились «Стихи в честь Натальи» Павла Васильева, помнишь:

Так идет, что ветки зеленеют,
Так идет, что соловьи чумеют,
Так идет, что облака стоят...

— Захвалите тут в городе, совсем от рук отобьется, — буркнул Селезнев, скрывая довольную усмешку. — У нас до сих пор знали только, как определить, поспела ли девка для замужества и какая из них лучше. Бабы опытные и старухи заставляли девку бежать с горки, а сами смотрели — трясется у нее тело или крепко. Затем сажали на дубовую лавку на орехи. Ежели хрупнут — все в порядке. Не раздавятся — слаба!

— А знаешь, этот мудрый, хотя и жестокий, опыт отражает крепость прежних поколений, во всяком случае, — задумчиво согласился Андреев, — ничего нет жальче и страшнее детей с больной наследственностью. Сердце надрывается глядеть. Вот почему так заботились наши предки о правильном подборе брачующихся пар!

Конец первой части

ЧАСТЬ
ВТОРАЯ

ЧЕРНАЯ КОРОНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
БЕРЕГ СКЕЛЕТОВ

Необычно суровый январский холод стоял над Неаполем. Лазурный серп залива потемнел, тонкие облака задернули небо, придавая ему безрадостную белесость. Город замер, окутался синим дымом очагов и печей.

Художник Чезаре Пирелли согнулся в кресле, посасывая отсыревшую сигарету. От невеселых дум лицо художника казалось старше; плед, наброшенный на колени, придавал ему вид больного человека.

— Довольно, Чезаре, или я перестану верить, что тебе двадцать шесть лет! — послышался звонкий голос.

Груда халатов и одеял на широком диване зашевелилась. На середину комнаты выпрыгнула растрепанная молодая женщина, поднялась на носки и выгнулась своим гибким телом, едва не падая. Быстро, пританцовывая, прошлась по комнате, закуталась в одеяло и, усевшись напротив Пирелли, потребовала сигарету.

— Раньше ты был другим, — сказала она, прищуриваясь от дыма, — или мне это только казалось? С тех пор как ты вернулся из Рима... Ну, не состоялся большой заказ, подумаешь! Проживем до весны.

— До весны-то проживем, а дальше что? Я как ремесленник, изготовляя вещь, думаю лишь о ее продаже. Художник выполняет поставленную себе задачу, но не для меня эта роскошь.

— Весной всегда что-нибудь случается. Найдется выход и на этот раз. Бери пример с меня.

— Пример чего? Легкомыслия?

— Каро мио, тебе пора поступать на службу. Устройся хотя бы секретарем к какому-нибудь профессору. Лучше всего к приезжему археологу. Это просто, особенно если ты научишься рисовать черепки. Маленький, зато

верный заработок. Через десять лет купишь две комнатешки, фиат «миллеченто» и сможешь жениться.

— Не на тебе ли?

— Милый, мне двадцать два года, и я еще не стремлюсь к тихому счастью. Я вернусь к тебе лет через пятнадцать-двадцать!

— Рисовать черепки?! Леа, ты просто глупая девчонка. Должен же я, наконец, сделать что-то серьезное, большое! И я способен на это! Хватит с меня картинок для рекламы или «ню» с прекрасной итальянки...

Леа вскочила и вызывающе выпрямилась.

— Если кто из нас глуп, то это ты, Чезаре! Я тоже немного смыслю в искусстве. Хочешь создавать серьезное, большое? Мой мальчик, где ты найдешь босса, который даст тебе такую работу! Тебе придется лет тридцать работать над тем, что ты называешь пустяками. Потом жить впроголодь, чтобы протянуть те годы, когда ты будешь создавать свое, настоящее. Если тебя раньше не снесут в больницу или на кладбище...

Художник с удивлением посмотрел на Леа. Ткнув окурок в пепельницу, он отбросил плед и грохнулся к ногам девушки, заламывая руки. От неожиданности Леа вскрикнула, рассмеялась и погладила склоненную голову Чезаре.

— Так лучше, мой мальчик. Рисуй пока картинки. А станет тепло — увидим, у меня есть кое-какие планы. Но сначала поедем в Калабрию, на Ионическое море. Мы провели там чудесные месяцы, когда ты учил меня плавать с аквалангом!

Леа уселась в кресле, извлекая сигарету из мятой пачки. Вой холодного ветра за окнами действовал угнетающе.

Чезаре присел на ручку кресла и обнял Леа за плечи. Она молча курила, устремив взгляд на темное окно.

— Не огорчайся, кариссима, — тихо сказал художник, касаясь губами ее душистых волос.

— Чезаре, дорогой, не жалей меня, — внезапно рассмеялась Леа. — Я не горюю, я задумалась. Ты знаешь, мне сейчас пришло в голову такое!.. Ох!

— Если что тебе придет в голову так это будет — ох! — с нежностью ответил художник, вставая. — Говори, а я похожу, холодно!

— Я была недавно у твоей тети...

Чезаре насмешливо фыркнул.

— Погоди, не торопи меня, я могу сбиться! Молчи и зажги мне сигарету!.. Там был старый моряк, он твой дальний родственник.

— Аглауко Каллегари, он? Что его занесло в богобоязненное семейство?

— Я и сама не понимаю. Он был не в своей тарелке. Под конец мы с ним уединились в прихожей, курили. Он мне рассказывал про Берег Скелетов. Мамма миа, как интересно!

— И ты мне ничего не сказала!

— Не успела! Насквозь промерзла.

— Странно...

— Замолчи наконец! Слушай, или я кинусь на тебя и вцеплюсь в волосы, дрянной мальчишка! Берег Скелетов где-то в Южной Африке, бывшая германская колония, которую заграбастала себе Южно-Африканская Республика. Так прозвали это место потому, что там было много кораблекрушений и пустыня, очень опасно: везде открытый берег и страшный прибой. И нет воды, на пятьсот миль пески и низенькие горы. Это запретная страна, потому что на берегу находятся алмазы, а хапуги южноафриканцы не дают их разрабатывать, чтобы не сбить цену на свою монополию. Но в пустыне постоянной охраны не поставишь, там только патрули. И смельчаки иногда успевают за несколько дней обеспечить себя на всю жизнь... Я подумала...

— Поехать туда? Как это на тебя похоже! А дядя Аглауко не говорил, скольких поймала полиция...

— Чезаре! Ты мне начинаешь надоедать! Болен, что ли? Откуда у тебя это хныканье, от тетки?

— Ну, говори, говори, — примирительно улыбнулся художник.

— Так вот, капитан Каллегари подружился в Анголе с одним моряком, португальцем. Тот сколько-то лет назад нанялся в экспедицию морских исследований. Оказалось, это просто компания охотников за алмазами. Они высадились на Берег Скелетов и пробыли там целую неделю. Явилась полиция. Целый отряд на верблюдах! Главный из авантюристов — его тяжело ранили — бросился в прибой и как-то сумел выплыть к яхте, стал тонуть. Тогда моряк-португалец с яхты бросился в море и спас его. То есть все равно не спас, потому что авантюрист умер от ран. Но перед этим он рассказал матросу, который его спас, что они наткнулись на место с крупными алма-

зами. Они успели скрыть и место, и уже собранные алмазы от полиции. Умирающий набросал карту места и отдал португальцу, а тот дал капитану Каллегари снять копию. На всякий случай, потому что сам он не надеялся попасть туда.

— А почему ты думаешь, что эта карта — настоящая? — спросил заинтересованный Чезаре. — Таких планов с алмазами и в Анголе, и в Южной Африке, в каждом порту — сотни для доверчивых дураков.

Леа торжествующе улыбнулась.

— Потому что португалец не пытался продать его и не уговаривал капитана ехать туда. Он дал так, в знак дружбы, ничего не прося взамен. Это похоже на правду. А потом, это даже и не так важно!

— Опять ты играешь в таинственность!

— Да нет же! Я подумала, что надо туда явиться с аквалангами, нырять под прибой, выходить на берег в любом месте и сразу удирать в море, чуть только полицейские собаки этих жадюг покажутся вдали.

— Не лишено остроумия! И ты сказала это капитану?

— Разумеется, как я могла удержаться? А он стал размахивать руками и пожалел, что не знает человека, который бы решился финансировать подобный рейс.

— Все это интересно, но какое имеет отношение к нам, к тебе и ко мне?

— Вчера ты познакомил меня со своим знаменитым другом, с которым приехал из Рима. Разве ты забыл, что он приглашал нас на свою яхту в путешествие? Завтра мы обедаем с ним.

— И неужели ты думаешь... Миллион дьяволов, все может быть. Иво мне жаловался, что его карьера окончена, что он сошел с круга. И действительно, для него дело дрянь, если целый год нет ангажемента! Нагрянут кредиторы, и прощай яхта, прощай вилла! Он хочет бежать от них в море.

— Мы можем принять его приглашение. И, в свою очередь, уговорить его плыть к Берегу Скелетов... с дядей Каллегари в качестве бесплатного капитана.

— Девочка моя, да это готовый план! Ты меня победила! Я спускаюсь вниз и звоню старику Аглауко. Если он примет нас вечером, то придется раскошелиться на такси и бутылку. Ну, ничего, завтра за обед заплатит Флайяно, пока он может это сделать!

Погода не улучшилась и на следующий вечер, когда Чезаре и Леа сидели за столиком ресторана вместе со старым капитаном Каллегари. Иво Флайяно чуть опоздал и теперь торопливо шел через зал, высокий красавец, привлекавший всеобщее внимание. Его сопровождала молодая дама в сильно открытом вечернем платье.

Ее спадавшие на плечи волосы отливали медью и вились естественными волнами. Загар на голых плечах тоже был медного оттенка. Раскосые глаза под резкими черными бровями смотрели проницательно и свысока. Она приветливо улыбнулась представленным ей мужчинам, окинула оценивающим взглядом подругу художника и медленно опустилась на подставленный стул. Иво отправился совещаться с метрдотелем — как у каждой «кинозвезды», у него везде были друзья.

— Так вы Леа? — небрежно сказала дама. — А я Сандра. Я слышала похвалы вам от Иво.

— Он же видел меня вчера впервые!

— Значит, ему говорил ваш... Чезаре.

— Чезаре меня никогда не хвалит. Его тайная и беспредельная любовь — Зизи Жанмер!

— Откуда ты взяла! — воскликнул Чезаре.

— Сейчас мода на девушек с порчинкой, — притворно пригорюнилась Леа, — я всегда была слишком добродетельна и слишком нормальна для тебя!

— Слушаю и думаю, что, не видя тебя, можно представить величественную богиню, — усмехнулся Чезаре, — а на самом деле — кнопка! Конечно, ты не подходишь под модную модель.

Леа вспыхнула.

— Удивляюсь лицемерию мужчин. Есть в Лондоне красавица, диктор телевидения и актриса театра принца Уэльского — Сабрина. Предмет поклонения! Как пишут в газетах, она чудо, великолепие! Ей даже разрешено к номеру своего автомобиля добавить С-49, что означает: «Сабрина, 49 дюймов», это окружность ее бедер. А на картинках рисуют тонких, как стебельки, долговязых девчонок!

Сандра дружелюбно рассмеялась. Вооруженный нейтралитет женщин перешел во взаимную симпатию. Они заговорили о последних римских новостях. Капитан, смущенный присутствием двух хорошеньких дам и кинознаменитости, помалкивал. Однако отличное вино скоро разогрело старика. На столе появился потертый кусок ко-

ленкоровой кальки. Возбужденная Леа протараторила эпопею неудачливых алмазных хищников и свой проект. Сандра наклонилась вперед, и ее взгляд, только что мечтательный и рассеянный, сделался глубоким и твердым. Иво закуривал уже третью сигарету подряд. Наконец владелец яхты откинулся на спинку стула и медленно заговорил, как бы опасаясь неосторожного слова:

— Черт его знает, может быть, и стоит попробовать. С аквалангами риск не так уж велик. В Анголе драка, и мы успеем кое-что, если случайно не подвернется патруль на объезде. Хуже, что экспедиция эта была в сорок шестом году. От тех камней ничего не осталось.

— А нам не стоит на них рассчитывать, — вмешалась Леа. — Мы знаем место, где искать. Это громадное преимущество перед всеми другими, идущими наугад. Надо бы этот план скорее привести в исполнение: аквалангистов становится все больше, и не мы одни можем оказаться догадливыми. А если так, то южноафриканские жадюги сумеют подготовиться.

— Если уже не сумели, — согласился Флайяно. — Ну, это узнаем, лишь попробовав, не иначе. По старой южной пословице: поцелуи и щипки не оставляют ран.

— Но полицейские автоматы оставляют, — рассмеялся Чезаре.

Леа гневно вспыхнула. Однако ее опасения были напрасны. Киноартист увлекся азартом опасности и наживы, погубившим миллионы игроков с судьбой. Иво наклонился к Сандре.

— Слово за тобой! Ведь мы хотели плыть в Новый Орлеан к шестому марта, к карнавалу Марди Грас. А тут, выходит, надо действовать немедленно, пока в южном полушарии еще лето...

— В ад Марди Грас, как сказала бы американка, — ответила Сандра низким, хрипловатым от волнения голосом. — По рукам, попробуем счастье. — Сандра встала и протянула обе руки капитану и Чезаре. — Плывем, пока нас не завалило снегом в Неаполе. На юг, в тропические моря!

Все встали, пожимая друг другу руки. Иво прикоснулся к плечу капитана и сказал:

— Позвольте представить командира яхты «Аквила»!

Старый моряк поклонился, остальные зааплодировали.

Чезаре взял Иво и Леа под руки и, подражая Иво, торжественно произнес:

— А я представляю вам трех аквалангистов экспедиции, впрочем, может быть, их будет четыре? Как вы, Сандра?

— О нет! Мне придется взять на себя кухню. Но не посуду — посуда на всех, или мятеж в открытом море!

Капитан Каллегари откашлялся и степенно проговорил:

— Только вот что, господа. Наверное, вы не представляете силы врага, которому мы можем попасться. Ди-Ти-Си — Алмазная торговая компания, возглавляемая фирмой «Де Бирс», жестоко борется за свою монополию. Этому алмазному синдикату удалось поднять цену на ювелирные алмазы за тридцать лет больше чем втрое: с семидесяти до двухсот тридцати английских фунтов за карат. В это же время открыли столько новых месторождений, что, если бы пустить их в разработку, алмаз стал бы полудрагоценным камнем. Следовательно, их задача не только не давать разрабатывать месторождения, но и всячески бороться с нелегальной добычей, со скупкой и контрабандой алмазов. «Де Бирс» организовала пять лет назад международную алмазную охранку, куда, привлекая крупным заработком, сманила лучших детективов Англии. У них на откупе алмазный детективный отдел южноафриканской полиции, они связаны с международным объединением полиции. И у них действительно длинные руки, достающие по всей Африке. Мужчины сами понимают, но дамы... способны ли вы держать язык за зубами до отплытия? Абсолютно никому! Молва и раньше катилась по свету скорее самого быстрого корабля, а сейчас она все равно как молния. И провал наш обеспечен еще в тот момент, как мы снимемся с якоря в Неаполе!

— Никому, нигде, никогда! — Веселые и возбужденные лица женщин стали серьезны.

— Еще вопрос, — продолжал моряк. — Про яхту я знаю, но кто команда?

— Все свои. Мотористы — мой старый друг-инженер и мой шофер, матросы — два преданных мне калабрийских парня. Штурман — лейтенант нашего флота в отставке.

— Они тоже в доле?

— Не знаю. Они ведь плывут для прогулки. Пойдем потом в Кейптаун, на Цейлон, в Японию...

— Ой, ой, бойтесь Кейптауна! Когда там станет известно, что мы шли вдоль Берега Скелетов, можно под-

вергнуться внезапному обыску. Но обо всем этом подумаем по дороге. До Гибралтара и потом до Зеленого Мыса штормов хватим...

— Ох! — шаловливо поморщилась Сандра.

— Да, синьорина, это плавание будет нелегким, — серьезно предупредил капитан.

Но ни капитан Каллегари, никто из компании задорных молодых людей не представлял себе всей трудности фантастического предприятия, на которое они пошли по плану Леа.

Берег Скелетов — так моряки прозвали Каоковельд — побережье пустыни Намиб в Юго-Западной Африки, между Китовой бухтой и портом Алешандри в Анголе. «Каоковельд» на языке местных обитателей-кочевников гереро значит «берег одиночества», а искатели алмазов еще прозвали его «берегом алмазов и смерти». На пространстве от Анголы до Китовой бухты пустыня на протяжении восьмисот километров вдоль моря и на двести в глубь материка почти безводна и необитаема. Это на руку крупным дельцам — воротилам политики Южно-Африканской Республики, которая получила мандат на эту территорию бывших германских колоний и так «заботится» о стране, что запретила кому бы то ни было являться сюда без специального разрешения, получить которое очень трудно. Секрет прост: на южном продолжении пустыни Намиб, на побережье Намакваленда, алмазы находятся в огромном количестве. Вся эта страна сделана запретной зоной, обнесенной проволокой высокого напряжения, и охраняется постоянной стражей. Всякому, кто пожелает выехать из Намакваленда, вернее, из его запретной зоны, включая полицию, делают рентгеновское просвечивание и лишь после этого дают пропуск. Все эти меры, чтобы предупредить обесценивание алмазов, составляющих (вернее, составлявших до открытия алмазных труб в Сибири) мировую монополию и обеспечивающих огромные доходы владельцев кимберлитовых разработок. Алмазы в Каоковельде не разрабатывались, но Южно-Африканская Республика не без основания считает, что они там есть. Поэтому можно обречь доверенную по мандату страну оставаться пустыней, можно запретить туда доступ всем, включая научные экспедиции, лишь бы алмазы навсегда остались лежать в песках Берега Скелетов бесполезными сокровищами. Может быть, с точки зрения буржуазной морали браконьеры, пробирающиеся в запрет-

ную страну, ирестуиники. Но всякий свободомыслящий человек будет скорее на их стороне, чем на стороне иользующихся властью мерзавцев, не допускающих мпр обогатиться таким важным в технпке и столь красивым камнем, как алмаз. Россказни, что удешевление алмазов уничтожит половину промышленности Южной Африки, — разве это оправдание? Промышленность, которую надо иоддерживать высоковольтными ограждепиями и запретными зонами, иусть она провалится в ад!

По счастью для искателей алмазов, Берег Скелетов слишком огромен и пустынеп. Но это счастье оборачивается другой стороной, потому что ироодоление трудностей Каоковельда смертельно опасно для одиночных искателей, а организованные эксиедиции требуют такой конспирации, какой пе владеют неиодготовленные люди.

Сокровища охраняют быстрые иатрули на высоких беговых верблюдах, автомобили, самолеты, сторожевые суда. Но главный страж — сам океан, несущий к Каоковельду отголоски антарктических бурь. Уиорный тяжелый ирибой беспрестанно бьется об открытый на весь безмерный простор Южной Атлантики берег. Вот настоящий страж сокровищ, подлинных и мнимых, скрытых в белых иесках Берега Скелетов. Может быть, алмазов в этих песках меньше, чем остатков кораблей и костей моряков с древних галер и с современных лайнеров. Опасность Каоковельда не только в отсутствии бухт, хоть сколько-нибудь защищенных от сильных штормов, нередких в этих водах. И даже не в отсутствии точных карт. Новая аэрофотосъемка уже решила эту ирежде неиосильную для Британского адмиралтейства задачу.

Берег Скелетов — это край древнего африканского горба земной коры, который беспрерывно иоднимается в течение уже миллионов лет. Потому здесь смыты все верхние покровы горных иластов до самых древних иород основания земной коры. Геологи совсем недавно определили возраст этих пород в пять миллпардов лет, то есть он близок к возрасту всей нашей Галактики. Здесь выпучиваются земные недра, залегающие под гранитной корой, тяжелые рассланцованные давлепием иороды из особой разновидности граната — эклогиты. Оттуда сквозь трещины пробиваются иод гигантским давлением струи раскаленных и сжатых до предела газов, несущие драгоценные алмазы вместе с разрушенными эклогптами. Южно-Африканский древний материк весь пронизап алмаз-

ными трубами, как, по-видимому, и похожий на него древний материк в центре Сибири.

Материк поднимается, и берег непрерывно наступает на море, как бы отбрасывая, оттесняя океан. Непрерывно изменяются глубины, из моря вырастают неожиданные рифы, приглубые мысы становятся вдруг гребнями подводных скал. И пополняется скелетами людей песок Каоковельда, может быть, самый предательский берег мира.

Искатели алмазов однажды раскопали холм песка в семнадцати километрах от берега и нашли в нем галион — старинный португальский корабль. Окатанная прибоем галька тянется полосами в десяти километрах от берега, указывая, где бились волны Атлантики.

В середине прошлого столетия к югу от мыса Фрио моряки обнаружили в маленькой бухте древнюю мощеную дорогу, ведшую в глубь материка. Теперь она исчезла.

В 1909 году на севере Каоковельда разбился немецкий пассажирский лайнер «Эдуард Болен». И посейчас он стоит на ровном киле в километре от берега с уцелевшими мачтами и трубой, окруженный кустарниками. В жарком мареве пустыни кажется, что громадный пароход величественно плывет через низкие заросли. Неподалеку находится медный рудник, и нередко рабочие этого рудника устраивают в корабле свои собрания и игры. Тогда иллюминаторы светятся в ночи, оживляя мертвый корабль.

В 1942 году английский лайнер «Звезда Дунедина» налетел ночью на недавно поднявшуюся скалу и выбросился на Берег Скелетов, примерно посредине между Анголой и Китовой бухтой — городком Уолфиш-Бей. Часть пассажиров, преимущественно женщины, дети и больные, на спасательных шлюпках преодолели прибой и высадились на песчаный пляж. Высадка оказалась ошибкой и едва не привела к гибели всю высадившуюся группу. Люди, оставшиеся на корабле, прочно засевшем в прибрежных скалах, были спасены на следующий день подошедшими судами, но все усилия перевезти высадившихся пассажиров через прибой обратно в море оказались тщетными. Спасательные шлюпки разбились, и шестьдесят три пассажира остались на берегу с ничтожным запасом воды и пищи. Попытки переправить через прибой плоты с водой и продовольствием не удались. На помощь вы-

шли морской буксир и минный заградитель. Из ближайшего города Виндхука по железной дороге были немедленно отправлены две автоколонны грузовиков с приказом идти день и ночь через пустыню. Ведомые добровольцами и бушменами-проводниками, грузовики с чудовищным трудом достигли места крушения лишь через две недели вместо семи дней по расчету. К счастью, за это время два бомбардировщика, летчики которых проявили чудеса храбрости, сумели обеспечить лагерь беспомощных пассажиров продовольствием и в обрез — водой. Посадив свои машины на узком хребтике, единственном твердом месте, с которого можно было взлететь, они начали вывозить детей и женщин. Взлетный пробег бомбардировщика составлял около тысячи метров, длина всего хребтика была меньше восьмисот. Выбросив все, что можно, летчики трижды взлетали и садились. Один из самолетов безнадежно застрял в песках и был спасен лишь автоколонной, но потом все же разбился на берегу. Буксир, неосторожно приблизившийся к прибою, погиб, и его экипаж оказался в числе спасаемых. Ошибка поспешной высадки людей на страшный Берег Скелетов обошлась в сто тысяч фунтов, погибли морской буксир, самолет, несколько грузовиков. Два человека отдали свои жизни. Безграничное мужество и стойкость потребовались от нескольких сот людей, участвовавших в спасательных операциях. И все из-за того, что несколько десятков пассажиров пересекли роковую линию прибоя, естественную ограду Каоковельда!

Пассажиры разбившегося лайнера, блуждая по берегу в поисках плотов с продовольствием, наткнулись на остов деревянного корабля с уцелевшими мачтами. Как выяснилось впоследствии, эти мачты служили опознавательными знаками на навигационных картах не меньше полустолетия. Вокруг валялись деревянные бочонки, канаты, сапоги. Вещи рассыпались в пыль при малейшем прикосновении. Поодаль в песке, на глубине в полметра, лежали, попарно обнявшись, двенадцать человеческих скелетов, почему-то без черепов.

После спасательных операций были сделаны попытки выяснить, что это за судно. Нашелся глубокий старик — немец из Мариенталя, который ходил вдоль берега Каоковельда в 1883 году вдвоем с проводником — гереро и четырьмя ослами. Старик вспомнил, что он наткнулся на четырехмачтовый парусник, стоявший в бурунах прибоя.

Его экипаж до последнего человека был мертв, трупы лежали на берегу. Множество гиен и шакалов скопилось на месте крушения, и люди поспешно удалились, стараясь отойти подальше до наступления ночи. Корабль и погибшие так и остались безвестными.

Мрачная сила Берега Скелетов была неведома молодым итальянцам. Уверенные в успехе, загоревшись мечтами стать независимыми без долгих лет труда на придирчивых и требовательных хозяев, они стремились к грозному Каоковельду, как к обетованной стране. Январское море не стелилось для них безмятежно-гладкой дорогой. Потрепанная бурями, измотанная качкой, прокоптившись в дыму дизелей, компания искателей алмазов сделала стоянку на островах Зеленого Мыса. Надо было осмотреть двигатели, кое-что починить и, главное, подготовиться к водолазным делам. Метеосводки сулили продолжительную тихую погоду. Тройка аквалангистов с Сандрой и лейтенантом в качестве помощников приступила к испытанию снаряжения. На юго-запад от Праи они нашли маленький уединенный пляж, быстро уходивший на глубину. Здесь, как и вообще у западного берега Северной Африки, море было идеально прозрачно. Вода под дном моторной шлюпки напоминала жидкий голубоватый хрусталь, и лодка казалась парящей в воздухе, высоко над дном.

Первой оделась Леа. Она стояла, умело балансируя на маленькой, спущенной за борт платформе, по щиколотки в воде, вполоборота, улыбаясь товарищам. Маска, сдвинутая на лоб, торчала над смеющимися глазами. Волосы, крепко завязанные узлом, блестели, как и смуглая, сохранившая загар поздних купаний кожа, в тон золотисто-коричневому купальнику. Белые цилиндры воздушных баллонов тяжело легли на спину, но Леа стояла прямо в ожерелье из гофрированных воздушных трубок на плечах. Ее низковатая крепкая грудь выдалась сильнее между лямками аппарата, длинные голубые ласты непомерно удлиняли ступни. Большой нож, подвешенный к поясу, придавал ей воинственный вид.

— Леа, смотри внимательнее, — озабоченно сказал Чезаре. — Насчет акул. Хоть нас успокоили, что здесь они редки, все может быть!

Леа кивнула и послала художнику воздушный поцелуй. Ловким движением она опустила маску на лицо, вставила в рот резину воздушной трубки. Леа скользну-

ла в медленно вздымавшуюся громаду волны. Ее тело как бы размазалось, расплылось в движении жидкого хрусталя. Еще немного, и оно снова стало четким, приобретая нереальную синеву большой рыбы. Чезаре и Иво последовали за ней в нетерпении испытать ощущение первого погружения — пожалуй, самое большое удовольствие аквалангиста. Мгновенно исчезнет тяжесть цилиндров на спине, исчезнет и собственный вес. Человек станет птицей. Без усилий можно парить или погружаться, руки становятся крыльями. Чем прозрачней вода, тем сильнее чувство полета, дно видно далеко внизу, но нет страха падения. Здесь другой мир, где человек летает. Глухое молчание обступает подводного пловца, лишь слышен шум выдыхаемого воздуха и мягкое журчание воздушных пузырьков из регулятора. Земной мир звуков исчезает, придавая еще большую торжественность странному подводному царству.

Сандра и лейтенант остались вдвоем в мерно качавшейся шлюпке.

— Не завидно? — спросил морской офицер. — Мне просто стыдно, что я не умею...

— Мне завидно, но не стыдно, — презрительно сказала Сандра, подымая короткий носик, — плаваю я не хуже их!

— Японцы говорят, что девушка, которая не любит танцевать и плавать, не годится и для любви.

— А мужчина годится?

— Про мужчину ничего не сказано. Но я сознаю свой позор. Что поделать, война, потом интернирование в Египте, потом... да слишком много потом.

— Вы должны были быть совсем мальчиком в войну, — сказала Сандра, смягчаясь.

— Так оно и было. Шестнадцатилетний ученик военно-морского училища...

Они уселись на лесенку, опустив босые ноги в воду, плескавшуюся поверх платформы, курили, покачиваясь в такт шлюпке, и неторопливо беседовали. Легкий, какой бывает только в тропических морях, ветер раздробил сверкающую синеву, посеребрил волны тонкой рябью, унося к отдаленным берегам Африки влажный зной полдневного моря. Вдали показался небольшой пароход. Лейтенант вставил высокий шест в гнездо на носу и поднял на нем бело-красный флаг, предупреждавший по между-

народному коду, что здесь действуют легкие водолазы, свободные от связи с судном.

Сандра поежилась в своем бикини — купальном костюме из двух узких полосок синего нейлона — и вдруг бросилась в воду. Легко и быстро она оплыла шлюпку, крутясь и кувыркаясь в воде, как дельфин.

Прошло около получаса. Аквалангисты должны были вернуться с первой тренировки. И действительно, синяя тень возникла в глубине, быстро поднимаясь. Леа, неузнаваемая сквозь воду из-за поднявшихся копной волос и маски, подплыла к платформе, уцепилась за ее край и была поднята в наземный мир лейтенантом.

— А где мальчики? — спросила Сандра.

— Сейчас появятся. Мы встретили акулу, рыбу-молот.

«Мальчики» вынырнули тут же, похваляясь, что встретились с акулой нос к носу.

— Порядочная! — кричал возбужденно Чезаре, помогая Иво отстегивать лямки и пояс. — Знаешь, метров пять!

— Под водой все — в полтора раза, значит, метра три, — невозмутимо поправила Леа, — так оно похоже на правду! Иво, вы что молчите?

Киноартист не ответил, находясь еще под впечатлением встречи с акулой. Леа была не права. Иво еще ни разу не видел таких больших акул. Сине-серая, под цвет глубокой воды, она двигалась с легкостью мощной, замедленной торпеды. Неправдоподобно широкая голова походила не на молот, а скорее на плоский брус, приставленный поперек идеально обтекаемого сигаровидного тела. Глаза и ноздри акулы были почти незаметны на концах брусовидной головы. Зубастая пасть открывалась под ней, резко заметная черной широкой щелью на почти белой нижней стороне туловища. Огромные передние плавники вместе с высоким и заостренным спинным образовывали трехлучевую звезду. Недалеко от несимметричных лопастей гигантского хвоста выступали треугольники плавников на спине и на брюхе, меньшие по размерам, но такие же геометрически резко очерченные. От обилия и механической правильности плавников обтекаемое тело акулы казалось машиной, созданной из гибкого металла, бесшумной, как призрак, и управляемой автоматом. Молот-рыба, как показалось Иво, плыла с властной уверенностью хозяина, а он почувствовал себя нахальным и непрошеным вторженцем, который мог быть

ежеминутно наказан. Иво никому не признался в громадном облегчении, испытанном им, когда плывшая впереди Леа круто повернула назад. Сейчас, на безопасной шлюпке в сиянии солнца и моря, ему показалось невероятным, что там, под ними, величественно плывет этот сине-серый призрак, высматривая добычу. Да, акулы — «тени в море», как зовут их водолазы, — были подлинными владыками океана, завоевавшими его воды сотни миллионов лет назад, когда наземная жизнь едва теплилась в прибрежных болотах. Законченное совершенство — вот настоящее впечатление от акулы, как бы ни был отвратителен этот безмозглый и безжалостный хищник, автомат для убийства и пожирания.

— Боже, как хорошо! — воскликнул Чезаре, поводя плечами, и капельки морской воды заблестели, скатываясь с кожи. — Теперь покурим!

Сандра встала со скамейки и подала ему зажигалку и сигарету. Художник окинул ее восхищенным взглядом.

— Вам бикини прибавляет прелести вдвое, а это нечасто бывает! Теперь сообразил, что вы похожи на Гею из «Алтаря мира».

— Комплимент сомнителен — Гея с близнецами! Благодарю покорно!

— Вы знаете «Алтарь мира»? — удивился художник.

— Позвольте представиться еще раз: специалист по античной культуре Сандра Читти. За неимением работы — гид для показа римских древностей со знанием трех языков. Чаевые — двести лир со стада! Пастухам платят больше!

— Бедная девочка! Я вас понимаю и сейчас счастлив, что пока не надо выслушивать наставления своего американизированного босса.

— Чему же он вас учит?

— Как рисовать женщин для рекламы! Это мне!..

— Простите, — вмешался лейтенант, — я хотел сказать... насчет Геи. Я не согласен. Вы куда красивее!

Чезаре расплылся в улыбке и подмигнул Леа, а Иво одобрительно ткнул лейтенанта в бок, сказав:

— Моряки всегда смыслили в женщинах больше, чем художники. Сандра — она редкая! Ее вайтлс 38—22—38 по американской мерке в дюймах, очень секси, куда там какая-то Гея!

— Терпеть не могу голливудского жаргона, — вдруг разозлилась Сандра, — равнодушного, грубого, бесчело-

вечного! Со второго слова каждый режиссер, фотограф, не говоря уже о продюсере, считает себя вправе спросить: между прочим, каковы ваши вайтлс, то есть жизненно важные измерения обхвата груди, талии и бедер?

Лейтенант с откровенным удовольствием слушал Сандру. Воспитание в закрытом морском училище, а потом и вся жизнь военного моряка приучили молодого человека к мысли, что всякая очень красивая девушка обязательно охотница за мужчинами — гольддиггер. Сандра с ее балетной гибкостью и свободной манерой держаться походила на голливудских «тигриц», ибо, по убеждению многих, в Голливуде девушек специально учат сексуальной привлекательности на погибель мужской половине человеческого рода.

— Как я понимаю вас, Сандра! — воскликнул Чезаре. — Видит бог, я знаю, что есть красота. Роден, когда стал старым дураком, вдруг заявил: «Я верю, что мы никогда не будем знать точно, почему вещь или существо красивы». Это как раз точка опоры всех «истов» и оригинальничающих дельцов от фотографии. Но я хочу сделать так, чтобы как можно больше людей поняли законы прекрасного и приобрели бы настоящий вкус художника!

— Чезаре, что это ты проповедуешь? — встала на скамью Леа. — Вот она, красота! — Леа показала на хрустально-голубое море и чугунно-серые горы вдали, увенчанные грядой ослепительно белых облаков.

— И вот она! — воскликнул художник, опуская обе руки на плечи Сандры и Леа.

— Все эти возвышенные разговоры о красоте мне кажутся чепухой, — вмешался Иво, бросая за борт окурок. — Я готов играть кого угодно — западного ковбоя, вампира, фашиста или гангстера, убивающего и насилующего направо и налево, лишь бы хорошо платили и была хорошенькая партнерша со звонкой рекламой! Кого я только не играл, и поверьте, нисколько это меня не беспокоило!

Чезаре посмотрел на приятеля, прищурился и промолчал. Сандра отвернулась, а Леа негромко процедила сквозь зубы:

— Теперь мне понятно, отчего кончилась ваша карьера...

— Что вы сказали? — резко повернулся к ней Иво.

— Я подумала, что готовность выполнять все, что угодно, означает, что нет своего чувства жизни, своей цели,

линии, ну я не знаю, как точно сказать. Чем больше вы угодничаете перед хозяевами, тем меньше они вас ценят и неизбежно выбросят на улицу... — Леа запнулась от предупредительного толчка Чезаре.

— Вот так теория! — громко расхохотался Иво, пряча в глазах злобу.

— Разве я похожа на теоретика?

— Никто никогда мне этого не говорил, никто из тысяч моих друзей, — упрямо сказал киноартист, обиженный словно мальчик.

Лейтенант счел нужным рассеять создавшееся напряжение и напомнил, что пора возвращаться обедать на яхту.

Завели мотор, и шлюпка понеслась, точно с горы на гору, по громадам медленных волн.

— Интересно, заготовил ли дядя Каллегари свежие фрукты? — подумал вслух Чезаре. — Тогда нам можно сниматься.

— И без фруктов доплывем! — бросила Сандра.

— Для вас же, дорогие дамы, для прелестных ваших фигурок, — с нарочитой сладостью пропел Флайяно.

— Не слишком ли мы верим в могущество витаминов? — спросила Леа.

— Вы совершенно правы, — ответила Сандра. — За едой наш культурный человек столь же дик, как его пещерный предок. Множество суеверий, мнимо научных теорий затуманило умы. Будто пища дает здоровье, стройность, красоту без всякого участия самого человека.

— Соблюдайте диету и будете стройной, ха, — фыркнула Леа. — Посмотрите только на этих тощих кошек с морщинистыми шеями и слишком тонкими ногами!

— Ты слишком жестока! — лениво возразил Чезаре. — Посмотрим, что ты запоешь, когда тебе будет за тридцать пять.

— Может быть, — покорно согласилась Леа, — но сейчас я не думаю об этом и не хочу думать. Вообще мы много думаем о старости, о том, что будет с нами на склоне лет, и от этого стареем смолоду!

— Кончайте философию, вот и порт, — сказал Флайяно. — Сейчас будем дико пожирать обед, у меня всегда чудовищный аппетит после ныряния.

ГЛАВА ВТОРАЯ
СОКРОВИЩА АФРИКИ

В крошечной кают-компании «Аквилы» собрались все десять человек ее экипажа. Сандра и Леа подали огромный пирог. Оплетенные соломкой бутылки красного вина помогали одолеть праздничное блюдо. Яхта готовилась покинуть порт Праю и уйти за три тысячи миль на юг, к Берегу Скелетов. Старый капитан решил не заходить ни в какие порты, предельно нагрузившись топливом. Тем самым соблюдалась тайна рейса и «эффект внезапности», выражаясь по-военному.

Два вентилятора не могли выгнать табачный дым через открытую дверь и иллюминаторы, а капитан непрерывно сосал объемистую трубку. Своим квадратным лицом римского воина он походил на постаревшего Чезаре.

— Долгосрочный прогноз нам благоприятствует, — говорил капитан, — путь пройдем быстро. Хорошая погода облегчает определение, а ведь предстоит отыскать всего лишь точку на пятисотмильном побережье, и отыскать, прямо скажу, с ходу. Но мне, как всегда, везет: наш лейтенант — отличный навигатор, и от него во многом зависит успех.

— Лейтенант, вы рыцарь, как всякий моряк, и я повяжу вам свой шарф в этом походе. Или, может быть, вы предпочтете бикини Сандры? — поддразнила Леа, с женским чутьем направляя укол.

Лейтенант смутился и пробормотал что-то галантное. Но капитан Аглауко вовсе не собирался заканчивать свою короткую речь шуткой и нахмурился.

— Вы молодые и очень веселые люди, и с вами приятно плавать. Приятно и опасно!

— Это как же понять? — с оттенком неприязни перебил Флайяно.

— Сейчас объясню, синьор Флайяно. Чем отличаются дети от взрослых? Они думают, что мир устроен для них и что это всегда так и будет. Чем отличаются молодые от пожилых и старых? Они уже знают жизнь, но думают, что у них, у каждого все будет по-иному. Законы жизненной игры касаются кого-то другого, а не их. И многие тоже, как дети, думают, что все всегда останется, как оно было, поняв, но в душе-то еще не приняв, что жизнь — это неизбежное изменение, даже тогда, когда оно идет незаметно...

Леа подтолкнула Чезаре, шепнув:

— Ого, наш капитан, оказывается, философ!

— Не понимаю, куда вы клоните, дядя Аглауко, — вмешался инженер, самоуверенный и щеголеватый, происходивший из известной римской семьи.

— Сейчас, сейчас! Мы, люди пожилые, готовы, даже бессознательно, к тому, что всякая радость в любой момент может обернуться бедой и беда — радостью. Поэтому мы без напоминаний судьбы стараемся наточить нож или положить в карман лекарство.

— Но если случается непредвиденное, то значит, оно не может быть наперед обдумано, — веско возразил Иво.

— Так и не так! В неожиданности почти всегда бывает часть того, что вы заранее обдумали. И тогда вы будете действовать уверенно, как опытный человек, так, будто с вами это уже происходило, и будете драгоценным товарищем! Всем известен опыт одиночного плавания доктора Линдемана. Этот ученый проплыл в пироге от Западной Африки до Гаити за сто девятнадцать дней и на складной лодке от Канарских до Антильских островов.

Линдеман уверяет, что моральный фактор не менее важен, чем все физические условия. Основа опасности, пишет он, в самом человеке, если он становится жертвой душевного надлома и не может действовать трезво. Линдеман изучил работы психолога Шульца, рекомендующие самовнушение как очень важный элемент закалки воли и работоспособности. Самовнушение спасло его на пятьдесят седьмой день путешествия, когда лодку опрокинуло и он девять часов во тьме ночи цеплялся за крохотную скользкую калошу. Когда тебя качают девятиметровые волны, налетают шквалы, бешено завывает

ветер — такое требует, пожалуй, большего, нежели обычной воли к жизни.

Действительно, большего! И я добавлю, что прекрасным примером служит невозможность для обычного человека пройти по доске на большой высоте, хотя и доска может быть настолько широкой, что пройти ее на земле доступно любому.

— Следовательно, вы предлагаете, чтобы мы заранее обдумали возможные трудности и беды, которые могут нам представиться? — спросил Флайяно. — Что ж, я нахожу это мудрым. Только как это сделать?

— Очень просто: пусть каждый продумает свое место и поведение в случае, если нас разобьет о рифы Каоковельда, или наших товарищей схватит патруль, или мы будем остановлены военным судном, обысканы и отведены в Кейптаун или Уолфиш-Бей, или случится тяжелая поломка машин, или... да я и не берусь перечислить все «или» так сразу.

— И потом что? Обдумаем, а какой толк, если каждый будет делать что попало?

— А чтоб так не получилось, соберемся, поговорим, может, не один раз, тогда и распланируем, где чье место в бою.

Молодежь дружно одобрила предложение капитана, только инженер скептически заметил:

— Я не хочу опровергать ваш жизненный опыт. Но большую часть его вы набрали в совершенно других условиях. Сейчас, во второй половине века, корабли так усовершенствованы, что любой мальчишка, если он не идиот, может стать моряком. Ничего не случается с теми десятками тысяч кораблей, которые плавают в далеких морях, как мы. Разве столкновения в тумане, как с нашим лайнером «Дориа», а просто бури уже не властны над кораблями.

— Вы правы только в том, что морское дело стало физически легче, и рейсы быстрее, да прогнозы погоды очень облегчили деятельность моряков. А что бури не властны — это вы просто не знаете!

— Какие примеры?

— Я не читал сводок Ллойда уже пять лет, так что не знаю последних случаев. Но вот вам примеры. Несколько лет назад, — капитан помолчал, набивая трубку, выпустил два клуба дыма и продолжал: — пассажирский лайнер англо-австралийского направления, не помню его

имени, исчез без следа в тех водах, куда направляемся мы. Корабль был оборудован всеми современными техническими приборами, о которых вы говорите, и тем не менее ни одного вызова по радио, ни обломка, никого из пассажиров или команды.

— Какой страх! — содрогнулась Сандра. — Когда это было?

— В 1955 году.

— Что же с ним случилось? — спросила Сандра.

— Неизвестно. Морской суд, погадав на кофейной гуще, решил, что корабль мгновенно переломился пополам на сильном волнении и затонул.

— Но ведь это единственный случай, — заметил механик.

— Если бы это было так... Год спустя зимой грузовой английский пароход «Северная звезда» в семь тысяч тонн исчез в Северной Атлантике. Он послал двадцать седьмого декабря в свое общество обычную радиограмму, что все в порядке. И это было все. Правда, капитан парохода «Королева Елизавета» сообщил, что в районе, где исчезла «Звезда», он видел волны высотой в семьдесят и восемьдесят футов.

— Это около двадцати пяти метров? Никогда не слыхал о таких волнах в Атлантике! — воскликнул лейтенант.

— Все бывает, — спокойно заверил капитан. — В той же Атлантике не так уж редко исчезают суда — я не говорю про рыбачьи или береговые, а про мощные пароходы и теплоходы. За один сильный ураган иногда пропадают вдали от берегов несколько хороших пароходов. Нет, друзья, море — серьезная вещь.

— Как же вы, моряки, не боитесь? — наивно спросила Леа.

— Бояться нельзя — тогда лучше не плавать, — ответил капитан, — но и легкомыслие, безответственность в нашем деле не лучше трусости.

Лейтенант зажег сигарету и смотрел на голубой дым, медленно уходивший в открытую дверь каюты.

— А я боюсь почему-то потонувших кораблей, — задумчиво сказал он.

— Как странно! — воскликнула Леа. — Корабли на дне всегда привлекали меня. Так интересно — кажется, в них скрыта какая-нибудь тайна или обязательно найдешь что-нибудь интересное!

— Нет, у меня не так. Морская глубина чем-то мне неприятна, хотя я всей душой люблю море... но на поверхности. А корабли — да, там тайна, но в то же время и ужас гибели, оборванные жизни, исчезнувшие надежды и труды...

В прошлом году морские летчики взяли меня в полет на геликоптере на остров Сфактерия. Мы летели совсем низко в яркий и тихий день над Наваринской бухтой. Море у западного Пелопоннеса почти всегда прозрачно, как здесь или у нас в Южной Италии. И вдруг я увидел на большой глубине — не меньше тридцати фатомов — много затонувших старинных кораблей. Совсем отчетливо и в то же время с тем оттенком нереальности, который дает даже самая прозрачная вода. Я попросил задержаться, и мы повисли над бухтой, созерцая угрюмые призраки сражения — с обломанными мачтами, лежащие как попало: на борту, на ровном киле, даже поперек друг друга, вверх днищем... У одного большого корабля сохранились мачты, лишь стеньги были обломаны, и перекошенные нижние реи до сих пор еще сопротивлялись времени и судьбе. Я смотрел и думал о тех, чьи кости лежат там, на пушечных палубах и в трюмах, под сверкающими солнечными волнами Ионического моря, окруженными синими от зноя каменистыми берегами греческой земли, древней и вечно юной, по-прежнему полной жизни и мечты...

— Боже мой, вы поэт, лейтенант, — усмехнулся Флайяно. — Любовь к женщинам и поэзия — скверная комбинация, вы не преуспеете в жизни...

— О каком сражении вы говорили? — перебила Леа.

— Наваринском, когда соединенный русско-англо-французский флот утопил всю турецкую эскадру.

— Значит, это было около двухсот лет назад, точно не помню, — сказала Сандра. — Но как же так сохранились корабли?

— Между двумя мысами Пилос море на глубине всегда спокойно, и волны не уничтожили судов. А без волн под водой дубовые корпуса разрушаются очень медленно.

— Шведы только что подняли свой корабль «Ваза», галион в полторы тысячи тонн, потонувший в Стокгольмской гавани больше трехсот лет назад, — подал голос капитан Каллегари.

— Зачем? — недоуменно спросил Иво.

— Просто так, как национальную реликвию, археологическую редкость. Дуб, из которого построен был галион, стал совершенно черным, но отлично сохранился. Корабль стоит в сухом доке, но его непрерывно поливают водой, иначе дерево раскрошится. Оно должно высыхать очень постепенно и долго, тогда дуб снова станет крепким, еще крепче, чем был. Секрет, давно известный мебельным мастерам.

— И хорошо сохранился корабль?

— Очень, за исключением повреждений при подъеме. Даже красная краска, которой красили пушечные палубы боевых кораблей, местами уцелела.

— Странно, почему такой цвет внутри корабля? — удивилась Сандра.

— Совсем не странно, если вспомните назначение судна. Прежние ядра и картечь наносили ужасные раны. Кровь обильно лилась в бою. Так вот, чтобы не смущать людей видом крови, ее маскировали окраской боевых помещений корабля...

Сандра нервно передернула плечами.

— Начали с бурь, перешли на потонувшие корабли, теперь кончили кровью. Обнадеживающая беседа перед выходом в большое плавание.

— Сандра права, — рассмеялся капитан Каллегари. — Я сам начал этот разговор, я же предлагаю его кончить. Поплывем, друзья, смело, готовые ко всему и надеясь на самое лучшее!

Последние слова капитана были заглушены одобрительными криками и требованием запить вином такие хорошие слова.

А через несколько часов «Аквила», низко стеля едкий дымок дизельных выхлопов над спокойным морем, вышла в пятитысячекилометровый путь до берегов Южной Африки. Капитан вел свое небольшое, но быстроходное судно по всем законам дальнего плавания — по дуге большого круга, сильно отклоняясь к западу от африканских берегов, круто уходивших на восток. Он не намеревался заходить в порты Конго или Анголы, чтобы избежать возможных осложнений в этих сотрясаемых внутренней борьбой странах.

На пятнадцати градусах южной широты капитан рассчитывал повернуть прямо на восток и подойти к берегам Африки приблизительно на границе Анголы и Юго-Западной Африки, к устью реки Кунене, запастись во-

дой и на остатках топлива дойти до Китовой бухты, уже совершив «операцию Гваданьо» («Хватай»), как прозвала предприятие Леа.

Океан, тропически ленивый и жаркий, медленно вздымавший крупные пологие волны, качал яхту в сонной влажной истоме и в слепяще знойные дни, и в ночи, сверкающие звездами в небе и светящимися животными в воде. Все участники «Гваданьо» большую часть времени проводили в ленивой дремоте, простертые на палубе под тентом, поднимаясь лишь для того, чтобы добыть из холодильника пиво или облить друг друга забортной водой, не дававшей прохлады распаренным телам. Старый капитан и Сандра объединились в распивании горячего мате — парагвайского чая. Запас его старый моряк всегда возил с собой, находя наилучшим этот способ борьбы с жарой и бесконечным потением. Действительно, оба «парагвайца» были бодрее всех и, когда уставали созерцать море, часами играли в «ма-цзян» — сложнейшее китайское домино. Хуже всего жара действовала на Иво — в нем накипало раздражение против всего света. Затея с экспедицией казалась ему пустой и опасной, компаньоны — неинтересными и недостаточно уважительными к нему — хозяину яхты, оплачивавшему путешествие всей компании. Когда Чезаре, выйдя из апатии, захотел рисовать Сандру, то получил резкий отказ — не от нее, а от Иво. Лейтенант, продолжавший состоять рыцарем при Сандре, тоже получил однажды грубое замечание киноартиста, и только его военная дисциплинированность помогла избегнуть ссоры. Сандра стала избегать Иво и льнула к капитану Каллегари, опекавшему ее с добродушной нежностью.

На пятые сутки плавания пересекли экватор. Прошло еще тридцать тягучих часов угнетающей духоты, монотонного стука дизелей и отупляющего безделья. Внезапно, будто волшебным мановением, море утратило свой слепящий металлический блеск, а небо — недобрый оттенок свинцового марева. Чистый и глубокий небосвод раскинул бесконечную даль над лазурным океаном, а с юга задул ветер, крепчавший с каждым часом. Было еще не время для постоянных юго-восточных ветров мыса Доброй Надежды, но и этот ветер явился отголоском могучей циркуляции атмосферы вокруг Антарктического материка.

После застойного зноя казалось, что ветер несет зно-

бящий холод, хотя термометр не опускался ниже двадцати градусов. Куртки, свитеры и брюки сменили прежние до предела облегченные одеяния.

Волнение усиливалось. Яхта металась, то взлетая над затуманившимся горизонтом, то падая в темные шумящие провалы.

К ночи ветер продолжал дуть с тем же раздражающе упорным постоянством и достиг почти ураганной силы. На яхту стали наваливаться гигантские волны. Капитан спустился в машинное отделение, встреченный тревожными взглядами обоих дезелистов, и распорядился идти на одной машине, держа вторую в готовности.

Каллегари огляделся. Как всегда, вид корабельной машины вселял в него силы для предстоящей борьбы с морем. Длинные серые тела дизель-моторов, наглухо закрытые щитками, ничем не выдавали бешеной скачки поршней и вращения коленчатых валов. Только глухой гул под ногами, сотрясение всего корабля да еще голубоватый угарный дымок, плававший над переплетом трубок и проводов. Пульты с циферблатами тахометров, масляных манометров и указателей температуры освещались матовыми лампочками, желтоватый свет которых казался по-домашнему спокойным в контрасте с яростным воем ветра в вентиляторах и сокрушительным грохотом волн за тонкими бортами.

Каллегари вздохнул и поднялся по внутреннему трапу в каютный проход, бесшумно шагая по толстому ковру между стенками полированного амарантового дерева. Серебристый свет широких плафонов подчеркивал роскошь отделки, может быть, уместную для гигантского лайнера, но здесь, на борющейся с океаном маленькой яхте, показавшуюся старому моряку вызывающей и наглой.

Сандра и Леа стояли у дверей своей каюты внешне спокойные. Широко раскрытые тревожные глаза их тронули капитана. Все мужчины, за исключением Флайяно, находились на местах по штормовому расписанию.

— Можно с вами, капитан? — робко попросила Сандра.

— Пойдемте в рубку! — согласился капитан. — Только держитесь за меня и так крепко, как еще ни за что не держались в жизни!

Капитан вывел их на крышу каютной надстройки, передняя часть которой была занята верхним мостиком

из легких металлических трубок. От рева ветра и грома моря у девушек подогнулись колени. Слабые блики красного и зеленого света от бортовых фонарей метались по стенам черной воды, встававшим вокруг судна. Длинные хвосты пены неслись поверх фонарей, а над ними мутный мачтовый огонь поднимался в беспросветное небо, будто взывая о помощи, и, не получая ее, валился вниз, изнемогая и отказавшись от борьбы, а палуба жутко уходила из-под ног, падая под вздымавшийся навстречу исполинский вал...

На резиновых решетках мостика стоял лейтенант, вцепившись в поручни. Капитан Каллегари, крепко обхватив талии девушек, подтащил их к поручням и перевел дыхание.

— Прикройте меня, капитан! — закричал лейтенант.

Оба моряка прижались друг к другу, и лейтенанту удалось закурить под полой дождевика. Потом оба склонились над нактоузом. Сандра и Леа увидели в слабом огне их мокрые, твердые и спокойные лица, задумчиво устремленные в ревущую черную даль. Иногда они сближались, чтобы обменяться короткими неслышными замечаниями.

Несмотря на молодость, девушки много путешествовали, но только сейчас поняли, что профессия моряка и летчика — это не только умение и тренировка. Духовное соответствие выбранному жизненному пути, позволяющее вот так, спокойно противостоять колоссальной мощи океана и, не дрогнув, исполнять свой долг до конца. Это соответствие призванию, пожалуй, такое же, как у художника, делающего свое дело вопреки всей силе мещанской злобы и непонимания, ученого — до конца ведущего поиски истины и борьбу с косностью, артиста — погибающего в усилиях достичь немыслимого совершенства.

Лейтенант что-то крикнул — слабый, погибший, едва родившись, звук. Капитан подвинул ручку машинного телеграфа и бросился к Леа. Сандра почувствовала руку лейтенанта, сдавившую ее железным кольцом и прижавшую к поручням. И в тот же момент, холодея от сознания близкой гибели, она увидела волну, поднявшуюся над яхтой так высоко, что ее верхушка казалась на уровне мачтового огня. Тяжкий удар отбросил назад судно. На мостике возник поток крутящейся воды, сверху обрушился целый водопад. Сандра, ослепленная и оглушен-

ная, едва успела вдохнуть тугую струю удушающего ветра, как новый удар придавил осевшее судно и снова водопад рухнул на головы людей. Сандра цеплялась за холодные металлические трубки, ожидая смерти. Но машина заработала снова, и «Аквила» заплясала на волнах с прежней легкостью.

— С вас достаточно, — сказал капитан, увлекая Леа и Сандру к двери, в рулевую рубку. В рубке царил покой, пахло табаком и машиной. На руле стоял огромный матрос-калабриец.

Леа и Сандра в изнеможении опустились на обитую кожей скамью, а капитан Каллегари встряхнул дождевик и принялся раскуривать трубку. Дверь открылась, и в рубку ворвался Иво Флайяно, изрыгая брань.

— Я ждал вас, хозяин, — капитан выпустил клуб ароматного дыма, — стоит ли идти тем же курсом? Может, повернем к берегам Африки?

— Куда именно?

— Пойдем в Луанду. Все равно топлива не хватит, если будем пробиваться через бурю. Рискуем повредить яхту...

— Кой черт, откуда взялся такой ураган! Как же вы говорили мне, что мы успеем до осенних бурь! Теперь мы сожжем дорогое топливо, и неизвестно, достанем ли в Анголе.

— Разве это ураган, хозяин, обыкновенная буря. Ветер дует без изменений, без порывов и только возрос до большой силы. Что же делать, на море всегда может случиться неожиданное. Вот и метеостанции не сумели предсказать...

— Будь они прокляты, ваши метеостанции! Яхта вся трещит, в каютном коридоре вода. Поворачивайте куда угодно, хоть в Южную Америку!

Капитан отошел в угол рубки, где на маленьком столике была прикреплена карта, и некоторое время что-то измерял на ней. Потом открыл пробку переговорной трубы и поговорил с механиком. Яхта задрожала сильней — пустили на полные обороты второй двигатель.

— Маневр не лишен риска, — негромко сказал он Флайяно, — слишком велико волнение. Я должен быть наверху, а к рулю встанет лейтенант. Если что-нибудь случится со мной — назначаю командиром судна лейтенанта Андреа Монтуори!

— Почему лейтенанта? — бросил Флайяно. — Я бы не хотел...

— Потому, что так решил я, — жестко ответил капитан, — в опасности на судне есть только один хозяин, и этот хозяин — я. Если не будет меня, то хозяином станет лейтенант Монтуори, и по морским законам за неподчинение он может отдать под суд даже самого владельца яхты. Слышите?

Киноартист негодующе фыркнул.

Капитан поднялся на мостик, а оттуда спустился лейтенант. Торопливо затянувшись несколько раз сигаретой, он взял от матроса штурвал и минут десять приноравливался к ходу яхты.

— Готово на руле? — послышался голос Каллегари в переговорной трубе.

— Готово, капитан! — звонко ответил лейтенант, и его сильное тело напряглось.

Яхта содрогалась от работающих на всю мощность моторов. Лейтенант осторожно повернул руль, еще — и на правый борт «Аквилы» обрушились одна за другой три чудовищные волны. Яхта круто накренилась, падая под удар четвертого вала. Толстое зеркальное стекло в стене рубки выдавилось, как бумага, пенящаяся вода хлынула в рубку вместе с воющим порывом ветра.

Флайяно с воплем кинулся к лейтенанту, отталкивая его от штурвала.

— Довольно, поворачивайте назад, мы погибнем!

Лейтенант, с лицом в крови от порезов осколками, отбросил хозяина плечом.

Судно описывало широкую циркуляцию, приходя в халфвинд. Вой ветра в рубке стихал, но каждая большая волна кренила «Аквилу» все сильнее, и размахи судна перешли красную черту кренометра.

— Скорее! Еще четыре румба! Больше ход! — неслись отрывистые команды с мостика яхты, правая сторона которого погружалась в воду.

И вдруг произошла волшебная перемена. «Аквила» выпрямилась. Волны перестали давить и топить яхту. Они размеренно подбрасывали ее, пенные водовороты перестали разгуливать по палубе. В рубку потянуло знакомым удушливым дымком моторов.

— Легли на курс! — донеслась команда капитана. — Так держать!

Когда капитан вошел в рубку, Сандра перевязывала лейтенанта. Киноартист незаметно скрылся, пристыженный своей истерикой. «Аквила» пошла в бакштаг, более не преодолевая волн, и быстро приближалась к берегам Африки.

Еще сутки гуляла по океану упрямая буря, а на исходе второго дня волны снова обрели свое широкое и мерное колыхание, а небосвод стал дымчатым и жгучим. Вынырнувшее из-за горизонта судно шло наперерез курсу «Аквилы» и неожиданно приветствовало яхту родным флагом. Сблизившись и увидев разбитую рубку, итальянский танкер запросил, не нуждается ли яхта в помощи. Капитан догадался попросить дизельного топлива. Едва на танкере узнали, что яхта принадлежит киноартисту Флайяно, как в цистерны яхты без всякой платы было залито восемь тонн отличной солярки. Моряки, пока производилась перекачка, попросили Иво быть гостем корабля. Иво вернулся, очень довольный оказанным ему приемом, воспрянул духом и снова стал внимателен к своим спутникам, хотя океан дышал зноем и часы плавания шли медленной и монотонной чередой.

Леа, Сандра и Чезаре, к которым изредка присоединялся и лейтенант Андреа, с наступлением ночи усаживались на палубе и вели нескончаемые дискуссии под бархатно-черным тропическим небом. Однажды они спорили чуть не до рассвета о судьбе женщин, о семье и браке.

— Замужество, замужество... — насмешливо пропела Леа. — Девушки изо всех сил стараются втянуть в него мужчин, а те прилагают столько же усилий его избежать. А над всем этим — католическая церковь с нерушимым браком, устаревшим еще пятьсот лет назад. Лучше бы подумали, как сделать такую жизнь, чтобы люди не опускались в браке.

— Совершенно согласна с вами, Леа, — голос Сандры дрогнул волнением. — Для церкви и государства проще всего запретить разводы да и заодно средства против беременности. Бедны — ничего, плодите ребят, нужны резервы рабочей силы, нужны солдаты. Словом, все за счет нас, женщин...

— Если бы я была гениальной, — Леа приставила ко лбу растопыренные пальцы, — я бы стала ученым и придумала настоящее средство от беременности. Просто пилюлька! Клянусь всеми святыми, мы, женщины, мигом

бы отучили государства воевать. Каждая человеческая жизнь сделалась бы драгоценностью. Вот было бы здорово! Тогда каждого, кто изобретал что-нибудь для войны, для убийства, убивали бы самого, мгновенно и беспощадно!

— Увы, дорогая Леа! Такие пилюли уже есть, называются «коновид». Пущены в употребление американцами, говорят, надежны и безвредны. А ничего не произошло!

— Все равно, — упрямо твердила Леа, — они запрещены у нас церковью и правительством!

— Что там далекие мечты, — снова возразила Сандра, — вообще с браками дело идет все хуже. Я не видела удачного замужества. Самые лучшие из нас очертя голову бросаются замуж во имя ощущения безопасности, спасения от одиночества. Ничего более, никакой любви. И те редкие, что могут идти одни, — настоящие женщины будущего, что бы там ни говорили придуманные мужчинами книги, пьесы и фильмы. Сколько их, этих томов о счастливом браке, о правильной половой жизни! Бесконечные наставления: делай то, не делай этого, иначе не будет успеха, долгой любви, красивых детей. Наставления, и ничего более, без понимания человека и его настоящих стремлений. А в других книгах пишут только о материальном успехе. Только деньги, заслуги, ордена, будто нет никакой другой цены жизни!

— Положим, вам, женщинам, стало куда проще, — сказал Чезаре. — Есть множество доступных вам профессий. Вообще, стало легче менять профессии, вернее, места работы. Возрос круг бродяг печати и искусства. Все больше стираются национальные особенности и изощренные традиции, возникшие в разных странах. Бродяжничество, воспетое многими писателями, вознесено над скучным повседневным существованием. Героем нашего общества стал бродяга, а не труженик-семьянин. А жизнь стоит на земле, на оседлости, и получается противоречие, ломающее все наши морали!

— Есть еще одна беда, — сказала Сандра. — Вы, мужчины, стали так усиленно торговать сексуальной красотой, что практически сделались асексуальными. Тогда вы стали бояться нас, женщин.

— А мы, женщины, сделались мстительными, — насмешливо добавила Леа.

— Древние цивилизации Средиземноморья, так же как

и Индии, сумели справиться с силой пола, внедрив половую любовь в религию, философию, празднества, литературу и поэзию, не говоря уже об изобразительном искусстве. В этом их культура достигла высоты, несравненной со всеми другими, потому что понимание Эроса охватило массы народа, — и Сандра в ажиотаже вскочила.

Леа и Сандра проговорили бы всю ночь, если бы утомленный словопрениями Чезаре не вскричал с досадой:

— Довольно! Я одурел! Прямо литературный клуб! Мания дискуссий распространилась по всему миру, точно в средневековье. Слова, слова, забота о будущем. Во имя него и грядущих поколений человек повышает радиацию, загрязняет воды, уничтожает леса и почвы, соревнуясь в военной мощи и бессмысленной численности армий, точно стад; отравляет психику и мораль ложью и дезинформацией. Три кита современной нашей общественной жизни: зависть, болтовня во всех ее видах и покупка бесчисленных вещей. Хотел бы знать, как это оценят наши потомки!

— Где-то я прочитала, — невпопад произнесла Сандра, — что человек глуп, потому что он тянется к звездному небу, забыв, что сама Земля есть звезда...

Берег Черного материка ровной голубой чертой протянулся во всю ширину восточного горизонта. Столица Анголы Луанда привольно раскинулась по берегам бухты. Великолепным полукольцом охватили лазурные воды залива холмистые берега, застроенные домами с красными черепичными крышами, так похожими на города родного Средиземноморья. Луанда с ее двухсоттысячным разноплеменным населением, собравшимся буквально из всех стран мира, сохранила облик комфортабельной столицы с отличными отелями и множеством автомобилей. Удивляло количество гоночных автомашин; потом наши путешественники узнали, что увлечение гонками доходило до того, что они устраивались прямо на улицах, не обходясь без катастроф и увечий.

Буря антиколониальной борьбы, охватившая всю Африку, не миновала и Анголы, несмотря на ее сравнительно редкое население. Ангола в старину называлась «Черная мать рабства». А теперь во всех концах страны повстанческие отряды боролись за свободу, сгоняя белых поселенцев со своей земли. Те, удрученные и озлоблен-

ные, накапливались в Луанде, выжидая решительных мер. Но бессилие отжившей колониальной системы стало очевидным даже ярым оптимистам.

Ангола, прежде райская страна по изобилию животной жизни, была опустошена европейцами. Безжалостное избиение слонов сменилось не менее подлым истреблением зебр, которых белые мясники уничтожали, чтобы получить грошовую цену за шкуру. Особенно страшный урон животному миру Анголы принесло после второй мировой войны появление легких вездеходных автомобилей — «джипов», на которых охотники носились по саваннам. По этим степям теперь разбросаны только выбеленные солнцем черепа и кости.

Порт Луанды, прежде до отказа заполненный судами, значительно опустел. Потрепанная бурей красивая яхта знаменитого киноактера привлекла всеобщее внимание. Моряки «Аквилы» принялись за починку судна, а Иво Флайяно с двумя спутницами был приглашен к влиятельным лицам города. Хозяева избегали говорить с иностранцами о положении внутри страны. Разговоры касались преимущественно спорта и охоты. Гости узнали, что недавно, лет шесть назад, известный ангольский охотник — негр — убил здесь величайшего в мире слона, пяти метров высотой и двадцати тонн весом. Чучело этого слона выставлено в Вашингтоне. Еще нередки бегемоты четырехметровой длины. Сандра и Леа загорелись желанием хоть на минуту посмотреть дикие места Анголы и принялись флиртовать с военными.

Очарованный Сандрой высокопоставленный офицер обещал вертолет для путешествия внутрь страны и выполнил обещание. Иво, Чезаре, Сандра и Леа стали пассажирами стрекочущего аппарата, который незаметно оторвался от пыльного аэродрома, повис над красивым городом и медленно, как бы нехотя, двинулся на юго-восток. Курс лежал к диким и малонаселенным местам в долине реки Кунене, где, по последним сводкам, было еще спокойно. Через три часа полета геликоптер спустился и пошел совсем низко над саванной — африканской лесостепью, здесь более сухой и каменистой, чем в других районах. Медленно проплывали внизу, совсем под ногами, островки плосковерхих деревьев и зарослей густого кустарника, низко клонилась под ветром высокая, сухая, позолоченная солнцем трава, еще не сменившаяся свежей осенней порослью.

Внизу пробегали небольшие стада антилоп, бычились, становясь кольцом, буйволы, тройка жираф прошествовала поодаль, кланяясь высокими шеями. Геликоптер сел на широкой равнине. Европейцы, впервые попавшие в дикие просторы Черного материка, испытали тот удивительный прилив сил и обострение чувств, какое вызывает климат сухих областей Африки у молодых и здоровых людей. Сандра вспоминала позднее, что воздух показался ей наэлектризованным. В странной свежести горячего ветра, запаха сожженной солнцем степи и стремительном беге красивых животных Сандра ощутила пламенную радость жизни и свободы, давно позабытую в цивилизованном городском существовании. И в то же время это был совсем чужой мир, непонятный, суливший нелегкую и опасную жизнь, для которой годились лишь закаленные люди с твердыми сердцами и сильными телами.

Они снова поднялись в воздух, пролетели над селением племени кувале, где находились только женщины и старики. Люди сбежались на площадь, глядя на пролетающую машину, едва не задевавшую колесами за конические верхушки хижин. Наблюдательная Сандра разглядела даже дощечки с разноцветными бусами, прикрепленные к спине нагих ребятишек, привязанных за спинами матерей, — чтобы не скривить позвоночник, как ей объяснили опытные спутники. И действительно, удивительно гордой и прямой была походка чернокожих обитателей селения.

Геликоптер приблизился к конечному пункту путешествия — реке Кунене и сел на песчаную пойму. Отсюда надо было пройти несколько километров, чтобы посмотреть огромных бегемотов и крокодилов.

Самым незабываемым впечатлением всего полета осталась для итальянцев встреча на берегу Кунене. Маленькая процессия почти нагих девушек племени нгумби направлялась к реке за водой, неся на головах сосуды из огромных тыкв. Возвращаясь к геликоптеру, Сандра и Леа отстали от проводника и плелись на адском солнце, распаренные, в насквозь пропотевшей одежде, среди редкого тростника и трехметровых тонких стеблей колючего кустарника. Шедшая впереди девушка наткнулась прямо на итальянок и остановилась, приветствуя их улыбкой, показавшей ряд превосходных зубов, с выпиленными треугольником средними резцами. Девушки

нгумби оказались красивы на любой вкус: правильный овал лиц, большие глаза, прямые носы, хотя и с чересчур широкими, с европейской точки зрения, ноздрями. Иссиня-черные короткие волосы были украшены голубыми бусами, обрамлявшими чистые широкие лбы. Сильные шеи обвивали нити ярко-желтых бус, резко выделявшихся на темно-коричневой, с лиловатым оттенком коже.

Прекрасны были легкие и стройные тела африканок, их гладкие прямые плечи, точеные руки, твердые красивые груди. Сандра, поцарапавшаяся в нескольких местах и разорвавшая кофточку о колючие стебли, почти с ужасом наблюдала, как скользили среди кустарника темные обнаженные фигуры, нисколько не повреждая поразительно гладкой кожи. Передняя девушка стояла совсем близко к Сандре, и та затаив дыхание смотрела на крепкую пружинистую ветку, усаженную шипами адской остроты и длиною больше мизинца, прикоснувшуюся к левой груди девушки. Та, поняв взгляд Сандры, плавно повела плечами. Шипы безвредно скользнули по коже, видимо обладавшей немыслимой для европейца упругостью. Сандра тихо ахнула и протянула руку к африканке, но тут чертыханье, хруст веток и тяжелые шаги возвестили о подходе мужчин. Секунду девушки стояли, прислушиваясь, затем, как по команде, повернули налево и скрылись в кустарнике. Чезаре, Иво и один из пилотов геликоптера замерли, глядя им вслед.

— Пресвятая дева! — воскликнул художник. — В этом солнце, в желтизне трав они словно вырезанные из агата статуэтки!

— Вот они, настоящие драгоценности Африки! — добавила Леа, отбрасывая назад прилипшие к лицу волосы. — Помнишь, Чезаре, мою теорию, что красота родится в трудных условиях жизни? Разве это не подтверждение?

Художник кивнул. Летчик с добродушной усмешкой сообщил на своем плохом французском языке, что ничего особенного эти нгумби не представляют.

— Здоровое племя, разводит немного скота.

— Да, вот эта, передняя, — вздохнул Флайяно, — она имела бы успех! Ее вайтлс, как у американской дрим-гэрл, я думаю, 37—25—35 — это при росте 166...

— Неужели все понятие прекрасного стало сводиться к этим идиотским цифрам? — спросила Сандра.

— Вовсе нет, я ценю многое другое, и вы это знаете! — осклабился Флайяно.

Сандра отвернулась, покусывая губы.

Леа сказала:

— Никогда не думала о вас так, синьор Флайяно! Вы мне казались настоящим героем в ваших фильмах!

— А теперь?

Леа промолчала.

Несложный ремонт «Аквилы» был уже закончен, когда Иво, Сандра, Леа и Чезаре вернулись в город. Моряки подружились с портовыми мастерами, и вернувшиеся из саванны нашли всю компанию в живописных позах под тентом на палубе, разучивающую под аккомпанемент двух гитар печальную португальскую песню «фадо» — тоска по родине.

Сразу же после прибытия на судно Иво удалился к себе в каюту, откуда вышел лишь к вечеру сильно пьяным. Леа и Сандра укрылись в каюте, а капитан с художником и лейтенантом занялись игрой «ма-цзян» в рубке. Чезаре вопреки обычаям своего поколения не любил алкоголя, и, как ни странно, оба моряка оказались с ним солидарны. Капитан утверждал, что настоящие люди пьют изредка, но как следует после какой-либо серьезной встряски, а щелканье рюмками по всяким пустякам к добру не приводит.

К счастью, ничего плохого не случилось, хотя Иво искал ссоры то с лейтенантом Андреа, то с художником.

На третий день, увидев присланные счета портовых сборов, Флайяно опомнился, взвыл от негодования и распорядился немедленно выходить в море.

Еще шестьсот миль до Фош-ду-Кунене — маленького поселка и сторожевого поста в устье реки Кунене, откуда начиналась запретная земля Юго-Западной Африки. Моряки решили идти от самой Луанды подальше от берегов, выжимая из моторов все, что они могли дать, и подойти к берегу. Поэтому, если соглядатаи и сообщили о выходе «Аквилы» береговым патрулям, то они не ждали бы яхту так скоро.

Содрогаясь всем корпусом, «Аквила» мчалась к жуткому Берегу Скелетов. Капитан и лейтенант без конца вычисляли и уточняли положение судна, проверяя его всеми возможными способами, ибо от точности подхода зависело все, включая и личную безопасность охотников за счастьем.

От Фош-ду-Кунене до Тигровой бухты (Тигриш-байндуш) и затем до Скалистого мыса (Роки-Пойнт) было всего 188 миль. Южнее Роки-Пойнта, вплоть до Палгрейва, на протяжении ста миль шел прямолинейный однообразный берег. Именно здесь, к югу от мыса Фрио, и была помечена на карте безымянная крошечная бухточка.

Ожидание нервировало весь экипаж «Аквилы», но каждый реагировал по-своему на приближающееся испытание. Флайяно без конца шагал по палубе, то напевая, то молча хмурясь. Чезаре и Леа готовили акваланги, так как становилось все более очевидно, что хозяин не в форме и роль водолазов-изыскателей придется выполнять им двоим. Сандра старалась кормить мужчин как можно лучше, а в свободное время садилась в угол кожаного диванчика рубки, разговаривая с капитаном и Андреа.

Во всю длину штурманского стола протянулась карта, по ней шел зеленый след линии движения «Аквилы».

Сандра очарованно смотрела на таинственное место, отмеченное красной черточкой. Близко подходили к ровной линии берега темно-голубые пятна глубин. В южном конце карты отчетливо выступал тупо закругленный мыс.

— Это уже близко от Кейптауна? — спросила она.

— О нет, — улыбнулся лейтенант, — это всего лишь мыс Крос, в восьмидесяти милях к югу от Палгрейва. От него еще восемьдесят миль до Китовой бухты, там городок и порт, центр района, единственный населенный пункт здесь, и тот стоит на столбах...

— Зачем?

— Наводнения. Здешние сухие русла от дождей внезапно наполняются и превращаются в бу́рные потоки, низвергающиеся в океан.

— А от Китовой бухты сколько до Кейптауна?

— Вам, видимо, не терпится туда попасть? — пошутил капитан.

— Да, не терпится, — серьезно подтвердила Сандра.

— Ну, если так, — лейтенант извлек мелкомасштабную карту и развернул ее, — видите?

— Ой, это далеко!

— Примерно миль семьсот-восемьсот. Хотите, сейчас скажу точно?

— Зачем? Я и так вижу — суток трое пути... А где здесь совсем запретная зона, где алмазы?

— Смотрите. От Китовой до мыса Консейпшен миль пятьдесят, а дальше все вплоть до устья реки Оранжевой. Приходится стеречь берег. В одной бухте здесь в 1954 году нашли два гнезда алмазов. В одном взяли пятьдесят пять тысяч каратов, в другом — восемьдесят тысяч, и было подозрение, что под водой залегают такие же гнезда. Неудивительно, что скоро они на пушечный выстрел не будут подпускать сюда аквалангистов.

— Сколько же это миль?

— От Консейпшена до Людерица, — ноготь лейтенанта отмечал точки карты, — сто шестьдесят миль, и отсюда до Оранжевой еще почти столько же.

— Следовательно, около шестисот километров, которые могли бы насытить мир алмазами! И никому до этого нет дела! Где же Объединенные Нации, всякие там международные комиссии?

Лейтенант так презрительно махнул рукой, что Сандра рассмеялась.

— Что-то есть очень неправильное в нашей всей цивилизации, и она катится под уклон, как бы там мы ни похвалялись перед красными, — грустно сказала Сандра, — главное — это ложь, лицемерие.

— Наследие девятнадцатого века — свойственная всем нам вера в слова. Когда-то слово было словом чести, правды для феодальной аристократии, для купечества. Для престижа это было необходимым элементом общественных отношений. А теперь слово больше вообще не будет ни для кого убедительным. Это серьезный моральный кризис, назревающий в нашей цивилизации. Противно становится жить, теряешь цель и смысл.

— Я вообще не вижу ни цели, ни смысла у вас, молодежи, — вмешался капитан.

— Молодежь ругают по всему миру, — пылко возразила Сандра, — это модно. Понять нас, конечно, труднее. Никому нет дела, что наше сознание раздваивается, раскалывается между грубой реальностью жизни, ее неумолимой жестокостью и той призрачной жизнью, доведенной почти до реальности искусством кино, литературы, театра или политической пропагандой... Что знает средний человек о красоте и многообразии нашей планеты, ее людей, обычаев, искусства, о великом созидательном труде на суше и на море, в горах и равнинах? Что знает он о губительных последствиях необдуманных попыток добыть больше, отдать меньше, об этом всевозрастаю-

щем в темпах разграблении природы. В одних случаях от него намеренно скрывают это многообразие, чтобы не дать ему почувствовать убожество собственной жизни. В других — тоже скрывают, стараясь спрятать неумелость хозяев общества и цивилизации.

— Хорошо, Сандра! — одобрил лейтенант Андреа.

— Молодец, Сандра! — эхом откликнулась незаметно вошедшая Леа. — Что, получили, капитан?

— Да... надо сказать, — Каллегари закашлялся, хватаясь за спасительную трубку.

— Надо сказать, — продолжала Сандра, — что люди вашего возраста, синьор капитан, жили уже немало, видели мир, любили, сражались, им есть что вспомнить. А мы? Что ждем мы от жизни под прицелом ядерных, всеуничтожающих ракет, под угрозой истребления половины мира, которое обещают безумцы? Разве не лицемерно упрекать молодежь в том, что она не хочет создавать ничего долговечного, стремится скорее взять побольше от жизни? Что мы в Европе не хотим сажать деревья и строить прекрасные дворцы? Сначала дайте нам будущее, такое же долгое, какое было у вас, на всю жизнь, а потом требуйте и упрекайте. Не дадите, то пеняйте на себя, не на нас, это вы такой мир приготовили нам.

— Приготовили... Почему? — Капитан задымил трубкой. — Вы сами должны...

— Известный разговор! Тогда не надо хвалиться заботами о будущих поколениях в парламентах. Скажите честно, что нам на них наплевать, была бы своя шкура цела... — Глаза Сандры искрились гневом и слезами, щеки пылали.

Леа бросилась к подруге, обняла и поцеловала.

— Не надо, Сандра, милая! Я понимаю, что все это нас очень волнует, но не сейчас. И не с этими славными ребятами-моряками!

— Синьорина, — вдруг обратился лейтенант к Сандре, — вы совсем, совсем правы. И я — с вами!

Сандра вспыхнула: так в Южной Италии обращаются только к аристократкам, дамам высшего круга.

— Что бы ни было, Сандра, — воскликнула Леа, — у тебя есть уже верный рыцарь!

— И даже два, — учтиво поклонился старый капитан.

Сандра приложила пальцы к губам и послала обоим воздушный поцелуй.

— С детства мечтала о рыцарях, плакала над книга-

ми о короле Артуре и чаше святого Грааля и, наконец, встретила двух сразу, — к Сандре вернулся ее обычный легкий тон.

Лейтенант незаметно вздохнул, очарование уходило: высокая фигура Флайяно выросла на пороге.

— Все идет хорошо? — спросил он подозрительно, оглядывая всю компанию.

Океан цвета тусклого чугуна был совершенно спокоен, когда розово-палевый свет стал подниматься распахнутым веером из-за далекого черного берега. Капитан, стоя на мостике, следил за лейтенантом, который свесился над носовой оттяжкой штага, стараясь разглядеть возможную мель или не показанный на карте риф. Очень опасны были пресловутые внезапные изменения глубин, плотности воды, ее температуры, создававшие мгновенные рывки течений, стоячие волны и водовороты, погубившие у Берега Скелетов такое множество кораблей. Все выше раскидывался розовый веер за дальними горами, все ближе подходила «Аквила» к берегам, крадучись, словно львица к добыче.

Пески на берегу еще серели во тьме, а широкая полоса прибоя белела на грани океана и суши. Все, кроме дежурного механика, были на палубе. Иво, стоя рядом с капитаном, держал у глаз большой морской бинокль. Чезаре и Леа в купальных халатах стояли на борту, около приготовленных аквалангов. Как и предвидел Чезаре, Иво заявил, что в предварительную разведку он не пойдет.

Отдаленный низкий гул бурунов, усиливаясь с каждой минутой, превратился в тяжелый грохот и, наконец, оглушительный рев. Слов нет, надежно охраняла природа сокровища Южной Африки!

Сандра хмурилась, кусая губы; всегда очень умеренная в курении, непрерывно дымила сигаретой.

— Право руля, восемь румбов!

Команда капитана заставила вздрогнуть всех присутствующих. Яхта повернула параллельно берегу и пошла на юг. Выплывало слепящее солнце. Прибой вел однообразную ритмическую песнь, полную угрозы. Прошло около часа. Флайяно несколько раз демонстративно пожимал плечами, бросая бинокль на нагрудном ремешке.

Прозвенел машинный телеграф. Иво судорожно

схватил капитана за плечо, а остроглазая Леа бросилась к борту с криком: «Вот!..»

Опять зазвенел телеграф, моторы замолчали. Капитан, переглядываясь с лейтенантом, рискнул медленно дрейфовать к берегу. Старый моряк хотел подойти как можно ближе к опасной полосе прибоя. Здесь, на счастье моряков, полоса переменных течений отдалилась в океан, создавая как бы заводь нормального моря меж этих грозных вод. Не случайно именно сюда подходила шхуна тех, чьими наследниками оказались итальянцы. Погода удивительно благоприятствовала лихому делу. Уже совершенно отчетливо виднелось сухое русло, разделенное темной горкой, а слева холм белой глины стоял невредимым, как и пятнадцать лет назад. Теперь несколько биноклей и все свободные глаза обшаривали берег в поисках признаков полицейского патруля. Но за белой кипенью грохочущего прибоя песчаные дюны и откосы с редкой порослью ничтожных растений были первозданно пустынны.

— Якорь, — раздалась долгожданная команда.

Загремела цепь, яхта дернулась, и люди шатнулись от толчка.

Капитан сошел с мостика и присоединился к группе, окружившей Чезаре и Леа.

Чезаре перегнулся через борт, наблюдая за прибоем. Горы воды поднимались из напиравшего на берег океана, росли и падали вперед, сотрясая море и землю. Как обычно, напор прибоя шел немного вкось, под очень острым углом к берегу, но обладал двойным ритмом. Прибойный бурун начинал медленно вспучиваться на внешней кромке прибойной полосы, затем движение волны замедлялось, переходя в толчею острых валов. Ближе к берегу от этой полосы вторая фаза бурунов вздымалась рывком, с пугающей внезапностью, взлетая на большую высоту фонтанами брызг и пены. Так же быстро вал сламывался и рушился на берег, присоединяя свой грохот к реву бурунов внешней полосы.

Страшная сила чувствовалась в этих яростных волнах. Как щепку, разобьют они судно, а что же сделают с человеком? Все не спускали глаз с аквалангистов, которые озабоченно, хмуро, но без признака страха изучали прибой. Подошел, пряча глаза, Иво, и Сандра отвернулась с подчеркнутым презрением от своего «босса».

— Не надо ли надеть костюмы? — осторожно задал

вопрос капитан. — По-видимому, выступ берега, на котором разбивается прибой, состоит из двух уступов. Все же меньше обдерет о камни!

Художник отрицательно покачал головой.

— Приходится думать не только о море, но и о береге. Главное — свобода движений, возможность быстро ходить. Два уступа — это верно. Кажется, глубина первой ступени, которая мористее, большая, метров двадцать-пятнадцать, а вторая...

— Четыре-пять, вряд ли больше, — сказала Леа. — Но мне кажется, есть еще третий уступ, там, где они ударяются, метра в два, вот тут-то!.. — Она умолкла.

— Я поплыву вперед, просмотрю хотя бы вторую ступеньку, — предложил Чезаре и шагнул к аквалангу.

Несколько рук протянулось к нему, чтобы помочь надеть и закрепить ремни. Леа жестом остановила его.

— Вперед поплыву я, а ты следи. Если что со мной случится, ты поможешь, уже зная, в чем дело, а я не смогу. Не тряси головой, подумай, так умнее!

Поглядев еще несколько минут на прибой, Чезаре согласился.

Леа надела черный шлем, натянула поверх него маску. Чезаре тщательно закрепил на ней легкий акваланг, приготовился сам. Леа шагнула к спущенному с левого борта штормтрапу, обернулась и подняла руку, приветствуя остающихся. Сандра стояла, как приросшая к месту, даже забыв поцеловать подругу. Сейчас обычная женская нежность была не к месту. Сандра себе показалась ничтожеством. Да, вот настоящая подруга мужчине, современная женщина, смело разделяющая с ним рискованные предприятия и уступающая ему только в силе.

Леа, став центром напряженного внимания, смутилась и, чтобы скрыть это, сделала несколько танцевальных па, поклонилась и стала спускаться по трапу.

— Леа, — окликнул ее художник, — смотри, дорогая, без «штучек»!

Леа улыбнулась, опустила маску. Еще секунда, и она, скользнув в темную воду, исчезла в глубине. Чезаре рывком перегнулся через борт, и в этом движении Сандра прочла всю его тревогу.

Никто на яхте не произнес ни слова. По-прежнему грохотал, хрипло вздыхал и ревел прибой, сияло ослепительное солнце. Волны плавно подымали и опускали ях-

ту. Сквозь шум моря доносилось звяканье якорной цепи, терщейся о клюз. Минуты шли, ожидание длилось все напряженнее.

— Ах-ха! Вот она, черт-девчонка! — так рявкнул вдруг инженер, что Сандра вздрогнула.

В кипящей пене мелькнула крохотная черная фигурка и скрылась. Но Леа была уже за прибоем на отмели. Чезаре отпустил перила и стал разминать онемевшие, сведенные пальцы. Капитан выколотил остывшую трубку, а Флайяно потребовал акваланг.

— Мы поплывем вместе.

Чезаре не отрывал глаз от забурунной полосы. А там уже брела по пояс в воде Леа. Вот она встала на сухой песок, такая маленькая издали, будто сказочный эльф. Леа не сняла акваланга, а стала сигнализировать Чезаре взмахами рук. Вот она провела горизонтальную линию — первый подход к прибою. Затем последовал отвесный нырок, поворот, путь параллельно берегу и резкий взлет вверх, снова нырок. Затем ее рука описала несколько быстрых кругов, показывая, как ее вертело, но, к счастью, уже выше обрыва.

— Не снимает акваланга, ждет, готова идти на помощь, — шепнул старый капитан Сандре. Та нервно стиснула его руку.

Флайяно был одет, и Чезаре ринулся в воду, даже пе оглянувшись. Мгновенная тишина, и он повис над темной бездной, уходившей в неведомую глубину. Вода здесь казалась темной, может быть, по контрасту со сверкающей полосой прибоя.

Заметное течение влекло к берегу. Чезаре оглянулся, когда глубомер на руке показал четырнадцать метров. Иво плыл рывками позади и вверху, резко видимый в рассеянном зеленоватом свете. Чезаре жестом подозвал Иво, и они поплыли рядом. Внезапно художник почувствовал, что его увлекает стремительная сила. Чезаре стал торопливо уходить в глубину. Плыть параллельно прибою, как показывала Леа, не удавалось, вода упрямо толкала к отвесной черной стене, смутно угадывавшейся впереди. Сопротивляться стало бесполезно, и Чезаре покорно понесся прямо на скалы первого уступа, надеясь на отраженное течение. Так и случилось. Толчок с разлету отбросил его назад, запрокидывая его вниз головой. Художник отчаянно заработал руками и ногами, полетел вверх и вместе с массой воды благополучно перевалился

через уступ. Теперь было хуже. Наклонное дно, по которому катились крупные камни, наполнило его ужасом. Вода, поднимаясь кверху, в то же время прижимала его к склону, и пловец понимал, что его ждет, если он попадет в глубокий желоб второй ступени. Удары камней друг о друга сыпались градом, больно отдаваясь в барабанных перепонках. Он оглянулся на Иво, не видя под маской его испуганного лица, и показал рукой вверх. Вода перестала тащить Чезаре и Иво, и они поплыли вдоль берега, постепенно приближаясь к нему и осторожно всплывая. Наступал решительный момент последнего прыжка. Чезаре остановился и некоторое время старался сохранить неподвижность в беспорядочно метавшейся взад-вперед воде.

Надо было распознать моменты подъема валов там, где ничем не сдерживаемая в своем стремлении верхняя часть волны вздымалась и бросалась вперед, вспучиваясь грохочущей горой. Свет, тупой дрожащий гул, взлет на пятиметровую высоту — и Чезаре закувыркался в ревущей воде, изо всех сил закусывая загубник, выдираемый водой. Оглушенного, его понесло назад с неодолимой силой. Чезаре вынырнул, ожидая неминуемой гибели, как только обратная волна сорвет его с береговой ступени. Но правильный ритм прибоя уже пришел ему на помощь. Вторая волна бросила его к берегу, опять потащила назад. С каждым разом сила воды ослабевала, и он продвигался к песчаному пляжу. Чезаре понял, что он вне опасности. Он поплыл, погрузившись насколько мог среди взбаламученного песка.

Крепкая маленькая фигурка Леа спешила ему навстречу, черным силуэтом выделяясь на солнце. По колени в пене, медленно переступая неуверенными ногами, Чезаре подошел к Леа, сдирая на ходу маску и шлем, так набившийся песком, что больно давил голову. Чезаре схватил протянутые ему руки и поцеловал их. Позади послышался облегченный вздох Флайяно.

— Санта Мариа сопра Минерва, какой страх! Знал бы, никогда не взялся бы за такую штуку! Глоток коньяку, — он отцепил от пояса герметическую флягу.

— От коньяка не откажусь, — сказал Чезаре, — я взял только воду и лопатку...

Немного отдохнув, они пошли по пляжу, жутко стонавшему от ударов волн. Чезаре и Леа встречались с этим явлением на Адриатическом море, но здесь вся об-

становка была иной. Сознание, что они вторглись в запретную область, что на сотни миль кругом простирается только безжизненная, безводная пустыня, что здесь почти никогда не бывают люди, за исключением патрульных, — все это усиливало впечатление одиночества, оторванности от всего мира, от яхты, оставшейся за страшной преградой прибоя. Шум бурунов отдалился и стал приглушенным, но завывание сильного непрекращающегося ветра казалось удручающим. Этот ветер, названный местными жителями «хуу-ууп-уа», загадочно и безотрадно вздыхал над холмами песчаных дюн, улетая в пустыню.

Твердая глина на краю сухого русла сразу облегчила путь. Искатели приключений взобрались на низкий холм, лишенный растительности, с пятнами смоляно-черных потеков. Да, все так, как описано на карте, и тут, у верхушки, с северной стороны, должны быть зарыты алмазы.

На ровной, как облитой светлым цементом, поверхности холма не было ни ямки, ни бугорка. Только частые бороздки дождевых струй расходились, как меридианы на глобусе.

— Я пойду искать в русло, — сказала Леа, — перед отплытием я прочитала какие смогла достать книги о том, как искать алмазы.

— Я с тобой, — сказал Чезаре, — только вот лопатка у нас одна. — Он поглядел на Иво.

Флайяно вывинтил свой длинный водолазный нож.

— Вы действительно ищите там, а я здесь.

Леа принялась за работу, будто всю жизнь занималась поисками алмазов. Она провела ножом по песку длинные полосы. Расчертив площадку, наметила ямки.

Солнце, уже высоко поднявшееся, нещадно палило. Жара немного умерялась ветром, в это осеннее время уже не доносившим горячее дыхание пустыни Калахари. Все же пот градом катился по загорелой коже Леа, когда она наконец дорылась до слоя бурой песчанистой глины. Чезаре несколько раз предлагал свою помощь, но только теперь получил лопату, чтобы рыть на противоположном конце намеченной линии. Леа расковыряла ножом бурую глину, тщательно разглядывая попадавшиеся камешки. Вздохнув, она перешла к Чезаре. Он, лежа на животе, старательно ковырял ножом каменистую породу. Леа покури-

ла, наблюдая за Чезаре. Тщательность, с которой он рассматривал каждый камешек, удовлетворила ее, она взяла лопату и принялась копать третью яму.

Чезаре начал четвертую. Оба работали молча, почти не отдыхая, и не заметили подошедшего из-за бугра Флайяно. Он был весь в поту и тяжело дышал. Присев около Чезаре, он закурил сигарету, размяв ее дрожащими пальцами.

— Как дела? — спросил Чезаре, кроша породу.

— Перерыл все, работал как черт, и ничего!

— Может, поискать у подошвы? — предложила подошедшая Леа.

— Посмотрел и подошву.

— Зачем же было так спешить?

— А мне все мерещилось, что подкрадывается полиция. Что вот-вот раздастся грозный окрик: «Стой, мерзавец!» Это мне, Иво Флайяно!

— Да, вы, пожалуй, стали чересчур нервным... — начала Леа, но восклицание Чезаре заставило ее метнуться к яме.

Чезаре высоко поднял в сложенных щепотью пальцах сверкающий камень.

Леа испустила торжествующий вопль. Алмаз был довольно крупным, чистейшей воды, разве чуть-чуть голубоватый.

— Будем копать в этой стороне, — заключила Леа, — копать, пока хватит сил. Теперь я знаю, как это выглядит, — закончила она, вытряхивая из сумки свои прежние находки.

— Как жаль, что нас так мало и лопата одна, — нахмурился Флайяно. — А что, если взять еще двоих человек?

— Превосходно придумано, — одобрил Чезаре, — но только, пожалуй, не надо ваших матросов. Я не уверен, что с ними сделается, когда они увидят алмазы...

— Напрасно, — перебил Флайяно, — эти ребята абсолютно надежны.

Леа отказалась возвращаться на судно. Азарт поисков захватил ее. Чезаре и Иво отправились вдвоем. Как и предполагал художник, пробиваться навстречу прибою оказалось делом более легким.

На яхте алмаз, найденный Чезаре, вызвал радостное возбуждение. Однако капитан серьезно огорчился отсутствием закопанных сокровищ, на которые он почему-то

очень рассчитывал. Он объявил, что теперь, когда пловцы освоились, он будет днем отводить яхту дальше от берега, чтобы на случай появления патрульного самолета оказаться не в запретной трехмильной береговой зоне. Лишь к вечеру, когда пловцы будут возвращаться, капитан подведет яхту ближе.

Иво скрылся в своей каюте и вскоре привел на палубу одного из калабрийских матросов, готового плыть на берег. Второй охотник нашелся не сразу. К удивлению Чезаре и Сандры, им оказался лейтенант Андреа.

Неопытность лейтенанта компенсировалась отвагой. Вскоре пять человек с лопатами, запасом воды и пищи с энтузиазмом рылись за холмом. Но результаты не оправдали пылких надежд экипажа «Аквилы», к вечеру удалось найти только три алмаза, гораздо меньшие, чем первый. Измученные, они уселись на холме, чтобы поесть, покурить и обдумать, что дальше делать.

— Придется плыть на корабль, — сказал, лениво потягиваясь, Флайяно, — становится холодно, и мы закоченеем к утру.

— Да, если бы можно развести огонь, — уныло согласился Чезаре.

— Нечего и думать! Нечего и думать! — с ужасом закричал Иво.

Лейтенант, молчаливо ковырявший белую глину, вдруг предложил:

— Возвращайтесь вы, трое главных пловцов. Вам гораздо легче одолеть прибой. А мы с Пьетро останемся на ночь, будем копать ямы до алмазоносного слоя. Утром вы принесете воду и займетесь глиной. А мы поспим, отдохнем и вечером повторим все снова!

— Какое великолепное предложение! Ура лейтенанту Монтуори, — Леа вскочила и чмокнула моряка в щеку.

Даже Флайяно пришлось признать разумность этого проекта.

— Что ж, не будем терять времени, — Чезаре встал, показывая на низко севшее над океаном солнце. В его лучах угрюмый свинцовый песок пустынного берега порозовел. Дул холодный ветер, от которого итальянцы давно отвыкли в плавании по тропическому океану.

— Скорее на яхту, Леа-амазонка! — сказал Флайяно. — Вас Сандра теперь иначе не называет! Она ведь знаток всякой там античности, ваша Сандра...

Вечером, лежа на палубе рядом с подругой, Сандра говорила ей о своем намерении написать книгу об амазонках.

Сандре навсегда врезалась в память Леа, ободряюще улыбнувшаяся ей и бесстрашно бросившаяся в бешеный грохочущий прибой. Живое воплощение легендарных амазонок, которых еще в детстве боготворила Сандра. Закончив свое историческое образование, она уверилась, что амазонки — «отдельно живущие» — вовсе не миф. Рожденные в столкновении остатков древнего матриархата Крита, Малой Азии, дравидийских народностей протоиндийской культуры с военным преобразованием древнего мира, повсюду установившего главенство мужчин, амазонки появлялись то там, то сям, как попытки отстоять прежнее устройство общества. Не склонившие гордой головы, отважные и стойкие, они не могли победить нового и исчезли навсегда, оставив после себя только захватывающие легенды и продолжая жить в мечтах угнетенного пола.

— Этой цели я посвящу остаток жизни.

Услышав об «остатке жизни» из уст двадцатичетырехлетней красавицы, Леа невольно рассмеялась. Сандра обиделась.

— Вы совсем девочка, Леа, — свела она свои четкие брови, — к вам еще не приходило чувство нелепости жизни. А мне приходило. Очень длинное у нас детство, почти двадцать лет, и такая же будет длинная и нудная старость, тем более что живем мы теперь дольше наших ровесников мужчин. Подумаешь об этом — честное слово, становится так тошно...

— Ну, пока вам жаловаться не на что, — Леа окинула взглядом Сандру.

— Ну, это мне пока принесло куда больше несчастья, чем счастья, — грустно заметила Сандра.

— Насчет детства вы правы, — поспешила сказать Леа, — на самом деле мы еще очень животные в таком возрасте. Какие воспоминания сохраняются от детства, не знаю, как у кого, а у меня всегда какая-нибудь вкусная еда, лакомства какие-нибудь — самое яркое!

— И у меня тоже. А потом еще чисто физические ощущения мира. Например, почему-то хорошо запомнилось, как меня возили в морскую водолечебницу. Осталось чувство прохладных и мокрых плит из пестрого искусственного камня под босыми ногами, запах моря и

хвои в теплой ванне. И еще тысячи подобных блесток памяти чувств!

— Это верно, Сандра! Я воспринимала мир точно так же. И переменилось во мне все лишь после первого большого разочарования, первых утрат. Я поняла жизнь не как постеленный мне пестрый ковер, а как путаницу противоречивых чувств и еще...

— Как предстоящее испытание?

— Да нет, не совсем так.

— Девушки, довольно философии, — раздался из темноты голос Чезаре,—завтра мы плывем на рассвете, решительный день. Какое счастье, что погода держится! В шторм этого прибоя не одолеть.

Леа встала.

— Пошли спать, я вся как избитая ревнивым мужем, обстоятельно и с достаточной злобой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЧЕРНАЯ КОРОНА

Едва пловцы поутру вышли на берег, как на холме появился Андреа, призывно махавший руками. Аквалангисты побежали и через несколько минут стояли над ямой, откуда лейтенант извлек четыре превосходных алмаза. Три часа все пятеро яростно расшвыривали песок, расширяя яму. В хрящеватой жесткой глине, заполнявшей небольшую бороздку в коренных твердых породах, обнаружилось скопление алмазов, заставившее забыть жажду, еду и сон. Лишь вконец измученные, люди повалились на песок и долго лежали молча. Короткий отдых — и раскопки возобновились, но найденное гнездо уже истощилось, прибавив к добыче всего десяток маленьких камней. Моряки, копавшие ночью, прилегли отдохнуть, их смена стала обрабатывать подготовленные ямы. Там и тут попадались хорошие алмазы. Сон не шел, и вскоре лейтенант и матрос принялись за работу. Лейтенант рыл сосредоточенно, как будто предчувствуя хорошую находку. Внезапно он выпрямился, стер пот со лба, закурил и негромко позвал:

— Синьор Флайяно!

Моряк протянул ему на ладони крупный алмаз, и Иво издал вопль жадности и восхищения. Алмаз был действительно самым крупным из всех найденных и стоил, наверное, несколько тысяч фунтов. Восьмигранный кристалл со слегка закругленными гранями казался сгустком лучей африканского солнца. В наступившей тишине слышалось лишь тяжелое дыхание людей, нервы которых были возбуждены до предела.

— Такой камень — только вам, синьор Флайяно, — сказал, улыбаясь, лейтенант, — главе всего предприятия и владельцу корабля!

Флайяно опустил его в маленький кожаный мешочек с ключами от сейфа, висевший всегда у него на шее.

— А вот этот — для Сандры! — послышался крик Леа из ямы. Она нашла второй алмаз, меньший, чем у Флайяно, но какой-то особой чистоты, усиливающей слепящую светоносность кристалла, с черешню величиной.

— Давайте сюда! — протянул руку Флайяно.

— А можно, я сама отдам Сандре?

— Конечно, конечно, — нехотя согласился Флайяно.— Еще три таких дня, как сегодняшние, и мы все богачи, все без исключения!

Гулкий выстрел сигнальной пушки пронесся над морем. Люди вскочили с бешено забившимися сердцами. Лейтенант взбежал на холм, вглядываясь в яхту, с мостика которой засемафорили флажками.

— Воздух! — крикнул лейтенант, оглядываясь.

Ветер донес отдаленный рокот мотора.

— Скорее туда, — лейтенант показал на обрыв сухого русла, где лежала глубокая вечерняя тень.

Рокот мотора приближался, несильный и дребезжащий, по которому безошибочно можно было узнать легкий и тихоходный патрульный самолет.

— Пропали, святая дева! — прошептал калабрийский матрос.

— Чепуха! Сесть он не может, нас не видит, и вообще все внимание у него на яхту. Сейчас начнет кружить, даст ракету или две, наш капитан подымет флаг...

Все случилось, как предсказал лейтенант. После второго захода самолет ушел к югу.

— Бежим скорее, — выскочил из засады Флайяно.

— Немного задержимся, синьор хозяин, — возразил лейтенант, — надо заровнять наши раскопки на случай, если придет верблюжий патруль.

— Пожалуй, я поплыву на яхту, — сказал Флайяно,— надо приготовиться, посоветоваться с капитаном. А вы здесь заровняйте ямки. Лейтенант прав.

Два часа яростной работы — и все следы раскопок были уничтожены. Лопаты утопили, и четверо аквалангистов, едва живые от усталости, добрались до судна.

Там их встретили нетерпеливыми возгласами. Капитан решил сняться с якоря и отойти на север на несколько миль. Самолет, конечно, не мог дать очень точных координат яхты. Тогда и береговой патруль, подойдя к месту

стоянки, не смог бы абсолютно ничего обнаружить. Самое важное подозрение в высадке на берег отпадало.

— Почему не уйти совсем? — спросила Леа.

— Догонят, похоже на бегство. — Капитан пожал плечами, как бы подчеркивая нелепость вопроса.

— Значит, семь миль будет достаточно? — осведомился у капитана лейтенант, уже переодевшийся и изучавший карту.

— Хватит!

— В семи милях к северу показана подводная отмель, довольно широкая.

— Отлично. Кстати, карту с отметками надо надежно спрятать, синьор Флайяно. А вы, лейтенант, отправляйтесь на отдых, а то похожи на утопленника, а не на морского офицера!

— Чем же мы объясним нашу стоянку? — спросил Флайяно.

— Да чем угодно, хоть поломкой машины. Сейчас разберем один двигатель!

Лейтенант, направившийся было к выходу из рубки, остановился.

— А нельзя ли сказать, что мы подводные археологи-любители? Ищем затонувшие корабли. И вот по пути в Кейптаун остановились здесь, потому что на этом месте затонули пять португальских галионов, нам рассказывали, мол, моряки в Луанде.

— Андреа, вы положительно гениальны, и даже прибой не повлиял на остроту вашего ума! — воскликнул Флайяно.

«Аквила» кланялась волнам и лязгала цепью в ночной темноте, когда сильный прожектор ослепил вахтенного. Тот вызвал капитана. Последовала крепкая перебранка на английском языке. Патрульное судно требовало принять шлюпку с инспекторами. Капитан отвечал, что яхта стоит среди переменных течений и он за безопасность шлюпки ночью не отвечает. Спеху нет, пусть дождутся утра, яхта никуда не уйдет.

Патруль отвечал требованием яхте выйти из прибойной зоны и приблизиться. Каллегари сердито кричал, что до рассвета никуда не тронется, так как не видит необходимости подвергать опасности яхту. Полиция стала угрожать открыть огонь. Капитан заявил, что ответит тоже стрельбой и даст по радио «SOS» о пиратском нападении на мирно стоящее на якоре частное прогулочное судно.

Перебранка окончилась победой капитана Каллегари. Сторожевик подошел поближе и бросил якорь. Время от времени вспыхивал прожектор и ощупывал яхту.

Едва рассвело, ретивые полицейские уже были на яхте. Флайяно, всю ночь не сомкнувший глаз, искусно разыграл заспанного и ничего не понимающего магната. Он принял старшего инспектора в своей роскошной каюте, долго объяснял ему цель стоянки и возмущался гнусными подозрениями. Инспектор выпил кофе, выкурил коллекционную сигару и стал требовать осмотра судна. Флайяно расхохотался.

— Право, инспектор, вы плохой дипломат. Разве я не знаю, что, пока вы толкуете здесь о правах и обязанностях, ваши пять сыщиков уже изо всех сил стараются найти что-нибудь подозрительное! Я заявлю протест по прибытии в Кейптаун! Какое имеет отношение мое судно к каким-то дурацким алмазам? Попробуйте-ка сами достичь берега через этот чертов прибой, тогда я признаю ваше право на подозрение.

Полицейский обозлился явной правотой хозяина яхты.

— Насчет берега, это мы скоро увидим, — буркнул он, — а что касается поисков затонувших кораблей, то на это ведь тоже надо разрешение. Где у вас оно?

— Полно, инспектор! Я тоже кое-что знаю о международных законах! Без разрешения нельзя вести работы, но искать нигде в цивилизованных странах не запрещается.

— Но все равно вы около трехмильной полосы, следовательно, могли нарушить границу!

— Как вам известно, в этом отношении частные яхты с экскурсионными целями пользуются льготами... в цивилизованных странах.

— Хорошо, посмотрим. Благодарю за кофе! А теперь мне надо на палубу.

Наверху зазвенели гитары. Калабрийцы распевали неаполитанские портовые песни, ухарские и неприличные. Два вооруженных матроса с патрульного судна, дежурившие на палубе, весело ухмылялись, не понимая слов.

Старший инспектор принял рапорты своих помощников, вторично просмотрел судовой журнал и все документы яхты, долго разглядывал карту, на которой капитан уже нанес местонахождение мнимых галионов. Гудок со сторожевика вызвал инспектора на верхний мостик.

— Верблюжий патруль на подходе, сэр! — крикнул в мегафон вахтенный офицер. — Только что принята радиограмма...

На палубе появились Чезаре и Леа, освеженные крепким сном, и принялись за разыгрывание своих ролей. Акваланги были проверены, и оба водолаза принялись надевать их, окруженные, как всегда, добровольными помощниками. Вышли Флайяно и Сандра, ослепительная в черно-желтом купальнике, на высоких каблуках-«шпильках». У инспектора захватило дух, все же он не мог удержаться от замечания:

— Я не позволю погружения, сэр, без личного осмотра. Но даму обыскать некому, поэтому ей придется остаться.

Лео недоуменно посмотрела на старшего инспектора — она плохо знала английский. Лейтенант перевел. Леа побагровела и, сняв акваланг, толкнула его к ногам инспектора.

— Переведите ему: пусть его ищейки проверяют. Потом я сниму свой купальный костюм и брошу ему. Сандра наденет мне акваланг, и я пойду в воду голой.

Настала очередь покраснеть инспектору.

— Зачем такие крайности? Я посмотрю акваланг и ваш пояс. Повернитесь, милая девушка, мне очень неприятно, но я должен исключить унос вещей с яхты.

— Ну и ройтесь на яхте с вашими подручными, а меня оставьте в покое! И я вам не милая девушка! Полицейская крыса!..

Лейтенант благоразумно не стал переводить горячие слова Леа, но инспектор, почувствовав презрительную интонацию, нарочито медленно осматривал ее водолазное снаряжение, а два его помощника быстро и ловко обшарили художника. Леа демонстративно отвернулась от полицейских, под внимательными взглядами которых ей прикрепили тяжелый акваланг с большим запасом воздуха. Глубина на месте якорной стоянки была по всей отмели от тридцати пяти до пятидесяти пяти метров.

Полицейские и моряки патрульного судна с любопытством наблюдали за погружением аквалангистов.

В пронизанной солнцем воде долго были заметны две фигуры, наконец растаявшие в темнеющей глубине.

— Какие отважные ребята! — покачал головой надменный инспектор, начавший принимать человеческое обличье. — Эта маленькая наяда очень сердита.

— Она вовсе не сердитая, — раздалась превосходная английская речь Сандры, — она возмущена полицейской бесцеремонностью.

Сандра окинула полицейского презрительным взглядом и ушла в каюту. Инспектор собрал своих людей и принялся совещаться с ними, потом нетерпеливо заходил по палубе. Обыск корабля — сложное и долгое дело, поверхностный осмотр не имеет смысла. Задерживая судно, надо обладать серьезными подозрениями, а таких у инспектора не было.

Экипаж яхты собрался в кают-компании ко второму завтраку. Полицейских не пригласили, и они угрюмо сидели на палубе, посматривая на медленные волны, под которыми где-то внизу находилась чета водолазов. Сидевший у трапа дежурный тоже внимательно следил за морем, стараясь не замечать инспектора.

Переваливаясь и важно выпятив живот, на мостик поднялся капитан Каллегари. Никогда раньше он не ходил таким надутым снобом. Флайяно и лейтенант, шедшие за ним следом, только посмеивались.

На сторожевом корабле завыл гудок. Инспектор побежал на мостик. На высоких дюнах у берега виднелись нечеткие, серые в мареве нагретого воздуха силуэты всадников на высоких верблюдах. Двое из них отделились и съехали на пляж, приблизившись к воде.

— Что они сигнализируют? — спросил у капитана Флайяно.

— Не знаю, особый код. Наверное, все благополучно — посмотрите на полицейского офицера.

— Сухопутный патруль подтвердил отсутствие следов высадки на берег, — громко сказал инспектор, — я не буду производить обыск яхты. Однако я не могу позволить вашей стоянки здесь без специального разрешения властей. Самое лучшее — продолжать путь до Кейптауна, где вы обратитесь в управление мандатной территории.

Дежурный у трапа крикнул, что заметил водолазов. Расплывчатые, размазанные контуры пловцов виднелись сквозь десятиметровую толщу воды. Они парили на одном уровне, иногда продвигаясь к носу яхты и хватаясь за косо уходящую вглубь якорную цепь. Чезаре и Леа должны были пробыть некоторое время под водой, чтобы насытивший кровь под большим давлением азот смог вы-

делиться, и тем самым избежать мучительной кессонной болезни.

— Смотрите, у них мало воздуха. Леа дает Чезаре дышать из своего акваланга!

— Дайте мне акваланг, — распорядился Флайяно, — и еще запасной. Я спущусь и переменю им акваланги целиком, чтобы не менять цилиндры.

Флайяно бросился прямо с палубы, держа маску в руке, чтобы не повредить ее ударом о воду.

Флайяно сменил Чезаре акваланг. Последовал оживленный обмен жестами. Все трое сблизили головы, пошевеливая в такт длинными ластами и время от времени хватаясь за цепь. Наконец Иво взял в зубы мешок с пояса Чезаре, повесил второй акваланг на сгиб руки и медленно поплыл к штормтрапу. Дежурный матрос подхватил аппарат, и Флайяно поднялся на палубу, поспешно срывая маску. Он слегка задыхался, и глаза его возбужденно блестели. Жестом фокусника он извлек из сумки Чезаре странной формы черный предмет и поднял его перед собою. Не сразу можно было распознать в изгибах черного металла головное украшение — диадему или корону.

На узком круглом обруче из черного металла в палец толщиной были насажены тонкие, закругленные, расширенные на концах черные двураздельные листочки, отогнутые наружу. В трех листках немного большего размера, очевидно отмечавших фас короны, сверкали крупные алые камни, по-видимому рубины. Выше листочков шли загнутые внутрь полоски того же черного металла. Впереди, там, где были рубины, полоска заканчивалась торчащими вверх зубцами. С каждой стороны на местах, которые на голове соответствовали бы вискам, в полоски были вделаны золотые диски. В центре каждого диска торчали камни странного серого цвета, в виде коротких столбиков, с плоско отшлифованными концами. Они ослепительно блестели в солнечных лучах, затмевая угрюмоватое горение рубинов. Точно такие же камни были вделаны в задние полоски, соединявшиеся двумя дужками над теменной частью украшения.

Внимательный взгляд мог заметить, что особый блеск серых кристаллов исходил от распыленных внутри облачков мельчайших крупинок с металлическим зеркальным отливом.

— Клянусь Юпитером, — полицейский инспектор по-

терял свою невозмутимость, — это что-то невиданное! Наверное, величайшая редкость.

— Возможно, — капитан подозрительно покосился на него, — но синьор Флайяно нам ничего не объяснил...

— А что я могу объяснить — сам ничего не знаю. Придется подождать наших водолазов. Им осталось уже немного — минут двадцать.

Леа и Чезаре, поднявшиеся на палубу, были покрыты синеватой бледностью. По их неловким движениям угадывалось, насколько они закоченели в холодной глубине. Но скоро глоток вина, сухая одежда и высокое полдневное солнце вернули им обычную здоровую итальянскую живость.

Чезаре принес лист бумаги и энергично чертил план, пояснивший его рассказ. Прямо под яхтой плоское дно, занесенное песком, лежало на глубине ста пяти футов по наручному глубомеру. Восточнее, к берегу дно поднималось и состояло из больших глыб камня, едва оглаженных морем. В сторону моря отходил скалистый хребтик, поднимавшийся до уровня восьмидесяти футов, за которым начинался обрыв в темную воду неведомой глубины. И хребтик, и песчаное дно постепенно опускались к югу, а к северу, насколько было видно, протягивалась такая же неширокая полоса песчаного дна.

Первые корабли, найденные Чезаре и Леа, лежали сплошной кучей, занесенные песком и покрытые темной коркой затвердевшего ила. Суда угадывались только по очертаниям, проступавшим в песке и резко отличавшимся правильностью контура от всего окружающего. Корабли были маленькие и низкие, может быть барки или галеры, метров пятнадцати или немного больше в длину, без признаков мачт или палубных надстроек. Что-то в общем виде судов говорило об их древности. Чезаре пришли на ум находки античных кораблей на дне Средиземного моря. Здесь, на южном конце Африканского материка, неоткуда было взяться греческим или римским кораблям, и Чезаре решил, что его сравнение неверно.

Корабли виднелись на песчаной полосе всюду: и под яхтой, и дальше к югу, то сбитые в трудноразличимые груды, то разбросанные по отдельности. Чезаре и Леа попытались найти какие-либо вещи и, странное дело, наткнулись на сосуды, очень похожие на глиняные амфоры, так часто находимые в Средиземном море. Обоим, и Чезаре и Леа, случалось обнаруживать эти древние сосуды

во время прогулок с аквалангами в Адриатическом и Тирренском морях.

Они долго плавали над скопищем погибших кораблей, ковыряли водолазными ножами песок и затверделую глину, но не нашли ничего, что помогло бы установить принадлежность судов и время их гибели. Песчаный уступ, на котором лежали корабли, понижался к югу очень постепенно. Увлекшиеся, восхищенные открытием, водолазы не сразу заметили, что погрузились на сорок пять метров. Вода вокруг была не холодной, но какой-то безжизненной. Здесь не было ни кораллов, ни актиний, даже водоросли не окутывали грубо-зернистой поверхности камней. Длинные рыбы неприятной мертвенной окраски проносились редкими стайками. Высоко над дном висело множество медуз, размерами от чайной чашки до большой тарелки. Крупным акулам здесь было нечего делать, и эти небогатые жизнью воды не таили опасности для человека.

Темнота сгущалась над светлым песчаным, уходившим на юг дном. В ней смутно угадывались очертания другой группы кораблей. Леа решилась доплыть до крайнего судна, надеясь на какую-нибудь интересную находку. Чезаре предупреждающе постучал пальцем по плечу Леа и показал на глубомер. Леа умоляюще приложила руки к груди. Художник сдался, и они проплыли еще метров двести, когда увидели куполовидную каменную глыбу, на которой, очевидно, переломилось большое судно. Очертания его кормы и носа под песком и коркой ила чуть ли не вдвое превосходили размеры осмотренных прежде судов. Вся средняя часть по месту разлома исчезла, съеденная временем или течением. Здесь была надежда найти предметы, вывалившиеся из судна и погребенные в тонком слое песка на скале. Леа с азартом расковыривала ножом песок, подымая облачка мути, ухудшая и без того слабое освещение. Дышать становилось все труднее, давление в воздушных баллонах падало. Внезапно Леа сделала резкое движение, приникла ко дну и забила ластами. Испуганный Чезаре схватил ее, опасаясь глубинного опьянения, смертельно опасного момента, когда обогащенная под большим давлением азотом кровь опьяняет мозг и человек теряет способность здраво мыслить. Ему становится все нипочем, он с хохотом срывает акваланг, веселым дельфином вертится в воде и, если рядом нет сильного и опытного товарища, гибнет. Еще хуже кислородное отравление, вызывающее судороги.

Но страх Чезаре мгновенно рассеялся, когда торжествующая Леа показала большой круглый предмет, залепленный вязким илом и песком. Художник взял его у Леа, и они торопливо поплыли назад, к якорю «Аквилы». Здесь, на глубине двадцати семи метров, они принялись отмывать и отчищать находку. Едва из-под корки сверкнули яркие камни — они не могли определить точно их цвета, — как они поняли ценность своей случайной находки. Художник продолжал чистить корону илом и мягкой кожей водолазной сумки. Ко времени, когда они могли подниматься выше, странная черная корона оказалась полностью очищенной. Никакие налеты не приставали накрепко к поверхности металла — свойство золота. Очевидно, черный металл тоже относился к благородным, не изменяющимся веками.

— Вот это открытие почище алмазов господина инспектора, — хвастливо заявил Чезаре. — Теперь наша экспедиция прославится на весь мир.

— Да, кстати, — спохватился Флайяно, — ваша шлюпка давно у борта, господин охранный офицер. И подручные ждут вас... А наши с вами дела, полагаю, кончены?

— Прежние кончены, начались новые, — старший инспектор поднял руку, — я обязан конфисковать вашу находку, поскольку она имеет, несомненно, большую ценность и сделана без всякого разрешения на территории Южно-Африканской Республики.

Несколько минут царило молчание. Затем Флайяно опомнился и, сжав кулаки, двинулся на инспектора.

— Это слишком! И не подумаю отдать вам корону. Убирайтесь отсюда сейчас же, вы!

Капитан Каллегари, как клещами, сдавил плечо хозяина, а инспектор моргнул своим помощникам. Два полицейских — буры огромного роста — встали по бокам киноартиста, а третий, с тяжелой челюстью и белесыми, глубоко посаженными глазками, мигом выхватил корону из рук Флайяно. Тот сник, побледнев от бессильной ярости.

— Ничего не поделаешь, — спокойно сказал капитан Каллегари, — сила на их стороне. Но мы опротестуем их действия в Кейптауне.

— Не только сила, но и закон, — поправил капитана инспектор. — Ваша находка будет направлена мной властям, оценена экспертами и положена в сейф. Когда вы

получите разрешение на производство раскопок на найденном вами месте, тогда корона вам будет возвращена. После того как вы заплатите определенную часть ее стоимости правительству ЮАР. Или же правительство найдет нужным выплатить вам вашу часть, а корону оставить у себя.

— Понял вас, хорошо понял! — едва сдерживая себя, процедил Флайяно. — Но теперь вы, наконец, оставите нас в покое?

— При условии, что вы не будете больше делать погружений, а немедленно снIметесь с якоря. Тогда идите, куда вам угодно.

Инспектор, взяв корону из рук своего агента, направился к трапу. Чезаре остановил его движением руки.

— Лейтенант, переведите ему, пожалуйста. Я прошу, чтобы Леа на минуту надела корону, и я сфотографирую ее. В конце концов она же нашла ее с риском для своей жизни!

Инспектор, подумав, согласился. Чезаре вынес из каюты заряженный цветной пленкой «Никкон» — свое единственное сокровище. Инспектор передал корону Леа. Та смущенно и неловко надела ее на голову и выпрямилась во весь свой маленький рост. Сандра заставила ее надеть босоножки с высокими каблуками. Инспектор стал проявлять признаки нетерпения.

Наконец все было готово. Чезаре сделал несколько снимков, остался недоволен освещением и вывел Леа на солнце, к правому, мористому борту. Леа повернула лицо на свет, серые камни в черном металле загорелись нестерпимым блеском. Камера Чезаре едва слышно защелкала — раз, другой, третий... Чезаре начал переставлять экспозицию, когда девушка пошатнулась. Сандра предостерегающе вскрикнула и бросилась к подруге, но Леа поднесла руку к глазам, качнулась вперед и вдруг грохнулась, ударившись головой о поручень фальшборта. Черная корона соскочила с ее головы и в мгновение ока скрылась в набегающих волнах.

Визгливый вопль старшего инспектора разорвал оцепенелое молчание. Он кинулся к Чезаре, но художник оттолкнул его изо всей силы и поднял бесчувственную Леа.

— Ко мне, — вопил полицейский, — хватайте их обоих, они разыграли комедию! Я арестую их!

— Опомнитесь, вы, офицер! — послышался четкий голос Сандры. — До сих пор вы представляли закон, и

мы подчинялись вам. А сейчас вы действуете, как... как гестаповец. Разве вы не видите, что произошло несчастье! Придите в себя, стыдно!

Инспектора будто облили холодной водой.

— Посмотрим, — угрюмо буркнул он, давая знак своим помощникам отойти. — Что с ней такое?

— С мисс Леа Мида, вы имеете в виду?

— Да, да, конечно же!

— Может быть, обморок после глубокого погружения... может быть, тепловой удар — она стояла на солнце после холодной воды. Увидим. Да вот она приходит в себя!

Леа широко раскрыла недоумевающие глаза, подняла руку, чтобы вытереть обрызганное водой лицо. Чезаре отнес ее в тень рубки, где лейтенант уже расстелил матрас и положил подушку. Леа оглянулась кругом, явно не узнавая присутствующих.

— Чезаре, милый, — сердце художника дрогнуло, Леа узнала его, — кто эти люди? Зачем мы здесь? Со мной что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось, дорогая! Лежи спокойно, это у тебя после долгого погружения! Мы нашли корабли...

— Какие корабли? Да, помню, амфоры у Кротоне?

Чезаре похолодел и беспомощно оглянулся на обступивших его товарищей.

— Вы сами успокойтесь, Чезаре! Отнесем Леа в каюту, дадим снотворного — поспит и придет в себя. Поднимите ее, — обратилась Сандра к лейтенанту и инженеру.

Те послушно подняли Леа.

— Кто они? Зачем меня несут? — спрашивала Леа, и ее голосок, ставший по-детски слабым и тонким, болезненной жалостью отдался в душе Чезаре.

Инспектор с подозрением следил за тем, как ее уносили.

— Я далеко не уверен, что весь этот спектакль не разыгран нарочно, — начал он.

Капитан не дал ему окончить:

— Довольно, сэр! Мы немедленно снимемся с якоря и идем в Кейптаун. Возможно, потребуются искусные врачи, эти глубокие спуски иногда дают тяжелые последствия. Во имя закона, какие у вас к нам претензии? Считайте, что корона или что бы это там ни было не найдена. Мы нашли, мы и положили ее на место, где ваше правительство, храни его бог, возьмет, если найдет нужным. Все осталось как было до нашей приятной встречи.

— Ирония ваша неуместна, сэр. Я оказался глупцом, обойденным, как мальчишка!

— Никто вас не намерен обходить! Случайность, господин инспектор! Но примите искренний совет: открытие кораблей — это сенсация, которая привлечет сотни репортеров. И если каждому из них будет сообщено о не вполне соответствующем нормам поведении старшего инспектора, простите, не расслышал фамилии, сэр...

— Ван-Каллен. Но мне хотелось бы разойтись по-хорошему. Может быть, кто-нибудь из ваших водолазов попробует спуститься и поднять корону? Наверное, она лежит на песке под кораблем, на виду. Тогда у нас все будет по-хорошему.

В это время из дверей каютного помещения появился Чезаре.

— Я спущусь сам! Моя ошибка, и я попытаюсь ее исправить. В этом акваланге еще достаточно воздуха.

Лейтенант перевел слова художника, и лицо инспектора просветлело.

— Дорогой дядя, — повернулся Чезаре к Каллегари, почему-то называя его неофициально, — у вас есть, кажется, один такой милый камешек, знаете, круглый, килограммов на двести... — Художник говорил на пришепетывающем южном диалекте.

— Еще один остался.

— Надо бросить его русалкам, прежде чем я поспею нырнуть. И навязать пузырек попестрее. Только с нечистого борта.

Огонек веселого понимания промелькнул в глазах капитана. Он поспешил отдать распоряжения. Весь свободный экипаж принялся вытаскивать из трюма жернов. Чезаре с помощью Иво медлительно возился с проверкой акваланга, пока громкий всплеск с левого борта не оповестил его о том, что просьба выполнена.

— Что это бросили такое, зачем? — забеспокоился инспектор.

— У нас, искателей погибших кораблей, употребляются такие донные знаки, самое сильное течение не может его сдвинуть. А будущая экспедиция легко найдет место, — охотно пояснял капитан.

Чезаре нырнул. Щемящая тревога давила его сердце, пока он уходил все глубже в темную воду. С Леа случилось непонятное, это не могло быть от глубокого погружения или слишком быстрого подъема. За выполнением

этих правил он всегда следил очень строго, страшась погубить Леа. Может быть, до этих тревожных минут, даже тогда, когда Леа первая шла в прибой, он не подозревал, какое сильное чувство привязывает его к ней. Отчаянно смелая, задорная и пылкая, всегдашняя поборница справедливости, его верная подруга вдруг стала детски беспомощной и безмерно жалкой с ее слабым голоском и остановившимися удивленными глазами.

Инстинктивно Чезаре чувствовал, что существует какая-то связь между надетой Леа черной короной, ее небывалым обмороком и потерей памяти. Да, Леа явно забыла, что она на яхте Флайяно и не в Италии. И художник решил во что бы то ни стало найти корону, но не отдавать ее, а спрятать на дне, в надежном месте, для опознания которого ему и нужен был ориентир в виде надежного жернова капитана Каллегари. Может быть, для лечения Леа потребуется исследовать корону. Хорошо, если она будет отправлена в музей, а если ее продадут с аукциона? Нет, нельзя рисковать и надеяться на доброту и гуманизм. Скорее надо ждать бесчеловечного исполнения законов, направленных на сохранение собственности, как бы она там ни называлась: государственной, национальной или личной...

Подводная отмель с множеством погибших кораблей, бледно-серая, светлее, чем нависшая над ней толща темной воды, показалась Чезаре зловещим местом. Судьба Леа, загадочная гибель безвестных судов бог весть в какие времена, наверное, с сотнями несчастных мореходов. Что-то очень мрачное и недоброе исходило от песчаной равнины.

Чезаре поплыл на спине, отыскивая яхту. Течением его сносило к северу, он вернулся. Корона лежала на песке.

Чезаре взял ее и поплыл ближе к берегу, где еще не осела муть, вызванная падением жернова. Трос подвернулся под камень, но все же буек колыхался на высоте трех метров от дна.

Чезаре, напрягая внимание и могучую зрительную память художника, осматривался, запоминая и в то же время отыскивая укромное место.

Прошло немало времени, прежде чем Чезаре нашел забитую илом полость в округленной скале, похожей на мексиканскую шляпу и расположенную прямо на восток от жернова. Пустота в камне находилась на границе

«тульи» и «полей». Чезаре вычистил пустоту ножом, засунул в нее корону и снова заполнил оставшееся место вязкой илистой массой, выкопанной из-под скалы. Закончив работу, он поднялся выше и несколько минут парил над дном, запоминая место, потом стал быстро подниматься.

Вынужденное безделье, пока Чезаре «компенсировался», показалось на яхте вечностью. Но когда художник наконец поднялся на палубу, то оказалось, что он пробыл под водой всего полчаса.

Его сообщение, что корона, вероятно, упала мористее каменного гребня и скатилась в пучину, было встречено общим молчанием. Инспектор курил, хмурился и, наконец, потребовал составления протокола. Флайяно согласился с охотой, протокол в то же время удостоверял, что яхта подверглась осмотру полицейской охраны Берега Скелетов. Протокол подписали инспектор, Флайяно и капитан «Аквилы», который еще потребовал от полицейского расписаться в вахтенном журнале о задержке судна.

Непрошеные гости отбыли восвояси, и яхта поспешно снялась с якоря.

Потрясенные событиями последних дней, девять искателей приключений без конца обсуждали случившееся, курили, успокаивали натянутые нервы выпивкой. Леа, уже оправившаяся от слабости, молчаливо сидела в кресле в каюте. Иногда гримаса мучительного раздумья искажала юное лицо, и сердце Чезаре было готово разорваться от жалости к любимой. Леа явно не понимала, как она очутилась на яхте у берегов Южной Африки. Все события прежней жизни, вплоть до зимы в Неаполе, сохранились в ее памяти. Эпопея с алмазами, хотя она родилась по ее собственной инициативе, начисто исчезла из сознания. Леа, сама испуганная непонятным состоянием, впала в депрессию.

С прежними слабыми ветрами прошли сутки, миновали вторые. «Аквила» давно уже шла крейсерским ходом, оставив Китовую бухту в сотнях миль позади. Прошли траверз Людерица, так и не приближаясь к берегам, особенно негостеприимным здесь, в запретной зоне Намакваленда.

Флайяно и капитан решили пересмотреть тщательно запрятанные алмазы и произвести дележ. Капитан оценил находку в тридцать тысяч фунтов, таким образом,

на долю каждого приходилось около трех тысяч. Флайяно хотел, чтобы пятеро водолазов, вместе с ним рисковавшие больше всех, получили бы бóльшую долю. Лейтенант и Чезаре от имени Леа отвергли это предложение.

Флайяно, как владелец яхты и человек, несший расходы по всему плаванию, получил найденный лейтенантом алмаз.

Капитан считал, что один этот камень стоит не меньше десяти тысяч фунтов. Флайяно забеспокоился о камне, найденном Леа. Лейтенант Андреа достал из кармана алмаз и объяснил, что Леа отдала ему камень на сохранение. Когда нагрянула полиция, лейтенант опустил алмаз в дырку уключины стоявшей на палубе шлюпки, и ему доставляло удовольствие видеть, как охрана топчется на ярком солнце в самой непосредственной близости от сокровища.

— Разве можно было так рисковать, — вознегодовал Флайяно, — это же мальчишество!

— Вовсе нет. Поверьте, ни один черт его бы там не нашел! Я провозился два часа, прежде чем смог достать алмаз, кляня себя за чересчур хитрый тайник.

— Подождите, — сказал тихо Чезаре, — я позову ее. Андреа, дайте мне камень.

Он взял алмаз, подошел к Леа, вяло перебиравшей ноты в углу кают-компании у пианино, и взял ее за руку, поднося сверкающий камень к свету торшера.

— Какой красивый, — Леа оживилась, — это и есть настоящий алмаз?

— Леа, — в отчаянье крикнул Чезаре, — ведь ты нашла этот алмаз и хотела подарить его Сандре!

Снова мучительная морщина раздумья пересекла лоб девушки. Она сжала руки так, что пальцы хрустнули.

— Ты говоришь так, дорогой, значит, я хотела... но я не помню, не помню ничего, здесь все мне незнакомо... — Слезы покатились по ее загорелым щекам.

— Чезаре, я не могу больше! — вдруг вмешалась Сандра. — Не мучайте ее!

Чезаре поцеловал Леа в лоб и подошел к Сандре. Руки его вздрагивали, когда он протянул ей алмаз.

— Возьмите его. Леа так хотела, представляя, как вы обрадуетесь.

— Она сама сокровище, ваша Леа! Бывают же такие девушки! А это, — Сандра равнодушно положила алмаз

на стол, в общую кучку, — пусть увеличит долю каждого на несколько фунтов.

— Не на несколько фунтов, а на несколько сот. — Лейтенант посмотрел на Сандру с нескрываемым восхищением.

— Все равно я в равной доле. Только кок, и то неважный!

— Сандра, ты делаешь глупость, — рассердился Флайяно, — тебе деньги нужны.

— Как и всем.

— Советую, нет, приказываю, — сказал капитан. — В Кейптауне никому ничего не делать с алмазами! А то мы сразу же попадемся, и тогда происхождение алмазов у членов экипажа «Аквилы» станет ясно. Надо отложить продажу камней до Цейлона. Коломбо — следующий крупный порт на нашем пути. А еще лучше всего — потерпеть до Европы.

— Я не могу так долго ждать! — взволнованно сказал Чезаре. — Я готов уступить мою долю кому угодно, лишь бы получить деньги сейчас. Мне надо лечить Леа. Может быть, вы, — обратился он к Флайяно, — сможете мне дать денег под залог моих алмазов?

— Я могу купить их у вас. Конечно, принимая во внимание, что оценка наша наверняка завышена, потом риск продажи... словом, хотите тысячу фунтов, нет, ладно, полторы?

— Согласен! Давайте деньги, а мою долю берите на себя.

— Нет, постойте! — рявкнул капитан Каллегари. — Не торопитесь, Чезаре. Я дам взаймы все, что у меня есть с собой, примерно четыреста фунтов. Кроме того, я предлагаю всем сложиться, кто по скольку сможет, соберем на лечение Леа, ведь мы все ей обязаны.

Когда алмазы были разложены на кучки, капитан распорядился застопорить машину и закрепить руль. Весь экипаж вызвали на жеребьевку, и если кто-нибудь оказался обделенным, то мог винить в этом лишь случайность. Каллегари вручил Чезаре четыреста фунтов и наотрез отказался взять у него в залог камни. Кроме того, он отдал художнику еще двести фунтов, собранных товарищами. Как ни отнекивался художник, капитан не взял денег назад. Он предложил упрямцу обойти товарищей и вернуть каждому его деньги лично. Чезаре не мог на-

нести такую обиду в ответ на дружескую помощь и принял дар.

Яхта приближалась к мысу Бурь, а погода становилась все лучше. Осень только начиналась, апрель в южном полушарии соответствовал нашему сентябрю. Ласковый ветер обвевал палубу. Закаленный долгим плаваньем экипаж «Аквилы» продолжал принимать в свободные часы дня солнечные ванны, а ночью — воздушные.

Леа свыклась со своим положением и заново перезнакомилась с прежними товарищами, которые относились к ней с нежным вниманием.

Киноартист заметно ободрился и опять стал прежним, разудалым и подчас бесшабашно веселым Иво Флайяно.

Все страхи были позади. Его доля от дележа даст возможность совершить путешествие в желанную Полинезию, погасить часть долга и не сниматься еще года два — срок достаточный, чтобы забылись неудачи последних фильмов. И снова в газетах появятся статьи о возвращении кумира публики на экран после романтического кругосветного путешествия.

Только Сандра каждую минуту ранила его избалованное самолюбие. Она стала избегать его. Недавно ее внешняя холодность и острый ум очень импонировали ему, когда не направлялись против него. Новая компания плохо повлияла на нее. Особенно лейтенант, не сводящий с нее глаз. Влюбился в любовницу хозяина, почти жену, мальчишка! Если б только не категорическое требование капитана, обошелся бы без штурмана. Надо будет избавиться от слишком благородного моряка в Кейптауне. А Сандра, что ж, и ей надо дать почувствовать, что чересчур образованные и гордые девушки не нужны в ее роли... Жаль, конечно! Сандра сложена лучше Софи Лорен, умеет держать себя, знает языки...

Размышляя об этом, хозяин яхты расхаживал по мостику, ревниво наблюдая за Сандрой и Андреа. Они сидели в шезлонгах рядом, в молчаливом созерцании яркой луны.

— Лунное волшебство... без конца говорят о нем, поют, пишут, рисуют — и никто не знает, в чем дело, — тихо сказала Сандра.

— Японцы, например, уверены, что луна изменяет свое влияние в зависимости от времени года. Насколько помню, самой хорошей для размышления и для любви считается луна в августе, — ответил лейтенант.

— Как странно, любовь и размышление. Казалось бы, исключающие друг друга...

— А мне кажется, что настоящая любовь наступает только после размышления, — возразил Андреа.

Сандра бросила длинный косой взгляд, насмешливо улыбнулась и не ответила. Моряк закурил и сказал:

— Наверное, те, кто ближе к природе, знают больше нашего о ее силах.

Сандра молчала так долго, что лейтенант нагнулся, заглядывая снизу ей в лицо. Она положила ему руку на плечо ленивым и сильным движением.

— Где-то я прочла, что мужчины, несмотря на все свои умения и силу, никогда не становятся взрослыми до конца. И значение женщины в том, чтобы охранять их и руководить ими, спасая от крушения надежд и неразумных поступков.

— О, как бы я хотел, чтобы меня охраняли именно от крушения надежд! Со мной это случается слишком часто...

Андреа отвернулся, но Сандра успела прочесть в его лице неистовую надежду.

— Я не умею охранять, потому что сама полна еще ожиданием того, что не исполнится.

— А может быть, исполнится!

— Милый Андреа, я изучала античность не для ненужного диплома, а по призванию. И это дало мне понимание многого из происходящего сейчас. И даже некоторую силу. Смотреть на жизнь как бы из дали времен, опираясь на мужество предков, их поиски прекрасного и жажду яркой жизни. А с другой стороны, это дает возможность легче видеть ложь и ошибки, среди которых живешь. Их не понять без взгляда на прошлое.

— Так что же именно вы поняли?

— Что идея первобытного рая, пронизывающая все наши мечты, религию и даже более серьезные научные изыскания... она, эта идея, и есть та первичная ошибка, которую сделал человек когда-то в своей религии и философии и упорно продолжает цепляться за нее. Уже пять тысяч лет, как мы, европейцы, впитываем из еврейских религиозных преданий сказку о рае, который был дан человеку богом, дан так, ни за что, бесплатно... и потом отнят за грехопадение с матерью всего зла — женщиной! Это прочно вошло в христианство, в проповеди Руссо, в немецкую идеалистическую философию...

— А на самом деле?

— Никогда никакого рая не было, всегда была трудная и жестокая борьба, где умирали слабые и выживали сильные, потому что в мире ничего не дается и никогда не давалось даром. В природе или обществе — все равно. А какой-то безумный поэт или жрец породил легенду о таком времени и месте, где все было предоставлено человеку изначала без усилий, жертв и борьбы с его стороны, без всяких обязательств!

— Сандра, тут я не согласен с вами! Ведь были же всегда заморские земли, например Полинезия. Как я мечтал о ней! Там народы вели первобытный образ жизни, и он всегда манил приплывавших к ним европейцев. Колумб, Магеллан, Кук, все они...

— Все они, вырвавшись из душной феодально-религиозной Европы, набитой народом, с нищетой и болезнями, млели от восторга, попав на тропические острова, где земля сама рождала пищу человеку, где не было жестоких зим и где им казалось, что теплое море навсегда омыло человеческие страдания. И они, пришельцы из северных стран, жили гостями, наполняя похвалами дневники и письма, а мечтательные европейские философы из кожи лезли, доказывая нам всю прелесть райских островов.

— И что же?

— А потом путешественники стали замечать, как Колумб, например, что милые первобытные хозяева держат в особых домах женщин, назначение которых производить детей для откорма и съедения — этакое человеческое стадо. На многих благословенных островах Тихого океана процветало махровое людоедство, причем с тонкой гастрономией: схватить девушку помоложе, вроде Леа, перебить ей все кости в суставах, связать и мочить живую трое суток в ледяной воде ручья для того, чтобы мясо приобрело особый вкус.

— Но в Полинезии ведь не было людоедства?! Я говорю о больших группах островов, ну, хоть там, где снимался «Последний рай».

— Там не едят людей. Но сто лет назад — ели. Знаете ли вы обычай убивать новорожденных, распространенный прежде на многих островах? Это и естественно. Крохотные клочки земли могли дать пищу лишь ограниченному числу людей, а лишних надо было съедать или уничтожать иным путем.

— Сандра, вы хотите убить мою мечту! Не могу со-

гласиться. Выходит, что везде прежде был какой-то первобытный фашизм!

— Именно фашизм. Но не везде, это не так. Повсюду, в странах главного развития человечества, в смене различных форм общества этого не было, там издревле только шла борьба кочевника и земледельца. А райские уголки — это убежище для чего-то древнего, не добитого сильными и молодыми народами, выжившего благодаря изоляции в хорошем климате, но и расплачивающегося за это.

— Ну вот австралийцы, они не людоеды, а очень древние и жили изолированно...

— На целом материке! Кстати, у австралийских аборигенов такие сложнейшие обряды возмужания и брака, охоты и погребения, такие страхи перед явлениями природы и чудовищные суеверия, что, очевидно, они не первобытные дикари, как это старались представить ранее многие ученые. Они, видимо, пережитки чего-то невероятно архаического, какой-то зрелой культуры каменного века, уцелевшие на недоступном материке, куда они забрались, спасаясь невесть каким путем. Подобные же древние люди есть и в Африке, это бушмены и мелкие лесные племена. А мы их ошибочно считали за дикарей и пытались судить о первобытной жизни по их обрядам и верованиям. Вот и получилась полная путаница. Человек — победитель природы — предстал перед нами как жалкое и запуганное ее силами темное существо, недостойное рая, в котором оно живет. А отсюда уже пошли всякие поиски первобытных инстинктов в душе современного человека, фрейдовские психоанализы и многое другое. А на деле мнимая первобытность всего лишь расплата за райскую жизнь в изолированном убежище!

— Клянусь... я и не представлял себе, что вы такая ученая. Вам, должно быть, скучно с нами, тут все мы такие... малознающие!

— Какая чушь! Я много думала и читала именно об этом, потому и знаю побольше. Тогда еще, когда я надеялась стать великим археологом и была некрасивой голенастой девчонкой с вечно растрепанными метлой волосами.

Андреа стал хохотать, и Сандра зашикала на него.

— Разве вы могли быть некрасивой? Вот уж не поверю!

Флайяно сказал с мостика:

— Вам, лейтенант, через пять минут на вахту, а вы болтаете с прекрасной дамой. Кораблей попадается все больше, надо смотреть в оба! Утром Кейптаун!

Ранняя осень Южной Африки иногда дарит такие же хрустальные дни, как и в Средиземноморье. Апрельское утро заставило отступить к горам легкий туман. Он затянул сиреневой дымкой гигантский кирпич Столовой горы и острие пика Дьявола. Как в Луанде, полумесяцем врезалась в материк обширная бухта с огромным городом на заднем плане.

Капитан уверенно вошел в бухту, отказался от лоцмана и после коротких переговоров получил маленький участок причала в самом конце второй пассажирской пристани. Еще несколько минут маневрирования, задний ход, стоп — и тонкие швартовы «Аквилы» надежно закрепились на полутонных кнехтах, предназначенных для гигантов океана.

Не успели закончиться обычные формальности: врач, таможенный осмотр, проверка паспортов и прививок от лихорадки, как на яхту явился белокурый человек, штатский костюм которого не скрывал его военной выправки.

— Мне хотелось бы побеседовать с владельцем судна и с капитаном до того, как будет получено разрешение сойти на берег, — заявил он, назвавшись правительственным уполномоченным.

Флайяно и капитан повели непрошеного гостя в каюту. Тот попросил рассказать во всех подробностях историю с находкой потонувших кораблей и черной короны.

— Благодарю вас, — сказал он, выслушав короткий и точный рассказ капитана, дополненный экспансивными восклицаниями киноартиста, — теперь мне все ясно. Видите ли, мы получили рапорт офицера Ван-Каллена, но не могли решить, следует ли засекретить находку или предать дело гласности. Каким-то образом слухи о небывалой находке водолазов с итальянской яхты уже дошли до прессы, и репортеры караулят вас. Поэтому я постарался повидать вас до встречи с ними. Думаю, что за этим последует ряд просьб о лицензии на подводные раскопки, и нам следовало заранее знать, как реагировать на них. Кстати, вы претендуете на лицензию?

— Нет, благодарю покорно, — мрачно ответил Флай-

яно, — с меня достаточно и одной встречи с вашей полицией...

— Вряд ли вы можете сетовать на нее, — сдержанно улыбнулся чиновник, — вам повезло, что попался тактичный офицер, который нашел возможность установить отсутствие связи с берегом и не перерыл всю яхту от киля до кончиков мачт!

Флайяно резко поднялся, давая знак, что считает беседу оконченной.

Дежурный полицейский у трапа удалился вместе с чиновниками, и не успели итальянцы опомниться, как на яхту вломились четыре репортера, каждый со своим фотографом. Наиболее осведомленным и назойливым оказался представитель «Капского Аргуса», вполне оправдавший название своей газеты. Фотографировали всех без исключения, особенно Леа и Чезаре и, конечно, Сандру с Флайяно.

— Довольно! — воскликнул, наконец, Иво, проделывая яростные прыжки по только что опустевшей палубе. — Ради бога, поставьте Пьетро и Джулио у трапа и пусть больше никого не пускают. А то не дадут даже одеться для города! Чезаре, ты уже хочешь нас покинуть? — с неискренним сожалением осведомился Флайяно.

— Надо выяснить, что в конце концов с Леа! Но если это протянется долго, то ведь вы же не сможете ждать нас, — сказал убежденный в приятельском дружелюбии художник.

— Да, к сожалению. Портовые расходы велики, и я не рассчитывал быть здесь более трех-четырех дней.

— Я с вами, Чезаре, — лейтенант выступил из тени рубки, — я давно обещал быть вашим переводчиком.

— О лейтенант, одну минуту. — Флайяно, нахмурившись, сказал торопливо: — Я слышал, что вы выражали желание покинуть яхту в Кейптауне...

— Синьор Флайяно, это недоразумение!

— Так я не могу вас задерживать. Услуги, оказанные всем нам, мы очень ценим, без вас плавание могло бы не быть таким успешным. Но сейчас до Цейлона и дальше ничего особенного не предвидится, и я уверен, что капитан Каллегари справится сам.

Старый капитан побагровел.

— Я не могу, хозяин, остаться без штурмана и второго офицера на борту. Скоро начнутся осенние штормы...

— Вторым офицером буду я сам. Но, впрочем, если вам трудно, то в Коломбо вы сможете оставить «Аквилу». Там я намерен провести около месяца и вызову вам замену! А здесь вы не вправе покидать яхту!

Флайяно повернулся и скрылся в каютном коридоре. Капитан, немой от возмущения, неподвижно смотрел ему вслед. Лейтенант взял его под руку.

— Не надо волноваться, капитан Каллегари. В конце концов синьор Флайяно хозяин и сам ведет счет своим деньгам. Что тут можно сказать? Я всегда буду вспоминать плавание с вами. И позвольте продолжить наше знакомство на родине.

— Но ведь вы не сейчас уходите? — зазвенел голос Сандры.

— Нет, конечно. День-два пробуду на борту, пока не устроюсь на берегу.

— А потом?

— Подожду перевода, который попрошу сегодня по телеграфу. Закажу билет на самолет «Иоганнесбург — Каир». Погощу в Каире, оттуда домой. Вот и не вышла моя мечта о райских островах. Впрочем, вы ее основательно разрушили, и я только благодарен вам! Извините, Чезаре, я невольно задержал вас.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ФЛОТ АЛЕКСАНДРА

На следующий день все кейптаунские газеты поместили разной величины и степени сенсационности заметки о прибытии итальянской яхты знаменитого киноартиста и потрясающем открытии у берегов Южной Африки. Больше всех постарался «Капский Аргус».

«Черная корона неизвестных царей падает с головы прекрасной девушки-водолаза обратно в океан, — сообщали набранные жирным шрифтом строки. — Ее муж снова ныряет на страшную глубину, но не находит ничего... так он заявляет присутствовавшему при всем этом полицейскому инспектору. Но так ли это на самом деле? Может быть, корона спрятана на дне в надежном месте и только один человек — итальянский художник — владеет загадкой?..»

«В повторном интервью Чезаре Пирелли категорически отрицает это, высказав предположение, что корона была каким-то образом отравленной и вызвала таинственное заболевание его бесстрашной жены. Он обязательно достал бы корону, хотя, как честно признался художник, ему претило бы отдавать находку бесцеремонной полиции нашей страны. Из авторитетных источников стало известно, что правительство собирается само организовать специально экспедицию к затонувшим судам, но не давать лицензий частным лицам...»

Чезаре бросил газету и рассмеялся.

— Я так и знал. Впрочем, ты, Флайяно, можешь потребовать свою треть, когда будут найдены еще какие-либо ценности.

— Узнаешь про это, как бы не так, — Флайяно скептически хмыкнул.

— Следите за печатными трудами археологов. Через несколько лет, пока извлекут, изучат, напечатают... — Сандра умолкла, не закончив фразы.

Из каюты капитана появился Каллегари под руку с лейтенантом.

У сходней оба моряка обнялись, и Андреа легко поднял свой серый военный чемодан.

— Прощайте, господа, еще раз, — Андреа церемонно поклонился, устремляя на Сандру долгий и печальный взгляд.

Та протянула обе руки, которые он по очереди поцеловал.

— Мы увидимся в городе? — спросил Чезаре.

— Конечно, я буду здесь еще целую неделю. Пока я снял комнату лишь в Гранд-отеле... дорого! Звоните 615. А вы?

— Мы с Леа к вечеру переберемся, освободится недорогой номер в гостинице на Виктория-стрит. Может быть, заказать и для вас?

— Превосходно. Я без претензий. А поближе к вам с Леа — чего же лучше?

Моряк размашисто зашагал по большим плитам набережной.

После его ухода на палубе воцарилось тягостное молчание, точно все оставшиеся уличили друг друга в нехорошем поступке. Так, в сущности, и было...

Сандра не пыталась скрыть своего угнетения, упорно глядя в сторону моря и отрывисто попыхивая сигаретой. Флайяно следил за ней, чуть прищурившись.

— Тебе надо отдохнуть, — повелительно сказал он ей, — вечером мы приглашены на благотворительный бал, наверху, в парке.

Сандра не ответила.

Чезаре и Леа покинули корабль.

В низковатой просторной комнате старомодного отеля Леа вздохнула с облегчением.

— Здесь похоже на дом. Не знаю почему, но тесная каюта последнее время давила меня. Хотелось снова очутиться на земле, идти куда хочу, думать о цветах и музыке. Не стараться мучительно что-то вспоминать. Мне снились какие-то черные пропасти с горящими огнем цветами на дне...

Чезаре ласково привлек ее к себе.

— Все теперь скоро пройдет. Завтра отправимся к

доктору Сандерсу, а через него нас примет профессор Ван-Хепен. И скоро поедем домой!

— Мне совсем не хочется домой. Я вернусь туда, где все знакомо, а черная пропасть останется. Мне кажется, надо побыть здесь или еще куда-нибудь поехать, — виновато сказала Леа.

— Что ж, посмотрим, что скажут врачи. Тогда останемся или поедем, куда захочешь, в заповедник к африканским зверям или поплывем в Индию...

— В Индию! В Индию!

Вдруг жестокая тревога омрачила лицо Леа.

— Только, Чезаре, что бы ни сказали врачи, не отдавай меня им. Я не могу быть в больнице. Ты знаешь меня. Я погибну!

— Клянусь тебе!

— А Сандра, она поплывет дальше? Мы расстанемся с ней? И с капитаном Аглауко?

— Да, дорогая. Они хотят отплыть послезавтра. Увидимся в Риме через полгода. Они еще навестят нас, не беспокойся. Давай пока разбираться, ты умеешь быстро устраивать уют.

Сандра лежала без сна на широкой постели в отделенной тяжелыми занавесками спальне каюты. Стена пирса прикрывала яхту от ветра, и, несмотря на открытые иллюминаторы и большую крыльчатку, медленно вращавшуюся в потолке, в темных полированных стенах, в толстых коврах сгущалась духота. Возвращение с блестящего, полного молодежи бала сюда, на темную и молчаливую яхту, показалось Сандре возвратом в тюрьму. Не было больше ее хороших друзей — Чезаре и Леа, не стало и ясноглазого рыцаря — лейтенанта. Капитан давно спал в своей маленькой каюте, тесно примыкавшей к рубке. Бодрствовал только дежурный, угрюмый Пьетро. На сонной пристани стало тихо, гул ночной работы доносился откуда-то издалека. Впервые Сандра поняла, что долгое плавание, пережитые впечатления и страхи, задумчивые беседы и размышления вслух — все, что сблизило ее с молодыми спутниками, полными жизни и стремления к чему-то иному, лучшему, сильно отразилось на ней.

Дважды пережившая крушение мечты и надежд на независимость, на право своего пути, первый раз при по-

пытке сделаться университетским работником-исследовательницей и второй — в роли неудавшейся кинозвезды, Сандра приобрела горький опыт с изрядной долей цинизма. Там все, что относилось к любви, обозначалось лишь грязными словами, а самым распространенным чувством была завистливая ненависть, двигавшая всех и вся внутри этого обманного мирка. Но природная романтичность, свойственная здоровой душе и сильному телу, всегда брала верх, порождая предчувствие утешения, нового поворота жизни, на сей раз не обманчивого, а настоящего. Такое ощущение хорошего будущего стало уже привычным во время путешествия и вдруг оборвалось!

Рассыпалась компания хороших людей, и предстоящее плавание с Флайяно уже ничего не обещало. В довершение всего Флайяно, чувствовавший отдаление Сандры, стал донимать ее ревнивой страстью. Сандра понимала желание своего возлюбленного утвердить свое мужское право, подчеркнуть ее безраздельную принадлежность себе — обладателю многих красивых вещей. Желание, вызванное только ревностью. В Древней Элладе половую любовь считали даром богов, в Индии — вознесли до молитвенного служения. А мы, европейцы, унизили ее до похабного дела, о котором слюнявые юнцы пишут на стенах общественных уборных, а импотенты стараются представить ее простым инстинктом воспроизведения, равным любому скоту.

И сегодня настороженным чутьем собственника Флайяно угадал тоску Сандры, как только они вернулись с бала. Последовала сцена с угрозами и упреками.

Сандра лежала не шевелясь, снедаемая стыдом и тоской, презирая себя за свойственную ей медлительность в решениях, а может быть, и просто неумение бороться. Пылкая и резкая Леа на ее месте уже повернула бы всю свою жизнь, а она...

На яхте не отбивали склянок, но Сандра услышала их бой с соседнего судна. Уже два часа ночи, а сон не приходит, наоборот, нервы напряжены, как перед каким-то испытанием.

Флайяно подошел, бесшумно ступая по ковру, отодвинул край портьеры, стараясь разглядеть, спит ли она, в тусклом розовом свете ночника... Сандра замерла, не дрогнув ресницами. Иво снова задернул портьеру, открыл дверь в коридор и свистнул особым, приглушенным свистом ночного вора.

В каюту вошел Пьетро. Щелкнул замок каютной двери. Сандра услыхала быстрый шепот Флайяно:

— Теперь можно!.. Ты достань и принеси мне, только незаметно. Выбери время...

— Да я могу хоть сейчас!.. Я спрятал их удобно — рассыпал под изоляцией трубки кабеля в рулевой колонке. Никакой черт...

— Ш-ш! Тогда неси сейчас.

— Одна минута! А синьора? Она спит?

— Конечно же, дурень!

Снова тихонько щелкнул замок. Сандра, подумавшая, что речь идет об алмазах доли Флайяно, вся превратилась в слух при последних словах Иво.

Осторожно открылась дверь. Оба зашептались.

— Проверьте, хозяин.

— Полно, Пьетро. Сколько было, помнишь?

— Сто пятьдесят восемь штук. Посчитайте, я принес кучей, без счета. Узелок порядочный...

— Ладно, не болтай лишнего! Сандра проснется!

— А вдруг она узнает, хозяин? Конечно, узнает, не теперь, так после.

— У меня есть чем припугнуть девчонку. Мы ее скрутим!

Пушок на высокой шее Сандры зашевелился. С бесконечной осторожностью она встала и через щелку между занавесью и стенкой заглянула в освещенную каюту. Иво сидел перед письменным столом, наполовину прикрывая собой рассыпанное множество алмазов самой разной величины, с азартом пересчитывая драгоценные камни. Сандра отступила назад и легла в постель, чутко прислушиваясь.

Чиркнула спичка, лязгнул замок сейфа.

— А если вдруг придут с обыском, хозяин? — недоверчиво спросил Пьетро.

— Не придут — отплываем послезавтра. А придут, ты только не отлучайся никуда, пока я тут — успеем перепрятать.

Проснувшийся поздно, Флайяно потянулся к Сандре, лежавшей, заложив руки за голову. Ее холодный взгляд не обескуражил Флайяно. Тогда она резко вскочила и распахнула портьеру.

Усевшись на край письменного стола, Сандра сказала, задыхаясь от волнения:

— Пора объясниться, Иво. Ночью я все слышала! Ты обокрал товарищей!

Одним прыжком Флайяно оказался перед Сандрой, оскалив зубы и меряя ее безжалостным и опасливым взглядом гангстера.

— Ты слышала, может быть, подсматривала. Тогда узнаешь, что я приготовил для таких, как ты, для тебя. Молчи, забудь, и все останется по-прежнему. Иначе... я запру тебя и... — Флайяно стал медленно приближаться.

— Поздно! Я говорила ночью с капитаном!

Флайяно завизжал от злобы. Сандра, собрав всю волю, медленно закурила.

— Капитан, пока ты спал, уже рассказал все команде. Все твои друзья, кроме тех, которых ты поспешил спровадить на берег, знают об украденных тобой ста пятидесяти восьми алмазах. Это чтобы ты не вздумал сделать чего-нибудь со мной... или сам удрать. Успокойся и слушай. Если через час ты не созовешь всех в свою каюту и не разделишь алмазы, то я иду в полицию. Что бы там мне ни было за это. Соучастница алмазного хищника — куда ни шло, но соучастницей бандита не была и не буду.

Сандра двинулась к двери. Иво настиг ее и хотел ударить в лицо. Она увернулась и выскочила в коридор.

Не прошло и четверти часа, как Флайяно собрал весь экипаж, сурово ожидавший оправданий хозяина. Иво Флайяно преобразился. Ласково улыбаясь, он рассказал, как он нашел упакованную кучку алмазов и как решил сделать всем сюрприз, когда окончательно минует опасность. Они уходят завтра, и он ночью стал подготовлять сюрприз, а Сандра, ничего не поняв, все испортила своей истерикой. Теперь он просит всех собраться в каюте, задернуть шторы и приняться за дележ найденных им камней.

Флайяно бесстыдно отметил, что он сам ждет большей доли, как нашедший сокровище и, конечно, как владелец яхты.

Люди только переглядывались, и веря и не веря. Стало похоже на правду, когда Флайяно, тщательно заперев дверь, достал из сейфа простой узелок и высыпал из него на стол полторы сотни крупных горошин — алмазов. Среди них семнадцать камней крупного размера состав-

ляли сокровище, добытое адским трудом и риском, но в последний момент ускользнувшее из рук нашедших его людей, чтобы пролежать еще пятнадцать лет в белом холме на Берегу Скелетов. Сандра смотрела на камни и думала о несбывшихся надеждах безвестных, отважных искателей, схватке с полицией, выстрелах, смертях и тюрьме. С отвращением вспомнила алчный шепоток Флайяно, пересчитывавшего украденное, и решила, что с этих пор она никогда не будет носить бриллиантовых украшений.

Как ни старался киноартист представить случившееся ошибкой, недоверие и опаска, посеянные инцидентом, прочно укрепились среди экипажа яхты, более уже не представлявшего дружной молодой компании, отправившейся навстречу приключениям. Драгоценные впечатления дальних странствий были подменены убогой жаждой обогащения, завистью и подозрительностью, боязнью, как бы не украли долю добычи, как бы не обманули, не донесли те, что сочли себя наиболее обиженными.

Капитан взял доли лейтенанта, Чезаре и Леа и заторопился к себе. Флайяно и Сандра оставались в каюте одни. Сандра быстро вытащила чемодан. Распахнув гардероб, она достала два легких платья, шерстяную кофту и пеструю юбку, прибавила к ним непромокаемый плащ и вечерние туфли. Иво, не отрываясь, как в трансе, следил за быстрыми и точными движениями ее рук, легкими шагами стройных ног.

Чувство собственника, вернее хищника, при виде ускользающей добычи наполняло Флайяно ненавистью. Он терял очаровательную любовницу, и мысль, что она будет любить еще кого-то, наверное проклятого лейтенанта, стала для него невыносимой. Темный румянец выступил на обезображенном злобой лице артиста, дыхание стало частым и прерывистым. Сжались кулаки. Сандра внимательно следила за ним в трельяже.

— Без сцен, Флайяно, будь хоть напоследок благороден, как в своих фальшивых фильмах. Кстати, я попросила капитана с инженером постоять в коридоре, пока я не выйду.

— Ты уходишь совсем?

— Навсегда, Иво. И дома постараюсь принять меры, чтобы твои желания не исполнились. В детективных романах жертва не успевает догадаться и предупредить намерения гангстера. Бывает это и в жизни, но не в этом

случае. Мои друзья будут знать обо всем, и, если я вдруг исчезну, они найдут причину... — Сандра перешла на более приветливый тон: — Я взяла только свое собственное. То, что ты мне покупал, осталось. Пригодится. Браслет и часики лежат в ящичке трельяжа. О тех алмазах, что пришлись на мою долю из первого дележа, я и не говорю — разве ты их отдашь!.. — Злорадная усмешка Иво подтвердила слова Сандры. — Пусть они пойдут тебе в плату за поездку сюда. Считай, что я наняла твою яхту, ну и тебя с ней вместе... до Кейптауна. Пожалуй, это самый выгодный контракт в твоей жизни. Прощай!

Флайяно сделал резкое движение к двери.

— Капитан, милый! — громко позвала Сандра.

Дверь без стука распахнулась, и Каллегари с инженером подхватили чемодан и сумку Сандры. Щелкнул замок. Флайяно выпученными глазами тупо уставился на полированное дерево, вскочил, схватился за ручку, медленно отпустил ее и яростно заметался по каюте, бормоча гнуснейшие слова в адрес Сандры. Вспотев, он плюхнулся в кресло, включил вентилятор и принялся обтираться платком. Тихое жужжание и струя прохлады постепенно его успокоили, а две сигареты подряд и стаканчик коньяку восстановили утраченное равновесие.

Флайяно раскрыл бюро, достал плотный желтый конверт и лист такой же бумаги, подумал и стал писать:

«Начальнику полиции города Кейптауна... должен предупредить вас, что на борту моей яхты находились в числе других спутников бывшая киноартистка Сандра Читти и бывший лейтенант итальянского военного флота Андреа Монтуори. Мне стало известно, что оба указанных лица немедленно по прибытии в Кейптаун занялись тайной скупкой краденых алмазов, вступив в сношения с шайкой портовых воров и контрабандистов. Я попросил указанных лиц покинуть мою яхту, не находя возможным продолжать совместное путешествие с подобными спутниками. Не обладая доказательствами, я не счел возможным немедленно поставить вас в известность, о чем сожалею. Настоящее письмо является попыткой исправить мою ошибку и успокоить мою гражданскую совесть. Полагаю, что тщательный обыск в вещах господ Читти и Монтуори обнаружит уличающие их в контрабанде алмазы и оба преступника понесут заслуженное наказание».

Флайяно запер донос в сейф и, весело насвистывая, пошел на палубу. Торжествующая злая радость накипала

в его душе. Представляя, как цепкая южноафриканская полиция схватит Сандру и Андреа, он принялся хохотать. Хороший получат они медовый месяц — в тюрьме!

Капитан Каллегари позвонил Андреа и повез Сандру в город. Не успели они пересечь Эддерли-стрит, как сияющий Андреа уже махал им с тротуара. Все трое отправились на Виктория-стрит к Чезаре и Леа. Пришлось просидеть в вестибюле гостиницы с полчаса, пока Леа и Чезаре не вернулись с врачебного приема. За это время Андреа узнал историю с утаенной находкой. Она не произвела на него ожидаемого впечатления: Андреа не сводил глаз с Сандры. Он даже вздрогнул, когда капитан радостно крикнул, приветствуя вошедших Леа и Чезаре:

— Ну что, как дела с врачишками?

— Пока ничего, — ответил Чезаре, — впрочем, сегодня лишь предварительный визит к ассистенту. Главная консультация будет послезавтра, в четверг, у профессора.

— Дайте мне каблограмму в Коломбо, борт «Аквилы», о том, как пойдут дела. Обещаете? Сегодня наша последняя встреча. Вечером берем воду и топливо, на рассвете уходим.

Чезаре поклялся, и капитан принялся было за повторение рассказа о Флайяно. Но осторожный Чезаре повел их в номер, тщательно осмотрел окна, драпировки и запер дверь. Тогда капитан дал полную волю негодованию и рассказал обо всем происшедшем.

— Боже великий! Кто бы мог подумать, что Флайяно... ведь я знаю его давно, еще до его грандиозного успеха. Когда он смог так душевно деградировать?

— А мне кажется, что всякий большой успех неизбежно ведет к деградации. Только сильные душой и целеустремленные люди не поддаются. Они слишком увлечены творчеством, чтобы лелеять свой успех, как поступает человек мелкий, — спокойно сказала Сандра. Она пережила падение своего возлюбленного, давно подготовлявшего почву для разрыва.

— Полно вам теоретизировать! — сказал Андреа, до которого только сейчас дошел истинный смысл всего происшедшего. — Я не вижу здесь ничего, кроме элементарного скотства.

— Что вы думаете делать дальше, Сандра? — спросил Андреа.

— Продам два своих кольца и кулон с хорошим изумрудом. Мне хватит на самолет до Рима.

— А дальше?

— Есть такой знаменитый шведский фотограф Руне Хасснер, президент фотообъединения «Тио». Два года назад в Риме он предлагал мне...

— Зачем это вам теперь, Сандра, — вмешался лейтенант, — ваши камни дадут вам возможность десять лет жить и путешествовать!

— Ах верно! Я совсем забыла! Не десять, наверное, но пять: моя доля от первой добычи осталась у него...

— Мы отдадим вам по трети своей, этой вот, что вы принесли. Ведь если бы не вы, нам никогда не видать бы их. А теперь я чувствую себя миллионером, и мне принадлежит весь свет! — воскликнул Чезаре.

— Это и доказывает, что вы никогда не будете миллионером и не имеете понятия о настоящем богатстве! Я с радостью принимаю дружескую помощь, но жить за счет друзей не могу. Старомодное воспитание! Принимаю, если человек идет за меня на опасность, спасая от несчастья, болезни, нападения. А принять деньги, отнимая, скажем, половину его планов работы, спокойной жизни, намеченных путешествий, — мне это так мешает, что исключается! У каждого своя судьба, пока двое не соединят их вместе, как вы с Леа... Сейчас вы в идеальном положении для художника — в состоянии посвятить себя творчеству и отдать ему несколько лет, не думая ни о чем... кроме Леа!..

— Чезаре, Чезаре! — Леа повисла на шее художника. — Ведь Сандра говорит правду! Пришло то, о чем мы мечтали в замерзавшем Неаполе!

— Пришло... но как-то не так. А, что там, в жизни всегда приходит все иначе, чем в мечтах. Встают новые тревоги, подкрадываются нежданные беды.

Лейтенант порывался что-то сказать, но так и не произнес ни слова.

Капитан сказал, делая попытку подняться с кресла:

— Ну вот, вы теперь вместе, компания неплохая. А мне пора. Будь я проклят, но страшно жалко со всеми вами расставаться. Привык как-то!

В мгновение ока Леа и Сандра оказались на ручках его кресла, обнимая шею капитана.

— Честное слово, сцена слезу прошибет! — насмешливо прищурился Чезаре. — Я бы на вашем месте бросил

хозяина, поскольку дрянь из него выперла, яснее не нужно!

— Обязан! Не могу бросить, не Флайяно — «Аквилу». Отцепитесь-ка на минутку, девочки, а то от гладких ваших рук нет ясности в голове.

Сандра и Леа вернулись к своему дивану.

Капитан разжег трубку.

— Смотрел я на вас и испугался Флайяно. Трудно бывает даже представить, что придумает такая голова. В ней мысли идут иными путями, чем у нормальных людей. У Флайяно еще и ревность. Я давно заметил, как он следил за Сандрой и Андреа. Ладно, не отрицайте, мы тоже не без глаз. Вдруг он вздумает сообщить в полицию, что у вас есть алмазы? Вас обыщут, может быть, даже в самолете, и тогда обвинят в контрабанде, посадят в тюрьму, к полному удовольствию Флайяно.

— Но ведь он сам тоже ставит себя под подозрение? И мы на суде сможем разоблачить его, — возразил лейтенант.

— И разоблачайте на здоровье, когда он будет за тысячи миль отсюда, в другой стране. Время пройдет, камни будут проданы, и наш милый хозяин будет резвиться в Полинезии.

— Мамма миа, как говорит Леа! Вы мудрый человек, капитан! Но что же делать? — Сандра беспомощно оглянулась. — Послать алмазы почтой нельзя, спрятать негде: Чезаре и Леа под такой же опасностью!

— Пожалуй. Я было сам хотел поручить свои камни лейтенанту. Опасаюсь Флайяно и его верных сподвижников Пьетро и Джулио. Теперь вижу, что нельзя. Наоборот, давайте мне все, что у вас есть, я спрячу на яхте. Ни одна душа не будет знать, а в Коломбо я свободен. Там большой ювелирный рынок, а может быть, стоит проехать в Индию для полной безопасности. Если верите мне, что я сохраню их, и если хотите, то продам. Пожалуй, я сумею это лучше вас.

— Боже, какой чудесный план! — Сандра крепко поцеловала капитана. — Только бы это не оказалось для вас опасным!

— Буду осторожен. Теперь не так страшно, когда знаешь, с кем имеешь дело. Конечно, если что-нибудь случится с яхтой... море есть море...

— Ну, этого ни предвидеть, нп предупредить нельзя, — хладнокровно ответил Чезаре. — Тогда мы оста-

немся, какими были до плавания, ни больше, ни меньше. Нет, меньше, если мы потеряем вас.

— И больше потому, что мы подружились и многому научились в плавании, — добавила Сандра.

Капитан поднялся, тщательно рассовал пакетики с камнями по карманам своего слишком просторного кителя и уехал прямо на яхту. Четверо молодых людей продолжали обсуждать потрясающие новости. После обеда в недорогом ресторане Леа вернулась домой, а Сандра с Чезаре и лейтенантом пошли продавать изумруд и кольца. Сверх ожидания за один лишь кулон Сандра выручила вдвое больше, чем предполагала за все украшения. Должно быть, действительная стоимость камня была очень высокой. Сандра не знала, что после истощения уральских месторождений изумруды такой чистой воды и настоящего зеленого цвета стали большой редкостью.

Сандра осталась переночевать в номере с Чезаре и Леа, а наутро получила маленькую комнату на самом верхнем этаже гостиницы, с видом на Ботанический сад и парковую часть города, поднимавшуюся по склонам суровой кубической громады Столовой горы.

Лейтенант Андреа тоже перебрался на верхний этаж в то самое утро, когда «Аквила» вышла из бухты.

Профессор Ван-Хепен потребовал от Леа дополнительного обследования. Чезаре неотступно ходил с ней. Сандра с лейтенантом оказались предоставленными самим себе. Без устали бродили они по красивому городу, ездили в окрестности, подымались на Столовую гору.

Аллеи могучих дубов стояли еще не тронутые осенью, только листья их приобрели медный оттенок. Множество белок возились в их ветвях, заготовляя желуди на осень. Почти ручные зверьки не боялись людей и яростно стрекотали, враждуя с голубями. Молодые люди побывали в театре Банту, смотрели балет, «цветную» руританскую оперетту. Удивительная естественность, превосходные мелодичные и глубокие голоса, танцы, в которых прекрасные тела жили пламенной, неведомой для европейца жизнью. Сандра была совершенно очарована.

— Как это может быть? — повторяла она, показывая на таблички, прицепленные к вагонам трамваев и пригородных поездов с надписями на африкаансе (голландском) и английском языках: «Ни бланкес» — «Не для белых». Такие же надписи красовались на уборных, а ре-

стораны и магазины побогаче, наоборот, возвещали: что они «только для европейцев».

— И это в середине двадцатого века, после того как разгромлен фашизм!

— Кто вам сказал, Андреа, что он разгромлен? Разгромлены три фашистских государства, а зреют новые, в другом обличье, под другими политическими лозунгами. Но везде одно и то же: какие-то господствующие классы, группы, слои, как их там ни называйте, захватившие право подавлять мнения и желания всех остальных, навязывать им под видом законов и политических программ низкий уровень жизни, чинить любой произвол...

Вот вам, кстати, типичный фашистик — наш Флайяно. А сколько я видела тут таких же на светском балу. Заносчивость и надменность здешних дам перед «цветными» даже трудно представить. Любая европейская дрянь, которой у себя на родине цена чентезимо, здесь она тем более требовательна, нагла и нетерпима, чем ниже она сама чувствует себя перед действительно талантливыми представителями других, непривилегированных рас. Впрочем, тут даже не нужны расовые различия. То же самое в Европе между привилегированными и низшими слоями. Только там оно скрытое, сейчас не модно. А тут все наружу и в наивысшей степени наглости.

— Я мечтал не только о Полинезии, но и о Кейптауне — этом прекрасном городе на пути к Востоку, — признался лейтенант. — Что ж, город действительно красив, кого тут только нет. Но он мне неприятен из-за остро чувствующегося здесь напряжения. Кажется, что одни ждут все время, что их накажут, а другие — что должны будут требовать наказания и наказывать.

Андреа обвел рукой весь гигантский амфитеатр Кейптауна:

— Вот там, выше всех, дворцы богатеев, в парках, с просторными садами. Ниже, видите, маленькие особнячки с садиками, это для преуспевающих служащих и чиновников. Еще ниже большие дома с наемными квартирами для средней массы белого и малой доли цветного населения. Следующая ступень — пыльные узкие улочки с небольшими домиками вокруг мечетей, там живут индонезийцы, индийцы и другие мнимые «цветные». А совсем низко, на песках побережья, где постоянный ветер крутит

пыль и мусор, там поселки африканцев — пондокки. Я уверен, если посчитать, на самом верху населения в тысячи раз меньше, чем внизу, — вот вам налицо картина устройства общества. Пожалуй, большие города Европы куда демократичнее, по внешности хотя бы.

— О нет, нет! — страстно возразила Сандра. — Там на улицах — бешенство автомобилей, и мне кажется, что все они дышат злобой к пешеходам, а пешеходы злятся на них. В спешке суетятся толпы безымянные и безликие, огромные дома набиты людьми, скученными в низких душных комнатах, согнувшимися над столами и станками в монотонной и нудной работе. А вечером начнется погоня за развлечениями, раздастся грохот воющей и стучащей ритмической музыки, призраки кино, экраны телевизоров, сочащиеся голубым ядом. И выпивка за выпивкой, сотни тысяч людей пропитаны алкоголем, умеряющим нервный спазм нетерпения, ожидания чего-то лучшего, что не приходит, да и не может прийти. И незаметно жизнь ухудшается и нищает, человек, стремящийся к успеху, видит, что он обманут. Квартира, которую он ждал несколько лет, оказывается дешевой клетушкой, заработок по-прежнему не обеспечивает исполнения даже скромных желаний, дети становятся не радостью и опорой, а обузой и обидой. И тогда перед человеком встает колоссальный вопросительный знак — зачем?

— И мы с вами живем в этих огромных городах!

— И знаете почему?

— Нет!

— Что-то в самой атмосфере города подгоняет нас и не дает залениться, может быть, возможности, скрытые в культурных ценностях нашего мира, сконцентрированных, разумеется, только в больших городах.

— Видимо, вы правы, но меня, как военного, пугают гигантские города. Они ведь чудовищные мышеловки на случай ядерной войны, и правительствам не мешало бы это предвидеть. Я не говорю о прямом поражении ядерными ракетами или бомбами. Каждому очевидно, что люди, как нарочно, собраны, чтобы стать перед всеобщей и быстрой смертью. Нет, пусть не будет такого! И все же каждый колоссальный город — Париж, Токио, Нью-Йорк, Лондон, — как водоворот, вбирает в себя массы воды, пищи, топлива в количествах, какие мы с вами даже не представим. И если хоть маленький, совсем короткий перебой, разруха в транспорте, работе коммуникаций, тогда

город станет исполинской ловушкой голодной смерти. Или гибели от жажды более верной, чем в пустыне.

— Это хороший образ — водоворот. Или воронка мельницы, все перемалывающей и производящей нервнобольное, худосочное племя, все дальше уходящее от прежнего идеала человека, каким мы его привыкли видеть в произведениях искусства и мысли прошлых столетий. Нет, настоящие города будущего должны быть похожими на такие вот небольшие дома в маленьких садах, какое бы пространство они ни занимали. И если мы не решим задачи с городами и транспортом, то вся наша цивилизация полетит к черту, породив поколения людей, негодных для серьезной работы, в чем бы эта работа ни заключалась! За городскую жизнь к человеку приступают четыре неминуемые расплаты. За безделье, малость личного труда — шизофрения, за излишний комфорт, леность и жадную еду — склероз, инфаркт, за переживание срока, па какой рассчитан наследственностью данный индивид, — рак, за деторождение как попало, за беспорядочные браки по минутной прихоти, за безответственность в таком важнейшем вопросе, как будущность собственных детей, — расплата — плохая стойкость детей к заболеваниям, наследственные болезни, кретинизм, уменьшение умственных и физических сил потомства.

— Положительно, вам надо писать, Сандра, — взволнованно сказал лейтепант. — Из вас вышел бы хороший публицист.

— Не знаю. Просто я сегодня в ударе. Может быть, четыре дня в Кейптауне, ощущение свободы сделали это. Ведь я порядочно устала быть коком на нашей яхте.

Сандра изменилась за время своего бегства с яхты. Сейчас, в простом светло-терракотовом платье с узором из игольчатых золотистых молний, с широкой юбкой, Сандра казалась юной студенткой, впервые вылетевшей в далекое путешествие из родного гнезда.

Ее густые волосы без всякой моды (Сандра говорила, что настоящую женщину можно сразу узнать по ее непокорности модному стандарту, она носит лишь то, что ей идет) были зачесаны назад и налево, открывая правое ухо и спадая непокорными прядями на левую бровь.

Углы ярких губ поднимались кверху, словно в скрытой усмешке пай-девочки, не желающей выдавать свои чувства суровым старшим. На прямых, слабо выступавших ключицах лежало только что приобретенное деше-

вое негритянское ожерелье, подчеркивающее стройность высокой шеи, ничуть не уступавшей королевским шеям чернокожих красавиц, окидывавших одобрительными взглядами эту белую девушку.

Еще раньше, когда они прогуливались по вечерним улицам Кейптауна вчетвером, лейтенант заметил, что обе итальянки привлекали внимание не только мужчин, но и гораздо менее доброжелательное — дам, присматривающихся к простым платьям итальянок, сделанным со свойственным наследницам античного мира совершенно непогрешимым вкусом.

Лейтенант и Сандра дошли пешком до гостиницы и разошлись по своим номерам. Несколько минут спустя в номере Андреа раздался телефонный звонок. Сандра просила немедленно зайти к ней.

— Андреа, у меня сделали обыск! — встретила моряка взволнованная Сандра.

Лейтенант обвел взглядом комнату.

— О, это сделано хорошо, — угадала она его мысли. — Вот билеты в карманчике сумки — их сложили чуть-чуть по-другому. Или серьги — я ношу их в пудренице, ее крышка повернута не так, как я ее закрыла в последний раз. И еще... в общем они все перерыли и даже заглядывали в люстру — на их несчастье, наша горничная редко протирает ее, и вот видите — чистое пятнышко на краю стекла.

— Клянусь мадонной, вам надо бы работать в секретной службе!

— Перестаньте шутить, Андреа, тут дело серьезное!

— Ничуть. Премудрый дядюшка Каллегари избавил нас от грозной неприятности. Пойдемте ко мне — одолжите вашу наблюдательность.

Предположение лейтенанта оправдалось. Записная книжка, оставленная им в глубине среднего ящика стола, переместилась немного вперед, и самый ящик был задвинут не до конца — невозможный для моряка поступок.

— Что-то их спугнуло, — покачал головой лейтенант, — пожалуй, мы вернулись немного рано. Тут у меня кое-какие записи о пройденном пути, цифры расходов, вероятно, их решили списать или перефотографировать. Пусть работают, познакомятся с моим интимным бюджетом — он вряд ли интересен.

— А Чезаре и Леа? — спохватилась Сандра. — Пой-

демте к ним, они должны уже вернуться. Если обыскали только нас, тогда прав капитан, что это работа Флайяно!

Они нашли художника в кресле, в то время как Леа плескалась и пела за дверью ванной. Вялую сонливость Чезаре как рукой сняло при известии об обыске. Он взвился, как спущенная пружина, и несколько минут осматривал чемоданы, стол, шкаф и потаенные уголки комнаты.

— Ложная тревога, — сказал он, успокаиваясь, — моя зрительная память вряд ли хуже, чем у Сандры, но я не вижу ни малейшего признака. Нет, Флайяно удружил только вам.

— Друг Чезаре, дайте-ка мне листок с координатами жернова. Теперь я чист в глазах полиции, и они не полезут больше. А до вас просто, может, еще не дошла очередь.

— Ну, это вряд ли. Они понимают, что, обыскав вас, они тем самым разоблачили себя и заставили нас насторожиться. Обыск должен был быть сделан у всех одновременно. Или они рассчитывают на дураков?

— Вы, наверное, правы. Жертвы подозрения — только мы с Сандрой. А все-таки дайте мне листок, я буду носить его при себе и увезу, ведь мы с Сандрой улетим скорее вас?

— Кто его знает? — Лицо художника сразу стало суровым и озабоченным. — Что-то не получается у здешних медиков. Они не могут... я вижу... — художник оборвал себя.

Из ванной вышла в желтом халате Леа. Ничего в ней, пышущей здоровьем, не говорило о болезни. Только внимательному, знающему взору было заметно странное выражение в глубине глаз: темное, не то испуганное, не то напряженное. Едва уловимое свидетельство нарушения великолепного соответствия здорового тела и нормальной психики. Что-то вмешалось в непостижимо сложную сеть работы сознания и памяти. Можно ли вылечить это? Восстановить прежний баланс, благословенно не ощутимый для здорового человека? Или прежняя, бесстрашная и пылкая Леа исчезла уже навсегда, пригвожденная к черному провалу сознания, о котором она говорила с таким страхом?

— Дай сигарету, Чезаре, — потребовала Леа, поцеловавшись с Сандрой, — я следую здешнему обычаю. Тут все целуются, здороваясь, прощаясь, на улицах и в теат-

ре, даже с мужчинами. Да нет, просто так, в знак вежливости! — пояснила она в ответ на лукавую усмешку Чезаре. — А вы только что явились? Будем обедать вместе?

— Нет, мы пообедали и сейчас снова уходим, — ответила Сандра. По безмолвному соглашению они решили не говорить Леа о вторжении полицейских агентов.

Чезаре, шелестевший вечерними газетами, вдруг издал удивленное восклицание.

— Опять наши корабли! Смотрите, на второй странице. «Видный историк античности профессор Ботсма из Стелленбошского университета утверждает, что корабли, обнаруженные итальянскими водолазами у берега Юго-Западной Африки, не что иное, как погибший флот Александра Македонского!»

— Это еще что за выдумка? — изумился лейтенант.

— Да нет, это серьезно. И надо сказать, что профессор, кто бы он ни был, не говорит бездоказательно. Вот слушайте:

«Историки давно установили, что незадолго до смерти Александра Македонского по его приказу был выстроен флот с колоссальным количеством кораблей — 800 судов. Несколько десятков тысяч молодых мужчин и женщин, ремесленников и земледельцев, были предназначены для греческой колонии на новых землях, завоеванных в Индии. Флотом командовал один из диадохов, ближайших товарищей Александра, Неарх. Когда Александр внезапно прекратил свой удачный поход в Индию (он пересек уже Инд), он вернулся в свою новую столицу — Вавилон, некоторое время проболел и умер. При разделе стран между диадохами Неарх получил флот со всеми людьми и войсками, с тем чтобы завоеванные им земли составили бы для него особое царство.

Ученые расходятся в предположениях о судьбе флота Александра Македонского. Крупные авторитеты считают, что флот был сосредоточен у берегов Леванта и после того, как Неарх покинул его, чтобы присутствовать у одра болезни полководца и на дележе диадохов, флот рассеялся по различным местам Средиземного моря. Другие, к которым присоединяюсь я, находят, что флот, предназначенный для покорения Индии, не мог строиться в Средиземном море, а создавался в Персидском заливе и в устье Евфрата и что цифры в 800 кораблей с полутораста тысячами людей были сильно преувеличены в последующих

пересказах. Я оцениваю число судов приблизительно в 300 и считаю, что флот под командованием Неарха пошел не в Индию, а решил обогнуть Ливию (Африку) и пройти в Средиземное море с запада, покорив богатейшие земли к юго-западу от Геркулесовых столбов, открытые плаванием Ганнона.

Историк Гарольд Гледвин полагает, что Неарх пошел в Индию, затем в Индонезию и достиг берегов Южной Америки, а люди, предназначавшиеся для колонизации новых земель, положили начало культуре инков и майя. Это предположение совершенно невероятно. Не говоря уже о том, что указанные культуры ничего общего не имеют с эллинистической, оставленной Александром повсеместно в Азии. Простой расчет сроков плавания показывает, что деревянные суда не могли прослужить так долго в тропических морях, где незащищенное дерево быстро разрушается червями-древоточцами. Гораздо вероятнее, что флот Александра, вернее Неарха, стал огибать Африку и у берегов Юго-Западной Африки погиб бесследно, что соответствует полному отсутствию каких-либо исторических сведений о судьбе флота и самого Неарха. Небольшие эллинистические суда обычно спасались от бурь на берегах. На открытом побережье Берега Скелетов они не смогли найти убежища и погибли все до последнего судна, а спасшиеся люди неминуемо нашли свою смерть в безводной прибрежной пустыне».

Чезаре прочитал статью до конца при сосредоточенном внимании товарищей.

— Знающий человек! — одобрительно заключил художник. — Я недаром удивлялся, что суда чем-то мне знакомы. И амфоры...

— Что ты говоришь, Чезаре! — изумилась Леа. — Ты как будто сам нашел эти корабли! А вообще очень интересно!

— Тут есть еще заметка, — спохватился Чезаре. — Другой специалист, на этот раз геолог Кэйн из Витватерсрандского университета в Иоганнесбурге, поддерживает историка. Он снимает главное возражение: как могли корабли сохраниться две с лишним тысячи лет в прибойной зоне. Геолог утверждает, что корабли затонули на гораздо большей глубине, недоступной волнам. Но общее поднятие побережья пустыни Намиб вывело область гибели флота на глубину, доступную водолазам, и произошло это недавно. По всему побережью отмечены не-

ожиданные возникновения рифов в прежде глубоких водах.

— Так и есть! — не удержался Андреа. — Помните, Чезаре, вы говорили о странной безжизненности подводных скал там, где корабли.

— Как странно, вы точно заговорщики, — обиженно нахмурилась Леа. — Будто вы где-то там были, а от меня скрываете. Чезаре — тот почему-то прячет газеты, я заметила. Это что, секрет или сюрприз?

— Сюрприз, дорогая! Э, все это пустое, ненужные шутки! Я иду в ванну, а потом обедать. Сандре с Андреа пора на концерт.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ПЛАЧУЩИЕ ПОЕЗДА

Концерт, который выбрала Сандра, состоялся в небольшом саду с видом на море. Осенняя ночь, удивительно теплая, безлунная, безветренная, дышала покоем, не соответствовавшим странной программе концерта. Кто-то составил ее из трагических произведений, может быть для африканской аудитории. Действительно, африканцы, преобладавшие среди публики, по природе замечательные слушатели, сидели неподвижные, как будто волшебство музыки превратило их в статуи из черного мрамора, темной бронзы или светлой меди.

Небольшой оркестр необыкновенно точно и согласованно повиновался малейшему движению черноволосого дирижера-француза.

Неизвестная Сандре симфония опустилась на склоненные головы цветных слушателей, как сама их жизнь — порывистая, обреченная и немилосердная. А позади и в стороне город жил своей вечерней жизнью, в блеске реклам и витрин, шуме уличного движения, как будто музыка превратила его лишь в декорацию настоящей реальности.

После короткого перерыва во втором отделении исполнялись симфонические танцы Рахманинова. Тревожные, мечущиеся призывы, перебиваемые мрачным ритмическим рокотом. Бешеная скачка по ночным степям, отчаянное кружение, тяжесть плена, тоска и бессилие в криках и песне. Последний бой и тягостная обреченность.

На западе, в стороне от освещенной дуги бухты и пирсов порта, темнел океан, слившийся с небом в бесконечную пустоту. Лишь огоньки судов и чужих, незнакомых созвездий боролись с победившей тьмой.

Андреа часто поглядывал на Сандру, освещенную скудным отблеском рампы. Сандра сидела прямо и несколько напряженно, вся превратившись в слух и чуть приоткрыв губы. Высокий «китайский» воротник ее шерстяной кофты, слившийся с загорелой кожей, еще сильнее удлинил ее шею. Знакомые до малейшей линии черты ее лица казались Андреа мучительно прекрасными. Андреа понимал, что еще не время говорить о своей любви. Сандра и так о ней знала. Значит, если сказать, то как требование ответа... но Андреа не мог удержаться. Он осторожно взял лежавшую на коленях левую руку Сандры и поднес к губам. Сверх ожидания рука Сандры крепко стиснула его пальцы.

Осторожно, но сильно он привлек к себе Сандру, позволившую себе прижаться на миг щекой к плечу его белого кителя, потом решительно отстранившуюся. Андреа завладел ее рукой и не отпускал до окончания концерта, нежно лаская и украдкой целуя тонкие, огрубевшие в путешествии пальцы.

Едва замерли последние звуки скрипки, Сандра поднялась и, не сказав ни слова, направилась к выходу. Немного обескураженный Андреа последовал за ней, замечая долгие мужские взгляды вдогонку Сандре.

Они медленно пошли рядом по первой попавшейся улице, стремясь отдалиться от экзальтированной смеющейся толпы «цветных».

— Мне нельзя слушать такие вещи, — сказала Сандра после продолжительного молчания, — иногда мне кажется, что я иду по краю и они могут столкнуть меня. Да нет, вы не поняли, я не имею в виду смерть. Какой-нибудь отчаянный поступок, за который неизбежно будешь наказана, совсем так, как обещает музыка.

— А мне думалось, что вы, артистки, способны перевоплощаться и этим спасаете себя от ударов жизни, — сказал моряк, — в музыке вы были одна, а сейчас — другая.

Сандра остановилась, в упор смотря на лейтенанта. Потом глаза ее смягчились, и даже в скудном свете редких уличных фонарей он увидел в них нежную насмешку.

— Милый Андреа, перестаньте воображать, что я большая артистка! Я всего лишь хорошая модель, игравшая очень средне, так, как может каждая женщина, если

она не совсем тупа. Все мое существо противилось артистической карьере, это был ложный шаг. Я расплатилась за него, и теперь кончено.

Андреа недоверчиво улыбнулся. Сандра взяла его под руку и слегка прижалась к нему, стараясь соразмерить свою танцующую походку с его тяжеловатыми шагами моряка.

— Мой милый, может быть, вы поблагодарите судьбу, что из меня не вышло артистки!

— Это в каком же случае?

— Когда, ну... — Сандра на мгновение смутилась и торопливо продолжала: — Если не обладать потрясающим, редкостным талантом, какой появляется раз в поколение, путь к вершинам искусства труден и жесток. Так у нас и, по-видимому, везде в мире. И пока женщина, даже талантливая, станет выдающейся артисткой, она потеряет так много, что перестанет быть женщиной, а станет только артисткой. Отсюда и поговорка, что талантливые люди бессердечны.

Лейтенант резко остановился. Шепча ее имя, он схватил ее, сдавил в крепких руках. Сандра обняла его шею, дыхание ее прервалось, длинные ресницы скрыли глаза. Оба очнулись, лишь когда шумная компания молодежи появилась на противоположной стороне улицы.

— Боже мой, какое бесстыдство! — Сандра, слегка задыхаясь, провела рукой по волосам и одернула платье. — В чужом городе! Сейчас нас поведут в тюрьму, решив, что кто-то из нас «цветной» и обольщает ангелочка белого.

— Вас настращала здешняя полиция, но ведь я с вами! — торжествующе сказал Андреа, заглядывая в ее глаза. Переполненное любовью сердце билось тяжелыми, сильными ударами.

Сандра отодвинулась и покачала головой.

— Не надо, милый. Подождите, а я все объясню. Пора нам поговорить.

Лейтенант и Сандра медленно пошли по темной аллее между двухэтажных домиков. Где-то справа и впереди разносился шум электропоездов «Кейптаун — Саймонстаун», разрывавших ночь своими странными плачущими сигналами, похожими на человеческие вопли.

— А вам не будет очень стыдно, если я... пойду босиком? Хочется идти далеко, и я привыкла в море, на палубе... Здесь темно, ваш позор не будет виден.

Сандра сорвала туфли; несмотря на осень, она ходила без чулок. Ее шаги по пыльной улице показались Андреа необыкновенно легкими, почти летящими. Не в силах сдержаться, он обнял Сандру, и снова она освободилась, на этот раз более нетерпеливо.

— Я понял, — глухо сказал лейтенант, — вы все еще любите его!

— Кого, Флайяно? Боже мой, нет! Но поймите, Андреа, я не могу так. Надо побыть одной, отделаться от всего навязшего, стать другой Сандрой — какой я хотела, но не той, какой пришлось. Поймите это, Андреа!

— Тогда почему же вам отвергать мою помощь? И... и любовь?

— Разве я отвергаю? Только не надо торопить меня.

— Торопить принять любовь ничем не замечательного моряка?

— До боли непохоже на мое представление о вас, Андреа. Едва лишь начинаются разговоры о «простых» моряках, служащих, машинистах, как...

— Как что?

— О, ничего, не все ли равно! Ну, подозреваешь, что у человека есть внутренняя неуверенность, неполноценность, что он ищет, за что бы уцепиться и переложить собственную вину на другого.

— А что бы вы хотели?

— Чтобы пришел тот, который примет женщину, какой она ему предстала, созданную жизнью и ею самой, но не существо, какое бог предоставил ему по специальному заказу. И если он хочет видеть ее иной, более женственной или мужественной, то пусть обладает силой сделать ее другой!

— И многие вас... переделывали по-своему? — спросил Андреа сдавленным, неприятным голосом.

Сандра так быстро повернулась лицом к нему, что ее шатнуло. Пристально вглядываясь в него, она не замечала, что все теснее прижимает руку к сердцу жестом раненой. Что случилось с ее чутким рыцарем? Откуда эта внезапная и ненужная грубость? Или это неизбежно, что все хорошо до того лишь предела, за которым мужчина становится уже не индивидуальностью, а безликим олицетворением своего пола? И милый Андреа тоже?

Лейтенант, конечно, заметил горькую обиду Сандры, но уже не мог, как несколько минут назад, взять ее за

руку и попросить прощения. Точно вся ревность, не раз мучившая его во время плавания на «Аквиле», вдруг вырвалась на волю. Чувствуя, как рвутся нити близости, казалось навсегда соединившие их обоих, Андреа упрямо пробормотал:

— Я только хочу знать правду!

— Правда — она зависит от понимания. У любящего — одна правда, у ненавидящего, подозрительного — другая!

— До сих пор я считал, что есть только одна.

— Милый моряк мой, вы совсем еще мальчик! Едва я стала мисс Рома, как оказалась окруженной опытными охотниками за женщинами: кинорежиссерами, журналистами, фотографами и просто бездельниками, посвятившими себя покорению таких, как я, девчонок, только что расцветших красотой дьявола.

— Это что за кинотермин?

— Кино здесь ни при чем. «Боте дю дьябль» — так французы называют момент, когда девушка впервые расцветает свежей и юной красотой. Большей частью это случается в восемнадцать лет. Такая красота действует на мужчин, особенно пожилых, неотразимо, вероятно, потому и возникло ее название в эпоху средневековья. Но я жила не в средневековье. Шесть лет назад я поступила в семинар античной истории, получила красоту дьявола, а с ней титул «мисс Рома». Я никогда не была флази или изи лэй, как говорят американцы, но, конечно, не смогла противостоять искусным атакам. Все произошло по обидному стандарту: режиссер кино, начало кинокарьеры, неудачный конец ее, работа гидом с иностранными туристами, а потом Фляйяно...

Сандра умолкла. Снова в ночи раздался плачущий вой электропоезда.

— Конечно, было бы лучше, если б девочкам с детства преподавали науку жизни и любви, — опять заговорила Сандра, — мы могли бы лучше выбирать, распознавая настоящее. Теперь мне просто смешны избитые приемы покорителей сердец. Болтовня об одиночестве, непонятой душе, претензия на загадочность, ложь о потрясающих похождениях. Сказки о пылкой любви, сочиненные еще во времена Древнего Египта и пересказывающиеся па разные лады на всех языках мира. И главное — точный расчет на самую слабую струну женской

души — жалость. Уместная, тактичная жалоба испортила больше женских жизней, чем все другие мужские хитрости.

— А меня вам меньше жаль, чем, например, Фляйяно?

Сандра вздрогнула, как от удара.

— Как не стыдно говорить такое? Неужели...

— Если моя любовь не подходит вам, я могу отойти!

— Андреа! — В голосе Сандры прозвучала горькая обида.

Насупившийся Андреа молчал до тех пор, пока они не поднялись к широкому шоссе, обсаженному двойным рядом дубов, вперемежку с платанами. Плач электропоездов усилился, действуя Сандре на нервы.

Она остановилась, чтобы еще раз объяснить ему, как устала от постоянных мужских преследований, от насыщенного сексуальностью и наркоманией мира кинодеятелей, от всего, что она видела за последние четыре года своей жизни. Сказать, что она мечтала об их тесной дружбе, что близость их начнется не с поцелуев, а с совместного пути в жизнь, более свободную и ясную... Но Андреа, повернувшись к мчавшейся по шоссе машине, сигнализировал ей рукой. Сандре показалось, что он обрадовался появлению такси.

— Неужели страсть так ослепляет вас, что вы ничего не видите, Андреа? — снова заговорила в такси Сандра. — Право же, в море вы были куда более чутким, настоящим рыцарем.

Лейтенант остановил ее жестом руки, предлагая сигарету. Сандра закурила, стараясь заглянуть в лицо Андреа, но тот уклонился от ее тревожных глаз. Оба молчали, напряженные и отдалившиеся. Машина мчалась уже по залитым светом улицам центра, а перед глазами Сандры стояло пустынное, темное шоссе и слышались плачущие сигналы поездов.

Такси остановилось перед гостиницей. Сандра выпрыгнула из машины, оставив лейтенанта рассчитываться с шофером, схватила ключ у дежурного и вбежала в лифт. У себя в номере Сандра бросилась на постель, вся дрожа от нервной усталости. Слезы пришли лишь некоторое время спустя. Она лежала, невольно прислушиваясь. Но ни стука в дверь, ни телефонного звонка не последовало до утра, когда Сандра, нарыдавшись, забылась крепким сном.

Солнечное утро разбудило ее, обещая новую радость, но она вспомнила события вчерашней ночи, и перед ней все померкло. Наскоро приняв душ и переодевшись, Сандра позвонила Андреа. Никто не отозвался. Сандра попросила номер Чезаре и, задумавшись, стояла с трубкой в руке, пока не услышала голос телефонистки: «Не отвечает». Оставаться в неизвестности она была не в силах. Спустившись в вестибюль, она подумала, не пойти ли ей в Ботанический сад, пока ее друзья вернутся. Портье подал ей конверт без марки. Узнав почерк Андреа, Сандра почувствовала слабость. Она ждала этого. Сандра разорвала конверт, в душе уже зная наперед содержание письма. Так и есть. Он думал всю ночь, утром простился с Леа и Чезаре и уехал в Иоганнесбург, где будет стараться попасть на первый же самолет.

Сандра уловила удивленные взгляды портье и пожилого англичанина, ожидавшего в углу вестибюля. Тогда она поняла, что по щекам ее льются неудержимые слезы, и стремглав бросилась к лифту.

Чезаре, склонившись над ванной, глубокомысленно следил за выливающейся из нее водой и не реагировал на стремительное появление Леа.

— Смотри, замечала ли ты, как здесь выливается вода? Она закручивается водоворотиком против часовой стрелки!

— Как тебе не стыдно рассуждать над грязной водой, когда случилась беда?

— Что еще?

— Андреа и Сандра рассорились. Сегодня утром несчастный лейтенант прощался с нами. Мы приняли за шутку это нежное прощание, а он удрал в Иоганнесбург.

— А что же Сандра?

— Я только что от нее. Заперлась в номере, ничего не ест, глаза красные. Налицо все признаки катастрофы. Я понимаю Сандру. Андреа оказался слишком нетерпелив. Не понял, что надо дать Сандре время отойти. Вчера оба были на концерте, вернулись очень поздно. И все порвалось.

— Ну, не все, — спокойно ответил Чезаре, — опомнится. Поймет, что любить красавиц — нелегкое дело. Надо потерпеть и пострадать. Как вот я натерпелся с твоими вечными упираниями и брыканьями!

— Лгун! Но я разочарована, лейтенант оказался вовсе не рыцарем без страха и упрека... Как обидно за Сандру!

— Да успокойся ты, амазонка. Верно прозвала тебя Сандра. Сядь, подумаем. Надо не оставлять Сандру одну. Ей, должно быть, сейчас очень пусто в чужом городе.

— Ты хороший, мой Чезаре! Будем липнуть к ней, хочет она или не хочет. Мы собирались сегодня в Заповедник природы, уговори ее поехать...

От подножия Винбергского холма дорога шла через виноградники, к широким полянам между дубов на южном склоне пика Дьявола. Тяжелые гроздья в ярком солнце светились той особенной теплотой и доброй прозрачностью, какая свойственна из всех плодов земных лишь винограду. Для итальянцев было странным узнать, что остались лишь самые поздние сорта, а основной винтаж кончился в феврале, как раз во время снежных ветров и суровой зимы этого года на Средиземном море. И ощущение безмерной удаленности от родины стало общим для всех троих в этот тихий предвечерний час. Легкие рыжеватые газели и мрачные уродливые гну подходили к самой дороге, не опасаясь автомобилей. Павианы взлаивали визгливо и злобно вверху, на скалистых выступах.

Сандра подошла к изгороди, протянула руку, подзывая антилоп. «Она редкость, — подумал Чезаре, — красива, как венецианка, остра, как флорентийка, умна... И почему всегда становится страшно за разносторонне совершенных людей? Боги не любят человеческого совершенства. Эта формулировка была известна еще в глубокой древности и не только в отношении людей, но и предметов искусства. Большинство замечательных творений искусства постигла гибель. Китайские фарфоровые мастера, если какая-нибудь ваза выходила особенно хорошей, нарочито неискусно охлаждали изделие, и глазурь покрывалась сеткой мелких трещин. Изделие теряло совершенство, и ему более не угрожала гибель от зависти богов. Так и с людьми».

Леа потянула Чезаре за рукав и тихо сказала:

— Знаешь, я сейчас подумала, что человеку почти невозможно быть очень красивым и очень счастливым.

— Ты прочитала мои мысли, — изумился Чезаре, — я только что додумался, насколько еще плоха наша жизнь, если каллокагатия, то есть сочетание красоты те-

лесной и духовной, о которой так мечтали в Древней Элладе, смертельно опасна для ее обладателей. А в то же время самая явная односторонность, даже дикая фанатическая узость параноиков, ведет их к успехам в жизни и к верхушкам общества и власти. Сандра права, говоря, что есть в самой основе нашей европейской цивилизации что-то болезненно неправильное!.. Каковы ваши дальнейшие планы, Сандра? — спросил ее Чезаре на обратном пути в гостиницу.

Ее спокойная поза и грустная улыбка привели художника к заключению, что вопрос не окажется болезненным.

— Не знаю. Хочется скорее уехать, но... не в Каир. Может быть, поеду на пароходе, хотя плавание мне приелось. Словом, еще не придумала. Пока буду ждать, что скажет ваш профессор. Завтра у Леа консультация? Надеюсь, это последняя?

— Я не надеюсь. Столько раз уже откладывали!

— Оставайся с нами! — предложила Леа. — Только боюсь, что для тебя неестественно...

— Поверь, что мне сейчас ничего не нужно. Может быть, я устала от атмосферы непременной оценки физических достоинств, зависти, измен, обмана, соревнования в платьях и мнимо роскошной жизни — всего, что, как пена, накипает на поверхности нашего киноискусства и затягивает тебя самое. Я давно все возненавидела, может быть, потому, что мои мозги просят большего. Там вовсе не свободная богема, как кажется обывателям, а рабство, худое еще потому, что оно на очень низком уровне. Короче, мне очень хорошо здесь с вами, и если только я не мешаю...

— Сандра, со мной ты можешь не кокетничать, все равно не скажу! Впрочем... — и Леа крепко обняла и поцеловала подругу.

В вестибюле гостиницы портье подал Чезаре листок бумаги. Художник с недоумением взглянул на проставленную в нем незнакомую фамилию, ничего не поняв из краткого объяснения на английском языке. Сандра пришла ему на помощь.

— Вам звонил какой-то профессор. Хочет встречи с вами, сегодня же вечером. Дело неотложное. Придет в семь часов. Профессор Вильфрид Дерагази, — прочла Сандра, — немец?

— Скорее турок с немецким именем, — поправила

заинтригованная Леа. — Объясняй, Чезаре, а то мы голодны и свирепы — ты можешь пострадать!

— Клянусь тысячью церквей Рима, я никогда не слыхал об этом господине!

Ровно в семь часов в дверь номера постучали. Вошел довольно высокий стройный человек, одетый в отличный одноцветный вечерний костюм. Несколько секунд он зорко осматривал всех присутствующих, изящно поклонился дамам и обратился к Чезаре по-итальянски:

— Вильфрид Дерагази, профессор археологии из археологического института в Анкаре. А вы художник Чезаре Пирелли?

Чезаре поклонился, в свою очередь, и представил профессора дамам, украдкой изучая гостя. Резко очерченные кости худощавого лица, крупный нос, широкий, массивный, но не слишком тяжелый подбородок. Темные волосы, густые брови, углубляющие неподвижные, зоркие, как у художника, глаза. И выступы волевых мускулов вокруг сжатых тонких губ крупного рта. Недобрая, но незаурядная сила исходила от взгляда этого человека, на вид не старше тридцати с небольшим лет. Молодой профессор мельком взглянул на Леа, задержался на Сандре, и ей показалось, что темный взгляд незнакомца уперся в нее физически ощутимо. Всего лишь на мгновение. Затем профессор улыбнулся, блеснув золотым зубом.

— У меня к вам чисто деловой разговор. Я пришел просить вас о любезности. Меня настолько интересуют все технические подробности вашей находки, что я, видите, прилетел сюда из Анкары, после сообщения агентства Рейтер.

— Вряд ли я смогу рассказать вам больше, чем было в газетах, — начал художник.

— Нет, нет, пожалуйста, не отказывайтесь. Иногда маленькая деталь...

Чезаре беспокойно оглянулся. Леа опять мучительно морщила лоб, и знакомая тревога исказила ее лицо, только что бывшее веселым и любопытным. Профессор заметил колебание Чезаре.

— Может быть, наш разговор неинтересен дамам? Пусть они меня простят, что я оторву вас на полчаса...

— Я не слыхала о вас в составе Анкарского института, — внезапно сказала Сандра.

— Может быть, — покровительственно ответил

гость, — я только недавно туда прикомандирован. А кого же вы там знаете? — насмешка вопроса была так замаскирована добродушным тоном, что только тонкая Сандра смогла ее почувствовать и слегка покраснела.

— Прежде всего директора института Сетона Ллойда, бывшего архитектора, строителя Нью-Дели.

Профессор не моргнул бровью, но к Сандре пришло ощущение, что он внутренне сжался, словно кошка перед прыжком.

— Я и не думал, что встречу собрата в лице столь очаровательной дамы, — любезность археолога была ледяной.

Сандра собралась что-то ответить, но уловила просительный взгляд Чезаре. Художник указывал глазами на Леа. Сандра поняла и придумала предлог, чтобы увести ее к себе.

Профессор Дерагази удобно устроился на диване и протянул Чезаре пеструю коробку, наполненную странными длинными сигаретами с голубоватым табаком. Чезаре заметил на пальце гостя платиновое кольцо с плоским камнем, на котором выделялся темный крест.

— Только слыхал об александрийских, а пробовать не приходилось, — сказал художник, осторожно беря душистую сигарету.

— Это не александрийская. Новый сорт, турецкий, на основе янтарных табаков сорта «Кара-Даниз».

— Вы, я вижу, знаток табака?

— Курение — моя слабость. Зато совершенно не пристрастен к алкоголю. Но я не буду затягивать своего позднего визита, хотя бы из благодарности за вашу любезность.

Профессор задал несколько вопросов, делая короткие, видимо стенографические, заметки в сафьяновой записной книжке. Археолог оказался более осведомленным, чем предполагал Чезаре. Видимо, в газетах были опубликованы интервью с полицейской охраной или моряками сторожевого судна. Профессор знал о существовании жернова — опознавательного знака, но, когда Чезаре вытащил снимок Леа в короне, который он прятал по совету врачей от своей подруги, археолог потерял свое деловое равнодушие.

— Вы позволите мне переснять? — спросил Дерагази, вытаскивая крохотный аппарат, размером с зажигалку.

— Не трудитесь, у меня есть еще, — Чезаре протянул снимок, и ученый рассыпался в благодарностях.

Спрятав фотоаппарат, профессор зажег новую голубую сигарету. Внезапно в нем произошла перемена. Он нагнулся вперед и вперил в художника пронзительный взгляд. «Будто психиатр или гипнотизер», — подумал Чезаре.

— Господин Пирелли, я хочу сделать вам совершенно конфиденциальное предложение. Вы можете рассчитывать на абсолютную тайну с нашей стороны!

— Я не вижу в этом необходимости.

— Видите ли, я убежден, что корона не скатилась в пучину, как вы рассказывали чиновникам и газетчикам. Ваши слова о том, что вы не отдали бы находку жадной полиции, — о, как понимаю вас! — свидетельствуют о некой возможности... — профессор сделал выжидательную паузу.

Чезаре молчал.

— Если эта возможность действительно реальна, то я... мы готовы идти на любые жертвы в интересах науки. Я уполномочен заплатить вам за корону десять тысяч фунтов, то есть тридцать тысяч долларов. Постойте, вам не понадобится даже самому спускаться. Найдутся водолазы, мы обеспечим судно. Вы будете только наблюдать и указывать. Чек получите сразу же на борту, после подъема короны. И полная тайна!

Чезаре охватило волнение. Вероятно, находка Леа действительно имеет для науки большую ценность, если за нее хотят заплатить такую громадную сумму. И, может быть, это последняя возможность снова извлечь странную драгоценность из небытия? И тогда установить причину болезни Леа? Он заколебался.

Необъяснимое сомнение предостерегало его от согласия. Потому ли, что странный профессор не походил на составленное Чезаре представление об ученых? Каменная твердость лица и скрытая внутренняя суровость не вязались со свободной и приветливой учтивостью хорошо воспитанного человека. Не слишком ли хорошо воспитанного для профессионального ученого, обычно в увлечении своей работой забывающего о светских манерах? Вдруг археолог — полицейский провокатор? Или авантюрист, который пообещает хоть сто тысяч, а потом, когда поднимут корону, даст фальшивый чек или попросту столкнет с судна ночью? Надо быть опытным жуликом,

чтобы вести подобные дела, а для обычного человека единственное оружие — осторожность!

Археолог угадал колебание художника.

— Мы могли бы заплатить пятьдесят тысяч долларов, — значительно сказал он.

Чезаре покачал головой.

— Я отдал бы корону науке за гораздо меньшую сумму. Если бы мог достать ее. Это не в моих возможностях.

Гнетущая злоба мелькнула в упорных глазах профессора Дерагази. Легкая судорога свела тонкие губы, чтобы через секунду превратиться в добродушную усмешку.

— Я вижу, вы не доверяете мне. Ваше право, не будучи археологом, откуда вам меня знать. Но я мог бы представить гарантии, наконец, условленная сумма могла бы быть передана третьему лицу.

— Почему бы вам не поискать самому, то есть я имею в виду ваш институт, — сказал Чезаре, тщательно подбирая слова. — За пять тысяч долларов вы обшарите все корабли и можете опуститься поглубже, в ту пучину, куда скатилась корона.

Археолог поднялся с легкостью спортсмена, медленно закрыл коробку с сигаретами, постучав квадратным концом пальца по ее крышке.

— Синьор Пирелли, если бы я не был уверен, что вы сумели спрятать корону, я был бы не здесь, а на месте находки.

Чезаре пожал плечами.

— Надеюсь, что вы обдумаете наше предложение как следует. Я буду здесь еще несколько дней, — он вытащил карточку, написал на ней название лучшей гостиницы и номер телефона. — И, разумеется, я прошу, — он нажал на слово «прошу», — о полной конфиденциальности. Здесь никто не должен знать о моем предложении. Лучше, чтобы о нем не знали и ваша жена, и ее подруга!

Приказательный тон профессора возмутил Чезаре:

— Позвольте мне самому решать, как обойтись с вашими пожеланиями!

— О, конечно! Это только совет. Но я должен иметь некоторую уверенность в вашей... хм, скромности. Поэтому разрешите предупредить вас, что если наша беседа попадет в печать, то в ответ последуют очень неприятные для вас выступления прессы. Заверяю вас, что обладаю большими возможностями в этом отношении.

Чезаре указал наглецу на дверь. Тот, нимало не смутившись, поклонился, положил карточку на стол и вышел не оглядываясь.

Сандра и Леа нашли разозленного Чезаре шагавшим по номеру из угла в угол.

— Какой чудесный табак! Пахнет всеми ароматами Востока! — воскликнула Леа.

— Гость оказался пахнущим куда хуже, — проворчал Чезаре.

— Мне он сразу не понравился, — сказала Сандра. — Он не похож на археолога. Одни его претенциозные испанские бачки! И слишком хорошо одет!

— Не понимаю, Чезаре, почему ты стал справочником потонувших кораблей?

— Я объяснял тебе, дорогая, что произошла путаница. Газеты напечатали про какую-то другую итальянскую яхту, а тут мы пришли в Кейптаун, и корреспонденты не разобрались.

— Путаница, путаница, — запела Леа и подошла к радиоприемнику.

— Это насчет короны, Чезаре? — шепнула Сандра.

Чезаре утвердительно кивнул и стал рассказывать о странном посещении, поглядывая на Леа.

— О чем вы секретничаете с Сандрой? — спросила Леа. — Я включила хорошую песенку, слышите: про Алабаму, только на этом непонятном африкаансе. Давайте потанцуем? Так о чем же вы шепчетесь?

— Никакого секрета! Сандра интересовалась моим гостем. Он произвел на нее впечатление.

— И на меня тоже. Он прекрасно говорит по-итальянски — только с твердым акцентом, как у испанца.

— Он так взглянул на меня, что в душе что-то подалось, — призналась Сандра. — Мы, женщины, должны победить тысячелетия подчиненности мужчине, привычки видеть в нем владыку мира.

— Тогда идем в кино. В двух шагах отсюда. Новый фильм «Теруэльские любовники» с русской «звездой» Людмилой Чериной. И пусть он забудет свою Зизи Жанмер! Черина играет какую-то одалиску, я видела на рекламе, — подсмеивалась Леа, и Чезаре готов был идти куда угодно, лишь бы сохранить хорошее настроение Леа и отвести ее мысли от визита странного турецкого археолога.

Профессор Ван-Хепен против обыкновения не вызвал двух своих ассистентов и не предложил какие-нибудь новые обследования. Угрюмый бур огромного роста, с заостренной бородой, с медлительными и точными движениями, профессор сегодня был необыкновенно любезен. Ласково усадив Леа в мягкое кресло в глубине кабинета, он предложил Чезаре едкую маленькую сигару. Художник после такого приема не стал ждать ничего хорошего и не ошибся.

— Ваша жена — трудный орешек, — начал профессор, — уже целую неделю я бился, стараясь разгадать ее странную амнезию.

Образно говоря, у нее будто иссекли небольшой участок совершенно здорового мозга, не нарушив ничего остального. Я изучил все известные в литературе случаи психических поражений при глубинном опьянении и при кислородном отравлении — ничего похожего. Можно думать, что случайный газовый пузырек дал эмболию капилляра где-нибудь в заднем отделе больших полушарий. Но другие симптомы говорят против этого, да и такая эмболия должна бы была уже ликвидироваться. Но нет ни малейшего признака восстановления, поразительная стабильность. Короче, я не могу установить природы заболевания и, следовательно, бессилен лечить его.

Одна из медсестер, полуитальянка, всегда помогавшая профессору при обследовании Леа, старательно перевела его слова.

Художник бросил раскуривать мерзкую сигару, спросил:

— Может быть, профессор посоветует, к кому обратиться в Европе?

— Конечно, мои коллеги... — профессор назвал несколько имен. — Но не советую вам очень надеяться. Исходя из общего уровня современной науки, я могу сказать, что она не знает природы заболеваний такого характера и тем более их лечение. Если бы взглянуть совсем со стороны, пользуясь кибернетикой. Или обратиться к совершенно другому направлению, например индийской психологической науке, к йогам... Простите меня, я понимаю, что вам не до шуток. О нет, вопрос о гонораре, разумеется, отпадает. Очень виноват! Желаю вашей очаровательной маленькой жене выздороветь... без нас, врачей.

Леа вприпрыжку спускалась по мраморной лестнице института, целуя Чезаре на каждой площадке.

— Чему ты радуешься, дурочка! Доктора нас прогнали...

— И слава мадонне! Слушай, Чезаре, а что, если мы поедем в Индию? Пусть меня в самом деле лечат йоги или тибетские врачи. Говорила я тебе, что совсем не больна, ну, просто что-то забыла.

— До Индии далеко и дорого.

— А мы пошлем каблограмму капитану Каллегари. Пусть приезжает в Индию. У него наши алмазы...

— Ш-ш! Замолчи! — Художник в испуге оглянулся. — Подумаем в гостинице, возьмем справочники.

— Чезаре, я знала, что ты согласишься, — Леа повисла у него на шее, к негодованию накрахмаленной медсестры, поднимавшейся им навстречу.

Чезаре не успел опомниться, как Леа стремглав пронеслась вниз, к Сандре, ожидавшей их в холле.

— Профессор нас прогнал, ура! И мы едем в Индию!

Сандра растерянно посмотрела вверх по лестнице на Чезаре. Тот, улыбаясь, развел руками.

— И Сандра поедет с нами! — не успокаивалась Леа. — Завтра же! Бежим на почтамт посылать каблограмму Каллегари.

— Да объясните же хоть вы, Чезаре, — рассердилась Сандра. — Леа, ну, она уж такая...

— Сумасшедшая, — докончила Леа, — профессор это подтвердил, и теперь я могу делать что хочу. И ничего мне не будет. Вот дерну за нос этого надутого господина!

«Надутый господин», кого-то ожидавший в холле, с удовольствием посмотрел на озорную, горевшую румянцем Леа и красивую Сандру.

— Поедемте с нами, — предложил Чезаре, в свою очередь, и с несвойственным ему смущением добавил: — Я к вам привязался, как к сестре. А Леа — вы сами знаете! Да что там говорить, берите сигарету, думайте и соглашайтесь. Я должен закурить! После ужасной отравы — профессорского угощения — во рту смолокуренный завод. Совсем не то, что вчерашнего профессора с голубыми сигаретами.

Сандра, волнуясь, закурила, смяла и бросила сигарету.

— Знаете, я поеду с вами. Спасибо!

Леа кинулась к подруге, покрыла ее поцелуями, растрепала. Сандра крепко пожала руку художника.

Они вернулись в отель только к вечеру. Сандра стояла под душем, когда в дверь ее номера постучал Чезаре и попросил впустить его на минутку. Сандра завернулась в халат и с мокрыми волосами выбежала из ванной. Чезаре запер дверь и потащил Сандру к окну, задернутому шторой.

— У нас был обыск! — встревоженно сообщил Чезаре. — Странно, что добрались до нас только теперь.

— Что-нибудь пропало?

— Пропало! Пленка со снимками Леа в короне и все отпечатки. Теперь нет никакого следа находки. Только в нашей памяти.

— Знаете, Чезаре, мне кажется, что это дело рук вашего нового знакомца.

— Профессора из Турции? Зачем ему пленка, если я отдал хороший снимок?

— А может быть, ему нужны увеличения? Трудно разгадать истинные намерения, когда не знаешь побудительной причины. Вы сами говорили, что он ушел с угрозой. Неизвестно еще, кто он на самом деле. Капитан Каллегари мне рассказывал, что в Танжере, международном воровском центре, британский паспорт стоит всего пятьдесят фунтов, а американский и совсем пустяки — двадцать.

— Ну ладно, что поделаешь. Ясно, что надо удирать отсюда, пока целы. Алмазы, корона, таинственные незнакомцы. Пора! Надо уметь вовремя уйти со сцены. Идите к нам скорее!

— Я только оденусь.

— ...Есть постоянная линия с хорошими пароходами — Кейптаун — Бомбей — четыре с половиной тысячи миль. Можно добираться через Аден. Тоже есть линия, — сообщила Сандра, перелистав красочные проспекты и толстый справочник. — Раз в две недели. О несчастье, позавчера ушел теплоход на Бомбей! А вот примечание, что в осеннее время линия на Аден по особому расписанию. Неужто сидеть здесь еще две недели?

— А самолеты?

— С самолетами тут что-то сложное. Надо лететь в Иоганнесбург, оттуда или в Каир, или опять же на Аден и Карачи. Обойдется в огромную сумму.

Сандра обернулась на прикосновение руки Леа.

— Испытаем счастье, а? Мое счастье? Давайте позвоним в порт! — Леа сняла трубку и подала ее Сандре.

Та довольно долго ждала ответа. Брови Сандры поднялись от удивления, она переспросила:

— Завтра? Завтра? — и повесила трубку.

— Ну что? — не вытерпела Леа.

— В порту французский теплоход, направляющийся в Бомбей. Отходит на рассвете. Есть места, и в дешевом туристском классе, — Сандра взглянула на часы, — десять часов до его отхода. Поехали?

Леа вскочила.

— Едем немедленно!

Пассажиры двадцатитысячетонного черного с белым теплохода «Шалимар» крепко спали, когда он покинул Кейптаун. Сандра, Леа и Чезаре стояли у поручней, ежась от предутреннего ветра, и, не отрываясь, смотрели на амфитеатр города, в котором пришлось пережить так много за короткий срок.

— Вы не сетуете, Сандра, что мы потащили вас с собой, навстречу неизвестности? — спросил Чезаре девушку, задумавшуюся и грустную.

— О нет! Я благодарна вам. И ни о чем не жалею, поверьте. Мне хорошо с вами, так хорошо, потому что я всегда чувствую за спиной дружескую готовность к помощи. Я очень много думала в нашем долгом путешествии. Теперь я знаю, насколько мы все одиноки в жизни. Надо быть друзьями, надо всегда чувствовать вокруг себя дружеское участие, уверенность в помощи, ежедневную духовную связь, общение, деловую поддержку. Даже если захочется уединиться. Тогда появляется большая внутренняя сила, смелость, сознание своего единства с хорошими людьми.

И думается, почему бы людям не создавать дружеских союзов взаимопомощи, верных, стойких и добрых? Вроде древнего рыцарства, что ли, не знаю, как уж назвать. Насколько стало бы легче жить. А дряни, мелким и крупным фашистикам, отравляющим жизнь, пришлось бы плохо.

— Отличная мысль, Сандра! Пока составим втроем наш рыцарский орден.

— И включим сюда дядю Каллегари, — предложила Леа.

— И лейтенанта Андреа, когда он вернется! — сказал Чезаре.

Кейптаун исчез за береговым выступом. Ветер донес на палубу вопль электропоезда, и Сандра зябко вздрогнула.

— Пора в каюту, ветер уже совсем не тот, с каким мы пришли сюда на «Аквиле», — предложила Леа.

— И мы не те, — отозвалась Сандра, — после всего мы стали серьезнее, и суровей, и... может быть, лучше.

Конец второй части

ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ

ТОРЖЕСТВО ТИГРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ДАР АЛТАЯ

ебе телеграмма, — величественная, серебряно-седая женщина подала голубоватую бумажку молодому человеку, только что вошедшему и склонившемуся к ней с нежным поцелуем. Тот перервал заклейку пальцем и обрадовался.

— Мама, завтра приезжает Леонид Кириллович! Я пойду встречать. Может быть, уговорю остановиться у нас.

— В прошлый раз это тебе не удалось.

— Он сказал, к нему всегда ходит много народу и он боится тебя обеспокоить.

— И полно, чего это он? Люди моего поколения умеют никому не мешать, не в пример вам, молодежи...

— Знаю, мама, и признаю. Но согласись, что это в какой-то мере зависит и от вас — ведь не на пустом же месте вырастает новое?

— Знаешь, Мстислав, я много думаю над этим теперь, когда... несколько обеспокоена тобой.

— А, понимаю! Не сыскал подругу жизни, одинок и все такое!

— Слава, я серьезно. Знаешь, я даже думала уехать на время... в Симферополь, к старым друзьям. Оставшись один, ты скорее займешься собой. Все твои сверстники давно женаты, имеют детей.

— А сколько уже успело развестись, женившись по первой прихоти, очертя голову?

— Что ж, геологи в большинстве случаев женаты на своих коллекторшах. Что, они все развелись, по-твоему? Скольких я знаю, живут хорошо, как все... Тебе все время попадались плохие коллекторши?

— Да нет, обыкновенные. А мне хочется особенную.

Мстислав, отдав земной поклон, ловил руку матери, полушутя, полусерьезно стараясь поцеловать ее.

— Перестанешь ты когда-нибудь быть мальчишкой? Такой же, как отец... — Она погладила мягкие светлые волосы сына, зачесанные на косой пробор. Он во всем копировал покойного отца. — Иди умывайся, я покормлю тебя. — И, слегка оттолкнув сына, мать ушла в кухню, служившую столовой их маленькой квартирки в недавно перестроенном старом доме.

— Мама, я сегодня видел Глеба, — рассказывал сын за чаем, — у него опять приключение.

— У твоего Сугорина вечно что-нибудь интересное. Всегда так у минералогов, или это специальная привилегия музея Горного института?

— Пожалуй, специальная, потому что к ним тащат находки со всех сторон и стран.

— Так что же Сугорин?

— Его в числе других специалистов пригласили в Эрмитаж. Вот по какому поводу: еще в сорок втором году бомба попала в бывший особняк князя Витгенштейна. Взрыв разворотил стену, а в ней оказался секретный сейф с драгоценностями. Ну, девчонки МПВО... Не хмурься, мама, девушки собрали и отнесли в штаб, а оттуда передали в Эрмитаж как старинные вещи. В Эрмитаже все оценили и сдали, а несколько старых украшений оставили. Среди них какие-то странные серые с металлическими искорками камни в тонкой платиновой оправе. Тогда никто не смог их определить и, следовательно, оценить, и теперь вспомнили. Вызвали минералогов, и оказалось, что это новый, неизвестный науке минерал, нигде не описанный. Возьмут его в музей, будут определять рентгеном кристаллографическую решетку. Ну, разве не интересно? Новые минералы в ювелирных украшениях, да еще в тайном сейфе, случайно раскрытом бомбой, а он мог столетия остаться неразысканным. Как в романе о сокровищах магараджей!

— Конечно же, как в твоей любимой Индии. Факиры, танцовщицы, подземелья и тигры, вся экзотика прошлого века. Скоро тебя туда пошлют, и выветрится твоя ребяческая фантазия. А жаль! И я буду, конечно, скучать, не на сезон ведь, а дольше, год или два...

— Ты привыкла, жена геолога и мать геолога!

— Глупый мой, никогда любящее сердце не привыкнет! Только научится терпеть и ждать.

Мстислав Ивернев явился заранее на Московский вокзал, встретить своего учителя, профессора Андреева. Андреев не приехал. Ивернев долго топтался на перроне, присматриваясь ко всем выходившим из вагонов, и заметил стройную девушку с чемоданом в руке, растерянно озиравшуюся. Поезд опустел, самые медлительные пассажиры вяло плелись по платформе. Огорченно пожав плечами, Ивернев направился в вокзал. Девушка с чемоданом стояла возле одного из чугунных столбов, подпиравших крышу платформы. Во всей ее ладной фигуре чувствовалась такая беспомощность, что Ивернев подумал, не следует ли ему предложить свою помощь.

Вдруг девушка сама обратилась к нему, порозовев от смущения и чуть запинаясь:

— Скажите, здесь нет другого места, где могли бы стоять встречающие? Я не могла разминуться?

— Нет. Или на платформе, или вот тут на ступенях за решеткой. Больше негде. Можно посмотреть еще в вокзале, хотя нелепо ждать там. Но все же посмотрим, давайте ваш чемодан.

— Он не тяжелый! Пожалуйста.

Чем больше присматривался Ивернев к незнакомке, тем сильнее росло в душе радостное ожидание чего-то необычайного. Иверневу всегда нравились темноволосые, а девушка была золотистой блондинкой. Ее короткие волосы лежали плотно и гладко, как у брюнетки, зачесанные косой челкой на широкий и гладкий лоб. Темные брови взмывали вверх, к вискам, над яркими карими глазами, а полные губы были накрашены розовой помадой. В едва заметно запавших щеках узкого к подбородку лица проступала аскетическая или, может быть, усталая нотка.

Девушка несла свой фиолетово-серый итальянский плащ не на руке, а перекинув через плечо.

— Вы тоже кого-то встречали? — спросила она, когда они вошли под высокие своды вокзала.

— Да, должен был приехать мой учитель, профессор. Не могу понять, что могло с ним случиться.

— А я приехала на каникулы к тете. В первый раз

в Ленинграде. И вот тетя не встретила, теперь это уже ясно. Буду добираться сама.

— У вас есть ее адрес?

— Проспект Щорса.

— Это на Петроградской стороне. Поедемте, я довезу вас. Мне на Васильевский, по дороге.

— Если по дороге, спасибо. Что очень кстати, — и девушка вдруг улыбнулась, совсем изменившись. Сдернулось покрывало внешней деловой независимости, и она стала мечтательная, ласковая и грустная.

Ивернев повел свою спутницу направо, к стоянке такси.

— Почему так кстати? — спросил он, усаживаясь и захлопывая дверцу.

Девушка не краснела, а слабо розовела смущаясь.

— У меня денег едва ли хватило бы на такси.

— Студентка?

— Да.

— Раз уж так случилось, давайте познакомимся! Ивернев, Мстислав Максимилианович, потомственный геолог, ленинградец — тоже потомственный. Можно просто Мстислав, имя и отчество у меня такие, спотыкательные.

— Черных, Наталья Павловна.

— Сибирячка, разумеется?

— С Алтая. Будущий педагог.

Оба замолчали, украдкой разглядывая друг друга и немного смущаясь.

Машина свернула с Большого проспекта в узкий переулок и выехала к коленчатому изгибу проспекта Щорса.

Внимание Ивернева привлек дом цвета серого гранита с огромным барельефом посредине фасада. Полуобнаженная женская фигура держала гирлянду в раскинутых руках. Сосредоточенное лицо и прекрасное тело были высечены искусным скульптором. «Странно, я никогда не замечал здесь этого барельефа», — подумал Ивернев и решил, что если девушка направится в этот интересный старый дом, то...

— Здесь, тетя мне описала примету! — воскликнула девушка, и ее слова прозвучали для Ивернева как обещание. — Квартира на третьем этаже, значит, я дома. Большое вам спасибо! — Проворно выпрыгнув из машины, она улыбнулась благодарно и чуточку грустно.

— Погодите, Наталья Павловна! А вдруг тети нет дома или она куда-нибудь уехала? Почему она не встретила вас? Что вы будете делать с вашим чемоданом?.. Поднимитесь-ка налегке, а я подожду в машине!

— Право, это лишнее, куда могла деваться тетя Маруся? Но, пожалуй, дольше рассуждать, я сбегаю...

Она быстро простучала высокими каблуками по тротуару и исчезла в темном парадном. Ивернев проводил ее взглядом, думая, что он не может так просто с ней расстаться. Он пригласит ее к себе, познакомит с мамой. Она приехала в отпуск, а у него до отъезда в экспедицию еще много времени. Он будет показывать ей Ленинград, родной и всегда новый, всегда таящий про запас нежданную радость архитектуры, искусства или просто дуновения широкого ветра на могучей холодной Неве!

Ивернев закурил, предложил папиросу водителю.

Она появилась с опущенной головой. Пятна румянца горели на щеках. Виновато взглянула на Ивернева и смущенно сказала:

— Простите, я задержала вас. Такая неприятность: у тети заболел кто-то из родственников в Пскове, я их не знаю. Она уехала к ним, не оставив адреса. Соседи говорят, что она послала мне телеграмму и была уверена, что я не приеду. Может быть, телеграмма потерялась, в общежитии это бывает...

— Что же вы собираетесь делать? У вас есть еще кто-нибудь в Ленинграде?

— Никого. Я пойду в здешний педагогический институт, в общежитие. Студенты всегда выручат. Переночую, достану денег и уеду назад в Москву... Придется отложить знакомство с Ленинградом до будущего года.

— Но ведь ваша тетя вернется когда-нибудь?

— Когда-нибудь, конечно! Но я не знаю срока... неделя или месяц... Еще раз спасибо, пожалуйста, плащ и чемодан!

Ивернев вдруг заволновался, покраснел и вышел из машины.

— Послушайте, Наталья Павловна, почему бы вам не поехать ко мне? Да погодите вы, эка женщины!.. Сразу воображать бог знает что... Я живу с мамой в двухкомнатной квартире. Разместимся, мама устроит. А там и тетя ваша приедет! Решено? — Он распахнул дверцу машины.

Девушка исподлобья изучала его лицо, глубоко

вздохнула, словно собралась броситься в воду, и вдруг протянула руку.

— Только с одним условием. Считайте, что мы не решили еще окончательно. Я увижу вашу маму и тогда... тогда, пожалуйста, не уговаривайте меня, я уйду в общежитие, ну, посижу для приличия, конечно.

— Мало ли что может вам показаться... — начал Ивернев.

— Покажется или не покажется, надо решать мне... Принимаете условие?

— А что мне еще остается делать? — вдруг развел руками Ивернев с такой непосредственной мальчишеской усмешкой, что оба расхохотались.

Машина понеслась по Большому проспекту и выехала на мост.

— Вот это Васильевский остров, издавна обиталище студентов, ученых, художников и моряков, — пояснил Ивернев, — я живу на шестнадцатой линии. Линия — это не улица, а только одна сторона улицы.

— Еще интересней. В самом деле, вот десятая и одиннадцатая, а улица одна.

Евгения Сергеевна откровенно изумилась, когда сын ввел в переднюю красивую незнакомую девушку. Не дослушав слегка смущенные объяснения сына, она сказала:

— Все уже понятно. Нужен приют. Предлагается три варианта. Первый — наша гостья, простите, как вас зовут? Слава не догадался представить.

— Наталья, просто — Тата.

— Тата помещается со мной. Второй — у соседей наверху, Монастыревых, сейчас свободна комната, можно поместить Тату туда. Третий вариант — к Монастыревым перебираешься ты, а Тата занимает твою комнату. Я думаю, — продолжала мать, — удобнее всего именно третий вариант.

Тата вздохнула и, прищурив глаза, улыбнулась Иверневу — он выиграл.

Спускаясь по утрам к себе, Ивернев с несказанным удовольствием видел Тату, тщательно причесанную и одетую, деловито хлопочущую с завтраком или беседующую с матерью. Теперь Ивернев редко задерживался на работе и с нетерпением дожидался воскресенья. Совмест-

ная поездка за город или долгая дневная прогулка по Ленинграду стали для него такой же необходимостью, как и ежевечерние разговоры на набережной Невы. Тата оказалась ярым фотографом и обладательницей дорогого аппарата «Старт» со светосильным объективом. Она рассказала, что получила аппарат в премию от журнала «Советское фото» на конкурсе жанрового снимка. Вдвоем они устроили фотолабораторию в стенном шкафу. Днем Тата помогала Евгении Сергеевне по хозяйству, успевая что-то шить, стирать и убирать до блеска квартиру.

Через неделю после приезда Тата поехала на Петроградскую сторону и там узнала, что тетя Маруся задержится в Пскове еще не меньше чем на месяц. Вечером она заявила, что ей пора уезжать. Сын с матерью стали уговаривать ее в один голос.

— Мама привязалась к вам, — говорил Ивернев. — Знаете, как она вас прозвала между нами? Дар Алтая!

— Мстислав! Как тебе не стыдно, болтушка! — укорила его мать.

— О нет! Как бы мне хотелось на самом деле быть даром кому-нибудь, для чего-нибудь, — губы Таты задрожали, и ее всегда пристальные и блестящие глаза наполнились слезами. — На самом же деле я просто неудачница!

— Полно, девочка! Жизнь еще только начата, и сколько еще впереди удач и неудач. Сколько вам лет, Тата? И что за неудачи?

— Двадцать пять! А неудачи всю жизнь. Рано потеряла отца, хотелось писать, стать актрисой — не хватило таланта или настойчивости. В институт поступила поздно и к педагогике тоже не чувствую себя способной.

— Ну вот, а моему Мстиславу тридцать два, и он еще твердо уверен, что натворит множество дел и совершит кучу открытий. Я говорила, что у вас золотые руки, а я человек старого закала и впустую не скажу.

Евгения Сергеевна погладила девушку по голове и щеке. Та прижала ее руку к губам, потом, спохватившись, вытерла платком пятнышко губной помады.

— Экие вы теперь неудобные, — шутливо подосадовала Евгения Сергеевна, — около вас, будто у выбеленной печки. Я все не соберусь спросить, кто ваш отец, Тата? Еще с первого раза, как назвали себя Татой, я удивилась потому, что это очень по-ленинградски, так

же как и Туся. В деревне и в Москве назовут Наташей, Талкой, Алкой, а на юге Натой...

Тата вздохнула и устремила взгляд на портрет Ивернева-отца. Они сидели на диване в маленькой комнате, заставленной легкой ампирной мебелью и застланной серым с черными лилиями французским ковром. Мстислав расположился напротив, прямо на ковре, подогнув под себя ноги.

— Должна сознаться, что я скрыла от вас одно обстоятельство. Мой отец — объездчик чулышманских лесов Павел Яковлевич Черных работал вместе с Максимилианом Федоровичем, служил ему и проводником и конюхом.

— Что же вы молчали! — укоряюще воскликнули хором мать и сын.

— Мне думалось, что если бы я сразу сказала, то воспользовалась бы памятью отца и Максимилиана Федоровича, на что не имею никакого права. Отец погиб, когда мне было четыре года, и я только из рассказов мамы знала о том замечательном инженере, с которым отец еще холостым ходил в двадцатых годах по Алтаю и в Монголию, на Эктаг-Алтай. Мама говорила, что отец вспоминал о Максимилиане Федоровиче, заявлял, что лучше его он не встречал человека, и все мечтал снова походить с ним по тайге и степи.

— Последние годы муж сам не ездил, а только консультировал. А умер в блокаду, в сорок втором, когда Мстиславу было двенадцать лет. Нас увезли на Урал едва живых.

— Рассказы мамы с детства так увлекли меня, что инженер Ивернев стал для меня почти сказочной фигурой. Все, что встречалось хорошего в людях, я считала похожим на него. Я мечтала написать пьесу о Максимилиане Иверневе, а потом сыграть, создать образ его жены.

Растроганные мать и сын переглянулись.

Евгения Сергеевна спросила:

— Зачем же вы затаились?

— Представляете, что было со мной, когда Мстислав назвал себя. Я чуть не крикнула: не может быть! Такие совпадения бывают лишь в книгах!

— Уверяю вас, что в жизни гораздо чаще встречается невозможное, чем в книгах. Писатели боятся, что их обвинят в грубой выдумке! Сочинительство стало не модным.

Требуется правда жизни, а эта правда получается неверной, потому что жизнь осторожности не знает!

— И вы забросили намерение писать пьесу? — спросил Мстислав.

— Во-первых, я еще не умею писать пьесы, а во-вторых, я так мало знаю о вашем отце. Может быть, у вас, Евгения Сергеевна, сохранились какие-нибудь фотографии, записи?

— Разумеется, сохранились. Все это принадлежит Мстиславу, хранится у него. Мне стыдно за сына, по-моему, он заглядывал в архив отца всего один раз!

— Неправда, мама! Я перечитал его последние путевые впечатления, а вот записи и бумаги его молодого, до революции, показались мне запретными. Я как-то оробел вторгнуться в священное для меня с детства, показался себе еще слишком молодым для этого!

— Напрасно. В 1916 году, когда твой отец женился, ему было тридцать два года, так же как сейчас тебе.

— Вы говорите о путевых дневниках? — спросила Тата. — Но разве эти дневники составляют личную собственность? Мне кажется... я слыхала, что их хранят где-то в архиве?

— Совершенно верно! Все научные дневники отца, вся документация проведенных им исследований хранится в Геологическом фонде. А у нас в семье осталось только то, что можно назвать личными дневниками или записками: встречи, лирические впечатления, переписка с друзьями.

— Теперь понимаю. Как раз то, что наиболее важно для понимания личности исследователя. Вы когда-нибудь покажете мне, Мстислав, то, что сочтете возможным?

— Охотно! Но прежде мы должны отпраздновать такое необычайное совпадение! И дважды! Во-первых, семейным пирогом с мясом, лучше мамы его никто не делает! Затем мы с Татой пойдем куда-нибудь потанцевать и выпить вина. Например, в «Асторию», в «Европейскую». Мама, точно староверка, не выносит никакой выпивки у себя дома.

— Я тоже не люблю, — отозвалась Тата. — Разве немного в компании. Но я грешна, когда волнуюсь, позволяю себе покурить... Может быть, сейчас мне дадут папиросу и мы пойдем в кухню?

— Вы не ответили насчет проекта отпраздновать.

— Согласна, только не в ближайшие два дня. Я долж-

на получить стипендию и еще перевод за снимки, принятые в журналы. Тогда я смогу надеть что-нибудь более приличное для тех роскошных мест, куда вы собираетесь меня повести.

Воспользовавшись отсутствием гостьи, мать и сын говорили с откровенностью, принятой с младенческих лет Мстислава.

— И что же ты мне скажешь, мама? — спросил Мстислав, сидевший в любимой позе на ковре.

— Только то, что я рада! Очень рада, Мстислав!

— Что только, мама?

— Видишь ли... Я еще не видела девушки, у которой бы так спорилась работа по дому, которая умела бы так вкусно готовить, умно покупать, умело шить, знала бы такое множество разных вещей. И ты мне рассказывал, что, когда вы ездили с ней на Карельский, что она хорошо плавает, бегает, кажется, водит машину. При всех достоинствах и очень незаурядной внешности Тата так скромна и сдержанна, что я, признаться, думаю, не тяготит ли ее тайное горе, неудачный роман. Такая девушка не могла остаться вне поля зрения вашего предприимчивого пола. Если я права, то как ты отнесешься к этому, — задай себе вопрос заранее, до того, как ты объяснишься с ней!

— Я уже думал, мудрая моя мама! Кстати, я намерен объясниться сегодня, мы впервые идем с Татой покутить. Она поехала за вечерним платьем, что-то купила, где-то переделала. Посмотрим ее нарядную.

— Давно хотелось. А то у бедняжки юбка, да кофта, да одно платьишко — видно, жизнь нелегкая. Сколько раз думала подарить ей, да боялась обидеть. И так старается все отдать нам за то, что приютили...

На звук открываемого замка мать и сын вышли в прихожую.

Тата с большим пакетом, в неизменном итальянском плаще, слегка спрыснутая дождем, засмеялась своим тихим коротким смешком.

— Все готово!

Она долго пробыла у себя в комнате и вышла, опустив глаза. Мстислав и Евгения Сергеевна дружно ахнули. Хорошенькая Тата превратилась в красавицу, в которой заострилось и сделалось подчеркнутым все привлекатель-

ное. Как все женщины с большим вкусом, строгим изяществом и умом, Тата не следовала рабски моде и никогда не выглядела чуть комически, какой кажется даже очень красивая, но слишком модно одетая женщина. Это Мстислав отметил с огромным удовольствием, вспомнив разочарование, испытанное в Москве два года назад, где он случайно оказался во время кинофестиваля и увидел Джину Лоллобриджиду, исказившую свою всему миру известную красоту нелепой прической и неизящным платьем.

Прическа Таты была той же, что и всегда, только очень тщательно уложенной и пышной. Фиолетовое с розовым оттенком, очень чистого цвета платье из блестящей тафты туго обтягивало стройную фигуру. Открытые плечи изменили привычный облик девушки, сделали ее лицо вдохновенно-серьезным, почти суровым. Несимметричный вырез низко спускался на левую грудь, обегая обнаженную руку. Только здесь, над грудью, единственное украшение оттеняло простоту чистого цвета и плавных линий платья. Вышитый золотом китайский дракон широко разевал пасть, прильнувшую к обнаженной коже девушки, внося ноту недоброй дисгармонии. Ни одного украшения, кроме обычного платинового кольца с невзрачным камнем, которое Тата носила не снимая.

— Приговор, высокоуважаемые судьи!

— Ошеломлен! Нет слов. Ушла милая студентка, явилась королева, гордая и даже чуточку недобрая. Не подготовился. а потому сражен наповал. Молю о пощаде у ног прекрасной дамы и сейчас буду читать Блока.

Тата чуть покраснела и перевела взгляд на Евгению Сергеевну.

— Уймите Мстислава, Евгения Сергеевна! Я хочу знать правду, серьезно!

— Совершенно серьезно — Мстислав ошеломлен. И я, признаться, тоже. Где, в каком комиссионном вам удалось найти эту вышивку, такое платье? Вы великолепны, Тата, настолько, что я начинаю думать, годится ли неумелый геолог сопровождать такую даму.

— Что вы, Евгения Сергеевна! — расхохоталась Тата.

— Смотри, теперь ты знаешь, на что идешь! — шутливо сказала мать, и смысл ее слов был ясен Мстиславу, как продолжение их разговора.

Они сидели за маленьким столиком далеко от оркестра. Тата, розовая от вина и танцев, положила руку на

пальцы Мстислава, слабо двигавшиеся в такт ритмическим синкопам.

— Вам хорошо, Мстислав?

— Очень! С вами! И я считал себя неплохим танцором, но вы... Скажите, есть что-нибудь, что вы делаете плохо?

— Зачем вы так идеализируете меня, Мстислав, и ваша мама тоже? Это налагает на меня обязательства, которых я выполнить не могу.

— Кто говорит об обязательствах? Довольно быть такой серьезной, милая, — Ивернев чуть запнулся за последнем слове, смутился и спросил: — Я давно хотел спросить, зачем вы носите это кольцо? — Он приподнял ее руку и чуть повернул к свету. Небольшой камень, плоско отшлифованный в форме квадрата с закругленными углами, блеснул, и в глубине его замерцал косой крест. Тата вздрогнула и убрала руку.

— Никогда не видел эти камни, вделанные в кольца, — продолжал геолог, пожав плечами.

— А вы знаете, что это за камень?

— Конечно. Любой минералог вам скажет, что это хиастолит, разрезанный поперек главной оптической оси. Только он дает такую любопытную игру на свет — концентрические кольца и крест. Он вам не идет, всему вашему облику, вот почему я спросил вас о кольце.

— Это подарок, и носить я его обещала, — глухо сказала Тата.

Ее слова укололи геолога.

— Я не расспрашиваю, если вы находите нужным умолчать о чем-либо.

— О, я не собираюсь умалчивать! Может быть, это смешно, но была большая школьная дружба. Можно, если хотите, назвать это детской любовью. Его семья была родом из Свердловска, и это кольцо как-то связано с семейной историей, его надо было носить всегда. И мы поклялись быть вместе потом, после школы, а он разбился на мотоцикле, едва получив аттестат. Но клятва осталась, и я ношу это мрачное кольцо. Но если оно вам так не нравится... — Она с усилием сорвала кольцо, опустила в сумочку и посмотрела покорно и ласково.

— Может быть, хватит этого, Тата? — Ивернев кивнул головой на шумящий зал.

— Я только что собиралась попросить вас. Пойдемте погуляем.

У Невы, блестевшей полированной сталью, они оказались среди целого шествия влюбленных пар. Ивернев повел Тату через мост Шмидта, мимо египетских сфинксов, к Университетской набережной. Вода тихо плескалась внизу, на каменных ступенях. Тата села на гранитный барьер. В странном освещении белой ночи ее фиолетовое платье потемнело, так же как и глаза, ставшие непроницаемыми. Снова повторялась сказка, случавшаяся уже с миллионами влюбленных на набережных Невы в белые ленинградские ночи. Девушки и женщины превращались в принцесс и волшебниц, заставляя мужчин склоняться перед ними.

Иверневу было совершенно все равно — был ли он первым или сто миллионов сто тысяч первым в числе плененных белыми ночами. Дважды в этот день девушка, которую он полюбил, восхитительно менялась.

— Тата...

Она стремительно обернулась к нему...

...Маленькая компания друзей собралась отпраздновать помолвку Ивернева и Таты Черных.

Тата, как ни хотелось Иверневу, отказалась надеть свое «королевское» платье, объясняя, что нельзя хозяйке принимать гостей чересчур нарядной — вдруг гостьи придут одетые скромно. Она оказалась права — жены его закадычных друзей Сугорина и Солтамурада Бехоева явились в легких пестреньких платьях.

— Удивил, удивил! — восклицал Солтамурад, поводя угольно-черными бровями. — Скажи, пожалуйста, наш тихоня и холостяк. Такая девушка, ай-яй! Одобряем, правда, Глеб?

— Глеб-то одобрит, вы лучше спросите нас, — вмешалась жена Сугорина, веселая молодая женщина с монгольскими чертами лица.

— Спрашиваю! — вскричал Бехоев.

— Мы скажем по секрету самой Тате, нечего вас баловать! А ты что молчишь, Глеб? Влюбился? Не позволю! Отправляйся скорей в поле, там я присмотрю за тобой.

— Ишь ты! — рассмеялся Глеб, поднимая бокал. — За дар Алтая!

— Кто вам выдал тайну? — спросила Тата.

— Вот это и есть тайна! — отозвался минералог.

После ужина хозяева и гости мгновенно убрали посуду и расселись с папиросами у настежь раскрытого окна

кухни. Евгению Сергеевну посадили поодаль, хотя она уверяла, что иногда любит побыть в накуренном воздухе.

— Напоминает молодость, — сказала она, — но я жду! Или для сегодняшнего торжества изменим старому обычаю? У нас принято, — пояснила она сидевшей с ней рядом Тате, — когда собираемся, рассказывать новости науки. Ведь вся среда кругом ученая, хоть и разных наук, — добавила она чуть извиняющимся тоном.

— Что вы, Евгения Сергеевна, надо и мне просвещаться. Хорошо, если бы разговор велся популярно!

— Об этом не беспокойтесь. Я тут самая малограмотная, но и мне почти все понятно, — уверила его жена Солтамурада, такая же, как муж, узколицая смуглянка.

— Во всяком случае, это хороший обычай, — твердо сказала Ивернева. — Куда как лучше, чем дикая традиция, распространившаяся в последнее время среди ленинградской молодежи, таскаться друг к другу с подарками по любому пустячному поводу. Тебе приносят бесполезные вещи, и ты должен носиться по магазинам, как угорелый, стараясь найти подарок пооригинальнее. А ничего оригинального-то в этом нет. Персидские нравы, которые кто-то удумал возродить на советской почве. Глупо! Но моя молодежь не следует моде. Вот и ты, Тата, осталась без подарков, только цветы и вино...

— У меня, как на грех, для такого исторического, легендарного вечера ничего, — начал Сугорин. — Правда, два-три интересных минерала поступили в музей, да вот еще великолепнейший опал прислали из Забайкалья. Не уступит самым лучшим из Индии и Южной Америки. Вот такой, — он показал на пальцах кружок с голубиное яйцо.

— Постой-ка, Глеб! — сказал Ивернев. — Помнишь, месяца два назад ты говорил мне о серых камнях из княжеского сейфа?

— А, это! Действительно. Ничего не получилось! Камни украли!

— Что, как, где?! — наперебой воскликнули присутствующие.

— Из нашего музея. Из лаборатории. Крупная была неприятность. Кому и для какого черта, простите, Евгения Сергеевна, они понадобились? Мерзавец небось ткнулся туда-сюда к скупщикам и выбросил. Так и погибли для науки. Первый случай за двести пятьдесят лет

существования Горного института. И вор-то ничего не понимающий, рядом лежали куда более ценные вещи.

— А может быть, утащили просто потому, что были в лаборатории, а не в музее, украсть легче? — спросил Ивернев.

— Никуда не годится наш минералог, — начал Бехоев, — интересного нет, а было — так украли. Плохо двигают науку геологи. То ли дело мы, гуманитарщики!

Тата оцепенело уставилась на Сугорина. Она так задумалась, что вздрогнула, когда Евгения Сергеевна прикоснулась к ее плечу и сказала:

— Послушаем, чем похвастают гуманитарщики.

— Мой учитель Павел Архильевич, — чеченец назвал знаменитого индолога профессора Муравьева, — поручил мне разобраться у него в личном архиве. Это громадное хранилище! Две комнаты в его квартире уставлены шкафами от потолка до пола. А высота потолков пять метров...

— Да ты не увлекайся потолками, — заметил Сугорин. — Переходи к шкафам, Солтамурад. Давай суть дела!

— Помолчи, пожалуйста, прошу! Зачем поручил мне профессор Муравьев рыться в его архиве? Да потому, что прочитал в газетах — сначала коротенько в европейских, а потом получил из Южной Африки — там уже все подробности. Какие-то итальянцы-киноактеры, путешествовавшие на собственной яхте «Аквила» у берегов Южной Африки, нашли под водой целый флот судов античного типа, погибших в незапамятные времена. Ученые высказывались в газетах по-разному, но когда мой старик натолкнулся на заявление какого-то иоганнесбургского историка, что найденные остатки флота не что иное, как пропавший без вести флот Александра Македонского, то пришел в раж.

— Ого! Вот это интересно! — воскликнул Ивернев.

— Да разве это интересно? Дело в том, что итальянцы подняли с самого большого корабля черную корону, украшенную драгоценными камнями. Случайно или нет, корона снова упала в воду и погибла безвозвратно. Итальянцев даже обвиняли, что они нарочно утопили находку, которую хотела отобрать полиция.

— Невероятно! Наверно, газетная утка! — нервно воскликнула Тата.

— Может быть, и утка! — согласился Бехоев — Но суть дела, как любит говорить наш точный Глеб, не в

этом. Профессор Муравьев вспомнил, что очень давно, еще до революции, он разбирал частную коллекцию индийских рукописей одного германского исследователя, кажется, Кейзерлинга. Не помню точно и не ручаюсь за правильность фамилии.

— Не все ли равно, какая фамилия! Давай дальше,— подогнал друга Сугорин.

— Ага, пробрало каменную душу! Погоди, то ли еще будет. В этой коллекции была санскритская рукопись примерно начала нашей эры с легендой об Александре Македонском. Как известно, легенд об Александре множество, существовал даже сборник их в виде эллинистического романа. Первый в истории роман приключений, не дошедший до нас полностью. Индийская легенда не была пересказом или вариантом известных историй, она говорила о таком моменте жизни Александра, какой не был затронут античными преданиями. Павел Архильевич заинтересовался, переписал рукопись и увез в Россию, чтобы на досуге перевести легенду и опубликовать. Первая мировая война, в которой он участвовал добровольцем, затем революция, гражданская война, большая работа по восстановлению науки. Короче, профессор забыл о своем намерении, и копия рукописи очутилась, как говорят, в долгом ящике его громадного архива. И действительно, я перерыл уже четыре шкафа и только вчера нашел ее. Теперь старик хочет выполнить стародавнее желание — перевести ее и опубликовать, а в кейптаунскую газету послать статью. Потому что в ней тоже есть черная корона! — с торжеством выкрикнул Солтамурад и сделал паузу, обводя взглядом присутствующих.

— Так что же вы нас томите? — упрекнула Бехоева Евгения Сергеевна.

— Знаю только то, что рассказывал профессор. Рукопись-то еще не переведена. Так вот, как известно, Александр вторгся в Индию, выдержал два больших сражения, одно проиграл, но в общем-то вся Индия лежала перед ним открытая. И тем не менее он повернул назад, ушел в свою новую столицу в Вавилоне, где скоро умер. Историки объясняют это усталостью армии, находившейся на грани бунта, ранением самого Александра в голову при штурме крепости в среднеазиатском походе и еще разными причинами. Легенды дают более поэтическую версию о тоске Александра по морю. Завоеватель якобы

всегда мечтал об острове, «лежащем на море шумно широком, в гремящем прибое», как говорит Гомер об острове Фаросе. В таком месте мечтал Александр кончить свои дни, а не в знойных равнинах Месопотамии или еще более жаркой долине Инда... Но индийская легенда рассказывает, что Александр, перейдя Инд и решив дойти до сердца Индии — Декана, наткнулся на развалины очень древнего города. Интересно, что эта часть легенды совпадает с наличием в долине Инда остатков протоиндийской цивилизации, родственной критской и относящейся ко второму-третьему тысячелетию до нашей эры.

— Бог мой, какая невозможная древность! — вырвалось у Евгении Сергеевны.

Бехоев довольно усмехнулся, наслаждаясь интересом своих слушателей.

— Среди развалин уцелел незапамятной древности храм. Несколько жрецов жили в нем среди населенной львами пустыни, охраняя священную реликвию прошлого — черную корону царей исчезнувшего народа. Тех времен, когда людьми правили боги или герои, происшедшие от союза смертных женщин с небожителями. Существовало предание, что, если человек божественного происхождения наденет эту корону и выйдет в ней на свет полуденного солнца, его ум обострится волшебным образом, и он, познав сущее и вспомнив прошедшее, приобретет равную богам силу. Но если корону наденет простой смертный — горе ему! — он лишится памяти и станет, как младенец, игрушкой в руках судьбы и людей. Александр слышал это предание и потребовал от жрецов корону. Те сначала отказали ему, завоеватель пригрозил разобрать храм по камешку и все равно найти укрытое сокровище. Жрецы предупредили царя, что только дитя богов может безнаказанно надеть черную корону, но Александр рассмеялся. Версия о его божественном происхождении от союза его матери Олимпиады с Дионисом, вначале сочиненная его матерью, ненавидевшей отца Александра, хромого Филиппа, с годами приобрела силу факта. И Александр, без сомнения, сам верил. Без колебания он вошел в святилище храма, где жрецы окурили его дымом священного дерева и увенчали черной короной. Александр вышел на залитые солнцем ступени и, гордо оглядевшись, стал ожидать нисхождения божественной силы. Вдруг великий завоеватель пошатнулся, его заго-

релое лицо побелело, и он грохнулся на ступени, покатившись вниз, на песок. Едва соратники подняли своего полководца, тот очнулся, но тут обнаружилось, что он забыл все, о чем думал и чем жил в последнее время. Память Александра сохранилась для прошлого. Легенда говорит о том, что царь излечился от тоски по Элладе и от любви к Таис — знаменитой греческой гетере, сопровождавшей царя в его походах. Освирепевшие воины, обвиняя жрецов в том, что они нарочно погубили полководца, истребили их, а корона попала в личную сокровищницу Александра. Главное же в том, что Александр забыл, зачем он пришел в Индию, забыл свои планы на будущее и повернул войско назад. Вернувшись в Вавилон, царь заболел лихорадкой и скоро умер. Вот и вся легенда.

— Очень занятно, — первым заговорил Сугорин. — Но какая тут связь с находкой итальянцев у Южной Африки? Что-то не понимаю.

— Конечно, дорогой. Так и должно быть, надо знать историю. Она говорит, что, когда Александр умирал в Вавилоне, при нем были его приближенные, иначе диадохи: Птолемей, Селевк, Неарх и другие. Обратите внимание — Неарх. При разделе царств Неарх — один из сверстников Александра, рожденный в горах Крита, молчаливый воин и непобедимый пловец — унаследовал флот, тот самый огромный флот с тысячами людей, который был подготовлен по мысли Александра для колонизации аравийских земель. Флот исчез, отправившись неизвестно куда, исчез и Неарх. Теперь сделайте лишь одно допущение, что черную корону из сокровищницы Александра взял Неарх, что тогда?

— Ого! — воскликнул Ивернев.

— Конечно, здесь не одно, а два допущения, что уже хуже, — не сдавался Сугорин. — Что флот, обнаруженный у берегов Южной Африки, есть флот Неарха и что именно Неарх взял корону.

— Правильно! Но разве ничего не говорит то совпадение, что на главном корабле находят корону? Больше того, легенда почти никому не известна, а выходит, что черная корона существует, и, следовательно, еще один миф становится реальностью. Впрочем, мы уже привыкли к тому, что считавшееся сказками в прошлых веках подтверждается точными исследованиями нашего времени. Но это еще не все. Кейптаунские газеты, главным

образом «Аргус», сообщили, что итальянская женщина с яхты, нашедшая корону и надевавшая ее, была поражена неясным психическим заболеванием, которое врачи приписали слишком глубокому погружению с аквалангом!

Слушатели, включая Сугорина, разразились аплодисментами.

— Ну, уважил, Солтамурад! — Евгения Сергеевна стала обмахиваться. — Даже жарко стало. Лучшая история из всех, какую я от вас слышала.

— Если только это хоть наполовину правда! — процедил Сугорин.

— Все равно, дорогой, скажи по совести, стоило рыться в архиве?

— Безусловно! — признался минералог.

— Ну, если сознался, тогда иди в наказание за угощением.

Глеб попросил сумку и послушно вышел. Остальные сидели, задумавшись над рассказом индолога. Звонок телефона прервал их размышления.

— Междугородная, — сказала Евгения Сергеевна. — Возьми трубку, Мстислав. Это, конечно, тебя вызывает Москва.

Мстислав услышал мощный голос профессора Андреева. Его поздравления услышали все присутствующие.

— Полагается свадебный подарок, — зычно прервал благодарность Ивернева профессор, — спешу поднести! Вчера обсуждали кандидатуры для поездки в Индию. Консультации исследований кристаллических пород древнего щита... — Леонид Кириллович выдержал паузу. — Ваша поездка решена единогласно! Скоро вызовут для оформления. Невеста пусть не горюет, приедет к вам после, когда вы исхлопочете ей паспорт. Пока вы у нас ходите в холостяках! Ну, очень рад! Очень! Дай-ка мне дражайшую Евгению Сергеевну, расспрошу немного об избраннице. Жму руку, Мстислав!

— Одну минуту, Леонид Кириллович! — заторопился Ивернев. — Знаете, что встречей с моей Татой, чудеснейшей девушкой на свете, я обязан вам?.. Очень просто. Помните, месяца два назад вы хотели приехать в Ленинград и даже прислали мне телеграмму, а потом, видимо, раздумали? Я ездил встречать вас на вокзал и там случайно познакомился с Татой. Поэтому сейчас будет тост за вас, как за посаженого отца и доброго гения!

— Постой, молодой человек, тут что-то не так! Влюбился — и в голове туман! Никакой телеграммы я не присылал, ехать не собирался!

— Ничего не понимаю, Леонид Кириллович! Телеграмма была мне и подписана вами, только с профессором, а не просто, как вы всегда пишете.

— Сохранили ее?

— Боюсь, что нет!

— Жаль. Чья-нибудь шутка, нашей, здешней молодежи. Глуповато, ничего не скажешь! Попробую выяснить и оторву голову... Ну, давайте маму!

Взволнованный Ивернев отдал трубку матери и поспешил сообщить новость. Тут только он заметил, как побледнела Тата. Он подумал, что мысль о близкой разлуке расстроила ее. Он поспешил ее утешить, уверяя, что они расстанутся на срок не больший, чем если бы Ивернев уехал в обычную экспедицию. Зато потом совместное путешествие по Индии! Что можно желать лучшего в первый же год брака?

Тата слушала, вцепившись в его руку и не отрывая своего взгляда, темного и почему-то показавшегося Иверневу трагическим.

Ивернев стоял посреди своего номера в гостинице «Турист», не снимая мокрого плаща и уставив в пространство невидящий взгляд. Телеграмма, до боли зажатая в пальцах, была от матери. «Мстислав несчастье ушла Тата ничего не понимаю приезжай». Ивернев встряхнул головой, провел рукой по лбу. Выпил воды. «На субботу назначена регистрация нашего брака... Нет, не может быть! С Татой что-то случилось... Но ведь мама так и говорит — ушла! Если бы исчезла! Фу, какое-то наваждение».

Ивернев заставил себя успокоиться и позвонил Андрееву. Извинившись, сообщил, что дома что-то случилось. Он немедленно вылетает в Ленинград и просит позвонить завтра в министерство и перенести прием на другой день.

Через несколько минут он мчался на такси в Шереметьево.

Евгения Сергеевна выбежала ему навстречу и вдруг показалась ему маленькой, беспомощной, постаревшей. Ивернев впервые видел свою мудрую, спокойную мать

такой подавленной. Мучительная жалость сдавила ему горло. Он не смог произнести ни слова и только молча стоял, вопросительно глядя на нее.

— А Тата... ушла во вторник, и я сразу же дала тебе телеграмму. Как только нашла записку, — Евгения Сергеевна протянула сыну лист из большого блокнота, исписанный крупным, ровным почерком Таты.

«Простите меня, простите! Евгения Сергеевна, дорогая, бесконечно милая и добрая, объясните Мстиславу, что я скверная, что я поступаю недостойно, но иначе я не могу. Не ищите меня. Через несколько часов я буду далеко и никогда не вернусь сюда, где мне было дано узнать двух чудесных людей — вас и Мстислава. Оба вы приняли меня сразу всей душой, и я... я наношу вам такую обиду и причиняю страдания. Эта мысль ужасно мучит меня, не дает покоя. Если можете, то простите и позвольте поцеловать на прощание вашу ласковую руку и... — тут что-то было тщательно зачеркнуто, потом более неровными буквами приписано: — и поцелуйте Мстислава за меня, если можете. Прощайте. Тата».

Ивернев несколько раз перечел лист бумаги, разрушивший одним махом его счастье, все планы его жизни.

— Тут что-то не так, — хрипло выдавил он из себя.

— Что же заставило ее убежать, как воровку, боясь прямого и открытого признания?..

— Не надо, мама! Как можем мы судить? Надо знать все обстоятельства!

— Нет таких обстоятельств, чтобы скрыть правду от тех, кого любишь!

— А как же святая материнская ложь? Легенда о белом покрывале? Как судить только от себя, со своей стороны, если все в мире имеет две?

— Как ты любишь ее, Мстислав!

— Люблю, но не думай, что я готов ее оправдывать только поэтому. Я обвиняю Тату, но не выношу окончательного приговора, который принесет или прощение, или отравит всякое воспоминание о том, что было.

— Ты никогда не вынесешь его! Ты ее не увидишь больше и ничего не узнаешь.

— Редко бывает, чтобы поступок остался нераскрытым. Рано или поздно... Да довольно об этом. Ты очень страдаешь, моя родная? Поедем завтра в Москву. Тебе будет тяжело здесь одной.

Телефонный звонок заставил обоих вздрогнуть. Надежда, мелькнувшая было на лицах Евгении Сергеевны и Мстислава, погасла.

Говорил Солтамурад:

— Плохие новости. Евгения Сергеевна, плохое дело!

— Что такое, милый? У нас тоже плохо в доме!

— Несчастье с Мстиславом?!

— Нет, Мстислав приехал, он здесь. Я позову.

— Погодите, какая такая беда?

— Солтамурад, от нас ушла Тата!

— Не может быть! Как так?.. Ай-яй!.. Я позвоню после. Успеется!

Мстислав взял у матери трубку.

— Нет уж, говори, Солтамурад!

— А, ты, дорогой! Как же так?.. Знаешь, что получилось у меня? Пожар на квартире у Муравьева! Загорелось в кабинете, говорят, от старых проводов.

— Ущерб большой?

— Очень! Часть рукописей сгорела, другую залили водой. Письменный стол тоже загорелся, и погибла копия легенды, которую мы начали переводить, все погибло, нет ни листка. Старик в больнице, с горя хватил инфаркт. Я у него каждый день, а надо ехать в Москву. Встретимся в Москве.

— Мы туда поедем с мамой завтра, ищи нас у Андреева. Хорошо?

— Договорились, дорогой. Прощай пока!

ГЛАВА ВТОРАЯ

КОЛЬЦО С ХИАСТОЛИТОМ

— Итак, Мстислав, когда поедешь на юг Индии, не забудь про чарнокиты. Если повезет, то наша наука сможет сделать немалый подарок индийским друзьям. Докажем идентичность чарнокитовых массивов Гондванского щита в Южной Африке и в Индии, что поведет, возможно, к обнаружению алмазоносных зон. Мне кажется, что общий размыв древнейших толщ в Индии был менее глубок, чем в Африке, — это раз. Далее, зоны с алмазоносными трубами прорыва в Индии залегают или в областях с обильной растительностью, или прикрыты обширными покровами базальтов в сухих районах Деканского плато. Прогнозируй, соображай, а кроме того, помогай во всем. Воспитанник Ленинградского горного института, ты хорошо квалифицирован в минералогии, а это основа всей практики.

Ивернев слушал, делая время от времени заметки в полевой книжке, переплетенной в серый холст. Кончив наставления, профессор Андреев задумался, откинувшись в кресле. Ивернев закурил, рассматривая орнамент на громадном, во всю стену, китайском ковре, потом спросил:

— О чем это вы, Леонид Кириллович?

— Грустно сделалось. Когда-то, в твои годы, я пробовал представить себе, будет ли такое время, что я не смогу ехать в экспедицию?

— Разве вы не можете ехать?

— Могу, только никогда не ездил, чтобы не работать в полную силу. Мои помощники, от главного геолога до проводника, всегда говорили: «С вами хоть на край света, хоть в саму преисподнюю». Почему? Медом по губам не мазал, уговаривать да льстить не мастер, требовал суро-

во. А потому, что всегда считал, что у начальника не только голова должна соображать, этого мало. Начальник — тот, кто в трудные моменты не только наравне, а впереди всех. Первое плечо под застрявшую машину — начальника, первый в ледяную воду — начальник, первая лодка через порог — начальника; потому-то он и начальник, что ум, мужество, сила, здоровье позволяют быть впереди. А если не позволяют — нечего и браться.

— Не могу согласиться с вами, Леонид Кириллович! Если коллектив хороший, загорелся общей работой...

— А надолго этого горения хватит, если никто не будет вести? Нет, раз уж сердце сдало, не могу больше тащить лошадей на веревках по обрыву, гнать плот, рубить лес. Не могу! А думалось раньше, что так вот — раз, упаду и умру на леднике, в тайге или в пустыне. Почему-то больше хотелось в пустыне, чтоб сложили товарищи каменный холм, и он служил бы ориентиром для таких же, как я, исследователей земли. Знаешь стихотворение Марины Цветаевой про арабского коня? О легенде, что ежели такой конь больше бежать не может, то перекусывает на ходу себе жилу и умирает, истекая кровью...

— Да что это с вами, Леонид Кириллович, дорогой?

— Разве не видишь? Смерть как хочу поехать в Индию, а знаю, что жары там не выдержу, и вернут домой как бесполезный тюк.

— Ну и терминология у вас! Тюк... вьюк... каюк! — расхохотался Ивернев.

Леонид Кириллович посмотрел на ученика почти с негодованием, подумал и улыбнулся сам.

— Так уж от века идет. Сам такой был в молодости, тоже не верилось, что могу умереть. Не думал, что буду горько жалеть об упущенных возможностях, зная, что они более не представятся. А ежели представятся, то не будет сил.

— Я никогда еще не жалел об упущенном.

— Конечно. Потому, что впереди еще бесконечная дорога! Это и есть молодость. А вот когда придет время и поймешь, что ничего другого уже больше никогда не будет...

— Мне это трудно понять.

— И долго еще не поймешь. Ну ладно, бог с ними, с упущенными возможностями. Нет их, так есть неотлож-

пые дела! Кстати, нет ли в личных бумагах твоего отца каких-нибудь указаний на древние рудники в Средней или Центральной Азии?

— Как, и вы об этом!

— Что это с тобой? Нервы не в порядке? Комиссию проходил? Смотри не оконфузься с командировкой, дело ответственное. Помнится, ты путал что-то с моим приездом, мямлил по телефону чепуху.

— Ни при чем тут нервы! Дело в том, что вы уже второй человек, интересующийся личным архивом моего отца.

Настал черед насторожиться профессору.

— Собственно говоря, интересуюсь-то не я, черта мне в древних рудниках, это дело рудных поисковиков да еще археологов. Как раз тут объявился приезжий археолог, не то немец, не то турок из Анкарского археологического института. Был, между прочим, и у меня, откуда-то узнал, что я был учеником Максимилиана Федоровича. Помнится, твой отец описывал рудники трехтысячелетней давности где-то на границе с Афганистаном и с Ираном. Так этот профессор Вильфрид Дерагази...

— Как, как?

— Вильфрид Дерагази. Звучная такая фамилия, легко запоминается. Он рассказал мне о дравидийской культуре, распространившейся четыре тысячи лет назад из Индии в Западный Китай и в нашу Среднюю Азию. Есть такая культура Анау — названа по кишлаку близ Ашхабада, чем-то сверхзамечательная, но якобы у нас мало раскопанная, как сетовал турецкий профессор. Эта культура служит мостом между Индией и Критом, а тот, в свою очередь, с Северной Африкой. Ее признаки обнаружены в пустыне Сахара. Найдены удивительные по красоте маленькие скульптуры, рисунки, керамика. Институт хочет применить современные научные методы для прослеживания дальних связей и путей расселения — спектроскопические изотопные анализы металлов и минералов в украшениях и других предметах. Требуется всего по грамму от каждого образца. Профессор и собирает их по тем местам, где, предполагается, проходили древние связи. Интересно и дельно!

— Интересно-то интересно, — энергично раскуривая папиросу, заметил Ивернёв, — но почему-то Тата... моя

невеста, которая только что ушла от меня, очень интересовалась личным архивом отца.

— Что-о? Для какой цели? И кто она, собственно?

— Дочь одного из таежных спутников отца, был такой Павел Черных.

— Точно был?

— Не знаю. В голову не приходило проверить. Да и как это сделать?

— Попытаемся. Хотя... почему бы ему и не быть?

— Вы хотите сказать, что Тата... может быть, вовсе не Черных?

— Как я могу такое предположить? Тут уж ты сам должен определить, в чем дело. И что же интересовало твою Тату?

— Просто личность моего отца, его маршруты, детали, рисующие облик моего и ее отца.

— М-м... И давно она... гм... ушла?

— Несколько дней. Я был в Москве, когда мама мне телеграфировала.

— Кто знает, может, случайное совпадение? Скорее всего. Ну, пойдем пить чай, слышишь: Екатерина Алексеевна звякает чашками.

Ивернев продолжал сидеть в напряженном раздумье. Андреев встал, положил руку на его плечо.

— Пошли!

Ивернев поднялся, затем жестом остановил профессора.

— А на кого он похож, этот заграничный археолог?

— Красивый, довольно молодой. Мрачно красивый, что-то от киногероя, демоническое, сильное. Словом, примечательный человек. Он у меня ужинал и всех очаровал. Ритка повела его в Большой на балет и прямо в восторге от такого кавалера. Говорит, все девчонки глаза пялили на этого Дерагази.

— На каком языке говорит?

— С нами на любых трех, у нас принятых: английском, французском, немецком. Немного знает по-русски. Говорит, что владеет еще несколькими языками!

— Счастливый человек!

— Ну, ты изучил два, и куда лучше, чем я. Не способен есмь. — Профессор задумался и добавил: — А как одет этот турок! И еще мне бросилось в глаза у него кольцо с интересным камнем. Пожалуй, только геолог и может оценить выдумку. Представь себе, кристалл хиа-

столита разрезан поперек главной оптической оси, так что на свету дает...

— Серый крест!

— Ну, разумеется. Бог мой, ты побледнел как стена! Что это с тобой творится? Сядь!

Ивернев нетерпеливо топнул ногой.

— Леонид Кириллович, что же это такое? Тата, она... она постоянно носила такое же кольцо!

— Хо-хо!.. — Андреев сразу посуровел и даже взял папросу из портсигара Ивернева. Закурил, подумал, поискал что-то в записной книжке и снял телефонную трубку. — Совпадение или не совпадение, посмотрим. Мало ли что! Это профессор Андреев, геолог, мне надо посоветоваться по срочному делу, — продолжал он в трубку. — Нет, пусть лучше кто-нибудь от вас придет ко мне на дом или в институт. А я вам говорю, что лучше, у меня есть и своя голова на плечах! Хорошо, соедините меня с кем-нибудь постарше. Смотрите, будете отвечать! Так-то лучше!

Ивернев слушал отрывистый односторонний разговор, а в голове вертелись жалящие мысли: «Тата, Тата! Неужели?.. Дар Алтая... Зачем?»

— Товарищ подполковник, — продолжал Леонид Кириллович и вкратце рассказал о Дерагази и Тате. — Да, он еще здесь, приехал в научную командировку. Конечно, может быть, чистая случайность. — Леонид Кириллович облегченно и негромко рассмеялся. — Мой ученик? Здесь, да. Сейчас у меня. Через час будете? Очень хорошо, прямо к чаю.

Профессор повесил трубку и пристально посмотрел в лицо своему ученику.

— Понимаешь, Мстислав, это мы должны сообразить, зачем нужны сведения о твоем отце и какие сведения. Иначе кто же поймет? Как это хорошо получается в шпионских книжках: премудрый детектив садится, размышляет и ловит нить мотива. Да ведь сила врага в том и заключается, что ему уже сначала все ясно, а нам невдомек. Если есть вообще враг, а не выдумка от начала до конца, построенная на случайном совпадении.

— Совпадений-то два, — тихо и морщась, точно от боли, возразил Ивернев.

— Как так?

— Первое: два человека — обоих интересуют какие-то данные из неопубликованных, не маршрутных, а лич-

ных дневников отца. Второе: оба носят совершенно одинаковые кольца, каких мы ранее ни на ком другом не видели.

— Ишь ты! В самом деле! Так ты думаешь, что твоя Тата...

— Ничего я не думаю и не хочу думать! — резко воскликнул Ивернев.

— Думать придется, — со вздохом ответил Андреев. — Смерть как не люблю таких дел. Разом вспоминаешь, что, кроме земной коры, пустынь, лесов и гор, есть всякая гадость заугольная и подпольная. Ощущение, что ходишь по полу, а пол-то стоит на болоте и под ним что-то копошится.

— Ну, это вы уж чересчур, Леонид Кириллович. — Горькие морщины выдавали внутреннюю борьбу Ивернева.

— А вот и Каточек! — преувеличенно громко приветствовал Андреев входившую жену.

— Курил опять? — подозрительно спросила та. — А где же клятвы и решения?

— Да вот, понимаешь, Каточек, тут разволновался насчет Индии. Едет вот, — он кивнул на Ивернева.

— Ну и что? Мстислав — в Индию, Финогенов — в Африку, завтра еще кто-нибудь из твоих учеников отправится в Афганистан или Ирак. Тебе не придется папиросы из зубов выпускать...

— Нет, нет, согрешу разок и больше не буду! Как там насчет чаю? Сейчас придет один геолог, с Дальнего Востока.

— Кто такой?

— Ты не знаешь. Он геолог-эксплуатационник.

— Да, этих совсем не знаю. По-моему, скучный народ.

— Бывает, бывает. А где Ритка?

— Укатила в театр. С твоим турком. Он ей ответное приглашение сделал. И мне это не нравится, чертить крылом вокруг нее принялся. А Рита, знаешь, девчонка горячая, шальноватая, вся в отца!

— Благодарю вас! — Андреев низко поклонился. — Но вообще-то... конечно...

— Может, изъяснишься понятнее?

— Потом. Чуть-чуть повременим с чаем. Эксплуатационник будет с минуты на минуту.

После ухода «геолога с Дальнего Востока» Ивернев и Андреев еще посовещались в кабинете, но так ни к чему и не пришли.

— Останешься ночевать! — геолог поднялся. — Проветри как следует, накурил. Пойдем принесем постель.

— Не засну я, Леонид Кириллович!

— Постарайся! Впрочем, как знаешь. А мне надо выспаться, с утра важный совет. Значит, договорились. Дерагази приглашу, пока ты еще здесь, а «геолог» будет наведываться. Только как кольцо увидишь, чтоб ни сном, ни духом, а то он прав — спугнем. А Ритка пусть повертится у него под носом, может, он и с ней заведет разговор на ту же тему.

— А вы не боитесь за Риту?

— Девчонка она очень открытая. Я с ней поговорю, она мать не так слушает, как меня! Рискнем немного.

«Вот эта железная лестница, и она знак радости. И этот вечер самая хорошая и светлая радость», — думал Гирин, поднимаясь к Симе.

Сима встретила его в черном свитере и широкой серой юбке. Гирин стал расспрашивать о работе, о спорте. Сима вдруг разоткровенничалась и рассказала ему все о «халифе Гарун-аль-Рашиде» и его «великом визире». Удивительно наивную и добрую попытку найти свою собственную справедливость увидел Гирин в бесхитростном рассказе Симы. Она сидела против него, слегка смущенная, выпрямившись и положив на колени сцепленные руки, а ее громадные серые, широко открытые глаза смотрели прямо в лицо Гирину с доверчивой надеждой на одобрение. Нестерпимая, подступающая к горлу нежность проснулась в нем.

— Когда я слушаю вас, мне хочется стать верным телохранителем халифа, — вдруг сказал он.

Сима внезапно покраснела, вскочила и прошлась по комнате.

— Я ни разу не видел вас в брюках, — сказал Гирин, чтобы переменить тему. — Вы их не носите?

— Обычно нет.

— Почему?

— Они не годятся для моей фигуры, вот и свитер тоже не очень, — девушка покраснела еще больше. — Обязанность хозяйки — приготовить чай, — сказала она

свойственным ей полувопросительным, полуутверждающим тоном и вышла.

Гирин пересел к пианино, медленно перебирая пальцами клавиши. Их прохладное и гладкое прикосновение было приятно и немного грустно, как воспоминание о чем-то далеком и утраченном. Звонкой капелью с весенних берез начали падать звуки одной из любимых песен Гирина, прошедшей с ним по жизни. Сима вошла стремительно и присела на ручку кресла, совсем рядом с черной боковиной инструмента.

— Иван Родионович, — прошептала она, — еще. Я так люблю эту вещь.

Гирин повиновался. Сима сидела, как изваяние, пока не вспомнила про чайник.

Японская песня «Сказка осенней ночи», только дважды слышанная им по радио, врезалась в память Гирина, как все, что сильно нравилось ему. Прижимая обе педали, он старался извлечь звуки, похожие на звенящие протяжные ноты кото и семисена. Они взлетали печальными сумеречными птицами, метались над темными водами молчаливых озер и замирали, удаляясь в безграничную ночь. Эта картина рисовалась Гирину в звуках песни и размеренном медленном аккомпанементе. Негромко подпевая мелодию, Гирин не заметил, как снова появилась Сима.

— Мне кажется, что я давно знала и любила это, — задумчиво сказала она. — Может быть, потому, что здесь звучит наша женская печаль.

— Почему именно женская? Мне кажется, что и мужская тоска тоже сюда подходит.

— Нет, это женская, — уверенно заявила Сима. — Потому что женщины страдают больше. Нет, я не имею в виду обычное рождение детей. Мы психологически более ответственны за жизнь, чем мужчины, и эта ответственность на всю жизнь, она не снимается, а усиливается с любовью, стократно возрастает с рождением ребенка. Нет, я не совсем...

— Совсем! Вы, оказывается, думаете так же, как и я, а я ведь немало лет...

В комнату вихрем влетела Рита, такая красная от возбуждения, что даже веснушки совершенно исчезли. С мальчишеской улыбкой девушка была так очаровательна, что Гирин невольно залюбовался ею, и Рита, заметив это, смутилась.

— Сима, роднуля, великий мой халиф, спасай визиря! Он погиб!

— Что такое? — встревожилась ее подруга.

Рита в нерешительности посмотрела на Гирина, потом отчаянно тряхнула головой.

— Скажу все! Иван Родионович, он свой, поймет, а с тех пор, как вы... — Рита еще больше покраснела и внезапно выпалила: — Сима, я влюбилась!

— Зачем же трагический тон? Могу только поцеловать тебя и сказать: наконец-то!

— Ой, халиф, все очень скверно! Он иностранец и вообще мне не нравится!

— Опомнись, Маргарита! Что ты городишь! Влюбилась, а не нравится? Когда это случилось?

— Совсем на днях, и с тех пор я точно под гнетом. Когда мы вместе, стоит ему посмотреть, и я вся во власти его силы. Кажется, прикажи он, и я кошкой подползу и буду тереться о его ноги. Ужасно, так еще у меня не было. И главное, я еще не знаю, полюбила ли, а уже нет радости. Теперь понимаю то, что прежде казалось сантиментами. И я готова о всем забыть и боюсь его, боюсь сделать какую-нибудь ошибку, неверный жест, не то слово. Он ласково улыбается, а изнутри его точно смотрят недобрые глаза и следят, следят!

— Как-то нехорошо, девочка. Не понимаю. Кто он?

— Не скажу! Голова идет кругом. Вот так! — Рита бешено закружилась перед зеркалом, остановилась, притихла и села на винтовой стул перед пианино.

Сима и Гирин молча наблюдали за ней. Рита медленно коснулась рукой клавиш, взяла несколько нот и вдруг заиграла красивую тревожную мелодию, никогда не слышанную прежде Гириным. Он вопросительно посмотрел на Симу.

Тянется дорога, дорога, дорога,
Катятся колеса в веселую даль...
Что ж тогда на сердце такая тревога,
Что ж тогда на сердце такая печаль!

— Песенка шофера из бразильского кинофильма, — шепнула Сима.

Рита продолжала петь о спутнице, сидящей рядом, о том, что поворот сменяется поворотом, а далекая цель не показывается. Рита умолкла, опустив голову, и Гирину показалось, что на ее глаза, только что вызывающе блестящие, навернулись слезы.

— Ну, хорошо, мы все поняли, а теперь рассказывай. Кто он?

То, что Сима, не задумываясь, сказала «мы», а не «я», промелькнуло радостью в душе Гирина.

— Он профессор археологии из Анкары, зовут Вильфрид Дерагази.

— Постой чуточек. Из Анкары? Это из Турции? А что он делает здесь? В научной командировке?

— Да, да! Он приходил к папе. Я познакомилась с ним, была в театре два раза. Потом мы гуляли, потом ездили на машине просто так, по Москве катались, потом он хотел, чтобы я пошла в ресторан, а я не пошла, потом он у нас ужинал.

— И все?

— А что еще?

— Ну, говорил он тебе что-нибудь? Предлагал руку и сердце? Целовались?

— Говорил, ну, что в таких случаях говорится: я ему очень нравлюсь, и русские девушки вообще, а я из них самая лучшая, и что я такая веселая и спортивная, — он так и сказал — спортивная, что счастлив тот путешественник, исследователь, у которого я буду спутницей. И потом он поцеловал меня и... и еще раз... и еще раз...

Рита прикрыла ладонями запылавшие щеки.

— Несколько раз поцеловались, так, — деловито выспрашивала Сима, — и гуляли, и говорили, на каком, между прочим, языке?

— Французском.

Рита умоляюще посмотрела на подругу и уловила взгляд Гирина, глубокий, сосредоточенный, показавшийся девушке узким лучом напряженной мысли. Она вдруг встрепенулась и повернулась на винтовом стуле к доктору.

— Взгляните на меня еще раз так, — попросила Рита, — мне почему-то становится спокойней.

— Кажется, я начинаю понимать, в чем дело, — объявил Гирин.

— В чем? — одновременно воскликнули Рита и Сима.

— Не могу пока сказать, иначе могут быть нежелательные последствия. Скажите, вы бы не познакомили меня с вашим археологом?

Рита кивнула головой.

— Мы должны с ним пойти в Дом дружбы, он обе-

щал показать мне выставку фотографий какого-то своего знакомого.

— Ну, это самое лучшее. Дайте нам знать когда, и мы с Симой «случайно» вас там встретим. Только ему ни слова обо мне не говорите, особенно что я психолог. И старайтесь не смотреть ему в глаза, когда он говорит вам что-либо. Смотрите на его плечо, заставьте себя. Если он будет сердиться, повышать голос — не обращайте внимания.

Вильфрид Дерагази непринужденно сидел в удобном кресле одной из гостиных Дома дружбы. Как отлично воспитанный человек, он позволил себе лишь едва заметно разглядывать своих собеседников, пряча насмешливую искорку в своих глубоких темных глазах.

Рита сидела как на иголках, то заливаясь краской, то бледнея. На Гирина Дерагази почти не обращал внимания, следя сквозь голубой дымок египетской сигареты за Симой, которая с момента условленной встречи целиком захватила его внимание. Сима задавала вопрос за вопросом на своем медленном и слишком мягком английском языке. Гирин, внимательно следивший за всем, заметил, что и Сима, душевно куда более стойкая, чем Рита, постепенно подпадает под влияние притягательной личности археолога.

«Пора!» — решил он, собирая всю свою нервную силу для предстоящего поединка. Он знал уже, с кем имеет дело, но это не облегчало задачи.

— Скажите, уважаемый профессор, — обратился Гирин к Дерагази, выбрав момент, когда археолог ответил Симе на какой-то вопрос и устремил задумчивый взгляд на ее скрещенные в щиколотках ноги, — с каких пор в археологическом институте принято... — тут Гирин сделал нарочитую паузу и, устремив на лепной потолок безразличный взор, закончил: — обучение современным методам внушения? Или это в зависимости от личного дарования?

Сима и Рита, удивленные вопросом Гирина, увидели его поразительный эффект. Дерагази выпрямился в кресле, опустив сигарету и разом утратив свою изящную небрежность. Челюсти профессора сжались, ноздри раздулись, и он весь подался вперед. Гирин не дрогнув встретил его взгляд. Сима похолодела, увидев совсем нового, незнакомого ей человека, властного, приказывающего, почти торжествующего.

— Вы не ответили мне! — требовательно и раздельно сказал он.

— Что, я не понимаю вас? — резко спросил Дерагази.

— Нет, вы все прекрасно понимаете! Зачем вам это? Покорять женщин? Только? — отрывистые английские слова били точно ударами плетки.

— Нет! Нет! Нет! — это было сказано на неизвестном Гирину языке, но тот понял.

— Цель?! — еще более резко спрашивал Гирин. — Говорите!

Дерагази смертельно побледнел. Археолог уставился на Гирина, глубоко и медленно вдыхая воздух через раздутые ноздри. Его противник сидел спокойно, но окаменевшие мышцы шеи и напрягшиеся, точно для подъема тяжести, плечи выражали его усилия.

Сима и Рита как-то всей кожей чувствовали происходившую борьбу. Непривычное оцепенение сковало их, как будто перед ними происходило нечто ужасное. Сима со страхом заметила, как глубоко и сильно избороздился морщинами лоб Гирина. Она чувствовала, что ее друг близок к пределу чего-то, но что это было — Сима не понимала. Ее одолевало дикое желание закричать, и в то же время непонятная сила удерживала ее от этого. Рита закрыла глаза и все ниже опускала голову.

Тихий злобный стон прорвался сквозь стиснутые зубы Дерагази. Краска возвращалась на его лицо, дыхание сделалось незаметным. Бархатистые ресницы опустились, и тело обмякло. Археолог откинулся в кресле, но Гирин остался в прежней, окаменелой позе.

— Цель? — повторил он вопрос.

Любезная и вместе с тем жестокая усмешка раздвинула хорошо очерченные губы Дерагази.

— Власть! Отрада власти над человеком... женщиной, которая иначе бы не покорилась. Чувствовать ее гибким стебельком, а себя ветром свободным, могучим. Захотел — и она упала, захотел — и отбросил носком ботинка, захотел — и приползет на животе, целуя руки...

Легкая судорога отвращения тронула щеку Гирина. На одно лишь мгновение. Не отрывая взгляда от Дерагази, он погружал его, точно штык, в обмякшее тело своего противника.

— А еще? Наука — знаю! Женщины — тоже знаю! Но откуда приходит главное в вашем мире — деньги?

Откуда? Говорите! Только откровенно! Сядьте удобнее, курите, вы у доверенного, надежного человека.

Вильфрид Дерагази улыбнулся, и прежнее превосходство, казалось, вернулось к нему. Он извлек из очень плоского, полированного, точно зеркало, портсигара новую голубоватую сигарету, на этот раз не предлагая никому из присутствовавших. И стал говорить с той нагловатой откровенностью, свойственной преуспевающим дельцам в кругу своих людей, которых они считают менее способными и удачливыми.

— После войны мир очень изменился. Этого большинство людей еще не поняли. Они не видят, что жизнь закусила удила и понеслась стремительно, как необъезженная лошадь. Потому они еще верят в такие игрушки, как религия, мораль, долг, ждут чудес и тайно поклоняются фетишам любого вида. Чудаки наивно думают, что их государства всерьез позаботятся о них в трудный час, и умирают в бедности и одиночестве...

— Простите, — с подчеркнутой вежливостью перебил Гирин, — не совсем понимаю ваше предисловие.

— Сейчас все станет ясно. Успехи науки показывают, что она становится единственной реальной силой в судьбе человечества. Однако ученые неорганизованны и наивны. Власть находится в руках политиков, берущихся управлять не умея и потому громоздящих пирамиды ошибок и нелепостей. Усложняющаяся жизнь всего мира настойчиво требует прочности всех без исключения звеньев, чего политики достигнуть не могут. В результате ткань общественного устройства постоянно рвется. Люди становятся беззащитными жертвами неумелого и устарелого политического управления. Стремясь обеспечить устойчивость власти, политики организуют последовательную иерархию привилегий, очень похожую на иерархию бандитских шаек, замкнуто сужающих свои круги со все большими привилегиями для олигархической вершины. Образец гитлеровский рейх — типичная тирания политических бандитов, очень прочная, скрутившая весь германский народ стальной сетью террора, пыток и смерти. Но бандиты ударились в большую политику и по невежеству не сумели придумать ничего, кроме военной силы и массовых избиений. Естественно, они погибли скорее, чем могли бы, если бы действовали с умом.

— Не вижу никакой связи с вами в этой декларации,

не содержащей ничего нового и типичной для мышления осатанелого индивидуалиста.

— Превосходный термин! Осатанелый индивидуалист! О них-то сейчас и пойдет речь. Что же делать умному человеку, не верящему ни во что, кроме разума, и видящему, что всякая политика устарела, а до научного управления людям дальше, чем до Марса? Раньше попадете на Марс, наверное, вы, русские, но настоящему разумному человеку совершенно наплевать кто... Человек с увеличением населения все больше теряет свою индивидуальную ценность. Все труднее становится ему пробиться наверх через заборы и фильтры последовательной иерархии, в чем бы она ни выражалась. Справедливость существует только на очень узкой тропинке, по которой надлежит идти обычному человеку. Кругом беззаконие, и любой преступник чувствует себя увереннее и сильнее. Вы улавливаете мою мысль?

— Очень хорошо! Продолжайте, пожалуйста.

— Итак, что же делать человеку, у которого достаточно ума и других способностей, чтобы быть наверху, но вынужденному навсегда оставаться под пятой олигархии? Только одно: организоваться и построить свою шайку, без политики, без фетишей, без веры в глупости.

— То есть для того только, чтобы добыть достаточно денег?

— Очень точно! Но добывать деньги, нарушая законы, охраняющие собственность, опасно. Дело часто приходит к провалу, так как технические ошибки неизбежны.

— Как же быть?

— Необходимо, чтобы эти деньги вам платили, — Дерагази резко подчеркнул слово, — за определенные услуги. А услуги могут быть любыми, вплоть до любого преступления. Преступление получается безмотивным, а следовательно, практически неразгадываемым. Да, именно безмотивным. Гангстеры нашего типа не руководствуются политическими мотивами, не выполняют глупых шпионских поручений, которые стоят дорого, а дают в общем ничтожные результаты, и только тупость политиков мешает им это понять. На месте разведывательного управления Америки, которое тратит миллиарды долларов, чтобы вызнать секреты вашей науки и техники, я бы передал эти миллиарды американским ученым и уверен, что получил бы куда больший эффект. Но это не наставление для моего опытного коллеги.

И снова Сима заметила судорогу, пробежавшую по правой щеке Гирина.

— Продолжаю, — как ни в чем не бывало проговорил Дерагази, зажигая новую сигарету. — Сеть гангстерских шаек, тесно связанных между собой, проникает во все прорехи общественной постройки. Кому-то надо убрать мешающего человека? Отлично. Вносится сумма, дается команда — и мимолетный удар по виску, укол щепкой с кураре, а то и просто пинок под проходящий автомобиль и — готово. Сделает это человек, который совершенно не знает, кто, что и как... Надо утащить что-то? Где-то? Пожалуйста! Сделает это не вор, а человек, которого все считают честным. Надо заполучить красотку, ну, кроме разве самых знаменитых звезд, чтобы не поднималось большого скандала, и украдут, обучат нужному поведению в тайном публичном доме за тремя морями и шелковую передадут желающему. Все дело в цене! А платят, уверяю вас, крупно, да и в самом деле, что крохоборствовать тем, кто либо получит миллионы, либо имеет их по своему высокому положению. Людей, готовых на все за мало-мальскую сумму в твердой валюте, вы даже не можете себе представить, сколько их в мире, — миллионы. И эти миллионы — громадная сила, если умело и осторожно ее направлять! Итак, организация умных и деятельных людей в шайки есть единственная надежная возможность обеспечить сносное существование в нашем, идущем к большому упадку мире. Вы согласны со мной?

Гирин спросил:

— И вы, без сомнения, один из главарей?

— О нет! Я просто хорошо оплачиваемый за способности и знания агент. Иначе я утратил бы возможность научных занятий, а без этого жизнь мне неинтересна, даже с любым уровнем. Пусть уровень будет пониже, но зато больше свободы, не так ли?

— И с каким же поручением вы прибыли сюда?

Дерагази вздрогнул, бледнея, и бросил сигарету. Медленно, словно во сне, он стал выпрямлять спину, наклоняясь вперед.

— Разве вы не знаете, что никогда... никто не может... за вопрос — смерть!

— Нонсенс! — громко сказал, почти закричал Гирин. — Говорите!

Красивое лицо археолога страшно исказилось. В горле у него раздался не то хриплый вздох, не то стон.

— Здесь... пустяки, узнать... достать... камни... рудник... ваш геолог откуда взял... давно...

— Удалось?

— Только камни. Более ничего!

— Зачем камни? Какие?

— Не знаю! Откуда я знаю! Они знают зачем!

— Кто?

— Те, кто платит! Откуда я знаю? — Отчаянный вопль вырвался из груди Дерагази. И вдруг профессор закрыл глаза и мешком упал на пол, потеряв сознание.

Сима и Рита испуганно вскочили, беспомощно глядя на Гирина. Тот откинулся на спинку дивана, опустив руки. Через несколько секунд он поднялся, двигаясь, как в замедленном кинофильме, поднял археолога и водворил обратно в кресло. Тот послушно уселся с закрытыми глазами, не реагируя на изменение позы.

— Теперь вы увидите истинное отношение к вам, Рита! Следите за его лицом!

— Ой, не надо, Иван Родионович, страшно!

— Надо, Рита, — мягко и настойчиво сказал доктор, — тогда вы освободитесь, — и он повернулся к Дерагази.

— Вы слышите меня, профессор Дерагази? — с прежней металлической четкостью прозвучал вопрос Гирина.

— Слышу, — ответил археолог, не раскрывая век.

— Вы думаете сейчас о Рите, Рите, симпатичной девушке, бывшей вашей спутницей и гидом по Москве. И даже больше, чем просто спутницей.

Медленно открылись глаза археолога, невидящие, смотрящие куда-то вне людей и предметов. И вдруг Дерагази гнусно подмигнул, оскалив зубы в чувственной гримасе, цыкнул языком и расхохотался нагло и шумно, всхрапывая, точно жеребец.

— Спутница! Ха-ха-ха!.. Я бы эту спутницу... если бы не вынужденная осторожность в вашей опасной стране!

— Молчать! — грозно приказал Гирин. — Довольно! Сейчас вы возьмете свое пальто, сунете в карман портсигар и выйдете отсюда. Из подъезда пойдете налево и проснетесь через десять шагов по тротуару, забыв все, что произошло. Слышите меня, забыв все, что было! Вы здесь не были и ничего не помните!

— Слышу! — покорно отозвался Дерагази. — Я здесь не был и ничего не помню.

— Вставайте! — приказал Гирин. — Насчет Риты и Симы — запомните! — они вас совершенно не интересуют. Никакого интереса, никакого влечения!

— Никакого интереса, никакого влечения, — автоматически повторил Дерагази.

— Идите!

Профессор поднялся, сунул в карман портсигар, перекинул пальто через руку и, не сказав ни слова, вышел. Хлопнула дверь гостиной.

В комнате остался лишь чужой запах резких духов и сладкого табака.

— Теперь, Сима, мне бы чашку вашего чая, — глухо сказал Гирин.

Сима впервые увидела, как нервно вздрагивает эта большая рука, которую она уже знала такой спокойной, твердой.

— Садитесь, все кончилось... навсегда! — устало сказал он. — Вам, конечно, надо объяснение?

— О да, иначе я с ума сойду! — вся дрожа, умоляла Рита.

— Мы придаем слишком мало значения уменью внушать. Есть люди, обладающие врожденной способностью, пусть слабой, но тогда они разрабатывают ряд приемов для подчинения себе других. Я знал одну ученую женщину, заведовавшую лабораторией, привлекательную и развратную, которая умело использовала внушение для самых разных целей. Есть мужчины, специализирующиеся на покорении женщин при помощи того же внушения. Обычно используется прием мнимого чтения мыслей, чтобы выбрать наиболее поддающийся внушению объект.

— Как это мнимое чтение делается? — вскочила Рита. — Я спрашиваю потому, что Дерагази показывал нам чтение мыслей на картах.

— Заставлял притронуться к одной из карт и потом угадывал к какой? — спросил Гирин.

— Совершенно верно. Ему завязывали глаза и сажали спиной.

— Но он всегда спрашивал, кто притрагивается? И не всегда получалось?

— Вы как будто присутствовали!

— Так это очень просто. Дерагази внушал, что надо притронуться, скажем, к тузу пик, и потом называл эту карту. Такой же фокус показывается с разноцветными

карандашами, с цветами, с чем угодно. Помню, на одном из вечеров Вольфа Мессинга он велел притронуться к одной из клеток картонной шахматной доски, и, когда доброволец из публики притронулся, Мессинг сказал, чтобы перевернули картон. На обороте оказалась цифра шестьдесят четыре — именно той клетки, к которой притронулись. Опыт очень поучительный.

— Неужели так много этих страшных людей?

— Очень одаренные чрезвычайно редки. Но вообще, что значит — сильная личность? Человек, умеющий концентрировать свои душевные силы и влиять ими на людей. Даже робкий человек в гневе, в момент подъема психических сил, может заставить других послушаться! Храбрец увлекает за собой трусливых — все явления одного порядка, выраженные то слабее, то резче. Потому и черная магия имеет под собой реальную основу власти сильной личности злого человека, если еще вдобавок обладающего даром гипноза, то и совсем олицетворявшего дьявола в эпохи темноты и суеверия.

Жаль, например, что не изучена личность Распутина. Нельзя допустить, что этот малограмотный человек мог покорить весь царский двор, если он не обладал незаурядной силой внушения. Я имею сведения, что Распутин посещал московскую школу гипнотизеров — была такая в прежние времена.

— Папе можно это все рассказать? — робко спросила Рита.

— Обязательно! И я сам поговорю с ним. Потом. А сейчас всем надо отдохнуть. Мне особенно. Позвольте не провожать вас!

— А чай? — спросила Сима.

— Лучше в другой раз. До свиданья.

Сима и Рита подходили к арбатской станции метро.

— Если бы ты знала, как легко и ясно! — воскликнула Рита. — Я будто проснулась от кошмара. Хочется петь, — и она закружилась, широко раскинув руки. — «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу!» — звонко пропела она, запрокидывая назад голову и подражая Эдите Пьехе.

— Опомнись, Рита! — строго сказала сдержанная Сима.

— В том-то и дело, что я опомнилась наконец. Ой, как чудесно! — Рита обняла подругу, пылко целуя ее в обе

щеки. — Тебе говорил кто-нибудь про твои бархатистые щечки, ну, прямо как у дитенка? Никто? Так и знала, они дураки лопоухие. Убеждаюсь в этом с каждым днем!

— Да кто они?

— Мужчины, парни, ребята, в общем малость одичалый пол. Только не пареньки — ненавижу это слово, а оно, как назло, повсюду — в стихах, книгах, газетах. Паренек — это что-то пренебрежительное, снисходительное. Мне так и представляется небольшого роста юноша с глуповатым, ребячьим лицом.

— Согласна! Досадно, что писатели путают нежность и снисходительность. Мне кажется, что я в самую интимную минуту не смогла бы суженого назвать пареньком. Он же должен быть боец и рыцарь, а тут...

У станции метро Рита весело попрощалась с подругой.

— Придешь к нам на той неделе? — вспомнила она уже перед дверями входа.

— Почему это вдруг? — удивилась Сима.

— В субботу Иван Родионович кончает какие-то опыты с нашим гостем, сибирским охотником Селезневым. Его дочь Ирина Селезнева умоляла во что бы то ни стало притащить тебя. И вообще надо тебе, наконец, побывать у меня. Словом, ты придешь, на этот раз не отвертишься, не выйдет. А то смотри, упрошу Ивана Родионовича тебя так вот, как Дерагази!

И Рита проскочила в дверь так стремительно, что пытавшийся влезть вперед нее молодой человек испуганно отшатнулся.

Сима медленно направилась домой пешком, неотступно раздумывая о невероятном, только что происшедшем на ее глазах.

С тех пор как Сима встретилась с Гириным, она стала верить в необычайные возможности людей. Сима стала замечать, прислушиваться к многому, мимо чего прежде проходила. Но сегодняшняя скрытая битва потрясла ее. Сима понимала, что Гирин и Дерагази люди исключительные, обладающие природным даром, усиленным и отточенным сознательным упражнением. Однако сколько их, может быть, самих того не знающих или не умеющих объяснить свое непостижимое влияние на других людей? Деревенские знахари, иногда совершающие внушением реальные исцеления. Сектанты, на удивление всем умею-

щие опутывать и увлекать даже, казалось бы, трезвых, здравомыслящих людей. Жуликоватые медиумы у спиритов.

Симе припомнилось спокойное, чуть насмешливое лицо Гирина и когда-то сказанная им фраза: «И все же нельзя придавать этому (то есть дару внушения) слишком большое значение в общественной жизни, потому что дар гипноза — редкий. Сознательные или бессознательные, подобные явления не могут быть массовыми. А то тысячи людей немедленно постараются оправдать свою безответственность внушением, которому они якобы подверглись».

«Это так, — мысленно возразила Гирину Сима, — и все же нельзя простить даже одной-единственной искалеченной жизни. Незримая цепь протягивается между многими людьми, связывая их поступки и их судьбы, и каждый пустячный случай может иметь далекие последствия».

— Боже мой, боже мой, — Ивернева морщилась, как от сильной боли, — ни за что бы не подумала. Зачем вдруг понадобились мы ее хозяевам? Что у нас есть такое, что не было бы известно в науке, в России? Твой отец никогда не вел никаких тайных дел и прежде, в царское время, и когда работал для Советской власти. Что мог найти Максимилиан, чтобы унести в могилу? Двадцать лет прошло с его смерти и почти сорок со времени азиатских путешествий. За это время множество геологов прошло по его путям, сделаны новые открытия.

— Ты совершенно права, мама! У меня такое чувство, словно нечто темное наброшено на память отца.

— А ты советовался с Леонидом Кирилловичем?

— Без конца ломали голову. Перебрали все полевые материалы папы. Так или иначе, но тревога поднята, и, очевидно, они это поняли.

— Почему ты знаешь?

— Дерагази пробыл в Ленинграде всего три часа и, пока я его разыскивал, улетел в Стокгольм. Нить оборвалась, а я хотел услышать от него самого, что ему надо от нас. И предложить свою помощь в обмен на сведения о Тате. Это мне посоветовали.

— Что еще хочешь узнать, мой мальчик? Для меня

в тысячу раз легче было бы знать, что она на самом деле кого-то полюбила, что ее жизнь с нами не была сплошным притворством.

— А я не уверен, что это так!

— Все равно! Еще горше думать о ее очаровании, несомненных достоинствах, всестороннем умении и сознавать, что все это лишь высшая тренировка подосланного агента темных дел. В наш дом, пусть маленький и бедный, но чистый, вошло, вползло... о-ох!

Ивернев опустился на колени перед креслом, целуя и гладя похудевшую руку матери.

— Знаешь, мама, я думал... Там, в Москве, есть такой замечательный врач-психолог. Он выяснил, что профессор Дерагази гипнотизер и он едва не увлек дочку Андреевых — Риту, не знаю уж с какими целями. У этих двойных людей всегда будешь ожидать какого-либо особого намерения, даже там, где его нет.

— И ты думаешь, что она?.. — встрепенулась Ивернева.

— Не знаю, не знаю... Но мне в Москве много рассказывали о способах, какими можно заставить человека отдать душу черту. В особенности девушку, молодую женщину. Есть целый ряд гнусных способов ее опозорить, унизить, запугать и затем послать на темные дела. И чем дальше, тем прочнее запутывается сеть, и жертве кажется, что нет выхода!

— Но ведь, кажется, сейчас законы куда более мудрые. Так чего же бояться?

— У них сложная, продуманная система.

— У тебя есть какие-нибудь планы, где искать Тату?

— Только один. И ты сейчас укрепила меня в этом намерении. Я хочу опубликовать в газете — нашей «Правде» или «Вечернем Ленинграде» рассказ под названием «Дар Алтая». В нем описать Тату и дать ей понять, что я... мы с тобой не считаем ее погибшей и не собираемся мстить. Наоборот, мы ждем ее, поможем вернуться к жизни без страха и преступления. И если она такая, как мне кажется, если я правильно прочитал ее сердце, она не может быть тяжкой преступницей. Она поймет и придет, а мы... защитить ее помогут друзья. Если только она еще здесь. Читает она много!

— Мне нравится твой план, но...

— Сомневаешься, сумею ли я написать рассказ, такой, чтобы приняли к печати? Ты низкого мнения о

собственном сыне! Я все же не настолько невежествен, чтобы считать, будто сделаться писателем — раз плюнуть, стоит только взяться. Нет, я пойду к крупному писателю с богатой фантазией, расскажу ему в общих чертах и упрошу написать для меня. И если он добрый человек — а хороший писатель не может не быть добрым, то он возьмет меня в соавторы. Для того чтобы Тата поняла рассказ как объявление, как призыв к ней, надо и мою фамилию в заголовке.

— Что ж, я благословляю, пробуй. Только ты уедешь на год, а как же, если Тата?.. Хотя я и не очень надеюсь, что она здесь!

— Так ведь остаешься ты, мама. И еще Солтамурад и Глеб.

— Да, вот еще одно. Завтра ты собираешься смотреть фонды во ВСЕГЕИ. А ты заглянул в личные бумаги отца? Ты его сын, тоже геолог, может быть, исполнитель его надежд, мечты?

Ивернев покраснел и опустил голову, не ответив матери. Та снисходительно пожала плечами.

— Что ж, может быть, так надо. Молодежь находит безмерно скучным всякую попытку понять старших, не умея уловить в сохранившихся обрывках жизни своих ушедших «предков», как вы нас называете, главные думы, мечты, ожидания и радости. Только после тяжелых потрясений вы приходите к следам нашей жизни чуткими и просветленными. Тогда раскрывается перед вами мать или отец совсем другие, и оказывается, вы их совсем не знали. Если это были хорошие люди, то пережитое из далекого прошлого оказывается сильной поддержкой... твой отец был хорошим человеком, Мстислав!

Поздняя ночь застала Мстислава за письменным столом, склоненным над пачкой старых записных книжек и тетрадей Максимилиана Федоровича Ивернева.

Потертые холщовые переплеты с тиснеными буквами дореволюционных пикетажных тетрадок, слипшиеся черные полевые книжки из плохой клеенки тридцатых годов. Побуревшие, еще сохранившие тонкую лессовую пыль в сгибах страниц спутников среднеазиатских путешествий. Затертые листки торопливых записей с каплями пота и еще не выцветшими следами крови от раздавленной мошки — свидетели трудовых походов по парной от зноя

тайге Дальнего Востока с целыми облаками комарья и гнуса.

Это не была рабочая документация исследований, которую каждый геолог обязан передавать в начисто переписанном виде в специальные хранилища, где исключается случайная их утрата. Некоторые черновики, а больше всего короткие записи, которые путешественник вел для себя.

Они больше всего касаются расходов и расчетов, проектов маршрута, вычисления времени и провианта, груза и потребного транспорта.

Записи разговоров с проводниками, со сведущими местными людьми, каких-либо особенных впечатлений, услышанных песен или легенд. Иногда просто тоскливая строчка о неудаче, опасении не выполнить намеченного, долгой разлуке с близкими. И все это в коротких, отрывистых, иногда недописанных фразах трудночитаемым, торопливым почерком.

Ивернев пытался уловить что-либо необычайное, заметку о каком-то особенном открытии, которое могло заинтересовать чужих людей, далеко за пределами нашей страны и много лет спустя, настолько, что они не поскупились на крупные расходы.

Но скоро он забыл обо всем, увлеченный все яснее обрисовывавшейся работой геолога прежних лет, которую он смог прочувствовать до конца, лишь сам будучи таким же геологом. Фотографий было совсем немного — пожелтевших от времени контактных отпечатков. Никакое воображение не могло подсказать молодому геологу, какой труд требовался для получения каждого снимка, каким тяжелым грузом ложился на и без того оттянутые снаряжением плечи неуклюжий аппарат с дюжиной запасных кассет и стеклянными пластинками. Как трудно оперировать с ними в жестокий сибирский мороз или при малой чувствительности пластинок добиться удачного снимка в пасмурные дни или с быстро идущей лодки. Не догадываясь об этом, Ивернев решил, что фотографирование вообще еще не получило распространения и путешественники больше полагались на зарисовки и отличную зрительную память.

Все же снимки пробуждали воспоминания о похожих местах, где бывал он сам, и тогда трудности и тревоги на пути отца становились еще ближе к сердцу. Многое

ускользало от образного представления геолога второй половины века — и запасные крючья с цепями для артиллерийских вьючных седел, опасность прохода порогов на ленских лодках, достоинства улимагды — нанайской лодки на широких ветровых просторах Амура, приемы срочного ремонта оморочек — берестяных гольдских каноэ, обращение с педометрами и шагосчетами. Как ковать лошадей для пустыни и для болот, подшивать кошмой потрескавшиеся от адской жары ступни верблюда. Многое стало ненужным при аэрофотосъемке, вертолетах, резиновых лодках, моторках, рациях и автомобилях.

Но, странное дело, при всем несовершенстве и медленности передвижения геолог двадцатых-тридцатых годов гораздо меньше зависел от случайностей, чем его потомки шестидесятых. Диалектика жизни вела к тому, что, вынужденный брать в длиннейшие многомесячные маршруты все необходимое с караванами в тридцать-сорок лошадей, с тяжелыми сплавными карбасами, геолог старшего поколения был подлинным хозяином тайги или пустыни, пусть медленно, но настойчиво проламывавшимся через недоступные и неизведанные «белые пятна». Ни пожары, ни наводнения, ни стечение случайных обстоятельств не могли остановить дружной горстки людей, закаленных и взиравших на трудности со спокойствием истинных детей природы.

А что касается медленности передвижения, то она компенсировалась вдумчивым наблюдением в продолжительном маршруте. Геолог постепенно «вживался» в открывавшуюся перед ним страну.

Ивернев мог проследить, как страница за страницей нанизывалось друг на друга одно соображение за другим, как возникали различные варианты гипотез, тут же на пути проверяясь и отмирая, пока не выкристаллизовывалось построение, настолько широкое, продуманное и ясное, что до сих пор, проходя теми же путями, новые геологи поражаются точности карт и широте геологической мысли полвека назад.

Иверневу передалось скромное мужество тех, кто уходил за тысячи километров в труднодоступные местности, без врача, без радио, не ожидая никакой помощи в случае серьезного несчастья, болезни или травмы. Впервые ощутил он великую ответственность начальников экспедиций прошлого, обязанных предусмотреть все, найти выход из любого положения, потому что за их плечами стоя-

ли жизни доверившихся им людей, которые зачастую вовсе не представляли себе всех опасностей похода. И самым поразительным было ничтожное количество трагических несчастий. Опытны и мудры были капитаны геологических кораблей дальнего плавания! Фрегатами парусного века представились Иверневу геологические партии тайги и пустынных гор в те далекие годы.

Несмотря на устарелые приемы, несовершенство инструментов и медлительные темпы прошлого, отца и сына связывало одно и то же стремление к исследованию, раскрытию тайн природы путем нелегкого труда. Труда не угнетающего, не трагического и надрывного, как любят изображать геологов в современном кино, книгах или картинах, а радостного увлечения, счастья победы и удовлетворенной жажды знания. Само собой, как и везде в жизни, все это переплеталось с разочарованиями, грустью и тревогами, особенно когда какой-нибудь трудно доставшийся хребет оказывался ничего не обещающим, неинтересным. Но все эти тоскливые дни, усталость и препоны не могли ни отвратить от увлеченности исследованием, ни посеять сомнение в правильности избранного пути. В чем же заключается наша сила? Только ли в увлеченности исследованием, или есть еще что-нибудь другое?

Ивернев подумал и твердо сказал сам себе: «Да, есть и другое». Это двойная жизнь геолога. Полгода — суровая борьба, испытание меры сил, воли, находчивости. Жизнь полная, насыщенная ощущением близости природы, со здоровым отдыхом и покоем после удачно преодоленной трудности. Но слишком медлительная для того, чтобы быть насыщенной интеллектуально и эмоционально, слишком простая, чтобы постоянно занимать энергичный мозг, жаждущий все более широкого познания разных сторон мира. И вот другие полгода — в городе, где все то, что было важным здесь, отходит, и геолог впитывает в себя новое в жизни, науке, искусстве, пользуясь юношеской свежестью ощущений, проветренных и очищенных первобытной жизнью исследователя. Видимо, такое двустороннее существование и есть та необходимая человеку смена деятельности, которая снова и снова заставляет его возвращаться к трудам и опасностям путешествия или узкой жизни горожанина. Переходить из одной жизни в другую, ни от чего не убегая, имея перед собою всегда перспективу этой перемены, — это большое

преимущество путешественника-исследователя, которое редко понимается даже ими самими...

Ивернев бережно закрыл полевую книжку, закурил и поднял глаза к портрету отца на стене. Усталое, доброе лицо было обращено к сыну с твердым и ясным взглядом.

Такие глаза могут быть у человека, прошедшего большой путь жизни. И это не только тысячи километров маршрута. Это путь испытаний и совершенствования человека, боявшегося лишь одного: чтобы не совершить вредного людям поступка.

«Я понял тебя, отец! — подумал Мстислав. — Но что им нужно от тебя? Прости, мне следовало бы лучше знать твои исследования, особенно те, какие не удалось тебе довести до конца».

Мстислав взглянул на часы. Времени для сна не осталось.

Он прокрался на кухню, чтобы приготовить кофе.

«Рейс двести девятый Ленинград — Москва... пассажиров просят пройти на посадку» — равнодушные слова, которые провели черту между всем привычным и далеким новым, что ожидало Ивернева в Индии. Ивернев смотрел на побледневшее лицо матери. Евгения Сергеевна, как всегда, старалась улыбкой прикрыть тоску расставания. На миг она положила голову на плечо сына.

— Мстислав! Мстислав! — раздался резкий, гортанный голос, и перед Иверневыми возник запыхавшийся, потный Солтамурад. — Понимаешь, едва успел, хорошо, таксист попался настоящий!

— Что случилось? — встревоженно воскликнул геолог. — Мы же с тобой простились дома!

— Конечно! Так, понимаешь, пришел я домой, а жена говорит, понимаешь, такая история, — чеченец от волнения и бега едва выговаривал слова.

— Да ничего я не понимаю, говори же! — воскликнул нетерпеливо Ивернев.

— Жена видела Тату! Шла по набережной, заглянула в спуск, там на ступеньках сидит женщина спиной, совсем похожа на Тату. Она уверена была, что это Тата, и побежала домой мне рассказать.

— И не окликнула ее?

— Понимаешь, какая глупая, нет!

Ивернев беспомощно огляделся. Мать спокойно спросила:

— Твой рассказ будет в газете?

— Да, будет, писатель мне накрепко обещал.

— Ну тогда, если Тата придет ко мне, я не отпущу ее. Лети и работай спокойно, сын!

«Пассажир двести девятого рейса, товарищ Ивернев, немедленно пройдите в самолет! Товарищ Ивернев, пройдите в самолет», — начал взывать репродуктор.

В Москве Иверневу не удалось даже позвонить Андрееву — пересадка на делийский самолет совершилась за полчаса. А еще через пять часов Ивернев всматривался с высоты в грандиозную панораму Гималаев. Внизу полчища исполинских вершин шли рядами, как волны космического прибоя, накрывшие часть земной коры между двумя великими странами. Ивернев старался представить себе жизнь там, внизу, среди этих снежных гигантов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТВЕРДЫНЯ ТИБЕТА

Далекий гром обвала всплыл из ущелья. На тяжелый грохот скатившихся камней коротким гулом отозвались молитвенные барабаны.

На террасе монастыря, вымощенной грубыми плитами песчаника, было пусто и холодно. Черные хвосты яков мотались под ветром на высоких шестах.

Монастырь Чортен-Дзон прилепился к вершине горы, как гнездо сказочной птицы. Но гора эта, надменно и недосягаемо поднявшаяся над мокрой и сумрачной глубиной долины, была лишь ничтожным холмиком, затерявшимся между подлинными владыками Каракорума, исполинским полукольцом охватившими долину реки Нубра с северо-запада, как ряд закрывающих небо каменных уступов. Над ними возвышался гигант Каракорума не меньше чем в двадцать пять тысяч футов вышины. Его ледниковое ожерелье и снежная корона отсюда не были даже видны, слишком низок был уровень горы, стоявшей вплотную к этому царю Гималайских гор. Зато на западе, прямо перед монастырем, отделенный глубокой пропастью, в которой тонуло его необъятное основание, высился во всем своем великолепии Хатха-Бхоти.

В прозрачном воздухе высокогорья глаза различали каждый выступ на обнаженном склоне чугунного цвета. Этот склон уходил далеко в чистейшее небо, но еще выше, еще отдаленнее сияли снега притупленной вершины. Отражая лучи высокого солнца, передавая всему окружающему его светоносную силу, полчище горных вершин парило в бесконечных просторах, наполненных искрящимся чистым сиянием. Ослепительная белая заря вечных снегов поднималась в небо, и тем унылее казались серые кручи подножий и темные ущелья.

Художник Даярам Рамамурти, исхудавший и сумрачный, опустил глаза, плотнее закутался в грубый войлочный халат.

Далеко внизу был виден вьючный караван. Лошади, крохотные, как букашки, тянулись извилистой цепочкой, сопровождаемые горсткой крошечных человечков. Животные едва заметно пошатывались под тяжестью вьюков, оступались, иногда падали на сыпких откосах, где разрушающиеся сланцы ползли вниз широкими разливами каменных потоков. Караваны проходили здесь очень редко. Судорожные рывки лошадей на осыпях, беспокойное метание погонщиков — суета человеческая и повседневные заботы отсюда, сверху, казались мелкими и никчемными.

Маленький монастырь, построенный здесь очень давно, находился на самом пределе недоступной каменно-ледяной пустыни, величайшего в мире скопления чудовищных горных вершин. Всего в ста километрах полета на северо-западе высились четыре гигантские башни Гашербрума и сам Чого-Ри, уступающий только Эвересту — Джомолунгме, но куда более величественный, уединенный и недоступный, окруженный десятками «восьмитысячников» и самыми большими в мире ледниками, как Балторо... На юго-запад и юг, за Ладакхским хребтом, горы постепенно спускались к цветущим долинам Кашмира. Там под скатами деодаровых рощ росли бесконечные фруктовые сады, прозрачные зеленоватые озера были окаймлены плавучими полями, усеянными кроваво-красными помидорами.

Рамамурти поднял лицо вверх, прислушиваясь к пронзительным крикам хищных птиц, круживших над долиной. Ветер пронизывал до костей. Морщась, художник осторожно повернулся. Привычная боль в поврежденных ребрах сразу сузила окружавшую необъятность. Недавнее прошлое захватило и повело его вниз, к жарким равнинам Индии. Бесконечное могущество памяти мгновенно уничтожило зубчатые, скалистые, запорошенные снегом стены, заграждавшие путь на юг.

Всего две недели назад он приехал в монастырь, подчинившись желанию своего старого учителя, профессора истории искусств. Раз в четыре года профессор позволял себе длительный отпуск и удалялся сюда, в Малый Тибет, чтобы обрести душевное равновесие и предаться глубоким размышлениям. Здесь все знали его под име-

нем Витаркананды, считали йогом. Да, наверное, он и был им, потому что искусство — разве не одна из йог? А длительное служение знанию тоже делает человека йогином!

Витарькананда нашел художника в хирургической больнице Аллахабада, куда его доставили из полиции, нещадно избитого и еще хуже — раненного душевно, скрывшегося от родных и друзей. Профессор предложил ему побыть с ним в уединенном монастыре Ладакха, и Рамамурти с радостью уцепился за твердую духовную опору, какую он всегда чувствовал в старом учителе. Они вступили в издревле освященные отношения гуру — духовного наставника и челы — его ученика.

Привычный к зною своей родины, Рамамурти жестоко мерз в ветреные гималайские ночи, задыхался в разреженном воздухе, ужасался виду бешеных рек, несущихся по огромным валунам, содрогался от грома постоянных горных обвалов. После уютного Сринагара, с его великолепными озерами и каналами, с маленькими храмами в тенистых рощах и резными деревянными домиками в просторных садах, оставшихся еще от времени великих моголов, даже первые ущелья Больших Гималаев показались невиданно суровыми. На плоском дне каждой такой долины свободно гуляли разлившиеся мутные воды горных речек, подмывая края крутых конусов выноса, осыпавшихся из глубоких борозд, рассекавших почти отвесные скалистые обрывы. Высоко вверху темные, всегда в тени, кручи увенчивались таким хаосом заостренных зубцов, конусов, клыков и пирамид, какого не могло бы придумать даже больное воображение. Камень на вершинах хребтов был исковеркан с яростью.

На нешироких плоскогорьях встречались крохотные деревушки, обсаженные ивами, как бы прижавшиеся к земле, спасаясь от ветров. Жалкие сады низкорослых абрикосов и поля грима — тибетского ячменя чередовались с сухой каменистой пустыней, где клочковатая жесткая трава шелестела, аккомпанируя пронзительным крикам грифов, высматривавших падаль вдоль караванных троп и особенно на перевалах. Там постоянно гибли лошади, надорвавшиеся на непосильном подъеме. Лишь дзо, или по-монгольски хайныки, помесь яков с коровами — страшного вида черные рогачи, — чувствовали себя отлично благодаря длинной шерсти и необъятным легким.

Прожить на этих высотах стоило человеку немалых усилий, и смекалке местных крестьян смогли бы позавидовать бомбейские инженеры. С помощью нехитрых инструментов крестьяпе перебрасывали через бурные реки мосты, сделанные из ивовой коры, пеньковых веревок, кожаных ремней или каменных плит с покрытием из кривых стволов. Сколько труда и изобретательности надо было затратить, чтобы огородить сад или обнести деревню прочной дамбой, удержать тонкий слой почвы на крутых склонах, соорудить на месте свою мельницу, потому что перевозки здесь требуют колоссальных усилий.

Холодная суровость гор подбодряла людей. Не ограничиваясь своими бытовыми постройками и бросая вызов каменной пустыне, человек повсюду воздвигал монастырп, кумирни — чортен, устанавливал мачты со знаменами и хвостами яков, а то и просто лоскутками, также гордо реющими на ветру, громоздил кучи камней — круглые обо и продолговатые мани-валле, на каждом перевале и у каждого жилья.

Вдоль больших караванных троп мани-валле обкладывались кусками гранита или песчаника, на которых тщательно высеченные тибетские буквы повторяли одну и ту же священную формулу: «Ом мани падме хум». Сотни таких камней, нередко с буквами, раскрашенными яркими уставными цветами — белым, синим, красным, желтым, — создавали незабываемую картину, и у художника дух захватывало от гордости за человека, неукротимо, везде и под любым предлогом стремящегося утвердить себя с помощью искусства.

Камни, крупные и мелкие, серые, коричневые, красные, отражались в первозданно чистой воде маленьких холодных озер. Хаос обтертых глыб загромождал русла мелких речек, которые замерзали ночью и только к середине дня возобновляли свой бег, с неизбежностью судьбы устремляясь вниз, к Инду, и в нем — к океану, как к прообразу нирваны, исчезновения всех тягот и тревог жизни.

Постепенно Рамамурти акклиматизировался на каракорумских высотах и тогда начал постигать возвышающую душу и отдаляющую от мира красоту Хималайи — царства вечных снегов. Ему казалось, что сердце налилось холодной жидкостью, стало прозрачным и твердым, как хрустальная чаша. Между его прошлой жизнью, все

краски и впечатления которой он любил так, как только может любить художник, и этим миром неизменной ясности и холодных красок не было связи!

Недоступные, сверкающие вершины были полны грозного покоя.

Художник делался частицей огромного мира вечных снегов. И все его переживания становились как бы космически большими и ясными. Теряли свое значение тайные и неясные движения души. Они становились простыми переливами света и теней, красок и отблесков, отраженными, отброшенными, не принятыми в себя, подобно солнечным лучам на белых коронах гор. Мир, из которого он пришел, царство цветущих, знойных равнин, напоенных влажностью, пропитанных цветением и разложением буйной растительности, был гораздо разнообразнее и в то же время мельче.

Но зато бесконечное множество людей во всем неисчерпаемом богатстве их облика и стремлений продолжало притягивать Даярама туда, вниз, куда неудержимо пробирались на равнины Индии горные речки — через все бесчисленные заграждения.

Рамамурти инстинктивно чувствовал, что небесное очарование Гималаев не по силам ему, как человеку и художнику. Та завеса, что отделяет зримую жизнь от обобщений искусства, здесь была совсем тонкой. Но взгляд сквозь нее уводил в такие дали мира, которые были доступны лишь мудрецу — видваттапурна, но не ему. Великий друг Индии, русский художник Николай Рерих — тот смог осилить и передать, вместить в себя этот взлет тяжких масс самой матери Земли в небо, навстречу потокам солнца — днем или огням далеких звезд — ночью.

Все мечты и радости Рамамурти были всегда в живом, в красоте движения форм природы.

Древний творческий гений индийского народа, составивший бессмертную славу страны на протяжении более двух тысячелетий, переживший культуру Крита и Эллады, во все века черпал свои силы в неистощимом богатстве чувств человека, находившегося в теснейшей связи, единстве с природой. Из земли и солнца, подобно буйной растительности тропиков, вливались в людей созидательные силы, требовавшие выхода в искусстве.

Скульптура и архитектура древней Индии так и не была превзойдена ни одной страной мира. Живопись —

та яростно уничтожалась мусульманскими завоевателями. При взгляде на тысячелетние фрески Аджанты, попрежнему очаровывающие весь мир, можно представить, какие сокровища живописи были утрачены в трудном историческом пути Индии.

Но странным образом, в расцвете национальной культуры, начавшемся после освобождения Индии от английского владычества, именно живопись заняла первое место, в то время как скульптура пошла путями рабского подражания или древности, или безобразному отрицанию искусства, родившемуся в западных странах, одичавших в гонке технических усовершенствований и создании массы вещей, поработивших ум и сознание человека.

Даярам Рамамурти сделался скульптором еще и потому, что с юности был поражен наглым опорочиванием идей и воплощений индийской скульптуры некоторыми западными «исследователями». Они считали скульптуру древней Индии отталкивающим, порнографическим искусством, не понимая философских идей, скрытых в длинной цепи преемственности образов и форм. Но и эти идеи англичанин Ситвелл в книге «Спасение со мной» назвал порочными, искажающими, конечно, не индийский, а европейский — христианский идеал человека, в соответствии с религиозными тенденциями белых «просветителей», так и не понявших своего ничтожества перед могучим опытом тысячелетнего познания.

Джавахарлал Неру, упоминая о порочивших индийское искусство английских ученых, о их нелюбви к стране, спокойно заметил, цитируя Достоевского, что «люди не любят, более того, ненавидят тех, кого они обидели».

Рамамурти не мог отнестись со стойкостью философа к тому, что он считал вызовом. Он загорелся идеей создать скульптурный образ прекрасной женщины своего народа, открыть тайну Анупамсундарты — красы ненаглядной в сочетании идеала Шри и Рати — любви и страсти, Лакшми и Нанди — красоты и прелести, которая была бы так же понятна всем, как древние творения, но еще ближе, еще роднее для современных людей, а не легендарных героев Махабхараты и Рамаяны.

Почему именно женщины и женской красоты? Этот вопрос обычно задавали европейцы на индийских художественных выставках, пораженные, как много места занимает в живописи тема женщины, прекрасной возлюб-

ленной, гордой девушки, заботливой, погруженной в раздумья о будущем матери.

Для индийца здесь не было вопроса. Женщина Индии — основа семьи, только терпением и героическими усилиями которой преодолеваются тяготы жизни и люди воспитываются в душевной мягкости, человечности и порядочности. Женщина-мать, жестокими законами кастовой системы, мусульманским влиянием и религиозным гнетом низведенная до бесправного положения служанки, запертой внутри крошечного мирка семьи.

Европейцы еще не понимают, что в основе духовной культуры последователей индуизма лежит пережившее тысячелетия со времен матриархата представление о женщине, о женском начале как об активной силе природы, в противовес пассивному мужскому началу. Вот почему на всех скульптурах древней Индии, от времен Ашок до художников начала прошлого века в Ориссе, женщина изображается полной творческой энергии, жизненных сил, близкой к буйному цветению природы, созидающей и разрушающей, покоряющей и инициативной.

«Это полностью соответствует реальной действительности, — думал Рамамурти, — женщина ближе к силам и тайнам природы, чем мы, мужчины. Но как, не имея зеркала, нельзя воссоздать свой собственный облик, так образ женщины может и должен быть создан мужчиной, исходить из мужчины. И почему бы мне не стать этим наследником великих мастеров Матхуры, Эллоры, Карли, Кхаджурахо и Конарака?..»

Художник вспоминал свои горделивые мечты, недобро усмехаясь.

Что получилось из нескольких лет исканий, стремлений, бессонных ночных раздумий, тысяч набросков, рисунков, моделей? Ему уже тридцать лет, и вот он здесь, выбитый из жизни, жестоко оскорбленный, униженный физически... Правда, он получил спокойствие и набирается сил. Но и время идет, неизбежно и неуклонно, неспешное время древней Азии, давно уверившейся в тщете попыток человека сделать больше того, что ему положено судьбой: записано в книге аллаха для мусульманина, предопределено Кармой прошлой жизни — для индийца.

Быстрые легкие шаги прозвучали на плитах террасы. Появилась знакомая фигура учителя в круглой войлочной шляпе, в небрежно накинутом плаще. Его седая бо-

рода, обычно коротко подстриженная, здесь отросла и спадала на грудь слегка завивающимися прядями.

Позади в некотором отдалении шествовали шесть лам в желтых халатах, красных шапках и капюшонах Сакьяпы — «Старых», секты преобладающей в Малом Тибете.

Рамамурти встал и приблизился, склонив голову. Пришедший повернулся к молодому человеку, и взгляд его, внешне строгий и пристальный, из-под гордо изломанных черных бровей засветился неожиданным теплом.

— Рад тебя видеть, Даярам, — сказал он на хинди и продолжал на деревянно звучащем тибетском языке: — Сегодня лунг-та — приношение коней счастья, красивый обряд почитателей Будды. Если наши высокоуважаемые хозяева позволят, я хотел бы вместе с тобой участвовать в празднике.

Старейший из лам пробормотал вежливые приглашения.

Вскоре небольшая процессия направилась по тропинке к отдаленному выступу горы, нависшему над долиной.

Наклонные, как бы отталкивающиеся прочь кручи скал здесь были очень темного, почти черного цвета. Широкие косые трещины бороздили каменные глыбы. Но выступ оставался незыблемым уже много лет. Ветер, катившийся со склонов Хатха-Бхоти, дул равномерно и сильно, уносясь к перевалу и дальше вниз, в синюю даль, к теплой стране. Ламы предложили профессору первому совершить обряд, но индиец отказался. Тогда вперед выступил сам настоятель монастыря — высокий и могучий, с энергичным и мрачным лицом воина.

Лама спрятал под халат обнаженную правую руку и бесстрашно дошел до края обрыва. Ветер рвал его желтый халат, подпоясанный простой веревкой. Он поклонился всем пяти буддийским частям света. Негромко прочитав положенные тексты, простер вперед соединенные ладонями руки.

— О вы, могучие и несравненные будды и бодисатвы! Вы, взирающие благосклонными очами на трудные пути земли! Будьте милостивы к путникам, всем идущим и едущим, всем ищущим, всем тоскующим о радости.

Пусть эти кони, подхваченные четырьмя ветрами священных гор, летят далеко на холмы и равнины! Вашей силой, о священные боги высшего круга, они станут жи-

выми конями счастья для всех неведомых странников... Ча-со-со! чаль-чаль-ло!..

Настоятель взмахнул широким рукавом, и горсть вырезанных из плотной бумаги фигурок лошадей была подхвачена могучим ветром. Они взлетели и унеслись вдаль па юг, быстро исчезнув из глаз.

Один за другим все монахи бросали со скалы белые фигурки. Выпустил несколько коней и профессор.

Рамамурти стал в стороне и с внезапной грустью следил за полетом белых игрушечных коньков — вестников добрых пожеланий. Внезапно Витаркананда протянул ему последнего коня. Даярам послушно приблизился к краю обрыва, протянул руку, но не разжал пальцев. На выступе слева над пропастью качался кустик ранних красных цветов, горевших среди черноты камня, точно пурпурные звезды. Сердце сжалось — красные цветы в иссиня-черных косах Тиллоттамы горели ярче, огнем живой прелести. Рамамурти посмотрел на зубчатый хребет, заграждавший от него дали горизонта на юге, вздохнул и разжал пальцы.

— Тебе, Амрита, тебе, Тиллоттама! — шепнул он.

Его одинокий конь стремительно взмыл вверх, закружился и пропал в сгущавшемся сумраке долины.

Солнце в Гималаях заходит быстро. Обряд едва успел закончиться, как в ущельях стало темно. Снежные короны сияли по-прежнему, алея в закатных лучах. Черные острые клинья теней быстро взбегали по ложбинам и промоинам каменных круч.

Голубая дымка подножий густела, поднималась все выше, как пары таинственного зарева, готовившегося в земных недрах. Следом за ней ползла черная мгла, уже затопившая глубокие ущелья.

Незаметно стих ветер, и воздух пронизало странное сумеречное сияние, изменившее все цвета. Красные сланцы стали черными, серые горные откосы — голубовато-серебряными, а желтые одеяния лам приняли шелковистый малахитово-зеленый оттенок. Местность изменилась и наполнилась покоем.

Потом сияние воздуха угасло, краски умерли, чугунно-серый цвет без теней и переходов покрыл всю землю. Только лиловато-красное небо, зеленея, становилось все более темным, звезды вспыхивали одна за другой, и черные стены ночи смыкались над головами путников.

Ламы ушли вперед. Витаркананда и Даярам медлен-

но ступали по перекатывавшемуся под ногами щебню тропинки. Там, где тропа, поворачивая к монастырю, выходила на столообразный уступ, профессор остановился и показал в сторону Хатха-Бхоти.

Снежные вершины оторвались от своих почерневших оснований. Залитые неизвестно откуда исходившим красновато-золотым светом, они еще более отдалились от темного мира низких ущелий, перевалов и человеческих жилищ. Невозможно прекрасная гора, беспощадная, сверкающая, неожиданная, немилосердно крутая, вонзенная в глубину неба.

— Вот для чего я провожу время от времени свой отпуск в Гималаях, — тихо сказал Витаркананда.

— Такова, наверное, Шамбала, прекрасная страна Ригден-Джапо, — воскликнул Даярам, — греза буддистов! А может быть, это она и есть?

Профессор улыбнулся.

— Монахов нет с нами, и я не огорчу никого. Даже в самом названии Шамбала не подразумевается никакая страна. Шамба или Чамба — одно из главных воплощений Будды, ла — перевал. Значит, эта мнимая страна — перевал Будды, иными словами — восхождение, совершенствование. Настолько высокое, что достигший его более не возвращается в круговорот рождений и смертей, не спускается в нижний мир. Потому Шамбала — понятие философское — не существует для нашего мира, и тысячелетия ее поисков были напрасны.

— Но те, которые мудры, как ты, гуро, для них есть Шамбала?

— Есть, но везде! Легенда же о благословенной стране Гималаев порождена чистейшей красотой неба и снежных гор. Человеку любой касты и любого народа покажется, что если есть такая страна, то только здесь...

Даярам стоял неподвижно, опустив глаза, затем вдруг упал на колени перед своим гуру.

— Парамахамса!

Витаркананда сделал отстраняющий жест.

— Не зови меня лебедем неба — это неприятно мне. И не только потому, что я не заслуживаю такого высокого звания. Люди, остановившиеся на пути, чувствуют довольство достигнутым. Тогда неизбежно родится ощущение, что ты выше других, а оно ведет к жажде поклонения. Идущий же должен всегда видеть себя со стороны, взвешивать, понимать все ничтожество достигнутого,

всю необъятность мира и прошедших времен. Из этого возникает не детская застенчивость, а неизбежная скромность.

Даярам хотел что-то сказать, но профессор продолжал:

— Ты не должен возвеличивать меня еще потому, что возвышение одного неотвратимо рождает принижение другого. А принижение, особенно добровольное, еще опаснее, оно рождает привычку быть руководимым, снимает ответственность за свои поступки, за свой путь. Тогда в расплату за облегчение жизни прекращается воспитание души, ее совершенствование. Путь есть путь, и никто не может его избежать, если не хочет стоять на месте. Только путь можно удлинить или укоротить.

— Но короткий, наверное, труднее, как в горах, — тихо заметил художник.

— Это верно понято тобой. Странно, как мало людей знают, что всюду, всегда и везде есть две стороны, что где сила — там и слабость, где слабость — сила, радость — горе, легкость — трудность, и так без конца. Нам, индийцам, тем более должно быть стыдно, потому что наши философы открыли эти неизбежные и всепроникающие законы мироздания примерно на полтора тысячелетия раньше других народов!

— Все так глубоко запрятано в сложности религиозных обрядов и туманных определений, что эта мудрость стала доступной лишь немногим! — добавил Рамамурти.

Витаркананда пожал плечами и пошел своей легкой походкой, совершенно не задевая камней на дорожке. Даярам следовал за ним, оступаясь, запинаясь и осторожно нащупывая тропинку в темноте.

Узенький серп новой луны давно скрылся за горами. Ночная тьма здесь не была бархатной чернотой ночи юга. От бесчисленного множества ярких звезд, разноцветных и немигающих, небо отсвечивало зеленым. Акашганга — небесный путь пролег в высоте, и звездный свет изливался из черно-зеленой глубины, позволяя видеть скалы и рытвины. Высокие стены монастыря казались железными. Ни одного огонька не светилось в стенах этой твердыни, вознесенной на вершину горы.

Витаркананда пошел медленней.

— Ты не можешь забыть ее, Даярам? — внезапно спросил он, и художник вздрогнул от неожиданности.

— Не могу, гуро, и никогда не забуду. Я полюбил ее,

но этого еще мало. Она воплощение всех моих дум, мечтаний, представлений о красоте.

— Тогда вернись назад, найди ее. Мне кажется, ты выздоровел, физически по крайней мере! Душевные раны, конечно, еще не зажили и не так скоро залечатся.

На Даярама пахнуло добрым участием и ласковой внимательностью.

— Прости, гуро, если слова мои будут долги и мысли путаны. Мне тридцать лет. Одиннадцать лет я ищу не только идеала прекрасного, но и понимания, почему он прекрасен. Что такое всем понятная захватывающая красота женщины? Я должен передать ее людям. Только красота может поддержать нас в жизни, утешить в усталости и неудачах, смягчить жестокость познания и победы. Вот почему будет служением, может быть, даже подвигом создание для моего народа образа Анупамсундарты. А я не смог осилить то громадное вдохновение и напряжение душевных сил, которое требуется для такого дела. Не смог, жалкий и самонадеянный резчик по камню, уподобиться истинным создателям прекрасного — художникам древности. Я выполнял древние обряды образного сосредоточения, церемонии очищения, чтобы пройти весь путь, предписанный художнику. Я размышлял о пустоте — суньята, чтобы воображением черной пропасти разрушить все пять миражей самосознания. Но и после дхьяна-мантры — мольбы о явлении образа, мне так и не явилась модель Красоты Ненаглядной. Я занимался всеми шестью канонами Ватсъяяны, обратив особенный труд на постижение Лаванья Иоджанам — четвертого канона «наделения красотой и очарованием».

Три ночи я лежал, простертый в храме Вишванатха в Бенарасе, где большой гонг, звучащий с вечера, нес мне первозданный звук, пробуждающий единство идущего и его цели... — Даярам запнулся. Слово «Вишванатха» пробудило в нем воспоминание о другом храме того же божества. Встреча в том храме стала началом его теперешнего падения.

— Задача твоя нелегка, Даярам, — ответил Витарkананда, — очень нелегка, потому что скульптура — главный стержень искусства Индии на протяжении тысяч лет и тема женщины — тоже главный мотив искусства нашей страны.

Вступать в соревнование с уже достигнутыми верши-

нами почти невозможно, нельзя повторить пережитого много веков назад — это будет копия. Но если не покорять уже покоренную вершину, а найти другую, там, где еще не ступала нога человека, тогда ты найдешь свое, и не беда, что вершина, тебе доставшаяся, окажется не такой грандиозной, как прежние гиганты.

Жизнь — это беспрестанные перемены, Даярам. Скульптор с древности и до средневековья менял свои имена: садхак, мантрин, йогин, что, переводя с санскрита, означает творец, волшебник и видящий. Первые создатели художественных образов считались, следовательно, полностью творцами. Потом они стали волшебным, недоступным для нехудожников путем превращать обыденное в красоту. Еще позднее люди поняли, что они ничего не творят и не превращают, а просто видят.

— Может быть, я огорчу тебя, но я глубоко убежден, что ничего совершеннее природы в красоте создано быть не может. Она, создавая совершенство, отбирала миллионы лет, а художник, даже взявший труд предшественников, — один миг, в сравнении с историей мира. Однако, будучи микрокосмом, отражающим в себе вселенную, он может выбрать из Шакти — Бесконечности Форм, любые, ему нужные. Искажать же их, фокусничая наподобие западных глупцов, — плутовство или безумие. Вспомни место из Махабхараты, где говорится о появлении «мужеством добытой Урваши» — в нем, как в зеркале, отражено представление о цели и смысле живописи в древности.

— Я не помню.

— Следовало бы знать. Вкратце перескажу: «Нарайян (Высшее существо) был занят размышлением, когда небесные танцовщицы апсары в своей неуемной веселости и задоре пытались совратить его кокетством и лестью. Бог придумал способ излечить девушек от суетности. Взяв сок древа манго и используя его как краску, написал портрет воображаемой нимфы, нежной и большеглазой, высокогрудой и широкобедрой, с телом, исполненным таким изяществом, что ни богиня, ни женщина не могли сравниться с ней во всех трех мирах. Апсары, увидев Урваши, были пристыжены и тихо удалились, а картина, в которую божественное искусство влило золотое дыхание жизни, стала живым идеалом женской красоты». Это относится ко времени, когда люди еще не осознали собственную красоту и не научились ее видеть.

Так и теперь некоторые народности, стоящие на низкой ступени развития культуры, как в Африке или Южной Америке, и привыкшие ходить почти обнаженными, портят свои прекрасные тела нелепейшей татуировкой, навешивают чудовищные ожерелья, а иногда и просто уродуют лицо, подпиливая зубы, вытягивая губы и уши.

— Даже у нас в Индии прокалывают себе ноздрю и искажают нежные черты грубой розеткой или серьгой, болтающейся до губы.

— Видишь, даже у нас! Хотя я склонен думать, что этот обычай — более поздний, а не пережиток древности. Там, где индийская культура сохранилась в чистом виде, этого нет. Взять хотя бы далекие острова Индонезии. Там, на Бали, культура наша, а не мусульманская. Там до сих пор еще в деревнях люди ходят полуобнаженными, добавляя к чистой красоте своих тел лишь серьги. А наша Индия вся закуталась после мусульманского завоевания, принесшего нам и Сати, и затворничество женщин, и уничтожение изображений, лишившего нас тысяч храмов, почти всей живописи прежних времен.

— Но разве Сати — это мусульманский обычай? Никогда не подозревал!

— Не обычай, а последствие мусульманского завоевания. Но мы уклоняемся от цели нашей беседы и теряем путь... Если древние мастера, воображая идеал, творили то, что не видели, а люди средних веков, не находя идеала, усовершенствовали то, что видели, то более поздние художники видели, но не могли создать.

— Почему, гуро?

— Творцы древних образов старались создать обобщенный образ, возводя красоту в принцип, мечтая о воплощении всего прекрасного в мире. Так, фрески Аджанты, подобно Урваши, стали надолго идеалом. Неужели модели, служившие буддийским художникам, были совершенно идеальны? Чувственные и нежные, избалованные и надменные придворные женщины могуществом мантринов того времени были превращены в богинь, но не как отдельные индивидуальности. В эпоху общего снижения мастерства, после многочисленных войн, наши скульпторы повернули назад. Не в силах создать произведений могучей красоты, соответствовавших духу времени, они копировали прошлое, а недостаток творческой мощи заменяли украшениями. Под покровом прихотливо вырезанных диадем, ожерелий, поясов, подвесок и при-

чудливых причесок исчезает строгая и чистая красота тела, доведенная в изваяниях к шестому веку до высокого совершенства. В общем тогда скульптор поступал подобно дикарю, украшающему свое тело блестящей проволокой.

— А теперь?

— Теперь мы страдаем от последствий английского владычества. Оно принесло нам западную науку и технику, но вместе с тем отравило и западным отношением к жизни и искусству, — я считаю его ядом. Уметь видеть, но не пытаться сложить из виденного целое, превратить в реальность, заставить поверить в него силой труда и таланта. Наоборот, они стараются рассыпать целое на крохи. Разбить вазу, чтобы любоваться причудливой формой черепка. Выбрать из живой игры светотени изображения две-три черты, пару красочных пятен и назвать это именем целого, заменяя мудрость собирателя красоты умением анатома. Это неизбежная расплата за разрыв с природой, с ее изменчивой игрой форм. Я не хочу никого бранить — какое я имею право, но в этом старании обязательно разбить, разломать, разобрать целое мне чудится обезьянья черта наивного исследования, свойственная всем нам в раннем детстве!

— Теперь я понимаю, почему нет жизни в нашей современной скульптуре, которая идет следом за западной. Наши скульпторы, подражая Западу, стараются изобразить не всеобщую сущность красоты, а соригинальничать так, чтоб их произведения обязательно отличались бы от всего созданного ранее!

— Именно так! — одобрил гуру. — Подвиг великого творчества под силу лишь гигантам искусства, а новые наши мастера уродуют тело человека, в попытке утрировкой, диспропорцией и абсурдным искажением достигнуть выражения хотя бы одного-единственного чувства в форме. Одного — там, где должны быть сотни, да еще в тысячах оттенков и переходов! Разве не очевидно, что путь выражения отдельных индивидуальных, случайных черт должен был с неизбежностью привести к тому чудовищному искажению реальности, какой выражен в абстрактной скульптуре Запада и наших его последователей! Невыносимая ностальгия от разобщения с природой толкает людей на украшение окружающих их стен. Стеновая орнаменталистика и породила абстрактную живопись. Жизнь среди машин заставила скульпторов от-

казаться от неисчерпаемых черт прекрасного в природе и перейти к конструированию скульптур из металлических частей, превращая образ живого в некое подобие машины. Они забыли или не знали, что машина создана для работы, только работающая, она может отвечать нашему эстетическому чувству. Мертвая конструкция в самой основе скелетна и безобразна.

Гуру умолк. Они подошли к высоким воротам монастыря. От ручья доносились звонки маленьких молитвенных мельниц. Оборот колеса, отмечаемый звонком, означал, что написанная на нем молитва прочитана.

Протяжные низкие звуки радонгов — очень длинных труб послышались из верхнего храма. В том же печальном и замедленном ритме отозвались большие и малые барабаны. Тревожные их удары чередовались с пронизывающими высокими нотами хора духовых инструментов и с редкими звенящими ударами литавр. Даяраму сначала музыка показалась нестройной и грубой. Постепенно ухо привыкало и улавливало главную тему странного оркестра — приветливую и успокаивающую, как бы встающую преградой на пути людских горестей и забот.

Шла ночная служба.

Витаркананда и Даярам поднялись на третий уступ, где были расположены кельи монахов. Здесь жил и художник, а профессор занимал светлый верх небольшой кумирни, еще на одну ступень выше.

Даярам направился к проходу вдоль стены, где выстроились рядами крошечные клетушки. Как ни тесно было в монастыре, завет буддийских вероучителей выполнялся строго — без уединения человеку недоступно никакое совершенствование. Ночлег и раздумья каждого должны свято охраняться в тиши отдельного помещения.

Единственный фонарь качался над террасой. Крупинки сухого снега проносились в слабом свете.

Художник обернулся. Витаркананда ступил на крутую лестницу, огибавшую черное зияние храмового входа, откуда тянуло резким запахом ароматных трав, курений и молитвенного сыра.

— Гуро, так неужели я был слишком самонадеян? По-твоему, я не смогу создать настоящее произведение искусства, Анупамсундарту Парамрати?

— Я этого не сказал, сын мой! Я говорил о великих трудностях, стоящих на пути к задаче, если ты хочешь

уловить образ современности на уровне мастеров древности.

— Но и те ведь были люди! И видели даже не так уж много! Нам сейчас доступны сокровища искусства всего мира, не только всей Индии. И так много воскресло из небытия, извлеченное трудами археологов.

— Зато у древних было другое, очень важное в пути искусство — время! Время, Даярам! Вся неимоверная глубина многолетних раздумий, после того, как изучены все шестьдесят четыре искусства и приобретено уменье расщепить волосок на тридцать две части, по древней поговорке. И это не пустые слова — ты знаешь, что такое музыка и танец для каждого индийца. В танце одних мудра — движений рук около шестисот... Мы сумели простой ритм барабанных звучаний обогатить сотней оттенков, двойственных, как наши ноты и как все в природе.

В скульптуре и архитектуре разработаны такие тончайшие каноны, будто сотканы узоры из лунных лучей и расчислены все переливы света в пене, качающейся на волнах в полуденный час. Накопленное нами богатство слишком отяготило нас. Мы тонем в словах, особенно в философии, задушены определениями того, что представляет лишь череду непрекращающихся переходов. Тонкость разработки оборачивается слабостью и стоит забором на дороге постижения, особенно в наши дни, с быстрым ходом времени и изменений в индивидуальной жизни. Но прости меня, я увлекся сам. Недостаток времени не даст тебе подняться в раздумьях и воображении до мастеров прошедших времен. Следовательно, ты нуждаешься в помощи. Эту помощь даст тебе модель, если ты найдешь ее!

Рамамурти подбежал к гуру.

— Я нашел ее, учитель! Но я...

— Полюбил ее? Это могло бы быть счастьем, я говорю не о житейской радости, а о совместном искании Анупамсундарты, то есть о счастье художника. Я знаю, что у тебя произошла беда, — простертой рукой Витарканада остановил Даярама, пытавшегося ему ответить. — Теперь уже поздно, а завтра, я думаю, что тебе следует рассказать мне все. Я подумаю, чем помочь тебе, какой колеснице следовать, применяя терминологию наших добрых хозяев.

— Благодарю тебя, гуро!

Профессор исчез за поворотом лестницы, а Рамамурти ощупью добрался до своей кельи, сохранявшей запах несвежего масла, веками впитывавшийся в каменные стены и земляной пол.

За крохотным оконцем без рамы шумел холодный ветер. Даярам знал, что в левом углу, на низком столпке, ему оставлен обычный ужин — горсть муки пз поджаренного ячменя — цзамба и завернутый в тряпье чайник со смесью зеленого чая, молока, масла и соли. Он, находивший вначале это питье отвратительным, теперь так привык, что не представлял, как он раньше обходился без него. Высокогорный ячмень — грим, отличавшийся от равнинного голыми зернами, был каким-то особенно питательным и вкусным.

Рамамурти не знал, что таково общее, еще не изученное наукой свойство высокогорных ячменей. Например, ячмень, растущий на высотах южноамериканских Анд, применяется теперь специально для питания спортсменов перед труднейшими соревнованиями.

Художник развернул тряпку и увидел, что заботливый старый лама прибавил к ужину горсть сушеных абрикосов — лакомства здесь и самой дешевой пищи в беднейших деревеньках Кашмира. Есть художнику не хотелось. С нервной дрожью он бросился на постель — деревянную раму с натянутыми поперек полосками кожи, поплотнее закутался в халат. Кромешная тьма кельп дышала холодом, ветер шумел назойливо и равнодушно.

Даярам возвращался мысленпо к своей беседе с гуру, перебирая и осмысливая сказанное мудрым стариком.

В бездонной зрительной памяти художника накрепко врезаны каждая черточка, краска, движение, форма. И постепенно воспоминания, все более четкие и связные, поплыли в темноте перед ним. Образы и переживания, более жгучие, чем ядовитый сок молочая, мучительнее, чем жажда в пустыне, яростнее, чем солнце черпых плоскогорий Деккана...

Даярам, получив в третий раз стипендию Академии искусств, заканчивал третье путешествие по музеям и храмам Индии, изучая громадное скульптурное паследие прошлого.

В этот раз его интересовала школа Калинга, более тысячи лет назад возникшая в Восточной Индии, в Ориссе, затем распространившая свое влпяние по всей стране. Рамамурти посетил храм Сурья — Солнца в Ко-

нараке, оставшийся недостроенным с тринадцатого века, величайший монумент зодчества и скульптуры, когда-либо построенный в Индии. Поставленный на высокий постамент с изваяниями двенадцати пар трехметровых колес повозки Солнца, окруженный гигантскими изваяниями слонов и лошадей, храм поднялся в слепящее жаркое небо своей кубической громадой, увенчанной пирамидальной высокой кровлей. Скульптуры явлений природы, человеческие статуи поразительной жизненности и красоты, посвященные теме физической любви, составляют одно целое с его стенами. Они как бы влиты в контур здания, образуя неотъемлемую его часть. В храмах Южной Индии— Мадуре, Танджоре, Мадрасе гигантские надвратные пилоны покрыты тысячами скульптур. Это удивительное соединение колоссального труда с не менее гигантским замыслом, столь же захватывающее, как и пещерные храмы Эллоры. Но скульптуры южноиндийских храмов несравнимы с орисскими — величие конаракского храма, фантазия художников и величайшее мастерство выполнения гармонически слиты в одно целое, хотя храм не был закончен.

И все же Даярам стремился в Виндхья Прадеш, на реку Кен в Кхаджурахо, где орисский стиль на три столетия раньше, чем в Конараке, развился в особенно чистые, изящные, отточенно красивые скульптуры и постройки. Маленькая деревушка Санчи, близ Бхильвы, когда-то столица Восточной Мальвы, сохранила полусферический буддийский храм — ступу двухтысячелетней давности. Храм шестидесяти четырех йогиней в Бхерагхате, Бхархут, Гиараспур, на юго-запад от Кхаджурахо — все это посетил Даярам, прежде чем он пересек мутную речку Кхудар и подъехал на дряхлой машине к широкой, пыльной лесостепной равнине, где расположились тридцать храмов Кхаджурахо, построенных во времена могучих царей Чанделла.

Необъяснимое волнение охватило художника при виде высоких сикхар — башен над святилищами, собравшихся группами на фоне голубых столообразных гор в запыленном мареве горячего воздуха, плававшего над серой равниной. Храмы разных вер индуизма: шивапстские, вишнуистские, джайнские — стояли на высоких кирпичных платформах, то совсем рядом друг с другом, то разделенные зарослями кустарника и низкими деревьями. Пирамидальный храм Кандарья-Махадева,

устремленный в небо ракетой, казался невероятно высоким, хотя поднимал венец своей разрезной башни — сикхары на высоту всего сорока метров. Глубоко врезанный геометрический узор на сикхаре под слепящим солнцем создавал впечатление движущейся, клубящейся массы черных и белых изломов.

Светло-желтый, солнечный песчаник, слагающий стены храма, остался нетронутым в углублениях и нишах, а все выступы почернели от прошедших десяти веков. Разница цвета камня не портила, а подчеркивала скульптурность здания. Три пояса скульптурных фигур около метра высотой были высечены на вертикальных выступах или столбах — трех широких и двух узких с каждой стороны фасада между балконами. Каждый пояс фигур разделялся горизонтальными выступами, спасавшими камень от непогоды.

Каждая скульптура, высеченная в высоком рельефе, была замечательным произведением искусства — персонажи божественных легенд, воины, мифические существа...

Даярам не спеша обходил храм за храмом, делая заметки, составляя план будущих зарисовок, продолжительных созерцаний и размышлений. Солнце уже садилось на пыльной равнине, когда Даярам направился в самый северо-восточный угол ограды западной группы храмов, пересек старую дорогу из деревни в Лайлуан и подошел к храму Вишванатха, чья высокая, в шесть метров адхистхана — платформа выходила прямо к автомобильной дороге в Раджанагар. Этому древнему святилищу, построенному в 1002 году великим царем Дхангой, было суждено сыграть такую большую роль в жизни Даярама. Вишванатха отличался особенно тонкой отделкой. Его сикхара, увенчанная сосудом амрита, поднималась, как гласил краткий путеводитель, на высоту тридцати девяти метров. Как бы разрезанная на ребристые продольные полосы, башня стремительно уходила в жаркое голубое небо. Балконы выступали более резко и остро, чем в храмах Махадевы и Кали, на верхушках их толстых колонн виднелись головы и плечи лежачих богатырей — атлантов. Вертикальные столбы между балконами выступали углом. Изваянные на них фигуры стояли, обращенные в две стороны, а не полукругом, как в Кандарья-Махадева.

С первого же взгляда зрителя поражали десять сло-

нов, стоявших на нависающей крыше самой видной части храма. Слоны были совершенно нетронуты временем, будто только вчера поставили их неведомые строители.

Здесь были наиболее прекрасные и выразительные небесные красавицы апсары или сурасундари. Художник особенного дарования, сочетавшего удивительную жизненность с божественной красотой, сделал эти статуи, и работал он только в Вишванатхе. Считая с поврежденными временем и, главное, человеческим варварством, в трех поясах насчитывали 602 статуи, несколько меньших размеров, чем в Кандарье-Махадева.

В противовес угловатой отделке поверхности здания скульптуры Вишванатха изгибались в самых закругленных, тщательно продуманных позах. Художники продолжали классическую линию Индии, трактовавшую женщину как героиню, но не пытавшуюся сравняться с мужчинами в их доблести и их достоинствах, что составляет обычную ошибку трактовки героини на Западе. Нет, эти изваяния представляли собою героических женщин по своей женской линии бытия. Гордое достоинство и снисходительная нежность, пламенная, все отдающая страсть и отважная стойкость — все гармонически сочеталось в статуях, призванных показать народу идеал женщин Индии, помочь им, бывшим и будущим, понять свою прелесть и цели своей жизни.

Десять веков простояли эти солнечные изваяния перед взорами множества поколений, и еще бесконечно долгие годы они будут изумлять тех, которые еще придут, волнуя и возвышая их великолепной красотой человека!

На консолях внутри святилища некогда были восемь статуй апсар, из которых уцелела только одна. Эта сурасундари глубоко потрясла молодого художника. Небесная танцовщица была изваяна на узкой пилястре, разделявшей две ниши, заполненные скульптурами сардул.

Сардулы — мифические животные, похожие на рогатых львов, считались символом Шакти — активной силы природы. Против них сражались люди, изображенные под лапами зверей, ухватившимися за их хвосты. Другие, меньшие человеческие фигурки ехали на спинах сардул, выражая умение человека покорять силы стихии.

Как утешение в суровой борьбе, как обещание радости, обнаженная сурасундари, украшенная лишь пояс-

ком, браслетом и ожерельем, реяла между чудовищами. Склонив голову, апсара оглядывалась через плечо, повторяя позу правого зверя, но в немыслимом извороте по вертикальной оси тела. Скульптура была повреждена, ноги ниже колен совсем отбиты, и, несмотря на это, Даярам не мог оторвать взгляда от изваяния, созданного будто не долотом скульптора, а самой матерью природой.

Дневной свет, и без того скудный в темном святилище, быстро угасал. Рамамурти, наконец, нашел в себе решимость уйти. На прощание он осветил карманным фонариком статую с правой стороны. Солнечная красавица посмотрела на него через плечо, как живая, маняще и уверенно, а свет фонаря в его дрожавшей от волнения руке игрой теней придал странную жизнь ее блестящему телу. Художник стоял, думая о легендарных апсарах с солнечной кровью, которые иногда становились возлюбленными смертных мужчин в знак высшей награды за их доблести. Каменное воплощение такой апсары было перед ним, уже тысячу лет стоявшее в полутьме храма. Искать больше было нечего, самое лучшее, что создало древнее искусство его страны, находилось тут, на расстоянии вытянутой руки.

И душа Даярама наполнилась благоговейным страхом, будто он своими мечтами об Анупамсундарте, поставивший целью создать выдающийся образ женщины его народа, совершил кощунство перед мастерами, сумевшими давным-давно сделать скульптуры столь совершенные, что его мечты кажутся заслуживающими лишь жалости!

Но ощущение стыда и неловкости скоро прошло.

Величайшая цель и мечта искусства — отражение природной мощи человека в красоте и силе его тела и души — неизменно двигала стремлениями художников Древней Греции и Древней Индии. Но Индия жива и полна сил, и сейчас, тысячелетия спустя после гибели Греции, кому же, как не ей, нести факел дальше? И как хорошо, что большинство живописцев Индии стоит на верном пути! А скульпторы... что ж, кому-то придется начинать заново. Пусть еще в тени гигантского наследия древнего искусства. Пусть! Чарайвети — вперед, путник!

Рамамурти сложил руки и поклонился статуе апсары, шепча «анади чарута» (вечная красота). Странный звук, подобный глубокому вздоху, послышался из темного прохода между двойными стенами святилища. Художник

оглянулся, но темнота уже стала там непроницаемой. Даяраму показалось, будто легкое движение воздуха пронеслось к центральному залу мандапы — вероятно, порыв закатного ветерка. Рамамурти пошел к выходу, спустился по ступеням и зашагал в деревню. Он предпочел остановиться там, чем в гостинице с ее непрестанной сменой беспокойных туристов. Углубленный в свои размышления, художник предпочитал посещать храмы рано утром или поздно вечером, когда не было ни туристов, ни молящихся. Для местного населения количество огромных храмов, предназначенных для столицы когда-то бывшего царства Джахоти, было непомерно велико.

Поэтому всегда пустынны были высокие платформы храмов, их ступени поросли травой, торчавшей из всех щелей жесткими пучками, а жаркое безмолвие обычно сопутствовало художнику в его обходах величественных строений.

Даяраму помогало это безлюдье, лишь изредка нарушавшееся группами туристов, спешивших обежать храмы и поскорее вернуться к прохладе и ледяному питью в гостинице.

А для него, старавшегося понять смысл и язык древних изваяний, молчание храмов делало их отрешенными от всего, безвременными, и он сам как будто погружался в прошлое, проникаясь духом безвестных великих мастеров, принимая всем сердцем созданное ими.

Мельком взглянув на скрытый невысокими деревьями подъезд гостиницы, Даярам увидел несколько автомобилей и еще раз порадовался своему решению остановиться в селении. Он был хорошим ходоком, и ежедневные шесть километров ничего для него не значили.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ТОРЖЕСТВО ТИГРА

Рамамурти отшвырнул одеяло, будто холодная келья наполнилась душным зноем холмов Виндхья. Воспоминания продолжали одолевать его, не давая уснуть. Темная прорезь окна уже приобрела предрассветную четкость очертаний...

Тот день в Кхаджурахо выдался жарким. Даже утром солнце палило каменные площадки, отражаясь от светло-желтых стен мандапы Кандарья-Махадева. Даярам спустился по узкой боковой лестнице к небольшому павильону между храмами Махадевы и Деви Ягадамба, стоявших на общей платформе. Семь ступеней вели к открытому с трех сторон павильону, поддерживаемому двумя колоннами. В павильоне стояла странная скульптура — огромный лев, занесший правую лапу над женщиной, присевшей перед ним на корточки и с мольбой или отчаянием поднявшей лицо и обе руки к нависшей над ней голове чудовища. Лев, сделанный в средневековой традиции, круто изгибал переднюю часть тела и шею, пружиня задними готовыми к прыжку лапами. Нижняя челюсть разверстой пасти была отбита, и вместо нее зияла широкая дыра. Казалось, что лев раскатисто хохочет над женщиной.

Небо подернулось сероватой мглой, и солнце жгло немилосердно на гладких каменных плитах, заливая светом весь портик. После прохлады галереи храма Даярам шел, щурясь, и не сразу заметил в портике женщину, ставшую на колени перед львом. Она застыла, закинув лицо вверх. Ее черная коса в руку толщиной легла полукольцом на плиту у цоколя статуи. Заслышав приближающиеся шаги, женщина вскочила, инстинктивным движением прикрыв лицо концом прозрачной ткани. Рамамурти приблизился и поклонился, а незнакомка выпря-

милась, опираясь на левую лапу льва. Художник прежде всего увидел огромные глаза, ощущение сияющей глубины которых заставило Даярама застыть в изумлении. Ошеломленный, Даярам старался соединить отдельные черты лица женщины, мгновенно выхватываемые взглядом: узкие четкие брови, прямой, закругленный и небольшой нос, луком изогнутые губы... пока до него не дошло, что все лицо очерчено предельно точными изящными линиями, такими определенными и четкими, как если бы их вырезали на металле или твердом дереве.

Разрез глаз, линии век, очертания губ, овал лица — нигде не дрогнула рука матери природы! И все же незнакомка не была красавицей в точном и величественном смысле этого слова, классической богиней с крупными чертами лица, подобной тем, каких выбирают для исполнения священных танцев или главных ролей в исторических фильмах. Она была совсем другая и в то же время так хороша, что вызвала в чутком художнике подобие электрического удара. Никогда еще Даярам не сталкивался со столь яркой женственностью, пламенной и смущающе желанной. Устыдившись, он овладел собой.

Черное, как ночь, сари облегало фигуру, достойную стать перед лучшими изваяниями Кхаджурахо.

Заметив слабую улыбку незнакомки, Рамамурти обрел слова привета. Девушка... нет, женщина... нет, только девушка могла смотреть и улыбаться с таким неприкрытым озорством. Ведь не могла же она не понимать действия своей ошеломляющей красоты. Она свободно и весело, как могут это делать магарани, с детства обученные поведению на приемах, или же артистки, поклонилась. Она и в самом деле была очень похожа на Праноти Гхош — самую красивую, с точки зрения Даярама, киноактрису Индии, только смуглее и гораздо крепче хрупкой бенгалки.

— Меня зовут Амрита Видьядеви, или чаще — Тилоттама.

— Апсара из Махабхараты, — беспричинно радуясь, воскликнул Рамамурти, — «красавица с просяное зернышко»! Одна из самых прекрасных легенд великой поэмы. И... свидетельствую, что новое воплощение... — он замялся, окидывая взглядом девушку.

— Не больше прежнего, — закончила за него она. — И это печально, мне всегда хотелось быть высокой. Как все знаменитые красавицы.

— Кто вам сказал о знаменитых красавицах! — воскликнул почти негодующе Даярам. — Я художник, посвятивший много лет изучению канонов древности, — он повел рукой к стенам храмов, на которых застыли, будто в истоме зноя, чудесные скульптуры. — Везде, где они изваяны в естественных размерах, от Матхуры до Конарака, я находил, что древние больше всего ценили рост сто шестьдесят сантиметров, примерно как раз ваш!

— Можете поклясться?

— Клянусь! И клянусь еще, что не говорю просто из лести. Вы в ней не нуждаетесь, и сами это знаете!

— Но то, что вы сказали, я узнала впервые! И еще узнала, что вы художник, много лет посвятивший... а дальше? Перейдемте в тень, вам жарко.

Даярам, постояв на солнце после прохлады храма, покрылся капельками пота. Но девушка, несмотря на черное сари, смуглоту своей кожи и массу иссиня-черных волос, оставалась в палящем зное такой же свежей, как будто только что вышла из реки после утреннего купанья.

На звук их голосов какой-то человек, высокий, мрачный и бородатый, куривший в тени платформы, заспешил к павильону, внимательно глядя на Тиллоттаму. Она сделала едва заметный жест рукой, и человек вернулся па прежнее место.

«Наверное, она дочь магараджи, — подумал Даярам, — а это телохранитель...»

Они уселись в тени, на пьедестале павильона, и Тиллоттама перевела разговор на скульптуры храма. Рамамурти, воодушевленный красотой собеседницы и ее серьезным интересом, стал рассказывать, увлекся и перешел на свои путешествия, поиски и стремления создать Анупамсундарту. Он вдохновенно говорил о возрождении древнего слияния человека и природы, красоты, встающей из сочетания осознанной силы души и тела.

Рамамурти говорил об идеале женской красоты, рожденной издавна Индией — страной, напоенной плодотворным зноем солнца, влажным дыханием могучих ветров моря. Влажная земля рождала неистовое буйство жизни, неодолимо стремившейся к солнцу и небу, быстро расцветавшей и наливавшейся силой. Тропическая природа, порождая изобилие растений и животных, так же быстро и беспощадно убивала в убыстренной смене поко-

лений, ускоренном круговороте рождений и смертей. Оттого образ Парамрати отличается от современного, когда городская жизнь оттолкнула человека от верного чувства прекрасного, возникавшего в единении с природой.

А в Древней Индии скульпторы и живописцы были едины в своих стремлениях. Красные фрески пещерных храмов Аджанты с их черноволосыми узкоглазыми женщинами, фрески Танджоры, скульптуры Матхуры, Санчи, Кхаджурахо и Конарака. На весь мир прославилась скульптура якши из ступы Санчи — поврежденный изуверами торс женщины, изваянный в первом веке до нашей эры. Он был украден из страны во времена английского владычества и продан в Бостонский музей в Америке. В Америку же попал бюст амазонки — йогини из храма шестидесяти четырех йогиней в Мадхья Прадеш.

Рамамурти так живо описал эту статую с широко раскинутыми руками, гордо поднятой головой и очень высокой, словно рвущейся вперед грудью, придавшей всей фигуре ощущение полета, что Тиллоттама увидела ее круглое лицо с узкими, длинными глазами, маленьким полногубым ртом и знаком огня между четкими бровями...

Йогиня-ведьма, спутница Кали, обычно ассоциируется с рыжеволосой женщиной, которая берет себе любовников из смертных, но убивает их в жертву черной Дурге. Это очевидный отголосок каких-то чрезвычайно древних и темных тантрических обрядов матриархата.

Даярам рассказывал о великолепной Врикшаке — нимфе дерева, о чете летящих гандхарвов необыкновенного изящества в Гвалиорском музее, о статуе женщины с чашей в музее Бенареса, принадлежащей матхурской школе и очень похожей на участницу элевзинских празднеств Эллады, о древнейших статуях якши в Матхурском музее.

Даже здесь, вот там к северу, есть загадка — в храме Сурья, построенном Читрагуптой, статуя бога в святилище изображена в высоких сапогах, которые носили только древние пришельцы — арии.

Заметив взгляд, брошенный Тиллоттамой на плоские золотые часики, Даярам сказал:

— Я задерживаю вас, но мне хочется еще поделиться с вами впечатлениями о современной картине, которая перекликается с образами прошлого. Ее создатель художник Метхарам Дхармани. Это «Туалет Парвати» —

утреннее одевание богини на дворе небольшого храма в прозрачном воздухе на фоне голубовато-серых холмов, таких же, как эти, — Даярам показал на тонувшие в знойной дымке горы Виндхья. — На картине вдали снеговые вершины, а в узких долинках у храма — пирамидальные кипарисы. Одинаковая радость разлита в природе и гибких, прекрасных, полуобнаженных телах Парвати и ее прислужниц. И вся картина в ее светлой гамме красок звучит как утешение.

— О, я почти вижу ее! — воскликнула Тиллоттама.

— Женщины там очень похожи... на вас. Особенно смуглая девушка, стоящая с подносом справа.

— Я не видела картины и не могу судить, — чуть недовольно поморщилась Тиллоттама.

— И не только на той картине. Здесь недалеко есть изваяние девушки, которая могла бы быть вашей сестрой.

— Сестры бывают очень разные, — Тиллоттама искоса взглянула на художника.

— Вы не верите? — Даярам почувствовал легкое головокружение. — Вот он, этот храм, совсем рядом.

Тиллоттама озабоченно посмотрела на часы, потом решительно повернулась.

— Пойдемте, только очень быстро! — Она подошла к краю платформы и сказала несколько слов на урду своему провожатому.

Тот буркнул что-то и поплелся за молодыми людьми, держась в некотором отдалении.

Через несколько минут они стояли в галерее святилища Вишванатха перед статуей сурасундари. Из груди девушки вырвался крик восхищения.

— Если я правильно поняла ваш рассказ, — сказала Тиллоттама после продолжительного молчания, — то эта апсара не такая, как женщины в Карли.

— Значит, вы правильно поняли. Две тысячи лет назад скульпторы, стараясь сделать свои идеи понятными для всех, шли по пути усиления, подчеркивания того, что они считали прекрасным. Их волшебство заключалось в том, что созданные ими изображения не утратили красоты и кажутся полными жизни, а это может быть только при великом мастерстве и верном понимании. Смотрите, ваша сестра живет! О боги, как вы обе прекрасны!..

И, повинуясь внезапному порыву, художник до земли склонился перед Тиллоттамой, отпрянувшей от него в изумлении.

— Пора идти, меня ждут. Я очень благодарна вам, муртикар. С вами оживают древние храмы и прошлое сливается с настоящим.

— Мы еще не знаем, как много интересного в храмах нашей страны! Я только прикоснулся к их изучению. Вот если бы здесь был мой учитель, профессор Витарkананда!

— Странное имя, звучит как псевдоним йога.

— Это и есть псевдоним, под которым он пишет свои литературные произведения.

Она снова взглянула на часы.

— Но профессора нет с нами, и для меня достаточно ваших познаний. Мне они кажутся безграничными.

— Так позвольте...

Вместо ответа она подняла обе ладони перед собой и сцепила указательные пальцы, затем согнула пальцы правой руки, оставив большой выпрямленным. Это были обычные мудра — жесты рук в танце, и Даярам легко прочитал их.

— Как, вы отказываетесь? — огорченно спросил он.

— Жест сикхара имеет значение не только отказа, — ее тонкие пальцы быстро замелькали, два вниз, три накрест.

Художник перестал понимать их смысл. Тиллоттама рассмеялась, склонив голову и блестя своими колдовскими глазами.

— О мой ученый друг, оказывается, есть вещи, которых и вы не знаете. А это всего лишь знаки влюбленных по нашему древнему канону любви — Камасутре! Я показала вам, что хоть и трудно, но я буду здесь, в сикхаре, завтра после того, как солнце станет на западе. Не я виновата, у древних не было точного времени. Ну, а мы с вами живем в двадцатом веке и добавим — в пять часов. Хорошо?

Рамамурти с восторгом согласился и, выйдя на балкон галереи, следил за гибкой фигурой в черном сари, торопливо сбежавшей по боковой лестнице и скрывшейся за кустами вместе с угрюмым провожатым.

Даярам едва дождался следующего дня. И опять Амрита-Тиллоттама была в том же простом черном сари, и дешевые «народные» браслеты из кусочков зеркала ослепительно горели на солнце, придавая ее гладким бронзовым рукам почти грозную красоту украшенной звездами богини. Она шла быстро, даже бежала и чуть запыха-

лась, но на этот раз позади не плелся неприятный телохранитель.

Они снова молча полюбовались сурасундари. Даярам украдкой переводил взгляд на Амриту. Дыхание его прерывалось от чуть ли не болезненного впечатления, производимого красотой Тиллоттамы. А она была иная, чем вчера, — веселость, даже удальство, прорывавшееся в словах и движениях, исчезли.

Рамамурти, чувствуя, что разговор не идет в том направлении, в каком бы ему хотелось, снова принялся за рассказ о храмах и его загадках.

Он говорил о фигурах гандхарвов — небесных музыкантов, изваянных высоко на стене храма Кайласа в Эллоре в полете, переданном настолько точно, что фигуры действительно кажутся летящими. О диске с кентавром и нагой наездницей — совершенно эллинской скульптуре, неведомо как украсившей балюстраду балкона в знаменитой ступе Санчи. Еще об одной амазонке, на коне со слоновьим хоботом и львиными лапами, на западном фасаде храма Муктесвар у священного пруда Бхубанешвара, в Ориссе, где по преданию было семь тысяч храмов, а сейчас уцелело лишь 100.

Об удивительных лицах женщин на фресках в дравидийских храмах Бадами около знаменитой деревни Айхолли — когда-то столицы династии Чалукья, — круглых, с длинными голубыми глазами, с очень удлиненными шеями. Последнее по древнеиндийским канонам считалось признаком неверности и неустойчивости характера, а голубые глаза — дурными, «кошачьими». Изображать Парвати в таком стиле могли или еретики, или чужие. Но откуда взялись они в сердце Деккана?

— Я рассказал те немногие загадки, которые видел сам, — закончил Рамамурти, — но сколько еще таких забытых отголосков прошлого. Через них мы поймем чувство жизни наших предков.

— Очень хорошо сказано — именно чувство жизни, — согласилась Тиллоттама, — а не так, как обычно — хватаемся за внешнее, за форму, содержание которой давно умерло, и приходим к пустой тоске. Не нужно так удивляться, — добавила Амрита с улыбкой, — разве одни мужчины имеют право читать Ауробиндо Гхоша?

— Я вовсе этого не подумал, только удивился.

— Чему же? Разве вы не говорили в прошлый раз, что тема изображения женщины и ее красоты — главная

во всем искусстве Индии? Что миллионы ее статуй говорят о неизменном преклонении всего народа перед женским началом, а не только приверженцев культа Шакти? Если вы это понимаете, то почему же...

— Я не привык... — начал было Даярам и поправился: — Нет, вы не подумайте, я считаю, что наша женщина — это звезда Индии, опора и спасение нашего народа!

— Высокопарные слова и, как все высокопарное, лживые! — Тиллоттама рассмеялась недобро и презрительно. — Довольно, я слышала много о том, как у нас любят женщину. Вы с вашей сентиментальной звездой Индии, с женщиной в искусстве — что вы знаете о жизни, прекраснодушный муртикар?

Она замолчала, подняв голову.

Рамамурти растерянно смотрел на нее, не находя слов.

Тиллоттама ударила его очень больно, ибо для каждого настоящего художника грубое расхождение окружающей жизни с его идеалами — тайная и никогда не заживающая рана души.

— Да, это горькая правда! — наконец сказал он.

Тиллоттама внезапно смягчилась. С нежностью погладила плечо художника своей темной рукой, и ее браслеты скатились до локтя.

Даярам вздрогнул от неожиданности.

— Глядя на ваше огорченное лицо, я вспомнила, что мужчины никогда не становятся совсем взрослыми. Может быть, в этом все дело? Но не будем углубляться в неприятное, у нас слишком мало времени. Расскажите немного о себе, вы такой интересный человек.

Даярам коротко рассказал о погибшем в войну отце — субадаре англо-индийской армии, о матери — учительнице, вырастившей его и двух его сестер.

— Раджастанец?

— Конечно, угадать нетрудно. А вы... вот вы — из Южной Индии. Майсур?

— Нет, не угадали. Траванкор-Кочин! Я из найяров.

— Повелитель Шива! Так вот откуда ваша свободная независимость! А я думал, что вы дочь магараджи!

— Вы все знаете! И в то же время совсем мало.

— Знаю, — заупрямился Даярам. — Даже то, что вас, найяров, считали четвертой кастой, а вы кшатрии, хотя и не носите священного шнура.

— Сдаюсь, — переходя от грустного тона к своей дразнящей усмешке, сказала Тиллоттама. — Нет, не сдаюсь. Найяры упоминаются еще в Махабхарате. Где?

Художник поднял обе руки над головой в шутливой просьбе пощады.

— В истории принца Сахадевы, который на юге встретился с царем Синечерным. В его царстве женщины были особенно прекрасны и пользовались неслыханной нигде моральной свободой, — важно сказала Тиллоттама.

— Что они и теперь особенно прекрасны, в этом нет никакого сомнения, — сказал Даярам на малаяламе — языке юга Малабарского побережья.

Тиллоттама даже отшатнулась.

— Во время войны мы жили у мужа старшей сестры в Тривандраме, — пояснил художник на том же языке.

— А я родилась около Нагеркойла, но родители давно переехали в Мадрас. Там я училась в школе танцев, но мама сильно заболела, и тетя взяла меня к себе в Бенгалию... но это уже неинтересно!

— Не смею настаивать, но мне интересно все, что касается вас.

— История эта длинная и грустная.

— Тогда скажите хоть, где вы живете сейчас?

— В Лахоре.

— Как в Лахоре? Вы пакистанка? — вскричал художник.

— Сейчас — да!

— И там вы замужем? Тогда как же... вы здесь одна?

— Я там не замужем, но здесь не одна, — резко ответила Тиллоттама, бросая взгляд на часики — жест, больше всего страшивший художника.

— Хорошо, я вижу, что утомил вас расспросами. Дайте мне вашу ладонь — ну, вот видите, знак анка — багра для управления слоном — признак королевского происхождения. Я не сомневаюсь, что на левой подошве у вас есть кружок, означающий, что вы рождены быть королевой, — шутил Рамамурти, стараясь развеять возникшее отчуждение.

— Не королевой я рождена, а рабыней, — нежданный надрыв прозвучал в ее словах, и она мгновенно переменила тон, — как все мы, индийские женщины... Но мне пора, сейчас стемнеет. Я снова благодарю вас, мой ученый друг, — она опять поклонилась, как артистка.

— Вы позволите мне считать себя вашим другом?
— Не знаю. Я скоро должна уехать.
— Но мы встретимся еще?
— Хорошо! Но не завтра. Может быть, через два дня, может, через три. Не делайте несчастного лица, я все равно не смогу. Хорошо, пусть в пять часов у льва, через два дня. Но если меня тогда не будет, тогда... тогда вы найдете записку в пасти льва. Вы умеете читать малаялам? Со лонг, как говорят англичане.

Рамамурти не успел опомниться, как остался один в пустом храме. Неясное чувство печали осталось у него от второго свидания с Амритой-Тиллоттамой, так не похожего на буйную радость первой встречи. У его новой знакомой чувствовалось несчастье, прикрытое радостью юного здоровья. Какое? Что могло омрачить жизнь такой красивой девушки, гордой найярки?

И Рамамурти пошел домой, стараясь припомнить все, что ему было известно о найярах.

Эти обитатели Малабарского берега, одни из наиболее культурных и просвещенных индийских народностей, сохранили древний матриархальный уклад общественной жизни. Пережитки матриархата, кроме них, известны лишь среди малых племен Индии, так называемых жителей холмов, а в других странах мира — еще у туарегов Сахары.

Но нигде в мире равенство женщины и мужчины не проявляется в столь законченном и чистом виде, как у найяров, в деревнях и среди знатных семейств. Брак у найяров не составляет священных уз, повергающих женщину к стопам мужчины с обязательством до смерти служить ему. Замужняя женщина не покидает своего дома, а мужчина — своего. Дети живут с матерями и их родственниками по женской линии, дядями и тетями, которые составляют экономическую основу семейств.

Старший мужчина является главой всей семьи, но не имеет никаких особых прав распоряжаться имуществом без согласия остальных ее членов. Для найярского мужа неприлично приводить в свой дом жену и детей более чем на несколько дней. Уважающие себя женщины должны отказываться от подарков со стороны мужей.

По мнению найяров, подарки делают только куртизанкам. Таким образом, найяры — единственные люди на земле, у которых отношения полов не связаны с экономикой. Развод у них очень легок, и удивительно, что

на деле разводы случаются очень редко, может быть, потому, что не затрагивают никаких имущественных вопросов.

Положение женщин у найяров явно имеет ряд преимуществ перед патриархальными основами жизни во всех других местах Индии. Никогда найярская женщина не унижена до положения ее сестер в Пакистане. С высоко поднятой головой она идет по жизни наравне с мужчиной, ибо свобода невозможна без полной ответственности за свою судьбу. Это всегда изумляло путешественников по Малабару, которые впервые видели, что мучительная и, казалось, неизбежная связь сексуальной жизни и экономики уничтожена легко и просто.

Почему же во всех других областях Индии любовь и уважение к женщине, прошедшие через тысячелетия истории индийского народа, неизменно шли бок о бок с унижением, подозрением и тысячей предосторожностей, порожденными неверием в женщину, опасением, что без этих мер она обязательно придет к падению и позору?

Амрита-Тиллоттама не появилась на следующий день, хотя художник бродил по всем храмам, не в силах сосредоточиться на работе. Раздевшись до набедренной повязки, он отважно лазил по карнизам храма Кандарья-Махадева, на десятиметровой высоте, изучая все 626 статуй трех наружных поясов скульптур и 226 внутри храма. Изваяния уже казались ему старыми знакомыми, и, странное дело, несмотря на то, что их размеры не превышали половины нормального роста человека, они не теряли величия и спокойной серьезности. Даже в эротических сценах — майтхунах, это серьезное достоинство отбрасывало всякую непристойность. Его уединение было нарушено гулом машин, криками людей и смрадом двигателей. Растягивая черные змеи проводов, устанавливая мощные осветители, киносъемщики вернули его из средневековья к реальности. Очевидно, прибыла киноэкспедиция документальной съемки.

Даярам рано вернулся в деревню, проспал до вечера и вышел посидеть вместе с вернувшимся с работы хозяином. Редко куривший, художник на этот раз принял предложенную сигарету и рассеянно следил за ее голубым дымком, медленно таявшим в душном воздухе. Хозяин осведомился, как идет изучение храмов, и посоветовал молодому художнику посмотреть храмы лунной ночью.

— Ночью при луне там все делается совсем другим, оживают боги и герои. Я сам не видел, но говорили, — уверенно заявил хозяин.

— Так почему же вы, живя здесь, не побывали?

Хозяин смущенно рассмеялся.

— Знаете, у нас народ другой, чем в большом городе. Говорят, что человеку не дозволено видеть, как живут боги в этом древнем месте. Я, конечно, не верю, но знаете, с теми, кто ходил, случалось какое-нибудь несчастье. Теперь если мне пойти, то жена с ума сойдет.

— Какое несчастье?

— Не знаю, так говорили. Не сразу, так потом, но беда приходила. Вы человек ученый и будете смеяться. И я тоже не верю, а все-таки не пойду. У вас-то есть сила, а у меня нет!

— Какая сила?

— Ваше образование! — серьезно ответил хозяин. — Если что привидится, то вы не испугаетесь, а наш брат с ума сойдет.

«Как верно», — подумал про себя художник, одобрительно кивнув головой, и тут же решил идти в храмы. Ясное небо обещало лунную ночь. Ущербная луна всходила поздно, и торопиться было некуда. Последний огонек погас в деревне, прежде чем художник отправился в свою ночную прогулку. Он пробрался по тропинке мимо храма Деви, и скоро Вишванатх навис над ним своей высокой сикхарой, залитой лунным светом. Удивительное, гнетущее молчание исходило от стен, еще отдававших накопленный за день жар солнца.

Сандалии производили неприятный шум. Рамамурти сбросил их на лестнице и поднялся на платформу босой по южному боковому входу между статуями слонов. Знакомая прекрасная апсара, танцующая с ветвью Ашоки — дерева любви, в стрельчатом медальоне слева от портика обрисовалась так ясно на фоне глубокой тени в нише, что Даярам прирос к месту, по-новому увидев изваяние. В резких тенях незаметно двигавшейся луны апсара ожила, неуловимо меняясь. Точно дрожь напряженного ожидания пробегала по телу небесной танцовщицы. Едва дыша от восхищения, Рамамурти перебежал к группе статуй на стене за углом, заглядывая в удлиненные глаза под тонкими линиями сходящихся бровей, чуть хмурых, соответствующих серьезному очерку полногубых ртов.

Так вот какую еще тайну хранили изваяния великих

скульпторов! Не только в лунном свете, а при огнях факелов и мерцании светильников, в ночных бдениях молящихся эти дивные скульптуры наполнялись сверхъестественной жизнью.

Воины грозно выставляли могучие плечи, богини то улыбались загадочно, то смотрели в упор, испытующе и презрительно. Апсары призывно изгибали крутые бедра, словно извиваясь в страстной истоме; целующиеся пары вздрагивали, взволнованно дыша!

Древняя жизнь предков, полная радости, жизнеутверждающей силы, всегдашней готовности к любви и борьбе, возвращалась из прошлых веков. Молодому художнику чудилось, что его тело наполняется отвагой и пламенным желанием, грудь, расширяясь, становится твердой плитой, могучим щитом, ноги стали несокрушимыми колоннами, которых не в силах согнуть и огромная тяжесть каменного навеса. Даярам пожалел, что внутри темного святилища ему невозможно было увидеть свою любимую сурасундари. Но с балконов на концах галерей святилища можно рассмотреть совсем близко верхние ряды наружных, полностью освещенных луной статуй.

Художник осторожно вошел, стараясь ничем не нарушить волшебную тишину, соединившую прошлое с настоящим. Медленно поднявшись по широким ступеням, он миновал портик, прошел крытую галерею — мандапу — с ее центральной площадкой, огражденной четырьмя столбами. Пятнами лежавший на плитах пола лунный свет чередовался с темными полосами, казавшимися провалами. Даярам невольно ощупывал ногой камень, прежде чем ступить.

Расположенное выше в глубине храма вимана или радха («колесница») — святилище — было полностью погружено во мрак. Только открытые концы галерей по обеим сторонам серебристо сияли в окружающей тьме.

Рамамурти направился было в правую сторону, придерживаясь рукой за стену, чтобы не споткнуться о неожиданные ступеньки. Внезапно в прорези внутренней стены мелькнул огонек, такой слабый, что его можно было заметить лишь в царившей здесь глубочайшей темноте. Замерев на месте, Даярам уловил звуки движения босых ног, взволнованного дыхания и, вне себя от удивления, бесшумно обогнул стену.

Два старинных светильника не могли рассеять плот-

ный мрак, подступивший вплотную к узким мерцающим языкам пламени. Тьма и гипнотизирующая, сковывающая мысли тишина. И, само подобное колеблющемуся пламени, живое человеческое тело вступило в слабо освещенный круг. Обнаженная, как древняя девадаси, Тиллоттама танцевала забытый храмовый танец арати, когда-то означавший высшее приближение к божеству. Он начинался, как Алариппу — первый танец Бхарат Натья, но потом переходил в чередование быстро сменяющихся и резко застывающих поз, которые в неверном свете даже художнику было невозможно запомнить.

Некоторые позы живо напомнили Даяраму танцующих апсар на фресках в седьмой комнате святилища храма Брихадисвара в Танджоре, созданных в те же времена, как и скульптуры Кхаджурахо. Выпрямленные в плечах и согнутые в локтях руки были раскинуты в стороны, покачиваясь вниз и вверх. Повороты тела в осиной талии чередовали движения рук и делали жест похожим на взмахи крыльев морской птицы. Но в танце Тиллоттамы не было обязательного приседания с согнутыми коленями, который в Бхарат Натья означает тягу земной жизни.

Она приближалась и отступала, резко выпрямляясь, и шаг за шагом делалась все отрешеннее и недоступнее. Без всяких украшений, без актерства или условных жестов танца, нагая девушка была правдивой и откровенной наедине с собой и господином мира — Джагганатхом.

Художник, не смея пошевелиться, смотрел на Тиллоттаму, даже не подумав, что совершает нехороший поступок, подглядывая чужую тайну.

Танцовщица была выше этого, как древняя богиня, настоящая апсара. Ее тело было даже прекраснее, чем он представлял себе. Ни малейшего колебания, угрызения совести не было в душе художника — только чистое созерцание красоты и легкое ошеломление от невероятности происходящего. Где-то в глубине памяти шевельнулось сознание, что он слышал об этом... Великие боги! Тиллоттама выполняла танец так, как он был описан в книге известного искусствоведа Индии Аджита Мукерджи, вышедшей всего шесть лет назад. Да, конечно!

«Шаг за шагом она становилась символом отказа от желаний, — вспоминал художник, — звеном между прошлым и настоящим, видимым и невидимым. Уничтожая все следы себя, она находила свое «я» в изображениях,

созданных и подлежащих созданию, и кое-что большее, что мир безусловной реальности никогда не мог найти». Какое гениальное описание танца арати, и вот его исполнение! Даярам был уверен, что Тиллоттама прочла Мукерджи и выполняла его указания. Зачем?

Танцовщица остановилась, замерев на месте. Медленно, будто во сне, она сделала два шага к прямоугольному выступу небольшого древнего алтаря и также медленно опустилась на колени, склонив голову и высоко подняв руки. Ее тело струилось — так плавны и незаметны были движения. Полушепотом, на чистейшем санскрите, танцовщица произнесла не то молитву, не то заклинание, и слова ее поразили Даярама не меньше, чем танец. Она молила богов о всех, таких, как она, жертвах на алтаре любви. Тех, с горячей кровью и сильным телом, которых оскорбляли и обманывали без счета и меры, снова и снова, топча достоинство, веру, стремление к светлой жизни... Не успел Рамамурти опомниться, как легкое дуновение ее губ погасило светильники. Мгновенно все исчезло в непроницаемом мраке. Даярам отступил за выступ стены, вжался в нишу. Едва слышно прозвучали легкие шаги.

Художник долго стоял во тьме и молчании, потом вышел в портик и осторожно огляделся. Высоко и торжествующе поднялась луна, статуи на стенах еще сильнее выступили из ниш, но художник уже не мог любоваться ими. Он видел тайну живой красоты, во сто крат более захватывающей, чем все статуи Кхаджурахо, он приобщился к обряду незапамятной древности. «Она находила свое «я» в изображениях... созданных или еще подлежащих созданию...» — снова прозвучали в нем слова Мукерджи. «Подлежащих созданию»... да как он не понял, сами боги посылают ему модель для создания Анупамсундарты Парамрати! Только она, Амрита-Тиллоттама, вдохновит его, простого художника, и даст ему силу для подвига, которого он один не сможет совершить!

Неопределенное сознание своей мощи, пришедшее к нему этой ночью, теперь стало реальным, собранным чувством отваги и уверенности. Даярам бросился грудью на плиты северной стороны храма, приятно холодившие разгоряченное тело, а затем перевернулся на спину, уносясь взором в глубину небосвода, где лунные лучи вели борьбу с едва заметными звездами.

Рамамурти явился в деревню уже при свете дня, по

и в затененной комнате долго не мог заснуть. Тиллоттама, как ожившая апсара-сурасундари, неотступно стояла в его памяти, такая же наполненная пламенем жизни, как и во мраке вимана Вишванатха. Читрини — картинная женщина, в древних канонах красоты. Это не буквальный перевод, так как одновременно означает и подругу художника, и его модель, и женщину, послужившую для изваяний апсар и других богинь на стенах храмов, особенно для эротических религиозных изображений. «Ее твердые груди близко и высоко посажены... — начал цитировать Даярам, — ее тело пахнет медом, а талия тонка, как у осы... Ее лицо ясно и спокойно... она быстро приходит в экстаз, любит сложные любовные игры и позы — отсюда отчасти и ее название, потому что все скульптуры майтхун в храмах связаны с этим типом женщины».

Сигарета не охладила его пылающую голову. Художник вскочил и стал одеваться. Уже два часа! А вдруг в записке, которая будет положена сегодня, Тиллоттама назначит более ранний час? Несмотря на разгар зноя, Даярам, кое-как поев, поспешил уйти.

Обычный тяжелый зной струился по черным выступам и желтым плитам Кандарья-Махадева. Здесь не было ни души. Киносъемщики закончили свою работу. Их снаряжение было погружено на стоявшую поодаль крытую платформу, соединенную с автомашиной-электростанцией. Инстинктивно оглядевшись, Даярам вошел в павильон и сунул руку во впадину, на месте отбитой челюсти льва.

Записка на малаяламе небрежными буквами извещала художника, что сегодня их свидание не состоится. «Завтра в десять вечера на маленьком балконе Вишванатха, под деревьями. Надо вам кое-что сказать!»

«Милая! — Даярам впервые мысленно назвал так Тиллоттаму. — А как много хочу сказать тебе я!»

Маленький балкон за гарбха-грихой в дальнем конце храма, куда можно было проникнуть лишь через узкий проход из святилища, был наиболее уединенным местом. Высокие каменные перила ограждали его с трех сторон, а сверху нависали ветки низких деревьев. И при необходимости можно спрыгнуть на выступ платформы, а оттуда на землю и скрыться в кустах. Она явно хотела, чтобы их свидание осталось незамеченным. Лучшего места нельзя найти!

От огорчения, что он не увидит сегодня Тиллоттамы, осталась лишь легкая досада, но и она исчезла, едва художник сообразил, что, может быть, отсрочка свидания вызвана тем, что она сегодня повторит свой странный танец. До часа ночи было еще бесконечно долго. Рамамурти принялся было за работу, но от жары и двух бессонных ночей глаза отказывались видеть с необходимой зоркостью. Даярам решил перейти в храм Вишванатха и остаться там до ночи, не возвращаясь в деревню. Еще раньше он обнаружил внутреннюю лестницу, которая вела от гарбха-грихи к основанию переднего из четырех главных выступов глубоко рассеченной сикхары. Там находился скрытый балкон, нависавший над верхушкой пирамидальной крыши мандапы. Даярам быстро пробрался в потаенное место и вздохнул с облегчением. Легкий ветерок, внизу не колыхавший ветвей кустарника, здесь дул сильнее. Папку с рисунками — под бок, сумку с карандашами и измерительным инструментом — под голову. Усталый от переживаний Даярам с наслаждением вытянулся на маленькой площадке, обрамленной низким каменным бортиком, и крепко уснул.

Проснулся он, когда звезды светили большими туманящимися огоньками. Ветер с северных холмов едва струился, наполняя духоту запахом горных трав.

Горячая тропическая ночь звучала и звала разными голосами далеко за стенами храма. Пряные ароматы, дразнящие и тревожные, проплывали в чуть ощутимых потоках воздуха, смешивались, исчезали и возвращались снова. В воздухе носились летучие мыши, реяли ночные насекомые. Даярам вскочил, посмотрел на часы. О, пустяки, всего девять часов! Поздняя луна еще не всходила!

Где-то прозвучал сигнал автомобиля, лучи фар, мечась по сторонам, пробежали по дороге у подножия холмов.

Резко прокричала ночная птица.

Внезапно он уловил нежные стоны струн ви́ны, исходившие откуда-то снизу, из глубины храма. Даярам насторожился. К вине присоединились похожая на скрипку саринга и дробный четкий ритм барабанов. Художник подошел к краю выступа и осторожно перегнулся вниз, стараясь заглянуть за портик храма. Крутая крыша мандапы сбегала глубоко вниз, в ночную тьму, и ее мелкая ступенчатость как бы сгладилась во мраке. Ничего не заметив, художник спустился в гарбха-гриху. Тихая музы-

ка стала слышнее — несомненно, она звучала внутри храма.

Второй вечер чудес! Инстинктивно чувствуя, что это имеет какую-то связь с Тиллоттамой, Рамамурти торопливо выскользнул во внутреннюю галерею и увидел свет. Желтый и колеблющийся, он был ярче, чем вчера. Но теперь лампады горели не в тайной комнате святилища, а в высоком зале, между ним и мандапой, где оканчивались внутренние стены галерей.

Художник подкрался ближе, укрывшись в непроницаемом мраке за выступом полуколонны. Пространство посреди зала освещалось несколькими светильниками, расположенными симметрично на высоких бронзовых подставках. Внутри этого тускло освещенного квадрата танцевала Тиллоттама, обнаженная, как вчера, но в украшениях. Поясок — мехала — из пяти рядов золотых бус обхватывал ее бедра, талия стягивалась ожерельем из крупных сверкавших камней. Такими же, несомненно искусственными, драгоценностями искрились два ожерелья на шее, тройные браслеты на запястьях и кольца бубенчиков на щиколотках. Волосы, причесанные в традиционном стиле девадаси, украшали жемчужные бусы, знаки луны и солнца, розетки на висках. Художник быстро осмотрелся, ища оркестр, укрытый где-то в темном проходе левой галереи, но никого не увидел.

«Магнитофон», — решил Даярам.

Едва Даярам опомнился от кружащей голову красоты Тиллоттамы, как понял изменившийся против вчерашнего характер танца. Некоторые движения показались знакомыми. Вот стремительное приседание на правую ногу с вытянутой назад левой и великолепным изгибом спины. Руки широко раскинуты по сторонам повернутого назад тела — это адава-джетхи... конечно, и пальцы сильно растопырены и выгнуты в обратную сторону — алападма. Вот руки сложились ладонями над головой — анджали — одна из красивейших поз.

«Ди-ди-тхай, ди-ди-тхай, — чей-то высокий голос начал напевать из мрака за колоннами — тхай-татх-тхай-хи».

Тревожно сыпали свои глухие и гулкие удары барабаны, недобро отдававшиеся среди стен и колонн. Звуки саринг походили на вскрики, а вина звенела долгими дрожащими стонами, спадавшими резким отрывом. Барабаны учащали свой стук и шли в стремительном темпе,

перебивая друг друга то на четверть, то на половину счета. Зачарованно смотрел Даярам на бронзовое тело, отвечавшее каждым мускулом сложному рисунку ритма. Странный танец не походил на что-либо известное художнику. Может быть, это была импровизация, в которой смешались Индия и Запад? Что-то напоминало тантрические заклинания, рисунки которых он видел в исследованиях танцев северо-восточной Индии, но мусульманское танцевальное искусство, несомненно, составляло основу.

Резко пахло курительными палочками, светлый дым которых то стелился над плитами пола, то завивался спиральными струями вокруг бедер Тиллоттамы, увлекаемый стремительным вращением танцовщицы. К курениям примешивался аромат особенных духов — Даярам запомнил их еще в первую встречу, только сейчас запах духов был гораздо сильнее.

Благоговейное преклонение вчерашней ночи, владевшее художником весь день, исчезло. Он смотрел на изгибавшуюся спину девушки, быстро раскачивавшиеся бедра, плоский живот с игрой сильных мускулов, совершенно несвойственной индийским танцам. Вихрь вертящихся движений, резкая остановка, окаменевшее, как темная статуя, тело, и вот по нему пробегают медленные извивы. Учащается напряжение и расслабление упругих мышц, нагнетается чувство накала, собирания сил перед грозным прыжком. Именно грозна сейчас танцовщица. От движений Тиллоттамы исходит гипнотизирующая сила, недобрая, но могучая, как изгибы змеи, чарующей избранную жертву. Очень древняя, темная власть над дремлющими и неодолимыми глубинами души. Казалось, что барабаны выбивают: «Тилло-ттама-тилло-ттама... Тил-лот-та-ма... Ти-и-и-ло-о-та-та-та-та-а!»

Даярам стал невольно раскачиваться в такт, не сводя с нее глаз. Она резко остановилась. На ее губах играла дерзкая, вызывающая улыбка. Накрашенные кончики твердых высоких грудей казались черными, усиливая впечатление недоброй силы, излучавшейся от танцовщицы. Она устремила сильно подведенные глаза прямо в сторону Даярама, и сердце его замерло, как будто Тиллоттама могла его увидеть. Даярам отвел взгляд, облизывая пересохшие губы и не смея пошевелиться.

— Достаточно! Так пойдет! — загремел на урду нечеловеческий голос, раскатившийся по всему храму.

Художник в испуге отшатнулся, ударившись головой о карниз так, что потемнело в глазах.

Вспыхнули голубоватым слепящим светом направленные в его сторону прожекторы. А голос сверху продолжал греметь, отдаваясь в храме, наполнившемся шумом многих голосов.

— Приготовиться к съемке! Внимание! Молчать!

Даярам выскочил из ниши, слепо устремившись в темноту галереи, вместо того чтобы укрыться в святилище.

— Начали! — заорал невидимый и оборвал команду, когда Рамамурти запутался в проводах, протянутых поперек галереи, и повалился, увлекая за собой треножники с прожекторами.

— Что там такое, сыны свиньи? Дайте свет в галерею!

— Хулиган забрался в храм, Хазруди-махашай!

— Ловите гадюку, бейте чем попало! — заорал мегафон. — Ахмед и ты, Алибег!

Даярам вскочил, увернулся от налетевшего на него человека в синем тюрбане и отскочил в темноту. Теперь знание всех закоулков храма было на его стороне, и через несколько минут, весь дрожа, он укрылся на том же высоком балконе, где спал полчаса назад.

Гудение за стеной стало отчетливее. Теперь из галерей и с балконов в темноту били пучки сильного света. Барабаны глухо отдавались в коническом потолке гарбхагрихи, и Рамамурти ярко представил себе, как сейчас там, внизу, Тиллоттама, вся залитая лучами прожекторов, исполняет свой тантрический танец. Исполняет — это верное слово! Так вот в чем тайна девушки — она артистка кино!

И ее вчерашний одухотворенный и одинокий танец всего лишь подготовка настроения к роли девадаси! О боги! Но чего же он, собственно, ожидал — что девушка окажется служительницей неведомых богов и жрицей давно умерших обрядов? Как могло бы это быть? Только в исступленной фантазии художника...

Ревнивое, ядовитое чувство жгло Даярама.

Она пришла, опоздав на полчаса, в пределах индийской нормы. Но чувство времени у нее, видимо, было европейское, потому что она стала оправдываться:

— Случилось непредвиденное обстоятельство, и мне пришлось задержаться.

— Знаю! Это непредвиденное — я. Я запутался в проводах и опрокинул ваши осветители, — угрюмо признался художник, оставив первоначальную мысль скрыть свое участие.

Тиллоттама выпрямилась, оттолкнувшись от перил балкона, и некоторое время молчала, затем спросила очень тихо:

— Вы все видели?

— Да!

Прошло несколько минут, пока Тиллоттама сказала:

— Я не собираюсь скрываться. Просто мне хотелось, чтоб вы узнали все, что нужно, когда вы... я... мы лучше познакомимся.

Она провела рукой по лицу и шепнула:

— Даярам! — Имя художника, произнесенное ею едва слышно, будто придало храбрости Тиллоттаме. Она продолжала быстро и решительно: — Вы не верите мне? Вы еще не видите...

— Нет, вижу! Я увидел вас еще тогда, когда вы склонялись над изваянием женщины у льва! Когда вы слушали мои рассуждения о древних художниках, замирали перед сурасундари. И более всего, когда вы пытались познать сущность жизни через священный танец арати, одна, поздней ночью, вчера.

Тиллоттама подавила крик изумления, отступив, насколько позволяла ограда балкона.

Рамамурти сделал шаг к недвижно застывшей Тиллоттаме.

— Вчера... — И художник разразился потоком несвязных слов, пытаясь выразить всю глубину своих переживаний при виде живого образа многолетних грез об Анупамсундарте. О приливе героической силы, зове подвига, о стремлении пасть на колени и молить сделаться моделью, неприкосновенной небесной апсарой.

Даярам, и в самом деле пораженный необычайной силой чувств, опустился на колени и поднял взгляд вверх, к огромным глазам Тиллоттамы, еще более расширившимся на побледневшем лице.

— Было ли когда-нибудь, что модель художника не становилась его возлюбленной? Было? Отвечайте! — спросила танцовщица.

Даярам молчал, судорожно стараясь припомнить.

— Вот видите! И даже апсары, спускаясь с неба, отдавались мудрецам и героям. Есть тому глубокая причина, и мне кажется, что чувство красоты накрепко сплетено с чувством любви и страсти.

— Это так, но я клянусь...

Тиллоттама положила концы пальцев на губы Даярама.

— Не надо твердить то, что невозможно! И поднимитесь, прошу вас. Я не богиня, не апсара, не дочь магараджи, как вам показалось. Всего лишь танцовщица, играющая в скверных западных фильмах об Индии. Слушайте же мою историю!

Тиллоттама лишь смутно помнила городок на каменистом уступе отрогов Кардамоновых гор, потом ряды пальм на берегу океана, заросли тростника вдоль лагун, когда ее везли по тихой воде в большой лодке с навесом. Она выросла в доме матери. Пяти лет мать отвезла ее в Мадрас, где жил старший дядя, вечно занятый, суровый человек. Два года провела маленькая Амрита в закрытой танцевальной школе где-то на окраине северной части большого города и научилась говорить по-тамильски.

— Малаялам, тамиль, хинди, урду — неплохой запас языков для артистки, — улыбнулся Даярам. — Вы вроде нашей южноиндийской звезды Ревати. Та играет на пяти языках — малаялам, каннада, тамиль, телугу и сингалезском.

— Мне вы можете добавить еще английский — тоже будет пять, — спокойно сказала Тиллоттама.

...Амрите было семь лет, когда мать ее сильно заболела. Что-то произошло в доме дяди, что именно — девочка не могла понять. За ней приехала родственница (мать называла ее сестрой, но она не была похожа на найярку) — совсем юная женщина, жившая с мужем где-то в Бенгалии. Она увезла маленькую Амриту к себе. Но судьба все разрушила. Девочка не знала, что, собственно, произошло, и лишь позднее поняла, что обе — «сестра» матери и она — попали в самый разгар чудовищных беспорядков, убийств, грабежей и фанатического изуверства, охвативших Индию при разделе между мусульманами и индийцами в 1947 году.

Амрита до сих пор помнит горящую станцию, крики убиваемых пассажиров-индийцев и яростные вопли му-

сульман, паническое бегство под покровом ночи, знойную дорогу следующего дня с вонью разлагающихся трупов, с встречными людьми, озверело мечущимися, чтобы отомстить убийцам их близких.

— Какая у нас короткая память, — горько сказала Тиллоттама, — совершилось чудовищное злодеяние. Оно не могло возникнуть само по себе. Кто в этом виноват? Странно, но до сих пор никто не расследовал это до конца. Кто-то старается заглушить в нашей памяти последствия.

— Вот вы тоже были последствием. — И художник нежно коснулся кисти ее руки, лежавшей на выступе камня.

Тиллоттама вздрогнула, будто весенняя ночь, жаркая и сухая, наполнилась холодным зимним ветром.

— Не «была», а «есть». Вы не знаете, какие последствия. Так слушайте, — и она продолжала рассказ.

«Сестра» матери Шакила, сама очень молодая, совершенно потерялась в беде. Амрита помнит, что их посадили в поезд, бешено летевший на запад, в направлении, противоположном тому, куда они ехали вначале. Снова была длительная остановка, и снова они бежали, пока не нашли приюта в богатом доме, где прожили несколько дней. Потом дом разграбила банда, в качестве добычи захватившая наиболее приглянувшихся женщин. Шакила вместе с Амритой в конце концов оказались в Пакистане, вместе с сотнями других молодых и красивых женщин, похищенных и проданных бандитами в публичные дома.

— До сих пор ведутся переговоры о выдаче девушек с той и с другой сторон, — закончила Тиллоттама. — Я знаю, что вернули в Индию около сорока женщин.

— Так их больше?

— Гораздо больше! Но многие молчат: зачем они вернутся, как будут жить?

— А Шакила?

— Отравилась в пятьдесят втором году.

— А вы?

— Я не видела ее с тех пор, как меня отдали на воспитание к бывшей девадаси. Из тех, кого звали Лакшми Калиюги, с именем Венкатешвары, выжженным на бедре. Она была не злая женщина и много знала. Учила меня танцам, искусству обольщения, умению украшать себя. Рассказывала наизусть целые страницы Махабха-

раты. Ну и, конечно, учила всему, что сама почерпнула из Камасутры, Рати Рахасьи и Ананги Ранги...

— Словом, из всех древних сочинений по науке любви... А что же потом? — нетерпеливо подогнал рассказ художник.

— А потом я стала старше, и меня учила другая — мусульманка откуда-то из Северной Африки. Тоже танцам — только другим... арабским...

— А потом?

— Я вернулась к старой хозяйке.

— В этот... дом?

— Да, но после полученного образования я стала слишком ценной. Не прошло и двух месяцев, как хозяйка продала меня одному богачу. Он заплатил много!

— Сколько вам было лет?

— Семнадцать. Я совсем выросла по южноиндийскому понятию. В Лахоре считали, что мне больше.

— Как же вы попали в кино?

— Мой повелитель был уже стар и счел более выгодным, чтобы я танцевала в ночном клубе. Меня увидел режиссер Хазруд и привел продюсера. Тот решил, что я очень пригожусь для «специальных» фильмов, уплатил еще более крупную сумму, чем та, которую отдали за меня хозяйке, и вот я здесь. Звезда специальных фильмов, безыменная и несвободная, фактически — рабыня...

— Специальных — это значит, простите меня, порнографических?

— Что ж, это правда!

— О боги, о боги! Как же так! В наше время! — Даярам заметался в отчаянье. — Но почему же вы... можно бежать, вернуться к своим?

— После того как пятнадцать лет была неизвестно где? Да нет, хуже, известно где, без документов, без родных. Семилетняя девочка не знала ничего, только одно свое имя! Куда бежать? И как бежать? Купившая меня кинокомпания не лучше гангстерской шайки. Везде свои люди, везде взятки, по пятам за мной ходят провожатые, одного из них вы видели. Это здесь, а в большом городе меня вообще никуда не пускают одну.

— Но ведь вы же знаете языки, даже английский. Как?

— Продюсер — глава фирмы — американец португальского происхождения. Он нанимал учителей... он хочет сделать меня главной звездой.

— Таких фильмов? А вы?

— Что угодно, только не туда, где погибла Шакила! У них есть способы крепко держать меня.

— Какие?

— Лучше не говорить!

Взошедшая луна осветила ее поднятую голову и полные слез глаза, смотревшие так глубоко и пристально, будто вся душа Тиллоттамы пыталась перелиться в душу художника.

Рамамурти схватил ее руку.

— Тама, я готов сделать все. Пойдемте со мной. Я не богач, не родич влиятельных лиц, а только бедный интеллигент. Все, что я могу, — это увезти вас, вы обретете вновь родину и положение человека... Бежим скорее!

Она вздохнула глубоко несколько раз, стараясь подавить охватившую ее дрожь, и покачала головой.

— Не сейчас, Даярам! Надо выбрать время, иначе вы подвергнетесь большой опасности, а меня увезут, и мы больше никогда не встретимся.

— Когда же?

— Через два дня мы закончим здесь съемки. Потом мы должны ехать к магарадже Рева, его княжество недалеко отсюда. Ночью послезавтра — вот когда. Надо исчезнуть так, чтобы они не смогли сразу напасть на след и мы бы успели скрыться в глубь Индии.

— В Траванкор?

— О-о! — И опять волна нетерпеливой дрожи прошла по ее телу.

— Значит, на вторую ночь после этой, в час ночи, здесь.

— Нет, лучше в развалинах часовни, сразу за гостиницей. Там рядом дорога.

— Условлено! Если что-нибудь изменится — почтовый ящик в пасти льва.

— О боги! Боюсь подумать! А теперь пора!

Даярам перескочил перила балкона и бережно принял Тиллоттаму, прыгнувшую следом. На миг ее крепкое горячее под тонким сари тело прикоснулось к нему, и у Даярама перехватило дыхание. Она отступила, тревожно оглянувшись.

— Не надо, не провожайте меня!

— Я только до ограды, сквозь кусты!

Художник довел ее до выхода на дорогу к гостинице. Тиллоттама повернулась, сложила руки в намасте, и сно-

ва Даярам увидел ее громадные глаза, старавшиеся заглянуть в потайные недра его души. Теперь в ее взоре ярче всего светилась надежда. Кто смог бы обмануть ее? Уж, во всяком случае, не он!

Рамамурти поспешил домой, подсчитал все имеющиеся деньги и необходимые платежи и, успокоившись, уснул так крепко, что встал на час позже обычного. Не теряя времени на завтрак, Даярам пошел к автобусной станции, чтобы добраться до ближайшего городка. Он быстро шагал, задумавшись, и не заметил, что на его пути стоит, широко расставив руки, стройный юноша в высоком тюрбане.

Рамамурти натолкнулся на каменную грудь, отскочил и упал бы, если бы не приготовленные объятия.

— Анарендра! Откуда ты? — радостно вскричал Даярам, узнавая друга, с которым вместе учился и вместе проделал часть своих странствований по Индии.

— Я здесь по призыву учителя. Приехал помогать ему, приглашенному для участия в историческом фильме. А ты по-прежнему ищешь ее, Анупамсундарту?

— Нашел, — серьезно сказал Даярам, но приятель принял это за шутку и одобрительно погладил его по плечу.

— Покажешь мне Кхаджурахо? Я здесь всего час!

— Если хочешь — вечером. Сейчас я спешу на автобус.

— Зачем? Можно попросить автомобиль учителя, и я сам отвезу тебя.

— О боги! Это помощь Лакшми! Скажи, ты можешь сделать это не сегодня, а послезавтра? Только очень рано? Ты мне поможешь, как никогда!

— Разумеется! Но почему такой торжественный тон? Что с тобой, ты нервничаешь, как никогда?

— После поймешь.

— Согласен и на это.

Они повернули к храмам.

Анарендра Кинкар был художником-декоратором, он уделял своей профессии лишь половину времени, предаваясь усиленным занятиям хатха-йогой, то есть тем тщательным, требующим необычайной твердости характера и воздержанной жизни физическим самовоспитанием, которое иногда по невежеству путают с искусством восточных фокусников. Телесная развитость Анарендры часто ставила Даярама в тупик, и к его восхищению примеши-

валась изрядная доля ужаса и даже отвращения. Его друг мог принимать немыслимые для нормального человека позы, мог замедлять биение сердца и находиться под водой гораздо больше любого человека.

— Вы будете сниматься как йоги? — спросил его Даярам.

— Да, амплуа факиров. Другого значения нашего телесного воспитания на Западе не понимают.

— И обязательно с дешевым мистицизмом?

— Уверен. Будем производить «чудеса» на фоне храмов, тигров, прекрасных танцовщиц... всей нашей пресловутой экзотики!

Даярам вздрогнул.

— Тогда зачем же твой учитель согласился на эту профанацию?

— Он считает, что есть смысл показать Западу наши пути даже в таком виде. Время привело наши культуры в тесное соприкосновение, но для того чтобы соединиться, необходимо понимание и общность цели. А у кино есть две очень важные силы — документальность снимка и миллионы зрителей. Таковы его слова.

— Он умный человек, твой гуру. Я давно хотел бы познакомиться с ним. Скажи, это он согласился демонстрировать себя высоким гостям из России? Лег под доски, по которым проехал грузовик с людьми? И что-то еще...

— Да, это он сделал, из тех же побуждений. Я буду очень рад, если ты придешь.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ТРОПА ТЬМЫ

После спада жары Рамамурти собрал свои наброски скульптур Кхаджурахо и направился в поселок у храмов к Анарендре и его учителю. Он нашел знаменитого гуру сидящим на ковре в затененной комнате гостиницы.

Учитель хатха-йоги Шарангупта Джанах скорее походил на добродушного буйвола, чем на мудреца. Его облик несколько разочаровал художника. Обритая наголо круглая голова и чудовищные мускулы шеи, отходнвшие прямо из-под ушей к внешним углам плеч, никак не создавали впечатления интеллектуальности. Не менее могучие мышцы проступали под тонким полотном вполне современной рубашки. Шарангупта был выше среднего роста, но массивность корпуса делала его приземистым. Только когда Даярам присмотрелся к блестящим, чистым, как у ребенка, глазам этого человека, которому не могло быть меньше сорока пяти лет, он увидел в них острый ум, юмор и наблюдательность, терявшиеся от ощущения слишком большой физической силы и здоровья.

Шарангупта предложил Рамамурти омыть ноги в бассейне за занавеской, угостил фруктами с чистой водой. Беседа быстро перешла на изыскания Даярама, и хатхайог очень заинтересовался соображениями о древнем физическом идеале. Шарангупта был уверен, что изваяния Карли, Матхуры и Санчи создавались как портреты живых моделей, а не являлись плодом воображения древних мастеров. Он говорил, что в те отдаленные времена физическое воспитание было очень сложным и строгим, так как трудные условия жизни требовали для преуспеяния выдающегося здоровья и крепости. Поэтому многие методы хатхи-йоги тогда были во всеобщем употреблении. Лишь после мусульманских завоеваний, а тем более анг-

лийского владычества, они стали достоянием немногих, окруживших вдобавок эту столь земную науку покрывалом тайны и мистики. Шарангупта показал Даяраму, какие из упражнений способствовали развитию «красоты силы», как он выразился о средневековом каноне, и художник понял, что современная цивилизация почти исключает развитие и умножение его.

Даярам сверился с временем, лишь когда прошло два часа, и ужаснулся своей невоспитанности. Они вышли вместе с Анарендрой, и тот позвал его на минуту в свою комнату, чтобы условиться о встрече на завтрашний день. Даярам не успел еще рассказать другу о встрече с Амритой-Тиллоттамой и своих планах, как в дверь постучали. Вошел плечистый мужчина, державшийся с уверенностью магараджи, явный иностранец, однако хорошо говоривший на урду.

— Я зашел поздороваться, господин Кинкар, и заодно убедиться, что вас устроили удобно. Только что из Бомбея. А, простите, вы не один!

Анарендра представил художника своему «хозяину» — американо-португальцу, продюсеру фильма Стивену Трейзишу.

— Я, как всегда, удачлив, — объявил вновь пришедший. — Мне не хватало здесь именно художника, знающего храмы. О, только для небольшой консультации. Чтобы быть абсолютно уверенным в правильности выбора фона съемки. Вот что, господа, мы деловые люди, любим быть на короткой ноге со сверстниками. Пойдемте ко мне. Выпьем, поговорим... Впрочем, простите, знаю, что у индийцев это не принято, но чай и лимонад у меня великолепны. Вы оба художники, так проведем консультацию поскорее. Кстати, завтра вечером начнем съемку ваших эпизодов, хорошо?

Даярам, немного ошарашенный потоком быстрых слов, вопросительно посмотрел на друга. Анарендра, любезно улыбаясь, отказался под предлогом коллоквиума с учителем. Тогда американец повернулся к Даяраму. Художнику нестерпимо захотелось посмотреть поближе хозяина Тиллоттамы.

Даярам согласился.

Узнав, что художник живет в деревне, Трейзиш повел его прямо к себе, и он едва успел условиться с другом о встрече на завтра.

Трейзиш занимал два соединенных вместе номера, убранных коврами и низкими столиками «могольского стиля», который создает иностранцам иллюзию «Востока». В комнате, оборудованной под гостиную, было душно. Деревянные крылья двух вентиляторов не могли разогнать теплый воздух, пропитанный запахом табака, алкоголя и крепких духов. Навстречу поднялся большеголовый человек афганского типа, в темно-красной феске, с лицом, изборожденным морщинами.

— Я поджидал вас, сэр. — Голос, хриплый и громкий, сразу вернул Даярама к моменту ужасного потрясения в храме Вишванатха. — Завтрашний план не меняется?

— Почему? Все идет хорошо. Познакомьтесь, — небрежно проговорил продюсер, — это художник Рамамурти, а это известный режиссер Хамруд.

— Из Пакистана? — преувеличенно любезно осведомился Даярам.

Хамруд, что-то прочитавший в лице художника, посмотрел на него со скрытым подозрением.

— Вероятно, я видел ваши картины на выставках, кажется, помню.

— Не старайтесь вспомнить то, чего не было. Я скульптор, — пояснил Даярам, сам удивляясь своему желанию уязвить пакистанца.

— А-а, — протянул режиссер, показывая полнейшее равнодушие ко всем скульпторам мира.

Трейзиш поспешил устранить натянутое молчание, усадив гостей в глубокие европейские кресла.

— Мы попросим господина Рамамурти посоветовать нам экспозиции и планы, наиболее интересные с художественной и исторической точки зрения.

— Для этого мне нужно знать цель и содержание вашего фильма. А вообще Кхаджурахо снят несколько лет назад правительственной киностудией Индии. Фильм получил первую премию на международном фестивале. Кажется, в Маниле.

— Вот это деловой разговор, я не ошибся в вас! — воскликнул довольный продюсер, хлопая Даярама по колену. — Конечно, мы знаем фильм Вадхвани, и его успех как раз побудил нас выбрать Кхаджурахо. Сигарету? Лимонаду?

Рамамурти отверг первое и принял второе. Трейзиш продолжал:

— Мы производим фильмы не для Индии, а для Запада и для Пакистана тоже. Я считаю самыми выгодными романтические фильмы, с приключениями. Верный сбыт и широкий спрос. Но сейчас зритель стал умнее и требовательнее, его не проведешь дешевыми декорациями в стиле Тарзана или Кин Конга. Нет, мы хотим дать подлинную Индию с ее храмами, джунглями, развалинами...

— А что вы имеете в виду, говоря о романтике?

— Ну, боже мой, о чем мечтает массовый зритель, усталый от угрозы войны, политики, неустойчивых заработков и неопределенного будущего? Надо перенести его в совершенно иной мир, где будут невиданные страны, подземелья с тайнами, факиры с чудесами, прекрасные девушки и отважные героические принцы. Но сейчас, в век путешествий, реактивных самолетов, телевидения и спутников, уже трудно заставить зрителя поверить в то, что это может происходить где-нибудь на нашем шарике. Значит, фильм или должен быть историческим, или уводить в космос, на далекие планеты. Меня не интересует космос, но исторические фильмы — это реальный бизнес, это возможность самой причудливой фантазии, потрясающих приключений. И этот наш фильм будет историческим боевиком. Приключения храмовой танцовщицы — девадаси, похищенной из храма, разрушенного во время мусульманского завоевания Индии, проданной в гарем и спасенной оттуда индийским принцем.

Мы не поскупимся на съемки храмов и подземелий, поедем в Эллору и Аджанту, а до этого проведем месяц у магараджи Рева. Там, где водятся огромные белые тигры. Они поймали несколько штук, и теперь магараджа разводит их в одном из своих заброшенных дворцов в Говиндархе. Как это удачно — тигры прямо во дворце. И еще факиры! Ведь вы уже встретили вашего друга...

Даярам улыбнулся — уж очень сильно отличался облик его тонкого и образованного друга от странствующего факира, хитрого фокусника. Продюсер заметил усмешку художника и весело подмигнул ему.

— Я, конечно, не дурак и понимаю, что ваш друг, как и его учитель, — образованные люди, согласившиеся играть свои роли с определенными целями. Ну что ж, это устраивает их и меня, плюс еще порядочная оплата за затруднения. Время вы, индийцы, кажется, не так цените, как мы, европейцы и особенно американцы.

— Это не совсем верно. Просто у нас с вами разная оценка событий жизни, и многое, чему вы придаете значение, не интересует нас.

— Однако деньги — они нужны всем?

Рамамурти пожал плечами. Вступать в дискуссию с бизнесменом показалось ему бессмысленным. Он начал называть интересные точки съемки, показывая зарисовки, фото и планы храмов. Режиссер, вначале слушавший скептически, стал одобрительно постукивать пальцами по столу и кивать головой, непрерывно дымя сигаретой. Хозяин подливал ему и себе какой-то крепкий напиток. Режиссер делал торопливые отметки в съемочном плане и еще каких-то листах.

— Ай, хорошо, аччп! — воскликнул Хамруд, когда Даярам кончил. — Вы верно поступили, бара-сагиб, найдя умного муртикара. Но я пойду, с вашего разрешения. Салаам!

Даярам тоже поднялся. Трейзиш энергично запротестовал.

— Мы еще не рассчитались!

— Ничего не нужно. Для меня это не составило трудности, а время — мы, индийцы, его не ценим, — улыбнулся своей открытой улыбкой художник.

— Но тогда позвольте же угостить вас чаем! Не отказывайтесь, иначе вы просто обидите меня. Я же принял вашу помощь!

Трейзиш позвонил в колокольчик и что-то негромко сказал явившемуся слуге.

— Сейчас вы познакомитесь с нашей звездой, исполнительницей роли девадаси. Ее зовут Тиллоттама — это, конечно, только псевдоним, но он хорош... Что с вами? Вы боитесь женщин?

Даярам уже овладел собой.

— Пустое, у меня иногда случаются боли в сердце. Они быстро проходят!

— Ручаюсь, что сейчас вы получите сердечную боль, которая не скоро пройдет, — громко рассмеялся хозяин, уже немного захмелевший.

Художник, у которого все внутри затрепетало, попросил сигарету. Трейзиш протянул было портсигар, подумал, отдернул руку и поспешно встал.

— Я угощу вас самыми лучшими, — продюсер достал из ящика стола лаковую японскую коробку, набитую сигаретами в красно-золотой бумаге. Даярам глубоко вдох-

нул душистый дым с каким-то более резким, чем у обычного табака, привкусом.

Быстро вошедшая в комнату Тиллоттама побледнела и замерла от неожиданности. Хозяин представил гостя, и Даярам неуклюже поклонился, не сводя с нее глаз. Трейзиш внимательно посмотрел на обоих и громко расхохотался.

— Впервые вижу мою дерзкую девочку такой растерянной! Что художник погиб с первого взгляда, то это закономерность. Но ты, Тиллоттама!

Тиллоттама оправилась от неожиданности и быстро заговорила на малаяламе, гневно глядя на художника:

— Зачем вы здесь? Не доверяйте ему ни в коем случае! Это очень опасный человек, помните, Даярам!

Художник ободряюще улыбнулся. Продюсер обхватил девушку за талию, привлекая к себе жестом собственника, и все закипело в душе Рамамурти.

— Честно говоря, если бы я не знал, что это невозможно, я подумал бы, что вы давние друзья. И что это за манера говорить на каком-то собачьем языке в моем присутствии? Что за тайны? Давайте же пить чай, который я обещал мистеру Рамамурти полтора часа назад. Садитесь, наконец!

Тиллоттама наотрез отказалась.

Трейзиш равнодушно пожал плечами.

— Я думал, что ты составишь нам приятную компанию. Иди!

Тиллоттама поклонилась и на пороге опять посмотрела на художника глубоким и тревожным взглядом.

— Даярам, эти люди — они совсем другие, чем мы, чем вы. Не доверяйте ему!

Тиллотама встряхнула голубыми цыганскими серьгами-кольцами и исчезла за дверью.

— Как вы ее находите? — спросил американо-португалец, отвергнув услуги боя и сам разливая чай.

— Вы считаете нужным спрашивать?

— Я не имею в виду ее женских качеств, — сухо сказал Трейзиш, — об этом я могу судить сам. Годится ли она на роль девадаси, как по-вашему?

— Во всей Индии не найдете девушки, более подходящей, — искренне ответил художник. — Она воплощение читрини — женщины-блеска, самой прекрасной в физическом смысле из тех четырех категорий, на какие делит женщин наша древняя литература. Насколько я по-

нимаю, именно читрини больше всего подходят для кино. Недаром она всегда считалась подругой художников и музыкантов.

Трейзиш удовлетворенно хмыкнул.

— Вот видите! Правда, она обошлась мне недешево, в цену хорошей яхты. Едва я ее увидел в ночном клубе, как понял, что эта девушка — редкостный клад... Вы позволите, я к чаю добавлю себе двойного. — Трейзиш придвинул широкую рюмку.

— Я знаком с вашими поговорками и преданиями, — продолжал Трейзиш, — например, шесть обязанностей жены: в работе — слуга, в разговоре — мудрец, в красоте — Лакшми, в стойкости — как Земля, в заботе — мать, в постели — блудница.

— Что вы этим хотите сказать? — прервал его Даярам.

— Ничего, если вы не поняли, что я воспевал качества, знакомые мне в индийской женщине.

— И какое же из них вы находите самым важным?

— Я — таоист и часто прибегаю к лекарству Трех Гор, чтобы снимать нервное напряжение...

Даярам не понял хозяина, хотя по гадкой его усмешке догадался, что он чем-то порочит Красу Ненаглядную.

Рамамурти испытывал странное возбуждение и раздражение. Продюсер сидел, откинувшись и выпятив грудь, не спуская с художника прищуренных темных глаз. Все в его лице с крепкими челюстями, слегка горбатым носом, крупным ртом и высоким гладким лбом дышало уверенностью, столь сильной, что она граничила с наглостью. Рамамурти взял вторую сигарету.

— Мне не совсем понятны выражения «обошлась недешево» и «цена», — начал художник, стараясь говорить безразлично. — Разве в наши дни есть рабыни? И разве закон не карает за торговлю живым товаром?

— Мой молодой друг, вы наивны. Даже в Европе и Америке промышляют этими делами. Утянуть красивую девчонку из деревенской глуши и продать в публичный дом подальше. Что же говорить про ваши дикие страны! Особенно тут поживились во время резни сорок седьмого года. Но я шучу, разумеется, мы, американцы, люди с большим юмором, и это надо понимать! — добавил Трейзиш, заметив недобрый огонек, появившийся в глазах гостя. — Дело обстояло совсем наоборот. Я спас эту дев-

чонку от публичного дома и ночного клуба, сделал киноактрисой.

— Порнографических фильмов?

— Э, да вы знаете больше, чем я думал! Догадливые люди опасны, ха-ха-ха! Но ведь это только с точки зрения цензуры, особенно вашей, индийской, да еще, насколько знаю, русской. Ваш президент комитета киноцензуры выступал в газете и высказывал, что с точки зрения индийца не только нагота женщины, но даже публичные поцелуи недопустимы.

А с нашей, западной точки зрения фильм без секса, без того, чтобы показать красивую девчонку раздетой, — как ваш индийский фильм без пения и танцев! Да ведь и у вас так стало только после мусульманских завоеваний! А до того — кто был смелее во всем мире в вопросах секса, как не индийцы? Посмотрите в окно, на храмы Кхаджурахо! Да, о чем я говорил? Ага, неприкрытая девчонка, и фильм уже попадает в разряд порнографических! И черт с ним! Вы не знаете этого, но частный прокат для любителей у нас ненамного меньше широкого показа для всей публики. А стоимость его значительно выше — доходная вещь!

— Но ведь вы, кроме всего, человек искусства, — возражал Даярам. — Вы должны обладать совестью и вкусом настолько, чтобы видеть цель и грань дозволенного. Можно показать женщину совершенно обнаженной и в то же время кристально чистой и благородно прекрасной. Можно изобразить страсть так, что в ней не будет ничего аморального, да посмотрите вы как следует на те же скульптуры Кхаджурахо. Или вы, европейцы, видите их другими глазами?

Продюсер налил себе еще вина, а художнику — чаю.

— В отношении Кхаджурахо — вы правы. Надо обладать накаленным сексуальным воображением или быть мальчишкой десяти лет, чтобы посчитать их аморальными. Но, дорогой мой, в этом-то и дело. Все фотографы красивых моделей знают, что полная нагота не имеет, ну, как это сказать, мы называем это секс-эппил — полового призыва. Чтобы получить его, надо искусно полураздеть женщину. Без этого снимок не будет иметь спроса, следовательно, успеха. Также и в фильмах — нас вовсе не интересует обнаженность и красота, а только секс-эппил. Пусть это даже будет некрасиво! Для всего есть свои законы, и, поверьте, они нами изучены.

— Охотно верю! — воскликнул Даярам, стискивая кулаки от возмущения. — Изучили, но не поняли, что совершаете преступление? Или вы идете на него сознательно?

— Громкие слова! При чем тут преступление?

— Преступление ваше и вам подобных — в спекуляции на самом лучшем в жизни — на красоте, которая облагораживает и возвышает нас, людей, украшает нашу далеко не веселую жизнь. А вы, вместо того чтобы учить понимать и ценить ее, учите, как втаптывать ее в грязь, как видеть за ней лишь животные чувства самца и самки. Великие боги! Красота — это средство, данное человеку, чтобы возвыситься и отойти от животного, цель, куда стремиться в жизни. А вы пользуетесь ею по изученным вами законам, не возвышая, а принижая и деморализуя людей. Да вы хуже, чем политики! Те лгут и обманывают нас словами, выворачивая все понятия долга, чести, свободы и права на пользу своей группировки, так что у обыкновенного человека голова идет кругом. Убедившись в обмане, он перестает верить словам. Но слова — еще полбеды. Вы подрываете веру в красоту, а это страшная беда для будущего, для тех, кто пойдет по жизни уже смолоду отравленным вашими змеиными произведениями!

Трейзиш слушал Даярама, сильнее прищуривая глаза и дымя сигаретой. Когда художник остановился перевести дух, американец положил ему руку на колено и сказал дружеским, доверительным тоном:

— Прекрасная проповедь! Не воображайте, что я ничего не понимаю. Но вы художник, родившийся с культом красоты в душе, с верным ее чувством и вкусом. А что же делать тому, у кого нет ничего этого, а есть вполне здоровая тяга мужчины к красивой женщине? Только, и не больше.

— Его надо и можно научить понимать красоту. Вы сами сказали: тяга к красивой женщине. Значит, любой человек понимает, что женщина красива? Значит, у него есть понимание красоты, только неразвитое?

— Да, черт побери, любой кули знает, но будь я проклят, если понимаю, как он знает. Инстинкт какой-то!

— Пусть, не все ли равно. Если в каждом есть такой инстинкт, тогда зачем же его хоронить под спудом житейского мусора? И вам помогать этому?

— Черт, вы ловко спорите и чуть было не убедили меня. Пусть вы правы. Но чтобы научить, надо еще заставить человека учиться, а он по природе ленив. А секс берет его за горло, заставляет краснеть и дрожать, забывать обо всем решительно. Вот в чем сила наших фильмов, и именно она решающий аргумент. Что, впрочем, и доказывается спросом.

— Документальная картина о Кхаджурахо тоже имела громадный спрос!

— Не принимаю сопоставления! Она шла широким прокатом. Дайте свободный от цензуры прокат любому из моих фильмов, и я берусь затмить любую картину стократным доходом!

Даярам презрительно отмахнулся.

— Раньше я сам возмущался узостью нашей киноцензуры, а теперь, поговорив с вами, вижу, что иначе нельзя. Нельзя оставлять щель, в которую вы сразу просунете нечистые руки. Нельзя разрешить чистого и здорового эротизма потому, что вы моментально перевернете его в грязное потакание низменным инстинктам. И опомниться не успеешь! Только сейчас я понял, что именно вы и вам подобные порождаете цензуру и мешаете развитию нормального отношения к красоте человеческого тела и половой морали.

— Слушайте, вы! — внезапно разозлился продюсер. — Вы все это говорите и становитесь в красивую позу лишь потому, что в вашей прекрасной стране вы не видите ни одного такого фильма. Сейчас я покажу вам один из моих фильмов, «Ночной клуб», и если он не оставит вас равнодушным и не вызовет отвращения, а, наоборот, увлечет, то сознайтесь в этом! Я люблю этот фильм и вожу с собой копию. Часто он помогает в деловых переговорах. Нет, не отказывайтесь, это не спортивно. Вы сами вызвали меня, и я принимаю вызов!

— Я видел «Ночной клуб» несколько лет назад. Ерунда! — отмахнулся художник, чувствуя, что ведет себя резко, но не может сдержаться.

Настал черед продюсера презрительно расхохотаться.

— Знаю, что вы имеете в виду!.. Вашу сладкую индийскую водичку производства бомбейской студии «Варма». Там эта кинозвезда, Камини, решилась впервые открыть свои ноги, какое потрясение основ! Правда, ноги не плохи, но на этом все и кончается! Согласен, что ерунда!

Слуга принес чемодан с переносным кинопроектором, второй человек — коробки с лентами. Угрюмый и высокий, с короткой бородой, он напомнил художнику провожатого Тиллоттамы.

Продюсер извинился, что фильм пойдет без звука изза порчи проектора, который сейчас поздно исправить. Он сделает разъяснения по ходу картины, если в них будет нужда.

Мягко застрекотал аппарат, погас свет, на небольшом экране замелькали синие волны моря и розовые пески берегов.

Даярам, собиравший свои рисунки, уронил два листа. Пока он искал их под столом и укладывал в папку, титры уже прошли. Нагнувшись, художник почувствовал небывалое при его хорошем здоровье недомогание. Зазвенело в ушах, все звуки стали фантастически громкими. Мягкий шум проектора раздавался в комнате, как рокот мощного автомобиля. Голова сделалась странно легкой, а цветная гамма киноленты резала глаза густотой красок. Даярам выпрямился в кресле, стараясь справиться с недомоганием, и увидел идущую по берегу навстречу ему женщину. Что-то радостно-знакомое было в ней, одинокой, развевающей массу распущенных черных волос по ветру, как победное знамя женственности. О, это была Тиллоттама! Одетая в плотно облегающий корсаж из черного, расшитого серебром бархата и шаровары из прозрачного голубого газа.

Даярам окаменел в кресле, борясь с недомоганием, и закрыл глаза.

Лишь когда оборвался шум аппарата и вспыхнул свет, Даярам повернулся к продюсеру и заставил себя спокойно улыбнуться.

— Ну как? — спросил тот, перематывая пленку.

— Пустяки! — как можно равнодушнее ответил художник.

— Пустяки! — возмущенно возопил американец. — Так здесь ведь играет Тиллоттама.

— Я заметил зто, — иронически подтвердил Даярам.

Продюсер только развел руками.

— Ну, тогда сейчас одна из лучших сцен — после портового кабачка она попадает в роскошнейший клуб города и обольщает миллионера! Смотрите, а я сяду рядом, чтобы объяснить суть дела! Мне кажется, вы ее не уловили.

На этот раз трюк с закрыванием глаз не удался, потому что Трейзиш все время наклонялся к Даяраму, шепча пояснения. Даярам так часто отворачивался, выслушивая продюсера, что тот умолк. Художник применил его хитрость: скосил глаза в сторону, противоположную той, с которой сидел его хозяин. И все же боковое зрение донесло до него часть действия фильма.

Даярам увидел роскошные залы, низкие и просторные, разделенные комнатными садами и выходящие в парк с большим прудом. Герой, арабского типа красавец в черном вечернем костюме, быстро шел по залам в сопровождении угодливо улыбавшегося и кланявшегося толстяка. В зале, отделанном темно-красным шелком, выстроились, как на параде, очаровательные девушки, одетые в одинаковые костюмы разных цветов — если можно было назвать костюмами туго обтягивавшие фигуру кусочки ткани, едва прикрывавшие середину тела и завязанные на спине тремя большими бантами. В стоявшей немного в стороне девушке в красно-золотом шелке с черными бантами Рамамурти сразу узнал Тиллоттаму.

— Как она заметна даже в таком цветнике! — весело сказал продюсер. — Ее сэкс-эппил очень силен, верно? Наши голливудские секс-бомбы перед ней просто бледная немочь! Старик, который выкупил ее и переуступил мне, был хорошим учителем. Она, ручаюсь вам, единственная танцовщица Пакистана, знающая чуть не все позиции ритуала Рати, сколько их — пятьсот или больше? Конечно, глупо делать такое сокровище публичной девкой. Считают, что хорошая проститутка, обученная и обладающая талантом, приносит такой же доход, как небольшой отель или гараж с двумя десятками грузовиков. Но кинозвезда наших фильмов... о, я просто боюсь назвать вам цифру доходов, чтобы не вызвать зависти.

«Если он сейчас не замолчит, я ударю его», — думал художник, стараясь разглядеть в темноте предмет, достаточно тяжелый. Трейзиш замолчал, закуривая. На экране Тиллоттама и герой удалились в восьмигранный маленький зал с большим зеркалом в серебряной раме на каждой грани и широкими диванами вдоль стен.

— Что же вы встали? — спросил продюсер. — Я сейчас включу магнитофон с натуральной записью происходящего.

— Вы негодяй! Самый большой мерзавец, какого я встретил в жизни! — Даярам уже более не мог сдержи-

ваться. Вцепившись в крышку стола, чтобы справиться с головокружением, он рванул провод киноаппарата. Трейзиш зажег свет, закурил и хладнокровно ответил:

— Я не позволю оскорблять меня! Вон отсюда, пьяный щенок, пока цел! Я-то думал, что имею дело с мужчиной, а не с импотентным недоноском!

Непонятное состояние художника спасло Трейзиша от большой неприятности. Продюсер не знал, что худощавый на вид Даярам обладал большой физической силой и регулярно занимался многоборьем. Но сейчас художник едва стоял на ногах. Вне себя от ярости и бессилия он закричал, сразу же пожалев о неосторожных словах:

— Теперь я все знаю о вас, рабовладелец, растлитель и спекулянт! Правительство моей страны не потерпит здесь вашу гнусную шайку, в сердце Индии. Я позабочусь об этом! Исчезли туги-душители, появились колонизаторы, тоже исчезли. Теперь ползет другая нечисть, душители красоты. Ненавижу вас!

Даярам повернулся и, шатаясь, пошел к двери. Трейзиш метнулся было вслед со сжатыми кулаками, остановился и бросился в кресло с наглым смехом:

— Пошел, цветной пес! Не выдержал, накурился гашиша! Так вы все, прекраснодушные интеллигенты...

Продюсер добавил еще какую-то брань. Даярам ее не расслышал, стараясь поскорее уйти из гнусного места. Так вот в чем дело, этот мерзкий человек угостил его сигаретами с наркотиком! Зачем? Чтобы поиздеваться? Он вначале был искренен... О боги, как трудно идти по прямой! Нет, он не может показаться Анарендре в таком виде! Художник поплелся, медленно переставляя ноги, по направлению к деревне, и путь до храмовой стены показался бесконечно долгим. Он опустился на землю за кустами, сдавливая руками голову. Казалось, она вот-вот разорвется от чудовищно преувеличенных звуков, от гротесковых образов, теснившихся и нагромождавшихся друг на друга, где в диковинном искажении исчезали и появлялись Тиллоттама, Анарендра, Трейзиш, храмы Кхаджурахо.

В это время Трейзиш держал поспешный совет с двумя своими помощниками: патаном Ахмедом, всегда сопровождавшим Тиллоттаму, и желтоглазым балтистанцем в каракулевой шапке набекрень.

— Я видел вашу рани с этим муртикаром еще четыре дня назад, бара-сагиб! — объявил патан.

— О дьявол! Теперь я понял. Сглупил и наболтал лишнее, — бормотал по-английски продюсер, широко шагая по комнате. — Я думал, передо мной обычный простак индиец.

— Можешь идти, Ахмед, а ты, Галиб, останься, — сказал американец на урду.

Едва провожатый Тиллоттамы ушел, как продюсер достал бумажник и вручил Галибу пачку банкнотов по десять рупий. Тот выжидательно и преданно посмотрел на хозяина.

— Убрать муртикара, бахадур?

— Нет, нет! Ни в коем случае, слышишь? Надо действовать по-другому, но не теряя минуты, пока этот одурманенный дурак не добрался до дома.

— Он будет идти до рассвета, бахадур. Памирские сигареты ему не под силу.

Продюсер открыл шкафчик и подал Галибу плоский флакон с виски. Оба склонились над столиком, шепчась, как заговорщики, и в этот момент походили друг на друга, точно братья. Горбоносые, с узкими усиками над тонкими губами, одинаково жестокие глаза...

— Вот ключ от моей машины. Только помни, что убийство вызовет расследование, а на избитого пьяницу всем наплевать!

Даярам, сидевший под деревом в ожидании, пока его тело справится с отравой и мир перестанет колыхаться в преувеличенных чувствах, смутно отметил машину с потушенными фарами, проехавшую по дороге в деревню, повернувшую в поселок. Снова раздался шум машины, приглушенные голоса — вон он, тут! — больно отдались в непомерно остро слышащих ушах. Как смешно эти двое крадутся, оглядываются, словно мальчишки, играющие в разбойников, ха! ха! Даярам закатывался неудержимым хохотом, слезы текли по щекам. Пальцем он показывал на приближающихся людей — какие чудаки!..

Его схватили за ворот, подняли, грубо встряхнули и потащили к машине. Ехали долго, с большой скоростью.

Сигналы встречных машин и рывки торможения учащались — они приближались к большому городу. Еще несколько резких поворотов, фары погасли, и машина, пройдя немного тихим ходом, остановилась. Человек, сидевший на Даяраме, соскочил с его спины и вышел, разминая затекшие ноги. Художник стал приподниматься. Тяжелый удар по виску, и красное море затопило весь

мир. Даярам уже не чувствовал, как зверски и методически его били по лицу, топтали ногами.

Бессознательному Даяраму стали лить виски в горло, разжав зубы. Он пришел в себя, закашлялся, отвернулся, но его держали крепко и влили всю бутылку. Со стоном художник пробовал приподняться, но упал снова. Машина развернулась и ушла в темноту.

Даярам пришел в себя лишь в приемном покое больницы Аллахабада. У него оказались сломаны ребро и рука. Вспухшее лицо изуродовали кровоподтеки так, что, когда ему принесли зеркало, художник с горьким отвращением отложил его в сторону. Пьяного «бродягу» полицейский допросил только на третий день, выслушал его с сердитым нетерпением и стал требовать имена членов его шайки. Что мог сказать ему Даярам?

После наложения гипса, несмотря на адскую боль, он просил выпустить его из больницы, а на отказ врачей требовал директора отделения. Дни шли за днями, и Даярам в страшной тревоге подсчитывал возможные сроки пребывания кинобанды в княжестве Рева. Он звал, умолял, вопил до тех пор, пока его не положили в коридор, и тут он удостоился посещения заведующего, который, даже не выслушав как следует, объявил, что Даярам пробудет здесь ровно две недели, а после этого пусть полиция забирает его и делает что хочет. Взбешенный Рамамурти крикнул, что все равно ночью удерет из этого ада. Заведующий усталым голосом отдал какое-то распоряжение, и немедленно дюжие санитары переложили художника в кровать с крепкими бортами и накрыли ее сверху стальной сеткой. Рамамурти понял, что судьба против него, и покорился ей.

В коридоре лежать было даже немного легче, чем в жаркой палате. Следы ударов сошли, и Даярам снова обрел свое красивое мужественное лицо. Оно немедленно сослужило ему службу: санитар поверил ему и согласился на свои деньги послать телеграмму. Собравшись телеграфировать Анарендре в киноэкспедицию, Даярам сообразил, что телеграмма попадет скорее всего Трейзишу. Сообщить родственникам — ни в коем случае! В это весеннее время можно было не застать друзей, а он не мог рисковать единственным шансом. Даярам решил сообщить о себе в университет Агры, где его учитель-профессор должен был читать весенний факультативный курс об искусстве Матхуры. Витаркананда явился, преодолев

в восточном экспрессе за пять часов расстояние от Агры до Аллахабада. Все изменилось как по мановению волшебной палочки. Один из богатых учеников профессора дал автомобиль, и, несмотря на запрещение врачей, художник вместе с сержантом федеральной полиции понесся в Реву. Но киноэкспедиция уже отбыла.

Даярам заехал в Кхаджурахо за своими вещами и, главное, в надежде что-либо узнать о Тиллоттаме. В деревне сочли его спешно уехавшим и сохранили вещи, лишь исчезла папка с рисунками, забытая на столе у продюсера. Ничего не оставалось, как вернуться в Аллахабад, где, отечески озабоченный, его ждал Витаркананда. У Даярама началось воспаление растревоженных ран, и профессор, устроив его в хороший госпиталь, улетел в Агру дочитывать курс, а потом увез больного в буддийский монастырь Малого Тибета.

Рамамурти поднялся и сел, стуча зубами от холода. Рассветный отблеск снегов проник в келью. Ветер за стеной уныло завывал и свистел. Художник, пытаясь согреться, завернулся с головой в халат. Пронзительные вопли радонгов и рокот больших молитвенных барабанов возвестили пробуждение другой группы монахов, сменивших тех, что молились ночью. Сотня глубоких голосов запела могучий хорал. Круглые сутки не прекращалось пение бесчисленных молитв, похожих на заклинания, потому что их смысл был неизвестен большинству лам. Гулкий удар поплыл над горами — ударили в главный барабан десяти футов в диаметре.

Учитель и художник уединились на самой высокой башне монастыря, за оградой из грубых плит. Ветер утих после восхода, и Даяраму казалось, что весь сияющий простор вечных снегов слушает негромкую речь учителя.

— Я много думал о тебе, Даярам, — начал Витаркананда. — Я не могу звать тебя челой, не потому, что ты уже не юн, а потому, что им не будешь, даже если бы хотел этого... — На протестующий жест Даярама профессор ответил улыбкой. — Ты можешь быть моим учеником в западном смысле слова, не более. Ты чистый человек, ты видишь цель жизни в том, чтобы работать для людей, ты узнал меру в своих стремлениях. Из меры и цели родится смысл и порядок жизни...

На башне появился мальчик-прислужник в запачкан-

ном и разорванном теплом одеянии. Мальчик почтительно поклонился Витаркананде.

— Принеси жаровню, кувшин и чашку для риса, — попросил гуру и умолк в ожидании.

— Учитель, сейчас я утратил и смысл и порядок. Я уже не тот, что прежде: жалкий обломок, который ты подобрал на берегу Джамны. Я говорил тебе о девушке, которая — живой образ Парамрати, выношенный и осмысленный мною в неустанных поисках. Она, как все живое, в тысячу раз прекраснее. Удивительно ли, что я полюбил ее в первый же миг встречи. А дальше стал разматываться клубок грязной паутины, опутавший мою Парамрати, и я... о нет, глупое несчастье со мной здесь ничего не изменило. Другое — тоска по утраченной Тиллоттаме с каждым днем все больше смешивается с не менее мучительной ревностью. Никогда не думал, что это будет для меня сколько-нибудь важным. Больше того, я понимаю, что совершенная красота женщины может возникнуть только в пламени физической любви, сильной и долгой. Но я ничего не могу поделать. Вспоминая ее, мне становится невыносимо думать, что кто-то уже много раз владел ею, продолжает владеть. Прости меня, гуро! Из глубины души поднимается глухая печаль, и ничего нельзя сделать, — голос художника болезненно дрогнул. — Может быть, я бы выздоровел скорее, нашел в себе уже достаточно сил, чтобы отправиться искать ее хоть в Пакистан, если бы не это низкое, неодолимое чувство. Как же я приду к ней, смогу увести с собой, дать ей все то хорошее, светлое, чего она заслуживает? О проклятый Трейзиш! Он будто знал, чем отравить меня! Что перед этим гашиш!

Рамамурти умолк, тяжело дыша от волнения. Молчал и его учитель.

Вдруг Даярам опустился к ногам Витаркананды и с наивной мольбой поднял глаза к его доброму лицу.

— Учитель, я знаю, ты можешь многое, о чем никогда не говоришь мне. Я видел, как без единого слова ты заставил полубезумного человека из Сринагара забыть утрату любимой матери. Видел, как по приказу твоих глаз вор на дороге раскаялся и пополз, вопя о своих злодеяниях. Здесь мне рассказывали...

— Что же ты хочешь? — перебил Витаркананда.

— Шастри, заставь меня забыть ее, забыть все, снова сделаться тем же веселым и простым художником, каким

я пришел к тебе когда-то. Я готов остаться навсегда здесь, у подножия царства света, вдали от мира и жизни!

Художник прочитал непреклонный отказ в добрых и печальных глазах учителя.

— Ты не хочешь? — воскликнул Рамамурти.

— Может быть, я сделал бы это для земледельца из нижней деревни... нет, и для него тоже нет!

— Учитель! Почему?

— Разве ты забыл, что сам строишь свою Карму, сам медленно и упорно восходишь по бесконечным ступеням совершенствования? Сама, только сама душа отвечает за себя на этом пути, от которого не свободен ни один атом в мире. О великий путь совершенствования! Знаешь ли ты, как медленно и мучительно, в неисчислимых поколениях безобразных чудовищ, пожирателей тины и падали, в тупых, жвачных, яростных и вечно голодных хищниках проходила материя кальпу за кальпой, чтобы обогатиться духом, приобрести знание и власть над слепыми силами природы — Шакти. В этом потоке, как капли в Ганге, и мы с тобой и все сущее.

Витаркананда поднял руки к горам, как бы сгоняя их воедино широким жестом.

— Еще бесконечно много косной, мертвой материи во вселенной. Крохотными ключами и ручейками текут повсюду отдельные Кармы: на земле, на планетах бесчисленных звезд. Эти мелкие капли мысли, воли, совершенствования, ручейки духа стекают в огромный океан мировой души. Все выше становится его уровень, все неизмеримее — глубина, и прибой этого океана достигнет самых далеких звезд!

У тебя, Даярам, крепка еще повязка Майи на очах души, но ты видишь, что Карма позволила тебе жить чисто и добро, несмотря на все путы Майи. Разве можно вынуть что-нибудь из твоей груди насильно? Разве то, что останется, будет — ты, а изменение — твоим восхождением? Зачем же это, сын мой?

Витаркананда погладил склоненную голову молодого художника, и от этого прикосновения как будто легче стала безысходная правда его слов.

Пришел мальчик-послушник.

Витаркананда взял у него высокий медный кувшин, поставил на него плоскую чашку, в которую положил горящий уголь из жаровни.

— Строение человеческой души давно известно муд-

рецам Индии и выражено формулой: «Ом мани падме хум» — жемчужина в цветке лотоса: вот лотос — это чаша с драгоценным огнем души, — гуру бросил на уголь щепотку каких-то зерен.

Вспышка ароматного дыма поднялась из чаши и растворилась в воздухе.

— Так, — продолжал учитель, — рождаются, вспыхивают и возносятся вверх, исчезая, высокие помыслы, благородные стремления, вызванные огнем души. А внизу, под лотосом, в медном кувшине, глубокое и темное основание души — видишь, как расширяется оно вниз и как крепко прильнуло своим дном к земле. Такова душа — твоя и всякого человека, видишь, как мелка чаша лотоса и как глубок кувшин. Из этого древнего основания идут все неясные помыслы, инстинкты и бессознательные реакции, выработанные миллионами лет слепого совершенствования звериной души. Чем сильнее огонь в чаше, тем скорее он очищает и переплавляет эти древние глубины. Но все в мире имеет две стороны: сильный огонь бывает в сильном теле, в котором могучи древние зовы души. И если Карма не углубила чашу лотоса так, — Витаркананда приложил ладони ребром к краям чашки, — тогда из глубины кувшина может подняться порой столь неожиданное и сильное, что огонь не может его переплавить и даже угасает сам. Ты, Даярам, сильный, с горячим огнем в чаше лотоса, но крепко связан с древними основами жизни. Плотно закутан ты в покрывале Майи и оттого так остро и ярко чувствуешь все изгибы, все краски этого покрывала.

Витаркананда остановился. Даярам затаив дыхание старался не упустить ни одного слова. Ему казалось, что старый ученый простыми мазками с немыслимой прозорливостью пишет картину души его, Даярама.

— Ты рассказал о своем образе Парамрати, — продолжал профессор, — и мне стало ясно, что ты полностью в Майе. Красота и ревность — они обе из древней души, отсюда, — гуру постучал по кувшину, издавшему глухой медный звук, — но красота способствует восхождению, а ревность — нисхождению.

Каждая черта и каждая линия твоего идеала оказывается очерченной заранее, имеет строгое назначение и безошибочно угадывается древним инстинктом — яунвритти. В давние времена сила Рати и Камы, или, поевропейски, Астарты и Эроса, была гораздо больше. Есть

закон, ныне забытый: чем сильнее страсть родителей, тем красивее и здоровее дети. У кого из сочетающихся страсть сильнее, того пола и будет ребенок.

Поэтому древний идеал женщины также включает еще силу физической любви, совпадая с идеалом материнства и идеалом жизненной выносливости, подвижности и силы. Три разных назначения гармонически слились, соразмерились и уравновесились в облике прекрасной подруги — мечте, идеале, основе для оценок. Вот почему удивляют, а часто и возмущают пришельцев Запада наши идеалы веселой и здоровой чувственности, выраженные в изваяниях и фресках древних храмов.

Только наш народ мог создать чудесную легенду, записанную в Брахмавайварта-пуране вишнуистов. Кришна рассказывает своей Радхе о том, как апсара Мохини влюбилась в Брахму. У вечно юной Мохини было все, чем прекрасна женщина: широкие бедра, высокая грудь, круглый крепкий зад, стройная шея и громадные глаза, а волосы ее, черные как ночь окутывали ее густым покрывалом. Тончайшее золотистое сари не скрывало ни одного из ее достоинств, а один взгляд мог приковать к ее прекрасному лицу всех обитателей трех миров. И Мохини загорелась неистовой страстью к Брахме, но он не заметил ее, погруженный в раздумье, и прошел мимо. Мохини была в отчаянии, перестала есть, забыла всех любовников, только и думала о Брахме. Подруга ее, тоже прекраснейшая из апсар, Рамбха, посоветовала упросить бога любви и страсти Каму помочь Мохини. Кама привел ее на небо Брахмы, и она очаровала его. Однако он быстро охладел и удалил от себя апсару, пытаясь ее уговорить отказаться от любви. Мохини молила его не отвергать ее, но Брахма сказал, что углублен в созерцание глубин мира и Мохини его не интересует. Тогда апсара разгневалась и прокляла Брахму за то, что он высмеял ее, когда она искала у него прибежища любви. Мохини возвестила Брахме, что его теперь не будут почитать, как других богов. И действительно, высший бог Тримурти не пользуется в Индии до сей поры таким почитанием, как многие даже низшие в пантеоне божества.

Брахма, под впечатлением проклятия апсары, пришел к Вишну, и тот сильно порицал его. Он указал Брахме, что, зная Веду, ему должно быть известно, что он совершил преступление, худшее, чем убийца. Женщины есть пальцы природы и драгоценности мира. Мир Брахмы дол-

жен быть миром радости, а он зачем-то укротил свою страсть. Если женщина воспылает любовью к мужчине и придет к нему, мечтая отдаться, то он, даже не испытавший к ней прежде страсти, не должен отвергать ее. Иначе он навлечет на себя несчастья в этом мире, а после смерти подвергнется карам испорченной Кармы во многих будущих жизнях. Мужчину не осквернит связь с женщиной, добровольно ищущей его любви, даже если она замужем или легкого поведения. И Вишну приказал Брахме долго каяться в окружении грешников и подверг его многим испытаниям. Эта легенда, должно быть, создана теми, кто покрывал изваяниями любви и красоты наши древние храмы и также не понята людьми Запада.

Витаркананда встал и перегнулся через парапет башни, чтобы рассмотреть далеко внизу долину Нубры. Даярам не пошевелился.

— Чем больше будет твоя любовь, тем сильнее обовьет твою душу змей Кундалини, тем злее станет ревность. Бороться с этим можешь только ты сам. — Гуру на минуту задумался. — Нет, для тебя, художника, отказ от Майи — отказ от самой жизни, это убийство. Остается только возвысить древние стремления до подвига служения, до радости создания.

Витаркананда умолк. Казалось, что, забыв про все, старик погрузился в созерцание далеких вершин Ладакхского хребта.

Даярам смотрел на него, впервые поняв силу мысли этого человека. Неужели же он, гуру, не сможет вывести его на тропу мудрости, избавить от жгучего плена страстей «медного кувшина»? Художник вспомнил с детства слышанные и читанные рассказы о могучих преобразованиях в человеке, совершающихся здесь, в чистом и холодном мире Тибетских гор, в убежищах монастырей, забравшихся на вершины грозных скал, прочь от земли, к небу и единению с вечностью. Безумное желание покоя и мира охватило все измученное и ослабевшее существо Даярама. Лишь бы стать спокойным и мудрым, освободиться от мучительных грез, неосуществимых желаний, грызущей тоски по утраченному. Он вынесет любые испытания, чтобы достичь ясной доброты своего учителя... быть хоть отдаленно похожим на него!

— Учитель, — обратился он к Витаркананде, — я слышал об испытании тьмой, которое быстро и верно изменяет душу человека, выводит его на путь, дает нечело-

веческие стойкость и мужество. Помоги мне пройти через это и оставить в прошлом, как ничего не значащий хлам, все накрепко опутавшее и пленившее меня. Здесь, говорят, еще есть высеченные в скалах подземелья, в которых проводят годы самые ревностные подвижники буддийской веры. Я не буддист и не религиозный фанатик, как ты знаешь, но через это испытание я тоже могу достигнуть покоя.

Витаркананда повернулся к художнику с несвойственной ему резкостью.

— Только полное невежество во всем, что касается духовной тренировки, заставляет твои мысли течь этим путем! Разве годится для современного, образованного человека, с изощренным воображением и памятью, нервного и незакаленного, то испытание, которое в прошлые времена предназначалось для туповатых, абсолютно здоровых сыновей гор? Ужасающее давление на психику, вызывающее расщепление нормального рассудка. Видения, ужасы и, наконец, счастливое успокоение после разрушения всех обычных связей души, кажущееся высшим сосредоточением, — вот что такое путь тьмы... — Витаркананда умолк, слегка нахмурившись, как бы осуждая себя за излишне эмоциональную речь.

Даярам склонил голову.

Неизбывно живет в каждом человеке, от костров пещерных жителей до пламени дюз ракетного корабля, вера в чудо, лекарство, волшебное место. Что-то внешнее, что придет и снимет усталость, отчаяние и разочарование с души, хворь с больного тела.

Витаркананда проницательно следил за художником, читая его мысли, поднял большую широкую руку, погладил волнистую бороду.

— Что ж, может быть, ты более прав, чем я! Прав в том, что испытание покажет тебе путь, который ты не видишь, хотя я и стараюсь его показать. Но глаза твоей души закрыты, и детская вера в чудо, в немедленное спасение мешает тебе их открыть. Пусть будет так! Только должен предупредить тебя — посмотри туда, на Хатха-Бхоти. На нем нет такой великолепной снежной короны, как на других его соседях. Слишком круты его каменные склоны. Вот эта обледенелая круча, лишенная всего живого, не блещущая переливами света, а хмурящаяся изрытым серым камнем, неимоверно трудная для подъема,— вот то, что тебе предстоит. Решаешься ли ты?

Даярам почувствовал угрожающую серьезность тона гуру, и сердце его забилось. Но он облизнул пересохшие губы и упрямо нагнул голову. Гуру закинул через плечо край плаща и пошел с башни вниз, более не сказав ни слова.

Монах-скороход, посланный в большой соседний монастырь, вернулся в тот же день, а на следующее утро гуру, Даярам и четверо провожатых отправились в путь. Два дня шли они вниз по долине, над кручами и ревущей водой, пока не достигли Шайока — большого притока Инда. Весенняя погода Тибета очень изменчива, и даже сейчас, в мае, наступило похолодание. На закате мелкий дождь, сыпавший с полудня, перешел в мокрый снег, позже сделавшийся сухим и колючим. Даярам мерз так жестоко, что не помнил, как они добрались до маленькой деревушки и отогрелись чаем с маслом и жирным молоком яка. До места назначения — монастыря секты Сакьяпа осталось всего несколько часов пути, но гуру поднялся, едва рассвело. Ночной мороз породил густой туман, заполнивший ущелье. Темно-серые стены внезапно вставали сквозь белесую, розовую вверху мглу на поворотах ущелья. Художнику казалось, что его привели в заколдованную страну, спрятанную под гигантским покровом.

Даярам никак не мог отделаться от чувства, что его уводят навсегда от мира и жизни, что больше не будет ничего, кроме леденящего холода, тумана и рева неистового потока.

Река, словно стремясь доказать ему это, бушевала и грохотала все сильнее. Белая, взбаламученная, крутящаяся вода с громадной силой билась об исполинские валуны, загромождавшие ее русло, и перистые фонтаны брызг взлетали серебряными столбами на высоту нескольких метров. Тонкая стеклянистая корочка льда покрывала на тропе гладкие камни. Малейшая неосторожность — и путнику угрожало падение с обрыва. Несмотря на холод, Рамамурти весь покрылся липким потом от усилий идти, не отставая от ловких горцев и своего друга профессора.

Когда они вышли в расширенную часть ущелья, Витаркананда объявил привал. Здесь не было валунов и река не грохотала и не крутилась, а лишь несла свою стремительную воду, вздуваясь, будто в судорожных усилиях. Солнце поднялось над горами, и водопад палевого

света низвергся с неба, заставив отступить стену тумана. Солнечные лучи заиграли в бесчисленных пузырьках пены, мчавшихся на поверхности воды. Задумавшийся Витаркананда показал на них Даяраму.

— Несчетное число раз я размышлял, сидя на берегах горных рек, о сходстве такого потока с жизнью людей. Смотри, вот они, пузырьки, — как наши жизни — один побольше, на другой упадет больше солнца, и он покажется более ярким, блеснет всеми цветами радуги. Вон тот проплыл до середины освещенной полосы, а за это время лопнули и навсегда исчезли тысячи других... Так и мы: кому-то удается проплыть дольше, засверкать поярче, и каждый неповторим в своем коротком пути. Изменяется течение, угол падающих лучей, отражение скал — и все другое. Пузырьки на реке, живущие несколько мгновений, летящие по воде от одной стены тумана до другой, — таковы мы в своей индивидуальной жизни. Сердце преисполняется печалью, когда следишь за этими обреченными пузырьками. Забываешь, что они часть могучего потока, прорвавшего горы и мчащегося за тысячи миль к необозримым просторам теплого океана. Исчезая, пузырек не превращается в ничто — он соединяется с общим потоком. Научиться чувствовать себя всегда частью потока, несмотря на всю свою индивидуальную неповторимость, — вот обязательное условие мудрости! И смотри еще: чем яростнее борется вода, пробиваясь через препятствия, чем стремительнее ее бег, тем больше родится пузырьков и тем короче их существование. А ниже, на успокаивающейся воде, пузырьки редки, они живут дольше.

— Зато вода бежит медленнее и их путь той же длины, — заметил внимательно слушавший Даярам.

— Ты предпочел бы, конечно, быть пузырьком в бурном потоке? — улыбнулся гуру. — Так и должно быть, ты молод. Однако пора в путь!

Сквозь шум реки прорвались резкие кличи радонгов и раковин. Ледяной ветер пронзил Даярама точно ножом, вырвавшись из боковой долины. И вдруг художник остановился, замерев от изумления, — на каменистой косе, треугольником вдавшейся в реку и покрытой свежевыпавшим снегом, стояли четыре совершенно нагих человека. Обдаваемые брызгами воды, осыпаемые снегом, все четверо пребывали в полной неподвижности. Если бы не пар их дыхания, срываемый ветром, можно было бы принять их за статуи из желтого камня. Но нет, вот один нагнул-

ся, смочил водой кусок белой ткани и покрыл им свою спину, подставленную морозному ветру.

Остолбеневший художник отказывался поверить собственным глазам, пока Витарkананда не взял его за руку, увлекая по отходящей налево тропе.

— Разве ты никогда не слыхал о респах? — удивленно спросил гуру так, как будто речь шла о широкоизвестном явлении.

Услышав энергичное отрицание Даярама, Витарkананда рассказал об издревле практикуемом в Тибете обычае отбирать наиболее закаленных и стойких людей, чтобы сделать из них не поддающихся холоду святых. Тогда и Даярам вспомнил, что видел фотографии лам, стоявших нагими в снегах священной горы Кайлас.

По учению тибетских мистиков, такие люди могли освобождать из собственного семени энергию, называемую «тумо», которая распространяется по бесчисленным канальцам тела и согревает его. Сейчас эта система канальцев заново открыта корейскими биологами и получила название «Кенрак».

Тщательно отобранные неофиты подготавливаются медленно и постепенно, проделывая упражнения и дыхательную гимнастику на морозе, сначала в тонкой бумажной одежде, а потом совершенно обнаженными. Чтобы получить титул «респы», надо пройти особые испытания. В морозную лунную ночь с ветром кандидаты садятся на землю около озера или реки, обертывая вокруг тел небольшие простыни, намоченные в воде, которые они должны высушить теплом тела. В прежние времена надо было высушить самое меньшее три простыни. Респы могут стоять на морозе от двенадцати часов до целых суток. Иногда на их телах выступает пот, настолько им делается жарко! Респа отказывается от теплой одежды и от согревания огнем, а некоторые, наиболее аскетические, проводят зимы в пещерах среди снеговых гор, одетые только в хлопковую ткань.

— Как же это возможно? — изумлялся Даярам, содрогаясь при одном воспоминании о четырех живых статуях на берегу ледяной реки.

— Люди мало знают о своих собственных возможностях, а еще меньше верят в себя, — улыбнулся гуру. — Если подумать, то в чудесной сопротивляемости холоду у респ нет ничего необъяснимого. Вспомни, что это тибетцы, рождающиеся на вечно холодных плоскогорьях,

в холоде юрты, в которой они ползают нагими, едва согреваемые тлеющим очагом. Вспомни об очень большой сухости горного воздуха, облегчающего мороз. Вспомни о практике хатха-йоги: изнемогая от жары, вызывать в воображении горные реки и снега Гималаев, чтобы внушить себе прохладу. Респа поступает наоборот — он также добивается самогипноза, только внушает себе ощущение огня или знойной долины с раскаленными солнцем скалами. Даже западные ученые начали достигать похожего эффекта. Я читал об опытах английского врача Хэдфильда. Один французский врач в фашистском лагере смерти спас себя подобным внушением, когда его на сутки выбросили на мороз и облили водой. Горя желанием жить и мстить мерзавцам, врач внушил себе, что он находится на Ривьере и лежит на пляже. К его собственному удивлению, скоро ему сделалось тепло, и он выдержал пытку без всякого ущерба... Но вот мы и пришли!

На широком уступе под отвесной стеной хребта, озаренном солнцем, раскинулся монастырь. Высокая стена ограждала его с юга, оставляя незащищенным выдавшийся в долину холм, увенчанный главным зданием храма и сокровищницы. И стены и здания были раскрашены яркими черными, красными и белыми вертикальными полосами. Это означало, что монастырь принадлежит секте Сакьяпа — тоже красношапочным ламам Малого Тибета.

— Смотри, здесь живет древнее искусство, — Витарkананда показал на массивные стены и кубические здания, обладавшие необъяснимой легкостью, отсутствующей у коробочных форм современной архитектуры. — Видишь, стены незаметно сходятся вверх и геометрически точные линии чуть вогнуты, но сделано это в такой строгой мере, что, несмотря на грубый материал и толщину стен, достигается эффект благородной формы.

Даярам уже знал общее устройство тибетских дзонов. За стенами в нижней, передней ступени монастыря помещались хозяйственные постройки. Тут находились мастерские — ткацкие, художественные и столярные, больница и аптека. Позади, на плоском уступе горы, — школа и библиотека, поминальные часовни. В этом монастыре посредине стен возвышался утес со срезанной верхушкой, служивший основанием трех храмов. Путники направились к центральному, самому высокому.

В монастыре ревели трубы, пронзительно взывали раковины, тупо и глухо ревели барабаны — шло торже-

ственное богослужение. Монахи, склонившись над стопками испещренных тибетскими буквами листков, нараспев рычали молитвы нарочито низкими голосами. Особенно старательные ревели так, что успевали охрипнуть, пока колокольчик главного ламы возвещал перерыв. Свисавшие с продымленных балок потолка полотнища священных изображений — бурханов — колыхались от порывов холодного сквозняка, никого не беспокоившего.

В квадратном дворе храма собралось множество монахов — видимо, все население монастыря. Молодые, мальчишки, старики — все смешалось в этой теснящейся и толкающейся толпе. Причудливые шапки с высокими мохнатыми гребнями выделяли старшую категорию монахов.

Все с нескрываемым любопытством смотрели на четырех пришельцев, медленно поднимавшихся по навесной галерее к верхнему этажу храма. Их ожидали главные ламы — настоятель, астрологи, врачи и высокопосвященные. Даярам украдкой смотрел вниз на плотно сбитую, пахнущую тухлым маслом и немытыми телами толпу и не мог отделаться от мысли о человеческой расточительности. Запереть здесь в бездействии и покое множество здоровых мужчин! И это в стране, где так требовались умелые руки земледельца и скотовода, где редко население и сурова зима... Может быть, запирая столько мужчин в монастырь и обрекая их на безбрачие, предки — устроители общества инстинктивно ставили предел размножению в стране, скудость которой может прокормить лишь ограниченное население? Если так, то насколько нелепее кормить всю эту толпу бездействующих работников! Жаль, что он беспомощен в вопросах экономики. Как много интересного и важного для суждения о жизни он мог бы знать... Рамамурти вдруг поразился несоответствию своих мыслей тому, что ждет его.

Настоятель приветливо вышел навстречу Витаркананде — величайший почет, который может быть оказан смертному. Он ободряюще улыбнулся Даяраму. Типично индийское лицо художника с горящими лихорадкой ожидания и тревоги глазами, сведенными бровями и резко очерченным ртом понравилось старому ламе. Настоятель повернулся к собравшимся старейшинам монастыря и заговорил по-тибетски, зная, что художник не понимает этого языка.

— Наш почетный гость, пандит и свами Витарканан-

да, просит подвергнуть его ученика художника Рамамурти испытанию уединением. Сам художник просил о том же письмом, полученным нами пять дней назад. Мы не видели причин отказать ему в избранном пути.

Когда он умолк, присутствующие понимающе закивали головами — пусть будет так!

— Отведите почтенного гостя с его учениками в келью и объясните ему таинство обряда. Мы же приготовим все внизу.

Когда Даярам, без всякой иной одежды, кроме широкого плаща, покрывавшего его с головой, появился на галерее, монахи, уже не толпившиеся беспорядочно, а построенные рядами, встретили его печальным монотонным пением.

Сыпались замедленные ритмические удары литавр и барабанов; в такт им раскачивались ряды людей в одинаковых красных одеждах, тягучие голоса сливались в унисоне, повышаясь и понижаясь, как ритмический прибой звуков. Даярам, как ни были напряжены его нервы, поддался гипнотическому воздействию раскачивающейся и поющей массы людей. Острота его чувств угасала, он терял способность наблюдать окружающее. Одна за другой обрывались связи с внешним миром, и художник погружался в странное ощущение нереальности происходящего. Испытанные средства массового самогипноза всегда приходили на помощь религии, спиритизму и всем подобным демонстрациям якобы сверхъестественных сил.

Ряды монахов раскачивались все медленнее, пение замирало. Даяраму закрыли плащом лицо и за руки повели его вниз. Торжественная процессия спустилась в подземный храм, высеченный в скале.

Колеблющиеся блики светильников побежали по стенам, расписанным красочными изображениями беснующихся духов ада. Храм был заставлен жертвенниками, многорукими статуями, этажерками с грудами статуэток бодисатв. На колоннах висели страшные маски, венцы из черепов, имитации содранных с грешников кож.

За храмом подземелье продолжалось широкой и короткой галереей, упиравшейся в глухую каменную стену.

Шествие остановилось. Провожающие молча столпились в тупике и высоко подняли светильники. Даяраму открыли лицо, он оглянулся со сжавшимся сердцем. По обе стороны в камне чернели два отверстия, настолько узких, что пролезть в них можно было лишь ползком,

лежа на боку. Эти узкие щели вели в подземные камеры. Испытуемые замуровывались в них на годы и достигали в уединении высочайшего совершенства. Обе темницы были пусты — уже много лет в монастыре не находилось людей, стремившихся возвысить себя столь устрашающим путем.

Даярам содрогнулся, увидев рядом с черной щелью тяжелую, хорошо обтесанную плиту, точно пригнанную по размерам отверстия.

Ее должны были смазать глиной и вдвинуть ребром в ход, оставив над плитой лишь узкое пространство, едва достаточное, чтобы просунуть руку. Верхний край выступа образовывал полку, на которую ставилась ежедневная порция пищи и воды. Узник мог достать пищу рукой, но отверстие для руки имело внутренний выступ и поэтому изгибалось под прямым углом. Даже то ничтожное количество света, которое могло проникнуть в тупик подземелья, если кто-нибудь входил в нижний храм со светильником, совершенно не попадало в камеру узника.

Настоятель подошел к Даяраму и снял с него покрывало. Художник остался совершенно обнаженным. Все волосы на его теле были выбриты, произведены очистительные омовения. В подземелье было не очень холодно, но Даярама била дрожь. С опущенной головой он подходил по очереди к каждому из сопровождавших его лам. Монах шептал какую-то молитву и, окончив, слегка толкал испытуемого по направлению к темнице. Последним был настоятель. Он брызнул на Даярама водой из священного озера Манасаровар и вдруг закричал, отворачивая лицо и делая обеими руками отстраняющий жест. Художник, заранее предупрежденный, опустился на колени — страшная минута настала. Он осмотрелся тревожно пищущим взглядом, пока не встретился с глазами своего учителя. Исходившая из них ободряющая сила придала Даяраму решимости.

Ламы запели гимн своими низкими ревущими голосами и все разом протянули к нему руки. Гуру сделал едва заметный знак. С тоской и страхом Даярам простерся на полу, повернулся набок и протиснулся в узкий лаз. Его высокая грудь с развитыми мускулами не пролезала. Он должен был выдохнуть воздух и сжать плечи. Пока он проскользнул в непроглядный мрак камеры, теснящая тяжесть каменного хода показалась ужасной западней. Даярам обернулся, и светящийся прямоугольник отвер-

стия почудился ему таким невероятно узким, что нечего было думать выбраться обратно. Слепой, животный ужас затемнил сознание Даярама. Он хотел закричать. Но, как в кошмарном сне, из сжатого горла вырвался лишь невнятный вопль.

Даярам лег на бок, чтобы вылезти обратно, отказываясь навсегда от своего безумного опыта. Где ему, жалкому и слабому, тягаться с гигантами духа, проводившими здесь многие годы. Да и были ли такие люди на самом деле? Может быть, это всего лишь легенды?

Свет погас. Даярам принялся шарить руками, чтобы нащупать края лаза, и вдруг почувствовал легкий толчок в темя. Это вдвинулась тяжелая плита, отрезав всякую возможность возвращения. Даярам стал биться о камень, но он ничем не отличался по абсолютной недвижности от окружающих гладких стен. Неописуемый страх заживо погребенного потряс все тело Даярама. Его пронзила мысль: гуру ничего не сказал ему о сроке испытания! Как учитель, даже с его необыкновенной мудростью, узнает, когда надо освободить его? Ему придется провести в этой западне целые годы и умереть, так и не увидев света. Эта мысль приводила художника в исступление, он судорожно ловил ртом воздух, чувствуя, что задыхается в своей каменной могиле. Наконец он упал, полумертвый от утомления, и забылся в полусне-полуобмороке.

Очнувшись, Даярам долго лежал в оцепенении. И потом принялся ощупывать свою темницу.

Потребовалось много времени, чтобы определить форму камеры — лежащее яйцо с очень тщательно выглаженными стенками. В центре углубленного пола был сток — узкий колодец. С верхней стороны яйца, по-видимому, существовала вентиляционная труба, потому что воздух камеры был достаточно свеж и лишен запаха. Во мраке художник нащупал циновку и долго ползал по полу, пока не нашел места, где можно было лечь, не скатываясь к центру. По запаху глины Даярам разыскал отверстие для руки и пролил почти всю воду и жидкую кашу изцзамбы, пока втаскивал через коленчатый ход чашку и низкий медный чайник. Прежде чем поставить посуду на полку, Даярам проделал несколько упражнений, пока не научился проносить сосуды без наклона.

Даярама одолевали мучительные приступы животного страха и звуковых галлюцинаций. Лежа в полузабытьи,

он вдруг вскакивал, «услышав» чьи-то голоса. Иногда его окликали люди из его прошлого, а чаще всего чудились отдаленные вопли и призывы о помощи, как будто проникавшие сквозь толщу каменных стен. Даярам прислушивался, с ужасом думая, что монастырь горит и он будет погребен навсегда под пеплом пожарища. Потом его измучила музыка, начинавшаяся тихим перебором струн вины или негромкой песней из отдаленного конца темницы. Постепенно музыка становилась все громче — целый оркестр играл под сводом подземелья, не давая ни минуты покоя. Может быть, он стал слышать звуки, наполняющие небесное пространство, которые обычные люди не воспринимают?

Чтобы прекратить музыку, он кричал что-нибудь, говорил или принимался петь. Но по мере того как шло ничем не отмеченное время во мраке и абсолютной тишине, звук собственного голоса становился все более странным. Даярам перестал говорить с собой, и как-то незаметно прекратились слуховые галлюцинации. Художник начал понимать цель жестокого заключения. Надо было оторвать человека, полностью связанного с окружающим миром, от всех ощущений, наполнявших его ум. Даже чувство проходящего времени исчезало — секунды, часы, минуты, дни, ночи ничем не отличались от всего предыдущего, растворенного в бесформенном мраке. Время остановилось! И заключенному здесь человеку казалось, что он стоит у самой грани бытия, заглядывая за эту завесу с причудливыми узорами, что соткана Маей, миражем жизни из всех чувств человека в его единстве с природой. По замыслу древних аскетов, узник должен очиститься от всего, что мешало ему отойти от суетной жизни. Так, чтобы отполированная, как зеркало, душа могла отразить всю глубину космоса.

Увы, это была лишь иллюзия. Человек и окружающий его мир едины! Искусственный их разрыв не создавал никакого величия, не наделял сверхчеловеческими силами, ибо части никогда не могут быть больше целого, и осколок, каким бы твердым он ни был, никогда не превзойдет стойкости целого кристалла. Начальные этапы заключения, вероятно, были хорошей школой самодисциплины и углубленных раздумий... Но вопрос, сколько может продлиться этот начальный этап, чтобы не причинить реального повреждения психике?

Художник ничего не знал о новейших открытиях за-

падной науки, которая после долгого игнорирования всерьез взялась за изучение психофизиологии. Добровольцы-студенты надевали водолазные маски с воздушными шлангами и погружались в бассейны с водой температуры, равной человеческому телу. Изолированные от всех обычных чувственных связей с внешним миром, люди вскоре не были в состоянии различить верх и низ, определить, что вверху — голова или ноги. Человек ничего не чувствовал и погружался в глубокий покой, а затем сон. Просыпаясь, он обнаруживал, что его мысли повторяются снова и снова, потому что никакие ощущения не изменяли их направления. Затем мысли делались беспорядочными, реальность и галлюцинации становились неразделимы, всякая ориентация утрачивалась. В общем, психическое состояние походило на шизофрению с неспособностью сосредоточиться, решить простейшую задачу, и это продолжалось несколько дней после окончания опыта.

Тибетское испытание тьмой не уничтожало естественных ощущений тела — тяжести, ориентации верха-низа, мускульных усилий и чувств — и потому не лишало Даярама возможности сосредоточиться, обостряя до предела его воображение.

По мере того как уходили страхи, призраки звуков и телесных ощущений, внутреннее зрение становилось все ярче и вместе с ним все тревоги и надежды продолжали жить в душе художника. Самое большое место в видениях занимала Тиллоттама.

Внимательная и настороженная, точно лань в лесу, в своем черном сари у залитого солнцем львиного павильона. Ответившая ему лишь нэтрой — глазами, в которых печаль о прошлом и радость встречи.

Или отрешенная сама от себя богиня, апсара, в полумраке святилища, под уходящими в темную высоту колоннами, танцующая загадку жизни. Точные движения гибких рук, зовущие и молящие об истине. Черная коса, змеей свивающаяся на полу, в изгибах тела страстная дрожь, пробегающая под блестящей бронзовой кожей, огромные, устремленные в неведомое глаза.

«Танцует и плачет правда жизни!» — сказала ему Тиллоттама, и действительно, неподдельное глубокое чувство всех оттенков жизни было в каждом отточенном движении ее танца.

Горькая печаль охватывала художника. Он гнал от

себя эти ревнивые мысли, но богатое воображение художника услужливо рисовало ему картины Тиллоттамы — купленной рабыни по меньшей мере двух хозяев — мусульманина и американца. Кусочек фильма, увиденный в тот роковой вечер, развертывался в бесконечную эпопею, жестоко муча Даярама, и он начинал ненавидеть женщину, причинившую ему столько страданий. Он готов был проклясть тот жаркий полдневный час, когда он встретился с ней в Кхаджурахо.

Что нужно ему? Редчайшее счастье выпало ему — встретить ее на земле, и она ответила ему надеждой и доверием! Но вмешалось что-то ужасное. Ни он сам, ни она, ни всемогущие боги — никто не властен над прошлым. Но не все ли равно ему, что ушло и еще уйдет в прошлое, если рядом великое счастье? Почему, как только он потянется к ней, переполненный любовью, какой-то ужасный демон отравит ему кровь, причинит ему такую боль, что он готов бежать куда глаза глядят, лишь бы забыть? Это страстное желание забыть и привело его сюда, в каменную клетку!

Даярам не знал, когда приносят пищу — днем, вечером или ночью, не смог проследить, через какие промежутки времени, и потому не имел никакого представления, сколько времени прошло во мраке и абсолютном молчании. Может, он останется здесь навсегда и никогда больше не увидит цветов и света мира, не услышит голоса жизни, не почувствует радость борьбы и творчества. А Тиллоттама?

Внезапно пришло новое. Впервые Даярам подумал о ней не через себя, не через свою любовь и ревность, а так, как если бы он сам оказался на месте Тиллоттамы. Эти новые мысли не исчезали, а возвращались снова, и он понял то направление его чувств и мыслей, которое вело к победе над собой.

До сих пор он смотрел на нее, как на будущую собственность, которую надо отнять у другого владельца, отнять так, чтобы быть исключительным, абсолютным обладателем любимой в ее прошлом, настоящем и будущем. И ярость собственника, невластного над прошлым, не имела границ. Но Тиллоттама не вещь, она идет по своему пути. Помочь ей, оградить от страданий и унижения, каких так много угадывалось за ее необычной судьбой... Если он не совладает с низкой своей душой, то он не будет ее возлюбленным, и пусть так! Но любить ее, как

свою радость художника, никакие силы неба и ада не смогут ему помешать!

Даярам вскочил. Впервые за все это время давившая его безысходность свалилась с него, как ноша с поднимающегося на кручу путника. Нагой и беспомощный, замурованный в подземелье, он стоял во мраке, с надеждой глядя невидящими глазами. И постепенно бездонная глупость его поступков обрисовалась перед ним с унизительной ясностью.

Как мальчишка, он убежал, укрылся в чистоте и свободе гор, оставив девушку во власти грубых и жадных дельцов, для которых она лишь инструмент наживы, удачно служащий их чувственным утехам.

Презренный раб низких страстей. Надо удивляться, что нашел в нем мудрый Витаркананда, столько времени провозившийся с ним, чтобы научить тому, что он должен был понять сам с первого же часа выздоровления.

Новая сила появилась в нем. Горький стыд охватывал Даярама, когда он вспоминал, как долго он занимался только собой, своими переживаниями. Тревога все росла. Что делается там с Тиллоттамой? Что подумала она о нем? Кто он — жалкий трус, обещавший так много и ничего не добившийся, подло бежавший!.. А он в лунном очаровании Кхаджурахо еще казался себе подобным героям древности!

Амрита-Тиллоттама, украденная со своей родины... Даярам вспоминал зеркальные лагуны траванкурских поселений, могучие пальмы, склоняющиеся перед лазурным простором океана, синие камни Кардамоновых гор, веселый разгул морского ветра и мужественно-грустные песни малабарских рыбаков. Легкие белые одеяния женщин, их веселые открытые лица.

А Тиллоттама — в Лахоре! Вряд ли эта гангстерская кинофирма находится па широком проспекте Мэл. Скорее она приютилась на Анаркали или спряталась еще дальше, где-нибудь за Стеной. Узкие темные улицы, пропахшие кухней, гниющими фруктами и нечистотами, с миллионами мух, в духоте и гаме. Женщины в широких покрывалах, скрывающих их с головы до пят, бредут серединой улицы, и им уступают дорогу, точно прокаженным, ибо никакой правоверный не позволит себе коснуться чужой женщины даже случайно. Где-то среди этих сотен тысяч чужих людей живет одинокой пленницей самая прекрасная девушка Индии. Наступает лето, невыно-

симое в Лахоре, с его изнуряющей духотой, а Тиллоттама должна вернуться туда. Даярам поклялся, что он не будет более ждать ни минуты. Как только его выпустят, он кинется разыскивать девушку, и свой осенний праздник Онам в сентябре этого года Тиллоттама встретит на родном малабарском побережье!

Если его выпустят? А если не выпустят? Или освободят через несколько лет? По какому безумному порыву попал он сюда, в первозданный мрак, будто в самый тамас — пучину бездеятельной инерции, противостоящей активному началу природы — Пракрити? Да, много столетий бичом Индии был глубокий индивидуализм духовных поисков, ритуалов, путей в жизни. И он, тридцатилетний образованный человек современной Индии, пошел тем же старинным путем. Там, в настоящей жизни, есть верные друзья, товарищи. Не одинокому, а окруженному друзьями — вот как надо было освобождать Тиллоттаму. Один Анарендра стоит нескольких человек, а ведь есть еще Сешагирирао — инженер-химик, автомеханик Арвинд — самые закадычные друзья, и к ним он обратится в первую очередь. Все вместе они разработают план. О боги, он дальше от них, чем если бы был в Америке!

С нараставшей тревогой думал Даярам о беззащитности Тиллоттамы. То, что казалось грозной силой для поклонника красоты, что могло бы действительно быть повернуто на подчинение и беду мужчины, то у такой девушки, как Тиллоттама, оборачивалось великой уязвимостью. Она, словно травинка, не может уйти от топчущих ее ног на краю неогороженного сада. Стремление освободиться загорелось в нем с еще большей силой. Обламывая ногти, Даярам царапал засохшую глину, стараясь раскачать плиту-заслонку, чувствуя, что сойдет с ума. Простершись на вогнутом каменном полу, он в тысячный раз старался сосредоточить всю волю, чтобы передать Витаркананде свое безумное желание покинуть темницу. Дыша глубоко и медленно, Даярам вкладывал в каждый удар сердца призыв к гуру. От сосредоточения воли и размеренных повторений мысли кружилась голова, странное оцепенение ползло вверх по ногам. Художник впал в забытье. Окружавший его мрак исчез, он лежал в сером сумеречном свете и слышал все повышающийся звенящий звук. Даярам понял, что умирает. Веселое лицо Тиллоттамы склонилось над ним, в ее печальных глазах он прочитал бесконечное сострадание.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
САДЫ КАШМИРА

Даярам лежал на чем-то необычно мягком, с повязкой на глазах. Он протянул руку, чтобы сорвать ее, но кто-то ласково удержал его.

— Подожди, Даярам, скоро наступят сумерки и тогда тебе можно будет смотреть. А пока поешь.

Подали чашку сливок, показавшихся невыразимо вкусными. Живой голос учителя рядом, удобство ложа — какое блаженство! Но сомнение все же не давало покоя Даяраму.

— Учитель, как же я ничего не слышал и не чувствовал, когда меня освобождали? Или я, — в страшной тревоге Рамамурти сел, — я сплю?

— Ты не спишь сейчас, но когда мы открывали темницу, я погрузил тебя в Иога-Нидру — глубочайший сон без видений. Потрясение могло оказаться слишком большим!

— Сколько же я пробыл в подземелье, гуро?

— Двадцать восемь дней.

— Только всего? Я был твердо убежден, что пробыл во тьме не меньше года! Ты услышал мой призыв, учитель! — со слезами благодарности прошептал Даярам.

— Срок твоего испытания был определен мной в месяц, так что осталось совсем немного. Но ты сумел передать мне свои чувства, достигнув, как видишь, большой силы. Правда, ты сделал это в великом порыве любви, а не сосредоточением освобождения. Потому твое достижение было лишь мгновенным, а затем ушло безвозвратно. Но не волнуйся, два дня тебе надо провести в келье, привыкая к миру.

— Два дня! — вскричал Даярам, приподнимаясь.

Он не видел нахмурившегося лица Витарканanды, но

по долгому молчанию, сопровождавшемуся размеренным дыханием, понял, что тот размышляет.

— Учитель, — робко начал он, но гуру нажатием руки на грудь приказал ему лежать, поднялся и вышел.

Бесконечно много времени лежал Даярам, но что значило это ожидание в сравнении с безнадежным полубытием во мраке!

Незаметно Витаркананда снова появился в комнате. Приложив к губам Даярама небольшую чашку, он приказал выпить и лежать, не двигаясь и не разговаривая. Вяжущее, густое и сладковатое питье вызвало мучительное чувство жара, покалывания, необъяснимого стеснения, которое распространилось из-под ребер по всему телу. Невольный стон вырвался из стиснутых челюстей Даярама.

— Что это за средство? — едва спросил он.

— Всего лишь настойка одного гималайского кустарника, известная уже много веков в книге тибетской медицины Жуд-Ши, которая всего лишь перевод нашей Аюр-Веды, — сказал гуру, пристально следя за поведением ученика.

— Хорошо! — одобрил гуру. — Теперь это.

Одна за другой в рот художника были положены две пилюли, и он запил их молоком. Жгучее стеснение прошло, в теле появилась небывалая энергия, голова стала ясной и холодной. Гуру положил руку на сердце Даярама, приказал плотно зажмурить глаза и сорвал повязку. Свет пробился сквозь веки, вызвав ощущение удара.

— Встань, открой глаза! — послышался голос учителя.

Даярам поспешно привстал, в самый мозг его ворвался невыносимый свет. Он успел увидеть бороду учителя, стену комнаты и свалился ничком в сильнейшем головокружении. Витаркананда сидел около постели, оглаживая длинную бороду. Даярам сел и стал впивать в себя чудесный свет полутемной комнаты. Он видел, теперь уже не было сомнения, он вернулся в мир видимых вещей!

Профессор наблюдал за ним, доброжелательный и спокойный.

— Теперь ты видишь сам, что подземелье назначено для души туповатой и апатичной, чтобы сделать ее более чуткой и тонкой. А у таких, как ты, вынуть чувство красоты мира — значило бы опустошить душу. Продолжительное пребывание во мраке убило бы твое «я». Слишком мала бы оказалась ступень самосовершенствования

и слишком дорогой цена, какой она была бы достигнута. Теперь ты знаешь, что твоя дорога ведет в мир людей, прекрасный и страдающий, светлый и темный, радостный и несчастный.

Служи ему силой таланта, бескорыстно и беззаветно, не давая властвовать над собой злобе, зависти и жадности, но помни, что слепая доброта может причинить немало плохого. Знай, кому и зачем ты делаешь добро!

Помни, что я тебе говорил о порогах. Никогда не переступай их, ни порога бессмысленности, ни познания, которое превращается в тупое нагромождение фактов, ни других порогов, которые мы часто переступаем в обычной жизни, гонясь за дешевкой, едой, пошлым удовольствием смеха, бесполезной умственной игры и так далее. Тебе следует особенно опасаться порога низкой чувственности.

Художник слушал учителя, склонив голову, как древний герой, готовившийся к подвигу, внимал бы своему посвящению. Витаркананда угадал мысли Даярама.

— Самый великий подвиг искусства — вырвать прекрасное из жизни, подчас враждебной, хмурой и некрасивой, вложить гигантский труд в создание подлинной, безусловной, каждому понятной, каждого возвышающей красоты. Мало этого, тебе придется бороться со все распространяющимся влиянием бездельников, думающих ловким трюком, фокусом, удивляющей безвкусных глупцов выдумкой подменить настоящее искусство. Они будут отвергать твои искания, глумиться над твоим идеалом. Сами неспособные на подвижнический труд настоящего художника, они будут каждый найденный ими прием, отдельное сочетание двух красок, набор мазков или удачно найденную светотень объявлять открытием, называть элементом мира, не понимая, что в нашем ощущении природы и жизни нет ничего простого. Что везде и во всем — сложнейший узор ткани Майи, что наше чувство красоты уходит в глубину сотен прошедших тысячелетий, в которых формировалась душа человека! Отразить эту сложность может лишь подлинное искусство через великий труд. Ты должен идти в мир не только как творец, но и воин... Но я еще скажу тебе свое напутствие, а сейчас лежи, думай, возвращайся к жизни.

Витаркананда удалился, отдернув занавесь. Оконная прорезь в толстой стене открывала вид на склоны ущелья. Закатные тени превратили их в синие стены с

красно-золотыми ребрами скал. Острые, как зубья, синие пики вонзались в палевое сияющее небо.

Даярам встал, обошел келью — большую комнату с двумя мягкими сиденьями, занавесью, низким столом, заваленным связками рукописных листов, стянутых желтыми шелковыми шнурами и потемневшими дощечками. Витаркананда уложил его в собственном жилье. Легкие шаги гуру прервали мысли Даярама.

— Скоро стемнеет, и мы выйдем с тобой на верх башни, где ты займешься дыхательными упражнениями.

— Я уже могу. Силы вернулись, под сердцем нет пустоты, и голова не кружится, — бодро откликнулся Даярам.

— Пока не стемнеет — нельзя. Твое слишком скорое освобождение подрывает веру в могущество древнего испытания. Я обещал нашим хозяевам, что тебя в монастыре никто не увидит. На рассвете две быстрые лошади с проводником будут ждать тебя внизу у реки, где мы видели респов. Ты дойдешь туда один, и вы перевалите через Ладакхский хребет в долину Инда. Проводник знает, где выйти на сринагарскую дорогу западнее Леха. Там расположился лагерь геологической экспедиции. У них есть геликоптер. За хорошую цену летающее железо доставит тебя если не в Сринагар, то до автомобильной дороги... Ты хочешь сказать?

— Да, учитель! — Даярам потупился.

— Знаю о чем. Но об этом после. Расставаясь с тобой, на этот раз надолго, я должен передать тебе то, что поможет и в твоей работе, и в пути к ней, твоей Тиллоттаме. Не бойся страдания. Ты обладаешь сильной душой, а потому и страдаешь сильнее других и стараешься всячески избежать этого. Но страдание ведет к высотам и весь мир благодаря ему становится лучше. Только, как и все в жизни, страдание должно иметь меру, иначе оно обратится гибелью души и станет источником зла. Сейчас нет меры страдания в этом мире, — Витаркананда показал на хребет, заслонивший долину Инда, и сложил обе руки чашей, — если бы я зачерпнул чувства живущих в той долине людей, то поднял бы к небу полную чашу человеческого горя. Если бы учесть и сложить горести и радости всего человечества, то получился бы итог настолько печальный, что ты, молодой, сильный, даже не смог бы в него поверить!

Женщины всегда страдали больше мужчин. С тех пор

как военные государства одержали верх над всеми другими формами общества, женщину лицемерно славили, а на деле гнали, презирали и угнетали, хотя бы за то, что она лучше, нежнее и открыта природе больше мужчины.

Мы возмущаемся позорными для христианской религии временами европейского средневековья, когда женщин мучили ужасными пытками и жгли на кострах, называя ведьмами. Но у нас самих, в нашей собственной истории, разве не было страшного обычая топить новорожденных девочек в Ганге? Да, это так, не ужасайся, Даярам! Ты сам уже постиг, что прошлое непоправимо, его можно лишь забыть, понять, но слова о прощении здесь лишь пустой звук, ибо над Кармой не властны даже высшие боги, и что вошло в мировой механизм судьбы и воздаяния, не может быть вынуто оттуда. А чем лучше европейских костров наше Сати? В древних легендах воспета любовь женщин, покончивших с собой на костре мужа — немногих настолько храбрых, фанатичных или обезумевших от горя, что они решились на столь ужасную гибель, оставив детей и родных, вместо того чтобы нести через жизнь память любимого. Случаи эти польстили ревнивому чувству собственников, никак не мирившихся с мыслью оставить принадлежавших им красавиц жить после себя, чтобы они любили еще кого-то. Только так, Даярам, других чувств тут не было!

И во время мусульманского завоевания Индии, после того, как тысячи героинь покончили с собой, бросаясь в пламя горевших, осажденных городов, чтобы не достаться победителю, Сати вошло в обычай. Сначала это была мода, установленная принцами крови, магараджами, потом распространившаяся как признак хорошего тона на другие касты и слои населения от брахманов до шудр. И как всегда и везде, чтобы оправдать зверский обычай и доказать его древнее происхождение из Вед, нашлись «ученые» фальсификаторы. Неведомый негодяй изменил всего две буквы санскритского слова и обрек на огонь несчетное число невинных женщин. Там, где в Ведах сказано было, что на похоронах мужа жена должна идти во главе, впереди — «агре», он изменил на «агни» — огонь!

Иногда мне кажется, что человечество забыло с тех самых пор, как кончился матриархат и поклонение женщине-матери, что она не только возлюбленная, не только мать, рождающая ребенка! Она воспитательница человека, ребенка и мужчины тоже. Вспомни о глубине «мед-

ного кувшина», и станет ясно, что воспитать человека — это главная задача для всего будущего Земли, более важная, чем достижение материального благополучия. И в этой задаче красота — одна из главных сил, если только люди научатся правильно понимать и ценить ее, также и пользоваться ею. Вот почему я хочу всячески помочь тебе — ты сначала будешь бороться против тех, кто опорочивает и принижает красоту, а после — создавать ее для всех и для будущего.

Он положил обе руки на плечи Даярама.

— Поэтому ты должен принять мою помощь, не отказываться из лишней гордости или стыда. Ты сейчас вступаешь в нижний мир, где одной душевной силы, как бы она ни была велика, тебе будет недостаточно!

С этими словами Витарканатда вытащил из угла маленький деревянный сундук, раскрыл его и взял большую пачку денег.

— Вот!

— Учитель!

— Это дар людей, благожелательных к тебе и твоему делу. Возьми! Ты снова подумал только о себе, — упрекнул его Витарканада, вручив деньги. — А если ее судьба станет в зависимость от того, взял или не взял ты эту горсть бумаги? Без этой женщины тебе нет дороги, не забывай никогда закона двойственности, всесильного в этом мире, помни о смятениях чувств, плутающих между животным телом и человеческой душой! Ты и Тиллоттама — ибо все по-настоящему любящие стремятся слиться воедино — неизбежно будете двумя сторонами этого единства. Чем теснее вы будете сливаться, тем резче будут противоположности, проявляющиеся в вас. Не удивляйся этому, не пугайся, не давай овладевать собой этим разделяющим вас порывам. Девушка полюбит тебя. Неизбежно и естественно она захочет быть твоей со всей силой своей горячей, открытой души. Что будешь ты тогда делать, если с новой яростью оживут демоны? Тиллоттама ничем не сможет помочь тебе. Чем сильнее будет ее стремление принадлежать тебе, тем больше тебе будет казаться, что она лишь вспоминает прошлое.

— Это правда, учитель, — с отчаянием вскричал художник, — что же делать? Помоги!

Глубокие глаза гуру загорелись несвойственным ему угрюмым огнем.

— Черная магия не сказка, она действительно суще-

ствует. Конечно, это не какие-то оккультные заклинания и зелья, а не что иное, как сила злобной и нечистой души, подчиняющая более слабых. И ей противостоит белая магия добрых мыслей, чистых желаний, помощи и любви. Если в этом человек по-настоящему силен, то ему покорятся другие, и вокруг него будет атмосфера доброго покоя, отражающая и подавляющая злые силы недобрых людей. Когда-нибудь все люди поймут это и начнут без суеверия борьбу с «черной магией» — проявлением темных сил человеческой психики! А я советую тебе сделать это сейчас и прежде всего побороть то, что появляется в тебе самом. Я уже сказал: тебе придется идти путем Тантр.

Но пойдем же на башню, под звезды.

В последний раз под зеленым ночным небом Малого Тибета Рамамурти принимал различные позы, расправляя грудь и медленно вдыхая и выдыхая чистейший воздух горных высот. Почувствовав новый прилив сил, он уселся у ног гуру, и тот рассказывал ему о сущности Тантр в их первоначальном значении, не искаженном магическими обрядами и ложными ритуалами разврата и пьянства.

Возникшее в первых веках до нашей эры, то есть около двух тысячелетий тому назад из культа Деви — богини-матери, учение Тантр — древнейшая философия дравидов Индии, гласило, что Веды были составлены в незапамятные времена, когда люди были совсем иными, более добродетельными и более стойкими. В настоящее время, которое называется Кали-югой, эпохой зла или демона Кали, люди другие, хуже праотцев. Они стремятся к злу и отвергают добро, обнаруживая ненасытную жажду наслаждений.

В результате зло в мире неизбежно нарастает, нации затевают войну против других наций, дружба превращается во взаимную эксплуатацию и плотская страсть — это единственное, что связывает мужчин и женщин.

Тантры говорят, что есть предначертание судьбы в таком состоянии мира. Люди пали так низко, что уже не способны понять свое падение, не могут увидеть путь к спасению. Поэтому задачи Тантр — сделать религиозный культ привлекательным для людей через пять элементов (таттв), иначе называемых «Пять М». Как яд, могущий убить человека, превращается в лекарство в руках врача, так, предавшись всем плотским удовольствиям под умелым руководством гуру, человек излечивается от них.

Но, так же как при употреблении яда, малейшая ошибка ведет к смерти, и на пути Тантр очень легко погибнуть.

Таковы основные положения Тантр, вокруг которых за тысячелетия сплелись различные обряды, магические ритуалы и подчас просто секретные пьянства и оргии, прикрытые мистическим туманом. И тут глупая утрировка выхолостила здравую мысль, оставив лишь форму, оправдывающую самые примитивные пороки и пошлые удовольствия, отвратившие многих индийцев, кто пытался найти в них откровения.

Витаркананда сделал долгую паузу. Сдвинув брови и поглаживая бороду, он печально глядел перед собой, как будто неизбежное вырождение мудрости и искажение религиозных культов глубоко удручили его.

— И все же тантрические учения принесли немало пользы, — вдруг снова заговорил гуру, — они были самыми яростными противниками Сати. Причинение того или другого ущерба женщине рассматривалось как наихудшее зло.

Тантры поощряли вторичное замужество вдов, настаивали на праве развода с импотентными мужьями и запрещали рассматривать женщину как предмет только плотского удовольствия.

Для познания же самого человека Тантры сделали огромный шаг вперед, признавая существование в его теле огромных дремлющих сил, присущих человеку, а не даваемых ему свыше божеством. Шакти — энергия природы и пробуждение ее — ведет к тому, что у человека появляются громадные силы и способности. В этом тантрические учения смыкаются с хатха-йогой, которая отсюда и вышла. После того как ты дойдешь до третьей ступени посвящения на пути Тантр, ты примешь участие в обряде Шри-Чакра — отрешенном от всего поклонения Шакти в образе обнаженной женщины.

— Я видел такой образ, учитель. И знаю теперь, что могу уже сейчас участвовать в Шри-Чакра.

— Это та, твоя Тиллоттама?

— О, если бы моя! — неистово вырвалось у Даярама.

— Вот в этом и есть главная опасность! Ты не готов!

Даярам виновато опустил голову. Йог улыбнулся:

— Я хочу обратить твое внимание на одно место из Рудраямала-Тантра, где говорится: «Там, где есть мирское наслаждение, нет освобождения, где есть освобождение — нет мирского наслаждения. Но для великолепных

поклонников той формы Шакти, которая называется Шри-Сундари (священная красота), и наслаждение и освобождение находятся между их сложенных ладоней...»

— Как это прекрасно, учитель! — не выдержал Даярам.

— Вот почему я говорю с тобой о тантризме — ради одной этой мантры! Здесь есть все — тебе, художнику, для которого и смысл и наслаждение в жизни — красота. Но не думай напрасно, что путь твой будет легок и прост. Как всякий прямой путь, он труден и опасен.

— Опасен? Почему же, учитель?

— Потому что, погрузившись в чувства, развивая и утончая их до крайних пределов остроты, надо остаться господином над ними. Иначе безумие, разложение и развал души. Надо пройти по лезвию меча над пропастью, наполненной грозными призраками!

— Но смогу ли одолеть этот путь, учитель? Я, обыкновенный человек обычной судьбы?

— Ты, как художник, неспособен отречься от мира настолько, чтобы обращаться к абсолютному богу. Но ты можешь достигнуть самых высших степеней познания через женское воплощение души природы — Шакти, конкретную, осязаемую. Два стержня скрепляют твою душу — любовь и стремление к красоте. А так как для тебя твоя любовь еще и олицетворение всего величия красоты, то ты хорошо вооружен. Ты слышал что-либо о Шораши-Пуджа — поклонении женщине?

Художник только беспомощно улыбнулся, и гуру объяснил ему сущность тантрического обряда — очищения красотой и любовью.

— Только помни, — закончил Витаркананда, — Шораши-Пуджа можно повторять не один раз. Но если во время обряда ты упадешь с лезвия ножа, то будешь отдан на растерзание безумию чувств. Человек потерял много силы и выносливости, перестав быть животным и начав руководиться разумными побуждениями. В первобытной жизни и отборе наши предки накопили очень много энергии, частично еще сохранившейся в организме, но в обычных условиях остающейся без употребления. Эта огромная мощь называется Кундалини и хранится в основании позвоночника в яйцевидной капсуле «Канда», в виде змеи, свернувшейся кольцами в три с половиной оборота. Три кольца змеи — три состояния энергии: положительная, отрицательная и нейтральная. Добавочные

пол-оборота означают, что змеиная сила всегда готова перейти из латентного состояния в динамическое.

С незапамятных времен, змея — это символ пола. Действительно Кундалини тесно связана с половым влечением, возникающим из потока змеиной силы. Тантры учат пробуждению Кундалини через половое соединение. Путь йоги диаметрально противоположен. Она учит, что половое влечение должно быть подавлено до полнейшего отрицания физической любви. Через это давление на Кундалини будет настолько сильным, что змеиная сила пробудится. И то и другое направление — небезопасно. Каждое учение — лишь половина единого целого, когда змея становится символом мудрости. Подлинное высвобождение Кундалини происходит лишь через разум, но этот путь лишь для особо одаренных, путь Раджа йоги.

Древние йогины через Раджа йогу добыли поразительное знание человеческого организма. Они внутренне «видели» и «чувствовали» все главные кровеносные сосуды, лимфатические пути и нервы. Они открыли существование «Нади» или психических каналов, через которые проявляется Кундалини. Они открыли жизненно важные нервные центры, или чакрамы, с очень древних времен и, верные духу нашего народа, использовали их для подъема духовных сил человека.

Буддийские странствующие монахи, которым вера запрещала носить оружие, использовали знание чакрамов для самозащиты. Японцы, получив это знание через Китай, применили его для власти. Семь смертоносных, парализующих или болевых «точек нажима», в точности соответствующих индийским чакрамам, изучаются в Атемиваса — секретной части дзю-до. Когда освобождаемая Кундалини поднимется от крестца по всем чакрамам и достигнет седьмого Центра Тысячи Лепестков, смыкаются женская и мужская ее половина и возникает сверхсознание, превращающее искателя в самого могущественного из йогов — Раджа йога.

Я думаю, что тебе, как художнику, возможен лишь путь Тантры. Однако помни, что Кундалини свернулась подобно пружине и змея всегда готова к укусу. Она уже отравила тебя ужасной ревностью, и можешь пострадать еще хуже, лишившись рассудка. Расскажи ей все, ничего не скрывая. Тогда она будет тебе верной помощницей. Помни!

Затем после недолгого молчания Витарkананда встал.

— Пора. Спи крепко, — он коснулся пальцами поднятого к нему лба Даярама, — я поясню нашим гостеприимным хозяевам, что твой отъезд без благодарности — жизненная необходимость, а не нарушение правил почтения и признательности. Простимся надолго, и мне грустно. Могуча сила привязанности души к душе.

— Учитель, — горестно прошептал Даярам, чувствуя, как стеснилось сердце. Только сейчас он понял, как велика его любовь и преклонение перед этим безгранично добрым, умным и скромным человеком. Его превосходство никогда не подавляло художника, и ничего, кроме чистой доброжелательности, не исходило от этого мудрейшего из всех известных Даяраму людей.

— Не огорчайся, так нужно нам обоим. Иногда, может быть, я буду с тобой, буду смотреть на тебя издалека, помогать доброй мыслью. Помни, сын мой, в особенности для Тантры, где действия наши не полностью подвластны сознанию, что мысли добрые и злые, гнусные и чистые имеют свою собственную жизнь и назначение. Раз рожденные, они вливаются в общий поток действий, определяющих Карму — твою собственную, других людей, даже всего народа. Поэтому держи их крепко, не давай цвести недостойным думам. Прощай!

Художник в последний раз увидел под нависшими бровями почти круглые глаза Витаркананды, тонкий горбатый нос, длинную седую бороду, скулы, резко очерченные запавшими щеками. Даярам добрел до указанной ему кельи в нижнем этаже башни, рухнул на постель. Прошла, казалось, всего секунда, а его уже тряс за плечо незнакомый монах. Даярам спустился в ущелье, и, когда повернулся, чтобы бросить прощальный взгляд на монастырь, было уже поздно — он исчез за поворотом каменного обрыва.

Даярам с проводником принялись подниматься на перевал, сопровождаемые криками хищных птиц. Прошли тягостные дни роковой ошибки отстранения от мира. Возвращение в самую гущу человеческих забот и тревог, ожиданий и расчета заставляло действовать быстро и непреклонно. Удивляясь себе, художник чувствовал, что переполнен энергией и силой. После первого перевала они поднялись на второй, а к ночи ноги усталых лошадей ступили на широкое плоскогорье, поросшее серой пахучей полынью и обрамленное желтыми обрывами. Путники взобрались на холм, где торчали каменные плиты. Все пло-

скогорье, залитое лучами низкого солнца, превратилось в поляну светлого золота. С юга ее ограждала красно-фиолетовая стена обрывов, а за ней высились горы, одетые синей дымкой. Ближние холмы приняли цвет темного ультрамарина и в отдалении казались лиловыми. Дальше, к югу, гряда за грядой, они светлели. Все более радостна, ярка и чиста была их синяя окраска. Мягкие, округленные вершины напоминали волны воздушной ткани. Эти горные цепи уже приближались к родине. Синяя страна ласково звала к себе, и радость пришла к Даяраму. Не та холодная и бодрая, что рождалась при созерцании снежного великолепия Гималаев, а другая, слегка печальная, что возникает при встрече с живым и прекрасным, бессознательно отражая неизбежную утрату.

Разве это не само покрывало Майи? Внизу темное, непроницаемое, а дальше и выше все голубее, прозрачнее и легче эта ткань, сливающаяся с бездонным небом.

— Хорошо! — не то подумал, не то почувствовал Даярам. — Все будет хорошо!

На следующий день они ехали только вниз, к Инду, около двадцати миль. Теплее становился воздух, приветливее покрытые растительностью долины, слабее ветер.

Начальник геологического отряда был удивлен появлением молодого индийца в тибетской одежде, который на его «джухле!» — ладакхское приветствие — ответил на великолепном хинди. На счастье Даярама, начальника вызывали в Сринагар, геликоптер шел полупустым, и художнику не потребовалось подкреплять свою просьбу деньгами. Отпустив проводника с лошадью, Даярам переночевал в лагере, а утром странная насекомоподобная машина завертела огромными лопастями винтов, повисла над Индом и неторопливо двинулась через широкое ущелье к юго-западу. Как во сне, смотрел Рамамурти через прозрачный купол в передней части кабины на проплывавшие внизу пенящиеся потоки, глыбы камней, острозубчатые гряды скал, леса деодаров — гималайских кедров. В глубоких ущельях машину обступали грозные стены и осыпи круч, порывы ветра раскачивали геликоптер, угрожая разбить его о скалы. На тонких распорках под корпусом медленно вертелись колеса. Пожалуй, это зрелище беспомощно вертящихся в высоте колес было самым неприятным.

Машина опустилась в аэропорту, у подножия хребта Пир-Панджал, в шести милях от города. Первая победа!

Двое суток вместо возможных двух недель! Но в этом еще не было заслуги — пока его вела помощь гуру. Отсюда он начнет действовать самостоятельно...

Прежде всего магазин одежды, хорошая баня после тибетского воздержания. И — на почтамт, может быть, пришел, наконец, ответ Анарендры?

Ответ пришел — почти месяц пролежало толстое авиаписьмо. Значит, оно было уже в пути, когда он упросил гуру заключить себя в темницу. Какой же тупой и упрямый глупец!

Даярам разорвал конверт, и тут внезапная мысль заставила его замереть на месте. А что, если сейчас все его мечты будут убиты?..

— Я совсем не узнал вас в европейской одежде, — услышал он знакомый голос. Начальник геологов стоял неподалеку с молодым светловолосым и голубоглазым европейцем в костюме из тонкой материи, «слишком легком для Кашмира», подумал Рамамурти, который, несмотря на свою тибетскую закалку, позаботился о более плотном одеянии.

Еще во время пребывания Даярама в лагере геологов начальник проникся симпатией к молодому художнику, а совместное восхищение природой Кашмира во время полета еще больше сблизило их. Наблюдательный инженер заметил распечатанный конверт в руке Даярама и прочитал волнение в его лице.

— Простите, я помешал вам! Но мы еще увидимся — дороги путешественников обязательно пересекутся. Пойдемте, господин... — Даярам не разобрал трудной иностранной фамилии.

Письмо начиналось с упрека. Анарендра считал, что если бы Даярам сразу рассказал ему все, то они в первый же вечер освободили Тиллоттаму. Анарендра подробно писал, как происходили киносъемки в княжестве Рева. Старый дворец в Говиндархе, где магараджа поселил пойманных им белых тигров, стал местом действия второй части фильма. Похищенная из храма (то есть из Кхаджурахо) девадаси (то есть Тиллоттама) отвезена принцем в свой старый дворец, охраняемый тиграми. Девадаси делает попытку к бегству и едва не погибает, но факир (то есть Анарендра) спасает девушку. Анарендра писал, что Тиллоттама удивляла его, лишенного страха хатха-йога, своим редким мужеством, пока он не понял, что с девушкой неладно. Был момент, когда по ходу действия девада-

си бежит по стене, ограждающей внутренний двор, населенный тиграми. Она остановилась на стене, слегка пошатнулась, изображая потерю равновесия и испуг. Съемочная камера яростно застрекотала. Шедший по стене навстречу Тиллоттаме Анарендра увидел, что она не побежала дальше, а продолжала стоять как бы в задумчивости, не слыша сердитой команды режиссера. Огромный тигр, чисто белый, с густо-черными полосами, встал прямо под Тиллоттамой, высоко приподнялся на передних лапах и вытянул вверх шею. Его ярко-голубые глаза неотрывно следили за ней, склонявшейся к нему, протянув руку. Испуганный режиссер умолк, но кинооператор продолжал снимать неожиданное развитие сцены. Тигр раскрыл пасть, обнажив острые восьмисантиметровые клыки, прижал уши и присел. Его голова сверху показалась Анарендре плоской и широкой, как у змеи, а глаза, исподлобья уставленные на актрису, за секунду до того презрительные и испытующие, стали темнеть, наливаясь злобой. Тиллоттама пошатнулась. Анарендра понял, что еще секунда — и тигр прыгнет так высоко, что достанет ее, или она сама соскочит к нему со стены. Анарендра молнией ринулся вперед, схватил артистку, промчался по стене и спустился по короткой лестнице в тень смоковницы, росшей в углу нижнего двора.

На пленке вся сцена получилась великолепной, и режиссер отказался от дублирования. Он долго объяснял что-то продюсеру, который приехал сюда вместе с экспедицией. Как только «факиры» выполнили свои роли, продюсер самолично рассчитался с ними, рассыпаясь в благодарностях, и предоставил автомобиль до Аллахабада.

Анарендра не подозревал, что в это время избитый Даярам лежал на больничной койке в том же городе.

Вернувшись домой и получив письмо Даярама, Анарендра немедленно навел справки через банк, обслуживавший компанию «Орфей», как называлась сомнительная фирма продюсера. Господин Трейзиш путешествовал со съемочной экспедицией в Аджанту и Эллору, после этого уехал в Бомбей, а сейчас отдыхает в Лонавле — курортном месте недалеко от Бомбея, где банк оплатил ему аренду на два месяца. Анарендра поручил своим друзьям в Бомбее проследить за продюсером.

Анарендра ожидал только телеграммы от Даярама, чтобы выехать в Бомбей или другое место, где Рамамурти назначит ему встречу. И телеграмма полетела в Нью-Де-

ли, уведомляя Анарендру, что Рамамурти явится с первым же самолетом из Сринагара, что надо заказать два места на Бомбей, что, сверх ожидания, деньги у Даярама есть. Едва сдав телеграмму, художник выбежал из почтамта и опрометью понесся в агентство воздушных сообщений. Ему повезло захватить билет, от которого только что отказался один военный, но это был самолет, отлетавший послезавтра утром. Больше суток ожидания! А Тиллоттама, если в самом деле она не хочет больше жить... Если она поверила в свободу, в доброту и рыцарство в последний раз? И обманулась — откуда она знает, что случилось с ним? О боги, что пользы в сетованиях, надо ждать и действовать! Но позор его уклонения от борьбы долго будет жечь его стыдом!

— Я говорил, что путешественники всегда встретятся, — весело усмехнулся ладакхский геолог, входя в агентство вместе со своим прежним спутником. — Вы за билетом или уже получили? На Нью-Дели, конечно?

— Получил. На послезавтрашний рейс.

— Ну вот вам и попутчик, господин Ивернев! Познакомьтесь, господа: художник Рамамурти, только что из Малого Тибета, а это наш новый большой друг, русский геолог Ивернев. Простите, очень трудно правильно сказать ваше первое имя.

Рамамурти с любопытством оглядел худощавого, слишком легко одетого человека, на вид его ровесника.

— И долго вы были в Ладакхе? — спросил на хорошем английском языке русский геолог, складывая ладони с длинными пальцами перед собой — намасте вместо европейского рукопожатия.

— О, всего полтора месяца... в одном из тибетских монастырей.

— Очень хотел бы побывать и посмотреть! — оживился русский. — Знаете, для нас, людей романтического склада, Тибет с его монастырями все еще остается страной тайн, особенных знаний.

— Вы явно читали приключенческие западные романы! — вмешался начальник ладакхских геологов.

— Разумеется! — весело признался русский. — С детства сложившееся представление трудно уничтожить.

— Вы нашли бы там убежище от жизни, — сказал Даярам. — Я приветствовал бы тибетские монастыри как места для психологического отдыха или лечения. Когда-нибудь они станут такими!

— Интересная мысль для индийца!

— Вы намекаете на религиозность моего народа? Но я только что оттуда!

— От вас я не слыхал подобной оценки, — обратился русский к начальнику геологов, — а ведь вы пробыли там два сезона. Но не в монастыре, конечно... Впрочем, я шучу. Вы обещали мне обед за определение интересного минерала в ваших находках — пожалуйте к расчету! То, что мы обнаружили с первого взгляда, стоит хорошего обеда. Впрочем, позвольте мне угостить вас, как открывателя, — право, вы гораздо больше заслужили это, чем я. И мы пригласим нашего нового знакомого.

— Господин Ивернев находился здесь на кратковременном отдыхе, — пояснил Даяраму начальник, — и дружески разрешил воспользоваться его обширными знаниями минералогии. По этой причине я прилетел сюда и смог доставить вас. Экспедиция, в которой консультирует наш русский друг, работает на юге Индии.

— Тогда и я должен быть вам признателен, — поклонился Даярам. — Если бы не вы, то я тащился бы сейчас по горной долине где-нибудь милях в двухстах от Сринагара.

— Всегда приятно так просто помогать людям, — улыбнулся русский своей не то задорной, не то грустной улыбкой, — чувствуешь себя богачом.

— Вы действительно богач — вы много знаете! — сказал ладакхский геолог.

— Что вы! Я обычный инженер, только учился в таком институте, где для горного инженера считается необходимым превосходное знание трех основ практической работы геолога — минералогии, горного искусства и химии.

— Это Горный институт в Ленинграде?

— Совершенно верно. У нас считается, что знание минералогии, умение точно и быстро определять минералы — то же, что знать симптомы болезней для практикующего врача. В том и другом случае верная диагностика достигается простыми средствами, что вдали от лабораторий абсолютно необходимо. Но вряд ли эти подробности интересны художнику господину Рамамурти. Мы с вами еще поговорим вечером, когда закончим работу. А завтра — позвольте пригласить вас обоих на экскурсию по Сринагару и его окрестностям. Это мой последний день, и я уже заказал автомобиль.

Даярам с удовольствием согласился — томительный день ожидания пройдет скорее.

Русский геолог заехал за ним в гостиницу точно в условленный час. За рулем восседал суровый, заросший бородой до глаз сикх, а ладакхского начальника не было. На вопросительный взгляд Даярама русский ответил, что мистер Пулла Шеной вынужден заняться какими-то срочными делами, но если мистеру Рамамурти не будет скучно в его обществе из-за полного незнания им Сринагара...

— Иногда лучше быть ничего не знающим и идти с широко открытыми глазами, свободным от чужого знания и вкуса.

Русский пристально глянул на него и ничего не ответил.

Художнику не пришлось познакомиться со столицей Кашмира на пути в Ладакх. Зато теперь на всю жизнь запомнился ему этот день совместного скитания «куда глаза глядят» по незнакомому городу, который Томас Мур в лирической поэме XIX века назвал «Раем на Земле». Поэты Индии, мусульмане и индусы одинаково воспели долину Кашмира в самых изощренных и пышных эпитетах. Правда, значительная доля стихов принадлежала придворным воспевателям разных эпох, сделавшим человеческие чувства и слова орудием бесстыдного подхалимства. Но и свора льстецов не смогла исказить действительной красоты Кашмира и его столицы. «Мы бедны, — говорят кашмирцы, — но у нас есть те три вещи, которые по старинной пословице облегчают печаль сердца: чистая вода, зеленая трава и прекрасные женщины».

Они переехали разделяющую город быструю и прохладную реку Джхелум, недалеко от кубической, с острым шпилем мечети Шах-и-Хамада, построенной из дерева без единого гвоздя. По отличному шоссе машина обогнула гору «Трон Соломона» — двойной конус, заградивший южный конец озера Дал. Ивернев и Даярам объехали это пятимильное озеро по шоссе с востока, чтобы взглянуть на пресловутые сады могольских императоров — Нишат и Шалимар. Особенно славился Шалимар, созданный по приказу одного из выдающихся могольских владык, Джахангира, соединившего в себе, как нередко случается, свирепого властителя и сентиментального поклонника тишины, цветов и женщин. По легенде, даже на смертном одре на вопрос придворных, чего бы желал император, Джахангир ответил только: «Кашмир!»

Шалимар с его зелеными лужайками, тенистыми деревьями, бассейнами и ступенчатыми водопадами на фоне синих, покрытых лесом гор разочаровал Даярама. Может быть, потому, что он слишком часто встречал упоминания о его несравненной красоте и создал в воображении нечто смутное и необычайное. А прелесть Шалимара оказалась очень похожей на другие знаменитые парки его родины.

Объехав озеро Дал, они снова углубились в город, по шоссе между двумя озерами, оставив к северу холм с крепостью Хари Парбат, переехали снова Джхелум и направились по шоссе на запад. Проехав от города миль шесть, шофер остановился у третьего озера, где разветвлялось шоссе, обернулся и вопросительно посмотрел на Ивернева. Геолог молча показал на левую дорогу, сикх удовлетворенно кивнул, и машина резво пошла на пологий подъем вдоль небольшой, очень быстрой речки с прозрачной зеленой водой.

Даярам понял, что они едут прямо к подножию хребта Пир-Панджал, и только собрался спросить — куда, как русский с немного застенчивой мальчишеской улыбкой объяснил, что он не мог удержаться, чтобы не посмотреть на Гульмарг. Расположенный у самого подножия горы Афарват, Гульмарг был построен англичанами, изнывавшими от зноя на индийских равнинах, как высокогорный прохладный поселок для вакаций. С уходом англичан городок опустел. Комфортабельные трехэтажные отели и особняки стояли пустыми, и скот горцев пасся на прогулочных, очищенных от камней лужайках.

— Я всей душой люблю высокогорные, но не дикие, а устроенные человеком места, — говорил Ивернев, — и потом — есть особая грустная прелесть во временно покинутых, а не просто брошенных поселках. Я очень люблю бродить осенью — это у нас на севере время засыпания природы перед холодами зимы — по дачным местам Карельского перешейка. Большая зона отдыха около моего родного Ленинграда осенью пустеет, красивые санатории и дачи безлюдны, и в этом есть какой-то особенный покой. Он во всем — в холодном дожде и в полете опадающих багряных листьев, в шуме приморского ветра под соснами. Но это не пустыня — под ногами асфальтовые дорожки, по шоссе мчатся машины и в часе езды — огромный, полный людей город... Но вам вряд ли интересны эти личные ощущения, и я виноват, что не предупредил вас

об этой небольшой поездке, может быть, вы предпочли бы город? Мы скоро вернемся!

— Вы сильно ошибаетесь. Мне очень интересна и поездка и наш разговор, — возразил Даярам и, поколебавшись, спросил: — Вы пережили недавнюю тяжелую утрату?

— Что вас заставило так думать? — удивился русский.

— Даже не знаю. Что-то в выражении глаз, какие-то слова и теперь — вот это желание грустного одиночества. Индиец поступил бы так же, но мне казалось, что европеец стал бы лечить душевную рану постоянным пребыванием на людях, шумной музыкой, выпивкой. Или, может быть, я составил неверное представление о европейцах?

— Мне думается, что есть разные европейцы и индийцы. С вами тоже что-то случилось, и вы бежали в тибетский монастырь?

— Да, началось с физических ран, с болезни и слабости, а потом я пробовал уйти от себя.

— Не удалось?

— Конечно. Но теперь я другой!

— Значит, вы не считаете грустное одиночество слабостью?

— Нет, до тех пор, пока вы собираетесь с мыслями и силами, обдумываете, как быть дальше после случившегося. Если же думать, что это навсегда, тогда вы ослабели. Я стал понимать это после испытания тьмой.

— Испытание тьмой? Что это? — Русский достал странные длинные папиросы с черным всадником на твердой коробке, предложил Рамамурти и шоферу. Даярам отказался, а сикх осторожно принял свою и, закурив, впервые улыбнулся, поддаваясь дружеской, почти нежной внимательности геолога из дальней северной страны.

Художник вдруг проникся таким доверием к Ивернев, что стал рассказывать свою горькую историю. Дорога ухудшилась — дожди порядком размыли шоссе, и машину сильно трясло, кренило на объездах рытвин. Русский, не обращая внимания на неудобства пути, не отрываясь, слушал Даярама, иногда поджигая гасшую папиросу.

— Удачи вам! От всего сердца! — сказал геолог, кладя свою руку на пальцы Даярама и крепко пожимая их. — И благодарю вас. Ваша история так удивительна, что мне казалось, будто дело идет совсем не о вас, а о каком-то особом человеке... может быть, герое кинофильма или ско-

рее старинной легенды! Хотел бы я быть на вашем месте! — Иврнев замолчал и стал закуривать новую папиросу.

— На моем месте? — искренне изумился художник.

— Конечно же! У вас ясная цель, твердое решение, прямая борьба. Вы можете биться за свою утраченную любимую, знаете, где найти ее, куда вести.

— А вы не можете?

— Не могу, ничего не знаю, и нет возможности узнать!

— Какая-нибудь, хотя малая, возможность всегда есть. Только принять решение и стойко держаться, — возразил Даярам.

Они миновали Тангмарг, поднявшись на семь с половиной тысяч футов. Дорога становилась все более размытой, и после четверти часа яростной борьбы с ней шофер остановил машину, показав широким приглашающим жестом, что дальше пассажирам придется следовать пешком. Они торопливо двинулись, чтобы пройти оставшиеся две мили и подняться еще на четыреста метров.

Даярам и русский пошли по пологому подъему, пользуясь тропинкой для лошадей, проложенной рядом с дорогой, превратившейся в желоб, усеянный камнями. Они успели отъехать на уровень первых предгорий, покрытых лесом. Исполинские серебристые ели Гималаев до семидесяти метров высотой, стройные как свечи, стояли здесь в прозрачнейшем воздухе наедине с голубым небосводом. Мощные, в три обхвата, деревья вздымали в глубину неба несчетное число ярусов коротких ветвей с темной хвоей. Люди казались карликами у подножия этих гигантских деревьев. Ивернѐву, привыкшему к небольшой высоте деревьев его северной родины, лес показался перенесенным из далеких эпох, когда на земле обитали гигантские животные. Он поделился своим впечатлением с Даярамом. Индиец грустно вздохнул.

— Это и в самом деле древние леса, уцелевшие от прошлых времен. Старший брат моей матери — лесничий, и от него я знаю, что после вырубки эти леса не возобновляются. Во всяком случае, такие гиганты больше не вырастут. Что-то теряется в их жизненном окружении, так же как у секвой в Америке.

— Или кедров у нас в Сибири! Кстати, своей темной хвоей они сильно напоминают мне кедры — так называется у нас сибирская сосна. По стройности гималайские ели

похожи на наши тянь-шаньские, но хвоя тех светлее и размер вдвое меньше! Как же здесь хорошо! Сам становишься гораздо лучше, — задумчиво сказал геолог, набирая полную грудь воздуха. — Нас, северян, донимает индийская жара. Завтра мы будем в Дели, где все совсем другое, а мне еще дальше на юг.

— На юг? Не будет нескромным спросить — куда?

— В Мадрас, там база экспедиции, в которой я работаю.

— В Мадрас! Но я ведь тоже буду там через несколько дней. Необходимо найти родных Тиллоттамы и восстановить ее индийское подданство. Начинать надо с Мадраса — это единственный ключ.

— Понимаю. Может быть, вы дадите мне знать, чем кончилось ваше смелое намерение, которому я так желаю успеха. Поверьте, это не пустое любопытство.

— Где найти вас в Мадрасе?

Русский достал из бумажника визитную карточку.

— Здесь все: и телефон и адрес. Роянетта, недалеко от Маунт-Род.

— Благодарю. Вы скоро узнаете... или не узнаете ничего, и тогда поймете, что я потерпел неудачу

— Мне почему-то кажется, что будет удача. Может быть, из-за того, что в вас есть та железная решимость, которая обеспечивает успех.

Зеленая поляна Гульмарга, окаймленная темными, почти черными от густых еловых лесов холмами, обдувалась холодноватым ветром со скалистых круч. Над синей ступенью гор поднимались еще две ступени, покрытые снегом вплоть до ледяного острого гребня хребта Пир-Панджал.

Ряды деревянных домов, отелей и магазинов выстроились вдоль улицы, на которой не встретилось ни одной живой души, точно в заколдованном замке. Жалобно скрипели и хлопали на ветру ставни и кем-то приоткрытые двери, усиливая впечатление заброшенности и одиночества.

Вернувшись из Гульмарга, они вместе пообедали, потом катались на шикара — лодочном такси по каналам и озеру Дал, уставленному рядами плавучих гостиниц и сдаваемых внаем барж-особняков. Расстались лишь поздно вечером.

Даярам, усталый от множества впечатлений, долго не мог уснуть, переживая и перебирая в памяти день, проведенный в обществе нового знакомого, казалось бы такого

чужого и в то же время столь дружественно близкого, каким редко бывает и родственник.

Художник по обыкновению лежал с закрытыми глазами, и мысленные картины виденного проходили перед ним, как на медленной киноленте.

Веселые скопления домиков, теснящихся один над другим в предгорных поселках, среди поросших соснами холмов. Сам город с его рекой, каналами и спокойными озерами, с трехэтажными каменными домами, в которых не найдется и нескольких окон, расположенных на одном уровне, с крышами из утрамбованной глины, поросшими травой и нередко кустарником. Высокие стены каналов из грубой каменной кладки и нависающие над ними выступы домов, подпертые до ужаса непрочными на вид деревянными укосинами. Веселые мальчишки, плавающие по каналу Мар, среди лодок и выбрасываемого из домов мусора. Сады, обнесенные вдающимися в реку стенами, плавучие огороды на озерах, выращенные на плотах из тростника, дерна и водорослей, заякоренных воткнутыми в дно шестами.

Пестрые базары с толпами торговцев, бесстрастно сидящих у своих товаров, и покупателей, ничего не покупающих. Везде и всюду, как и по всей Индии, нищие калеки, нахальные мальчишки, грязные цыганские девчонки с правильными, красивыми личиками и огромными глазами. Суета и нищета рядом с простотой и величием. Сверкающие снега, холодные чистые озера — и узкие улочки с вонью и грязью. Здесь, в чудесной долине, окруженной всем великолепием горных хребтов, лугов и лесов, эти обычные контрасты родины Даярама выступали резче. Или он сам стал более зорким?

Бесчисленные лодки торговцев плавали по озерам и каналам. В них под холщовым навесом восседали важные или, наоборот, подобострастные люди, покуривая хуки — разновидность восточного кальяна. Они продавали все — от шапок и вышивок до устрашающего вида ножей и пистолетов. Великолепны были лодки, заваленные цветами. Пышные, свежие букеты, ярко-красные, желтые, синие, лежали плотной пахучей грудой по всей длине узкой посудины.

Новый русский друг удивил Даярама, привыкшего к тому, что европейцы с жадным интересом устремляются на базары и в магазины, стараясь накупить как можно больше. Ивернев с любопытством смотрел на замечатель-

ные вышивки, ковры, чеканные кувшины, резные деревянные изделия, которыми так славится Сринагар, но его интерес был не большим, чем ко всем другим особенностям жизни города. Геолог ничего не купил и в то же время, как заметил Даярам, не стеснялся в средствах, если дело касалось поездки на автомобиле или лодке-такси. Только один раз, когда настырный торговец, подплывший борт о борт к их лодке, расстелил перед русским роскошную шкуру снежного леопарда, Ивернев выразил не то колебание, не то сожаление и, отпустив торговца, надолго задумался...

Смена образов, проходивших перед художником, незаметно перешла в дремоту. Даярам проснулся за минуту до того, как в номер вошел гостиничный бой.

Пока такси мчалось к аэропорту по запыленной дороге, Рамамурти часто оглядывался, тщетно пытаясь увидеть машину русского геолога. В аэропорту он узнал причину — полет откладывался на два часа из-за грозы у Амритсара. Вероятно, Ивернев узнал об этом заранее. Даярам вышел из помещения и сел на скамью под навесом, любуясь белыми зубцами Пир-Панджала, кое-где увитыми шарфом прозрачных облаков. Задержка — пустяк, два часа и еще два часа полета... Он надолго расстанется с чистым воздухом нагорья, со снежными гигантами, устремленными в ярко-голубое небо. С этой последней высокой ступени в пять с половиной тысяч футов он спустится на знойные равнины, нещадно палимые солнцем, тонущие в пыли и мареве горячего ветра под свинцовым небом, так же давящим на головы людей, как этот тяжелый и мягкий металл.

А потом влажная жара Бомбея. Бомбея, где томится Тиллоттама!

Аэропорт наполнялся пассажирами. Издалека художник заметил своего нового русского друга, окруженного целой группой людей, единственным знакомым среди которых был начальник ладакхского отряда геологов. Даярам постеснялся подойти, приветствовал обоих издалека и поторопился забраться в самолет, уже изрядно нагревшийся на солнце. Лишь после взлета они с русским уселись рядом на свободное сиденье в хвосте и говорили о том, как возможность быстро перебрасываться на далекие расстояния изменила жизнь людей. Перемена в окружающем мире совершалась буквально в считанные часы,

и так же поворачивалась жизнь, вынуждая к изменению действий, решений или привычек. Не удивительно, что такие резкие повороты в жизни человека, разрушая весь привычный его уклад, подвергали нервную систему большим напряжениям и требовали прочной психики. А по условиям цивилизованной жизни организм ослабевал, и получался разрыв между требованиями нового и состоянием человека.

Самолет швыряло и качало в полосе, где холодный воздух Гималаев сталкивался с горячим фронтом Индо-Гангской долины. Внизу расстелилась однообразная желтая дымка. Еще немного времени, и самолет плавно покатился по плитам огромного аэродрома Нью-Дели. Зной сразу охватил вышедших из самолета. Даярам простился с русским и поспешил к махавшим ему издалека Анарендре и толстому веселому инженеру Сешагирирао.

— Тебе на пользу Тибет! — воскликнул инженер. — Ты стал неотразим. В самый раз отправляться на завоевание красавиц!

— Да, если не считать отсутствия волос. Еще не отросли, — ответил Даярам.

— Под тюрбаном не видно! Теперь понимаю, отчего ты одет, как магараджа.

Анарендра укоризненно посмотрел на приятелей — как можно шутить серьезными вещами! — и сказал:

— Если ты не устал, то можно лететь сегодня же. Два места забронированы.

— Разве ты, Сешагирирао, не с нами?

— Нет. Анарендра сказал мне, что людей достаточно и без меня. Это и к лучшему, потому что сейчас мне нелегко освободиться. Однако можно, если будет надобность.

— Решительно никакой, — твердо сказал Анарендра, — пойдемте обедать. У нас еще полтора часа. Идите занимайте столик, а я выкуплю билеты.

В углу ресторана было много свободных мест. Когда они сели, инженер оглянулся, сдавил руку Даярама.

— Обещай мне, что дашь знать, если тебе понадобится моя помощь. А сейчас не отказывайся, — и Сешагирирао вытащил бумажник.

Даярам остановил его.

— Поверь, что денег не надо! Смотри, я вожу с собой крупную наличность, как спекулянт, — художник показал инженеру свой туго набитый бумажник.

— О боги! Тут мои пятьсот рупий выглядят смешными. Но остается еще одна вещь. Протяни руку под скатертью!

Даярам ощутил в руке тяжелую металлическую вещь.

— Что такое? — воскликнул он и увидел большой автоматический пистолет с кургузым стволом и странной большой гашеткой. Сталь массивного оружия сурово поблескивала. — Зачем? — воскликнул Даярам, возвращая оружие с инстинктивным отвращением индийца к убийству. — Мы не можем становиться на одну доску с гангстерами.

Сешагирирао весело рассмеялся и беззаботно махнул рукой.

— Я не хуже тебя знаю нелепость законов, по которым порядочный человек всегда останется без оружия, а любой бандит и вор, которому плевать на закон, делает что угодно с безоружными людьми. Так вот, чтобы избежать унижения от своей беззащитности перед каждым негодяем, я создал это оружие. Никакой суд не признает его огнестрельным и вообще чем-либо стреляющим. Смотри! — Инженер открыл защелку и вытащил из ручки пистолета плоский флакон с опалесцирующей жидкостью. — Вот что вместо обоймы и патронов. Вот поршень, давящий снизу, здесь клапан, открывающий дуло с нажатием гашетки и еще один поршень с разбрызгивателем. Нападающий получит в рожу порцию едкого, но безвредного химического вещества — мой секрет. Никакого убийства, но полное торжество над любым врагом! Флакон — на двадцать таких «выстрелов», а вот тебе еще два запасных. Разве плохо? Возьми, пригодится! Мусульмане говорят: «Последнее лекарство — огонь, и последняя хитрость — меч!»

Даярам вспомнил слова гуру: «Ты сейчас вступаешь в нижний мир, где одной душевной силы, как бы она ни была велика, тебе будет недостаточно!» — и, благодарно улыбнувшись, опустил тяжелый пистолет в карман.

Пришел Анарендра с билетами. Друзья просидели за обеденным столом до вызова к самолету. И, только когда они были уже в воздухе, Даярам решился задать Анарендре мучивший его вопрос: «Как надеются бомбейские приятели найти Тиллоттаму?»

— Она уже найдена! — хладнокровно отвечал Анарендра.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ЗВЕЗДНЫЙ ОГОНЬ

Тиллоттама стояла, опираясь плечом на увитый растениями столб крытой веранды, выходившей в сад. Склон холма, на котором находилась вилла, был огорожен каменным забором. За ним ряд похожих домов, дальше виднелись холмы с редкими деревьями, поблескивало гладкое шоссе до Бомбея и океана. Сюда, на окраину курортного городка Лонавли, ее привез после съемок фильма продюсер Трейзиш. Случай на стене Говиндарха, когда она, повинуясь мгновенному импульсу, чуть не прыгнула в лапы тигра, озаботил американца. Он решил дать отдых своей звезде, развлечься сам и заодно провести кое-какие дела в Бомбее. После Кхаджурахо он не мог не видеть, что Тиллоттама изменилась, стала печальнее, тверже и с каждым днем отдалялась и от прежних привычек и от него, не оказывая прямого сопротивления. Эта презрительная пассивность приводила Трейзиша в бешенство.

И сейчас Трейзиш, тихо вошедший на веранду в мягких туфлях, украдкой разглядывал свою звезду, глубоко задумавшуюся и ничего не замечавшую вокруг.

Ее иссиня-черные волосы не были заплетены в косы, а по-европейски подняты вверх и скручены огромным пучком, казавшимся непосильно тяжелым для ее высоко открытой шеи.

Трейзиш смотрел на Тиллоттаму, сравнивая ее с новой знакомой — итальянкой Сандрой, и раздраженно спросил:

— Что с тобой? Ты больна? О чем ты думаешь все время?

Тиллоттама вздрогнула от неожиданности. Ей показалось, что в вопросах Трейзиша прозвучало участие.

С мольбой сложив ладони и склонив голову, она опустилась на колени.

— Отпусти меня, господин! Ты не раз говорил, что я принесла тебе гораздо больше денег, чем ты заплатил старому Сохрабу. Я не могу больше, я тоскую. Пока я на родной земле, я могу искать утраченную родину и, может быть, моих близких. Зачем тебе черная танцовщица? Я вижу, как ты засматриваешься на прекрасную итальянку, это женщина для тебя. Дай мне пойти своим путем, и я всегда буду помнить о тебе с благодарностью...

Трейзиш молчал.

Она подняла голову и увидела молчаливую усмешку в его глазах, которая сказала ей больше слов. Тиллоттама встала, Трейзиш достал сигарету и щелкнул зажигалкой.

— Каким это своим путем? В публичный дом? Нет, ты слишком дорога для этого, — он недобро рассмеялся.

За стеной сада послышался веселый свист.

— Ну вот твои итальянские друзья! Беги к ним, девочка, и перестань думать о глупостях. Право, я не хочу тебе ничего дурного! Извинись за меня, я уеду сейчас и ночую в Бомбее.

— Тама, Тама! — звал звонкий голос.

— Я тебе уже говорил, Леа, что не надо звать ее Тамой. Оказывается, это слово означает «желание». Слишком интимно!

— Не ворчи, Чезаре, на тебя плохо действует жара! Девушка — само желание, и ни один стоящий мужчина не может этого отрицать.

— Отрицать не может, но нельзя кричать об этом на всю улицу!

— Где нет никого и ничего, кроме пустых особняков.

— Довольно препирательств, дети, — важно сказала Сандра, — вот идет Тиллоттама. Сейчас Чезаре начнет сгибаться, как фокусник, и стрелять уголком левого глаза. Как комичны мужчины перед красивыми женщинами!

— И главное, они сами этого не замечают, — добавила Леа.

— Довольно, женщины, мое терпение на исходе!

И Чезаре приветствовал Тиллоттаму на ужасном английском языке. Сандра, как всегда, пришла ему на помощь.

— Сегодня новая картина — венгерская, невесть как

залетевшая сюда. Нас привлекло то, что артистка похожа на Леа. Пойдемте смотреть на Леа в кино?

Тиллоттама согласилась, и все четверо направились по заросшей жесткой травой улице к центру городка. Здесь Трейзиш не боялся бегства своей звезды и, доверяя итальянцам, иногда отпускал ее с ними. Тиллоттама, впрочем, не была уверена, что за кустами и в тени домов за ней не следует соглядатай, и не ошибалась.

— Если ты будешь в фильме целоваться с другими, то я этого не потерплю! — объявил Чезаре.

— Интересно, что ты сможешь сделать?

— Стрелять в экран!

— Из тюбика с краской?

Итальянцы засмеялись. Сандра перевела. Тиллоттама печально улыбнулась.

— Кстати, насчет тюбика с краской, — сказал Чезаре, — в следующую поездку в Бомбей я куплю настоящий кольт. Какое-то у меня поганое чувство после наших приключений в Южной Африке. Точно вокруг копошится нечисть и только ждет случая, чтобы ты оступился.

Сандра обернулась к художнику.

— Знаете, Чезаре, и мне кажется, будто за нами подсматривают. Стало неприятно в этом тихом городке.

— Какие вы оба чувствительные, — рассмеялась Леа, — просто Чезаре стал капиталистом и боится, что его ограбят. Право, куда лучше было без денег. Никак я не ждала такой суммы от Каллегари, и представляете, что это далеко еще не все!

— Хорошо, я трушу бандитов, а Сандра? — нахмурился Чезаре.

— Сандра боится этого Трейзиша, босса Тиллоттамы. У нее вообще слабинка на демонических мужчин, вспомните турецкого профессора в Кейптауне! А Трейзиш как взглянет, так Сандра сразу берет сигарету или торопится присесть.

— У тебя невозможный язык, Леа, — рассмеялась Сандра, — но не отвлекайте меня от разговора с Тиллоттамой. Она почему-то всегда печальна. Вообще за ней видна тень, как была за нами в Африке, что-то обреченное. Или мне это кажется потому, что она так невозможно красива!

— По твоей теории о гибели красоты в столкновении с жизнью, — вставила Леа, — но, право же, она уступает тебе, ты слишком скромна, Сандра. Я убеждена, что она

в европейском платье не имела бы виду. Как ты думаешь, Чезаре?

— 40—24—46 при росте 162 по нашему европейскому счету, или пять футов пять дюймов на американский лад, — уверенно заявил Чезаре.

— Вот видишь, мала!

— А вы понаторели, Чезаре, — неприязненно сказала Сандра, — на службе в рекламном агентстве. Запахло прошедшими временами и духом Флайяно!

— Ты слишком болезненно принимаешь все, что связано с модельным фото, Сандра, — заметила Леа, — ничего, пройдет. Но не кажется ли вам, друзья, что говорить про человека в его присутствии на неизвестном ему языке нехорошо?

— Ты права, как всегда, Леа! — И Сандра весь вечер старалась развлечь Тиллоттаму.

Фильм шел с индийскими титрами, и итальянцы ничего не поняли, кроме сравнительно простого психологического сюжета и хорошей игры приятных актеров. Сандра украдкой наблюдала за Тиллоттамой. Картина вызвала в ней смятение. Тиллоттама видела и не так много европейских фильмов и то в большинстве приключения гангстеров и доблестных полицейских или исторические сверхбоевики о малознакомом ей прошлом Запада. Несколько раз она смотрела картины, в которых путешествующий инкогнито миллионер или сын богача влюблялся в простую девушку, вызволял ее из опасностей и бедности, делал из нее великосветскую даму, великую актрису или просто холеную жену.

Везде героиням сопутствовало удивительное счастье. В лапах самых отвратительных гангстеров, в гаремах Востока, в плену у врагов, во власти мерзавцев они ухитрялись сохранить себя для героя, остаться целомудренными и чистыми. Это был явный обман, Тиллоттама слишком хорошо знала реальную жизнь.

Но венгерский фильм показывал обыкновенную судьбу обычной молодой пары. Здесь люди рассчитывали только на себя, не видели никакой беды в повседневном труде, умели радоваться простым удовольствиям и пользовались любовью множества друзей. О такой жизни и мечтала всегда Тиллоттама, а после встречи с художником Рамамурти ее неопределенные грезы стали приобретать реальность. Но судьба сулила ей продолжение жалкой роли красивой вещи, купленной для наслаждения и выставляе-

мой напоказ за деньги — пусть не непосредственно, как в ночном клубе, а в призрачной жизни киноленты, — не все ли равно — этому она служила.

В первый же день приезда в Кхаджурахо, бродя по храмам, она увидела Даярама на карнизе, в таком рискованном положении, что ее сердце невольно забилось в тревоге за незнакомца. Художник был в одной набедренной повязке, и она любовалась его стройными ногами, широкими плечами и прямой, гордой осанкой. Вечером в храме Вишванатха, заблудившись в галереях, Тиллоттама увидела его перед статуей сурасундари. Он молился ее красоте, как иначе можно было назвать беззаветный порыв восхищения? Она убежала, смутившись, понимая, что стала свидетельницей очень интимного. На следующий день, встретив Рамамурти у льва, она увидела такое же восхищение в его взгляде. В незабываемый час их первой встречи она впервые в жизни увидела себя глазами художника, отразившими ее красоту. Она могла бы вдохновить мужчину на высокий подвиг, так она поняла сама и так ей говорил Даярам, признаваясь в любви не словами, а стоявшим за ним чувством. Она могла бы послужить моделью для статуй и картин, подобных тем древним произведениям искусства, от которых исходила сила красоты и любви, выражая могущество их создателей, утешающих людей на общем трудном пути через жизнь.

С невыразимой грустью следила Тиллоттама за фильмом. Веселая хохотушка-героиня приехала купаться со своим возлюбленным. В красном с крупными белыми горошинами купальном костюме, очень шедшем к ее светлым волосам и золотистому загару северянки, она дразнила своего милого, пока не была схвачена его сильными руками и поднята на воздух. Оба беззаботно смеялись, забыв обо всем на свете. «Насколько свободна европейская женщина в сравнении с нами, — думала Тиллоттама, следя за очаровательной задорной девчонкой, действительно похожей на маленькую итальянку Леа, — она может всю жизнь оставаться детски беззаботной, и не мудрено. Она надевает такой костюм, за который меня закидали бы камнями, и с полным достоинством принимает восхищение мужчин. И это восхищение другое, чем у нас, потому что они уже привыкли к открытому телу женщины и научились видеть в нем красоту, а не только обозревать какие-то отдельные его части, возбуждающие похоть.

А я в своих фильмах должна сниматься нагой, как когда-то «пятые» — неприкасаемые, которые не имели права прикрывать свое тело одеждой и уподобляться тем самым людям высших каст. Открываться для грязных глаз, гнусных глаз бездельников, ничего не любящих, ни во что не верящих».

Тиллоттаме до боли сердца захотелось увидеть Даярама, сказать ему, что теперь, овеянная чувством художника, она не может так жить больше. Даярам исчез — очевидно, Трейзиш рассказал ему про нее все — самый верный способ отвратить мужчину. И он ушел навсегда!

Тиллоттама не заметила, как окончился фильм, и едва успела прикрыть лицо, чтобы люди не увидели слез. Она возвращалась домой, едва заставляя себя отвечать на шутки итальянцев. Те шли рядом, негромко переговариваясь. У виллы от забора отделилась высокая сумрачная фигура Ахмеда. Он стал отпирать калитку, и Тиллоттама поспешно распрощалась.

Безмолвная и одинокая, Тиллоттама сидела на краю низкой оттоманки, под пропыленными бутафорскими трофеями, украшавшими «охотничий» уголок холла. Рядом, на стойке красного дерева, стояли отнюдь не бутафорские винтовки и ружья Трейзиша — любителя огнестрельного оружия и ножей. Когда-то он учил ее стрелять для фильма «Повелительница тугов».

Медленно, в тихой задумчивости Тиллоттама протянула руку и вынула из гнезда тяжелую винтовку с заделанным в дерево коротким стволом. Его вороненый конец с кольцевидной мушкой уставился ей в лицо неподвижным взглядом ядовитой змеи. И, как тогда в Говиндархе, слегка закружилась голова от острой мгновенной мысли.

Сердце Тиллоттамы стеснила печаль, такая глубокая, что все отошло, сделалось безразличным, кроме черного отверстия в вороненом металле. «Это, наверное, будет больно...» — опасливо подумала она. И тут же мужественная мысль ободрила ее, что больно будет очень недолго. И кончится навсегда несчастливая жизнь, все ошибки, падения, позор, тоска по тому, что не пришло и не может прийти... Тиллоттама положила винтовку на колени, повернула тугой затвор. Он открылся, тихо щелкнув, и отошел назад. Под ним, точно зуб кобры, показалась заостренная головка пули. Неторопливо, действуя точно во сне, она дослала патрон в ствол. Затвор щелкнул громко и отрывисто, словно предупреждая о готовности. И вдруг

в ее умственном зрении возник образ Даярама с его застенчивой и восхищенной улыбкой. Странное печальное оцепенение, опутавшее Тиллоттаму точно дурман, оборвалось, сердце застучало горячо и быстро.

«Ты есть, ты придешь! — сказала она про себя. — А если нет, то я пойду искать тебя! И если убийцы возьмут мою жизнь — пусть. Но я умру в пути с ветром свободы в моих волосах, с росою зари на ногах. А не здесь, в клетке, спутанная, как зверь!» Тиллоттама выпрямилась и подняла голову, поглядев в тьму под высоким потолком. Она успокоилась, как будто исчезнувший художник и в самом деле обещал ей прийти.

Приглушенный вскрик заставил девушку обернуться. Справа, у входа в нижний коридор, появился низенький, толстый Азан, человек, обязанности которого были непонятны Тиллоттаме. Что-то вроде доверенного секретаря. Азан позвал на помощь, и в двери холла появился Ахмед.

Она подняла винтовку. Ахмед кинулся к ней с оскаленными зубами. Тиллоттама думала лишь напугать его, но она не имела понятия о «шнеллере». Чуть-чуть палец притронулся к спуску, как грохнул выстрел. Ахмед упал, а Азан дико завопил, закрывая лицо руками. От неожиданности Тиллоттама отбросила оружие, а невредимый Ахмед подхватил его с приглушенными проклятиями, среди которых девушка различила только индийское «бхерини» (волчица).

— Хат джао! Вон! — повелительно крикнула она, вскакивая.

Обе белые фигуры ретировались с угрозами пожаловаться хозяину. Тиллоттама расхохоталась и продолжала смеяться, пока не поняла, что не может остановиться. Засунув в рот конец головной косынки, она побежала к себе наверх, где бросилась на постель и плакала и смеялась в истерической разрядке после страшного часа ее жизни.

— Не пора ли нам выбираться отсюда? — Леа лениво развалилась в кресле на веранде, очень похожей на такую же в доме Трейзиша. — Больше они ничего не могут сделать.

— Спасибо и на том, что эти сеансы внушения успокоили тебя и мы с Сандрой смогли рассказать тебе все, не пугая.

— И черная пропасть заполнилась, — кивнула головой Леа, — но только как из книги. Я будто читала об этом и потом представила себе. Так что объяснения все равно нет!

— И бог с ним! Лишь бы ты стала прежней, дорогая! — Глубокая нежность в тоне Чезаре растрогала Леа.

Уже почти три месяца они в Индии. Сначала они поехали в институт парапсихологии в Ганганагаре, изучавший всякие непонятные психические явления. Но его директора профессора Банерджи не оказалось. Он был в России, в Москве, а в институте осталось всего двое сотрудников. Остальные пять человек разъехались на каникулы с наступлением гарми — жаркого времени года. Итальянцы вернулись в Бомбей и приехали сюда, в Лонавлу, в институт йоги, основанный известным свами Кувальянандой. И здесь не нашли разгадки заболеванию Леа, но успокоительное внушение помогло ей обрести прежнее душевное равновесие. Чезаре еще больше укрепился в убеждении, что виной всему была черная корона, однако осторожно высказанные им предположения не нашли никакой поддержки ни у парапсихологов, ни у ученых Лонавли. Чезаре понял, что попытки раскрытия человеческой психологии «из самой себя», без наблюдения природы, лишили эти умозрительные изыскания той прочной основы сравнения и эксперимента, какой обладает пока еще медленно ползущая в области психологии европейская наука. Художник начал мечтать о встрече с широкообразованным европейским ученым типа энциклопедистов, каких с каждым годом меньше становится на земле.

— А я знаю, о чем ты думаешь, Чезаре! — воскликнула Леа. — Ты вспомнил Ганганагар. Правда?

Чезаре утвердительно кивнул.

— Странный маленький городок на окраине пустыни, — сказала Сандра. — Немыслимо жаркий уже в мае, с ветрами и пылью.

— Почему же странный? — хмыкнул Чезаре.

— Потому, что в нем есть свое очарование. Малолюдье, близость пустыни, вечно шумящий ветер делают Ганганагар каким-то, ах, как бы сказать...

— Безвременным!

— Да, вернее, вневременным.

Сандра сказала:

— В таких городках жили протоиндийцы и подданные

Александра Македонского. Наверное, это чувство связи с прошлыми веками и есть странность города. У нас в Калабрии или Апулии есть такие места. На мысе или плато над морем стоят развалины античного храма, всего шесть-семь колонн, кое-где прикрытых плитами фронтона. Сухая и жесткая трава грустно шелестит под ветром, так же как и тысячи лет назад. Наедине с беспредельным морем, облаками, горячим светом солнца приходит чувство, что все это родное, близкое, мое. И я сама принадлежу этой бесконечности прошлого и грядущего, сошедшихся на тонкой грани, и эта грань — я. Иначе не умею объяснить. А потом — пройдешь совсем немного, и рядом шоссе с бешено мчащимися машинами. Где-то в высоте ревет большой самолет. Тогда несколько минут смотришь на все это со стороны, как будто пришел из другого мира, и все такое четкое, запоминающееся, свежее.

— Сандра, я знаю это чувство, — сказала Леа, — помните, мы проехали Суратгарх, государственное хозяйство на земле орошенной пустыни. Тракторы будто боевые слоны, фонтаны водяных брызг из этих вертящихся поливалок, запах свежей зелени! И ведь всего пять лет, как русские взялись помочь сделать это хозяйство!

— Да, взяли и отрезали кусок пустыни. И стала земля, как сад!

— Ладно, переживаний у нас в этом путешествии хватит на всю жизнь. Мы, кажется, начали обсуждать, что делать дальше?

— Наш практический опекун и босс сахиб Пирелли не велит вдаваться в лирику, — рассмеялась Леа, — давайте о деле. Я здорова, как... как тигр!

— Положим — тигрица!

— Что ж, титул неплох! — Леа, сделав прыжок, оказалась на перилах веранды.

— Леа, сумасшедшая, — ахнула Сандра, — так недолго грохнуться в сад!

— Ничего не случится. Я всегда славилась мгновенной реакцией и координацией. Чезаре прав: я хищная кошка!

— Никогда не утверждал этого!

— Пусть так! Но суть в том, что я здорова и нечего меня больше таскать по психиатрам, даже индийским. Кончено! Пора нам убраться отсюда, из этого скучнейшего курорта.

— Согласен, уедем. Мы с Сандрой не теряли время даром, особенно Сандра, она стала знатоком древнего искусства Индии.

— Обычная для художника склонность к преувеличениям, — лениво повернулась к Чезаре Сандра, — правда, я увидела много интересного, так много, что поняла, насколько узко наше историческое образование. Без Азии мы не можем претендовать на полноту понимания истории человечества и искусства.

— Чемодан набит исписанными тетрадками, — улыбнулся Чезаре, — и все вам мало. Даже амазонки забыты, кто-то клялся писать о них книгу!

— Положим, у тебя самого тяжелепная связка альбомов — о тех же храмах и музеях, что тетрадки Сандры, — вступилась за подругу Леа, — вы отдавали меня на растерзание лекарям, а сами...

— Не жалуйся, дорогая, ты упустила не так уж много. Но куда же теперь? Может быть, в Мадрас, этот центр южноиндийской культуры?

— Хорошо! — радостно всплеснула руками Леа. — А оттуда давайте поедем в Шантиникетан — Тагоровский университет искусства, где учат в тени деревьев парка, как в древности. Плохо только, что будет жарко.

— Если устанем, уедем на север, мы там еще не были, хотя бы в Дели.

— Что ж, план готов. Только как Сандра? Может быть, она придумает другое? Почему ты молчишь, ученый искусствовед?

Сандра полулежала в плетеном кресле, задумчиво глядя на пустынную и знойную улицу. Слова Чезаре о забытых амазонках заставили ее мысленно перебрать впечатления от пребывания в Индии. Нет, ей повезло. Если думать о серьезном историческом исследовании гибели женского главенства — матриархата, то нельзя обойтись без древней Индии.

Важная черта ее философии — это признание активного начала женским, а пассивного — мужским. Шакти — слово, буквально означающее энергию, — женское начало, и ему поклонялись в образе Деви, божественной матери, Кумари — девушки или Кали — разрушительницы зла. Сандра видела во многих храмах изображения Кали, несущейся на битву с демонами верхом на львиноподобном чудовище. И всегда за ней мчались, размахивая палицами, ее верные сподвижницы йогини — амазонки Индии.

Лучшего подтверждения догадкам Сандры нельзя было найти.

Дравиды проявили глубокую мудрость, рассматривая женщину как огонь жизни, пробуждающий, направляющий и формирующий стихийные силы природы, и как мать — защитницу от зла, дающую мужчине покой, воспитывая и указывая путь к прекрасному и доброму. От такого представления о женщине не откажется сейчас ни один культурный человек Востока или Запада.

Больше трех тысяч лет назад люди достигли зрелого понимания красоты тела. Созданный ими древний идеал сильного тела распространяется от Средиземного моря до долины Инда. Это культуры Крита, Финикии, Мохенджо-Даро, Анау. В этой климатической полосе — наилучшие условия жизни. Раньше, чем во всех других странах, здесь появляются поселения или города с самыми удобными домами, с канализацией, банями, ваннами. Не гигантские храмы, пирамиды, дворцы — нет, общественные поселения. Тогда, в последнем тысячелетии до нашей эры, у культурного человечества началась полоса наибольшего здоровья, здесь в Индии, существовавшая и в первые десять веков современной эры.

Сандра вызвала в памяти множество скульптур, созданных народами Индии.

Наибольшее впечатление произвело на Сандру посещение высеченного в скалах буддийского храма Карли невдалеке от Пуны. Уже самый вход в чайтью — святилище, глубоко врезанный в склон базальтовой горы, переносил в давно прошедшие времена, когда люди самыми примитивными инструментами, без помощи книг, фотографий и справочников могли осуществлять гигантские работы с целью создания прекрасного. Громадная углубленная арка с ребристыми выступами взмывала вверх над прямоугольной прорезью входа. Справа в стесанном отвесно обрыве стоял ряд каменных слоних с опущенными на землю хоботами. Справа и слева от входа на широких панелях были изваяны скульптуры людей — четыре четы — дампати, сливавшиеся в единое целое со всем замыслом входа. Слева фигуры хуже сохранились, а справа темный камень изваяний, твердый базальт, четко выделялся на когда-то выкрашенной стенке ниши.

Женщина невысокого роста в движении плавного танца обнимала за талию стоявшего рядом мужчину. Правая нога, ступившая вперед и налево, перекрещивалась с ле-

вой, согнутой в колене. Разрушенная временем правая рука когда-то протягивалась вперед. Толстые браслеты на щиколотках, узкий плетеный пояс поперек бедер и огромные кольца-серьги составляли весь наряд женщины. Круглое лицо было испорчено временем или варварством людей, но передавало веселую, полную избытка радости красоту, характерную для скульптур этого времени — рубежа между двумя эрами. Голова походила на дравидийских женщин Индии широким и низким лбом, маленьким закругленным носом и полными, развернутыми, как лепестки, губами. Прямые плечи были узкими, ноги — маленькими, с тонкими щиколотками. Тесно поставленные груди сильно выдавались полушариями, как обычно для индийских статуй. Стан женщины был очень узок и резко контрастировал с бедрами, очерченными крутыми дугами, по которым можно было бы описать круг диаметром больше ширины плеч. Как убедилась Сандра, этот круг, верхним краем пересекавший самое узкое место талии, а нижним опускавшийся до последней трети бедра, был характерен для всех без исключения изваяний конца прошлой и начала нашей эры. Что хотели выразить мастера древности? Утрированное и усиленное отражение реально существовавшего идеала?

Сандра вошла в подземный зал чайтьи, освещенный слабым верхним светом через прорези свода, который в форме удлиненной подковы поднимался на громадную для пещерного зала высоту в пятнадцать метров и был отделан аркообразными ребрами. Каждые два ребра своими обрезанными концами нависали над шестигранной колонной с капителью в виде символического лотоса, увенчанной четырехугольной плитой с фигурами всадников на лежащих слонах. Все это очень напоминало подземные залы святилищ Аджанты, только больше, проще и без усложненной каменной резьбы. Стоявший в конце зала алтарь в форме простой полусферической ступы был таким же строгим, как и все это огромное святилище, тридцати метров длиной и восьми шириной, для которого понадобилось вырубить не меньше десяти тысяч тонн твердого сливного базальта.

Скульптуры наверху, как и дампати у входа, были сделаны теми же великими художниками. Луч неяркого света, упавший на одну из колонн, помог Сандре разглядеть изваяние во всех подробностях. Сидевшая на самой шее слона женщина как две капли воды походила на изо-

браженную у входа. Ноги ее охватывали шею животного и были скрыты ушами слона. Женщина изогнулась назад, обнимая правой рукой шею сидевшего позади мужчины, а левую закинув себе за голову. Задумчивая улыбка играла на беспечно поднятом вверх лице, маленькие складки подчеркнули сильный поворот тела в пояснице — все эти точные подробности наделяли изваяние жизнью.

Теперь Сандра не сомневалась — подлинно живые женщины служили моделями древним скульпторам. Невозможно было более правдиво передать выражение любви и ленивой истомы...

— Очнись, друг мой! Куда ты унеслась? — снова окликнула Сандру Леа.

— Не так уж далеко — только в Карли. Видишь ли, Чезаре не прав, я стала верить в то, что действительно напишу об амазонках лишь здесь, в Индии. В ее древнем искусстве полно отзвуков того удивительного периода истории человечества, которого я хочу коснуться в своей книге. И я начинаю реально представлять жизнь и мечты тех людей.

— И для этого ты хочешь остаться здесь, в Лонавле?

— Боже мой, нет! Но куда вы хотите ехать, извините, я прослушала?

— В Мадрас. Знакомиться с южноиндийской культурой. Потом в Шантиникетан.

— Поехали! Как хорошо, что вы с Леа кончили ваши счеты с парапсихологами или как там они еще называются. Мы будем свободны в выборе мест.

— Ты что-то с самого начала не верила в йогов.

— Может быть, после того, как мне показали сборище вымазанных пылью голых людей с непомерно отросшими волосами. Не могу верить в мудрость людей такого рода. У них нет будущего. Ты смотрела на индийских детей? В их громадные глаза, горящие таким любопытством и умом, что самой становится стыдно, как мало сил я отдала учению? Неправдоподобно прекрасные маленькие дравидийские девочки, полные радостного огня жизни, еще в абсолютном неведении, как мало будет отпущено им счастливых лет юности в их трагически ограниченном будущем. Страна с такими детьми обязательно должна достичь многого. Мы еще не встречались здесь с по-настоящему образованными людьми и, наверно, не увидим их.

— Да, пока нам не очень везло на встречи. Только Тиллоттама. С настоящей интеллигенцией Индии мы не познакомились. Попали в круг богатых бездельников или же бизнесменов, приезжающих на отдых в своих «бьюиках».

— Я успела их возненавидеть! — пылко сказала Сандра. — Они отъявленные снобы и недолюбливают европейцев.

— Да, они считают, что у белых даже кожа, как у мертвых.

— В этом они не так уж не правы — здесь белая кожа кажется рыхлой и неживой.

— То-то ты жаловалась, что не можешь больше здесь ходить на пляжах в купальнике под жаркими взглядами индийцев, потому что это все равно что идти голой!

— Как же они не боятся смотреть на вас? — ухмыльнулся Чезаре.

— А почему им бояться? — насторожилась Сандра, предчувствуя подвох.

— Вот этой медной рыжины. По старинным индийским поверьям, рыжеволосая женщина может оказаться йогиней-ведьмой и убить своего возлюбленного.

— Хотела бы я так, — помолчав, сказала Сандра. Леа сделала Чезаре страшные глаза — не болтай лишнего.

— Положим, самые обычные прозрачные сари нисколько не лучше твоего купальника, — продолжала Леа.

— Лучше, и по очень простой причине — они привычны. Все дело только в этом, а если женщине надо показать свою фигуру, то сари сделает это нисколько не хуже, чем даже бикини.

— Да, из-за сари я признаю превосходство индийских женщин над нами. Подумать только, сколько усилий, выдумки, затрат совершаем мы с каждой сменой моды, а у них — тысячелетия простой кусок ткани, куда изящнее выглядящий, чем наши платья.

— Положим, не все. Есть фасон, не менее бессмертный, чем сари, — широкая короткая юбка, обтяжной корсаж, открытые плечи. Он лучше сари тем, что дает большую свободу движений ногам. И не знаю, почему нам, европеянкам, не носить бы только его, в разных вариантах, как и сари. Нечего придумывать идиотские фасоны, тратить на них полжизни и половину всех заработков. И к тому же напрасно. Все больше мужчин, особенно по-

чему-то американцев, подозревают женщин, что они носят фолсиз!

— Это что еще такое? Не слыхала! — фыркнула Леа.

— И благодари бога! Это разные подкладки в места, где должно быть свое, — лифчики с пружинами и резинами, валики на бедрах...

— Слушайте, женщины! — внезапно рассердился Чезаре. — Перестаньте трещать о тряпках! Так мы никогда ничего не решим!

— Но ведь все решено! — удивилась Леа. — Мы едем в Мадрас! Дай мне сигарету, и пойдем звонить в гостиницу! И дадим телеграмму дядюшке Каллегари, чтоб тоже ехал в Мадрас.

— Пойдемте все вместе, — поднялась Сандра, — а на обратном пути сделаем визит Тиллоттаме, попрощаемся. Какая чудесная девушка, нельзя глаз отвести!

— И глубоко несчастная, я уверена, — добавила Леа, — я особенно ясно почувствовала это вчера. Мне кажется, что ее держат взаперти и чуть она сделает шаг, как около появляется эта хищная морда в синей чалме, с носом, будто его стесали топором.

Несмотря на энергичный стук Чезаре, калитка виллы Трейзиша не отворялась, пока на веранде не появилась Тиллоттама и не приказала Ахмеду впустить гостей.

Тиллоттама повела их в маленькую гостиную наверху, извинилась, вышла и скоро вернулась с подносом сладостей.

— Я отпустила служанку в город, — сказала она поанглийски со своим мягким акцентом, ловко расставляя маленькие тарелочки.

Сандра следила за ее движениями, стараясь разгадать, в чем заключается их удивительное изящество. В точности, плавности или, наоборот, быстроте, почти резкой? Почему кажется празднично легкой ее фигура? В европейском платье она показалась бы обернутой тканью статуей.

Движения Тиллоттамы сопровождались тем легким, как шепот, позваниванием браслетов, которое служит признаком близости индийской женщины, так же как аромат духов и шелест юбок — европейской. Впрочем, и от Тиллоттамы тоже пахло духами, очень слабо, свежим, чуть горьковатым запахом герленовских «Митсуко».

Леа тоже следила за хозяйкой, думая совершенно о другом. Эта великолепная фигура, густейшие, черные, как тропическая ночь, волосы, нежный и четкий рисунок лица, глаза таких размеров, что в другой стране, не среди этого вообще большеглазого народа, они показались бы нечеловеческими. В Тиллоттаме была красота слишком выразительная, выдающаяся и полная романтической тайны, переходящая какую-то грань к тревожной и темной силе, мучительной и волнующей.

Чезаре заметил внизу в холле европейскую гитару. Попросив принести ее, он принялся напевать вместе с Леа «Кантаре, воларе», а Сандра разговаривала с Тиллоттамой. Постепенно беседа становилась все интимнее. Сандра рассказала кое-что о себе. Злоключения европеянки, казавшейся такой независимой и недоступной, поразили и смутили Тиллоттаму. Она сама не заметила, как стала откровенной. Итальянка слушала, не шелохнувшись. Под конец крупные слезы нежданно покатились из ее глаз.

— Боже мой, Сандра, что с вами? — вскочил, отбрасывая гитару, Чезаре.

— Да ничего, — Сандра досадливо тряхнула волосами, достала из сумочки платок. — Дайте скорее сигарету! Я расскажу им, моим лучшим друзьям, можно? — обратилась она к Тиллоттаме.

Та сделала обеими руками жест не то разрешения, не то протеста. Сандра с горящими щеками, дрожа от негодования, коротко передала историю Тиллоттамы.

Художник сказал:

— Передайте ей, Сандра, что мы увезем ее, а потом найдем и художника. Я с ним буду говорить, как с собратом по искусству... Словом, завтра мы едем в Бомбей, и вы с нами!

Сандра перевела, добавив от себя еще несколько убедительных слов. Тиллоттама печально покачала головой.

— Гангстеры Трейзиша обязательно настигли бы нас. Я не могу, чтобы вы рисковали жизнью. Но я от всего сердца благодарна вам всем!

— Что же вы будете делать?

— Я убегу, как только представится возможность. И если меня убьют, то одну.

— А если бы пришел ваш художник, то вы не отвергли бы его помощь? — вскричала Леа.

Выслушав перевод Сандры, Тиллоттама улыбнулась.

— Но ведь это совсем другое дело!

— Она права, действительно другое дело, — сказала Сандра.

Донесся громкий сигнал автомобиля. Тиллоттама слегка вздрогнула.

— Это он! Прошу вас, ни слова! И постарайтесь не показать ему, какого вы о нем мнения. Перемена в отношении насторожит его.

— О да! — недобро усмехнулась Сандра.

Вскоре в гостиную вошел Трейзиш в белоснежных шортах и удивительно яркой голубой рубашке. По украдкой брошенному на нее взгляду Тиллоттама поняла, что он уже осведомлен о происшествии с винтовкой. Трейзиш любезно поздоровался и опустился в кресло, вытягивая ноги.

— Может быть, споют и для усталого путешественника? — сказал он, увидев гитару. — Я так люблю итальянские песни.

Чезаре и Леа стали отнекиваться, но Сандра приказала:

— Фадо!

От удивления продюсер опустил руку с зажигалкой. Сандра выступила вперед, положив руку на спинку кресла, и Леа не узнала подруги. Задумчивая, углубленная в себя девушка исчезла. Вместо нее струной выпрямилась властная, нагло уверенная в себе женщина, каждое движение, каждый изгиб тела которой был рассчитан на чувственное восхищение, принимаемое с королевским равнодушием ко всему на свете. Сузившиеся глаза, длинные и раскосые, метнули в португальца такой знающий, обещающий и презрительный взгляд, что Чезаре по-мужски стало жаль негодяя.

Зарокотали струны. Сандра запела выученную в Анголе песню. Чезаре стал повторять припев. Трейзиш взволнованно мял сигарету, доказывая, что тоска по родине берет за живое и тех, кто связан с ней лишь своими предками. Тиллоттама с удивлением смотрела на размякшего продюсера и обольстительную итальянку — безусловно, хорошую артистку. Если бы она могла так! Но куда больше она хотела бы быть такой, как независимая Леа, стоявшая перед Трейзишем в коротких штанишках в желтую и белую полоску и желтом жакетике, так хорошо оттéнявшем ее золотистый загар.

Продюсер позвонил и приказал принести напитки, упрекнув Тиллоттаму за недогадливость, потому что европейцы любят спиртное. Однако гости наотрез отказались и стали прощаться. Сандра размышляла, как бы ей передать Тиллоттаме, чтоб она все-таки приняла их помощь и написала бы в Мадрас. Она не подозревала, что продюсер в это же время лихорадочно обдумывал, как продолжить знакомство, и не смог скрыть радости, узнав, что они едут в Бомбей.

— А потом куда? — быстро спросил он.

— В Нью-Дели, оттуда — в Кашмир, — так же быстро ответил Чезаре, решив на всякий случай скрыть направление поездки.

— Я прошу вас обязательно, — склонился Трейзиш перед Сандрой, — и ваших очаровательных друзей быть моими гостями в Бомбее. Я снял дом в самой шикарной части города — на Малабарском холме, правда, старый, но с отличным садом.

Сандра вежливо отказалась за всех, объяснив, что им уже заказаны номера в гостинице.

— Но если вы не хотите быть моими гостями, тогда позвольте предложить вам места на состязание водяных лыжников. Приехали американские, египетские, югославские и немецкие спортсмены, стоит посмотреть на это редкое зрелище.

— А ведь в самом деле стоит! — согласилась Сандра. — Тиллоттама, мы встретимся с вами на этих ристалищах?

— Да... конечно, — после некоторой паузы ответил за нее продюсер. — Значит, решено. Послезавтра я заеду за вами в гостиницу и повезу на пляж. Жаль все-таки, что вы такие трезвенники!

— А вы рискуете, употребляя алкоголь в такую жару... в вашем возрасте, — не удержалась Леа.

— Дорогая синьора, мой возраст не так уж далек от вашего, — отпарировал американец.

— Тем хуже — преждевременная старость!

Трейзиш закусил губу, и щеки его чуть-чуть потемнели. Чезаре, раскланявшись, поспешил увести Леа.

Трейзиш, сидя за рулем своего «сандерберда», помахал итальянцам, сбегавшим по лестнице подъезда. Его взгляд задержался на Сандре. Продюсер оскалил в широ-

кой улыбке крупные зубы, очень белые под узкими черными усиками.

Сандра остановилась.

— А где же Тиллоттама?

— Не беспокойтесь! Мы сейчас заедем за ней, и вы, кстати, увидите, где я поселился. Завтра вечером я прошу вас быть моими гостями — небольшое новоселье.

От улицы Махатмы Ганди, мимо музея и университета, они выехали к фонтану Флоры.

— Что значит «сандерберд»? — спросила Леа у Сандры, которую Трейзиш усадил рядом с собой.

— «Буревестник» — одна из моделей Форда.

— Вам нравится? — не оборачиваясь, бросил Леа американец.

— Нет! Маломощная дешевка! — с беспримерной наглостью ответила девушка.

Чезаре даже подскочил и изумленно воззрился на Леа.

— Этот кар? — снисходительно спросил Трейзиш. — А вы смогли бы справиться с такой машиной?

— Может быть, — ответила, опуская бедовые глаза, Леа.

Автомобиль свернул в широкий проезд, пересеченный под прямыми углами несколькими боковыми проулками. Трейзиш затормозил у ворот небольшой виллы, обнесенной вместо забора плотной изгородью из ровно подстриженных колючих кустов. Он не стал въезжать, а дал нетерпеливый гудок. На ступеньках невысокой лестницы показалась Тиллоттама, обрадованная встречей. Она поспешила к машине. Итальянцы смотрели на танцовщицу во все глаза, не зная, что Трейзиш приказал Тиллоттаме быть наряженной, как принцесса.

Именно такая женщина из сказок Махабхараты или Рамаяны и стояла перед ними, чуть запыхавшаяся от волнения. Яркое алое сари, вышитое золотыми звездами и отороченное такой же каймой, было туго перехвачено широким золотым поясом с массивной квадратной пряжкой, инкрустированной красными камнями. Тяжелая тканая золотая лента свисала спереди, прикрепленная к пряжке. Свободные двойные петли сверкающих бус перекрещивались на боках. Чоли — кофточка, одевающаяся под сари, была из угольно-черного с узкими золотыми полосками шелка. Ее короткие рукава подхватывались широкими старинными браслетами с рубинами и бирюзой.

Еще более массивные браслеты охватывали узкие запястья Тиллоттамы. Две нитки жемчуга, золотой полумесяц на груди, золотые шарики на длинных цепочках в ушах и ажурная диадема, резко выделявшаяся в черных волосах, — все эти драгоценности, даже на неопытный взгляд итальянцев, несли печать большой древности. Сандра решила, что Тиллоттама надела костюм, приготовленный для фильма. Тиллоттама смутилась под устремленными на нее взглядами и обычным очаровательным жестом индийских женщин прикрыла лицо уголком прозрачного розово-лилового шарфа, спадавшего с ее головы.

— Боже мой, это же Шакунтала или Сита! — воскликнула Сандра.

— Вернее, Драупади, — с насмешкой в голосе отозвался Трейзиш, и Тиллоттама, вспыхнув, опустила ресницы сильно подкрашенных глаз.

— Вы сказали какую-то гадость? — вступилась Леа. — Почему вы всегда дразните Тиллоттаму?

— Мне кажется, вы не только дразните, но обижаете Тиллоттаму, — сказала Сандра, стараясь чем-то унизить его. — Берегитесь, так выходит наружу скрытая вина или неполноценность!

Трейзиш побагровел до края воротничка, врезавшегося в плотную шею, и повернулся к Леа с преувеличенным поклоном:

— Позвольте предложить вам руль, дорогая?

Леа, ободряюще кивнув испуганному Чезаре, уверенно уселась на место водителя.

«Буревестник» плавно взял с места, быстро набирая скорость. На перекрестке Леа увеличила ход, постепенно поворачивая руль, и машина повернулась в дюйме от бордюра пешеходной дорожки. Чезаре окаменел, превратившись в статую внимания.

Трейзиш курил, кривя рот, и наконец вынужден был признать, что Леа отличный водитель, с редкой по быстроте реакцией. Сандра давно уже посылала подруге воздушные поцелуи в зеркало заднего обзора.

— Куда теперь? — отрывисто спросила Леа, выезжая на Марин-Драйв.

— Направо, к деревянным воротам с флагами.

Они стали протискиваться через плотную толпу к наскоро сколоченным деревянным трибунам, на которых рассаживалась избранная публика. Немало было красивых женщин в сари, меньше — в европейских платьях.

Сандра заметила два основных женских типа. Высокие, величественные и спокойные, с крупными «восточными» чертами лица и светлой кожей — уроженки северных и центральных провинций. Другие — темные, с огромными глазами, круглолицые и невысокие, сходные с цыганами и такие же пламенные, брызжущие весельем, — олицетворяли дравидийскую красоту южной Индии, ярко выраженную в Тиллоттаме.

Началось состязание. Многотысячная толпа затаив дыхание следила за отважными спортсменами.

Быстроходные моторные лодки мчали за собой на тонком нейлоновом лине по одному или по два спортсмена. Скорость возрастала, и вдруг начинались головоломные подскоки, повороты в воздухе и длинные прыжки через площадки трехметровой высоты. Крепкая девушка в зеленом купальнике прыгнула, описав в воздухе пологую дугу метров в тридцать длины. Сбросив одну лыжу, она вставила правую ногу в петлю на буксирной трапеции и помчалась на одной ноге, как балерина в танце. Но и этого показалось ей мало. На полном ходу девушка перевернулась спиной к буксиру и, грациозно балансируя раскинутыми руками, посылала ошеломленной, гудящей от восторга публике воздушные поцелуи.

— Это непостижимо! — сказала Леа.

— Насколько знаю, у них вращающееся крепление, — ответил художник.

Высокий мужчина, мускулистый, как статуя древнегреческого воина, сбросил обе лыжи. Казалось, он летит по воздуху, едва касаясь босыми ногами вспененной поверхности моря. Зрелище было так поразительно, что весь пляж разразился бурей криков.

Двухмоторный широкий катер помчал со скоростью в сорок миль высокого, дочерна загорелого спортсмена. На его плече сидела маленькая женщина в малиновом гимнастическом костюме. Под аккомпанемент ревущего мотора они принялись проделывать гимнастические упражнения, может быть и несложные для цирковой арены, но поразительные на водяных лыжах, в полосе ослепительно белой пены, широкой дорожкой рассекавшей синеву моря.

Следующим номером было выступление пяти стройных девушек в гармонично подобранных купальных ко-

стюмах. То выстраиваясь в ряд, то выписывая сложные зигзаги, они выполняли красивые балетные па, стоя на одной лыже. Одна из пятерки, особенно хорошо сложенная темноволосая девушка, исполнила целую танцевальную сюиту на скорости в тридцать миль.

Катер описал широкую дугу, и пятерка балерин с разлету вынеслась на берег. Девушки ловко сбросили лыжи в самый последний миг и пробежали по мелкой воде, приветливо отвечая на бурю оваций.

— Как хороша эта танцующая русалка! — воскликнула Леа.

— Может быть, она Нэнси Гант, чемпионка Америки? — полувопросом отозвалась более осведомленная в спортивных делах Сандра.

Подскакивая и жужжа, как злобная оса, вынесся скоростной скутер, тащивший на буксире пятиугольный желтый змей. Недалеко от трибун змей взвился метров на тридцать. Под ним на легком каркасе из алюминиевых трубок висел на согнутых руках гимнаст. Его водяные лыжи почти что пригладили верхушки огромных кокосовых пальм, склонившихся над водой.

— Нет пределов тому, что может сделать человек! — воскликнул Чезаре.

Леа вскочила с горящими щеками. На нее зашикали из заднего ряда, и Сандра потянула подругу за руку. Леа села и, взглянув на Тиллоттаму, быстро сказала по-итальянски:

— Сандра, смотри, что с ней!

Тиллоттама поднесла к лицу край своего шарфа, скрывая пепельную бледность. Сандра склонилась к ней, а Леа, не сговариваясь, задала какой-то «технический» вопрос Трейзишу.

Едва слышно Тиллоттама шепнула Сандре:

— Внизу идут по песку двое... Видите там? В тюрбане он... Рамамурти. Молю вас, догоните его, расскажите все...

Сандра соображала лишь секунду.

— Чезаре, я вижу внизу продавца конфет. Сможете настигнуть его, пока он не скрылся в толпе?

И в ответ на удивленный взгляд Чезаре Сандра объяснила ему по-итальянски, что он должен сделать. Художник рванулся с места, как хороший спринтер.

— Рыцарь! — с усмешкой сказал ему вслед Трейзиш. — Что это за секреты у вас с Тиллоттамой?

— Мужчины вечно подозревают женщин в каких-то тайнах! Разве вы не видите, что ваша звезда заболела?

Трейзиш испытующе посмотрел на Тиллоттаму.

— Пожалуй, лучше мне отвезти тебя домой, — хмуро сказал он, отпуская вздрагивавшую руку Тиллоттамы и бросая взгляд на Сандру.

— Не беспокойтесь о нас, — сказала Сандра, — мы еще посмотрим и пройдемся по Марин-Драйв до вокзала, а там возьмем такси. Здесь все равно разъезд будет долог. Очень благодарна вам за редкое удовольствие.

— Так помните, завтра непременно!

Трейзиш склонился над рукой Сандры, а Леа покрутила пальцем над его слегка лысеющей макушкой.

Сандра незаметно погрозила ей.

Итальянки едва усидели, пока продюсер и Тиллоттама пробивались к выходу.

— А сейчас быстро вниз! Я велела ему отвести индийцев дальше по пляжу, к пальмам, но я не верю, что наш милый Чезаре сможет объясниться по-английски.

Действительно, язык едва не подвел художника. Когда запыхавшийся, вспотевший Чезаре догнал обоих друзей, он забыл в горячке погони и волнения все нужные слова и мог только бормотать «уэйт, узйт, тзер, тзер...», показывая на группу пальм в отдалении. Рамамурти, пожав плечами, пошел дальше, но тут Чезаре осенило.

— Тиллоттама, Тиллоттама, уэйт!

Эффект был потрясающ. Рамамурти вцепился в итальянца железными пальцами, и поток английских слов был совершенно непонятен для Чезаре. Он только показал на пальмы. Теперь оба индийца беспрекословно направились туда.

— Боги и милостивая Карма послали мне вас, о драгоценные друзья! — низко поклонился итальянцам Рамамурти.

— Пустое. Но мне думается, что мы сможем помочь вам и дальше. Завтра мы все приглашены к Трейзишу, почему бы и вам не воспользоваться вечеринкой и не проникнуть в дом? — сказал Чезаре. — Мы будем отвлекать продюсера, пока вы похитите Тиллоттаму.

Сандра переводила, согласно кивая.

— Итальянский друг совершенно прав, — спокойно заметил Анарендра. — Надо все готовить на завтра и сговориться с Арвиндом. Сам учитель велел дать ему знать, чтобы он оказался поблизости.

— Сам Шарангупта? — удивился Даярам.

— Он прикроет отступление, если понадобится. Ты еще не знаешь его, неутомимого борца со злом и страхом.

— Хорошо, тогда вы приходите к нам в гостиницу завтра днем. Только без Даярама, а то вдруг американцу придет в голову нас навестить, и он сразу заподозрит неладное, — сказала Сандра. — Мы договоримся обо всем.

Индийцы распрощались, а итальянцы медленно пошли вслед расходившейся толпе, возбужденно переговариваясь и обсуждая новое приключение, в которое втянула их добрая воля.

Сандра, Чезаре и Леа отпустили такси на углу проезда, в котором стояла вилла Трейзиша, и стали оглядываться. Редкие фонари сильно затенялись деревьями, и они не сразу заметили призывные жесты Даярама. Четыре индийца укрывались под нависшими ветками большого платана. Итальянцы были представлены Шарангупте, чье богатырское сложение не мог скрыть полумрак, и худому Арвинду. Автомеханик небрежно опирался на автомобиль. Сверкающий радиатор машины высовывался из глубокой тени. Четыре фары, по две с каждой стороны, были утоплены в массивную посеребренную решетку, подфарники располагались совсем над землей, ниже бампера, скрытые в особом щитке, уходившем под низ машины, точно челюсть дегенерата. Высокие вертикальные ребра над крыльями, гребень посреди плоского капота, а над решеткой крупные металлические буквы: «Олдсмобиль». Во всем облике громадной машины было то вызывающе чрезмерное хамство, с помощью которого ничтожный мещанин обретает мнимое превосходство. Ради этого он воздвигает роскошный особняк среди нищих хибарок и ведет увешанную драгоценностями дуру жену сквозь толпу бедно одетых тружеников.

— Мамма миа, откуда такая машина? — прошептала Леа.

Арвинд объяснил, что некогда выручил одного плэйбоя — бездельника богача из большой беды. Теперь по просьбе Арвинда он дал ему свою новую, всего два месяца как полученную из Америки машину.

— Я взял отпуск на пять дней, — продолжал автомеханик, — и довезу вас до самого Мадраса, а вернусь через Дели. Никто не проследит вас ни на железной доро-

ге, ни в аэропортах. Кроме того, такую машину на магистрали не будет задерживать полиция.

— Наш план таков, — сказал Анарендра, очевидно взявший на себя роль командира «операции». — Арвинд — у машины, мы с Даярамом пробираемся в дом, учитель на всякий случай прогуливается у подъезда. Сандра и Чезаре взялись отвлекать хозяина, а вам, Леа, если завяжется драка, придется вести Тиллоттаму к машине!

— Значит, едут Арвинд, Анарендра, Тиллоттама, Даярам и Леа — пять человек?

— Поместимся, — отозвался автомеханик, — в машине пять мест, считая водителя.

— В таком страшилище? — удивилась Леа.

— Это конвертибл — открытая машина с одной дверцей с каждой стороны. Я поднял верх, — пояснил Арвинд.

— Не все ли равно, — перебила Сандра. — Нам всем нельзя уехать, будет подозрительно. Мы с Чезаре остаемся, выражаем сожаление хозяину и прилетим самолетом. Исчезновение Леа объясним тем, что она почувствовала себя плохо и уехала домой.

Окна виллы Трейзиша сияли призывным светом. Хозяин в палевом смокинге обрадованно приветствовал гостей на ступеньках, ведущих в холл.

Двое дюжих слуг, наряженных в белые фраки, стояли у дверей на лестнице, ведущей в сад.

— Вы пришли пешком? Я не слышал вашей машины, — спросил Трейзиш, склоняясь к руке Сандры.

— Мы ошиблись переулком и убедились в этом, лишь отпустив такси. Но пустяки — пятиминутная прогулка.

— В такой обуви? — Трейзиш посмотрел на трехдюймовые «шпильки» Сандры и босоножки Леа.

— Мы в Италии привыкли к прогулкам. По вечерам, над морем. Здесь жара изнеживает, но прежняя привычка еще осталась.

Дом, снятый продюсером, оказался обширным, с несколькими гостиными в нижнем этаже и верандой, выходившей в густой сад.

К удивлению итальянцев, гостей собралось мало. Всего две женщины, обе в европейских костюмах, встретившие итальянок неприязненными взглядами. Шестеро мужчин — все, очевидно, состоятельные и уверенные в

себе люди. Один, толстый и усатый, с горбатым носом и глазами навыкате, немедленно рассыпался в любезностях перед маленькой Леа, убедился, что она плохо знает английский, и перешел на французский. Толстяк объявился любителем драгоценных камней и украшений, и между ними завязался оживленный разговор. Леа сразила нового знакомца, сказав: «Выбирайте жемчуг утром, у окна, выходящего на север», совет, услышанный ею от японского художника Минору Терада, учившегося в Италии. Терада был сыном известного торговца жемчугом. А когда Леа открыла ему еще один секрет Терады, сказав, что для сохранения блеска жемчужин их надо мыть два раза в год в мыльной мягкой теплой воде и семь раз в год перенизывать ожерелья, причем только на натуральный шелк, отнюдь не на нейлон, толстый бомбеец достал записную книжку.

Сандра поискала взглядом Тиллоттаму и, не найдя ее, спросила у хозяина, где она. Трейзиш, недобро нахмурившись, сказал, что Тиллоттама со вчерашнего дня больна и сегодня не выйдет к гостям. Тогда Сандра захотела повидать Тиллоттаму. Трейзиш отдал какое-то распоряжение слуге и повел Сандру через боковую гостиную на выходившую в сад веранду. Тиллоттама вышла туда в черном сари. Сандра впервые видела девушку в этом наряде и еще раз подивилась ее одухотворенной красоте.

— Я вас оставлю на несколько минут, но не задерживайтесь, пожалуйста. Сейчас мы будем садиться за стол.

Сандра поспешила передать все, что узнала от Рамамурти. Тиллоттама изменилась у нее на глазах. Голова ее высоко поднялась, нетерпеливая и отважная усмешка обнажила зубы под короткой верхней губой. Послышались шаги Трейзиша.

— Я передам, чтобы они были под верандой примерно через час, — поспешно шепнула Сандра, — сюда придет Леа. Прощайте, до встречи в Мадрасе!

Тиллоттама обняла итальянку так крепко, что у той захватило дух, поцеловала совсем как европейская женщина и исчезла за сдвинутой в сторону занавесью. Сандра торопливо закурила и перегнулась через перила, стараясь разглядеть, нет ли кого в саду.

На веранду вышел хозяин.

— Что же вы здесь в одиночестве? — Трейзиш взял ее под руку.

Сандра обещающе рассмеялась, послушно дав отвести себя к столу.

Только на несколько минут ей удалось незаметно подойти к Леа, чтобы предупредить ее и Чезаре. В разгар ужина художник захотел набросать портрет своей соседки — женщины с маленьким злым лицом и длинной змеиной шеей и обнаружил, что его золотой карандаш забыт им в гостиной, извинился и вышел. Крепкие напитки подогрели оживление до того вялой компании, разговоры становились все громче. Трейзиш пил много, старательно угощая Сандру. Игра с продюсером, оказывавшим ей все более настойчивые знаки внимания, и ожидание готовящейся развязки взвинчивали нервы, а выпивка кружила голову и подбивала на какой-нибудь дерзкий поступок. Только опасение испортить планы друзей сдерживало накипавшее желание созорничать. Чезаре вернулся и едва заметно мигнул. Леа встала и вышла.

— Мы будем танцевать сегодня? — громко спросила Сандра, и Трейзиш вскочил с неуклюжей готовностью.

— «Коктейли и смех, поцелуи и потом...» — запела Сандра американскую песенку. — Что же потом?.. — Она сделала несколько па в такт пению и взглянула на американца искоса, остро и призывно.

Гости зааплодировали. Трейзиш, покраснев еще сильнее, подошел к Сандре.

— Прошу вас на одну минуту в гостиную. Я хочу вам кое-что показать!

Это вовсе не входило в планы, и Сандра уголком глаза уловила встревоженный взгляд Чезаре. Но Трейзиш уже завладел ее рукой и упрямо тянул в боковую гостиную. Пожав плечами, Сандра повиновалась. Трейзиш плотно прикрыл за собой дверь, подвел ее к резному шкафчику, стоявшему перед зеркалом на вычурных резных ножках.

— Просто в знак дружбы... и больше, чем дружбы! — сказал он, доставая ящичек, обтянутый золотистым шелком.

Сандра отвела его руку, но он раскрыл коробку. Внутри был хрустальный, отделанный золотом флакон в виде большой земляничной ягоды.

«Духи «Земляника», — догадалась Сандра. — Самые дорогие. какие я знаю...»

— Благодарю вас, но я ненавижу запах земляники даже в таком облагороженном виде. Сейчас у меня фран-

цузские «Когти грифа». О, разумеется, только для специальных случаев, вроде сегодняшнего. А на каждый день я всему предпочитаю «Селюи» — это мой запах. Так что подарите лучше вашу «Землянику» Тиллоттаме.

Трейзиш поставил ящичек и неловко усмехнулся.

— При чем тут Тиллоттама? Сейчас мне нужны вы — такая же очаровательная, как моя заочная любовь Чело Алонзо. Знаете, что вы до странности на нее похожи... — Он умолк и прислушался.

Прежде чем Сандра смогла как-нибудь остановить его, Трейзиш очутился на веранде. Тиллоттама и Леа стояли возле перил.

— Зачем ты здесь? Я приказал быть наверху! Подслушивать, следить за мной?! — Он схватил ее за руку и рванул к себе.

Леа, не понимавшая ни слова (Трейзиш говорил на урду), бросилась на защиту, но продюсер грубо оттолкнул ее.

— Прошу не вмешиваться! Тиллоттама, сейчас же наверх!

— Уберите ваши грязные руки, негодяй! — четко сказала Леа по-английски.

Трейзиш схватил Тиллоттаму за талию и потащил к другой двери. Тиллоттама влепила ему пощечину, вырвалась и кинулась к перилам, но Трейзиш опять схватил ее и получил удар еще крепче. Разъяренный, он сбил ее с ног, охнул от пинка, нанесенного ему Леа, отшвырнул итальянку и наклонился над упавшей Тиллоттамой. В это время через перила веранды перескочил Даярам. Не раздумывая ни секунды, он пнул Трейзиша в обтянутый брюками зад. Продюсер отлетел в угол террасы и распластался на цементном полу. Рамамурти поднял Тиллоттаму и шагнул с ней к перилам. Трейзиш вскочил и стал вытаскивать из заднего кармана пистолет.

«Все погибло!» — мелькнуло в голове оцепеневшей Леа.

Даярам выхватил подарок инженера Сешагирирао быстрее, чем полупьяный и ошарашенный ударом продюсер, направил дуло в его ненавистное лицо и нажал спуск. В широко раздутые ноздри, выпученные глаза и раскрытый рот Трейзиша ударила струя едкой жидкости. У Трейзиша перехватило дыхание, он выронил пистолет и, закрыв лицо руками, с воем грохнулся на пол, кашляя, чихая и икая. На веранду вбежали Ахмед и еще один

слуга. Недобро усмехаясь, Даярам поверг их рядом со своим хозяином. Распыленная отрава заставила расчихаться Леа и Тиллоттаму. Они перепрыгнули через перила и были подхвачены подоспевшим Анарендрой. Все четверо побежали по дорожке сада.

Очевидно, сад охранялся, потому что на громкий свист, раздавшийся из-за кустов, сбежалось пять или шесть рослых людей со свирепыми лицами горцев Пакистана. Они настигли беглецов у ворот.

— Беги, Даярам! — крикнул Анарендра. — Я догоню тебя!

Поклонник хатха-йоги с непостижимой быстротой уклонился от страшного удара пружинной дубинкой со свинцовым шариком, схватил противника, поднял, как мешок, и сбил им с ног второго нападающего. Затем Анарендра вдруг покатился по земле, спасшись от удара ножом в спину, вскочил и ногой выбил нож. Тут он услышал спокойный голос своего учителя:

— Беги, пора, не задерживайся!

С привычным послушанием Анарендра выскочил за ворота. Шарангупта неуловимым толчком ноги сбил кинувшегося было вдогонку человека и приготовился встретить нападение остальных. Молчаливой каменной глыбой он стоял перед нападавшими, и его недвижное спокойствие навело на тех страх. Один, самый смелый, отпрыгнул в сторону, вытащил длинный нож и стал обходить Шарангупту сзади. Все дальнейшее произошло в одно мгновение. После, при расспросах Трейзиша, люди так и не смогли объяснить, что случилось. Шарангупта прыгнул в сторону человека с ножом, раздавил ему руку и швырнул его в остальных так, что тех будто смело ветром. Спокойно осмотрев груду стонущих тел, Шарангупта пошел к воротам. На мгновение он задержался около одиноко стоявшего у подъезда «сандерберда» хозяина — гости приехали на такси или отпустили на время свои машины. Со вздохом сожаления Шарангупта открыл дверцу и взялся за рулевое колесо. Чудовищные мускулы спины вздулись, послышался скрипящий стон металла. Хатха-йог бросил оторванный руль в кусты и тем же неспешным шагом вышел за ворота, растаяв в темноте. Единственным свидетелем его подвига оказался Чезаре, выбежавший в лоджию подъезда в тревоге за Леа и своих индийских друзей. Чезаре заметил тусклый свет фар, мелькнувший по склону Малабарского холма. Облегчен-

но вздохнув, Чезаре закурил и отправился разыскивать Сандру. Он нашел ее в центре внимания ничего не подозревавших гостей, которым она рассказывала анекдоты из жизни итальянских кинозвезд.

— Дай мне сигарету, Чезаре! — Сандра вопросительно посмотрела на него.

Чезаре, протягивая портсигар, поднял большой палец. Сандра весело сверкнула глазами.

— Где же наш милый хозяин?

В столовую ворвался Трейзиш с пистолетом в руке, с распухшим и измазанным лицом. За ним бежали с ружьями в руках Ахмед, шофер и свирепый горец, исполнявший обязанности садовника. Гости в ужасе вскочили, опрокидывая стулья и бокалы с напитками.

— Грабеж в доме! — заревел продюсер. — Скорей, вы, трусы, свиньи, обезьяны! Скорей! Они не могли убежать далеко!.. Простите, господа! В дом ворвались бандиты. Они убежали, но я должен... — Остаток фразы гости не услышали, а через секунду с улицы раздался нечленораздельный вопль: Трейзиш обнаружил отсутствие руля у своей машины. Ругань понеслась в раскрытые окна с аккомпанементом разноголосых оправданий людей, охранявших сад. Топот ног — и все стихло.

— Я думаю, Чезаре, — спокойно сказала по-английски Сандра, — нам пора домой. Хозяину не до нас!

Гости стали вызывать по телефону свои машины и такси.

Вернулся Трейзиш. Тяжело дыша, он подошел к телефону.

— Скажите же, наконец, что случилось? — спросила его Сандра. — Вы выскочили от меня из гостиной точно безумный и исчезли. На вас напали? Кто?

Трейзиш осмотрел комнату, недобро усмехнулся.

— А где ваша подруга?

— Кстати, о Леа, — сказал, подходя к Трейзишу, Чезаре. — Она вбежала сюда в слезах, сказала мне, что вы ее оскорбили. Я не успел остановить ее, она вышла за ворота и села на проходившее такси. Потрудитесь объяснить!

Трейзиш зловеще оскалился и, махнув рукой, протянул руку к телефону. Чезаре положил на трубку руку.

— Сэр, вы оскорбили мою жену! Я требую объяснения, черт побери!

— Вы пьяны, синьор Пирелли! Оставьте меня!

— Нет, это вы пьяны, мистер Трейзиш! Возмутительно! Вы приглашаете нас в свой дом, напиваетесь, пристаете к моей жене, носитесь с заряженным револьвером в руке! Что все это значит?

Трейзиш задохнулся от безумной ярости и некоторое время не мог произнести ни слова. Ему ничего не стоило бы проучить этого итальянского проходимца, но... дело оборачивалось не в его пользу.

Выдавив из себя кривую улыбку, он сказал:

— Я приношу извинения вашей жене и вам. Она оказалась около меня в момент... хм... семейной сцены и, не поняв ничего, вмешалась в нее. Мне пришлось оттолкнуть ее, о чем сожалею! А теперь, простите, я должен срочно позвонить в полицию.

Гости стали разъезжаться.

— Думаю, что все сошло отлично, — сказал художник Сандрс, когда они мчались в такси в гостиницу.

Сандра спросила:

— Теперь в Мадрас?

— Да, по плану. Билеты заказаны. Я пойду их получать, а вы сложите вещи в гостинице. Самолет идет в два часа ночи, и нам следует испариться, прежде чем этот киногангстер начнет снова домогаться вашей взаимности. Все идет превосходно, Сандра, дорогая! Как приятно мнить себя добрым волшебником!

Веселая уверенность Чезаре стала бы куда меньше, если бы он мог подслушать разговор двух людей недалеко от кассы, в которой он брал заказанные билеты.

— Ты был прав, — говорил один, в темных очках, — это он, тот проклятый итальянец, который удрал от хозяина в Кейптауне. Сгребем целый гранд (тысячу долларов)!

— Не понимаю, что возится с ним хозяин? Пришить его — и концы в воду. А то сколько канители.

— Не нашего с тобой ума дело! Ясно, пришить пока нельзя, сначала надо что-то вытянуть из него. Да нам наплевать, платят, и ладно...

Анарендра догнал Тиллоттаму, Леа и Даярама у самого платана, где стоял автомобиль. Арвинд ждал с распахнутыми дверцами, переминаясь от нетерпения. Громадная машина взяла с места совершенно бесшумно. Арвинд не зажигал фары, и автомобиль крался по темной

улице. Только подфарники, точно подслеповатые глазки, светили совсем низко в землю. Прохожие почти не встречались на улицах этой фешенебельной части Бомбея. Арвинд ехал быстро, но осторожно, малейший уличный инцидент погубил бы блестящую операцию «похищения дивадаси», как назвал ее Анарендра по фильму, в котором он недавно участвовал вместе с Тиллоттамой.

Обе женщины поместились на заднем сиденье, вместе с Даярамом, на мягком, точно лайковая перчатка, сафьяне, прошитом мелкими поперечными валиками.

Машина проехала фабричные районы Парел и Дадар, вынеслась на магистральное шоссе и задержалась на Шайонской дамбе, где плотный поток машин и повозок двигался в обе стороны, хотя было уже половина одиннадцатого ночи. Наконец машина выбралась на свободное шоссе, и тотчас светящий слабым зеленым светом кубик указателя скорости пополз по длинной линейке спидометра. Воздух начал глухо реветь, обтекая крышу. Леа успела заметить мелькнувший справа указатель отворота на Лонавлу.

Машина, покачиваясь и вздрагивая, летела в однообразном мраке по широкой магистрали, легко обходя попутный транспорт. Яркие фары пробивали темноту на двести метров вперед и автоматически затемнялись, встречаясь со светом других машин.

Тиллоттама, вся дрожа от пережитого, прижималась к Леа, украдкой взглядывая на сидевшего рядом Даярама. Стремительно несущаяся машина, увозившая ее из долгого унизительного плена, казалась сном, сказкой, волшебной колесницей старинных преданий, летящей во мраке все дальше в неведомое, нежданное, но, безусловно, чудесное. Залогом этому — Рамамурти, его сильные руки.

Даярам, отдыхая в быстром полете машины, преисполнился горячей благодарности к могуществу техники. Так легко и быстро освободить Тиллоттаму всего с тремя верными друзьями! Автомобиль и химический пистолет... только всего. Он сказал об этом Анарендре. Ему ответил, закуривая сигарету, Арвинд:

— Могло быть и наоборот, — пистолет мог выстрелить в вас, автомобиль — увести прочь от Тиллоттамы, как уже раз и случилось. Нет, достижения техники без доброй и умной направленности не только ни дьявола не стоят, а гораздо хуже каменного топора!

Леа внезапно фыркнула.

— Какое лицо, какая рожа была у этого Трейзиша!

Рамамурти захохотал, засмеялась и Тиллоттама.

Стрелки на черном квадратном циферблате с тонкими концентрическими фосфоресцирующими линиями в центре переднего щитка показывали час ночи, когда после длинного подъема впереди показались огни Пуны. Три моста через извилистые сплетения трех рек и два железнодорожных переезда не задержали наших путешественников в это глухое время ночи. С юга подошли столовые горы. Теперь они въехали в еще неизвестную им часть страны. Машина миновала унылые прямые улицы бывшего военного городка англичан. Еще один переезд, и снова ночь, пробиваемая светом фар на опустелом шоссе. Анарендра обернулся к Леа, проворчавшей, что так можно проехать всю Индию и нечего будет рассказать у себя на родине.

— Здесь нет особых запоминающихся мест — ни архитектуры, ни древностей. Только разве стена крепости в центре города — Шанвар Петх, памятник маратхского владычества. Ворота крепости до сих пор усажены железными гвоздями в четверть метра длиной, чтобы их не могли высадить боевые слоны. И еще там, — Анарендра показал на юго-восток, — на горах знаменитая Сингарх — «Крепость льва», днем ее было бы видно.

Анарендра умолк. Нарастающий рев воздуха и покрышек мешал разговаривать.

Тяжелая громадина «олдсмобиля» приседала, вжимаясь в шоссе. Кубик спидометра полз и полз направо. Когда он закачался между цифрами «110» и «120», слева, вверху приборной доски, загорелся красный огонек.

Раздался низкий гудящий звук, похожий на вызов морского телефона.

— Что это? — наклонилась Леа к Анарендре, не смея отвлекать Арвинда.

— Предупреждение! Предельная скорость — сто двадцать миль! — отрывисто бросил Арвинд.

Мягкая тяжкая лапа швырнула всех вперед. Оглушительный рев сигнала разорвал безмолвие ночи и раскатился по удаленным холмам.

На пределе видимости фар серым призраком мелькнула телега с парой быков, разворачивавшаяся поперек шоссе. Арвинд уменьшил скорость и все же обогнул по-

возку на таком бешеном ходу, что пассажиры только сейчас представили, как они мчатся.

— Пожалуй, лучше наденьте пояса! — приказал автомеханик.

Все послушно пристегнулись широкими лентами, как в самолете.

Начинало ослабевать нервное возбуждение. Приходила дремотная усталость.

— Как он не боится так ехать? — подумала вслух Леа.

— А что бояться? — обернулся Анарендра. — Если что-нибудь случится на таком ходу, все будет кончено мгновенно, без страдания и страха. Владелец не будет сильно огорчен — машина застрахована.

— Утешительное преимущество скоростных машин, — согласилась Леа.

Она откинулась назад, прижалась к плечу Тиллоттамы и скоро уснула, чуть приоткрыв рот. Тиллоттама повернулась к Даяраму, протянула левую руку. Немедленно горячая и сильная рука художника нашла ее в темноте. Их пальцы переплелись. Счастье наполнило сердце Тиллоттамы, ей показалось, что оно расширилось так, что не может биться. А Даярам, низко склонившись, целовал по очереди все ее пальцы и ладонь. Время остановилось в летящей машине — Даярам с Тиллоттамой не замечали проносившихся мимо огоньков в домах, встречных машин и не обращали внимания на спящие маленькие города, через которые проходило магистральное шоссе. Сатара, Колхапур, Белгаун...

Небо слева на востоке стало светлеть. На широкой обочине перед подъемом Арвинд остановил машину. Тишина показалась удивительной. В головах у путешественников звенело, и движения были неуверенны, как после нервного потрясения. Они отстегнулись и вышли. Арвинд, с ввалившимися щеками, нажал кнопку. Широкая, как рояль, крышка капота отскочила вверх. Автомеханик осмотрел мотор, проверил все, что нужно, обойдя машину, и заглянул под передок. После этого он открыл багажник и вытащил канистры с горючим. Даярам и Анарендра принялись заливать опустевший бак.

— Пришлось взять с собой полный запас. Он жрет горючее только высшего сорта «Премиум», а мы не достанем такого до Бангалура, — пояснил он подошедшей Леа.

— А далеко еще?
— До Бангалура? Миль триста пятьдесят.
— А оттуда?
— Еще около двухсот пятидесяти до Мадраса.
— И все?
— Все!
— Тогда зачем же такая чудовищная гонка? Смотрите, — Леа ласково коснулась запавшей щеки автомеханика, — вы убьете себя!
— Пустое! Нам надо отъехать на невероятное для машины расстояние, чтобы исключить себя из района слежки. Аэропорт, вокзалы — само собой, шоссе тоже, но без расчета на скорость нашего «старфайра».
— Как вы сказали? «Старфайр» — «звездный огонь»! Как красиво! — воскликнула Леа.
— Самая новая модель «олдсмобиля». Триста пятьдесят сил!
— Ох! Никогда бы не подумала, — Леа показала на покрытый красным лаком, сравнительно небольшой мотор с широкой тарелкой воздухоочистителя из сверкающего алюминия.
— Очень высокое сжатие, четырехствольный карбюратор, четыре тысячи восемьсот оборотов...
Леа отступила на край дороги. Тропический рассвет был короток, и теперь гигантский «старфайр» можно было рассмотреть полностью. Полированный корпус цвета голубой стали был уже порядочно запылен, как и голубые колеса со сверкающей трехлучевой звездой на вогнутых ребристых дисках.
Леа сказала:
— Громадный зверь красив, но не изящен. Слишком широк, коробчат — словом, роскошный мастодонт!
— Садитесь! Сейчас поедем! — скомандовал Анарендра. — С едой придется потерпеть. Ни в Дхарваре, ни в Хубли мы останавливаться не будем, обедаем в Бангалуре. Надо использовать участок малонаселенной дороги Хубли — Бангалур... — Он повторил то же самое поанглийски для Леа.
— Может быть, мне сменить Арвинда, чтобы он отдохнул? — спросила Леа.
Оживленное лицо Анарендры одеревенело от усилий скрыть улыбку, но тут вмешалась Тиллоттама, рассказавшая о водительском искусстве Леа.
— Сейчас сменю Арвинда я, — сказал Анарендра, —

а потом мы попросим и вас. Часто меняясь, можно гнать вовсю!

«Старфайр» рванулся вперед. Анарендра отличался быстрой и точной реакцией и ехал не хуже Арвинда, но дорога все более заполнялась машинами и повозками. С большим напряжением удавалось держать скорость около шестидесяти миль. Местность заметно изменилась со вчерашнего вечера. Редкие деревья, заросли кустарников, дома из плитчатого камня с плоскими крышами. Зеленые островки деревень с большими тамариндами, манго или апельсиновыми садами, с колодцами посредине. Высокие тонкие женщины в убогих коричневых сари, подвязанных между ногами наподобие шаровар. Сухой и тяжелый зной над красноватыми плоскогорьями.

Перед Бангалуром Арвинд сменил Анарендру, и путешественники разрешили себе после обеда час отдыха. Из осторожности они полежали в роще на холмах за северо-восточной частью города и снова забрались в прохладу «старфайра». Первый участок дороги — до Читтура — не отличался большим движением, и «старфайр» повела Леа с дремавшим рядом автомехаником. Леа спросила назначение циферблата внизу, под передним щитком, на откосе футляра коробки скоростей, разделявшего оба передних сиденья. Загадочный циферблат оказался всего лишь тахометром. Леа быстро освоилась с рычажком четырехступенной гидравлической коробки, с кнопочным управлением подъемными стеклами, дверными запорами и обозначениями кондиционера. Арвинд настороженно следил за всеми маневрами Леа. Не прошло и четверти часа, как воздух заревел вокруг «старфайра» лишь немного слабее, чем при управлении самого Арвинда. Леа уверенно овладела грозной машиной. Арвинд еще некоторое время присматривался к ней и затем погасил свою сигарету, привалившись к мягкой стенке дверцы и закрыв глаза. Леа наслаждалась силой «старфайра». Его руль, укрепленный на двух концах глубоко расщепленной вилки, был снабжен, конечно, усилением и слушался легкого движения пальца. Могучий сигнал в три тона заставлял все живое шарахаться с дороги, пугая даже невозмутимых коров. Сиденья передвигались электромоторами в любое удобное положение, что было особенно приятно маленькой Леа. Восемьдесят миль — это не плохо для шоссе с поворотами и туго соображавшими деревенскими возчиками. Почти выспавшаяся ночью, Леа

мчалась прямо на восток, куда теперь, после Бангалура, повернула хорошо отремонтированная магистраль.

Гонка продолжалась уже шестнадцать часов. Дремали Арвинд и Анарендра, за спиной спала Тиллоттама, положив голову на плечо художника. Даярам бодрствовал, держа руку Тиллоттамы.

В Коларе Леа запуталась и едва протиснулась на широченном «старфайре» сквозь узкие переулки. Но не успел проснувшийся Арвинд прийти на помощь, как машина снова мчалась по шоссе, и Арвинд опять дремал, чему-то блаженно улыбаясь во сне.

Местность изменилась в третий раз. Причудливые глыбы камней чередовались с колючими акациями, отдаленные бурые склоны были покрыты плантациями каких-то невысоких деревьев с листвой мелкой и темной. Прошло еще полтора часа, и Леа миновала Читтур, заметив лишь крутые черепичные крыши домов. Шоссе опускалось в широкую долину какой-то реки, круто поворачивая направо. Издалека на юге показалась железная дорога, удалившаяся от шоссе после Бангалура. Арвинд выпрямился на сиденье, осмотрелся, закурил и попросил Леа остановить машину.

— Разминка! Последняя! Через два часа Мадрас!

Тиллоттама сделала несколько танцевальных па на дороге. С каждым часом пути с нее спадала молчаливая печаль.

После отдыха Леа удостоилась почетного места рядом с водителем. Арвинд перестал гнать с прежней сумасшедшей скоростью, и кубик спидометра плавал около цифры «70».

— Как вам нравится машина? — спросил он Леа.

— Хороша, — неуверенно ответила Леа со смешанным чувством восхищения и протеста.

Четыре пассажирских места и триста пятьдесят сил — соотношение недопустимое, наглое и абсолютно бесполезное для огромного большинства людей. Больше того — вредное, потому что владеть этой машиной можно было, лишь отняв у кого-то возможность вообще приобрести машину.

«Вроде статистики, что на каждого человека приходится по бифштексу, но если один съел три, то значит, что двое остались голодными», — мелькнуло в голове Леа.

— Я знаю, что вам думается, — прищурился Ар-

винд, — что это свинская машина и что, будь вы на месте американского правительства, вы запретили бы делать такие.

— Вы угадали! Хотя я очень благодарна нашему «звездному огню», — Леа погладила приборный щиток, — но это верно! И все же — разве мы смогли бы проделать безумную гонку по не слишком уж хорошей дороге, в прохладе и комфорте, кроме как на подобной машине?

— Разумеется! Тем более «старфайр» пригодился бы исследователям, ученым, путешественникам, но не праздным пожирателям ценного горючего ради сомнительного удовольствия гонки. Где предел? Полвека назад богачи владели сорокасильными автомобилями, бегавшими с «головоломной» скоростью тридцать миль, переживая такое же дешевое превосходство над другими, какое испытывает современный плэйбой, несущийся быстрее на сто миль!

— Все для того, чтоб дать всем понять, что они выше и лучше. Не надо даже автомобиля, посмотрели бы вы на нашего надутого богача в деревне, выезжающего на откормленном могучем жеребце! Спесь в нем кричит: все равно обгоню, смотрите, какой конь! Завидуйте! Это чувство в человеке, наверно, неистребимо.

— Его надо истребить! — твердо сказал автомеханик. — Иначе ничего не выйдет!

— С чем не выйдет?

— С человечеством! С социализмом!

— А вы верите в социализм?

— Как же иначе? Другого пути у человечества нет — общество должно быть устроено как следует. Разумеется, социализм без обмана, настоящий, а не национализм и не фашизм.

— О, мне хотелось бы поговорить с вами подробнее, но я не умею. Вот когда прилетит Сандра... сколько времени вы пробудете в Мадрасе?

Автомеханик бросил взгляд на часы.

— Мы приедем в пять часов. Сутки отдохнем, а под вечер завтра двинемся назад. Не по этой дороге, а берегом до Виджаявады, оттуда в Хайдарабад и через Шолапур на Пуну. Поедем не спеша — и на третьи сутки в Бомбее.

— Ей-богу, мне жаль так расставаться с вами, дайте мне ваш бомбейский адрес, — попросила Леа. — Нам,

Сандре и мне, так хотелось познакомиться с индийским рабочим интеллигентом! А нам все время попадались коммерсанты, артисты или чаще бездельники!

— Как можно ожидать встретить нашего брата в дорогих отелях? Вы болтаетесь в высшем слое, как поплавок в карбюраторе, хотя и не похожи на английских или американских мемсахиб, которых недолюбливает вся Индия.

— В высшем слое? — возмутилась Леа. — Да я еще два месяца назад была бедна, как церковная мышь, и не знала, что будет со мной завтра!

— Ага, значит, наследство?

— Можно считать так, — медленно сказала Леа, представив себя наследницей безымянных охотников за алмазами, оставивших им карту и добычу, едва не украденную Флайяно.

Арвинд взглянул на нее с некоторым сомнением, но промолчал.

Мадрас раскинулся на прибрежной равнине. Широкие улицы, обсаженные двумя-тремя рядами деревьев, витрины магазинов в домах, далеко отодвинутых от проезжей части улиц и скрытых зеленью. Но, как во всех виденных Леа городах Индии, рядом с благоустроенными кварталами теснились ужасающе скученные. Трущобой показался ей Чинтадрипет, окаймленный извилиной гнилой стоячей протоки.

Они въехали в город по широкой Пунамалай-род, дважды пересекли железную дорогу и рукава реки, круто повернув от форта Сен-Джордж на красивую Маунтрод, где находилась гостиница, заранее назначенная как место свидания. Не успела машина подъехать к широким ступеням подъезда, как из портика выбежали Сандра и Чезаре.

Арвинд нажал кнопку, и крыша машины медленно поползла назад, складываясь в широкой щели позади сидений. Зной хлынул в открывшуюся машину, точно поток воды в ванну. Сандра ласково обняла подругу.

— Комнаты всем заказаны. Тиллоттаму я беру к себе. Не удивляйтесь, если увидите у себя новенькие чемоданы — в них только по нескольку книг. Мы с Чезаре их купили — нельзя же Даяраму и Тиллоттаме быть респектабельными путешественниками без багажа, Анарендра и Арвинд — магнаты в своем чудовищном автомобиле, их чемоданы пусть «остаются» в багажнике.

Арвинд высадил своих пассажиров, пообещав вернуться после того, как в гараже машину вымоют, проверят, смажут. Всех удивила Тиллоттама. Она низко поклонилась Арвинду и машине, стерла густую пыль с капота концом своего головного шарфа и прижалась губами к сверкающей стально-голубоватой поверхности, сказав что-то, прозвучавшее мелодичным речитативом.

— Она говорит, — перевел серьезный Даярам, — что с детства хранила в памяти сказку о голубой колеснице. Колесница, уносящая людей далеко от страха и страданий, в светлый и широкий мир. Сказка исполнилась — вот колесница, и случайно ли она голубая?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

АПСАРА ТИЛЛОТТАМА

На художника Чезаре было совершено нападение. Вечером в переулке у самой гостиницы на него набросились четверо, скрутили руки и куда-то поволокли. Чезаре стал отчаянно сопротивляться и звать на помощь. Тогда его ударили по голове. Три недели он пролежал в больнице из-за сильного сотрясения мозга. Видимо, это не была месть Трейзиша, потому что его хотели куда-то увезти.

Итальянцы не без основания подозревали, что это нападение связано с черной короной. Они сняли отдельный дом, куда вскоре приехал капитан Каллегари. Теперь вся компания друзей, за исключением лейтенанта Андреа, оказалась в сборе.

Мадрас показался друзьям уютным, к жаре они привыкли. Сандре и Леа нравился местный обычай женщин ходить босиком, в одном только сари, нравились темные чеканные лица тамилов и других южноиндийских народностей. Сам город был чище, чем другие виденные ими города, и даже красных бетельных плевков на улицах, к которым никак не могли привыкнуть путешественники, здесь было меньше.

Однако после ранения Чезаре чувство безопасности и покоя покинуло итальянцев. Прежняя восхитительная жизнь путешественников, любопытных и безучастных, ни к чему не обязанных и проходящих сквозь обычную людскую жизнь, подобно существам из другого мира, была разрушена. Леа купила автоматический пистолет, быстро выучилась стрелять и носила оружие в своей сумочке, никогда не расставаясь с ним. Капитан Каллегари резонно убеждал, что оружие мало чем поможет, если не знаешь, кого и когда опасаться, потому что у на-

носящего первый удар всегда все преимущества и в этом сила всякого хищника.

По мнению капитана, пора было уезжать, если не из Индии вообще, то из Мадраса — во всяком случае. Сандра и Леа соглашались с ним, но ничего нельзя было сделать до окончательного выздоровления Чезаре.

Накануне возвращения Чезаре из больницы итальянцев посетил Даярам с радостным сообщением, что им, наконец, удалось получить все нужные документы и свидетельские показания. Это Тиллоттама после неудачи с объявлениями в газетах придумала план, по которому они принялись обходить город, улицу за улицей, дом за домом. И Тиллоттама нашла дом своего дяди — единственного из мадрасских родственников, оставшегося в живых. Он жил в том же маленьком особняке в Трипликане, как и в роковом 1947 году.

На днях состоится суд для восстановления Тиллоттамы в гражданских правах, и тогда они смогут пожениться.

— И уехать отсюда! — обрадованно воскликнула Леа.

— Не сейчас еще. Я ведь начал работать — леплю с Тамы.

— О, как хорошо! Мы придем посмотреть.

— Еще рано. Но я хочу пригласить вас всех к нам, потому что на днях из Салема приезжает мой русский друг, геолог, помните мою встречу в Кашмире? Мистер Чезаре к тому времени тоже сможет прийти.

— Придем обязательно, — пообещала Леа, — мне хочется познакомиться с русским ученым. Но... — она замялась, — сделать статую, как вы хотели, это ведь очень долгое дело. И мы уедем. Вы останетесь здесь вдвоем с Тамой, одни в целом городе. Кто знает, вдруг Трейзиш разыщет вас. Мне кажется, может быть из-за Чезаре, что это опасно.

Рамамурти снисходительно улыбнулся и принялся возражать с несвойственным ему упрямством. Видно было, что он слишком увлечен своей работой и не хочет, а вернее, не может думать ни о чем другом.

Леа рассердилась и обрушила на Даярама целый поток слов, благо ее английский язык значительно усовершенствовался.

Даярам растерялся от темпераментного наскока и только развел руками.

— То есть вы думаете, что Тиллоттама в своем оди-

ночестве в плену и тоске полюбила бы каждого, кто пришел к ней из внешнего мира?

— Совсем нет! Вы уж чересчур скромны, чаще смотритесь в зеркало, — почти сердясь, возразила Леа. — Но, видите ли, красота Тиллоттамы мне кажется почти чрезмерной, ну, вроде громадного автомобиля, на котором мы удрали из Бомбея. Как владеть «старфайром» может лишь очень богатый человек, так и в жизни очень непросто быть с женщиной столь необыкновенной, редкой красоты. Надо обладать большим могуществом или же запирать ее. Глядя на Тиллоттаму, я понимаю мусульман.

— И я в ваших глазах...

— Кажетесь недостаточно могучим, грозным, жестоким, чтобы неустанно охранять свою красавицу в обычной жизни, такой, как ваша, обыкновенных людей, не принцев крови, не архимиллионеров. И я боюсь за вас и за Тиллоттаму, поймите меня правильно, Даярам. Что такое мы, не имеющие ни власти, ни силы за спиной? Пустое дело убить вас, скрутить и увезти Таму совсем так, как поступили с Чезаре. После Кейптауна за нами ходит какая-то угроза. Мы не понимаем, что это такое, и не можем найти защиту. Трудна судьба Красоты Неналядной в нашем жестоком мире, а ведь вечно бегать и прятаться нельзя, жить станет противно! Все во мне протестует, когда подумаю. Надо Таме быть артисткой кино... и принадлежать народу Индии, да и всему миру!

Вся кровь бросилась в лицо Даяраму, и он несколько минут молча смотрел на Леа. Та, чувствуя неловкость, поспешила закурить.

— Я сам много думал об этом, — медленно заговорил Даярам, — и я решил, что беречь Тиллоттаму помогут друзья, когда мы уедем в Дели. Мы, индийцы, перелагаем бремя ответственности с себя на судьбу и привыкли принимать все, что случается, не ощущая вины за что-либо, кроме как за правду, перед самим собой.

Леа беспомощно оглянулась.

— Не узнаю нашего Даярама. Он как одурманенный. Или таковы все художники, когда у них разгар творчества?

— Довольно, Леа, оставь мистера Рамамурти в покое! — вдруг сказал капитан. — Что за охота тебе постоянно вмешиваться в чужие дела, да еще в чужой стране. Довольно бомбейской авантюры! Нельзя так!

— А если вмешательство доброе? — не сдавалась Леа.

— Нелегко среди чужих людей и обычаев определить, что хорошо и что плохо.

— А мне кажется, что, если принять это чужое как свое близкое, тогда все станет понятным, — вмешалась Сандра. — Можно и в далекой стране чувствовать себя своим и быть чужим среди кровных родственников. У нашего милого капитана точка зрения моряка, для которого всякий берег — дальний.

Каллегари ничего не ответил и потащил из кармана трубку. Леа бросилась целовать Сандру — так она всегда выражала свое восхищение.

Даярам Рамамурти вернулся домой уже к вечеру, после того как долго бродил по южному предместью Мадраса, где они с Тиллоттамой сняли новенькое бунгало у самого берега моря, на окраине.

Комната Даярама, служившая ему и спальней и студией, выходила окном — низким и очень широким — прямо на океан. Художник обеими руками раздвинул половинки окна. В комнату ворвался морской влажный ветер, шум волн и прибрежных пальм, вечерние голоса птиц. Мольберт с набросками углем и мелом и две скульптурные подставки с незаконченными эскизами в глине стояли у окна. На низком столике лежали папки с листами грубой бумаги, запечатлевшими бесконечные поиски линий лица и тела Тиллоттамы. У стены, против второго окна, возвышалась неоконченная статуя во весь рост, тщательно укутанная в мокрую ткань.

Даярам сел у окна и зажег сигарету. Слишком много событий за последнее время и слишком много задач ставит ему жизнь, требуя важных и быстрых решений. Может быть, он не годится для этой роли с его созерцательной душой? Но разве не говорил ему гуру, что каждая душа только сама может совершить подвиг совершенствования и восхождения?

А он, Даярам Рамамурти, сейчас живет за счет своего гуру, и единственно, чем может он вернуть свой великий долг и учителю и всем, кто в трудный час оказался плечом к плечу с ним, — это создав настоящую ценность — прекрасное.

Но велика его задача!

Он работал, точно одержимый, охваченный порывом вдохновения, благодарности и любви. Он получил от судьбы модель почти сверхъестественно совершенную. О чем больше смел он мечтать?

И все его вдохновение разбивается о какую-то глухую, скользкую, неподатливую стену. Он не может подняться на высшую ступень вдохновения, слить воедино все изменчивые, мгновенные, дробящиеся на тысячи примет черты Тиллоттамы, остановить их, сделать столь же живыми в глине, а потом в камне или бронзе. Он стал думать о себе как о плохом скульпторе, бьющемся над непосильной задачей.

Со стыдом припоминал Рамамурти то, что случилось в начале его работы. Он сделал уже множество зарисовок головы Тиллоттамы, ловя самые разнообразные повороты и выражения, и приступил к наброскам ее фигуры в одежде, не смея просить ее о большем. То, что он мог сказать легко и просто даже мнимой дочери магараджи там, в Кхаджурахо, сейчас, после того как он узнал всю историю Тиллоттамы, казалось ему немыслимым.

И он, угадывая линии ее тела под тонким сари, рисовал ее с покровом одежды. Тиллоттама сосредоточенно наблюдала за ним, заглядывала через плечо на рисунки. И однажды, когда он мучился, стараясь воспроизвести неповторимые линии плеч, Тиллоттама попросила его отвернуться. Легкий шорох выдал ему ее намерение. Она сбросила свое легкое одеяние и выпрямилась перед ним во всем великолепии своей наготы, побледневшая и сосредоточенная.

Он набрасывал эскиз за эскизом, лишь изредка прося переменить позу.

Даярам рисовал до тех пор, пока не увидел, что она готова упасть от утомления, спохватился и прекратил работу.

— Сядь и ты, милый, — она редко употребляла это слово, становившееся на ее устах необыкновенно нежным. — Скажи мне правду, только правду о себе и обо мне. Что у тебя здесь? — Она положила руку на грудь Даярама против сердца. — Я вижу, что ты страдаешь, что становишься неуверен, печален. Как будто тебя покидают силы. И я вижу, что это не от меня. Мы очень приблизились друг к другу. Я поняла теперь, что такое настоящая любовь, долгая, на всю жизнь, — это когда ожидаешь амритмайи, упоения, от каждой минуты с то-

бой. И оно приходит, созданное нами обоими. Ты творишь во мне, а я — в тебе, и желание делается неисчерпаемым, потому что оттенки чувств бесчисленны и становятся все ярче от любви. Разве это плохо для тебя, милый?

— Как может быть плохим величайшее счастье, дарованное богами?

— Что же тогда мешает тебе и не дает творить?

— Ты должна понять меня, Тама! Счастье встречи с тобой, оно будто лезвие ножа — страшно остро и очень узко. А рядом, с обеих сторон, две темные глубины. Одна — отзвук общечеловеческой тоски и трагедии при встрече с прекрасным. Мы отдаем себе отчет, как неуловимо оно и как ускользает все виденное, познанное, созданное нами в быстром полете времени, над которым нет никакой власти. Пролетают дивные мгновения, проходит мимо красота, которой мало в жизни. И все люди, встречая прекрасное, чувствуют печаль, но это хорошая печаль! Она дает силу, вызывает желание борьбы, зовет на подвиг художника — остановить время, задержать красоту в своих творениях.

— А другая глубина? — тревожно спросила девушка.

— О, не будем говорить о ней, я одолел ее еще там, в Тибете... Моя вина, что я оказался слабее, чем думал, и не смог пока пройти по лезвию ножа. Но ты есть, я вижу, слышу, чувствую тебя, и нет такой силы, которая могла бы заслонить, увести тебя из моей жизни! Как только я вновь и вновь понимаю это — растет моя сила и уверенность в себе, как в художнике. Через искусство я приду к тебе совсем, навсегда, если ты до той поры еще будешь считать меня достойным.

— Почему же через искусство? Разве не лучше прямой путь? Вот я перед тобою, такая, как я есть!

— Создавая тебя заново в глине и камне, я побеждаю все темное, что появляется во мне самом и, может быть, есть и в тебе. Если я смогу возвыситься до такого подвига творчества, то переступлю и через все другое и пойду нашим общим путем Тантры!

— Может быть, мне лучше отойти... оставить тебя? — Последние слова Тиллоттама произнесла едва слышно.

— Нельзя! Нельзя вырвать тебя из моего сердца, потому что это значит лишить меня души. Но если для тебя, тогда другое дело!

Вместо ответа она протянула ему обе руки. Даярам схватил их и в порыве любви и восхищения притянул Тиллоттаму к себе. Вся кровь отхлынула от ее лица, губы ее раскрылись, и дыхание замерло.

Он поднял ее. Легкий стон вырвался из губ Тиллоттамы, когда она с силой обхватила его крепкие плечи.

И тут Рамамурти опомнился. Заветное слово «помни» опять прозвучало в его внутреннем слухе. «Другое, другое, все будет по-иному...» — твердил он, неся Тиллоттаму в студию. С бесконечной нежностью он опустил ее на ящик — постамент для позирования. Широко открыв изумленные глаза, Тиллоттама заметила в его лице сосредоточенность с оттенком угрюмости, почти отчаяния.

— Пришло время, звезда моя, — сказал он, — тебе будет трудно! Ты веришь в меня?

Огромные глаза ее засияли.

— Милый, я давно жду! Владей мной, как глиной, покорной твоим пальцам!

Дом на берегу моря превратился в убежище двух отшельников.

Даярам и Тиллоттама проводили в мастерской целые дни, а нередко и ночи. Молчаливый дом труда и творчества, где безраздельно властвовал художник, требовательный, ушедший в себя, нетерпеливый.

Постепенно все яснее становилось, что надо выразить в статуе Анупамсундарты, и вставала во весь рост нечеловеческая трудность задачи. Образ женщины, пронизанный древней силой страсти, здоровья и материнства, звериной гибкостью и подвижностью и увенчанный высшей одухотворенностью человека. Как прав был гуру, говоря о великом противоречии животного тела и человеческой души!

Предстояло отточить до предела животное совершенство, наполнив его светлым и сильным огнем мысли, воли, любви, терпения, внимания, доброты и заботы — все, чем живет душа человека — женская душа.

Это было не легче, чем идти над пропастью по лезвию ножа. Ничего, ни единой капли, нельзя было утерять из драгоценного совершенства создания миллионов веков животного развития, но и ни капли лишней! Здесь нельзя было применить всегда выручающее художника усиление, искусственное подчеркивание формы для выражения ее силы — только строго в той же мере, в какой удастся выразить другую сторону человека — духов-

ную. Сочетать эти две противоречивые стороны, на языке форм и линий обозначающиеся противоположными друг другу чертами...

Если у него победит животная сторона — неудача! Каждый будет читать в его образе Парамрати призыв к яркому, красивому, но ничтожному, тянущему человека вниз, в пропасть темных желаний.

Но если увидят в его статуе подавивший природу разум — неудача столь же большая, ибо в том-то и заключается образ Анупамсундарты, чтобы сохранить в ней, носительнице прекрасной души, всю высшую, гармоническую и совершенную целесообразность природы.

Боги, как это выполнить?!

Даярам и не подозревал, что поставил себе ту же цель, что и художники древней Эллады, — каллокагатию, единство красоты души и тела. Эта цель рождалась не раз в творческом прозрении в разных странах, в истории человечества, везде, где только люди доходили до понимания силы и красоты своей животной природы, озаренной жаждой познания.

Поза статуи была давно уже задумана художником. Однажды он увидел Тиллоттаму коленопреклоненной на берегу моря — она искала раковинки. Колено ее касалось земли, другая нога упиралась на пальцы. Тиллоттама придерживала развевающиеся на ветру волосы левой рукой, поднятой к затылку, а правая, выпрямленная, с расставленными пальцами, была погружена в песок. Он окликнул ее, она повернула к нему лицо с широко раскрытыми глазами, сосредоточенная в своих мыслях. Через мгновение лицо Тиллоттамы осветилось ее особенной, несказанно милой улыбкой. Она поднялась на кончиках пальцев, упруго распрямив свое тело. В этот момент художник и увидел Парамрати — Тиллоттаму, чуть выгнувшуюся, откинувшую плечи назад, придерживающую волосы у затылка. Вытянутая правая рука отклонилась в сторону в отстраняющем жесте, плотно сомкнутые ноги напряглись, разгибаясь в коленях. Момент порывистого и легкого изгиба тела совпал с пробуждением задумчивого, почти печального лица, озаренного приветом и радостью. Единственную секунду перехода в теле и душе сумел уловить и запомнить художник. Лучшей позы для статуи нечего было искать!

Эта внешняя форма слилась с главной, внутренней идеей Даярама — создать образ проснувшейся души, по-

тянувшейся к звездам в слитном усилии всех сил и чувств юного тела.

Рамамурти смог очень скоро выполнить черновой эскиз статуи.

Но огромная пропасть лежала между удачей общего плана скульптуры и ее завершением. Тысячи маленьких, но важных деталей, недоумений и загадок стали на его пути. Вместе с ним одолевала затруднения и его модель, иногда с такой тонкой интуицией тела и чувства, какие были недоступны Даяраму. Тиллоттама увлеклась созданием статуи, как и он сам, засыпая тут же в мастерской после многочасовой работы. Не раз, когда огорченный неудачей, Даярам рано бросал работу, Тиллоттама будила его, внезапно поняв сущность затруднения. Или же он врывался к ней, свернувшейся на своей постели с ладонью под щекой в детски мирном сне, и будил ее, тороня, пока не исчезла едва забрезжившая, уловленная за краешек догадка.

Время шло, и, чем ближе к завершению становилась статуя, тем больше тревожился Даярам. Уверенность в победе, наполнявшая его в начале работы, таяла с каждым днем. Страх все сильнее овладевал художником.

В окне показалась голова Тиллоттамы. Она собиралась купаться. Увидев, что Даярам курит у окна, она сделала призывный жест по-индийски пальцами рук, держа ладони от себя. Даярам выскочил в окно, и оба спустились по травянистому откосу. Луна всходила, посеребрив океан и легкую завесу туманных испарений, поднимавшихся от влажной, нагретой земли. Берег был безлюден, и размеренный плеск волн не нарушал первобытной тишины. Ничего больше не было во всем мире — Тиллоттама, он и океан. Рамамурти взял ее на руки, вошел с нею в воду и опустил, когда набежала волна. Тиллоттама поплыла. Он плыл рядом с ней, чувствуя, как уходят все сомнения, будто растворяются в океане. Слишком много рассуждений, зыбких и ускользающих. Надо делать, собрав всего себя, всю волю. Таковы были древние мастера, знавшие главный секрет победы — неутолимое и непреклонное желание творить!

Но Тиллоттама? Он свершит свой путь служения людям, создав Анупамсундарту, а потом Тиллоттама понесет и дальше свою красоту в картинах или фильмах — не все ли равно. И его очередь помогать ей, как сейчас она помогает ему. Но вместе, вдвоем, пока есть и будет

любовь, мимо теней прошлого, навстречу всем невзгодам и радостям или опасностям будущего!

Они вышли на берег. Туман скрыл дали и превратил берег в призрачный дворец с лабиринтом серебряных просвечивающих стен. Бронзовая Тиллоттама стояла в этом расплывчатом, неощутимом мире как единственная живая реальность, отчеканенная с ошеломляющей достоверностью. Дыхание его прервалось, когда он увидел ее глаза: они сияли, как звезды! Именно звезды, только сейчас Даярам понял смысл ставшего избитым сравнения, потому что глубокая даль виделась в их блеске, так же как и звезды неба сразу отличаются от всех других огоньков тем, что светят из бездонных глубин пространства.

Тиллоттама смотрела на Даярама и увидела его таким, как в первый раз в храме Кандарья-Махадева.

— Тама!.. — Он упал на колени.

Тиллоттама хотела что-то сказать и задохнулась. После долгой тоски, после ревности Даярама, отчаяния неосуществленных стремлений радость желания потрясла ее до последних глубин ее существа. Короткие сдавленные рыдания вырвались у нее.

Только изредка в танцах, в моменты наибольшего вдохновения, Тиллоттама чувствовала такую чистую радость тела и свет души. Привыкшая к отчужденным, оценивающим взглядам художника во время его работы, к холодной замкнутости в мгновения, когда она тянулась к нему, она теперь перенеслась в мир осуществленных грез. Никогда не думала Тиллоттама, что страсть может быть так прекрасна, что совсем по-особенному зазвучат душа и тело в объятиях влюбленного, пламенея и возвышаясь от его поклонения.

Апсара Тиллоттама и его живая Тиллоттама стали для Даярама единым реальным образом той радости и силы, что люди зовут красотой.

Черные волосы Тиллоттамы разметались по песку, щеки пылали, припухшие губы шептали слова любви и благодарности. Преграда, долго разделявшая их, казавшаяся крепче железной стены, развеялась пустым дымом, как только разгорелось пламя настоящей любви.

«Это и есть наша Шораши-Пуджа», — думала Тиллоттама, закидывая руки за голову.

«Неужели мы нарушили наш путь Тантры?» — думал Даярам, любуясь ею.

Туман рассеялся, море в первых бликах зари сделалось голубовато-серым, а песок — розовым. Тело Тиллоттамы на нем казалось темным, чугунным, изваянным из первозданной материи, глаза — колодцами тайны, полоска ровных зубов полуоткрытого рта — блестящей жемчужиной. Черные черты бровей оттеняли синеву вокруг век, гибкие руки были скрещены под затылком, груди высоко поднялись, а продольная впадинка посреди тела углубилась. Еще чище и чеканнее стали все его линии, отточенные порывом страсти. Эта новая красота была физически ощутима и для нее, на миг подумавшей, что лепить с нее статую надо именно сейчас.

Даярам сел, обхватив руками колени.

Так, значит, путь Тантры для них был не в обрядах Шораши-Пуджа, открывших друг другу их тела, но не сблизивших? Они сроднились на пути совместного творчества в жизни, пронизанной любовью и сдержанной страстью.

Им теперь не были страшны терзания «нижней» души — близость шла не через первобытную тьму, а по светлому лезвию ножа над всеми пропастями сердца, поднималась торжествующим цветком любви над темным и могучим естеством Земли.

На художника будто повеяло дыхание безбрежного океана вечности. Он понял, что в этой безвременной дали — только любовь и знание, только радостное и доброе, только чистое и светлое.

Все остальное не уносится вперед, продолжаясь в вечности, а осаждается в лоне мутной жизни, как в темных, полных тлена, тихих заливах моря.

Миллионы лет, кальпу за кальпой, океан слепой, бессмысленной жизни плещется по лицу Земли и бог знает еще скольких миров. Сотни тысяч лет существования полузверей-полулюдей продолжалось немое кипение страстей и темных мыслей, без возврата назад, без восхождения ввысь и вперед. Так и шли — не связанные с прошлым, не думая о будущем, исчезая в настоящем, как листок в порыве ветра. Но надо было совладать с тьмой в душе, пробиться сквозь нее, как это пришлось и ему в новую эпоху могущества человека, все еще находящегося в плену старой злобы.

Путь Тантры для Даярама оказался в точности подобным его творческому пути в создании Анупамсундарты. Так и должно быть! Тама — такая же! Все понимает,

чувствует, часто опережая его своим более близким к матери природе и более тонким сознанием древней дравидийки, мудрой, проницательной, полной темного огня первозданных сил... «Боги, как я люблю ее!»

Солнце всплыло из океана внезапно и радостно, расстелив свои лучи по гребешкам плоских волн. Тиллоттама и Даярам оказались на виду всего мира, под высоко вознесшимся голубым небосводом. Но им нечего было прятать от себя и других, скрывать то новое, что полностью завладело ими. Не торопясь они вернулись в дом.

Они работали дни и ночи напролет, едва уделяя время на сон и еду. Тиллоттама с радостным нетерпением смотрела на свою копию.

Это была она и не она — Даярам вещим чутьем соединил в ее теле совершенство плоти с одухотворенной мыслью.

Дни шли. Даярам почти не ел, не спал, весь горя вдохновением, которое иногда переходило в опасный экстаз, подобный тем, каких достигают йоги и садху.

В тревоге за Даярама Тиллоттама забыла собственную усталость. Она упрашивала его остановить работу, передохнуть хоть несколько дней, но вызвала лишь взрыв раздражения.

Даярам чувствовал, что дал все, что мог взять от своего ума, сердца, любви и рук.

Странное чувство возникло у Тиллоттамы. Статуя была не такой, какой она представляла ее себе, мечтая, что когда-нибудь встанет перед законченным образом Анупамсундарты. Мгновение пришло. Статуя была великолепна, но, глядя на нее, она не испытывала радости. Тиллоттама еще не понимала, что, участвуя в создании тончайших подробностей, она утратила ощущение цельности.

Даярам тоже был недоволен. Часами он подправлял что-то не заметное ничьему другому взгляду. Он тревожился и бессознательно откладывал окончание статуи, словно боясь признаться в своей неудаче, в том, что больше он ничего не может. И все же мгновение это наступило.

Художник стоял, всматриваясь в каждую морщинку сырой глины. Тиллоттама следила за ним затаив дыхание, не смея шевельнуться. Жестокая тревога отразилась на лице Даярама. Он отступил назад, вздохнул и сказал:

— Хатам! (Конец!) Я вижу много ошибок, но больше ничего не могу. Не вышло так, как я мечтал, как заду-

мывал. Пусть, все равно! — С этими словами он шагнул к ящику, на котором сидела Тиллоттама, протянул к ней руки и без чувств рухнул к ее ногам.

В ужасе она вскочила, нагнулась, пытаясь поднять его тяжелое тело. И вдруг у ней глаза заволоклись красным пламенем, и она упала рядом к подножию изображенья, торжествующего в своей красоте, силе и жизни.

Молчание в студии привлекло служанку, которая с воплем понеслась за доктором, жившим по соседству, и, по счастью, в этот утренний час застала его дома.

— Что же это вы? — сурово журил их старый врач. — Сильны, как тигр с тигрицей, а довели себя до такого состояния! Немного вина, усиленное питание и три дня в постели, только врозь, врозь! Вот снотворное!

Насмешливая искорка загорелась во взгляде Даярама, устремленном на Тиллоттаму. Сообразив, чему приписывает врач их недомоганье, она вся залилась краской и закрыла лицо руками, вздрагивая от сдержанного смеха. Врач, поворчав и посмотрев на нее неодобрительно, ушел. Даярам вскочил и принялся обертывать статую мокрыми тряпками. Едва справившись с работой, он вынужден был лечь от нового приступа слабости.

Бледными и похудевшими застал обоих русский геолог Ивернев, опасавшийся неладного в молчании Даярама.

Рамамурти, вспоминая свой тогдашний полет в неизвестное, совместную прогулку и полный доверия разговор, бесконечно радовался, глядя на тонкое, покрывшееся светло-красным загаром лицо геолога, слыша его задумчивую английскую речь с растянутыми, как в речитативе, словами и особенным раскатистым «рр». Ветер, врывавшийся в окно, трепал его мягкие, выгоревшие до льняного цвета волосы, сдувал пепел с длинной русской папиросы. Радостная улыбка озаряла его лицо. Художник подумал, что так открыто и светло может улыбаться лишь голубоглазый северный человек. В улыбке детей юга всегда остается нечто скрытое. Может быть, это лишь кажется от непроницаемой темноты глаз?

Ивернев встал, с волнением прошелся по комнате, снова улыбнулся.

— Ну а теперь покажите мне похищенную. Можно?

Даярам позвал Тиллоттаму, надевшую свое черное сари и стеклянные браслеты индийской крестьянки. Геолог

застыл на несколько мгновений, провел рукой по глазам и негромко рассмеялся. На вопрошающий взгляд художника он сдержанно сказал:

— Разве апсары нуждались в комплиментах? А вы, госпожа Видьядеви, конечно, апсара! Тиллоттама, можно и мне называть вас так?

Тиллоттама, по-европейски открывшая лицо восхищенному взгляду гостя, застенчиво поклонилась по-индийски, сложив ладони.

— Вот они где скрываются! — послышался в окно звонкий голос Леа.

Тиллоттама радостно выбежала навстречу, увидела Сандру, Чезаре, худого, с ввалившимися глазами, который шел рядом с краснолицым седым человеком в морской форме.

— А мы уж думали, не напали ли на вас соратники Трейзиша! — сказал Чезаре. — Встревожились и решили навестить. Куда вы провалились?

— Работали, — виновато улыбнулся Рамамурти и познакомил итальянцев с русским геологом.

Леа немедленно уселась рядом, с намерением дать волю своему жадному любопытству.

— Что же вы наработали? — спросил Чезаре, глядя на закутанную статую. — Надо показать. Хоть я и рекламный живописец — все же мы коллеги.

Даярам резко встал, побледнел и дрожащими руками снял покрывало. Воцарилась тишина. Леа замерла, приоткрыв рот, и художник с огромным облегчением понял, что создал незаурядное творение искусства.

Он отдернул занавеску, и лучи солнца заиграли на влажной глине, как на живой коже Тиллоттамы. Будто валакхильи — гномы солнца опустились с неба и забегали по статуе, сверкая, смеясь и забавляясь. Под их веселым огнем волшебная тонкость работы художника заставила струиться живыми линиями тело небесной подруги смертных людей — апсары.

Юная женщина изогнулась в смелом порыве, придерживая на затылке тяжелые косы, отстраняясь рукой от земли. Сильными пружинами выпрямились ноги, поднимая амфору крутых широких бедер. Выше этого средоточия женской силы тонкий торс отклонялся назад, подставляя небу и солнцу полусферы высоких грудей. И еще ступенью стремления вверх была высокая сильная шея, прямо державшая гордую голову. Озаренное любовью и мыс-

лью, лицо хранило где-то в очертаниях век, бровей и губ мечтательную печаль раздумья.

Тиллоттама смотрела на статую, будто впервые увидев ее.

Чезаре посмотрел на индийского собрата почти с испугом.

— Будь я проклят десять тысяч раз! — И пылкий итальянец обнял индийца.

Все заговорили сразу. Студия наполнилась шумом итальянской и английской речи. Тиллоттама выбежала, украдкой бросив взгляд на русского. Тот сидел, свободно облокотясь на столик, повернув голову к статуе.

— Что же вы думаете делать дальше, Даярам? Отливать в бронзе или высекать в камне? — спросил Ивернев.

— Не знаю, — откровенно признался художник. — Мне бы хотелось высечь ее из декканского базальта, того же, из которого созданы древние скульптуры Карли и Эллоры, но боюсь, что у меня недостанет на это сил и времени. К несчастью, поддаваясь порыву, я сделал статую здесь, а не в Дели, где хочу жить постоянно. Можно бы для скорости обработать камень копировальной машиной и потом уж довести, но долго искать материал и... нужны деньги. По той же причине не могу отлить ее в особом бронзовом сплаве с добавкой серебра и кадмия, открытом мастерами древности. Он не дает усадки, точно воспроизводит форму, стоек, тверд и обладает цветом кожи Тиллоттамы. Но, может быть, наберу в долг на обычную бронзу.

Дымок сигарет тянулся в окно, и все смотрели на погрустневшего индийца, не отводившего глаз от своего творения.

Первым нарушил молчание русский геолог:

— Даярам, выслушайте меня внимательно! Я здесь получаю от вашего правительства большие деньги. Вы знаете, что я не любитель приобретать вещи, что я одинок. Подождите! — Тон русского стал повелительным. — Следовательно, возможность внести некоторую сумму для вашей статуи будет для меня приятным даром вашей стране, которую я очень полюбил. Чек на две тысячи долларов я сейчас выпишу. Нет, вы не имеете права отказываться. Дело идет о судьбе произведения, оно не принадлежит более вам. Я понимаю, что вы найдете деньги и здесь, но — время! Нельзя рисковать! Примите же это от русского, как знак общих стремлений и общих чувств.

— Нет, позвольте, вы быстрее думаете, чем мы! — вмешался Чезаре. — Поверьте, что я тоже собирался сделать такое же предложение. Я был до самого последнего времени нищим художником. Кому уж, как не мне, Даярам, понимать вас! Случайность дала мне порядочную сумму денег. Нам всем — Леа, мне, Сандре — благодаря нашему дорогому капитану. Вы должны принять деньги и от нас.

Мучительное колебание отразилось на лице Даярама.

— Ну, вот и отлично! — примирительно сказал русский. — Вносим вдвоем в знак общей дружбы и единства высшего искусства во всем мире. Прошу поверить, что если бы господин Рамамурти создал не Красу Ненаглядную, а какой-нибудь абстрактный шедевр, то я бы не дал ни копейки при всей моей симпатии к Тиллоттаме и Даяраму!

Чезаре остро взглянул на геолога, но тот уже склонился над чековой книжкой.

— Значит, по две тысячи, и пусть апсара Тиллоттама будет отлита в том древнем сплаве, какой создали металлурги Виджаянагара! Много? Ну, если останется, то вернете мне и господину Пирелли. Но помните еще о перевозке! Вот чек!

— А вы знаете виджаянагарский сплав? — воскликнул Рамамурти.

— Плохим бы я был геологом, если бы не изучил историю техники страны, в которую меня пригласили работать! Древние индийцы вообще были мастерами по части металлов.

— И вы знаете вообще все сплавы? — заинтересовался Чезаре.

— Ну, не все, конечно, — улыбнулся русский. — Мало ли их во всем мире!

— Нет, я имею в виду металлы, применявшиеся в древности.

— Тут я кое-что изучал. Но почти каждый год археологи открывают что-либо новое. Оказывается, древние металлурги делали самые различные добавки в сплавы, или, как мы их называем, присадки. Может быть, и такие, которых мы еще не знаем. Ведь чтобы найти и разгадать тот или другой секрет древности, надо самим стать на тот же или еще высший уровень знаний.

— Разве мы до сих пор не превзошли древность? — спросила Сандра.

— Смотря в чем! Пути древности не наши пути, и многого они достигали, так сказать, обходным движением. Если хотите пример — бритвы из «черной бронзы», особого сплава с редкими металлами, обладающего твердостью, близкой к вольфрамовой стали, из микенских раскопок, сделанные мастерами три тысячи лет назад. Или поднятый со дна моря, с погибшего корабля, меч из сплава, в составе которого есть ванадий и марганец.

— Боже, как интересно! Я не знала! — воскликнула Сандра. — Вот вам подводные находки... — Она осеклась от предостерегающего взгляда капитана.

Но Чезаре преисполнился доверия к русскому. Человек, бескорыстно отдающий свои деньги на произведение искусства чужой страны, не мог не быть хорошим человеком. Это не поза, зачем ему случайно встреченные итальянцы или не обладающий ни влиянием, ни богатством индийский художник?

— Из чего может быть черный сплав, который мог лежать в море тысячи лет и не подвергнуться никакому разрушению? — решительно спросил Чезаре.

— Как я могу сказать? Смотря что из него было сделано. Возьмите известную железную колонну в Дели, воздвигнутую полторы тысячи лет назад, в царствование Кумарагупты, из черного, не поддающегося ржавлению железа. Ее размеры — восьмиметровая высота и вес в шесть тонн — сами по себе свидетельство немалого искусства, не говоря уже о металле. Может быть, ваш черный металл — просто такое вот железо?

Чезаре решился и рассказал Иверневу о черной короне.

Все заметили необычайное волнение русского геолога.

— Так вы те самые итальянцы! — воскликнул он, едва художник остановился перевести дух. — Вот так совпадение! Тогда и у меня есть кое-что для вас интересное!

Как ни коротко было сообщение Ивернева о памятном вечере его помолвки в далеком Ленинграде, он едва смог досказать его до конца, засыпанный вопросами итальянцев. Поднявшийся ажиотаж в конце концов остановила Сандра.

— Значит, существовала легенда, известная историкам и археологам. Тогда понятно, что хотел профессор Дерагази!..

Ивернев вскочил, потеряв свое обычное спокойствие.

— Простите, пожалуйста, мисс Читти, вы сказали Дерагази? Где вы с ним встретились?

— В Кейптауне, — ответил Чезаре. — Этот странный профессор предлагал мне огромную сумму за корону. И вы с ним знакомы?

Ивернев, не отвечая, встал и начал прохаживаться по комнате.

— Черная корона с серыми камнями, — пробормотал он, — серые камни, где я слышал о серых камнях?! Ага! — вдруг воскликнул он, заметно оживляясь. — Мне говорил о серых камнях мой друг, минералог в Ленинграде. Камни, украденные из музея... украденные! Надо написать ему! Вы считаете, что именно корона была причиной необъяснимого заболевания вашей жены? — остановился он у кресла Чезаре.

— Я ничего не знаю, только другой причины не могло быть. Никто не подтвердил моих догадок. Я мечтаю поговорить с большим ученым, не специалистом, хватит их с меня, а с энциклопедистом.

— Я напишу моему учителю Витаркананде, — вмешался Даярам. — Он знаток искусства древности с очень широкой эрудицией. Может быть, он поможет выяснить происхождение короны?

— Если вы правы и дело в короне, то, может быть, это и есть причина, заставляющая людей стараться завладеть ею. — Геолог закурил новую папиросу, принял предложенный Тиллоттамой чай и продолжал: — Я тоже знаю ученого-энциклопедиста, врача и биолога, это доктор Гирин. Если он приедет на конгресс психофизиологов в Дели, то вы сможете встретиться с ним и попытаться решить загадку. Сколько времени вы еще пробудете здесь?

— В Мадрасе или в Индии вообще?

— В Мадрасе, чтобы я успел получить ответ от своего друга-минералога. И в Индии, если собираетесь побывать в Дели.

Итальянцы переглянулись.

— Мы думали пробыть здесь еще недели две, до середины октября, — ответил за всех капитан Каллегари, — а потом поехать в Калькутту и в Ориссу.

— Но можем сразу же направиться в Дели! — предложила Леа, подмигнув Чезаре. — Калькутта — потом!

— Что ж, все складывается как будто благоприятно, — сказал Ивернев. — Оставьте мне свой адрес, а мне пи-

шите вот сюда, — и он протянул Чезаре визитную карточку.

— Как вам нравится Мадрас? — спросила Леа.

— Очень. Он мне напоминает Нанкин — бывшую столицу Китая при гоминдане. Тот так же широко разбросан, так же вы встречаете засеянные поля среди города и так же плох транспорт при больших городских расстояниях.

— А что вы делали здесь? Впрочем, простите меня, может быть, это профессиональная тайна.

— В геологии есть тайны, которые мы обязаны хранить в интересах пригласившей нас страны. Но не в данном случае. Я был в Салеме, на юго-запад отсюда, изучал особые горные породы, так называемые чарнокитовые гнейсы.

— И чем же они интересны?

— О, очень! Это формация пород, составляющая как бы фундамент материков Южной Африки, Австралии, даже Антарктиды. То, что они встречаются в фундаменте Индии, говорит за общность происхождения. Миллиарды лет назад Индия и Африка составляли единое целое, и сейчас...

— Можно искать в них сходные полезные ископаемые?

Ивернев удивленно посмотрел на Леа.

— У вас острый ум, госпожа Пирелли!

— Называйте меня просто Леа, какая я госпожа! Значит ли это, что в Индии можно найти такие же крупные алмазные россыпи, как в Южной Африке? И надо ли искать?

— Вас надо пригласить в геологический совет этой страны!

— Не уходите от ответа! Можно?

— Можно! И надо! Но это дело еще далекого будущего. У Индии много пробелов в тех важнейших ископаемых, которые составляют основу технического оснащения каждой большой страны. Но мы поговорим еще об этом при следующей встрече, а теперь мне пора. Боюсь, что утомил хозяев. Я давно злоупотребляю их терпением. Жду вашего извещения, Даярам, об отливке статуи. Ведь вы будете делать это здесь?

Ивернев поклонился всем индийским намасте, на секунду остановился перед статуей апсары, сделав и ей намасте, что-то быстро проговорил и вышел.

— Что он сказал? — переспросила Тиллоттама, смотревшая вслед гостю далекой и холодной страны России.

— Он сказал «цветок на заре», — ответила Сандра. — А я бы назвала статую по-другому: «заря на цветке».

— О, вы правы оба! — воскликнула Тиллоттама. — Тело апсары в самом деле цветок на заре, но душа ее — заря на цветке. Значит, верно и то и другое!

Чезаре зааплодировал.

По широчайшей лестнице светлого камня Тиллоттама и Даярам входили в помещение художественной выставки, отведенное в левом крыле музея, построенного как дворец в современном стиле.

Огромные залы, полные света и воздуха, голубые полы и лестницы, арматура и перила из серебристого алюминия. Окна во всю стену, то хрустально-прозрачные, то нежно опалесцирующие.

«Вот истинное здание будущего, открытого и ясного, — думал Даярам, вспоминая темные храмы, стесненные колоннами, заставленные тысячами ненужных обрядовых предметов, запыленные и обветшавшие, продымленные столетиями возжигаемых курений. — Будут ли люди в этих радостных зданиях современности лучше? Настолько, насколько красивее новые постройки? Или здания стали лучше, а люди хуже? Как-то они встретят мою мечту о Красе Ненаглядной?»

На выставке было мало людей. Но тупик бокового прохода постоянно заполнялся посетителями. Здесь стоял тот приглушенный гул неприязни и радости, которым публика всегда выражает свое отношение к подлинному искусству.

Красно-коричневый с лиловым оттенком металл статуи подчеркивал все линии тела. Скромная надпись: «Д. Рамамурти. Апсара», серый холст, обтянувший дерево подставки, угол пустых палево-серых стен. И все! Мечты, годы исканий, страдания, нещадный труд... помощь Тиллоттамы, поддержка друзей, случайно сошедшихся из далеких и разных стран!

Взволнованная, смятенная Тиллоттама укрывалась за портьерой на служебной лестнице, откуда было видно и слышно все происходившее около статуи. Словно в тумане, она видела себя обнаженной и беззащитной, выставленной на суд толпы. Критические замечания, доносив-

шиеся до нее, она воспринимала как оскорбление своего любимого, как поругание заветной мечты обоих.

Особенно больно били ее по нервам голоса резкие и важные. Они, видно, принадлежали признанным ценителям прекрасного. Эти люди стояли возле самой статуи и говорили о ней, как работорговцы о рабыне, оскорбляя каждым словом и жестом.

— Некрасивое тело, — брезгливо сказала худая женщина в европейском платье. — Смотрите, какие бедра, неправдоподобно тонкая талия. Какая-то Нитамбини из Камасутры!

— Васноттэджак, эротическое понимание образа женщины, — раздался громкий голос, — возвращение к древнему примитиву!

— Непонятно, что хотел сказать художник, хотя есть что-то такое, динамическое, что ли.

— Ничего нет, просто стилизовано под древний канон!

— Слишком много животной силы! Она прямо тает от желания!

Тиллоттама отшатнулась, зажимая уши. Ей хотелось выбежать, прикрыть собой статую, закричать: «Неправда! Разве вы не видите?»

Рука Даярама, крепкая и нежная, неожиданно сжала ее локоть: он тоже все слышал.

— Тама, не бойся их. Гуру учил меня, что если в душе человека нет того, что горит, влечет и тревожит, то ему бесполезно говорить об этом. Ничего из ничего не пробудится. Все слова и объяснения падают в пустоту, в провал души, и он не изменится до следующих воплощений. Надо говорить с теми, в ком есть непробужденное богатство, — тогда придет отклик. Подумай, прошли тысячелетия, а они, вот эти, не прибавили ничего к древнему пониманию красоты и страсти, не осветили эти тайные глубины огнем подлинного знания. Проповедуемое ими искусство дает нам все оттенки мелких чувствований, которые рождаются по пустякам и умирают в непонимании законов любви и красоты. Кто бы они ни были, ты не слушай их. Их мнимое знание — на деле позорная слепота прошлого, родившаяся в душной и тесной жизни, рабски склонившейся перед опасностью и трудами познания!

Рамамурти взял Тиллоттаму за руку и свел ее с лестницы

Зрители безошибочно узнали в Тиллоттаме модель, угадали художника. Покраснев, она прикрылась шарфом.

Но Рамамурти не смутился. Свободно и весело он поклонился тем, которые искренне хотели выразить свое восхищение его «Апсарой» и Тиллоттамой, которую скоро будут называть звездой Индии в тех произведениях искусства, которые еще будут вдохновлены ею.

Тиллоттама преодолела застенчивость и огляделась. Брюзгливые, недовольные лица были только вблизи статуи. Десятки людей, мужчин и женщин, стояли поодаль, не сводя восхищенных взоров с «Апсары».

— Заря, в которой еще много тьмы, — произнес сам для себя человек ученого вида, в больших золотых очках, — но несомненная заря!

«Как это верно! — подумал Даярам. — Много тьмы и в Тиллоттаме, и в нем самом. Древний образ прекрасного неизбежно сливается с тьмой в природе, в ее женском воплощении. И победить ее невозможно иначе, как пройдя сквозь нее, как прошел он мрак безмолвия в каменном подземелье...

Если благодаря разуму человек сумел превратить простое влечение животного в священный огонь любви, то неизбежна и следующая ступень восхождения. Непонятная и мучительная страсть тела станет сознательным царственным наслаждением в поклонении красоте. Часы и дни бытия сделаются безмерно богаче тысячами ее проявлений в образе любимых, в изгибах тела, взмахе ресниц, блеске глаз. И сама страсть, пришедшая через прекрасное, станет восхитительным даром природы, обостряющим чувства, возвышающим душу».

Конец третьей части

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
КАМНИ В СТЕПИ

Селезнев видел Гирина во второй раз, и сейчас в белом халате он показался ему другим, незнакомым и строгим. Постоянные помощники странного доктора — быстрый, нервный Сергей и худенькая Верочка — «вся опора на поле брани», как шутил Гирин, — были тут же, торжественные, как люди на богослужении в старину. А в глубине душноватой подвальной лаборатории, едва освещенные низко подвешенными лампами, сидели за длиннейшим столом несколько человек — старых и молодых. Они слушали Гирина, энергично шагающего взад-вперед вдоль стола.

— Иннокентий Ефимович Селезнев приехал из Восточной Сибири, чтобы найти объяснение удивительным галлюцинациям, которые появились у него после фронтового ранения и особенно усилились в результате случайного отравления ядовитыми грибами. Галлюцинации заключаются в неясных, тревожных видениях. Чувства обостряются с ощущением опасности, чего-то подстерегающего, близкой смерти. Тени животных, известных Иннокентию Ефимовичу лишь по картинкам: слонов, носорогов, гигантских кошек, — возникают и исчезают, то в одиночку, то целыми скопищами.

Наш знаменитый этнограф и писатель Тан-Богораз еще раз в 1923 году в книге «Эйнштейн и религия» пророчески заявил, что сновидения о прошлом могут относиться даже к палеолиту, потому что в их возникновении участвуют древние структуры мозга, сохранившие отпечатки прошлых времен.

Есть основание думать, что здесь мы имеем дело с очень редким случаем проявления подсознательной памяти, «мемори оф дженерейшнз», как назвал ее один английский психолог, или «наследственной информации»,

как скажут в терминах кибернетики современные ученые. Эта память гигантского, невообразимого объема закодирована организмом для работы в области подсознательного. Лишь в особых случаях и, вероятно, только у человека она может прорваться в сознание с возможностью раскодирования ее в мыслеобразах...

В очень древние времена египтяне, а позднее индийцы уже знали о сложном устройстве и глубине человеческой психики, чему мы, европейцы, до сей поры не можем научиться, даже в двадцатом веке, когда Фрейд опримитивизировал психику человека, придав ей плоскую конструкцию из инстинктов моллюска.

Египтяне считали, что душа человека состоит из семи различной сложности отделов. Из них назову Ка, или душу тела — его рефлексологию, Ба — душу дыхания или инстинктов, Кхабу, или тень тела, Акху — сумму чувств в восприятии разума и, наконец, то, что имеет для нас сейчас наибольший интерес, — Себ, пятая душа, наследственная, переходящая из тела в тело. Выражаясь современным языком, вместилище памяти поколений. Семерное же деление психики принимали в древности индийцы. У них четвертая душа, или Кама-рупатоже, несла в себе память прошлого, но только в виде инстинктов, а не сознания, как пятая душа египтян.

Вы хотите что-то спросить? — обратился он к пожилому человеку, скептически взиравшему на него из-под очков в тонкой оправе.

— Хочу выяснить. Вы, значит, следуете Фрейду, разделяя высшую нервную деятельность человека на сознательную и подсознательную?

— Не Фрейду, а объективной реальности природы. Ошибка Фрейда и его последователей в том, что они представили себе нашу психику расщепленной на сознание и подсознание. На деле это диалектическое единство, двойственность, две стороны одного процесса, называемого мышлением. Это как бы два потока, параллельных и непрерывно взаимодействующих между собой, взаимно контролирующихся и индуктирующихся.

Шаг ближе к пониманию психических сил человека сделал Юнг. Его «коллективное подсознательное» гораздо шире охватывает явления, чем фрейдовское подсознание, и приближается уже к современному понятию ноосферы. Юнговское подсознательное объемлет и то, что у других авторов называется сверхсознанием и состоит из равного

соотношения темных и добрых сил, говоря образно — ангелов и дьяволов. У Фрейда все это, маскируемое термином «греза», населено только дьяволами. Возьмите его интерпретацию «Сна в летнюю ночь». Из «грезы» Титании Фрейд сделал зверское искажение. Буквально: «я была любовницей осла»! Жажда исключительности в психологической структуре Фрейда коварно ведет его к попыткам прикидываться всемогущим богом... Не мудрено, что психоанализ, которым, на основе Фрейда, увлекались на Западе вплоть до последних лет, в конце концов потерпел полный провал. Он остался лишь для утешения психопатов, неполноценных в половом отношении людей, и средством к существованию огромного числа «врачей»-психоаналитиков.

— Ясно, ясно, — послышался нетерпеливый голос. — Прошло время, когда горе-ученые отделяли психику от физиологии, а другие, наоборот, старались объяснить все примитивным материализмом рефлексов, — вот и получился тупик. Из него мы вылезли только с помощью кибернетики. А ведь сам Павлов мечтал о «законном браке физиологии с психологией» — его собственные слова. Довольно преамбул!

— Не так категорически, мои друзья! Часто неверная предпосылка приводит к удачному опыту и неверная теория способствует раскрытию истины, иначе лежавшей бы под спудом нагроможденных без смысла наблюдений и фактов. В науке и искусстве надо спорить работой, идти вперед, пусть спотыкаясь, но идти, а не играть словами. Великий Вернадский, вводя понятие ноосферы — духовной сферы коллективного знания и творческого искусства, накопленного человечеством всей планеты, не смог предвидеть извращения, допущенного наукой, когда она вместо содружества искателей истины стала превращаться в клан жрецов-авгуров, постигших непреложные истины последних пределов вселенной. Эта тенденция науки начала века бросила нас неподготовленными в беспредельное море информации, которой оказалось куда больше, чем предвидели авгуры, хотя Ленин еще в начале века предостерегал ученых. Мало того, наука попросту отбросила и дала утонуть в бездне информации всем необъяснимым на данном уровне познания фактам. Я вижу свою задачу в том, чтобы в частном случае генной памяти извлечь на свет точного исследования эти выброшенные за борт явления. Ведь именно для диалектики познания важ-

но, чтобы не было серой поверхности утопленной информации и, с другой стороны, Вавилонской башни нагромождения неиспользуемых научных данных, подрываемой изнутри невежеством узких специалистов... — Помолчав, Гирин продолжал: — Наследственная память человеческого организма — результат жизненного опыта неисчислимых поколений, от наших предков — древних рыб до человека, от палеозойской эры до наших дней. Эта инстинктивная память клеток и организма в целом есть тот автопилот, который автоматически ведет нас через все проявления жизни, борясь с болезнями, заставляя действовать сложнейшие автоматические системы нервной, химической, электрической и невесть еще какой регулировки. Чем больше мы узнаем биологию человека, тем более сложные системы мы в нем открываем. Все они ведут к главной цели — независимости организма от непосредственного воздействия окружающего, следовательно, к устойчивости и независимости мышления путем создания постоянства условий внутри тела человека, так называемого гомеостазиса. Кроме того, для успешного выживания нужен опыт верного выбора. Это подсознательно ведет человека к чувству красоты, ощущению вредности места или пищи — всему тому, что в наиболее ярких проявлениях раньше приписывалось божественному наитию. Накопление индивидуального опыта в подсознательном часто ведет ученых к внезапным, интуитивным открытиям, на деле же это результат очень длительного, но подсознательного выбора фактов и решений. Иногда какие-то ощущения из накопленной памяти прошлого опыта поколений ведут к возникновению галлюцинаций, хотя, как правило, галлюцинации возникают при болезненном расщеплении нормальной мозговой деятельности. Но я имею в виду лишь инвертные, обратимые галлюцинации, возбужденные в сознании какими-то выскочившими из необозримого фонда памяти частицами. Они ведут нас к головокружительной возможности — заглянуть через самого человека в бездну миллионов прошедших веков его истории, пробуждая в его сознании закодированный памятный фонд. Первая по времени научная постановка проблемы генной памяти в начале нашего века принадлежит писателю Андрею Белому. Он формулировал возможность «палеонтологической психологии» и говорил об отношении к слоям подсознания, вписанным в нашу психологическую структуру как к ископаемым пластам в геологии. Беседо-

вавший с писателем геолог Алексей Петрович Павлов принял эту возможность и внес свои коррективы. Он также может считаться пособником первых шагов на пути к пониманию огромной и сложной памяти поколений. Наша задача не только расщепить сознание и подсознание, но вскрыть подсознательную память и, отразив ее в сознании, получить расшифровку.

Это единственный пока путь, потому что расшифровать свой код может лишь сам мозг. Подозревая, что галлюцинации Иннокентия Ефимовича обратимы, я предложил ему подвергнуться безвредному, хотя и нелегкому, опыту, и он согласился послужить науке.

— Да заодно и самому понять, в чем дело, — вставил Селезнев, очень внимательно слушавший Гирина.

— А дело вот в чем. Нормальный человек — это тот, у которого, выражаясь фигурально, стрелка показателя психики трепещет на нуле — на неощутимой грани между сознанием и подсознанием, взаимодействующими и сливающимися вдоль этого тонкого, как... лезвие бритвы, психического стержня, абсолютно здорового «я». Обеспечивается это состояние очень сложной системой химических процессов, взаимодействием гормонов, энзимов, полярно противоположных и, в свою очередь, качающихся на таких же узких осях. Одна из главных химических осей психики — ось гормонов гипофиза и надпочечников, иначе питуитарно-адреналиновая ось, регулирующая оборот фосфора в мозгу и в организме вообще. Задержать выброс фосфора с мочой и расшатать эту ось может, например, такой препарат, как ЛСД-25 — производное от яда всем известной спорыньи. Мы его введем Иннокентию Ефимовичу и расщепим его сознание и подсознание. Дальше будет видно, что применить для возбуждения угнетенного сознания, чтобы сделать его максимально чувствительным к сигналам из отделившегося подсознательного.

— Как же сделать мышление интенсивнее? — спросил Сергей.

— Нарушить установившийся в мозгу баланс между холинестеразой и ацетилхолином, так же взаимопротивоположных, как все другие системы. Первое вещество стимулирует деятельность мозга, обостряя мышление, второе — понижает его. Интересно, что чем ниже мы спустимся по эволюционной лестнице животных, тем больше будет активность отупляющего ацетилхолина. Я нашел спо-

соб безопасного введения холинестеразы в мозг через кровеносные лакуны...

— Кое-чего я не понял, — сказал Селезнев, — но вот что получится в результате — это меня интересует. И даже очень. Я начал чувствовать, что моя голова не очень-то прочна, и как бы чего не вышло... если все качается на лезвии ножа.

— Все в мире так качается и, однако, существует миллионы лет. В этом и есть чудо жизни, и мысли тем более. А получится вот что: сейчас я дам вам порцию ЛСД-25, и вы впадете в эйфорию — почувствуете себя радостным и свободным от всех забот, гнева и страха, от всего некрасивого в жизни. Это будет счастье, иногда испытываемое в красивом сне. Вам будет очень хорошо, но недолго, а дальше будет плохо, совсем плохо! Эйфория перейдет в тоску. Вы будете предчувствовать утрату только что приобретенного счастья, и тоска перейдет в горе. Горе сменится трудно передаваемым состоянием близости космической бездны, куда вы рискуете свалиться. Свалитесь и будете вопить о помощи. — Гирин повернулся к своим слушателям и заметил: — Видения ада и адских мук, всегда связанные с безысходной бездной, порождены этой стадией расщепления психики у больных шизофренией.

Когда эти яркие ощущения поблекнут, у вас останется лишь безразличие и апатия ко всему дальнейшему. Может быть, вам будет мерещиться узкий путь между пропастями, но они уже не будут пугать вас. Даже солнце потускнеет, и вы будете удаляться в пустоту пространства, холодный и далекий от всего мира. Это последняя стадия. Пробыв примерно часа четыре во всех трех стадиях, вы вернетесь к своему обычному существованию. Подумайте, может, еще откажетесь? Никто не неволит!

— Нет уж, доктор! Ничего в жизни не боялся, так не испугаюсь и ваших пропастей. Давайте таблетки, нечего тянуть!

— Погодите! Все по правилам. — Гирин открыл толстую дверь камеры энцефалографа, подвел Селезнева к глубокому креслу. — Мы вас тут запрем, изолировав от всего мира. Переговариваться будем по телефону. Вы сообщайте об изменениях в ощущениях, а мы запишем. Можете записывать и сами, что хотите, вот здесь, под голубым ночником, — тетрадь, карандаш и часы. Попытайтесь отмечать время, если сможете. Ну вот, теперь действительно все! — Гирин пожал ему руку и вышел.

Сергей тотчас же закрыл дверь камеры двумя массивными щеколдами.

Селезнев испытал все стадии, предсказанные Гириным.

Понадобилась неделя опытов, прежде чем удалось нащупать нужную комбинацию веществ, которая смогла, как хирургическим скальпелем, вскрыть запоры и преграды бессознательной памяти в том месте, где они случайно ослабли у Селезнева. Что-то в длиннейшей цепи передачи наследственных механизмов от предка к потомкам уцелело во всей своей первобытной яркости, как сохранились в изустной передаче события прошлых тысячелетий в облике мифов и легенд. Конечно, у Селезнева это не было голосом, говорившим из тьмы тысячелетий. Пришлось претерпеть немало трудностей, прежде чем наблюдательный охотник и отличный рассказчик смог облечь в словесную форму отрывочные краски, чувства и, наконец, куски зрительных образов, всплывших из глубин его собственного «я».

Непередаваемое ощущение величия и бессмертия владело Селезневым, когда памятная цепь связала его с прошлым и его героями, наследником которых он сделался по праву сохранившихся в нем воспоминаний. Склонный к философским размышлениям, он понял всю мощь земли. Ему казалось, что он стоит на гигантской, устремленной к небу колонне бесчисленных превращений живого, и она возносит его все выше, к невообразимым далям времен и космоса.

Сотня тысячелетий отделяла 1961 год от обрывка истории человека, вспыхнувшей коротким огоньком в сознании Селезнева. Гирин заявил, что это достижение скромно. В дальнейшем наука достигнет больших глубин памяти прошлого.

Кто смог бы найти сейчас это место на земном шаре — скалистый горный кряж, несколькими отрогами вдававшийся в степь? Гигантские кедры рвали камни извилистыми корнями, нестройно рассеявшись на крутых боках серых и красных скал. Гряды холмов вползали в степь и, быстро понижаясь, напоминали лапу с погруженными в почву когтями, цепко схватившую лицо земли.

В кряже находились пещеры, где обитало родное племя — могучие и веселые люди, охотники на крупную дичь, презиравшие живших на реке рыболовов, поедателей черепах. Те знали все причуды водяной стихии и не боялись гадов — крокодилов и ядовитых змей. И в то же

время они не отваживались вступать в открытый бой с владыками жизни на суше — львами, тиграми и леопардами, страшными саблезубыми кошками — пережитками древней жизни, еще иногда присоединявшими свой хриплый вой к громовому рычанию львов и харканью тигров.

Соплеменники Селезнева не пугались открытого боя с огромными кошками. Величайшее из изобретений, помимо огня, обеспечившее нашему предку возможность стать человеком, — копье! Прочное, длинное, острое, оно удержит превосходящую силу, убийственные когти и зубы на расстоянии, не допустит до самого уязвимого места — живота. Если есть копье, то остальное уже зависит от тебя самого — от силы, ума, быстроты действия. С этим оружием человек сразу же стал отличаться от своих сородичей — обезьян, угнетенных страхом и из-за этого вечно озлобленных, готовых на всевозможные пакости. Человек ходит по скалам с невозможной для большинства животных ловкостью, зато он не может мгновенно взвиваться на деревья, спасая свою жизнь при внезапном нападении, или скакать с дерева на дерево, далеко уходя в поисках пищи.

Человек должен принимать бой! И в камнях с защищенным тылом вместе с верными товарищами, такими же отважными бойцами, он способен отстоять своих детей и женщин, даже ночью, когда властвуют большие хищники. Их глаза, видящие в темноте лучше человека, дают им громадное преимущество. На открытой равнине, в походе за пищей, которой так мало в горах, беда даже самым сильным охотникам, если их застигнет ночь.

Каждый куст, ложбинка, холмик может стать засадой, откуда вздыбится с ревом громадная кошка. Или еще хуже и еще страшнее, если неожиданно, почти без звука и без предупреждения любой из идущих будет смят тяжелой черной массой прыгнувшего на него тела. Хрустнут позвонки, крик гнева и ужаса замрет на губах, и коварный хищник исчезнет в кустарнике, унося погибшего товарища. Бесполезно искать в темноте, даже по запаху свежей крови!

Другие опасности в сравнении с этой случайны, и нерастерявшийся человек обычно спасается и от налета разъяренного носорога, и от затаившегося в сторонке свирепого быка.

И ничего нельзя поделать, надо идти, гнаться за добы-

чей, нести ее назад, надо пить, а вода в степи редка и опасны водопои... но человек, много ходящий и бегающий, нуждается в большом количестве воды.

Надо помнить о жестокой борьбе с природой, освоении растительного мира, поисках новых мест, пищи, создании техники, искусства, медицины, религии, накоплении гигантского опыта речи и письменности. Разве все это далось так просто? Десятки тысячелетий слагались из короткой, насыщенной жизни отдельных людей, когда все силы ума и тела требовались, чтобы прожить и воспитать новое поколение. Громадная мощь человеческого тела и мозга вполне отвечает этой великой жизненной борьбе, хотя неблагодарные потомки, сидя в своих теплых каменных клетках, пытаются представить ее бесцветной, тупой и напуганной жизнью.

Все это Селезнев знал инстинктивно, всем существом, наблюдая чудовищное изобилие животных на беспредельной равнине. Этот океан травоядных сулил сытую жизнь, изобилие костного мозга для маленьких детей, крови — для кормящих матерей, мяса и жира — для взращивания крепких и неутомимых мышц мужчин-охотников. Но взять добычу, даже при таком богатстве животных, ныне утраченном нашей планетой, можно, лишь уходя от защиты скал далеко в степь, становясь игрушкой случая. Для тысячных стад травоядных та дань, которую берут с них хищники, невелика, она лишь способствует тому, чтобы они не размножались настолько, чтобы, пожрав все травы и листья, погибнуть от голода.

Другое дело — люди. Их так мало, каждый на счету, каждый бережно охраняется своими соплеменниками. Как трудно во всех превратностях жизни вырастить бойца-мужчину или способную к продолжению рода крепкую женщину! Бесконечно долго вырастают человеческие детеныши, прежде чем становятся полноценными, обученными и воспитанными членами племени. Поэтому каждый погибший или искалеченный в схватке с хищниками человек — большая утрата, а гибель нескольких охотников или женщин может поставить все племя на грань исчезновения. В этой высокой ценности индивида человек сходен со слоном, также вырастающим очень долго под бдительной охраной и боевой защитой.

Давно уже хитроумные изобретатели придумали вырывать вдоль важных троп убежища в виде подземных нор, куда могли спрятаться настигнутые зверем охотники или

идущая за водой женщина. Но эти норы могли спасти одного, самое большее — двух. Что же было делать группе охотников, да еще с тяжелой добычей? Кроме того, в норах не могло быть запасов, особенно воды. Нет, для далекого проникновения человека в степь норы малопригодны!

Селезнев понимал все это, когда увидел себя в степи, далеко от осыпей разрушенных скал и валунов. Обычно охотники, отправляясь за добычей, всегда старались держаться вблизи спасительных камней, чтобы в случае опасности можно было добежать до них, не теряя прыти хорошего бегуна, почти равной скорости лошади или осла.

Теперь Селезневу стало понятно, почему скалы и развалины, отдельные валуны и гряды утесов и по сие время, десятки тысячелетий спустя, привлекают людей, кажутся уютными, напоминают о чем-то, служат прообразом архитектурных сооружений.

Селезнев увидел сменявшиеся, наполовину нереальные, точно на экране кино, картины различных мест в степи, наплывавшие на него гораздо быстрее, чем если бы он шел или даже бежал.

Смутное чувство приближающейся смерти, уже знакомое по прежним галлюцинациям, теперь превратилось в уверенность, потому что охотник увидел удивительное животное, бежавшее к нему со всесокрушающим упорством носорога. Однако это был не носорог, а слон, только очень странный. Размерами, пожалуй, больше громадного индийского слона Шанго, виденного Селезневым в Московском зоопарке. Слон был темного цвета, с коротким хоботом и короткими ногами, быстро несшими длинное туловище. У чудища был очень плоский лоб, придававший ему тупой и свирепый вид. Впечатление усиливалось утолщенной шеей, на которой вздымались холмы исполинских мускулов. Поражали бивни невероятной длины — четырехметровые стволы зеленоватой, а не белой, как у слона, кости, в локоть толщиной... Чудовище мчалось на Селезнева, топот ног глухо отдавался в земле. Видение стерлось, и Селезнев так и не узнал, как он спасся от нелепого слона, в котором, по его описанию, палеонтологи узнали овернского мастодонта, или ананкуса, встречавшегося во множестве вдоль равнинных рек Европы и Казахстана.

По запаху свежей влаги и кувшинок охотник знал о близости степной реки. Почва, слегка сыроватая и мягкая, поросла разбросанными, словно в саду, низкими

кустарниками, торчавшими веерными пучками. Среди кустов бродило животное, издали похожее на быка со столбовидными ногами и отвесно вздымавшейся холкой. На широкой морде с приподнятыми ноздрями топором выступал гребень, позади которого на вздутом куполообразном лбу торчал прямой и блестящий, как у носорога, рог. Большие злобные глаза прикрывались костными выступами.

Единорог уперся мордой в землю, навалился всей тяжестью. Валы мускулов метровой толщины вздулись от плеч до затылка. Земля раздалась по обе стороны морды, и животное пропахало глубокую борозду, из которой вывернулись толстые корни. Зверь стал пожирать их, скрипя землей на могучих, точно жернова, зубах.

Воспоминание о вспарывающем землю бульдозере с гремящим стосильным мотором перекрыло видение единорога, но палеонтологи легко определили эласмотерия — странного зверя, обитавшего в степях Украины, Сибири и почти всей Азии, включая Китай.

В памяти Селезнева прошло немало других зверей, оставшихся неузнанными, может быть, потому, что останки их не дошли до нас или же сохранились в таком виде, что ученые не были в состоянии восстановить их облик.

Образы оживали, теснились, набегали один на другой, и прошло немало времени, прежде чем Селезнев ощутил пугающее погружение в темное ущелье с отвесными стенами, быстро сближавшимися сверху, замыкая его черным сводом невообразимой толщины. Этот свод, казалось, безвозвратно отрезал его от всего мира. Внезапно он снова увидел яркий солнечный свет, отражавшийся от светлых скал. Он шел по тропинке, которая, как он знал, вела к источнику. Впереди него, часто оглядываясь, бежала женщина, неся на плече свитую в кольцо шкуру гигантского удава, служившую удобным для переноски воды мехом. Селезнев с удовольствием смотрел на ее сильные ноги, легко несшие массивное тело, на округлые плечи, полускрытые гривой густых, спутанных кольцами волос. Ему нравились широкие скулы и крупные сверкающие зубы, длинные и узкие глаза, лукаво смотревшие на него. Синие цветы камнеломки, приколотые над левым ухом, придавали ей кокетливый вид. Вдруг Селезнев заметил на обрыве жирно блестящий кусок камня. Это мог быть скатившийся сверху неоценимый нефрит — материал для топоров необычайной прочности. Мог оказаться и стекловидный обсидиан, так просто раскалывавшийся на острые

ножи или наконечники копий. В один прыжок Селезнев оказался на обрыве, осмотрел камень и спрыгнул на тропу.

Женщина бежала быстро, она скрылась за выступом скалы в трехстах шагах впереди. Охотник побежал вдогонку, обогнул поворот и замер, чуть не натолкнувшись на нее. Она присела на корточки со скрещенными на груди руками и низко опущенной головой.

Волосы ее падали на лицо густой завесой. В двадцати шагах от нее, там, где тропа вбегала в узкую расселину между белыми обрывами, стоял саблезубый тигр. Он замер, выпрямив передние лапы и высоко подняв массивную, точно вырубленную из серого камня голову. Он возвышался над обреченной жертвой, неторопливо рассматривая ее. Из пасти, распахнутой так широко, как это могут делать только саблезубы, торчали изогнутые, плоские, как ножи, клыки в пол-локтя длины. Чуткий нос Селезнева уловил смрадное дыхание хищника. По вертикально отвисшей нижней челюсти сбегала тягучая слюна и капала на жаркую белую пыль.

Саблезуб увидел Селезнева. Серая короткая шерсть на его спине встала дыбом, встопорщились жесткие черные волосы на выступе подбородка и углах нижней челюсти, увеличив его ужасную морду.

Саблезубы обычно охотились ночью. Появление его днем вблизи обитаемых человеком скал говорило о том, что зверь уже имел дело с людьми.

Саблезуб прижался к земле, собираясь в комок. Мгновенным рывком громадная кошка высоко поднимет в воздух свое тело и обрушит его всей тяжестью, ударом острых выпущенных когтей на хрупкую фигуру дерзкого существа, осмелившегося не пасть перед ним покорной и легкой жертвой.

Издав пронзительный вопль, Селезнев на секунду остановил прыжок тигра. Его длинная рука схватила женщину за волосы, сгребя в широкую ладонь всю их спутанную массу. Легко оторвав от земли, он швырнул ее себе за спину, безмолвно приказывая: беги! Она понеслась к спасительным пещерам так, как это могли делать лишь наши далекие предки. Селезнев не мог видеть этого, потому что саблезуб прыгнул. С невероятно скорой реакцией охотник упал прямо под обрушившуюся на него серую массу, скользнув руками по упертому в выступ почвы древку копья.

Удар тела саблезуба был так силен, что дыхание на секунду остановилось и красный туман поплыл перед глазами. Но охотник уже не боялся ничего и не чувствовал боли. Он впал в тот боевой экстаз, который свойствен всем бойцам высших форм животного мира и дает им право на существование в безмерно жестокой истории развития жизни на Земле. Масаи и вандеробо... львиные охотники Африки — вот современные отголоски той могучей борьбы человека со зверями, которая бушевала в палеолите.

Тело Селезнева стало твердой и послушной массой напряженных до окостенения мышц, послушных бесстрашному мозгу. Позднее охотник рассказывал об ощущениях этого воспоминания, и доктор Гирин объяснил ему психический механизм боя или бегства, когда в кровь изливается сразу огромное количество адреналина из надпочечных желез, резко увеличивая активность, силу и быстроту движений.

Напоровшийся на копье саблезуб выгнулся дугой и перевернулся, стараясь достать зубами и когтями глубоко вонзившееся оружие. Этого мгновения было достаточно Селезневу, чтобы вскочить на ноги и сделать высокий прыжок на обрыв, к едва заметным выступам камня. Он зацепился крепкими, точно железные крючья, пальцами, скользнул, поправился толчком ноги и подтянул себя на руках всего на ладонь выше места, где когти саблезуба провели глубокие параллельные царапины.

Отвратительный вой злобы, боли и разочарования сопутствовал Селезневу в его подъеме на обрыв по крутизне, недоступной массивному хищнику. В беспредельной ярости зверь распластался по выступам обрыва, пытаясь достать Селезнева.

Саблезубу удалось продвинуться на локоть, а охотник вынужден был прервать подъем. Лишенный выступов гладкий склон слегка нависал над его головой, и дальнейшее продвижение стало невозможным. Весь похолодев, он прижимался к камню каждым кусочком тела, чувствуя, что остановка означает падение, ибо он удерживался на обрыве единственно лишь переменой точек опоры. Еще несколько мгновений и — конец. Невольно охотник поднял взгляд к равнодушно сиявшему вверху небу и увидел выделявшуюся резким силуэтом рослую фигуру. Охотник его племени выпрямился и взметнул над головой тяжелый валун. Камень полетел вниз. Распластанный на

склоне саблезуб не смог уклониться от точно нацеленного прямо в нос удара. Без звука гигантская серая кошка свалилась на тропу. В тот же момент грохнулся и Селезнев. Он упал на спружинившие ноги рядом с оглушенным хищником и без малейшего промедления побежал по тропе назад. Победный многоголосый клич вместе с градом камней обрушился на очнувшегося саблезуба. На этот раз победил человек, вернее, боевое содружество людей...

Все это Селезнев записал по неоднократно повторявшемуся видению, прибавляя отдельные подробности. Самым частым повторением были образы, связанные с большими камнями. Жившие в скалах люди с незапамятных времен научились управляться с камнями, устраивая свои пещеры, защищая входы и подступы к ним. Сильные мужчины и женщины всем племенем ворочали глыбы, подсовывали рычаги, подкладывали круглые гальки. Один из неизвестных гениев, которому обязано человечество всем своим будущим, придумал передвинуть в степь огромные глыбы, какие не мог бы сместить и сам овернский мастодонт. Тяжкие плиты серого камня, надежно врытые в твердую почву, образовывали крепость, могущую приютить в опасный час нескольких воинов, застигнутых темнотой при возвращении из дальнего похода. Следующую группу камней тащили еще дальше, отодвигая ее на едва видное глазу расстояние, которое хороший бегун мог покрыть, не сбавляя предельной скорости. Медленно, поколение за поколением, возводили люди в степи каменные крепости. Малочисленное племя не могло волочить камни сколько-нибудь далеко. Но продвинутые в степь укрепления давали возможность племени быть сытым, кормить большее число людей. Увеличивающееся количество членов племени позволяло продвигать камни дальше и дальше, в наиболее богатые животными места, к излучине степной реки. И наконец, там, на холмах, откуда зоркие глаза видели море колеблемых ветром трав, заросли кустарника и редких рощиц деревьев, где обитали огромные скопища зверей, гордо встали кольца заостреннных плит с добавочной оградой из вертикально поставленных глыб, перекрытых наверху длинными кусками камня.

В несокрушимой ограде, через которую не мог перепрыгнуть и самый сильный хищник, несколько охотников могли отразить нападение ста львов, саблезуба или группы леопардов. Здесь было достаточно места, чтобы разделать добычу, отдохнуть после охоты, даже провялить

мясо, которое теперь не портилось в далеком пути к пещерам.

На глазах у людей совершалось чудо, и чудо это делали они сами. Глыбы твердого камня, непосильные даже всемогущим владыкам степи — слонам, поддавались их объединенным усилиям. Это приводило жителей пещер в еще большее возбуждение, боевую ярость. Надсаживаясь и напрягая свои могучие мускулы, люди поддевали глыбы рычагами, быстро сообразив, как надо сливать отдельные рывки и толчки в единую силу. Соединенная с разумом, эта сила действовала, как целый десяток мастодонтов. Глыбы шаг за шагом медленно ползли в степь, становясь там навеки надежным убежищем сильных и предметом робкого поклонения потомков.

Движение каменных крепостей в степь что-то напоминало Селезневу. Приходя в себя после галлюцинаций, он долго пытался сообразить, что именно, пока не додумался до сравнения. Современные потомки обитателей скал, бесконечно увеличившиеся в числе, знаниях и техническом могуществе, теперь также сливали свои усилия, чтобы выйти на беспредельные просторы космоса.

Не глыбы камней волокли они по земле, а поднимали в высоту неба громадные корабли. Скоро металлические убежища-спутники должны окружить Землю на границе космического пространства, чтобы служить опорой в дерзновеннейшем пути к далеким планетам...

Никогда не сможет забыть Селезнев одно из наиболее ярких и горделивых видений.

Он находился в круглой каменной изгороди, воздвигнутой на холме недалеко от реки, вместе с группой охотников и молодых женщин, еще не имевших детей, которые также охотились с мужчинами и готовили впрок мясо. Наступила ночь, безлунная, с неисчислимыми огоньками звезд, горевшими вверху, точно глаза неведомых далеких зверей, реявших в бездонной тьме неба, высматривая добычу, над горами и лесами, степью и рекой. А на земле тоже загорелись глаза хищников, круживших около человеческой крепости, вдыхая запах провяливавшегося мяса и живой плоти людей. Но каменное кольцо было неприступно, мало того, таило смертельную опасность. Люди, неуязвимые под защитой глыб, копьями отражали любую атаку. Дубины и топоры довершали дело, на холодных полах пещер прибавлялась не одна мягкая шкура крупной кошки, такая теплая для маленьких детей.

В эту ночь вещее чутье человека, еще не разгаданное потомками, потому что они или считали его сверхъестественным и непознаваемым, или попросту отвергали его, не веря в великие способности своего тела, — это чутье предупредило людей о надвигающейся опасности. Какого рода опасность — никто не мог знать. Тем не менее все собрались около узких проходов, охраняемых сторожевыми. Не нашлось мужчины или женщины, которые решились бы спать и не вперяли бы глаз во тьму ночи, откуда приближалась неведомая опасность.

Бродившие вокруг звери что-то почуяли и скрылись. Прошло немало времени. Все так же горели яркие звезды и безмолвие ночи не нарушалось даже легким ветром, редко затихавшим на просторах степи.

Вдруг самый молодой из охотников с силой втянул в себя воздух — сигнал опасности. Он прильнул ухом к вертикальной каменной глыбе, и остальные сделали то же. Через толщу земли и прохладное твердое тело камня передалось отдаленное сотрясение почвы, учащенное и ритмическое, как поступь. Это и в самом деле была поступь большого, очень большого стада слонов. Оно приближалось, направляясь к холму, на котором стоял круг каменных глыб. Если стадо очень велико, то даже на просторах степи оно не сворачивает со своего пути и сметает все на дороге. Животные в дальнем походе не любят идти широким фронтом, а норовят стесниться поближе.

Костры были притушены, чтобы на всякий случай не вызвать любопытства исполинов. Медленно нарастал тяжелый топот — древние слоны в открытой степи двигались совсем не так бесшумно, как в лесу. Кроме того, вероятно, стадо шло рысью или очень быстрым шагом, переселяясь куда-то в дальние места, — самый худший случай для тех, кто не успел убраться с его пути.

В шуме приближающегося стада чудился свой ритм. Казалось, что глубоко под землей било несколько огромных барабанов, обладавших способностью волшебно зачаровывать людей и заставлять их совершать радостные движения танца... ту-тум, тум, ту-тум, тум, тум, тум, ту-ту...

По спинам охотников побежал легкий озноб, вызванный не страхом, а могучим чувством опасности, обещавшим великолепные переживания на грани избегнутой смерти. Обязательно избегнутой, иначе не будет никаких переживаний.

Крупные звезды, мигавшие над высокой травой у гори-

зонта, затемнились. Там обрисовались черные, быстро двигавшиеся утесы — передовая часть стада, составленная из самых крупных самцов, пролагавших дорогу для всех остальных. Такие же отборные и мудрые слоны замыкали вдали арьергард стада, растянувшегося на несколько тысяч шагов.

Необычайная высота приближавшихся животных привлекла внимание Селезнева. Владыки степей принадлежали к особому роду вымерших слонов, которому ученые, потомки пещерных охотников, пораженные величественным обликом животного, дали имя «архидискодон меридионалис», или «южный слон».

Селезнев знал, что современные африканские слоны более высоконоги, короткохоботны, чем питающиеся травой лесные индийские слоны. Архидискодоны были еще выше, чем африканцы. Их головы с толстенными бивнями и покатыми лбами раскачивались на высоте шести метров. Правда, это шли самые могучие вожаки, однако и поспешавшее за ними полчище высилось в темноте крутой черной стеной и напоминало скорее ряды средневековых осадных башен, чем живых существ.

Архидискодоны мчались прямо на каменный круг. Никогда еще степные крепости не имели дела с подобным скопищем. Предводитель пещерных охотников — гигант с сильной проседью в густой гриве своих волос и бороде — недолго хмурился в раздумье. Да у него и оставалось лишь несколько секунд.

По безмолвному знаку, поданному им, все охотники отступили к центру и присели за второй ряд камней, нагроможденных между главными глыбами. Присели и превратились в недвижные изваяния, так, как это умеют делать все дикие животные в ожидании решающей минуты.

Слоны поднялись на холм, почуяли людей и превратились в бесшумные черные тени. Высоченные архидискодоны заслонили полнеба. Половина каменного кольца вдруг стала черной глухой стеной без всяких просветов. Это значило, что напротив каждого из узких проходов между глыбами стало по слону. Гиганты были так высоки, что их головы оказались выше уровня каменной ограды, но опущенные и с шумом втягивающие воздух хоботы не могли дотянуться до людей.

Селезнев, не отрываясь, смотрел в маленькие, отблескивавшие красными огоньками глазки высившегося над ним слона. Архидискодоны замерли, так же как и

охотники, ни малейшим вздохом не выдававшие своего волнения.

Селезневу показалось, что он прочитал в глазах слона не злобу и не удивление, а лишь сдобренное юмором любопытство. Стоявший слева архидискодон вдруг отступил, нагнул голову и надавил лбом и бивнями на вертикальную глыбу внешнего частокола. Тотчас, подражая ему, еще три слона склонили головы и навалились всей тяжестью своих горобразных тел на другие камни. Селезнев не знал, насколько глубоко были врыты главные глыбы, потому что каменный круг был создан предыдущими поколениями жителей скал. Сейчас от суммы затраченной прежде работы зависело все. Если хоть одна из глыб уступит усилиям слонов, то слоны сокрушат преграду, и тогда вряд ли кто-нибудь спасется... Оглушительно затрубил левый гигант, снова сжимаясь в исполинский черный ком и напирая на глыбу. Ему отозвались все стоявшие перед оградой. Слон, глядевший на Селезнева, обдал его горячим дыханием, отзывавшимся запахом росших в степи густолиственных деревьев.

Топот стада затих — внутренним зрением Селезнев видел, как сгрудились перед холмом сотни слонов, остановленные препятствием.

Отошедшие в неведомые дали предки знали слонов и предвидели, что с ними придется иметь дело. И они, мужественные охотники и добросовестные строители, не пожалели труда, опустив основание глыб в глубокие ямы и тщательно уплотнив землю. Ни одна из столбовидных глыб даже не пошатнулась. Мгновения шли, и сердце Селезнева стало наполняться горделивой радостью. Он еще не был уверен в том, что архидискодоны не придумают соединить свои усилия и навалиться на какую-нибудь глыбу втроем или вчетвером. Но то ли у вожаков стада не хватало соображения, то ли они сочли дело нестоящим, смекнув, что препятствие проще обойти, во всяком случае, исполины отошли и еще несколько мгновений постояли в раздумье. Внезапно тишину прорезал высокий трубный звук — сигнал, поданный тем самым слоном, с которым переглядывался Селезнев. Тотчас передовая группа, состоявшая примерно из двух десятков самцов, разделилась, огибая каменный круг справа и слева. Разделилось и пришедшее в движение стадо, обтекая человеческую крепость, как река обтекает не поддавшийся ей утес. Иногда один-два слона черными стенами вырастали перед про-

ходами. Вытягивая хоботы, они с шумом всасывали воздух. Еще раз прозвучали хриплые трубы. Это подошел замыкающий шествие отряд самцов-охранителей. В отдалении за спинами охотников им откликнулись передовые. Очевидно, архидискодоны сообщали друг другу, что опасности в каменном кольце нет, и арьергард быстро прошел правой стороной. Осторожные охотники выжидали, пока не замолкла тяжелая поступь. Лишь тогда люди разразились торжествующими воплями, далеко разнесшимися по степи и поднявшимися к звездным небесам как слава уму человека и трудам предков...

Странные переживания, составление связных картин из отрывочных видений, то назойливо повторявших одни и те же незначительные детали, то быстро проносившихся целым сонмом образов, пропадавших из-за невозможности их осмыслить, — все это предельно утомило Селезнева, и его сильная нервная система стала сдавать.

Гирин решил прекратить опыты, считая, что Селезнев, поняв свои эйдетические галлюцинации, навсегда избавится от них. Ученому было горестно замкнуть таинственное окно, чудесно приоткрывшееся в прошлое, но опасение за психическое здоровье человека не позволяло ему продолжать опыты.

Селезнев умолял Гирина продолжать, мечтая еще раз пережить неслыханные приключения за завесой прошлых времен.

Доктор остался непреклонен. И все же Селезневу удалось еще раз посетить призрачный мир прошлого.

По недосмотру ли Сергея или по умыслу кого-то из присутствовавших на опытах пропал протокол пробы нового препарата с 8—ибогаином, по предложению Гирина биохимически стимулировавшего памятные узлы наследственной информации. Именно после этого опыта видения Селезнева из отрывочных, быстро мелькавших и изменявшихся образов стали протяженными и приобретали последовательность, позволявшую представить целостное событие.

Иван Родионович был разгневан. Селезнев впервые видел, как его добрые внимательные глаза приобрели жесткое, отчужденное выражение. Гирин не терпел бессмысленной работы, вызванной небрежностью или забывчивостью.

— В нашей жизни и без того слишком много нудных, обязательных и неизбежных дел, отвлекающих нас от по-

знания, от творчества. Если мы будем по собственной разболтанности увеличивать их количество, повторяя уже сделанное, переделывая неточное, поправляя испорченное, то вряд ли мы далеко уйдем за короткую жизнь.

Сергей клялся, что протокол стащили враги, с такой убежденностью, что Гирин в конце концов покачал головой.

— Как это вас воспитали? Четверть века не прожил, а ему повсюду видятся враги.

Несмотря на все уважение к учителю, Сергей не смог удержаться от иронии:

— И вы думаете, у вас их нет?

— Убежден и могу доказать.

— Докажите, пожалуйста.

— Извольте. Беспричинный враг — это патология, садизм, которые легко распознать, особенно нам, психологам, и все же это редкое явление. Следовательно, надо считаться с врагами, явными или тайными, которые имеют причину быть ими. Главная причина враждебности между людьми, непосредственно не связанными, а тем более связанными, — зависть. Увы, самая примитивная, мещанская, буржуазная, как хотите ее называйте, но зависть остается основным бичом в человеческих отношениях. Случайно я явился на свет с очень слаборазвитым чувством зависти — это не моя заслуга, так же как и моя память, кажущаяся нам невероятной. Воспитанием я совсем изжил зависть. Следовательно, я не враг никому по этой линии.

— А противники по науке? А завистники ваших способностей?

— Ну, эти всегда есть и будут, но сфера их деятельности ограничена. Я веду исследования в той области, которая еще совсем не разработана и почти никого не привлекает, не обещая карьеры и успеха. Чтобы воспрепятствовать мне, надо понимать, что делается, а понимают лишь настоящие ученые, они, кстати, и не способны на личную зависть.

— Так ли уж много подобных людей?

— Не так уж и мало. Дельцов от науки, блестящих, умеющих себя показать, пошуметь, — этих, к сожалению, еще многовато, но ведь и они не бесполезны. Они тоже движут науку, как и незаметные тяжеловозы — собиратели фактов и мелких открытий, каких большинство. Для дельцов я не представляю никакого интереса: диссерта-

цию не оформляю, квартиры не прошу, лаборатория — в подвале, зариться некому, мои помощники — добровольные, штатных единиц не занимают. Откуда же ваши мнимые враги?

— Все равно они завидуют, что вы такой... свободный. Что вы не гонитесь ни за чем, разве это не завидно?

— Вы непобедимый спорщик, Сергей, мне следовало бы запомнить, — развеселился Гирин. — Что ж, приступим к мартышкиной работе. Рискнем еще раз побеспокоить Иннокентия Ефимовича!

Усаживаясь в удобное кресло в темной камере, Селезнев волновался больше обычного. Может быть, потому, что это его последнее путешествие в мир необычайных видений, которые доктор Гирин проявил, как на фотоснимке, тем самым введя его в не доступные никому другому переживания.

Больше ничего не будет, он и сам это знал, утратив способность к галлюцинациям между опытами. Теперь возможность что-нибудь увидеть зависит только от снадобий — желтоватого порошка в приземистой склянке, синеватой жидкости в длинных запаянных ампулах. Вытяжки из кактуса, экстракта грибов и кто его знает еще каких лекарств, куда более волшебных, чем колдовские зелья.

В этот последний вечер свидания с прошлым в лабораторию пришли друзья Селезнева, геологи Андреев и Турищев. Дочь охотника Ирина ушла на художественную гимнастику вместе с Ритой.

Андреев с самого начала интересовался опытами, считая, что он и Гирин идут сходными путями — искания отпечатков прошлого в земной коре и в человеке.

Друзьям пришлось разойтись по домам, не дождавшись конца опыта. На этот раз действие препарата оказалось особенно длительным, и видения охотника не прекращались несколько часов. Гирин объяснил казус кумулятивным действием препаратов, накопившихся в организме, что было лишним тревожным сигналом к прекращению опытов.

Лишь к двум часам ночи Вера кончила стенографировать первые впечатления Селезнева. Чтобы успокоить психическое возбуждение, Гирин дал сибиряку дозу хлорпромазина, сам отвез его на такси к Андрееву, снабдил снотворным и, усталый, отправился домой. Селезнев обещал приехать назавтра для подробного рассказа.

Ученого одолевала печаль. Сегодня он навсегда простился с первой реальной возможностью исследования памяти поколений. Может пройти вся его жизнь, и он более ни разу не встретится с такой счастливой случайностью. Если встретится, эксперимент может не получиться, а если выйдет, то обладатель эйдетической памяти может оказаться на низком уровне развития или малоспособным и не передать свои видения так точно и ясно, как это сделал Селезнев. Да, вернее всего, что окно, на миг открывшееся в. прошлое, более уже не откроется ему, Гирину! Что ж, он опубликует данные опыта, привлечет внимание других исследователей, молодежи. Случаи проявления памяти поколений будут тщательно изучаться... Коллективы исследователей и множество случаев, не пропущенных по невежеству, а цепко ухваченных внимательными учеными, раскроют дорогу и сделают доступным человеку зеркало прошлых времен, спрятанное в его собственном организме...

«Разве это не есть лучшая награда искателю? Нет, не лучшая, — отвечал сам себе Гирин. — Лучшая была бы — пять, десять Селезневых! Потому что длительность зрелой жизни бесконечно мала не только перед необъятностью знания, но и для неутомимых поисков ученого. Если он утомляется в пути, то, значит, началось духовное умирание исследователя, как бы велики ни были его прежние достижения и заслуги. Да, красиво сказал французский математик Пуанкаре: «Мысль — это только молния среди бесконечно долгой ночи, но эта молния — все!» Красиво, печально и верно для его времени. Но теперь нам виднее, что впереди будут миллионы и миллиарды молний, которые заставят отступить бесконечную ночь и, сливаясь воедино, придадут мощь бессмертия череде познающих вселенную поколений».

Гирин любил самоутешение. И на этот раз он заснул с радостью хорошо исполненной работы.

А Селезнев не мог спать, несмотря на лекарство. Последние видения охотника показались ему очень ясными. Впервые не звери, а люди были видимы отчетливо и вблизи, а не как-то стерто и смутно, словно мельком замеченные прохожие.

Они были совсем другие, чем рисовало ему своих отдаленных предков собственное воображение и книги ученых-идеалистов. Псевдоученых, как стал считать теперь Селезнев. Как же иначе было назвать людей, которые

не смогли взглянуть на предмет своего изучения с разных сторон, отрешиться от наивного перенесения страхов кабинетного горожанина на своих предков. Не сумели сообразить, что изучение сохранившихся до настоящего времени диких племен, поставленных историей в стороне от главной дороги человечества, удалившихся, или, вернее, загнанных в самые бесплодные углы планеты и потому зачахших в голоде, болезнях и суеверии, практически ничего не дает для представления о наших подлинных предках. Тех предков, которые пошли путем разума и взаимопомощи, от мозговитого зверя к человеку-творцу, переделывателю окружающего мира, от стада к обществу.

Если бы любители рисовать древних людей запуганными, вечно голодными, покрытыми паразитами и грязью хоть немного задумались бы о том, что человеческие дети растут очень медленно. Для того чтобы вырастить полноценного, здорового, умного и сильного человека, требуется так много времени и так много забот, что в обстановке дикой жизни его родители не могут не быть героями, богатырями с высоким уровнем способностей и физического совершенства. Лишь десятки тысячелетий позднее, когда род человеческий невероятно размножился, он мог позволить себе дурную «роскошь» массовой детской смертности и выживания лишь малого процента наиболее здоровых, как бы автоматически компенсирующего неспособность родителей создать нормальные условия роста и воспитания своих чад. Так было в эпохи средневековья, особенно раннего капитализма или до недавнего времени — в колониях. Триста веков назад каждая человеческая жизнь, несмотря на подстерегавшую кругом смерть (а может быть, именно поэтому), была драгоценным цветком, бережно хранимым всеми членами племени жителей скалистых холмов. Слишком мало их было, и слишком нужны были обществу ум, умение или отвага, ловкость или сила каждого мужчины, каждой женщины.

Еще из прежних видений Селезнев вынес в себе ощущение избытка силы и предприимчивости. «На всякое дело отважным», как говорили о себе герои Гомера. И все же ему показалось удивительным обилие удобных приспособлений, облегчавших жизнь в пещерах. Ковры, ширмы и перегородки из палок, шкур или плетенных из травы циновок, уютные уголки для ребят, тщательно соблюдавшаяся чистота, любовь к купанию, умение укорачивать волосы и бороды, отчетливо выраженное стремление

к красоте, отраженное не только в украшениях на посуде и оружии, не только в картинах, испещривших все сколько-нибудь удобные поверхности стен и скал, но и в одежде, искусно подобранной по цвету меха и кожи, бусах из скорлупы страусовых яиц, зубов, мягких кристаллов слюды, гипса или кальцита. Пожилые женщины носили короткие туники из темного гладкого меха, осанистые молодые матери щеголяли в юбочках из разноцветных полос меха, девушки, прямые как копья, предпочитали пестроту леопардовой шкуры. В жаркие дни женщины шуршали юбками из длинной травы, которые они ухитрялись составлять из разноцветных пучков. Мужчины любили длинношерстный мех рыси, волка, медведя, придававший им особенно боевой и могучий вид, а дети бегали голыми даже в очень холодную погоду.

К умершим они относились с большим почтением, укладывая покойников на пышные ложа из цветов.

Жители скал подолгу возились с оружием и, опьяняясь видом нарисованных на стенах картин, тренировались, бросая копья в изображения животных, чтобы держать руку и глаз в постоянной готовности к любому сражению с хищниками или на охоте.

Селезнев удивлялся малому числу глубоких стариков и понял причину, увидев, как настойчиво они кидались в бой на охоте, предпочитая гибель в сражении томительному увяданию старости. Племя было вынуждено охранять старых женщин и мужчин, чтобы они могли вести долгое и тщательное воспитание детей, ибо житель скал, чтобы стать полноценным членом племени, должен был овладеть в совершенстве многими искусствами и умениями, мужчины и женщины в равной степени, но в разных направлениях. Человек создан с большим запасом прочности и способен на очень высокие перегрузки. В дикости он жил как зрелый индивид всего несколько лет, отдавая все силы. Как отражение приспособленности к прошлой жизни — наше стремление к интенсивности переживаний, к полноте ощущений, ныне существующей лишь в книгах, фильмах, в науке и на войне.

Исполненная напряжения жизнь не замирала и с окончанием большой охоты, когда по цепочке каменных укреплений люди тащили из степи запасы мяса, съедобных корней и плодов, накопляя пищу на время перекочевок животных или засушливого, подверженного пожарам периода. Сытые и усталые, люди восстанавливали силы дли-

тельным отдыхом, занимаясь домашними делами и предаваясь бесконечным рассказам. В племени было много талантливых рассказчиков, вокруг них всегда собирались группы слушателей, сверкавших глазами и зубами и разражавшихся громкими возгласами восхищения, интереса или сочувствия. Жизнь требовала сметливости, догадки, и люди отвечали этим требованиям, всегда внимательные, трезво и спокойно относящиеся к бесчисленным опасностям существования, закаленные, выносливые и могучие. Сверх того жители скал отличались интересом и любопытством ко всему на свете, ценили красивое, неся в себе непогрешимый вкус в украшении постоянно сопутствующих человеку предметов. Селезнев не заметил никаких татуировок, протыкания носов или губ — вероятно, они еще не деградировали до этого.

Мужественные, широколобые, с твердыми челюстями и прямыми широковатыми носами, головы мужчин украшали перья, иссиня-черным гривам женщин очень шли красные, желтые, синие и белые цветы, всегда свежие, соответствовавшие кристальной чистоте ярких, чаще всего серых глаз.

Селезнев вышел из пещеры и остановился на скалистом уступе, щурясь от сияющего простора степи, уходившей далеко за горизонт. Уступ круто обрывался вниз, слегка нависая над развалом камней у подножия. Он протягивался насколько хватал глаз вдоль хребта. Там и сям на уступе виднелись его соплеменники, занятые разными делами. В углублении обрыва несколько детей примерно десятилетнего возраста слушали наставления двух людей с сильной проседью в волосах и бородах. Твердые мускулы перекатывались под кожей при каждом движении стариков.

Учитель привлек к своим коленям нагого мальчугана с заткнутым за ухом пером филина и повернул ребенка боком к своей аудитории, объясняя особенности устройства человека в сравнении со зверями. Селезнев с любопытством следил за его жестами и рисунками на песке, которые он делал концом легкого копья. Старый охотник объяснял огромную невыгоду вертикальной походки человека при сражении с опасными зверями. У зверя сверху твердая, из костей и мускулов спина, а спереди зубастая пасть. У человека самое уязвимое место — живот — на одном уровне с зубами хищника. В сражении люди сгибаются, наклоняясь вперед. Достаточно одному ядовито-

му когтю войти во внутренности, чтобы человек навсегда удалился в неведомые голубые просторы, откуда никто вернуться не может.

Но согнутое положение неустойчиво, потому что у человека всего две ноги и он падает гораздо легче, чем зверь. Вот почему для того, чтобы стать настоящим охотником, надо выучиться в совершенстве владеть оружием, ибо преимущество человека — в оружии, как бы силен он ни был. Но оружием нельзя хорошо владеть, не владея собственным телом, вот для чего нужны нескончаемые занятия и состязания в ловкости, выносливости и терпении...

Селезнев прошел мимо детей, жадно слушавших наставника, и медленно пошел по уступу, направляясь к островку густого леса, синевшего на востоке на расстоянии не меньше двадцати тысяч шагов. Смутное ожидание томило его и заставляло ускорять и без того быстрые шаги, переходя на бег там, где позволяла местность.

На выступе поперечного отрога Селезнев увидел мужчину, неподвижного, как камень, устремившего взгляд в степную даль. Ближе к тропе, в нише, ранее служившей гнездом грифу, сидела совсем юная девушка в такой же неподвижности, глядя перед собой широко раскрытыми глазами. Селезнев знал, что жители скал нередко уединялись для размышлений и переживаний. Это называлось «спрашивать небо и землю». Считалось, что человека в такие моменты нельзя беспокоить. Охотник сдержал свою стремительность и пошел бесшумным скрадом, но девушка внезапно обернулась в его сторону. Улыбка, открытая и доверчивая, сделала ее лицо детским, лукавым и ласковым — последнее, что видел Селезнев, поворачивая в небольшое ущельице. Эта улыбка действительно стала последним приветом древнего народа, жившего в неведомых горах триста или четыреста веков назад... Здесь связность видения нарушилась. Охотник сразу увидел себя далеко от места обитания племени, на окраине густого тропического леса, вплотную подходившего к пониженной оконечности горной гряды. Белые склоны рассекались короткими ущельями. Черные зияния в глубине ущелий, возможно, были пещерами. Прелый запах влажной чащобы поднимался со дна ущелий, где теснились широколиственные деревья. Жители скал не любили этих мест, особенно опасных для одинокого охотника. Селезнев остановился, втягивая ноздрями теплый воздух. Ни одной

струйки резкого запаха хищника не донес ветерок, едва скользивший по приземистым верхушкам зарослей. Охотник пошел вдоль подножия, лавируя между глыбами известняка.

Обогнув два или три выступа, охотник замер. На пологом скате, полумесяцем врезанном в склон и обставленном, будто стражами, каменными треугольниками разрезанного промоинами обрыва, в завихренном воздухе слышался совсем незнакомый запах, ничем не напоминавший ни хищника, ни травоядное.

Заскрежетали мелкие камни под тяжелой и беспечной поступью. Из-за треугольной скалы появилось невиданное существо, не человек и не зверь, а гигантская обезьяна, сходная с человеком по прямой посадке головы и широким, несогнутым плечам. Растопырив пальцы толщиной с древко копья, гигант уперся ими в камень и встал вертикально, оказавшись ростом с хорошего слона, в два раза выше Селезнева. Изумление — не страх, а именно удивление припаяло охотника к месту. Светло-серая короткая шерсть покрывала могучее тело с грудью более объемистой, чем у носорога. Руки очень толстые, недлинные. «Оно и понятно, — сообразил Селезнев, — этакая штука не может лазить по деревьям». Ноги исполина не были видны из-за камней, но они не могли бы выдержать тяжести зверя, будучи такими же длинными, как у человека. Зверь раскачивался из стороны в сторону, подобно слону, и втягивал воздух с угрожающим шумом, походившим на сдержанный рев.

Затаив дыхание, Селезнев в упор смотрел на чудовище. Он не боялся. Разведанная дорога давала возможность бежать назад. Не было сомнения, что гигантская обезьяна не может сравниться с человеком в скорости бега.

Спокойно рассматривал охотник животное, потом определенное палеонтологами как представитель группы исполинских антропоидных обезьян — гигантопитеков, или мегантропов. Сейчас они известны преимущественно в Южном Китае по незначительным обломкам костей, громадной нижней челюсти и коренным зубам, в восемь раз большим, чем зубы гориллы.

Маленькие, утопленные под надбровными дугами глаза изучали человека настороженно, но без признаков ярости. Тяжелая голова, раскачивавшаяся над Селезневым, походила на грубо обтесанную гранитную глыбу — так мас-

сивны были выступы костей под сморщенной сероватой кожей безволосой морды. В животе обезьяны громко заурчало, и охотник усмехнулся про себя, вспомнив о недавнем уроке старого жителя скал. Да, вырасти до таких размеров, тогда действительно не нужно оберегать живот в бою — толстые, будто гранитные плиты, мышцы заставят мячиком отскочить ударившего в них буйвола. Впрочем, никому не удастся прикоснуться к ним — бревнообразные руки гигантопитека одним махом сломают хребет любому противнику, за исключением разве архидискодона или нанкуса, который достанет обезьяну издалека своими неимоверно длинными бивнями, но вряд ли скрещиваются пути слонов с этой ветвью человекообразных, которым особо благоприятные условия жизни и питания позволили развиться в исполинов. Они как бы выбрали силу, а не мозг, просуществовали меньше других антропоидов и, видимо, никогда не были очень многочисленны.

И, однако, стоя перед четырехметровым гигантом, Селезнев не мог не восхищаться громадной силой и боевым могуществом, заключенными в страшной обезьянище. Без ружия и без большого ума несколько гигантопитеков могли сокрушить любых хищников. Каждый мог свернуть шею саблезубу, как цыпленку дрофы. Такая сила не могла не быть заманчивой. Охотник с одобрением подмигнул отдаленному собрату, выпрямившемуся во весь рост и потому еще более походившему на человека. И лишь несколько часов спустя, обдумывая видение в удобной постели московской квартиры, Селезнев сообразил, что оборотной стороной огромных размеров была необходимость поедания массы пищи. Следовательно, гигантопитеки, будучи вегетарианцами, могли существовать лишь там, где имелись в изобилии плоды, и потому были привязаны к ограниченным местам обитания.

Человек по росту и силе стоял как бы посредине между мелкими и крупными животными, мог обойтись разной пищей и подолгу не есть, а обладая оружием и общественной спаянностью, противостоял самым грозным врагам или стихийным катастрофам. Но все это пришло ему в голову лишь позже, а в момент видения Селезнев забыл обо всем, любуясь несокрушимой махиной, топтавшейся на пологом склоне. Движимый симпатией к гигантопитеку, казавшемуся незлобивым, охотник обратился с речью к исполину, убеждая его в дружбе и хваля за величие. Обезьянища склонила голову, привалясь живо-

том к валуну, и неотрывно смотрела на Селезнева, как бы силясь понять человека. Внезапно глаза чудовища покраснели. Селезнев умолк. Гигант оглушительно заревел, обнажив тупые клыки, затем медленно опустился на четвереньки, теряя сходство с человеком. Поразительно быстрым рывком колоссальный антропоид бросился на Селезнева.

Тот нисколько не испугался, отскочил в сторону, чувствуя волну теплого воздуха, коснувшуюся от чувствительной кожи, и пустился бежать по каменистому скату, придерживаясь края кустов. Ему стало досадно от непонимания, проявленного зверем. Человек и гигантский антропоид могли бы жить, помогая один другому острым умом и чудовищной силой. Но, видимо, союз силы и ума был невозможен — странные, темные инстинкты привели животное в ярость. Поняв, что она не в силах настичь человека, исполинская обезьяна остановилась, издав высокий, резавший ухо визг. Селезнев усмехнулся и перешел с бега на быстрый шаг, торжествуя легкую победу над горой мускулов. Торжество оказалось преждевременным. Огромный пень, брошенный умелой рукой, провыл над головой охотника, захолодив сердце пониманием опасности. Секунду спустя Селезнев мчался зигзагами, а гигантопитек швырял в него камнями и обломками дерева, сопровождая каждый промах злобным ревом. Охотник несся отчаянными прыжками, старательно выбирая дорогу, и, наконец, отдалился на безопасное расстояние. Только тогда он оглянулся. Гигантопитек снова стоял, оперщись на корень вывернутого пня, резким силуэтом рисуясь над светлым склоном. И вновь сходство с человеком заставило охотника забыть пережитый испуг, наполняя его неясными, несбыточными мечтами...

Другая, подлинная реальность вклинилась как-то сбоку в сознание Селезнева; он подумал, что все древние сказки и легенды о великанах обладали совершенно реальной основой, лишний раз доказывая, как долго живут изустные предания, сотни веков передающиеся из поколения в поколение. И не случайно великаны в сказках никогда не бывают добрыми, а лишь глупыми, легенды точно отражают невозможность настоящей доброты при низком уровне интеллекта...

Силуэт антропоида утратил четкость, а весь горный пейзаж позади него исчез. Вместо него из тьмы выпятились синеватые блики на поверхности инструментов.

Исчезло и напряжение тела, только что балансировавшего на каменной россыпи неведомых гор, ставшая уже привычной жесткость железного кресла передавалась уложенному в него туловищу. Селезнев опять закрыл глаза, ожидая продолжения пережитого, но все кончилось безвозвратно. Охотник некоторое время приходил в себя, затем зажег лампу в глубоком колпаке и принялся наскоро записывать. Лишь после этого он дал звонок, и толстая дверь немедленно отворилась.

На следующий день Селезнев в последний раз явился в лабораторию, где так много пережил и рассказывал о гигантопитеке своей маленькой, но до предела внимательной аудитории. Вера внимательно строчила, заполняя груду листков, а магнитофон едва слышно вращал белые колеса-катушки.

— Вот это да! — не удержался Сергей, нарушив наступившее после рассказа Селезнева молчание. — Все бы отдал, лишь бы самому увидеть обезьяну в четыре метра!

— Что ж, и увидите, дожив до той поры, когда люди научатся открывать глубины подсознательной памяти в каждом человеке.

— И это все есть в каждом из нас? — как всегда застенчиво, спросила Вера.

— Не это именно, — терпеливо объяснил Гирин, — но, может, еще более интересное. В каждом по-разному. Так же как и сердце — «у всех одинаково бьется, но разно у всех живет», — внезапно пропел он. — Например, народы с длинной историей как бы устают от нее в своей мыслительной деятельности, обремененные горечью и цинизмом в своей генной памяти, хранящей тяжелый опыт многих тысячелетий жизни именно этого небольшого народа, не растворившегося в океане других племен. Превыше всего такие народы ставят материальное благополучие и здоровье лишь в индивидуальном плане. Они уходят от широкой мысли в любование тонкими деталями мира, наслаждение решением частных задач науки и философии, от просторов неба и моря к их отражению в пруду, от дерева — к ветке, от чувств — к декорации, от людей — к куклам. И незаметно в этом мире иллюзий, прихотливых и несбыточных, получается психосдвиг к иррациональности... к неприятию реальности и ее искажению. Поэтому анализ генной памяти должен сыграть немалую роль в изучении массовой психологии.

— Я все бы отдал, чтобы еще раз побывать там... —

сказал охотник, в упор глядя на Гирина. — Шут с ним, со здоровьем. Подумайте только, что из всех людей пока я один, а, Иван Родионович? Вроде мы с вами и не вправе прекращать опыты?

Знакомая твердая точка в глазах доктора подсказала Селезневу, что ничего у него не получится. Внешне мягкий и уступчивый в мелочах, Гирин был непреклонен в том, что считал важным.

— Вы, конечно, не единственный, — сурово ответил Гирин, — таких, как вы, наверное, немало в мире, пока неразысканных. А если единственный, так тем более вас надо беречь, как первого космонавта. Вы и в самом деле путешественник во времени, в прошлое. И напрасно думаете, что это свойство у вас навсегда, вроде вашей силы. Заметили, что видения стали короче и труднее их вызывать? Случившийся проскок в подсознании исчерпался, и благодарите судьбу за это!

— Однако так! Вижу. Что ж, собираться надо домой. Прощай, лаборатория, — охотник обвел взглядом низкое сумрачное помещение и неожиданно поклонился в пояс всем присутствующим. — Душевная благодарность, Иван Родионыч, и ученикам вашим. Не обидите сибиряка, приедете, родными будете. Разуважу охотой, рыбалкой, ягодой, в хрустальной реке купать буду, в бане квасом на душистых травах парить. Испробуете, что никогда не ели: строганины настоящей из чира, живьем замороженного, хрустов из чищеных кедровых орешков, котлет из черного рябца на медвежьем сале...

— Довольно, Иннокентий Ефимыч, мы все проголодались, и от таких разговоров еще язву получишь, — рассмеялся Гирин. — Перед приглашением устоять трудно. Может, возьмем отпуск да и явимся к вам все трое: Вера, Сергей и я!

— Ой, как чу́дно-то, Иван Родионович! — всплеснула ладошками Вера.

— За чем же дело стало? — настаивал Селезнев.

— В этом году ничего не получится, — покачал головой Гирин. — Осенью я поеду в Индию по приглашению тамошних ученых. А зимой все же не то, как летом.

— Приезжайте зимой! Будем на лыжах ходить, на нартах ездить. Пельмени опять же, сливки мороженые.

— Довольно, довольно, — умоляюще вскричал Гирин, — вы прямо чеховская сирена! Заведовать бы вам диетпитанием в хорошей больнице...

Заливистый смех был ответом Гирину. В дверях стояла Ирина, раскрасневшаяся, держа руку на темени, поверх спутавшихся кольцами волос.

— Папа — завстоловой! Тоже скажете, Иван Родионыч! Да он всех там на острогу наткнет... как ленков!

— А ты чего за голову держишься? — без излишней нежности спросил отец.

— Кажется, проломила, тут такой храм науки, что надо гнуться в три погибели. Не усмотрела — и об трубу ка-ак ахнусь!

— Когда мы с вами увидимся, Иван Родионыч? — спросил Селезнев, надевая синий дождевик.

— Послезавтра я вам позвоню. К тому времени обработаем все данные, с палеонтологами проконсультируемся...

Селезнев покачал головой, усмехнулся.

— У меня в глазах все время стоит та обезьянища. Ну и мастерица была кидаться! Я мальчишкой и то хуже швырял камнями.

— Это умеют делать из ныне живущих все крупные антропоиды — горилла, орангутанг, шимпанзе. Мне кажется, что большие обезьяны выучились кидать палки и камни именно потому, что не могли быстро бегать, а еще, и это, пожалуй, важнее, потому, что были слишком тяжелы, чтобы лазить по тонким деревьям и веткам за плодами. Надо было сбивать их. Человек тоже тяжел, чтобы достать высоко висящие плоды. Это привело его к открытию свойства палки, брошенной не поперек, а продольно. А затем и копья, как ручного, а не метательного оружия, уравнявшего его шансы со зверями и сделавшего человеком.

— Только копье?

— Ну, конечно же, нет! Вся история была гораздо сложнее, и мы нередко стараемся ее глупо упростить, упуская из виду многие обстоятельства.

— Например, психологические, — вмешался Сергей и покраснел.

— И психологические. Возьмем простейший случай: обладание копьем придало человеку куда больше уверенности в любых обстоятельствах, а следовательно, дало ему сознательное мужество, а не только боевую ярость зверя. И наши предки прошли путь величайшего мужества, в чем вы убедились сами и доставили нам доказательство этого. Наконечники копий в костях мамонтов,

носорогов и мастодонта, рисунок на скале в холмах Виндхья в Индии, изображающий битву носорога с людьми, — свидетельства, уходящие в бездну тысячелетий. А целое жилище из костей мамонтов, недавно раскопанное на Украине! Черепа с бивнями, кости ног и таза установлены частоколом, скрепленным ребрами. Такая хижина, стоявшая на открытой равнине, — замечательная вещь!

— Так мы, однако, вроде щенки перед далекими предками?

— Нисколько. То, что кажется нам в них удивительным, перестанет быть таким, если вы вспомните, что они сотнями поколений были приспособлены к окружающим условиям, к дикой охотничьей жизни. И в других отношениях мы их превосходим настолько же, насколько они нас в охоте. Возможности человека очень велики и в самых разных, подчас противоположных условиях.

— Понял, Иван Родионыч. Ну, пойдем, моя рысь сибирская!

— Папа! — укоризненно воскликнула Ирина.

Сергей проводил сибирячку взглядом столь долгим и задумчивым, что Вера насмешливо фыркнула.

— При чем тут смех? — окрысился студент.

— А при том, что я слыхала, будто рыси — очень опасные звери. Прыгают с дерева прямо на голову...

— Чушь несешь какую-то, — сердито сказал Сергей, отводя глаза в сторону. — Как вы, Иван Родионович, довольны?

— Еще не примирился с тем, что дверь захлопнулась, а вообще-то результаты превзошли все ожидания. Древняя память оказалась образной, как я и думал. Закон Финнегана не сработал на этот раз.

— Какой закон?

— Мой учитель, академик Берг, географ и биолог, много лет назад придумал название для кажущейся концентрации неудачных совпадений и назвал ее законом щельности, или наибольшей неприятности судьбы. Суть в том, что если вы роняете кольцо на пол, то оно почти обязательно закатывается в щель, хотя площадь щелей во много раз меньше площади твердого пола. Бутерброд, упавший со стола, шлепается маслом на пол, и так далее. Недавно я узнал, что этот закон хорошо известен английским ученым, особенно экспериментаторам, аэродинамикам, гидравликам. Они назвали его законом Финнегана —

ирландское имя. Имейте в виду, что англичане считают ирландцев способными ко всяческим несообразностям. «Ток Айриш» — «говорить ирландское» — в переносном смысле означает «городить чушь». Формулировка закона Финнегана следующая: «Если эксперимент может идти вкривь, не так, как надо, он именно идет вкривь».

— Наш не пошел, ура Ивану Родионовичу, ура Верочке! — Сергей в энтузиазме чмокнул Веру в щеку, увернулся от наказания и вприпрыжку поскакал в глубину лаборатории отключать провода темной камеры.

Повозившись, Сергей притих, и, только когда Гирин окончательно направился к двери, студент окликнул своего руководителя.

— Я думал над тем, что вы сказали, Иван Родионович! И мне пришло в голову, что закон Финнегана, если он есть, верен только для обычной жизни. Дом, университет, лаборатория, стадион, танцплощадка...

— Забыл еще упомянуть ресторан, библиотеку и ателье, — хихикнула Вера.

— Не надо, Верочка, я очень серьезно, — поморщился Сергей. — Я открыл, что закон Финнегана действует не во всех случаях, — сказал Сергей, — после того, как вспомнил книги о парусных плаваниях. Когда совершается очень смелое, отчаянное дело, когда люди идут на почти безумный героизм, тогда обстоятельства как бы уступают им. Иначе парусных кораблей гибло бы много больше, так же как альпинистов, летчиков-испытателей, геологов, водолазов. Мужество и воля побеждают этот ваш закон.

— Закон не мой, но ваши мысли кажутся интересными. В самом деле, народная мудрость давно отметила то же самое в пословице: «Смелого и пуля не берет». Тут есть что-то очень важное, и стоит подумать над этим дальше, — согласился Гирин. — Один старый французский философ сказал, что все широкие обобщения ошибочны, включая и это его утверждение. Здесь есть зерно истины, но такое же зерно я нашел в последней новелле американского фантаста Мак Интоша, где говорится, что человеческое знание имеет тенденцию узнавать все больше и больше о все меньшем и меньшем. Уравновешивая эти две противоположности, мы найдем верное решение.

ГЛАВА ВТОРАЯ

МИНОНОСЕЦ «БЕЗУПРЕЧНЫЙ»

Не обращая внимания на боль в пальце, Гирин вышагивал вдоль ограды училища в ожидании Симы. Он занозил руку еще два дня назад о шершавую доску, отнесся к ранке с беспечностью здорового человека, у которого раны заживают, «как на собаке», и поплатился нарывом под ногтем. Приходилось вскрывать, но самому было неудобно сделать это левой рукой, и Гирин решил пойти в поликлинику после очередной прогулки с Симой.

— Вы не собираетесь к Андреевым? — спросил Гирин Симу. — Будут торжественные проводы Селезневых.

— Я ни разу не была у них.

— Почему? Вы давно дружите с Ритой.

— Давно. Она хорошая, и я знаю, что ее родители замечательные люди. И все же... как вам объяснить...

— Обязательно объясните. — Гирин посмотрел на часы, и Сима насторожилась.

— Вам, наверное, некогда.

— Вовсе нет! У меня сегодня весь день свободен. Мои единственные два помощника выпросили отпуск после напряженных опытов. Знаете что: мне надо зайти взрезаться и потом... может быть, пойдем ко мне? Я давно хочу показать вам «Балерину» Серебряковой.

— Как это «взрезаться»?

— Разрезать палец, — Гирин извлек из кармана забинтованную правую руку, — иначе, вскрыть абсцесс.

— О, у вас воспаление? И вы терпите? — Сима нежно погладила руку доктора.

— Я научился подавлять боль, особенно столь незначительную.

— Как это делается?

— Самовнушением. В Индии это делается тысячи три лет. Впрочем, и наши предки тоже знали подобные «секреты», которые секретны лишь потому, что зависят от саморазвития человека. Вероятно, колдуны или ведуны древних славян так же умели снимать боль, как это делают гипнотизеры, и тем же способом.

— Так пойдемте в вашу поликлинику. Я подожду вас и провожу домой.

Гирину всегда казалось преувеличением, порядочно затасканным в литературе, описание: как герой глядит в очи любимой и ощущает головокружение. Но сейчас, взглянув в потемневшие огромные глаза Симы, он явственно почувствовал, как нечто сместилось в его мыслях, будто опустился щит, перегородивший ровный их поток, и все понеслось вскачь, бессвязно и бессознательно, оставив лишь чувство близости Симы. Тренированная психика справилась с неурядицей, но сожаление об ушедшем остро кольнуло Гирина.

«...Теперь, когда мне без малого полвека, а неустроенная жизнь по-прежнему полна беспрерывной, нескончаемой работы, что я могу дать ей, явно выпившей и красного вина боли, и белого вина надежды, как говорят китайцы? Нет, утратить ее по своей воле я не могу! Ничего более драгоценного я не встречал за всю жизнь. Значит, будет так, как поступит она!»

— Вам жаль, что у вас нет учеников, вернее, так мало? — участливо спросила Сима.

— Как вы догадались? — удивился Гирин. — Это верно, но я сейчас думал не об этом.

— Знаю! Когда сказали, что вы свободны. Такая чуть слышная интонация. Несмотря на неудачу в Никитском саду, я все же могу быть ведьмой, за которых вы поднимали мысленный бокал, когда пили чай у меня в первый раз. И я подумала, что, конечно, вы, отдающий всего себя любимому делу, насыщенный знаниями, должны иметь большой коллектив сотрудников, учеников, читать лекции не от случая к случаю, а создать свой, особый курс психофизиологии или психической биологии. Представляю, как много было бы у вас слушателей!

— Да, обстоятельства сложились для меня неудачно, вы правы. До самых недавних лет вообще я вынужден был молчать и заниматься лечением вместо научных изысканий. Сейчас стало легче, начали говорить в печати о телепатии и даже йоге. Однако инерция еще велика, и,

вероятно, я смогу только приготовить почву тем, кто придет после. Что ж, дело пахаря — хорошее дело, и я не удручен. Наука теперь движется уже не одиночками, а громадными исследовательскими коллективами и потому движется очень быстро. Видеть это, сознавая, что некоторые отрасли биологии человека везут вот такие одиночки... это, конечно, горько!

И снова Сима провела пальцами по руке Гирина.

Ветер на площади Восстания трепал тонкий плащ Симы, косматил ее густые стриженые волосы. Двое молодых людей обогнали идущих и, как по команде, оглянулись на Симу.

— Смотри, глазищи — вылитая Барбара Квятковская, только фигурка куда лучше... Эх! — вздохнул один нарочито громко и засвистал вызывающе и пренебрежительно.

Другой звучно плюнул с отсутствующим видом — так иногда странно выражается застенчивость у юношей, старающихся изобразить многоопытных циников, и ответил ему пословицей:

— Хороша Глаша, да не наша.

— Вот хороший пример мещанства в народных поговорках, — спокойно сказала Сима, — я бы создала комиссию писателей и педагогов, чтобы изъять такие поговорки из преподавания и избегать в книгах.

— Виноват, я не уловил сути.

— Суть поговорки — сожаление, что хорошая Глаша не принадлежит говорящему, а следовательно, что в этом толку. Мудрость дремучего собственника!

— Очень хорошо. Действительно, как тонко и тщательно надо нам следить за каждым душевным движением, если мы хотим быть людьми высшей формы общества. Давить и корчевать эгоистическую обезьяну! Бейте ее, кто верует в будущее!

— Иван Родионович, — просящим тоном спросила Сима, — может быть, мы все-таки не родственны этим дрянным зверям?

— Увы, безусловно родственны. Правда, не прямые родичи и не прямые потомки. Была миллионы лет назад особая группа антропоидов, из которой мы вышли. Видите, у нас ноги приспособлены для лазания по скалам, а не по деревьям, так что мы испокон веков — жители утесов. Но павианы тоже жители скал. Первые обезьянолюди, австралопитеки, жили по соседству с павианами,

иногда охотились на них и сражались за место. Может быть, многие плохие черты нашего характера возникли из столкновения с этими отвратительными, жестокими и злобными стадными обезьянами на заре времен.

— Гадость ваши павианы! Мы все же другие.

— О, осевая гормональная деятельность похожа. Видите, есть такой механизм с гормоном надпочечников — адреналином. Если внезапно испугать травоядное, антилопу, оленя, оно, получив в кровь порцию адреналина, сделает огромный скачок, автоматически уходя от опасности. Тигр от испуга сожмется для прыжка, а человек застынет на месте. Почему основной защитный рефлекс так действует у человека? Мало того, что он не хищник! При жизни в скалах, так же как и на деревьях, какие-либо бессознательные скачки в сторону мгновенно погубят животное. Оно должно замереть, окаменеть с напряженными мышцами, чтобы не свалиться с высоты и не убиться. В этом мы похожи на наших мерзких сородичей. Мы не тигры и не лошади. А жаль!

— Жаль, — согласилась Сима.

Они подошли к поликлинике, и Сима проводила Гирина до дверей хирургического кабинета, прикоснувшись к его плечу.

Принимала высокая стройная женщина-хирург в длинных сверкающих серьгах, с «перекисными» локонами. Едва бросив взгляд на палец Гирина, она спросила:

— Будем вскрывать?

— Будем, — спокойно согласился тот.

Врач прищурилась и дала распоряжение сестре. Когда все было готово, хирургиня бесцеремонно прощупала границу флюктуации, причинив Гирину порядочную боль. Он поморщился.

— Ничего, ничего, надо быть мужчиной, надо терпеть!

Она принялась за дело, но так безжалостно, что, будь на месте Гирина другой человек, он, несомненно, застонал бы от боли. И в то же время нельзя было отказать врачу в умении: разрез прошел точно, не глубже, чем надо. Гной и кровь вышли, а хирургиня все продолжала ковыряться в ране и даже проскребла ее, вооружившись ложкой. С раскрасневшимися щеками, она часто взглядывала на своего пациента.

— Больно, но надо терпеть... надо терпеть! — приговаривала она.

Это надоело Гирину. Он понял, что имеет дело с врачом-садистом. Это переразвитие элементарно необходимой жестокости очень редко, но все же попадается среди медиков, на несчастье тех, кому приходится с ними встречаться.

— Довольно, — резко сказал он, — все, что нужно, сделано. Закладывайте тампон и давайте перевязку. Вы мясник, а не хирург!

Блондинка побледнела от негодования.

— Что вы понимаете, неженка, как большинство мужчин. Незачем было приходить, если боитесь боли. Оскорбляете врача, который вас же лечит. Сестра, сделайте ему перевязку!

— К вашему сведению, я сам хирург, военный вдобавок. И мне в моей практике пришлось дисквалифицировать одного — вроде вас.

— Не понимаю, о чем вы говорите, — голос женщины дрогнул. — Сейчас вас перевяжут, и уходите. У меня много больных.

— В приемной никого. Прежде чем написать предупреждение о вашей социальной опасности, мне нужно узнать...

— Уходите! — визгливо крикнула она и вдруг осеклась, увидев пронизавшие ее насквозь глаза Гирина. Колени ее подогнулись, и она ухватилась за край операционного стола.

— Когда вы начали получать удовольствие от причиняемых вами страданий? — властно спросил Гирин. — Вы знаете это, глубоко спрятанное, тайное даже от себя самой.

— Я... я не знаю.

— Когда?! — вопрос хлестнул, как бич.

Женщина опустила голову, всхлипнула.

— Я раньше не знала, а потом заметила сама... — И внезапно, к изумлению медсестры, высокомерная женщина залилась слезами.

Гирин вздохнул с облегчением и встал.

— Запомните это! Запомните крепко, на всю жизнь. Следите за собой. Это пройдет скоро, если вы будете как следует бороться. Я навещу вас и проверю через год. Вы будете оперировать в моем присутствии. Вот телефон — позвоните.

— Я сделаю это, я буду стараться...

В приемной Сима встала навстречу. Гирин извинился за задержку, объяснив, что пришлось немного поговорить с хирургом.

— У нее обнаружился психологический сдвиг, это иногда бывает, но для врача крайне опасно, потому что врач держит в руках человеческое страдание. Если это не подавить.

— А вы подавили?

— Кое-что удалось. Я редко пускаю в дело внушение, но без него мне было бы не сломать брони наглости и лжи, в которую одеваются такие субъекты.

— Ой, Иван Родионович, вам бы походить по некоторым учреждениям! Почему-то скрытые садисты встречаются именно там, куда люди несут свои надежды, просьбы и страдания. Ведь приходишь и видишь, как тебе отказывают с наслаждением, грубо, стараясь унизить, причинить боль. Почему с этим встречаешься в жилищных учреждениях, на транспорте или, как вот вы, в больнице?

— А где же им быть? На заводе надо создавать вещи, в поле сеять хлеб, имея дело с машинами, которые на плохое обращение автоматически ответят скверной работой. Борьба с элементами садизма — очень серьезное и важное, но в то же время и тонкое дело. Чаще всего мещанин, ущемленный в своих эгоистических поползновениях, мстит за это всем, кто попадает от него хоть во временную зависимость. Завистливый негодяй, причиняя зло и горе всем, кому может, пытается так уравнять себя с более работящими и удачливыми людьми. Желание беспредметной мести тоже идет в одной линии с тенденцией отказать, оборвать, цыкнуть и тому подобное. Хорошо будет, когда начнут следить за тем, кто имеет дело с людьми, примерно так: каково соотношение отказов и помощи за год. И если соотношение окажется неблагополучным — лишней минуты нельзя задерживать такого человека на посту «сферы обслуживания».

Мы уже начали освобождаться от мерзкого доносительства, когда люди такого же сорта вредили и мучили, гнусно торжествовали над своими жертвами, измышляя клеветнические письма, раздувая пустяковые ошибки. Сейчас этому все меньше придается значения и люди страдают гораздо меньше, однако при незнании психологии еще недостаточно карают за клевету. Озлобленные

неудачники или просто завистливые людишки цепляются за ту или иную ошибку или просто несоответствие установившимся взглядам у ученого, писателя и художника, раздувают ее и пишут в высокие инстанции требования покарать, прогнать, скрутить в бараний рог.

— А еще важнее, — возразила Сима, — следить за всеми такими проявлениями с детства. Как часто все начинается с обиженного ребенка, а кончается...

— Отпетым хулиганом?

— Даже не так серьезно. Человеком, которому чужды добрая помощь окружающим, и непонятно, зачем думать о людях. Такой вот и выставит на окно ревущую радиолу, разбудит всех автомобильным сигналом или диким шумом мотора, остановится в дверях или на улице, не давая пройти другим, позволит своим детям орать и визжать под окнами соседей. И в ответ на протесты сделает еще хуже, назло. Какое проклятое это слово — «назло» и как еще оно мешает нам жить! — горячо воскликнула Сима. — И как трудно отличить, где кончается озорство и начинается зло. Я сама часто грешу — сидит во мне такой чертик и подбивает созорничать.

— И все же обязательно надо научиться разбираться в этом, — возразил Гирин, — для правильного воспитания. Какой поступок от злобы, от зависти, от скрытого сознания униженности, а какой — от избытка сил. Тщательно отделять одно от другого.

Сима тихо засмеялась.

— Я прочитала в одной книге об Африке смешной эпизод. Как молодая зебра брыкается под самым носом льва, лениво идущего к водопою, подымая пыль и дразня его. Вот это озорство! Когда мальчишка балансирует на жердочке на высоте — это озорство, а если лупит слабую девчонку — это подло, это садизм.

— Мне остается только согласиться, — одобрительно заметил Гирин.

— А что такое благородство с точки зрения психологии?

— Равновесие между возбуждением и торможением, то есть собственно нормальная психика, избирающая верный путь в жизненных обстоятельствах. Вот почему нормальный человек по природе хорош, а вовсе не плох, как то стараются доказать иные философы. Если торможение сильнее возбуждения, получится равнодушный

эгоист, которого ничто не заставит преодолевать свои примитивные желания и инстинкты.

Если возбуждение сильнее торможения, то это тип преступника, сластолюбца и чревоугодника. Но в то же время случается и творческого человека — художника, политического фанатика. Но довольно! Поедем на такси, а то вы, наверное, устали.

Жилье Гирина оказалось полной противоположностью Симиному. Новый дом, с маленькими квартирами, высокий, чистый и светлый. Они поднялись на восьмой этаж. Гирин приветливо поздоровался с соседкой по квартире — аккуратной женщиной в белой котфочке, гармонировавшей с серебряными волосами, и ввел Симу в квадратную пустоватую комнату.

Наступила очередь Симы разглядывать, как живет Гирин.

Почти та же обстановка, что и у нее, только поновее. Письменный стол с грудами рукописей. Книг не так уж много, как она ожидала, почему-то представляя себе комнату Гирина всю в коврах и книжных полках.

Над столом и диваном привлекали внимание большие репродукции картин. Громадный африканский слон важно шествовал по степи, взмахивая тонким хвостиком. Другой слон, еще больше, бежал прямо на зрителя, растопырив чудовищные уши и подняв грозные бивни. Животное спасалось от взвившегося за ним вихревым столбом степного пожара. Черный буйвол стоял в перемятом тростнике, принюхиваясь к чему-то, одинокий и сумрачный. Животные, изображенные с невиданной выразительностью, невольно приковывали взгляд, и Сима не сразу заметила большую репродукцию портрета балерины.

— Что это за художник? — спросила она, опускаясь в неудобное современное, не дававшее поддержки голове, кресло.

— Вильгельм Кунерт. Так преходяща слава творцов искусства, избравшего своей темой природу, а не человека.

— Дело в моей необразованности, а вовсе не в судьбе искусства.

— Не вы первая и не вы последняя! Кунерт, знаменитый африканский путешественник и художник, был первым, кто создал картины животных Африки, вошедшие во все учебники.

— Тогда я припоминаю.

— Теперь все его усилия оказались ненужными. Чудеса фотографии и киносъемки с телеобъективами сделали возможным получение таких портретов животных, о каких и не мечталось Кунерту. А прошло всего лет пятьдесят. Последние картины Кунерт писал в начале нашего века, пока не застрелился.

— Он покончил с собой?

— Когда убедился, что больше не может ездить в Африку и любить молодую красавицу жену, он выстрелил себе в голову из слонового ружья, верно служившего ему в Африке. Это было надежно!

— Воображаю, оторвать себе голову в... сколько ему было лет?

— Семьдесят. Возраст, достаточный для того, чтобы устать от трудной и напряженной жизни, которую он вел. Но довольно о Кунерте, вот портрет.

Сима всматривалась в репродукцию картины Серебряковой, и с каждой минутой она нравилась ей все больше. Молодая балерина присела, облокотясь на что-то, с той же ежеминутной готовностью встать, какая была характерна для Симы. Пышное платье восемнадцатого века, стянутое корсажем, с пышной белой оторочкой, низко открывало точеные плечи и высокую грудь. Обнаженные руки играли страусовым белым пером, а черные волосы из-под тюрбана с жемчужной ниткой спускались по обе стороны стройной шеи двумя густыми длинными локонами. Склоненное к левому плечу лицо привлекало взглядом больших глаз, одновременно пристальных, задумчивых и тревожных, не гармонировавших со спокойной линией маленьких губ и общим старинным обликом лица, с характерным для Серебряковой очерком щек и чуть длинноватого прямого носа.

Как хорошо удалось художнице передать светлую одухотворенность всего существа юной балерины, приобретенную долгими годами правильной жизни, воздержания, тренировки, напряженной работы над своим телом. Сходство с Симой не бросалось в глаза, хотя бы потому, что гимнастка, словно отлитая из металла, была куда крепче балерины.

— Как хорошо! — порывисто вздохнула Сима. — Но ничего на меня похожего! Кто это?

— Я имею в виду внутреннюю схожесть. Всмотритесь. Это ленинградская балерина Лидия Иванова, самая

талантливая и красивая в двадцатых годах, трагически погибшая совсем молодой.

— Я почему-то ничего не слыхала о ней, а я немного читала по истории нашего балета.

— Она погибла при загадочных обстоятельствах, вероятно, была убита, — неохотно ответил Гирин, почувствовавший вдруг странную тревогу от своей ассоциации погибшей балерины с Симой, — а сейчас я покажу вам еще один ваш портрет, на этот раз не с внутренним, а с внешним сходством.

Сима задумалась. Гирин только что хотел заговорить, как она сказала:

— Как по-разному видят меня люди. Подруги мои считают, что я как две капли воды похожа на деревянную статую девушки Коненкова, что стоит в Третьяковке, заложив руки на затылок. Что у меня точно такой же тип сложения, только талия потоньше и ноги не...

— И в самом деле очень похожи!

— А другие сравнивали с девушкой на берегу пруда. Видели у меня репродукцию.

Гирин хорошо помнил акварель, где великое мастерство художника слило в один аккорд буйную густоту деревьев, стеной вставших позади зеркала чистой воды, и женщину в траве на берегу. Равнодушный тон Симы был неподделен, и все же темное и терпкое чувство, как горькое вино, взбаламутило ясную нежность отношения к ней. Гирин встревожился. После всех лет? Или он теряет голову от Симы и снова должен идти по шатким мосткам необузданных чувств? «Не позволю!» — внутренне приказал себе Гирин и разом выбросил из головы назойливые мыслишки о неизбежном опыте Симы.

«Хорош!» — возмутился про себя Гирин. И сказал:

— В восприятии человека многое зависит от момента. Видеть вас в период прилива сил, радости и здоровья или когда вы устали, печальны или разочарованы, даже смотря по тому, в какой час...

— Это верно. Следовательно, вы увидели меня в период спокойной грусти — может быть, это одно из лучших состояний человека. Почему же вы хвалили мое выступление по телевидению?

— Но там тоже были вы, другая и такая же!

— Другая и такая же, — задумчиво повторила она, — хорошо сказано. Стоило бы записать... если бы я что-нибудь писала! Иногда так хочется писать, особенно стихи.

Но я бесталанна во всем: и в смысле способностей, и в удаче!

— Наоборот, многоталантливы!

— Как смотреть! Я считаю, что талант — это способности, позволяющие делать то, что недоступно среднему человеку. А я — судите сами: по фигурному катанию — шестое место, художественной гимнастике — пятое, гимнастика — восьмое, плавание и прыжки в воду — восьмое. И не в каком-либо всесоюзном или европейском масштабе...

— Мне все же кажется, что, если бы вы хотели...

— Может быть. Но мне противен ажиотаж вокруг рекордов, все усиливающийся в международном спорте, культивирование однобоко тренированных, умственно мало развитых людей...

— Словом, вы не можете совершить выдающегося, но зато делаете хорошо многое. Это куда труднее, чем специализироваться. Мне вы показались такой сразу — совершенной серединой. Она мне ближе, может быть, потому, что и я человек того же типа, без выдающихся способностей в одном виде знания, без гениальности, как скажут ученые.

— Непохоже на вас. Думаете, я не заметила вашу мальчишескую хвастливость: вот, мол, как здорово это я!

Гирин принялся хохотать. Сима тоже рассмеялась и спросила:

— А это художница, — Сима повернулась к портрету балерины, — как вы назвали ее?

— Зинаида Серебрякова. Вы видели ее картину «За туалетом» в Третьяковке? Вспомните, девушка в белой рубашке у зеркала.

— А вокруг голубые и серебряные флаконы. Дивная вещь, но что-то я ее давно не видела.

— Неужто убрали? Портрет балерины лежит в запаснике Русского музея в Ленинграде. Там, наверное, еще много картин этой замечательной русской художницы, одной из самых выдающихся русских мастеров, незаслуженно забытых. Долгое время наша молодежь почти не знала Рериха — одного из величайших художников мира, — я имею в виду отца. Исчезли с выставок Билибин, Кустодиев, не говоря уже о Головине, Баксте, Лансере — всех тех, кого свалили в одну кучу, назвав «мирискусниками» и обвинив в разных смертных грехах. Вы сами возмущались гонением на русскую старину, на русский

стиль в искусстве до войны. И как спешно пришлось все восстанавливать, едва над Родиной нависла тень войны.

— А вы знаете другие вещи Серебряковой? И где они?

— Знаю. И больше всего люблю ее написанный с громадной силой портрет жены Лансере — женщины с черными косами. Да вот и она сама. Ее автопортрет, — Гирин положил перед Симой старую открытку.

— Откровенно для автопортрета, — улыбнулась Сима, смотря на купальщицу в тростниках. — Теперь вижу, что на картине в Третьяковке тоже она сама. Очень интересное лицо, чуть лисье.

— Подобные женщины часты в ее картинах. Серебрякова родом из района Сум, на границе Курской области и Украины, где женщины наделены почему-то этой редкой красотой, какой-то старинной, интеллигентной и привлекательной. Есть там древняя «кровь», особенная. Встречая людей с такими лицами, суживающимися книзу, широколобыми, с длинным разрезом глаз, я спрашивал, откуда они родом. Ответ почти всегда был один: бывшая Сумская область.

— А мне пришлось видеть не менее привлекательный тип нашей русской женской красоты — в семьях потомственных новогородцев, — сказала Сима. — Там, наверное, произошло смешение древних новогорожан и варягов — скандинавов. Удивительно глубокие, широко расставленные глаза, великолепные фигуры — крупные, мощные у мужчин, крепкие, небольшие у женщин.

— А мне очень понравились, давно, еще с волжских моих путешествий, женщины, какие встречаются в Астрахани. Там к русской примешалась монгольская «кровь» и, очевидно, еще иранская. Получилась комбинация, в которой тонкое изящество монгольских черт сочеталось со здоровьем волгарей и добавился оттенок древнего персидского благородства... Что вы смеетесь?

— Я думаю, что таких «центров красоты» можно найти еще десятки в нашей громадной стране, — сказала Сима. — Мне рассказывали о прелестных симферопольских, минских, иркутских, ташкентских и не помню еще каких девчатах.

— Что ж, вы правы. Мы судим по собственному опыту, а он убого мал для разнообразия и просторов Союза, — согласился Гирин.

— А знаете, как можно всегда отличить русскую жен-

щину хорошей породы, если сказать по-научному — чистой линии? — лукаво улыбнулась Сима.

— Скажем, вас?

— И меня, — спокойно согласилась Сима. Она вытянула вперед загорелую ногу. С весны Сима ходила без чулок, что совпадало с современной модой. Гирин поглядел с восхищением, но девушка поморщилась.

— Я вам не себя показываю, а признак.

— Я и ищу его. Вот подъем породистый, крутой аркой...

— Не так. Ступни с высоким подъемом мало ли у кого могут быть. Другое...

— Ага! Понял! — вскричал Гирин. — Полное отсутствие волос на голенях... это годится и для мужчин.

— Совершенно верно. Обратите внимание при надобности, ученый антрополог! Но я хотела расспросить еще о Серебряковой. Что с ней сейчас?

— Умерла во Франции. Осталось множество ее картин, которые не пользуются там успехом. Она хотела вернуться на родину, к дочери, но видно, не успела, очень была стара.

Но я бы на месте наших вершителей судеб искусства приобрел бы ее наследие. Продадут по дешевке, а художник-то большой, наш, русский, настоящий — неотъемлемая часть родной культуры... Один раз, до войны, мы отказались от рисунков, завещанных нам Александром Яковлевым, художником-путешественником.

Гирин встал и объявил, что он будет поить Симу чаем — посмотрим, чем лучше.

Аромат жасмина повеял по комнате, едва Гирин внес чайник из красной глины. На удивленный вопрос гостьи он пояснил, что это цветочный китайский чай «люй-ча», привезенный ему одним пациентом. Сима взяла свою чашку, с сомнением глядя на слабо окрашенный желтовато-зеленый настой. Однако он оказался удивительно вкусен — без сахара, люй-ча и утолял жажду, и подбодрял лучше кофе.

— Немного похоже на среднеазиатский кок-чай, но куда вкуснее, — сказала Сима, — признаю, вы меня побили. Я никогда не пробовала такого, да и не видела в магазинах.

— Его нет в продаже. Можно вам подарить вот эту маленькую коробочку — как коллеге по любви к чаю. Не отказывайтесь, прошу.

Сима поблагодарила, осторожно взяла пеструю коробочку и заметила кипу нот на полке.

— Вы, кажется, любите петь? А есть у вас любимая песня, такая грустная и утешительная, для трудных минут жизни?

— Да, утешительная всегда грустная. Этого порой не понимают и стараются развлечь печального и усталого человека бодрым криком, разухабистой ритмикой, тем, что называют веселыми песнями. Бодряк, все равно где — в жизни, в кино, в книге, в песне — почему-то всегда оставляет впечатление слегка придурковатого.

И еще — не любят люди псевдорабочих песенок с мелкими чувствами, якобы свойственными рабочему классу. И правильно. Почему человек должен ограничивать свои чувства рамками жизни на производстве и элементарными стремлениями вне его? Право, старая, неграмотная Русь создавала свои чудесные лирические песни, считая, что она чувствует и мечтает не хуже, а лучше образованных классов. Русские песни соответствовали спокойствию и терпеливости народа, давая в грустных напевах нужную психологическую разрядку. А теперешние, наскоро сфабрикованные, песенки лишь усугубляют то «мятуче-трясучее» настроение, в каком пребывает часть молодежи. Эти песенки не совпадают с русским характером, кстати, и со вкусами азиатских народов нашей страны. Но те не стесняются сохранять свою самобытность, а в русских деревнях перестают петь. Все эти попрыгушки отталкивают слушателя и раздражают его. А грустная песенка, настроенная в унисон с состоянием, смягчит раздражение или обиду, оттенит печаль и заставит человека устремиться снова к свету и радости. Замечательные, психологически абсолютно верные слова: «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою».

Сима вздохнула, что, как уже знал Гирин, означало удовольствие.

— Всегда приятно встречаться с собственными мыслями и ощущениями у другого, особенно старшего и мудрого человека. Я давно задумывалась, кому нужно искажать древние народные песни, придавая им бодрый конец, особенно, упаси бог, если речь идет о самоубийстве...

— Опять наследие недавнего прошлого, когда никакой печали нам не позволялось. А какие песни вы имеете в виду?

— Ну, многие... «Липу вековую», одну из самых чудесных песен нашего народа. Ей сделали концовку, вместо: «Скоро и твой милый сам к тебе придет», — «Липа вековая снова расцветет», сведя на нет великую печаль утраты, а выбросив предыдущий куплет «Только не с тобою, милая моя, спишь ты под землею, спишь ты без меня», вообще лишили песню ее глубокого смысла. И теперь все пластинки и все исполнители повторяют фальшь. Таких примеров много, они меня обижают неверием в человека, предложением лживой сахаринной жизни. Ну бог с ними, скажите лучше, какая ваша утешительная песня?

Гирин вдруг по-мальчишески сконфузился.

— Моя «боевая»? С ней я всегда переживаю невзгоды и обиды. Но, пожалуй, вы будете смеяться, если я скажу, что это «Варяг». Не та, где якоря поднимают, а та, где плещут холодные волны. Вот! «Сбита высокая мачта, броня пробита на нем, борется стойко команда с морем, врагом и огнем!» — Баритон Гирина загремел на всю комнату, так что Сима вздрогнула.

— Как странно... — прошептала она, став серьезной, даже слегка хмурой.

Гирин, взглянув на нее, оборвал песню.

— Конечно, может показаться странным, что существуют тысячи прекрасных вещей, а я вот люблю эту матросскую песню давно прошедшей войны. Мне в детстве попались старые комплекты журнала «Нива» о русско-японской войне. Был такой хороший журнал. Мы еще мало понимаем значение первой встречи с серьезной книгой, она определяет многое в последующей жизни. Интерес к действиям нашего флота в японскую войну живет во мне до сих пор, а примеры изумительного героизма наших людей в безнадежных боях психологически поддерживают меня в трудные минуты.

— Я сказала — странно, потому что я... я тоже связана с русско-японской войной и флотом. Мой дед — лейтенант с миноносца «Безупречный».

— Что? С того, который погиб со всем экипажем в Цусимском бою, вернее после боя?

Сима молча кивнула, а перед Гириным возникло видение, порожденное его фантазией и коротким сообщением из «Описания военных действий на море 37—38 года Мейдзи» — официального японского источника — единственное, что известно о судьбе миноносца после Цу-

симского боя. Упрямый приказ адмирала Рожественского, уже беспомощно лежавшего в каюте миноносца «Бедовый», приказ «Идти во Владивосток, курс норд-ост 23» продолжал действовать. Остатки разбитой эскадры пробирались на свой страх и риск на север, преследуемые японскими крейсерами и миноносцами. Тогда проявились и потрясли весь мир воля к победе, беззаветное мужество и стойкость русских военных моряков. Сражение поврежденного, старого, заполненного спасенными с броненосца «Ослябя» крейсера «Димитрий Донской» с пятью японскими крейсерами навсегда поразило воображение Гирина. Полный достоинства трагизм встречи броненосца «Сисой Великий» с крейсером «Владимир Мономах», когда «Сисой» поднял сигнал: «Тону, прошу принять команду на борт». Моряки, с надеждой смотревшие на свой крейсер, прочитали взвившийся на его мачтах ответный сигнал: «Сам через час пойду ко дну». Этот морской лаконизм и стойкость до глубины души трогали лишенного всякой сентиментальности Гирина. Потому и врезались в память многие подробности официальных отчетов и военно-морского суда, потому и до сих пор помнилась короткая выдержка из японского «Описания военных действий на море». Она говорила, что крейсер «Читозе» — один из наиболее отличившихся в японском флоте — встретил одинокий русский миноносец, шедший на север и, по-видимому, имевший повреждение в машине, так как не мог развить хода. Крейсер «Читозе» приблизился к миноносцу и установил, что это «Безупречный». Флажными сигналами и выстрелом из орудия «Читозе» приказал «Безупречному» сдаться, но миноносец продолжал следовать своим курсом. «Читозе» открыл огонь (конечно, с такого расстояния, что ни орудия, ни торпеды миноносца не могли достать японский корабль), и после нескольких попаданий «Безупречный» затонул. Крейсеру не удалось спасти ни одного человека.

Сведущие моряки говорили Гирину, что не все правдоподобно в сообщении «Читозе». Или крейсер не стал спасать наших моряков вообще, или же сопротивление миноносца было более длительным, чем гласил официальный рапорт, и, пока оно длилось, были разбиты спасательные средства и уничтожены или переранены все люди «Безупречного». Миноносец в 350 тонн водоизмещения, вооруженный малокалиберными пушками, без хода не имел никаких шансов спастись от крей-

сера в 5 тысяч тонн, с двумя восьмидюймовками и целым арсеналом орудий меньшего калибра. Тем не менее «Безупречный» не сдался.

А Сима мысленно видела одинокий миноносец под огнем врага и оперщегося на поручни мостика красивого молодого лейтенанта. Ее мама — дочь этого лейтенанта — была красавицей, значит, и дед — тоже. Миноносец упорно шел вперед сквозь огонь, пока не затонул... Сима плохо представляла себе морское сражение, но гордость за деда, за то, что он был в числе экипажа героического корабля, издавна жила в ее сердце, помогая в беде. Симе тоже хотелось доблестно прожить свою жизнь. Она рассказала Гирину о детских мечтах и увидела, как слабый румянец проступил на его слегка впалых щеках.

— Признаюсь, — сказал Гирин, — я ожидал услышать от вас нечто подобное. Представьте, что и я мечтал о безупречности. В молодости я совершал поступки, которые хотя и не были очень скверными, но заставляли стыдиться их. А что касается вас, то, мне думается, вам было проще выполнить свое намерение — вы родились такой.

— Об этом мне трудно судить, — ответила Сима, — никто не знает, какой я была маленькая. — Она прикрыла свою короткую верхнюю губу нижней, «сковородником», как у обиженных детей.

Помолчав, Сима продолжала:

— Я осталась одна, когда мне было четыре года. Меня взяла к себе соседка, преподавательница иностранных языков. Она стала моей приемной матерью. Всеми своими интересами, музыкой, книгами, тягой к искусству, знанием языка я обязана ей, моей второй матери и учительнице в большом значении этого понятия. Она воспитала меня так, что жизнь стала для меня интересной, а труд никогда не казался нестерпимой обузой. Я редко говорю о ней — слишком дорога мне память мамы Лизы... И не странно, когда некоторые люди удивлялись: как так, преподаватель физкультуры, спортсменка много читает и многим интересуется? Как будто спорт — это спутник необразованности и в то же время оправдывает ее! Потом мы голодали в войну в холодной и полупустой Москве, а потом жили в роскошной бедности. Так называла свою жизнь моя приемная мать, потому что обладала тем, что считала главным для интеллигентного человека, — комнатой, оборудованной

наподобие отдельной квартиры. Музыкальный инструмент и много книг — разве это и в самом деле не было роскошью?

Потом Сима поступила в институт физической культуры — преподаватели приметили ее еще в средних классах школы. Сейчас уже шесть лет учит сама.

— Вы совсем не помните своих родителей?

— Отца — совсем. А маму, странно, почти не помню, как она выглядела, но осталось ее ощущение — того теплого, материнского, ласкового, что, очевидно, впитывается всем существом ребенка. Отец был инженер, кажется механик, а мама в совершенстве знала несколько языков и преподавала их, как и тетя Лиза, — вот откуда они знали друг друга. Бабушка — не папина, а мамина мать, жена погибшего на «Безупречном» лейтенанта — много путешествовала на пенсию за дедушку. Мама девочкой была с ней в Англии, Франции, Италии и Греции, не помню уж где еще. Говорят, у нее были редкие способности к языкам. Кроме того, она была поэтесса и редактировала книги — видите, о матери я знаю довольно много, потому что мама Лиза была с ней знакома. А вот отец — совсем неизвестный мне человек, и других родичей нет никого.

— А вы знаете, что в Ленинграде есть церковь, на стенах которой мраморные доски с названиями судов и списками погибших членов экипажей? — осторожно спросил Гирин.

— Была. Это церковь Христа-спасителя на каком-то канале у Невы, в память моряков, погибших в войне с Японией. Я ездила в Ленинград специально посмотреть, но не успела, ее уже снесли.

— Кому помешала маленькая церквушка? — удивился Гирин. — Ведь это историческая ценность, хоть недавнего прошлого!

— Наверное, это сделали в период борьбы с русским прошлым, о которой вы только что вспоминали.

— Но вы уверены, что родителей нет в живых?

— Мне сообщили об этом официально.

— Скажите, это и было причиной того, что вы так и не были у Риты?

— Вы угадали. Мне казалось, что люди относятся ко мне или с жалостью, или с подозрением. Я стала не то что нелюдимой, но стараюсь держаться в своей раковине.

Гирин осторожно и нежно, как хрустальную, взял

руку Симы и поднес к губам. Та не отняла ее, но, смотря прямо в глаза доктора, сказала:

— Вы, конечно, хотите знать дальше? О, это неизбежно, — продолжала она в ответ на отстраняющий жест Гирина, — уж лучше раньше, чем позже... — начатая фраза замерла у нее на губах, но открытый взгляд ее не опустился. — Девятнадцати лет я вышла замуж за студента нашего института, показавшегося мне олицетворением мужества. История банальна — как раз мужества-то в нем не оказалось. Душа испорченного мальчишки в мускулистом теле. Всего год прошел со смерти мамы Лизы, мне так нужна была опора. Ведь я осталась одна во всем мире. У нас с ним жизнь сразу как-то не ладилась. А когда выяснилось, что мое происхождение может повредить ему в заграничных поездках, Георгий настолько испугался, что смог сказать мне об этом. Я ушла, не задумываясь, и заодно освободила себя от иллюзий, привитых с детства книгами о мужской доблести, чести, рыцарстве.

— Психологическая статистика, — вставил Гирин, — отчетливо показала, что в трудных условиях жизни мужчины резко делятся на две группы. У одной возрастает стойкость и мужество, а у другой прогрессирует безответственность, стремление уйти от психологической нагрузки и заботы, переложив ее на плечи женщины или получая забвение в алкоголе.

— А мне кажется, что мужской пол у нас просто избалован количеством безмужних женщин после войны. И невоевавшие юнцы следуют в этом старшим, — возразила Сима.

— А что такое избалованность, как не отсутствие стойкости и нежелание любой ответственности? — улыбнулся Гирин.

— В самом деле, я не думала об этом! Но я не все сказала, — Сима высвободила руку из теплых пальцев Гирина, — потом у меня было еще увлечение... показавшееся серьезным.

— И?

— Как видите! Я давно и окончательно одна! Объяснить почему — сложно и слишком интимно. А теперь...

— Ждете ответного рассказа. Есть!

И Гирин рассказал Симе о своем детстве, учении, работе врача и первых поисках собственного пути в науке, О войне, как он сумел быстро переучиться и стал

хирургом. О долгом периоде после войны, когда ему никак не удавалось заняться тем, что казалось ему наиболее интересным. О неудачном браке, без детей, кончившемся несколько лет назад, когда они с женой разошлись, не видя смысла в дальнейшей совместной жизни. Слишком велика оказалась их разность, вначале пленявшая обоих.

— Вот в общих чертах и все, — закончил свой рассказ Гирин, — а теперь — Москва. Меня пригласили сюда, чтобы, без моего ведома, конечно, использовать как пешку в карьеристском соревновании неизвестных мне научных воротил. Я понял, своевременно отказался и был отпущен на все четыре стороны. Обосновался в институте, имеющем мало отношения к нужному мне профилю исследований. Но изучение физиологии зрительных галлюцинаций дает лабораторию, сложные приборы и возможность идти своим путем в свободное от плановой тематики время. Это одна из причин моей пресловутой занятости...

— Я не буду больше подсмеиваться, простите меня, — виновато шепнула Сима.

— Пустое!

— Один вопрос. Правильно ли я поняла, что вы все время копили в себе знания, не разбрасываясь на побочные дела, и этому помогло то, что на первый взгляд кажется неудачами?

— Право, Сима, вы удивляете меня уменьем представлять сложные вещи. По-видимому, это верно. Мне пришлось быть таким же одиночкой в науке, как вам — в жизни.

Сима сидела в своей обычной позе, «на краешке», молча глядя на Гирина.

— Можно мне спросить вас, Сима?

— О чем угодно. Чувствую и вижу...

— Что не спрошу ни о чем запретном? Не ручаюсь. Иногда наши внутренние запреты бывают очень странными. Вы счастливы, Сима?

— Не знаю. Уж очень играют этим словом, и его смысл ускользает, превращаясь иногда в пустой звук. То до счастья остался один поворот, то человек обретает некое абстрактное счастье, с которым он носится всю жизнь — в книгах или пьесах. А мне кажется, что настоящее счастье — в перемене, пусть даже плохой, но с которой ты имеешь силу бороться и преодолевать ее.

— В каждом счастье есть неизбежная оборотная сто-

рона, равно как в достижении и недостижении, устройстве и неустройстве. А мы оцениваем счастье чаще с привычно бытовых мещанских точек зрения, не подозревая о многоликости и переменчивости счастья. Ну а ваше конкретное счастье? Сейчас?

— Мои девушки, которые из неловких, некрасивых, застенчивых и сутулящихся становятся с каждым днем красивее, увереннее. Посмотрели бы вы, как сознание того, что их тело прекрасно, послушно и легко, придает им силу в жизни, изменяет психологию. Вот почему я выбрала такую работу и не променяю ее ни на какую другую, несмотря на неудачи, огорчения, наконец, просто невежество и грубость, ведь имеешь дело с разными людьми. И в этом смысле я счастлива, хоть и не переставала мечтать о какой-нибудь чудесной встрече. Так отчаянно хочется иногда большого, великого, которое бы поставило на грань жизни и смерти необычайным переживанием, грандиозным подъемом чувств. Полюбить или служить такому захватывающему делу, чтоб не было не только страшно, а наоборот — радостно умереть, любя в то же время жизнь всеми клеточками тела... не умею про это сказать!

Гирин поднялся, побледнев от волнения. Он наклонился к Симе, протягивая руку ладонью вверх, и вдруг в дверь постучали. Сима вздрогнула.

— Иван Родионович, вас к телефону, — послышался женский голос, вероятно, той седовласой дамы, что встретилась им при входе.

Гирин досадливо поморщился, овладевая собой, встал извиняясь.

Он вернулся через несколько минут и застал Симу в молчаливом созерцании портрета балерины. Она повернулась к нему.

— Мне пора!

— Я поеду к больному только через два часа.

— Я пришла к вам в три, а сейчас полседьмого. Тетя Лиза говорила, что самое большое время пребывания культурного гостя — это три часа. Я пересидела и сделалась невежливой, чего мне вовсе не хочется. Но вы позволите мне приходить иногда и смотреть на балерину?

— Я подарю ее вам... Нет, пусть висит здесь, чтобы вы приходили чаще! — воскликнул Гирин и поцеловал ее мизинец.

— Руку дамам целуют тут! — Она показала на тыль-

ную сторону кисти, вдруг рассмеялась, побежала через переднюю и захлопнула за собой дверь.

Хмурясь и улыбаясь, Гирин опустился на диван, скорее встревоженный, чем обрадованный захватившим его чувством, силой которого были опрокинуты все годами воздвигавшиеся психологические преграды. Значит, все дело только в том, что ранее не встречалась такая Сима, соответствующая осознанным и неосознанным его мечтам. И в том, что ничего не стоит между ними такого, что могло бы послужить основой для отказа. Возраст? Но еще ни разу не почувствовалась разница лет, ни одной фальшивой, маскировочной ноты не проявилось во время их встреч.

Он так ясно представил ее себе, легко и будто бы неторопливо, а на самом деле быстро шедшую по улице, удаляясь от его дома. Взгляды прохожих, равнодушно скользившие по ней и в следующее мгновение прикованные ее странной, неброской и пленительной красотой. Вспышки восхищения, чувственного желания, зависти и недобрых мыслей в этих мимолетных взглядах, угасавшие перед ее доброжелательной ясностью, так резко отличавшейся от нарочитой недоступности или же вызова иных красивых женщин. Каким оружием против неизбежной жестокости жизни обладало слишком резко реагирующее на несправедливость сердце Симы? Гирин видел легкую ранимость Симы именно с этой стороны, которую не могли изменить ни жизненные удары, ни самовоспитание, ни внутреннее бесстрашие девушки. Будто раз в милой сказке Сент-Экзюпери, у которой против всех опасностей жизни есть только четыре шипа, ее единственная защита. Тревога Гирина показала силу его возраставшей любви. Но и он тоже — бедная двойственная, путающаяся в противоположных желаниях человеческая душа! После стольких лет, если то, что пришло сейчас, окажется только вспышкой страсти, усиленной необыкновенностью встреченной девушки? Тогда он, вместо того чтобы стать ее спутником и опорой, невольно присоединится к враждебным силам мира, против которых у нее только четыре шипа... а если бы не чувство, они могли бы стать друзьями. Нет, с Симой это невозможно, она слишком женственна и сильна и слишком нравится ему. Будь ему еще лет шестьдесят-семьдесят... нет, и тогда он любил бы — бесправной любовью уходящих надежд и угасающего тела.

А Сима в это время шла по малолюдному переулку навстречу двум вдребезги пьяным людям в расхлыстанных одинаковых синих плащах и коричневых шляпах. Они нарочно загородили тротуар, и девушка быстро свернула в сторону. Шедший по правой стороне гуляка шагнул еще правее и расставил руки, готовясь схватить девушку. Со своей неуловимой быстротой Сима отступила в другую сторону, но там ее поджидал с распростертыми объятиями второй пьяница. Девушка остановилась, и первый, что-то бормоча, сделал попытку схватить добычу. Сима рванула его на себя за протянутую к ней руку и в тот же момент отодвинулась. Пьяный парень сделал несколько шагов по инерции, а Сима спокойно пошла дальше. Тогда непривычный к такому поведению молодец побежал за Симой, похабно ругаясь и занося кулак. И снова Сима остановилась. На этот раз она ловко подтолкнула нападающего хулигана под локоть, подставила ногу и резко стукнула его ладонью по шее. Парень рухнул как подкошенный, ткнувшись носом в асфальт, а Сима быстрым шагом стала уходить. Тяжело поднявшись и оглядываясь налившимися кровью глазами, парень устремился за обидчицей, зажав в руке кусок кирпича, но наткнулся на грудь ставшего на дороге крепкого пожилого человека. Он попытался обойти его, но тот не уступал. Подоспевшего товарища пьяницы оттер хорошо одетый юноша. После короткого объяснения гуляки присмирели и зашагали дальше под руку, более не задевая встречных женщин.

Усилием воли Гирин заставил себя отвлечься от мыслей о Симе. Его звали на помощь, как это часто случалось, в отчаянии, когда уверенным диагнозом был уже подписан приговор еще неведомому для него человеку. Звонил пожилой, вынужденный уйти на пенсию летчик, некогда удачно консультированный Гириным и с той поры сделавшийся его адептом. Он умолял повидать боевого товарища, у которого только что обнаружили быстро прогрессировавший рак легкого. Требовалась операция, а товарищ не хотел соглашаться на нее, с известным основанием считая, что в его случае будет очень трудно обнаружить отдельные метастазы. Если уж суждено скоро умереть, то он хочет уйти целым, не искалеченным операцией. Летчик упросил Гирина поехать к другу и убедить согласиться на «живорезку», как назвал он хирургическое вмешательство. Гирин охотно согласился, но летчик

заедет за ним около восьми, а он еще не подготовился. Беда в том, что сам Гирин не был уверен в необходимости переубеждать человека. Если врачебное заключение, переданное ему по телефону, правильно, а нет никакого основания в этом сомневаться, то вполне возможно, что операция будет краткой отсрочкой. К счастью, у больного нет сильных болей, когда человек готов на все, что угодно, лишь бы избавиться от них. Но кто может утверждать с абсолютной точностью, что все пойдет только так и судьба не оставила лазейки для искусства хирурга и могучего излучения кобальтовой пушки? Гирин поднялся и пошел на кухню, где вынул из холодильника бутылку своей любимой ряженки. Он ел после шести часов, только если предстояла долгая вечерняя работа.

Бывший летчик уверенно и молча гнал свою «Волгу». Гирин с трудом понял, что они приехали куда-то на Ленинградское шоссе.

Ничего не ускользнуло от привычного внимания доктора — ни деревянная походка открывшей им дверь женщины, ни испуганные глаза высокого и тощего мальчишки, промелькнувшего в коридоре, ни нарочито стертая с лица его знакомого угрюмость. Он вошел в комнату с бодрым восклицанием:

— Получай, Николай, я привез тебе своего чудодея!

Лежавший на разложенном диване-кровати человек с любопытством поднял голову, и Гирину мгновенно стало ясным, что этот человек не нуждается в утешениях и сам способен утешить кого угодно. Профессия, что бы там ни говорили, формирует лица людей. Гирин не раз встречал подобные, точно кованные испытаниями и ответственностью, энергичные лица у опытных летчиков, шоферов, которым пришлось быть застрельщиками на опасных трассах, у морских командиров.

Выцветшие голубые глаза больного спокойно, с чуть скрытой иронией осмотрели Гирина, а свободный и широкий жест руки пригласил усаживаться.

«Как мало в общем люди знают даже своих близких друзей, — подумал Гирин о привезшем его летчике. — Зачем прибегать к стандартным приемам деланной бодрости, годной, может быть, для ребенка или неумного взрослого, перед таким цельным слитком человеческой души?»

Он отказался от предложенной папиросы, уселся у ног больного и заговорил без всякой профессиональной аффектации, так, как если бы он, Гирин, был старым

задушевным другом больного, оказавшегося видным летчиком-испытателем. Неторопливо, не заботясь о фальшивом авторитете иного врача, скрывающего от больных свои слабости и ошибки, он поделился всеми своими заранее продуманными соображениями. Сказал и о возможной неудаче, веско предупредил о вероятной «лазейке», не позволяющей тупого и упрямого отказа. Ирония, проглядывавшая во взгляде больного, исчезла, и он не сводил глаз с незнакомого доктора. Так, вероятно, он следил за приборами своего самолета в опасные минуты. Только когда Гирин умолк, он шумно вздохнул и закурил новую папиросу.

— Задали вы мне задачу, а я было и слушать никого не желал. Вот оно, дело-то какое, будто в испытательном полете — ни налево, ни направо, держись по ниточке. А нитка тонкая, возьмет и лопнет, — больной искоса глянул на Гирина.

Тот не ободрил его улыбкой, не предостерег тревожным лицом. Странный доктор сидел, бесстрастно уставившись в дальний конец комнаты, где стоял небольшой кабинетный рояль.

— Играете? — вдруг с жадным любопытством спросил больной и на утвердительный наклон головы Гирина продолжал: — Смерть люблю рояльную музыку, да вот играть некому. Сам обучиться не успел, а сына учу-учу, а он не то чтобы порадовать отца игрой, а как черт от ладана!

— Плохого учителя ему нашли, только и всего. Музыка — дело тонкое, подготовляться к ней надо постепенно, в зависимости от способностей и вкусов, а родители и учителя иногда этого не смыслят. И вбивают неумелым подходом отвращение к отраде жизни.

— Вот оно что! Не знал, да и откуда мне знать? Вы бы, доктора или музыканты, кто там должен, писали бы об этом. Вот так, как вы сказали! А то черт его знает, обленились все, что ли? Случайно узнаешь на старости лет, что надо бы с младенчества. Досадно! — Больной помолчал, закурил новую папиросу и сказал: — А что, доктор, я попрошу вас сыграть мне что-нибудь обязательно грустное? Под музыку думается хорошо, глубоко, ясно.

Гирин не мог отказать и уселся за рояль. Вот уже два месяца он разучивал эту вещь. «Мельник и ручей»

Шуберта — Листа, с его прозрачной печалью прощания, заворожил больного. Он поднялся на локте.

Гирину тоже хорошо думалось под музыку, и чем дальше, тем больше ему хотелось спасти этого человека. Мысли скручивались в тугую пружину и затем ускоренно мелькали одна за другой. Во внезапном напряжении мозга, обычно называемом приливом вдохновения, Гирин припоминал различные соображения о возможности лечения раковых заболеваний. Раковые опухоли в общем возникают в результате нарушения сложнейшей молекулярной программы обмена веществ и роста клеток. Клетки приобретают новые свойства и размножаются по своей особенной программе, независимой от общего строя организма.

Следовательно, организм теряет возможность регулировки этих клеточных образований.

Однако за миллионы лет существования сложных высших организмов, безусловно, должны были образоваться те или другие способы борьбы с этими видами нарушений.

Вероятнее всего, должно происходить такое изменение обменных процессов, которое воздействовало бы на раковые клетки, изменяя их генетическую структуру и обрывая процесс независимого от организма роста.

Гирин кончил играть, и в наступившей тишине послышался глубокий вздох больного.

— Ох, как еще хочется жить — с каждым годом интереснее. Узнаем, что делается на Венере, затем и на Марсе, прилунимся с человеком на борту. Мир-то все шире становится, а тут уходить. Досада!

— Теперь я сыграю вам четвертую балладу Шопена, — обернулся к нему Гирин.

Под строгую ритмику давно знакомой мелодии мысли правильно строились, лепясь друг к другу, как кирпичи здания.

«Рассуждая априорно, жизнеспособный организм обязательно должен обладать такими защитными приспособлениями, потому что нарушения молекулярной программы организма могли случаться не раз в течение индивидуальной жизни и, следовательно, квадриллионы раз в истории развития высших позвоночных животных. Прямым подтверждением этому служат наблюдения крупнейшего современного эндокринолога Люпшютца — выходца из России, работающего в Южной Америке над стероидными

гормонами. Его ученики наткнулись на признаки существования какого-то клеточного вещества, обрывающего рост раковых клеток. Намеки на существование неких регуляторов роста клеток, условно названных промином и ретином, получены при недавних исследованиях молекулярной биологии. Промин вызывает рост клеток, а ретин задерживает его. Ретин, видимо, менее стоек, чем промин, и с возрастом количество ретина уменьшается. Все это, конечно, лишь первые стадии поисков и теоретических рассуждений, однако...

Очевидно, с помощью нервно-гормональной, то есть нервно-биохимической, системы регулировки обмена организма можно воздействовать на клетки опухолей. Вероятно, в каких-то случаях организм может делать это сам, но, как правило, ему надо помочь... Чем помочь — этого мы пока не знаем. Поэтому легче отравить, чем принести реальную пользу.

Возьмем недавние опыты с антикоагулянтами — веществами, не позволяющими крови свертываться. Так как внезапное свертывание крови — смертельная опасность, то в организме есть мощная защита. При введении коагулянта — свертывателя крови — в ней резко повышается содержание антикоагулянтов фибролизина и гепарина. Реакция эта почти мгновенная, действующая через мозг (подсознание) и тем спасающая организм. И вот оказалось, что повышение содержания антикоагулянтов можно вызвать путем внушения.

Нечто подобное может иметь место для уничтожения раковых клеток — вещества, воздействующие на генетический механизм, должны существовать в организме. И если так, то их появление в кровяном русле можно попытаться вызвать опять-таки через нервную систему и мозг внушением, как и фибролизин». Гирин усмехнулся, склоняясь к роялю и представляя себе скептицизм, град насмешек и обвинений в знахарстве, который обрушился бы на него за малейшую попытку публично обосновать подобную методику.

Возражая своим воображаемым оппонентам, особенно защитникам вирусной теории рака, Гирин думал:

«Пусть хотя бы и вирус, но первопричина все равно в нарушении нервно-химической регулировки.

Ищут различные вирусы и думают, открыв их, устранить причину заболевания. Это похоже на то, если бы моряки стали изучать воду и причиненную ею в корабле

беду, вместо того чтобы искать течь и закрывать переборки. Вирус появляется в организме лишь тогда, когда его туда допустит ослабевшая защита, когда образуется брешь в нервно-гормональной регуляции. Надо в первую очередь искать эту брешь, как течь, и прежде всего в высшей нервной деятельности центров, ведающих перекрытием инфектозащитных переборок. Ведь человек с идеальной генетической структурой не должен абсолютно ничем болеть.

Во всяком случае, никто ничем не рискует, — продолжал он свои раздумья, акцентируя нараставший темп баллады, — а все же будет самый ничтожный шанс на спасение этого человека. Предварительно продумать последовательность внушений, заставить больного поверить и помогать мне напряжением своей психики. Нужно несколько сеансов, одноактным гипнозом тут ничего не сделать».

Гирин оборвал игру, бесшумно опустил крышку рояля и встал.

— Я попрошу всех выйти и как следует закрыть дверь. Мне надо остаться с полковником наедине.

Бывший летчик — знакомый Гирина и жена больного, молчаливо сидевшая в стороне, не спуская тоскливых глаз с мужа, удивленно воззрились на доктора. Повелительный тон и взгляд заставили их повиноваться. Гирин снова подсел к больному, передавая ему содержание своих размышлений и требуя тайны.

— Чего же другого вы можете ожидать от меня, как не полного согласия? — удивился больной. — Ведь пока вы играли, я уже все окончательно решил.

— Отказаться? — понимающе спросил Гирин.

— Да! Или полная жизнь, или ничего. И точка!

— Тем более мы не теряем даже времени. Но вы должны со мной так же: все или ничего!

— Вас понял! А скажите, доктор, вы это умеете? Как — научились или от природы?

— И то и другое, — дружески улыбнулся Гирин.

— Ну, так мне повезло!

— В Москве есть специалисты внушения и посильнее меня, но я хочу сам, потому как знаю, что требуется. А другой не поймет или не поверит.

Больной полковник протянул исхудавшую, но еще сильную руку.

— Хотелось бы вам сказать кое-что, да вижу — не

нужно. — В жестоковатых голубых глазах мелькнул свет, очевидно редко озарявший взгляд этого закаленного бойца с неожиданностями. — Значит, пойдем вроде в слепой полет с вами вместо приборов?

— Интересное сравнение, но неверное. Мне надо выключить ваше сознание, чтобы действовать на подсознательную сторону психики. И в то же время у вас в сознании должно быть закреплено напряженное желание, воля следовать за мной. Это надо суметь!

— Сумею, если сумеете объяснить, — уверенно заявил полковник, и Гирин неожиданно радостно рассмеялся, вдруг уверовав в успех безнадежного предприятия.

Бывший летчик, друг полковника, ненужно сгибаясь и изрыгая проклятия по адресу дурацких труб, влетел в лабораторию, требуя Гирина. Сергей, возмущенный кощунственным нарушением порядка, молча показал в сторону камеры, где Гирин заперся с испытуемым. Летчик упрямо уселся на скрипучий стул и, шумно вздыхая, объявил о решении ждать доктора хоть до полуночи. Вера уступила и соединила его с Гириным по внутреннему телефону.

— Иван Родионович, надо ехать к Демину. От него звонили, сказали, чтобы я немедленно привез вас. Там что-то случилось!

Сердце Гирина упало.

— Что именно, разве они не сказали?

— Нет. Говорила жена и сказала, что он хочет вас немедленно повидать.

— Хорошо! Идите в машину и ждите.

Гирина встретил в передней сам полковник, обнял и на несколько секунд приник к его плечу.

— Вчера вечером отпустили из клиники после обследования. Все поздравили меня — первый диагноз был ошибочен. — И полковник, широко и светло улыбнувшись, подмигнул Гирину. — Вот теперь вы тарарахнете! Я готов быть подопытным животным!

— Никакого тарараха не будет! — Гирин подмигнул тоже.

— То есть как так?! Что же, оставить втайне то, к чему стремятся тысячи ученых и мечтают миллионы? Тогда я сам...

— Ничего вы не сделаете. Я говорил вам, что всегда

есть возможность неточного диагноза. Чтобы доказать правильность, надо было вас вскрывать, а вы еще долго жить собираетесь.

— Не шутите, доктор, тут дело очень серьезное!

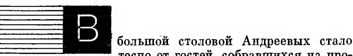
— Наивно убеждать меня в важности лечения рака. Но вы, полковник, ничего не знаете о громадной и мутной волне псевдонауки, поднявшейся во всех странах. Чего только нет — и особые способы питания, упражнения глаз, чтобы обходиться без очков в старости, какие-то магнитные волны, дианетика — психическое воспитание человека с материнской утробы, псевдойога на всякие лады, хиропрактика — особый массаж, вправляющий какие-то несуществующие элементы скелета, — разве все перечислишь. О всяких там лекарствах я уже и не говорю. К счастью, сейчас во многих странах, а не только у нас, введен государственный надзор за ними, который будет еще усилен после случая с талидомидом — немецким снотворным, искалечившим сотни детей в чреве матери, или американским лекарством, не помню названия, растворяющим холестерин при склерозе, которое вызывает преждевременную катаракту — помутнение хрусталиков глаз.

Не думайте, что это, так сказать, единичные увлечения, кратковременные сенсации, какие иногда появляются и исчезают у нас. Нет, на Западе есть целые мнимонаучные институты, с миллионами последователей, с крупными средствами. Америка стоит на первом месте, да и другие страны не отстают.

— Вы хотите сказать, что надо сначала сто раз отмерить?

— Совершенно правильно. И молча, если не втайне, чтобы не вызвать ажиотажа у легковерных людей или приговоренных, хватающихся за соломинку. Настоящая наука поступает так, чтобы не будить напрасных надежд. Поэтому и вы будете молчать, и я тем более. Наука с каждым годом все больше становится массовой профессией, пользующейся большим уважением и неплохо оплачиваемой, но пока еще не выработавшей способов быстро распознавать бездельников, халтурщиков и обманщиков, маскирующихся под ученых. Вот почему именно в наше время ученые должны быть особенно осторожными и не оставлять пены на чистой воде научных исканий.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ



В большой столовой Андреевых стало тесно от гостей, собравшихся на проводы полюбившихся сибиряков. Ирина переглядывалась с Ритой, кого-то ожидая. Наконец, выскочившая на очередной звонок Рита вернулась и поманила Ирину, шепнув: «Она!»

«Она» была встречена громовым восклицанием самого хозяина:

— Ага! Явилась наконец таинственная Сима, сиречь Гарун аль-Рашид! Подать сюда!

Профессор завладел обеими руками смущенной Симы, одобрительно оглядывая ее. На помощь поспешила Екатерина Алексеевна.

Укоризненно качая головой, она увела гостью знакомиться с Селезневым. Сибиряк стал приглашать Симу приехать, «чтобы обучить наших девчонок на мужицкую погибель».

— Смотрю на мою Ирину, какая стала, — продолжал охотник, — ходила вразвалку, будто утка, а теперь то плывет лебедью, то вытанцовывает кобылицей.

— Отец! — с возмущением крикнула позади Ирина. — Вы не слушайте его, Серафима Юрьевна. Так уж заведено в тайге, чтоб друг друга поддразнивать. Сколько я вытерпела, вы и представить не можете!

Ирина увлекла Симу в угол, оккупированный молодежью. Рита удалилась за пианино, сосредоточенно копаясь в кипе нот.

— Хочешь, мы тебе споем «Геологов»? — обратилась она к отцу.

— Не надо, ерунда! Музыка хороша, а слова глупые. Она все клянется в верности и его убеждает, что, мол, не изменю. Очень старомодно! Все хорошо, что соответ-

ствует времени, даже если мы, старики, это не всегда понимаем. Только бывает, что «современность» оказывается фальшивой. Нередко это возвращение вспять, к тому, что уже было, и далеко не лучшему, как вы скажете: «Типичное не то».

— А конкретно? — спросила Рита.

— Ну вот, например, мы, наше поколение, считали идеальным героем стойкого, немногословного, сдержанного мужчину. А сейчас на Западе да и у нас появился тоже герой многих книг и кинофильмов — нежно-чувствительный, а то и вовсе истеричный, болтливый остряк, шумный, резкий, разбросанный. Это, по-моему, возвращение к идеалам средневековья. И тогда и сейчас это заядлый горожанин, в этом все дело.

— И что тебе не нравится?

— Идеал не нравится. Я считаю его возвратом к старому, худшему изданию человека. Противно, до чего обидчивы и сентиментальны такие молодцы. А за обидчивостью кроется сознание собственной неполноценности, за сентиментальностью — жестокость.

— Ого, Леонид Кириллович, — сказал Гирин, — не ожидал у вас такого классического для психолога подхода! Согласен! Скажу больше — психиатров тревожит новая мода длинных волос у мужчин, кружевных манжет и пестрых рубашек. Это намечается тенденция к женственности, слабости, отсутствию желания быть сильным.

— Позвольте! — раздалось сразу несколько голосов, но резкий звонок в передней прервал разговор.

— Кто бы это мог быть? — недоуменно спросила Екатерина Алексеевна. — Открой, Рита!

В столовую вошел быстрый, суховатый и смуглый человек.

— А, Солтамурад! — приветливо воскликнул профессор. — Очень рад, милости прошу. Товарищи, это Солтамурад Бехоев, товарищ моего ученика Ивернева, который в Индии. Солтамурад — знаток индийских языков!

— Уж и знаток! — поморщился чеченец. — Незрелый еще. Простите, не знал, что у вас гости. Евгения Сергеевна велела зайти, когда буду у вас в Москве, спросить, нет ли чего нового.

— Пока нет. Однако вам придется побыть с нами. Присаживайтесь. Вы чем-то взволнованы?

— Нет, понимаете, какое дело. Пошел звонить вам по автомату. Один телефон испорчен, стекла в будке вы-

биты. Другой тоже испорчен, и тоже стекло выбито. Дальше иду, смотрю, вывеска разбита. Мало того, только повернул за угол, в меня из рогатки трах! Я быстрый, приметил мальчишку, побежал, догнал. Паршивец завизжал, будто я его зарезал. Выскочили какие-то люди, орут: «Чего ты дитя бьешь, уходи пока цел!» Я говорю: «Это не дитя, а хулиган, трус заугольный». А мне кричат: «Сам хулиган, убирайся, скажи спасибо, что в милицию не сдали, видели, как дитя мордовал». Я плюнул и пошел. Обидно, разве так можно детей воспитывать? Кто будет из него, труса паршивого? Напакостил и спрятался, так жить учат? Ему же в коммунизм идти! Слов нет, район у вас красивый, новый, а народ еще не хозяин! Разве хозяин будет портить свое же, обижать людей? Холуй это, а не хозяин!

— Ладно, Солтамурад, не кипятитесь. Не все здесь такие, можете нам поверить.

— Однако многое изменилось даже с тех пор, как я начинал свои первые экспедиции, — сказал Андреев. — Ушли в прошлое отсутствие запоров в деревнях, старые, покинутые, но нетронутые часовенки на русском Севере, древние надписи и изваяния на степных холмах. Теперь почему-то немало людей стараются сокрушить, разбить, испакостить неохраняемые ничем, кроме благоговения к человеческому труду и искусству, вещи, до сей поры стоявшие сотни лет.

— Все тот же признак антисоциальной поврежденной психики, о котором я только что говорил, — сказал Гирин, — чем дальше, тем больше он усиливается, не только на Западе, но уже и на Востоке. Все чаще случаются взрывы самолетов в воздухе, стрельба по невинным ни в чем случайным прохожим, дикая расправа со старинными произведениями искусства, составляющими славу народа, вроде датской Русалочки.

— Почему же еще и с произведениями искусства? — спросил Солтамурад.

— Произведения искусства в поврежденной психике вызывают такую же ярость, как, например, обнаженные изваяния, женская красота или танцы. Чувство своей неполноценности, ущербности и неодолимое желание компенсации торжества — параноидальный комплекс. Раз «Глаша не наша», — Гирин вспомнил поговорку, — «то бей ее, сволочь такую!».

Я помню Петроград в первые годы Советской республики, когда стояли нетронутые и не охраняемые никем, кроме народной совести, особняки с полами цветного дерева, фресками, зеркалами, даже мебелью, а в их садиках и дворах — прекрасные статуи. Все целехонькое. А теперь у нас боятся поставить красивое изваяние даже на городской площади!

— В самом деле, у нас совершенно ничтожное количество изваяния как образцов красоты человека, не памятников, — воскликнула Сима.

— А на площадях, улицах и в садах древнегреческих городов тысячи статуй стояли много веков, — тихо сказал Гирин, — никем ни разу не тронутые, охраняемые прочнее стальной решетки ореолом своей красоты. Судите сами, чье психическое здоровье было лучше.

— Я бы назвал его по-гомеровски — богоравным, — сказал Солтамурад.

— Ух, как я ненавижу эту, как вы хорошо сказали, заугольную пакость, — взволнованно сказала Сима, — подлых трусов, оскорбляющих и мучающих сначала девчонок, потом девушек, потом своих жен. Подлецов, ночью прокрадывающихся в парк, чтобы отбить нос или руку у прекрасной статуи, написать гвоздем на чистом мраморе гнусное слово. Ломающих, трудясь до пота, какую-нибудь беседку, подпиливающих детские качели. Скажите, Иван Родионович, что это, психопаты или нормальные люди?

— Критерий нормальности — предмет больших споров на Западе! Где грань между нормальным и ненормальным человеком? Мне кажется, что ответ тут простой и не надо печатать тома докладов. Важнейший критерий нормальности — общественное поведение человека. Все нарушения естественной дисциплины, которую требует от человека совместная жизнь с другими людьми, искривления и искажения добрых, товарищеских и заботливых отношений, вероятно, обязаны каким-то психическим дефектам, подлежащим исследованию. Я говорю, естественно, не о случайных промахах поведения, а систематически повторяющихся поступках.

Параноидальная психика выказывает себя также, когда люди нарочно вытаптывают цветы и траву, опрокидывают скамейки, прут поперек движения именно потому, что этого нельзя делать. Самый опасный для социалистического и коммунистического общежития вид психоза.

Между прочим, усиленные занятия математикой, с ее прямолинейной и абстрагированной логикой, создают склонность к параноидной психике. Поэтому я против специальных, математических средних школ... и против завышенных требований по математике и на конкурсах даже по тем специальностям, где она не нужна.

— Хватит о психопатах, — вмешалась Екатерина Алексеевна, — пойдемте за стол!

— Простите меня, — виновато улыбнулся Гирин, — я так привык проповедовать свою науку, что тоже получил психосдвиг, всегда и везде готов читать лекции.

Гирин оказался за столом рядом с Бехоевым.

— Вы, может быть, родственник знаменитому Зелимхану, — спросил чеченца доктор, — прозывавшемуся «абрек Заур»?

— Как, вы знаете Зелим-хана?

— Случайно. Была хорошая книга осетинского писателя Дзахо Гатуева. По ней в двадцатых годах поставили фильм «Абрек Заур». Я его смотрел мальчишкой. Неплохо бы сейчас заново поставить, романтики в нем больше, чем в самом современном приключенческом фильме. Насколько помню, отцом Зелим-хана и его брата Солтамурада был Гушмазуко, сын Бехо, следовательно, как в царское время писали фамилии горцев, — Бехоев. А Зелим-хан носил фамилию Гушмазукаев.

— Все верно! — восторженно воскликнул чеченец. — Солтамурад Гушмазукаев — мой дед! Мы стали все Бехоевы уже при Советской власти.

— Да кто ж такой этот Зелим-хан? — спросил Андреев.

— Герой-одиночка, рыцарь, пытавшийся восстановить справедливость, сражаясь с жандармами и царскими чиновниками. Впрочем, так и подобало абреку, одиночному мстителю за попранную свободу или честь, — отвечал Гирин под одобрительные кивки Солтамурада.

— То есть вроде вас самого? — гулко расхохотался Андреев.

— Нет, аналогия здесь не годится, — серьезно ответил Гирин. — Если бы вы знали, сколько в биологии псевдонаучных «теорий», ложных гипотез, выдуманных шарлатанами и параноиками, иногда с блестящими способностями, тогда вы не судили бы строго людей, воздвигающих барьеры и фильтры в этих отраслях биологии

и медицины. На Западе опубликованы тысячи книг с бредовыми теориями, завоевавшими среди невежественных людей миллионы последователей, фанатиков — иначе их трудно назвать. Даже когда наука устраивает очередной разгром какой-либо лженаучной школы, последователи продолжают держаться ее еще много лет. Непросто все это. Слишком сильна у людей жажда чуда, тяга к вере в какого-нибудь пророка. Теперь, когда все убедились в могуществе науки, пророки стали возникать на ее почве, а не на религиозной, как раньше.

— И вы не хотите стать таким пророком? — спросил Селезнев.

— Разумеется. Это было бы крахом всего дела моей жизни!

— Что ж, отчасти вы правы! — согласился Андреев. — Мы еще не научились как следует управлять наукой. Она поднимается валом, но несет много мусора. Да и внутри настоящей науки тоже накопилось всякой лжи.

— Как же совмещается наука и ложь? Тогда это не наука! — возразил аспирант-кристаллограф.

— Нет, наука, но... так сказать, низшего уровня, принимаемая за высший. У нас в геологии пошло много таких, например, работ. Молодой и честолюбивый начинающий исследователь, попав в какой-нибудь новый район, делает там наблюдение, противоречащее, скажем, моим выводам. Немедля публикуется статья, где он пишет, что поскольку его наблюдение противоречит Андрееву, то все заключения Андреева о том и том-то неверны. Это подхватывается, цитируется, и никому из торопыг невдомек, что андреевские выводы сделаны на материале несравненно более широком. Если уж меня опровергать, то только на основании такого же, если не большего, числа наблюдений. А то мало толку для науки. Куда как полезнее просто опубликовать свое маленькое наблюдение и честно сказать, что случай, пока единичный, противоречит схеме Андреева, но надо накопить еще много подобного материала.

— Хочется стать поскорее большим ученым, — рассмеялся аспирант. — По-моему, еще хуже, когда выдумывают свою схему и начинают подгонять под нее факты, искажая, обманывая и передергивая. Своих научных противников они всячески шельмуют, обливают грязью, обвиняют в тупоумии и подлогах...

— А знают ли уважаемые граждане, молодые и постарше, — вдруг поднялась со своего места Рита, — что сегодня нашему высокочтимому мастеру пяти видов спорта Симе Металиной исполняется ...надцать лет, следовательно — день рождения?

— Ого! Сколько, сколько? — послышались веселые возгласы.

— Я же сказала ...надцать. Так же, как и всем женщинам после девят... надцати лет. Сима, милая, я знаю, как мне достанется, но я не смогла устоять перед искушением сделать тебе сюрприз. Мы его давно готовили!

— Кто мы? — спросил Андреев.

— Ну, скажем, ученицы Симы и, скажем, их мальчики, потому что без мужской техники, увы, не обойтись.

В длинной и узкой, неудобной комнате Андреева уже хлопотали двое молодых людей из Ритиного «отряда». Один налаживал узкопленочный кинопроектор, а другой в позе часового стоял у раскрытого и выключенного магнитофона.

— Это, может быть, и сюрприз, но не вижу подарка! — воскликнул Андреев.

— Подарок — здесь! — Рита коснулась проектора. — Да успокойся же, папа, сейчас все объяснится. Прошу занимать места. Тушите свет! Геннадий, действуй!

Под легкий стрекот аппарата на дальней стене комнаты пошли кадры выступлений Симы, заснятые любителями или добытые из кинохроники. Началось с художественной гимнастики. Она уступила место фигурному катанию. Сима исполнила ритмический танец на льду под веселую восточную мелодию «Абдуллы», и комната наполнилась постукиванием ног зрителей, захваченных темпом и ритмом. Блеск льда в свете прожекторов внезапно сменился сияньем голубоватой воды, колыхавшейся под солнцем у подножия белой вышки. Сима вышла на конец упругой доски, нависшей высоко над водой, подпрыгнула, полетела вниз и, сделав два оборота, без всплеска ушла под воду.

И опять загорелись искусственные светильники под потолком громадного гимнастического зала. Сима была заснята на особом снаряде, вроде сближенных параллельных брусьев. Она легла грудью поверх брусьев. Медленно выгибаясь, Сима высоко подняла ноги, пригнула к ним голову и так же медленно, без видимого усилия, развела ноги «шпагатом». Левая нога пальцами коснулась конца

брусьев, а правая вытянулась далеко вперед над головой. Согнув спину еще сильнее, почти в кольцо, Сима подняла руки и обхватила ими щиколотку правой ноги. Зрители не удержались от аплодисментов. Как бы спугнутый ими, погас экран — короткий самодельный фильм кончился.

Едва зажгли свет, как все глаза, естественно, обратились на Симу, и щеки ее запылали.

— Доволен ли халиф подарком своего раба? — шутливо склонилась перед ней Рита.

— Если бы ты показала это у меня дома. Разве не свинство такое обнародование врасплох? Беззастенчивая реклама подруги!..

— Поверьте, Серафима Юрьевна, что вы не нуждаетесь в рекламе, — вмешался Андреев, — а фильм, право же, интересен. Следовательно, мы все получили большое удовольствие, за что спасибо вам и Ритке.

— И верно, от сердца спасибо! — пробрался к Симе и потряс ее руку Селезнев. — Никогда я не думал, что женская стать может так за душу трогать! До чего хороши могут быть бабенки... хм... женщины, девушки. Это я понял, еще когда Ирина переменилась, а ведь науки вашей прошла всего месяц.

— Ну, Ирина с природными способностями!

— Клянется, что жива не будет, если не приедет, когда заработает отпуск подольше.

— Верно, отец! — Ирина скользнула к Симе, обнимая ее за талию, и, несмотря на крепкое сложение и семисантиметровые «шпильки», гимнастка показалась совсем небольшой рядом с высокой, статной, как королева, сибирячкой.

— А теперь очередь за Иваном Родионовичем! — объявила Рита, пока гости рассаживались и передавали друг другу чашки.

— Ишь ты, Гирин им расскажи, Сима покажи! — с шутливой ревностью вскричал профессор. — А почему же приключения Андреева забыты? Надоели, что ли? Да и тебе, Иннокентий Ефимыч, есть о чем порассказать!

— Не то говоришь, Кириллыч, — серьезно возразил охотник, — мы с тобой, как бы это сказать... сами от себя. А Иван Родионыч объясняет, почему мы такие, а не этакие и как стать лучше. Я вон до скольких лет дожил, а не подозревал, что может быть такая наука и так уже много знают о человеке. Как же может быть не интересно?

Гирин поднялся, прошелся вдоль стены.

— Мы привыкли к меняющейся и совершенствующейся технике. Пожалуй, нам показалось бы тоскливо без ежегодных научных открытий, поражающих наше воображение.

Нарастание открытий, темпов развития науки, а за ней и техники идет, как сказал бы инженер, по экспоненциальной кривой. Мне, человеку образного, а не абстрактного мышления, развитие нашей научно-технической цивилизации представляется валом, вздымающимся над нашими головами на гигантскую, почти зловещую высоту. Зловещую — это, пожалуй, сильно сказано, но передает опасение, что психика человека не подготовлена к таким темпам и мы еще ничего не сделали для этой подготовки.

Наши представления о человеке будущего исходят из категорий прошлого, но люди настоящего — хотим мы этого или не хотим, — они совсем другие. Взлет науки требует все больше и больше психологических сил.

Еще больше их понадобится для выполнения колоссальной задачи перестройки людей и экономики в создании коммунистического общества. Но растут ли эти силы, воспитываются ли нужными темпами в человеке? Что сделано, чтобы создать всеобщее понимание законов психической жизни человека? Боюсь, что мы серьезно еще не думали об этом! Получается разрыв между подготовкой и неумолимыми требованиями эпохи, жизни, нашей передовой роли в авангарде человечества.

Смотрите правде в глаза: неизбежная в наше время концентрация населения в больших городах, особенно в капиталистических странах, ухудшает индивидуальное здоровье и физическую крепость, хотя успехи медицины обусловливают большую продолжительность жизни и меньшую смертность от эпидемических заболеваний. Меньшая физическая крепость и повышающаяся нервная напряженность жизни ослабляют психическую уравновешенность человека.

Получается множество психологических сдвигов, в большинстве своем малозаметных и безобидных, но иногда оборачивающихся вредными для общества последствиями. Интересно, что в странах с высоким уровнем жизни обычно эти психологические сдвиги развиты сильнее. Прежде всего пьянство и наркомания, как попытки дать отдых перегруженной нервной системе, уйти от давления

условий жизни, понизить уровень восприятия мира до тупости животного. Затем дикие взрывы хулиганства в результате ослабления тормозящих центров мозга и прежде всего самодисциплины. И, наконец, то, что на Западе зовется эскапизмом — стремлением уйти куда попало от жизни непосильной и тревожной. Кто спасается коллекционерством пустяков, вроде марок, спичечных коробков или пригласительных билетов, кто собирает джазовые пластинки, упиваясь шумной ритмикой. В последней есть особый смысл. С незапамятной древности известно, что даже простые барабаны буквально гипнотизируют человека.

Более тонкий вид эскапизма — мечта о других мирах, с прекрасными принцессами, ожидающими отважных землян в садах немыслимой красоты. Отсюда громадный успех фантастических произведений о космосе...

— Как, вы против устремления в космос? — выскочила Рита и укрылась за плечом Ирины.

— Какой же интеллигентный человек может быть против великолепной мечты человечества? — спокойно возразил Гирин. — Но совершенно необходимо, чтобы эта мечта не вырождалась в стремление убежать с Земли, где человек якобы оказался не в силах устроить жизнь. Уйти на поиски лучших миров, высоких цивилизаций или же на грабеж их, чтобы разбогатевшим пиратом вернуться на Землю, как это слишком часто изображается в американской фантастической литературе. Есть только один настоящий путь в космос — от избытка сил, с устроенной планеты на поиски братьев по разуму и культуре. А для этого человек должен обеими ногами крепко стоять на Земле, переделывая ее радостным трудом и становясь все богаче и крепче духовно. Чтобы быть способным к титаническим усилиям, какие потребуются для реального покорения межзвездных пространств. Все это возможно лишь при высших формах общества — социализме и коммунизме. Но ведь высшие формы общества могут быть созданы лишь воспитанными и дисциплинированными, высокосознательными людьми — такова неизбежная диалектическая взаимозависимость, неустанно подчеркивавшаяся Лениным.

Время идет, и качество человека как интегральной единицы общества становится настолько важным для коммунистического завтра, что уже теперь следует считать воспитание, образованность, психологическую подго-

товку людей не чем-то надстроечным, как раньше, а базисным элементом производительных сил. В самом деле, взаимосвязанность совместных действий людей в обществе все увеличивается и усложняется, делается все ответственнее. Получается длиннейшая цепь, и если отдельные звенья в ней будут слабыми, негодными, то частые разрывы цепи сведут на нет усилия более стойких элементов. Строжайшая внимательность и ответственность при управлении сложными и опасными машинами, изготовлении чудесных лекарств и химических соединений, ведение тончайших операций с очень точным режимом и допусками, наконец, обращение с убийственными видами вооружения — везде требуется величайшая внимательность и ответственность, основывающаяся на здоровой психике и телесной крепости. Но в отличие от тела человека психика, не воспитанная или не развитая с детства, легко поддается невзгодам существования или вообще вредным влияниям, потому что наше сознание формируется условиями жизни не в меньшей степени, чем наследственностью, и поэтому-то психика и более хрупка.

Неумелое воспитание жестоко травмирует психику. Жестокие и деспотичные родители, скверное окружение порождают людей с параноидальным уклоном — подозрительных, агрессивных и жестоких. Такие же люди в массе появляются в деспотических условиях государственного управления, с террором и несправедливостью.

Очень тонкая это вещь — психика! Можно десять лет знать человека и не подозревать, что вы имеете дело с шизофреником или параноиком, как вдруг какое-нибудь потрясение, легко переносимое абсолютно здоровым человеком, превратит старого знакомого в маньяка или убийцу, тем более опасного, что ему вполне может быть доверена важная деятельность. Вот почему развитие психологии и психиатрии, наблюдение и изучение психофизиологии человека — важнейшее дело для будущего, я не устану до своего конца твердить об этом. Пора взяться по-серьезному за это дело. Пора, например, куда более тщательно отделять в школах детей с дефектами психики или с испорченной негодным воспитанием психикой от совершенно здоровых, нормальных детей. В ряде профессий... Впрочем, не буду перечислять, слишком много накопилось давно необходимых мероприятий.

Гирин прошелся несколько раз вдоль стола.

— Не позволяйте себе вообразить, что мир катится

в пропасть безумия. Все эти проповеди врожденного зла и усиливающейся ненормальности, извращений и садизма, якобы свойственных человеку и без конца пережевываемых западным искусством нового времени, основаны на глубоком непонимании биологических законов, на невежестве, недалеко ушедшем от средневековых религиозных изуверов. На самом деле, если вы сталкиваетесь с необъяснимой злобой, садистическим желанием мучить, унизить, навредить — знайте, что перед вами почти наверняка психический дефект и что этого человека надо срочно и непреклонно переместить в такую сферу деятельности, где он не мог бы развивать свои вредные наклонности.

Будьте совершенно спокойны — доброе, гуманистическое в человеке непобедимо и неизбежно, потому что оно покоится на фундаменте родительской заботы о потомстве. Только крепчайшими потребностями в доброте, жалости, помощи можно было изменить психику темного зверя, чтобы заставить его охранять и воспитывать своего детеныша в течение многих лет, полных трудов и опасностей, какие требует дитя человеческое прежде, чем станет полноценным членом стада, не то что общества. И также очень древни социальные инстинкты: альтруизм, взаимопомощь, дружба и забота. Естественный отбор действовал так, что выживали наиболее дружные семьи, потом роды, потом племена.

Известный популяризатор биологии Жан Ростан в своей книге «Сущность человека» таким образом выразил взгляд генетика на моральную структуру человеческой психики: «зло доминантно, а добро рецессивно». Иными словами, в наследственности человека прежде всего будут возникать злые чувства, а добрые — на втором плане, со склонностью к исчезновению вообще. Нетрудно видеть, что это не генетика, а перенесение тех же фрейдистских представлений в придуманную схему генов. Действительно, основные мотивы самосохранения с их эгоизмом, жестокостью и жадностью доминировали бы в человеке и, вероятно, уже уничтожили бы человечество полностью, если бы не сотни тысячелетий, когда полулюди уже жили дружным коллективом: все за одного, один за всех. За это время в психическую наследственность глубоко внедрились элементы взаимопомощи, родительской любви, жалости и самопожертвования.

Так же миллионы веков вырабатывались наследствен-

ные механизмы человека, общий фонд которых содержит океан здоровья и силы. Вот почему, едва лишь улучшаются общие условия жизни, так сразу же люди становятся рослыми и красивыми силачами, а доброта, любовь к прекрасному и справедливость проламываются через тысячелетия угнетения, жестокости и лжи.

— Ну и молодец! — неожиданно прогудел Андреев.

— При чем тут я? Я рассказываю вам о простых вещах, но они были забыты — намеренно или случайно, — пусть разбираются в этом будущие исследователи. Боюсь злоупотребить вашим вниманием, но мне надо еще кое-что сказать вам. Еще несколько минут.

Сомнение в хороших качествах человека породило неверие в его способности и силы, а неверие это привело к тягостному пессимизму, опасению, что человек не выдержит бешеного темпа цивилизации и сорвется в пропасть. И опять в основе — незнание биологии и психофизиологии, невежество в истории развития животных и становления мыслящего существа. Чем больше мы познаем всю величайшую сложность нашего организма, тем яснее громаднейшие резервы и самые неожиданные возможности, в нем заложенные. Даже если бы мы не достигли современных высот биологии, можно было почерпнуть эту уверенность просто из истории и наблюдений в современном мире. Надо было только отрешиться от нелепого предрассудка, худшего, чем суеверия, мнимо принимаемого за научный скепсис, а на деле являющегося тем же невежеством.

С усложнением жизни и общества простые и ясные цели прошлого для отдельного человека все более отдаляются и растворяются в этой сложности. Вот почему современным людям уже просто нельзя быть необразованными. Теряется связь явлений и необходимых действий человека как члена общества.

Мы попросту отвергли известные возможности индийских йогов из страха, что они могут быть сочтены сверхъестественными. Тем самым мы отказались от научного объяснения этих фактов, предоставив их истолкование верующим в чудеса идеалистам. На самом деле есть реальные возможности для человека настолько замедлить биение своего сердца, что он окажется в состоянии пробыть долго под землей с минимумом дыхания. Один мой товарищ, офицер Советской Армии, обладал такой врожденной способностью. Он замедлял при мне удары серд-

ца до двадцати в минуту и говорил, что мог бы совсем остановить сердце, но боится потерять сознание и умереть. Я объяснил ему, что некоторые люди в германских концлагерях, доведенные до отчаяния пытками, постигали искусство замедления сердца, заставляя себя безболезненно и быстро умирать.

Известно, что тибетские монахи подолгу стоят голыми в морозные ночи, притом смачивая себя еще водой. Индийские йоги, наоборот, спасаются от жары, внушая себе виденья прохладных горных рек и покрытых снегом вершин Гималаев.

Известно, что люди микенской и критской эпох ходили в очень легких одеждах, а их женщины заслужили прозвище «батилколпос» (глубокогрудые) по одежде с таким вырезом спереди, который оставлял обнаженными обе груди. Спартанцам вообще было запрещено до старости ходить в теплой одежде, а только в льняной зимой и летом. Женщины и девушки ходили в хитонах, не сшитых по бокам, почему и прозывались у афинян «файномерес» — показывающими бедра. Ходить с обнаженными боками в не слишком-то мягкую зиму Греции — это была такая серьезная закалка, что спартанки действительно не боялись холода, а их густые волосы вошли в поговорку. Примеров благотворного влияния суровой закалки известно много, но в последнее время мы как-то забыли про них, так же как и о том, что человеку вообще свойственна гораздо большая физическая сила и выносливость, чем та, какую мы сейчас привыкли считать нормой.

Дервиши секты «Рифа-и» в Каире, последователи «святого» Сади, устраивают иногда представление, именуемое «досех».

Глава секты проезжает на колеснице по распростертым телам своих дервишей, не причиняя им вреда. Совершенно очевидно, что здесь нет никакого чуда. Особая гимнастика и дыхательные упражнения так развивают лестничные мышцы ребер, легкие и брюшной пресс этих людей, что они без всякого вреда могут выдерживать вес, непостижимый для обычного, тем более ослабленного городской цивилизацией европейца. Я сам по системе Мюллера развивал специально брюшные мышцы, и, — Гирин оглядел комнату, — здесь нет ничего такого, что я не смог бы выдержать на своем животе. А те греческие юноши, которые послужили моделями для известных

статуй Лисиппа и Поликлета «Апоксиомен» и «Дорифор», могли бы спокойно лечь под трехтонный автомобиль, если не под пятитонку.

Когда мышцы хорошо развиты, а кожа крепка и упруга от физических упражнений на открытом воздухе и купаний, то человеку доступны и другие «чудеса», вроде лежания на гвоздях и ножах. Он может кататься по битым стеклам так, что они хрустят и ломаются, а кожа остается неповрежденной.

Нормальная крепость зубов человека сейчас может показаться небылицей, но я сам видел в деревне, как сминали зубами толстые медные монеты или носили в зубах швейные машины за тонкий и гладкий вертикальный шпенек для катушки, так, что на крепкой стали оставались вмятины. Нечего и говорить, что не всякая лошадь сравняется в выносливости с человеком. Леонид Кириллович — он перед вами — в молодые годы для посрамления своих пытиков-коллекторов раз сделал немного больше чем за сутки пешком сто двадцать километров по степи. Я встречал людей, как, без сомнения, и вы, геологи, для которых пройти километров девяносто в сутки не составляло ничего сверхъестественного, хотя путь пролегал по горным таежным тропам. Давно известно, что воины зулусов в Африке соперничали с лучшими лошадьми в беге на дальние расстояния.

В Японии самураи издавна развивали особую технику борьбы без оружия. Ребром ладони они ломают твердые доски или позвоночник человека и даже могут снести ему череп.

Я уже не говорю о «чудесах», всем нам известных, просто потому, что мы к ним привыкли и они вовсе не кажутся нам сверхъестественными.

Но разве цирковые артисты не показывают нам поразительнейшие примеры равновесия, точности расчета, феноменального владения всеми мышцами тела? Разве только что проделанное перед нами на экране Серафимой Юрьевной не является таким же чудом без чуда, великолепным совершенством человеческого тела?

Помню, в тридцатых годах мы все были поражены подвигом американского зоолога Биба, опустившегося в батисфере на глубину полумили. Жутко было читать подробности спуска в черную бездну. Как трещал и скрипел стальной трос под тяжестью массивного шара, как угрожала смертью малейшая неплотность кварцевых

окон, как за этими окнами виделся устрашающий, недоступный человеку мир глубин океана!

А теперь становится реальностью спуск человека без всякой батисферы и даже без скафандра на такую же и еще большую глубину — с аквалангом! Надо только подобрать подходящую смесь газов вместо азота воздуха. Дальше — больше. Все чаще у современных детей и молодых людей появляется так называемое шестое чувство — возможность различать цвета и читать пальцами, даже не прикасаясь к написанному или нарисованному. Видите, возможности человека все более расширяются, чем больше он познает самого себя!

Известно ли вам, что тигр или лев развивают в момент прыжка до пятидесяти лошадиных сил, перенося крупную добычу через высокую загородку? Между тем размеры мускулов этих кошек вовсе не так уж велики, и секрет их огромной силы в той нервно-гормональной регулировке, которая позволяет им брать от мышц полную отдачу. Человек обладает не менее могучей нервной системой и тоже может брать от своего тела очень высокую отдачу, но этому надо учиться тренировкой и упражнениями. Мы, жители города, боимся простой собаки, в то время как наш дикий предок мог справиться в одиночку с несколькими большими псами. Среди африканских охотников известны многие случаи единоборства с леопардами, когда могучие представители человеческого рода, подобно Мцыри, одолевали страшных кошек голыми руками. Чарльз Коттэр, один из знаменитых охотников Восточной Африки, справился с двумя одновременно напавшими на него леопардами, придушил обоих и, перевязав раны, продолжал охоту. А в то же время в Индии леопарды-людоеды уничтожали людей сотнями, наводя ужас на целые округа, потому что люди покорно склонялись перед ними без борьбы.

Итак, огромны, почти невероятны возможности человека как в духовном, так и в физическом отношении, и нет никаких оснований печалиться о его будущем, если мы сумеем сохранить и развить равновесие нашей психики и телесной силы!

Гирин умолк, опустился на стул и протянул свой стакан Рите, разливавшей чай.

— Иван Родионович, — первой заговорила Сима, — мне пришлось быть на вашей лекции художникам, когда вы так ясно показали, что чувство и потребность пре-

красного заложены в нас как необходимость. Потом с помощью Иннокентия Ефимыча вы убедили других в той бездне памяти, которая также таится в глубинах нашей психики...

— Вернее, физиологии, — поправил ее Гирин, — потому что она — из прошлого, а наша психика — это результат физиологии во взаимодействии с настоящим.

— Я знаю вашу строгость ученого, — улыбнулась Сима, — но вы уж должны простить мне неточность выражений. Продолжаю. Сегодня вы рассказали нам о значении психологии... психофизиологии для обеспечения будущего. А вот если суммировать все это? Сделайте это для нас, чтобы не получилось неточностей.

— Понял. Хорошо, попробую! Из всего предыдущего вам должно быть ясно, что физическое совершенство, здоровье и сила и есть красота. Всякое развитие в этом направлении, если оно не узко, а многосторонне, неминуемо ведет к украшению человека. Не надо опасаться трудных условий жизни — если они не чрезмерны, с достаточным питанием и здоровой обстановкой, то они служат выковыванию красивого и здорового человека.

Не случайно в последнее время участились «находки» людей поразительной красоты, живущих в природе, в суровых условиях гор и джунглей, причем красота эта — удел не единиц, а массовая. Таковы, например, даяки Индонезии. Недавно сделано еще открытие: французские геологи в Таиланде наткнулись в горах Чантабури на древнее племя, изолированно жившее в горных джунглях. По сообщению газет, любая женщина этого племени могла бы победить на конкурсе красавиц.

Можно сказать, что на грани между суровыми и благоприятными условиями вырабатывается физическое совершенство.

Подобно этому, совершенство психическое находится на грани между противоположными действиями и побуждениями — это психическая уравновешенность.

Нормальная, «благородная» психика всегда будет избирать и чувствовать тот верный путь, необходимый в обществе высшего типа — коммунистическом, которое не может состоять ни из фанатиков, ни из обывателей. Работать, но так, чтобы не забывать о всех других своих обязанностях как гражданина, воспитателя детей и самого себя. Общество очень сложный организм, и при коммунизме оно будет состоять из всесторонне развитых,

многогранных людей — отсюда обязательная многосторонность психики.

Без разносторонних интересов человек быстро сделается равнодушным ко всему эгоистом. Это страшное равнодушие было известно еще в древнем Риме под греческим названием «ацедия». Оно распространяется сейчас в разных странах и очень вредно для любого общества, что же говорить о нашем!

Хозяин дома улыбнулся.

— Следовательно, дисциплина и дисциплина?

— Ни в коем случае! Нельзя полностью кондиционировать, приспособлять человека к окружающим условиям, потому что эти условия непрерывно меняются.

«Человек, подавляющий себя без познания, есть такое же зло, как если бы он предался злому», — так говорит индийская мораль. Замечу, что это совершенно точно отвечает законам психофизиологии.

«Неисполненные желания разрушают изнутри» — еще одна древняя формула.

Конформизм, по существу, задержка или остановка развития. Внутренняя диалектическая борьба — это основа всякого устройства в жизни, всякого процесса и всякой сложной структуры. Без нее получается просто количественный прирост наподобие раковой опухоли из однородных невзаимодействующих клеток, вместо организованного общества — толпа.

Толпой управлять гораздо легче, но ведь развитие идет, а она стоит на месте как застойная общественная формация. Все больше растет разрыв между нею и передовыми членами общества, требованиями прогресса. Вот что такое чрезмерная дисциплина. Нужна величайшая осторожность и мудрость в ее применении. Надо всячески избегать непрерывного давления на психику, необходимо «отпускать» человека, как отпускают сталь, чтобы не сделать ее слишком хрупкой. Чуть не забыл вам сказать — так надо «отпускать» женщин, постоянное психическое давление забот на которых ведет к истеричности и поступкам низкого морального уровня.

— Опять нападают на женщин! — возмутилась Рита. — Не ожидала от вас, Иван Родионович!

— Ты глупа, дочь! — спокойно сказала Екатерина Алексеевна. — Это все верно. Женщина никуда от дома не денется, она и чтец и жнец, у ней нет психологического отдыха!

— Но теперь мы не менее образованны, чем мужчины! — крикнула Рита.

— И, к сожалению, невоспитанны. Эта беда с воспитанием началась в девятнадцатом веке, с развитием капитализма. Воспитание мужчин стали заменять образованием, которое давало большие преимущества в жизни. Воспитание сошло на нет, оставшись лишь по традиции в аристократических семьях. Женщинам везде давалось больше воспитания, чем образования. Это ослабило их в жизненной борьбе, но в то же время спасло род человеческий от полного одичания, — и Екатерина Алексеевна победоносно оглянулась.

— Частично вы правы, — согласился Гирин, — люди все больше освобождаются от бесконечного и монотонного труда и в то же время не подумали, чем заполнить досуг. Психологический провал современной цивилизации — бесцельная, ничем не заполненная праздность. А заполнить ее надо воспитанием детей и самовоспитанием. Большая проблема жизни — держать человека в алертном состоянии, собранным физически и духовно. Для этого нужно, чтобы у него была цель, большая, хорошая.

— Кому какая цель, — засмеялась Сима, по обыкновению закидывая назад голову. — По-моему, у мужской молодежи своеобразный эскапизм, как это вы называете, Иван Родионович, в грубость, невежливость, нарочитую пошлость языка.

— Не потому ли, что долгое время рабочему классу делалась скидка на невоспитанность, — прогудел Андреев, — вот они и маскируются под старину?

— Мне кажется, это просто лень, — возразил Гирин. — Мы разучились воспитывать. Заменили разнообразие обучения многочасовым сидением в школе и над уроками и думаем, что все в порядке. Нет, товарищи, чтобы хорошо воспитать человека, надо заставлять его работать по четырнадцати часов в сутки, но уж непременно над разными вещами. Школьные занятия сменять катком, танцами, ездой на автомобиле, велосипеде, гимнастикой, музыкой. В клещах работы и тренировки — тогда получится настоящий продукт, а не брак! Но чтобы клещи-то были разнообразны! Пора понять глубочайшую ошибку, совершаемую всеми родителями во всем мире, когда они прилагают все усилия, жертвуют собой, надрываясь, чтобы обеспечить своим детям спокойную

жизнь и материальное обеспечение. Вместо того чтобы закалить их, научить жизни, а не заслонять от нее! Умные люди понимают, что никакие дачи, мебели, машины и капиталы ничего не дают, если нет человека, если он не воспитан стойким, любознательным, активным деятелем жизни, любви, знания, если он не идет по жизни сам, создает ее сам, не существуя ни за чей счет.

— Пора установить судебную ответственность родителей за брак в воспитании! — крикнул густоволосый молодой человек.

— Может, не так строго? — улыбнулся Гирин. — Будьте диалектиком и знайте, что нельзя требовать от жизни абсолютного приближения к идеалу и цели. Все лишь относительно, и потому не безразлична, так сказать, цена достижения. И уж прямая дикость — устремление к цели любыми средствами. Жизнь неизбежно перевернет страницу, и идеал изменится. Закон так трудно сделать справедливым на лезвии бритвы, что для этого нужны величайшие усилия лучших умов. А все потому, что в ходе времени плохое часто обертывается хорошим, а хорошее становится плохим. Это диалектика жизни как процесса, перед которым оказалась бессильной религия с ее попытками установить вечные истины и вечные требования к человеку.

— Сейчас вообще принято обвинять друг друга, искать виноватых, грозить карами, — задумчиво сказала Сима. — Мы все время осуждаем. А по-моему, куда интереснее стараться понять, а не осудить... понять, что во всяком человеке есть слабости, гармонирующие с его сильными сторонами.

Екатерина Алексеевна молча обняла Симу за плечи, погладила по голове.

— Я рассужу по-солдатски, — вмешался Селезнев, — солдату с передовой идти некуда, пока воюет. Или в могилу, или в госпиталь. Настоящему человеку в жизни некуда деваться, как стоять на передовой.

— Ай да отец! — восхищенно воскликнула Ирина.

Но Гирин с сомнением покачал головой.

— Весь мир стоит на том, что идущие впереди, храбрые и сильные бойцы за свои труды имеют и славу, и почет, и большую долю, — Гирин налег на последние слова, — в распределении благ. Но коммунисты должны идти на самоотказ от этих лишних благ. И это еще полдела на пути к коммунизму. Другие полдела и более

трудные — отсутствие иждивенчества слабых. Они должны совершать свою меньшую долю работы, но с не меньшим героизмом и самоотречением, чем сильные. В этом второе плечо диалектического равновесия в коммунистическом обществе.

И еще добавлю специально для вас, девушки и молодые женщины. Пусть поймет каждая женщина-мать, что она и ее ребенок не отдельные искорки, летящие во тьму и угасающие без следа, но звенья в бесконечной цепи, протянутой из прошлого в необозримое будущее. Крепость цепи зависит от каждого звена. А это звено нуждается в охране психики с детского возраста. Вот и все, что я могу сказать вам в заключение, и я опять виноват — вечно увлекаюсь.

Воцарившееся молчание было прервано аспирантом-кристаллографом:

— Уже поздно, и Рита подает мне знакп. Ей хочется танцевать, и мне тоже. Но все-таки позвольте очень важный вопрос: правильно ли я понял, что ваши уравновешенные люди с благородной психикой — это средние люди, не тупицы, но и не гении. А как же гении в науке и в искусстве? Не будут ли ваши психически уравновешенные и физически совершенные люди просто безыменной толпой?

— Ни в коем случае! Если соберутся люди с многосторонним развитием и высокой общественной сознательностью — я бы хотел быть в такой толпе! Что же касается гениев, то если понимать под этим словом людей, намного превосходящих среднего человека своими способностями, они двоякого характера. Те, которые в силу исключительного запаса физических и психических сил обладают выдающейся работоспособностью и успевают сделать гораздо больше других, средних людей, так же хорошо уравновешены психически. Это и есть настоящие люди будущего. Но есть и другой тип гениев, у которых односторонне развита какая-либо одна способность в ущерб другим. Вследствие особой концентрации усилий, фанатической одержимости эти люди в чем-то одном намного опережают среднего человека, но психика их неуравновешенна, очень часто параноидальна. Такие гении, с одной стороны, полезные члены общества, с другой — трудные в общежитии и нередко опасные. Но довольно, мы с вами забираемся уже в другую область. Как метко выразился Спенсер, наше знание похоже на шар: чем

больше он становится, тем больше у него точек соприкосновения с неизвестным. Всякое обсуждение тоже: чем детальнее разбирать вопрос, тем больше возникает побочных проблем. А потому стоит ли слишком увлекаться дискуссиями и жертвовать для них возможностью танцевать с такими превосходными танцорками, как Маргарита Леонидовна и Серафима Юрьевна? Или с сибирской королевой?..

Селезневы уехали в воскресенье, а в понедельник Андреев вернулся домой раньше обычного, сразу прошел в кабинет и повалился на диван.

Едва Екатерина Алексеевна услышала громкое исполнение стихотворения «Четыре» известного геолога Драверта, положенного Андреевым на свою собственную мелодию, как поняла, что муж получил очередной «пинок судьбы», как он называл крупные неприятности.

Я встретил четвертую. Россыпь хрустела,
Брусника меж кедров цвела.
Она ничего от меня не хотела,
Но самой желанной была.

Она немедленно начала испытанное женское лечение: приготовила его любимые киевские котлеты, достала острый сыр и молдавский коньяк. Профессор выпил, уселся на диван и бесстыдно закурил на глазах у жены.

— Что случилось, Леонид? — спросила она.

— Да ничего особенного. Шел наискосок через двор, где сейчас стройка около нашего института. Смотрю, стоит старая трехтонка, ЗИС, такая же, на каких я пробивался через монгольскую пустыню или корежился по таежным просекам. Стоит брошенная, с кабиной, заколоченной фанерой, упершись радиатором в забор. Конечный тупик ее службы.

— Так, а дальше?

— Разве не ясно, что и я тоже скоро вот так же упрусь носом в забор?

Екатерина Алексеевна внимательно вгляделась в мужа, сощурилась и присела рядом.

— Выкладывай, Леонид!

И Андреев рассказал жене о том, что только что был в КГБ. На его имя была прислана толстая книга из Западной Германии с совершенно ему незвестным обратным адресом. В слегка откленном переплете книги он нашел шифровальный код, адрес явки и уведомительное

письмо, что «согласно договоренности наш представитель доставит вам пятнадцать тысяч долларов в обмен на обещанную вами информацию».

Следователь рассмотрел книгу, «обличительные» документы и сказал:

— Успокойтесь и поверьте моему опыту. Те, кто может платить такие деньги, умеют лучше прятать шифровки. Следовательно, тут возникает мысль о провокации. Вы, кажется, уже обращались к нам по поводу визита анкарского археолога Дерагази?

— Да. Но каков подлец!

— Видимо, это только начало, как бы ни было прислано чего-нибудь похуже. Мы, конечно, постараемся оградить вас, если вы дадите разрешение осмотреть ваши бандероли, но ведь можно и пропустить что-нибудь с виду безобидное.

— А что может быть похуже?

— Ну, например, книга или письмо с отравой, рукопись, скрепленная так, что вы обязательно уколетесь, разнимая листки. Образцы камней или кристаллов, в которые вделан сильный заряд радиоактивного вещества или испаряющегося на воздухе яда... Да мало ли что сможет придумать дьявольская изобретательность! А что она у них дьявольская, это вы можете мне поверить. Поэтому будьте очень осторожны! Не доверяйте даже присланному от давнишних ваших коллег, ведь воспользоваться их адресами ничего не стоит.

— Понимаю, большое спасибо! Но... есть еще один человек, и его, наверное, тоже надо предупредить.

— Вы имеете в виду доктора Гирина? Его не предупредить надо, а побить! Своим необдуманным экспериментом он спугнул Дерагази и лишил нас возможности его разоблачения.

— А может, Дерагази и не дал бы вам такой возможности?

— Не спорю, может быть. Но чего добился ваш Гирин? Ничего! Философская декларация, извлеченная им из археолога, что она стоит? Мало ли кому как хочется думать. А все из-за неверия в наши методы!

— Но как же все-таки с Гириным?

— Не беспокойтесь! Ваш самонадеянный доктор сказал, что он ничего не боится, потому что, видите ли, он приказал забыть о себе! Смешно думать, что Дерагази послушается.

На прощание следователь напомнил Андрееву, что они с нетерпением ждут от него или Ивернева соображений, что могло интересовать шайку Дерагази в материалах Ивернева-старшего.

Рассказав все это жене, Андреев вернулся к началу.

— Понимаешь, какая гадость! Пятнадцать тысяч! Вот мразь! И сумму-то покрупнее придумал, чтобы правдоподобнее было: клюнул, мол, старый дурак, не устоял... Теперь я понимаю, как чувствовали себя безвинно оклеветанные люди.

— Нет, не понимаешь, — возразила жена, — на тебя только сделали неудачную попытку набросить подозрение. Господам кажется, что у нас еще остались маньяки, вероятно искренне верившие, что стоит любого советского ученого выпустить за границу, как он сразу же с корабля или поезда побежит в английскую или американскую разведку. Вот я, давайте сто фунтов!

Профессор фыркнул, совсем как Рита, и махнул рукой, постепенно успокаиваясь. Рюмка коньяку и сигарета довершили дело. Еще через несколько минут Андреев громко распевал цыганский романс.

Внезапно он оборвал пение и задумался.

«Перерою все еще раз! Съезжу в Ленинград, к милейшей Евгении Сергеевне. Пусть покажет мне личный архив Максимилиана Федоровича. Все же у меня процент бестолковости должен бы быть поменьше, чем у Мстислава...»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МИЛОСТЬ БОГОВ

В наступившую жару москвичи толпами устремлялись за город. Не отставали и Сима с Гириным. Сергей уехал на лето на какие-то строительные работы и доверил любимому учителю свое бесценное сокровище — мотоцикл, обмененный на выигранный по лотерее холодильник плюс все сбережения сестры и гонорар Гирина за статью.

Гирин, бывший в юности мотоциклистом, вспомнил былое. Правда, при современном движении нельзя было позволять себе особой лихости, но машина давала возможность быстро достичь хороших купальных мест, не заваленных телами жаждущих солнца и воды.

Чаще всего они ездили к одной излучине Москвы-реки, где маленькая плотина подпирала воду, а отсутствие близкой дороги мешало скоплению купальщиков. Гирин проезжал коровьей тропинкой, лавируя между посинелых еловых пней и спускался по песчаному откосу прямо на желтую от цветов лужайку в ограде густого ивняка. Сима растягивалась на старых мостках, неизвестно зачем выведенных далеко в реку, и погружалась в задумчивость, следя за медленным колыханием кувшинок на слабом течении. Вода, отражая металлическое знойное небо, казалась маслянистой и, сдавленная крутыми берегами, темнела в глубине. Дно виднелось таинственным и недосягаемым. Гирин садился в конце мостков, поближе к ветхим, вбитым под берегом кольям и болтал ногами в прохладной чистой воде. Сима, загорелая, в лиловом купальнике, с видом ученой исследовательницы ловко выуживала толстые зеленые стебли с цветами. Гирин, не отрываясь, смотрел на нее со странной тревогой на душе. Потому что большая любовь — это всегда ответственность и забота, защита и опасение, думы о том, как

устроить и облегчить жизнь для самого дорогого в мире существа.

Они прятали в кустах машину и одежду и плыли вниз по течению, со смехом соскальзывая на животах по замшелому камню, подпиравшему размытый край плотинки. Ниже река сильно обмелела: там было едва по пояс. Сима и Гирин ухитрялись плыть по быстринке гуськом, с головами под водой, лишь изредка набирая воздуху. Потом они шли, мокрые и чуть продрогшие, по влажной береговой тропке, шлепая по теплым прозрачным лужам. Осевшая на дно глина, густая, как сливки, приятно продавливалась между пальцами босых ног, а сухой, пронизанный солнцем ветер быстро осушал и гладил согревавшуюся кожу.

Яркий день, выдавшийся с утра, после полудня резко изменился.

Низкие тучи наползли с юго-запада, и озябшие купальщики не смогли погреться на солнце. Гирин нашел затишное место под обрывом, собрал кое-какие сучки и разложил маленький костер.

— Боюсь, что кончается хорошая погода, — огорченно сказал Гирин. — А там кончится у вас отпуск.

— У меня еще много времени, — сказала Сима, — так много, что я не знаю, стоит ли мне сейчас использовать все. Особенно если вы не будете со мной.

— Я скоро уеду в Индию.

— Да, вы как-то упоминали об этом. Честно говоря, завидую. Когда-нибудь и я попаду в эту замечательную страну. Я ведь переписываюсь с индийскими преподавательницами гимнастики. Они считают, что в нашей школе художественной гимнастики много танцевальных элементов. Она очень подходит для Индии.

— Так почему бы вам не поехать теперь же?

— Это невозможно для простого смертного, как я, не приглашенного какими-либо организациями и не имеющего денег на туристскую поездку. Пока они у нас непомерно дороги!

— Сима, почему бы вам не поехать со мной — у меня все расходы оплачены индийским институтом... Я вовсе не шучу, — добавил Гирин на иронически недоверчивый взгляд Симы. — Вы знаете, что я не принадлежу к острякам, а сейчас речь идет о самом важном в моей жизни.

— Не понимаю!

— Поскольку мне суждено вроде д'Артаньяна свой век прожить в малых чинах, вы можете поехать со мной только в одном качестве — жены!

Сима вздрогнула, отступила на шаг, коротко вздохнула. В ее широко раскрывшихся глазах Гирин прочитал испуг, радость и что-то похожее на досаду или разочарование.

— Вас смутило мое предложение, — поторопился добавить он, — но ведь все к тому шло, и я...

Сима подалась к нему одним из своих неуловимых движений и положила кончики пальцев на губы Гирина.

Не поднимая глаз, Сима заговорила. Ее щеки запылали.

— Видите, я, должно быть, совсем не такая... как вам кажется. Наверное, я испорченная.

— Какая дьявольская чепуха! — с возмущением воскликнул Гирин.

— О нет! Вот вы не знаете. В первый момент от ваших слов огромная радость — и сразу огорчение. Почему так?

— Как?

— Ну, поймите же!

— Ах, вот оно что, — Гирин рассмеялся с невыразимым облегчением, нагнулся, схватил ее. Продолжая смеяться, он высоко подбросил ее, поймал и крепко прижал к груди.

Сима обняла его шею. И как тогда, в Никитском саду, она струной вытянулась на руках Гирина, целуя его. Прошло много времени, прежде чем он опустил Симу на землю.

— Хорошо, все хорошо! — воскликнула она, прижимаясь к нему.

И снова Гирин поднял ее, чтобы не отрываться от ее глаз, бездонных и огромных, тех самых пресловутых погибельных омутов, о каких мечтает с начала человеческого рода каждый добрый молодец.

— Видите теперь, что я глупая, видите, — зашептала, зажмуривая глаза, Сима, — мне надо было догадаться еще в Никитском саду, а я не поняла даже после того, как видела битву с Дерагази. Вы боялись своего... влияния, да, верно? Верно, Иван, мой милый? Ты милый, — громко повторила Сима, прислушиваясь к звучанию слов.

— Верно! — ответил Гирин, зарываясь лицом в ее растрепавшиеся волосы, и снова поцеловал ее так крепко, что Сима опять замерла, как коненковское изваяние.

Капли дождя упали на лицо Симы.

— Поехали! — Гирин шагнул к мотоциклу. — Иначе наш конь не вывезет по глине. Быть нам мокрыми!

— Быть! — с восторгом согласилась Сима, закидывая голову, чтобы отвести с лица запутанные ветром черные пряди.

Едва успели они выехать на шоссе, как темные облака нависли над головой. Гирин понесся наперегонки с ветром, пока шоссе было сухим, но все же не успел спастись от дождя. Уже перед самой Москвой ливень, шумный, яростный и теплый, обрушился на них, вымочил до нитки. Сощурив глаза и едва различая дорогу, Гирин был вынужден свернуть к краю шоссе и замедлить ход, а мокрая Сима, прижавшись щекой к его спине, пела весело, как бы дразня непогоду:

Жил я в новенькой деревне, не видел веселья,
Только видел я веселье в одно воскресенье.
По задворкам девица водицу носила,
Не воду носила — дорожку торила.

Плеск дождя, шумящие под колесами брызги создавали естественный аккомпанемент словам.

Коромысло тонко гнется, свежа вода льется,
То не свежа вода льется — девица смеется!
Сердце молодецкое бьется, бьется!..

Гирин осторожно миновал перекресток и въехал на Бородинский мост.

— Поедем прямо ко мне. Сушиться и пить чудодейственный зеленый чай!

— Перед люй-чаем не могу устоять!

Сима прикорнула на диване, закутавшись в пижаму Гирина. Гирин вошел, неся чайник. С Симой, уютно свернувшейся в клубок, его комната стала совсем иной. Таково было свойство Симы придавать окружающим предметам какую-то подчеркнуто особенную прелесть. Узкая, непримечательная речка с Симой на берегу делалась вдруг значительной, таинственной, наполнялась солнечной приветливостью.

Стоя у стола с чайником, он думал, глядя на Симу: «Стремление к таинственности и загадочности места, жилища или особенно человека, свойственное всем романтикам, вызвано ожиданием глубины, необыкновенности, разнообразия. Если же за первым впечатлением открывается нечто мелкое, как блюдце, то получается реакция разочарования, то есть устойчивое торможение, тем более сильное, чем сильнее были ожидания. А с Симой — чувство новизны и глубины всегда сопутствует ей. Возникает ли это из ее особенной сдержанности или миража в любящих глазах? Во всяком случае, теперь понятно, откуда у древних славян была вера в существование прекрасных волшебниц лесов и полей, называвшихся «девами жизни», позднее русалками, которые передавали человеку радость жизни и силу природы».

Вопросительный взгляд Симы прервал размышления Гирина.

— Я подумал о радости и силе, — пояснил он, — считающихся особым даром судьбы, милостью богов. А на самом деле они лежат в основе здоровой человеческой души, возникают в человеке. Следовательно, он сам дарит себя этими благами.

— Как же это суметь?

— Дело не в умении, а в способности на огромные душевные подъемы. Впрочем, может быть, и нет никакой такой особой способности, а все дело в обстоятельствах, отмыкающих запертую психическую силу.

— И у тебя бывали такие минуты?

— Бывали.

— И как?

— В такие минуты кажется, что стоишь на пороге неведомой страны, как будто перешагнув за черту привычной, знакомой жизни. Все физические и душевные силы необычайно напряжены и сосредоточены лишь на одном, а все остальное воспринимается приглушенно, как бы стороной, и в то же время очень остро и тонко. Появляется безразличие ко всему, кроме единственной цели. Нет, пожалуй, не безразличие, а скорее колдовское бесстрашие перед властью жизни, той, что сковывает человека, определяя его поступки.

Все призрачней и невесомей становишься, и наконец появляется чувство близости смерти. То ли волшебная страна, то ли смерть. Один шаг отделяет тебя от той или другой, и не знаешь, может, это одно и то же? Ка-

жется, что можешь умереть в любую последующую минуту, но это вовсе не страшно, наоборот, притягательно.

Многим такое ощущение может показаться странным, но если они вспомнят свои полудетские чувства первого прикосновения двух влюбленных...

— И не только любви! — воскликнула Сима. — Когда что-нибудь бывает особенно хорошо, кажется, что можно тут же умереть. И пусть, и не страшно!

— Ага, ты знаешь! Это чувство ясной и близкой смерти появляется в моменты наивысших душевных подъемов. Наше подсознательное предупреждает нас, что мы стоим на краю и перетянутая струна жизни вот-вот готова лопнуть. Интересно, что абсолютно отсутствует всякий страх смерти. Вместо него приходит чувство единения со всем миром, чистоты и прозрения. Ты читала прекрасную книгу австрийского геолога Тихи «Чо-Ойю, милость богов»?

— Нет, и по тебе вижу, что много потеряла.

— Много. Тихи написал правдивую повесть о своем восхождении с маленькой и легко снаряженной экспедицией на один из еще не покоренных гималайских гигантов, Чо-Ойю (Богиня бирюзы), высотой восемь тысяч двести метров. Только отчаянным порывом, с безмерным напряжением сил храбрые шерпы и австрийцы взяли вершину. Тихи понимал весь риск этого похода и то, что он закончился победой, счел подарком судьбы, «милостью богов». Вот что он пишет о дне взятия вершины.

Гирин мгновенно нашел на полке небольшую книгу с изображением шерпа-альпиниста на фоне снежных вершин и прочитал:

— «Все ниже уходили другие вершины, все шире открывалось синее небо Тибета... Мы достигли «зоны смерти» — высоты восьми тысяч метров. Этот термин не выдуман жадными до сенсаций журналистами, его ввели врачи, установившие, что на этой высоте в организме человека, если не применять кислорода, может остановиться обмен веществ, то есть наступит смерть. Процесс необратим...»

Они шли без кислорода, — заметил Гирин, поднимая глаза от книги. От Симы не укрылся их необычный блеск, выдававший волнение. — «Как ни труден каждый шаг на высоте, как ни задыхались мы, тем не менее испытывали самое большое и счастливое приключение. Возможно, причиной этого являлась чисто физическая близость

неба, сознание, что мы достигли границ нашего мира. Возможно, нехватка кислорода заставляла извилины мозга работать по-другому...

Я чувствовал себя одновременно богом и жалкой пылинкой. Небо, лед, скалы и я стали неделимым целым. Мне казалось, что я перешел через границу реального мира и достиг мира с другими законами. И я вспоминаю слова Уильяма Блека: «Если бы были открыты ворота абсолютной воспринимаемости, человеку все казалось бы так, как это есть, — бесконечностью». Здесь эти ворота широко раскрылись, и меня заполняло непередаваемое сверхчеловеческое счастье. Ничто не изменилось оттого, что я, когда мог ясно мыслить, был убежден, что должен умереть в этот день. Мы поднимаемся поздно, не сможем вернуться в лагерь и обязательно замерзнем. Эта мысль входила в мое счастливое настроение. Она не содержала в себе ничего угрожающего или героического и не заставляла меня спешить. Радость от будущего успеха, а теперь я был убежден, что мы достигнем вершины, уже не играла никакой роли. Вершина имела ту же ценность, как все окружающее и я сам, — она была просто частью целого.

Несмотря на убеждение, что день кончится нашей смертью, я более не чувствовал ответственности за идущих рядом друзей. Понятия переместились и уступили место не равнодушию, а другой оценке...

Вдруг подъем прекратился (Они шли без отдыха уже восемь часов! — с восхищением заметил Гирин), и над нами было только бесконечное синее небо. Как колокол, оно опускалось вокруг нас. Покорение вершины — большая радость, но близость неба — величественнее. Мало людей до нас было так близко к нему...» Без всяких машин, лишь с помощью ног! — заметил Гирин, закрыл книгу и протянул ее Симе. — Я прочитал большой отрывок, потому что здесь Тихи очень точно передает состояние величайшего напряжения всех физических и душевных сил, неизмеримой радости на пороге смерти.

— Не понимаю, почему это так, — задумчиво проговорила Сима.

— И я не знаю. Нет исчерпывающего объяснения. Хотя с точки зрения психофизиологии основа явления понятна. Человек как организм, биологическая машина приспособлен к тому, чтобы время от времени переносить громадные напряжения всех сил. На это рассчитана и

психика, и потому такие мгновения приносят ни с чем не сравнимую радость. Они неизбежно редки, потому что не могут быть долгими, да и обстановка, их вызывающая, всегда чрезвычайна и во многих случаях заканчивается смертью. Помнишь прекрасный рассказ Уэллса «Зеленая дверь» — туда нельзя заглядывать часто, потому что можно не вернуться!

Высочайшее напряжение всех сил всегда приводило к таким выдающимся достижениям, в чем бы они ни заключались, что они считались ниспосланными свыше, милостью богов. На деле же эти дары были по праву добыты человеком, сумевшим отдать всего себя для этого. Разве не прекрасно, что содеянное человеком кажется божественным и скрытые в нем силы настолько велики, что почитаются как милость богов?

— Мне кажется, что в бою должны быть такие состояния, когда уже нет ни страха, ни опасения за себя или товарищей и только радость битвы, — взволнованно сказала Сима.

— Конечно же! Разве подъем на Чо-Ойю не тот же бой? Добавлю: не только нет страха смерти, но может исчезнуть чувство боли. Знаменитые масаи Восточной Африки — «храбрейшие из храбрых», которые охотятся на львов со щитом и копьем, приходят в такой боевой экстаз, что совершенно не чувствуют ран. Когти и зубы льва наносят им жестокие ранения. Не раз охотники-европейцы тут же зашивали им раны, а воины, находясь еще в пылу сражения, с отвердевшими, точно каменными, телами, совершенно не замечали операций. Замечательно, что при таких психических состояниях заживление тоже проходит быстро. Мы только еще начинаем понимать важность психического воздействия на процессы выздоровления и вообще преодоления болезни — не так уж давно все это считалось чепухой. А, например, в Бирме даже для слонов применяют психологическое лечение.

— Не говори такое своим коллегам, иначе они сотрут тебя в порошок.

— Обдерут пальцы!

— А мне — можешь!

— Знатоки слонов уверяют, что по характеру, возрастным изменениям и отношению к болезни слон очень похож на человека, разве что несколько мужественнее в некоторых отношениях и слабее — в других. Бывает так, что слон заболевает чем-то неизвестным, что не поддается

обычным способам лечения и не требует операции. Слон устает бороться с болезнью, несколько раз тяжело вздыхает, стонет и ложится. Если его немедленно не поднять, то он уже более никогда не встанет. И тогда бирманские слоновые лекари решаются на крайнее средство — с гиком бросают в глаза слону страшно едкий перец. Нестерпимая боль приводит животное в ярость, оно поднимается и... выздоравливает.

Сима не выдержала и залилась смехом.

— Я представила себе, — виновато созналась девушка, — как ты приходишь к больному и после осмотра сыплешь ему перец в глаза. Воображаю!

— Перец не перец, — пробурчал Гирин, — но и человек не слон, можно будет найти другие способы.

— Скажем, револьвер и ужасающую брань! — прищурилась Сима.

Гирин проницательно посмотрел на нее.

— Оставь женские штучки, Сима. Скажи сразу — что плохо?

— Ничего не плохо, но... я не поеду с тобой и вообще — зачем я вам?

— Как ты можешь так шутить!

— Я отнюдь не шучу. Неужели ты... вы этого не видите? У вас в жизни было уже все, вы захвачены наукой, что вам еще надо?

Гирин замер в недоумении, как остановленная на скаку лошадь, потом тряхнул головой, будто сбрасывая что-то.

— Надо еще много и прежде всего тебя! — последнее слово прозвучало резко, как удар, и Сима физически почувствовала его силу. — Ты ошибаешься, думая, что я тот самый Ваня Гирин, который носился на гребной лодке по Неве. И не тот, кто добросовестно практиковал в северной больнице или был главным хирургом и командовал госпиталем. Даже не тот, кто приехал в Москву почти два года назад. Всех нас меняют, лепят по-иному, оставляя лишь основу, время и опыт, да еще собственное старание — падение или совершенствование. И новому Ивану Гирину нужна позарез Серафима Юрьевна Металина — такая, как она есть сейчас, сию минуту.

— Но у тебя превыше всего наука!

— Тот, для кого превыше всего наука, одержимый фанатик, а я никогда не был и не буду таким. Но не буду тебя уверять, что в тебе — вся жизнь. Нет, как бы я ни

любил тебя, мне надо, кроме тебя, еще много, так же как и тебе, помимо меня. Иначе что ж — мир как комната, и все, что в этой комнате, вырастет, словно в кошмаре, до чудовищно преувеличенных размеров! Да?

— Да! — тихо сказала Сима, снова приближая к лицу Гирина свои погибельные глаза. И на этот раз вся власть над прошлым, настоящим и будущим перешла к Симе. И никогда еще Гирин не испытывал такой светлой радости и столь полного соответствия чувств.

Наконец Сима высвободилась, вскочила и велела Гирину любоваться слоном. Когда он повернулся, Сима уже переоделась, стояла у приоткрытого окна и, смотрясь в него, как в зеркало, оглаживала на себе высохшее платье.

— А как же утюг? — воскликнул Гирин.

— Не надо. Мне пора, я обещала сегодня позаниматься с девочками.

— А вечером, попозже?

— Мне хочется побыть одной! И не надо смотреть так изучающе, Иван, хороший мой... — прошептала, покраснев, Сима. — Ничего нет за этим. Просто побыть одной.

Сима, поднявшись на носки и вытянув шею, крепко поцеловала Гирина.

Гирин застал профессора Андреева над кучей раскрытых толстых справочников, с дымящейся папиросой в зубах — явление экстраординарное.

— Простите великодушно, что побеспокоил, но тут Мстислав прямо обращается к вашей милости!

По возвышенной фразеологии было ясно, что профессор чувствует себя на грани важных событий.

— Прочтите, утром доставлена из МИДа.

«Убедительно прошу проверить материалах отца упоминание новом минерале двт прозрачные сероватые кристаллы тчк спросите Гирина что известно воздействии мозг излучений зпт ядов зпт газов заключенных кристаллах минералов приводящее потере памяти тчк выясните срочно. Сугорина описание камней похищенных прошлой весной Горном музее телеграфируйте мне Нью-Дели посольство Ивернев».

Профессор озабоченно следил за выражением лица Гирина и, не увидев достойной, по его мнению, реакции, недовольно вздохнул.

— Ничего не знаете? — с оттенком презрения воскликнул геолог.

— Ничего, Леонид Кириллович! — сознался Гирин. — Конечно, я подумаю, посоветуюсь со знающими людьми — биофизиками, биохимиками, но боюсь...

— Эх, вы!

— А вы!

— Так ведь тут что-то новое!

— А почему вы не допускаете, что, может быть, нечто совершенно новое и неизвестное в нашей области? Чужая наука обязана быть мудрее? Студенческое представление, позвольте сказать.

— Да я ничего, — примирительно буркнул Андреев. — Значит, попробуете выяснить? Только если можно — поскорее.

— Конечно! Все же два-три дня понадобятся.

— Ну, так это отлично. Я сегодня еду в Ленинград читать дневники, попутно выясню у матери Мстислава, где Сугорин, и снесусь с ним. Меньше чем в три дня тоже не уложиться. Ужинать будем?

— Нет.

— Ну и хорошо. Мне к семи часам в Шереметьево.

Спустя несколько часов Андреев вел неторопливый разговор с матерью Ивернева.

— Мы с вами, кажется, однолетки, Леонид Кириллович?

— Если вы девятьсот второго года.

— Тогда вы постарше: я — девятьсот пятого. Но все равно, мы одного поколения. Следовательно, вам понятно, что я не могу ничего знать о делах тринадцатого-пятнадцатого года. Ищите сами. Располагайтесь в комнате Мстислава. Я вам помогу лишь технической работой: разбирать почерк Максимилиана Федоровича. Плохо быть второй женой, да еще поздней. Ведь Максимилиан Федорович женился на мне в двадцать восьмом, когда мне было всего двадцать три, а ему уже сорок четыре. Его первая жена умерла в двадцать пятом.

— Почему же плохо, я не понимаю?

— Потому что не дойдешь вместе до конца и остаешься одиноким стражем его памяти.

— А сын?

— Он, наверное, придет к пониманию отца, когда меня уже не будет. Я говорю о большом, глубоком, влияю-

щем на жизнь и вовсе не хочу упрекнуть Мстислава в недостатке сыновней почтительности.

— М-м...

— После ваших вопросов я впервые почувствовала, какой большой кусок жизни мужа прошел до меня и без меня. И я ничего не знаю о нем. Не о внешнем, это все мне рассказано, а вот так — душой. Я бы, может, угадала и нашла, что вы ищете, но не могу, не чувствую, где оно скрыто, в каких словах.

— Ничего, вместе что-нибудь да сообразим, — уверенно сказал Андреев, опускаясь в кресло перед старым столом, некогда служившим Иверневу-отцу, а теперь заполнившимся результатами исследований сына.

Лишь на второй день Евгения Сергеевна обратила внимание Андреева на подчеркнутую резко и твердо фразу в записной книжке 1916 года: «Не забыть поговорить с Д. У. насчет моих серых камней — для Анерта». Через две страницы, сплошь исписанные цифрами расчетов предстоящей свадьбы, в самом низу обнаружилась малоразборчивая фраза: «Вчера был у Алексея Козьмича на квартире (улица Гоголя, 19) — он продал мои камни. Эд. Эд. будет огорчен, да и я теперь не смогу...» Дальше карандаш скользнул по краю странички, и надпись обрывалась.

— Вот это те серые камни, очевидно, ключ ко всему, что произошло, — сказал Андреев, закуривая папиросу, ставшую невкусной, — надо искать теперь дальше.

Но дальше, сколько оба ни листали плотные, еще свежие страницы, ничего не нашлось, и едва наметившаяся путеводная нить исчезла.

ГЛАВА ПЯТАЯ

СЕРЫЙ КРИСТАЛЛ

Ураган сотрясал тонкие стены тропической постройки. Слабому, точно ребенок, Иверневу мерещились могучие ветры Гималайских гор. Чередой проходили в памяти образы прекрасного Кашмира, качались и дрожали, будто в мираже, и пропадали, развеиваясь на стенах комнаты, затянутых светлой тканью. Подолгу стоял перед ним и часто возвращался один, видимо, накрепко врезавшийся в память пейзаж.

Высоко в горах, за пределами лесов, находилась долина, засыпанная камнем и обставленная гигантскими хребтами. От нее отходила вбок исполинская промоина, крутая, как воронка, врезанная глубоко в стену снегового кряжа. У самого устья ее стояла маленькая деревушка — всего пять домиков и одно заботливо выращенное деревцо. С вершины перевала, откуда смотрел Ивернев, домишки казались немногим бóльшими, чем обломки скал, щедро насыпанные с левого борта долины. Вверху, на непомерной высоте, вихрилась буря, вздымавшая блестящее облако снеговой пыли, полупрозрачным покровом ползущее вниз. Яркое солнце и глубокое синее небо отражались от колоссальных языков снега, спускавшихся между черным хаосом иззубренных скал почти до устья боковой воронки. Дно долины направо и налево насколько хватал глаз было однообразно серым, как может быть сер однородный камень, исторгнутый из рассеченных недр горы. Эта почти пугающая необъятность каменного моря, гигантских скалистых стен и голубоватых ослепительных снегов окружала ничтожные жилища человека, такие хрупкие, что их делалось жаль, точно несчастное живое существо.

Но в домах жили гордые, сильные и уверенные люди, будто рожденные этими грозными горами. Когда он думал об этих людях, лежа в полусне-полубреду, его охватывало лихорадочное возбуждение. Он был несказанно счастлив, что они там живут и что они такие.

Болезнь оставляла его, но впереди все еще предстояло несколько дней беспомощного лежания в постели. Скверный паратиф, подхваченный в тысячелетнем колодце, когда, поддаваясь минутной слабости и нестерпимой жажде, он решился напиться сырой воды.

Новые друзья не отдали его в больницу, а организовали отличный медицинский уход, наняв двух юных и невероятно строгих медсестер, которых сопровождал смешливый и лукавый «брат милосердия». Врач — толстый, маленький, всегда потный — посещал геолога каждый день, приезжая на смрадно дымящем старом автомобиле, которым он управлял со сноровкой, достойной профессионального гонщика.

Все шло хорошо, только Ивернев нервничал, злился на себя и судьбу из-за нелепой болезни. Он давно должен был быть в Дели, где ждут его телеграмма и письма от Андреева и Сугорина, вероятно и Гирина. Очень может быть, что разгадка отцовской тайны, людей с кольцами и черной короны находится там, в этих ничего не значащих для других людей ответах на его телеграмму.

Удивительно, какие хорошие люди окружали его! Итальянцы, индийский художник Рамамурти и его прекрасная жена отложили свой отъезд в Дели, чтобы дождаться его выздоровления. Чезаре погибал от любопытства в ожидании ответа из России. И не только любопытство удерживало его. Если бы загадка черной короны как-то прояснилась, он знал был, каковы могут быть последствия странной болезни Леа. Недавнее нападение наемных похитителей свидетельствовало, что тень, появившаяся за спиной итальянца в Кейптауне, последовала за ним сюда, в этот большой индийский город. По здравому смыслу всем надо было уехать, но они медлили. Может быть, в этом была повинна Сандра, проникшаяся к русскому геологу глубокой симпатией.

Как-то в приступе меланхолии, вызванной усталостью и полным отсутствием каких-либо вестей о Тате — мать писала обо всем, только не о том, что было всего важнее для ее сына, — он рассказал Сандре о причине своей тоски. И Сандра нашла в чем-то сходство в своей судьбе

и трагедии Ивернева. От Андреа долго не было писем, и ей казалось, что он исчез так же бесследно, как и Тата. В компании двух счастливых пар Сандра иногда тосковала по своему храброму рыцарю и принялась опекать Ивернева. Может быть, скорой поправкой он был обязан ей, ежедневно навещавшей и развлекавшей его.

А сегодня Сандра принесла телеграмму из Дели, извещавшую о приезде туда доктора Гирина. Чтобы не волновать мать, Ивернев ничего не сообщил о болезни, и Гирин приглашал его повидаться. Ивернев тут же продиктовал Сандре телеграмму: «Лежу больной Мадрасе, очень нужно увидеться, захватите почту посольстве дорога самолетом будет оплачена». Последнее Ивернев добавил, зная о весьма скромных достатках ученых, приезжающих на конгрессы. Его собственный заработок был куда больше. Вряд ли посещение Мадраса входило в планы Гирина, как большинство приезжавших на конференции русских, он должен был посетить лишь Бомбей и Калькутту.

Но Ивернев ошибался — после конференции в Дели Гирина повезли именно в Мадрас.

Ивернев в первый раз сел на постели, и это событие совпало с появлением Гирина. Доктор вошел, еще более громоздкий в белом просторном костюме с непривычной и явно мешавшей ему шляпой в руке, в сопровождении невысокой загорелой молодой женщины, большеглазой и черноволосой, оказавшейся его женой.

Гирин с наслаждением подставил лицо вентилятору. Сима, несмотря на узкое платье, казалось, не чувствовала зноя, и ее гладкая кожа была сухой. Такой же способностью переносить жару удивляла Ивернева и Тиллоттама.

Начались расспросы о Москве, родных и знакомых, о всем том, что показалось бы незначащим иностранцу, но столь же важно для встретившихся соотечественников, как те обычные, но полные скрытого смысла слова, какими обмениваются влюбленные. Вспомнив что-то, Ивернев вдруг замолк, и Гирин, понимающе кивнув, извлек из кармана пакет. Тот нетерпеливо разорвал обертку, начал читать. Гирин встал, и они с женой направились на веранду.

— Простите, Иван Родионович! — От смущения слабый голос Ивернева стал еще тише. — И Серафима Юрь-

евна. Я так давно и с нетерпением ждал вестей, что забыл приличия.

— Пустое. Тем более что там есть действительно интересные вещи. Прочтите, тогда и я добавлю немного. Я выполнил вашу просьбу, правда, с ничтожным результатом. — Гирин прикрыл за собою легкую дверь, и они с Симой спустились по каменным ступеням в крошечный садик.

— С этой стороны тень и ветер с моря. Жарко тут для нашего брата северянина, а ведь я всегда легко переносил жару. Как тебе ничего не делается? Горжусь и завидую. Вот это настоящая терморегуляция!

— Слишком много занимался в последний год этой самой терморегуляцией, — укорила Сима, — только теоретически.

— Сознаюсь.

Сима поцеловала Гирина, поднявшись на носки и обняв его закинутыми за шею руками.

— За что? — спросил Гирин, ладонями отводя назад ее волосы и касаясь маленьких ушей, которые он так любил.

— Когда мужчины перестанут задавать этот вопрос? От пещер мы дошли до звездолетов, и все по-прежнему...

— Традиция неплоха! — расхохотался Гирин.

С громким шуршанием гравия у ворот затормозил низкий зеленый автомобиль.

— Без сомнения, гости к Иверневу, — шепнула Сима, как будто здесь кто-нибудь мог понять русскую речь.

— Д-да! — поморщился Гирин. — Беда мне, если кто-нибудь не говорит по-английски!

— Опять позднее раскаяние.

— Сознательно предпочел лишний шаг в науке совершенствованию в языках! И в общем ничего страшного, стоило. Я не намерен много странствовать по загранице, английского хватит.

Из автомобиля вышло много людей. Три женщины: две дочерна загорелые европеянки и очень смуглая дочь Индии, казавшаяся еще темнее в черном сари. Четверо мужчин — два индийца, два европейца, в каждой паре — старик и молодой.

— Целая делегация почтила выздоровление нашего геолога, — ухмыльнулся Гирин, — очевидно, Ивернев пользуется успехом.

Хозяин дома и приехавшие были давно знакомы, и

непринужденность, установившаяся между ними, несколько нарушалась присутствием Гирина, Симы и стройного старика с густой, как у сикха, бородой, необыкновенно величественного в высоком белом тюрбане. Художник Рамамурти объявил, что это его гуру — профессор истории искусств Витаркананда. Ивернев кое-что знал о роли ученого в жизни Даярама и приподнялся на постели, чтобы почтительно приветствовать Витаркананду. Но старик с женски нежной заботой заставил его улечься и несколько раз провел концами пальцев по лбу и вискам больного. Приятное чувство покоя и доверия охватило Ивернева, он на минуту закрыл глаза.

— Его нельзя утомлять! — нахмурилась Сандра, восхитившая Симу своей уверенной красотой.

Однако после того как жена индийского художника откинула на плечи свое тонкое покрывало, низко поклонилась больному и потом, чисто европейским жестом, подала ему обе обнаженные до плеч руки, Сима уже не могла смотреть ни на кого больше. А оба художника, Даярам и Чезаре, присматривались к редкой в Индии представительнице прекрасного пола из далекой России.

Никто из них, кроме Ивернева, не замечал, что двое ученых смотрели друг другу прямо в глаза с той прямотой, какая может быть только у больших друзей или смертельных врагов.

Едва Витаркананда, успокоив геолога, повернулся к присутствующим, как встретил изучающий взгляд русского врача. Слегка приподняв изломанные смоляные брови над глубокими темными глазами, индиец вопросительно посмотрел в бледно-голубые, как тибетские снега на рассвете, глаза русского. Несколько минут длился их никем не замеченный поединок, или, вернее, проба сил, пока Витаркананда вполголоса не спросил Гирина:

— Вы из стоящих на пути?

— Если вы разумеете под путем науку — да, если йогу — нет.

Профессор скрыл улыбку под широкими седыми усами.

— Каждый ученый, если он истинный ученый, бесстрашный и отрешенный познаватель правды, и есть жнани-йог с дисциплиной мысли и воли.

— Трудно самому определить, истинный ли я ученый, но стараюсь служить науке по мере сил и без корысти.

— Я вижу, — ответил Витарканада, — так же как вижу, что она, — он перевел взгляд на Симу, — прошла немало ступеней Гхеранда Самхита (профессор употребил тантрическое название хатха-йоги).

— Уверен, что жена не думала об этом, — улыбнулся Гирин.

— У вас в России, да и вообще на Западе, немало людей, не подозревающих, что они йоги, но достигших таких же высот совершенствования и понимания.

Громкое восклицание Леа прервало их неторопливый разговор. Сандра перевела быстрый поток итальянских слов.

— Леа говорит, что давно мечтала увидеть поближе одну из удивительных русских гимнасток!

— Я хоть и русская гимнастка, но меня нельзя причислять к замечательным нашим девушкам, победившим в Риме, — ответила Сима, — я одна из мастеров спорта, каких у нас много тысяч. И это правда, а вовсе не скромность.

— Все равно, вы мне нравитесь! — заявила Леа, беря Симу под руку. — Смотри, Чезаре, она тоже маленькая, как и я, разве чуть выше.

— Немного, всего сантиметров на пять!

— Я привыкла к мужскому презрению, — вздохнула Леа, — но должна тебе заметить, что неприлично проглядывать глаза, как ты делаешь. Сначала с Тамой, теперь вот с русской. В первую же встречу! Думаешь, если ты художник, так тебе все позволено? А дальше что будет?

— А дальше будет вот что. — Чезаре поднялся. — Мы утомили Тислава, — так итальянец произносил трудное имя. — Пора идти. Я предлагаю новым русским друзьям поехать с нами. Недалеко богатая вилла, владельцы которой уехали в путешествие. Мы арендовали там купальный бассейн, глубокий, с вышкой. Это сильно облегчило пребывание в жарком Мадрасе!

Сима вопросительно посмотрела на Гирина, тот на Ивернева. Геолог согласно кивнул.

— Бассейн в кафеле цвета неба, и теплая вода смешана с ключевой! Голубая прохлада! — соблазнял Чезаре. — Профессора мы тоже захватим с собой.

Глаза Даярама и Тиллоттамы сделались круглыми от ужаса. Витарканада нисколько не оскорбился, мягко объяснив, что принадлежит к старому поколению, для ко-

торого такие вещи невозможны. Чезаре поспешил попросить прощения. Ученый ласково отклонил повинную.

— Хотелось бы встретиться с вами, — обратился он к Гирину, — когда вы отдохнете от путешествия и будете свободны от конференции.

— Я не устал, но заседания начнутся уже завтра, — ответил Гирин. — Может быть, для вас удобно в субботу, в конце конференции.

— Очень хорошо. Я прошу вас приехать ко мне, оказать мне эту честь. Вы позволите, чтобы пришли несколько моих друзей? Будут только мужчины. Даярам приедет за вами. Мои друзья будут очень рады встрече с русским врачом-психологом. Мы уже слышали о ваших выступлениях на делийской конференции.

— Я очень благодарен, — тихо сказал Гирин, — я плохой оратор и не слишком силен в английском языке. Однако мне чрезвычайно интересно встретиться с вашими друзьями. Жаль, что мое пребывание здесь очень ограничено.

— Но почему же его нельзя продлить?

— Я обещаю вам попытаться!

— Благодарю! И еще один вопрос: для вас Даярам разыскивает старую легенду о черной короне и походе Искандера в Индию?

— Это просьба моего друга, геолога Ивернева. Однако и я заинтересован в отыскании рукописи предания.

— Хорошо, мы теперь примем участие в этом деле. Древние легенды об Искандере собирает и изучает один японский профессор, приехавший четыре года назад в Индию. Я слышал о нем только мельком. Но могу узнать точнее и связать вас с ним.

— Лучше не надо.

Витаркананда искоса взглянул своими всезнающими глазами.

— Я понимаю. Вы опасаетесь привлечь внимание тех... кто охотится за итальянским художником. Хорошо. Но мне пора. — Витаркананда поднялся, сделал общий поклон и вышел в сопровождении Даярама.

Гирин убедил Симу ехать купаться с итальянцами, а сам остался у Ивернева. Сима поняла, что им надо поговорить наедине, и поехала под опекой Леа и пожилого итальянца, покрой легкого кителя, дубленое лицо и бестрепетный взгляд которого выдавали моряка. Не успела веселая компания покинуть дом, как геолог попросил, что-

бы Гирин помог ему сесть. Потрясая исписанными знакомым почерком Андреева листками, он воскликнул окрепшим голосом:

— Подумайте только, что за странное совпадение! Леонид Кириллович нашел в записках отца короткое упоминание о находке им неизвестных серых кристаллов на отвалах очень древнего рудника во время своей Памиро-Афганской экспедиции. Я видел эту запись, но не придал ей никакого значения. Какой глупец!

— Как же так получилось?

— Запись сделана мельком. Ни отец и никто другой не описали нового минерала.

— Вероятно, он не успел до революции, а потом события отвлекли, да и научные труды одно время плохо печатались.

— Все же печатались. И отец мог бы сделать это потом.

— Следовательно, после революции у него уже не было камней. Очевидно, они были как-то утрачены. Минералогия ведь не была специальностью вашего отца?

— О нет. Он обыкновенный геолог, общего направления, с интересом к рудным месторождениям, как у всех поисковиков и съемщиков.

— Возможно, он сомневался в том, что минерал, им найденный, действительно интересен. И, заваленный работой, не проконсультировался у минералогов, — согласился Гирин.

— Правдоподобное предположение. Но вот что еще обнаружил Леонид Кириллович; он приводит запись целиком, и, каюсь, я пропустил ее при просмотре личного архива отца: «Вчера был у Алексея Козьмича на квартире (улица Гоголя, 19), он продал мои камни...» Видите, эти слова профессор Андреев подчеркнул. «Алексей Козьмич» — это, очевидно, ювелир. В той же книжке есть еще фраза: «Поговорить с Д. У. насчет моих серых камней». Однако дело не так безнадежно, как кажется. Мой товарищ, минералог Сугорин, по памяти описал вид камней, украденных до того, как их сумели определить. Подвеска в платиновой оправе, найденная в сейфе разбомбленного дома. Камни — прозрачные, серого оттенка, с множеством мельчайших металлических блесток, рассеянных в массе минерала. Судя по огранке, можно предположить, что природные кристаллы были столбчатые, короткими призмами.

Голос Ивернева задрожал от волнения и слабости. Гирин подошел к нему, чтобы помочь улечься.

— Сейчас, сейчас. Суть вся в том, что это описание в точности повторяет вид серых камней в черной короне, найденной итальянской четой. С ними вы познакомились. Только в короне кристаллы были крупнее!

Гирин, склонившийся было к больному, выпрямился в удивлении.

— Известный вам Вильфрид Дерагази предлагал итальянцу огромную сумму за корону. А потом приехал к нам, чтобы выяснить, где нашел мой отец свои серые камни. И моя... Тата была подослана им для того же — на свободе пересмотреть дневники отца.

— Эк! — только крякнул Гирин.

— Дайте мне папиросу, вон там, в шкафчике!

— Голова закружится.

— Дайте!

Закурив, Ивернев закашлялся, вытер пот рукавом тонкой рубашки и продолжал:

— Отсюда мы делаем важнейший вывод: во-первых, коренное месторождение серых кристаллов было известно только отцу, и, во-вторых, камешки эти обладают важным свойством. Знающие их свойство не жалеют денег, рыщут по всему миру. Я знаю еще вот что, — Ивернев рассказал Гирину историю находки короны и болезнь Леа. — Если вспомнить историю Александра Македонского, вернее легенду о его уходе из Индии, ее рассказал нам Солтамурад Бехоев...

— Солтамурада я знаю! Извините, что он рассказал?

— В легенде Александр надевает на голову древнюю волшебную корону и забывает, зачем пришел в Индию. То же самое случилось и с Леа! Когда она надела черную корону, у нее произошла частичная потеря памяти. Согласитесь, что совпадение это доказывает, что потонувший флот и есть флот Александра Македонского, полученный от диадохов Неархом. А по легенде Неарх получил и волшебную корону... Достаточно вам? Электронная машина давно бы сказала: да!

— Машине наплевать, в безумии ее не обвинят, скажут — замыкание. Но в вашей схеме нельзя найти ошибки. Бывают разные неожиданные вещи, вроде находок отличных оптических линз в древней Трое. Ограничусь такой гипотезой. Роль кристаллов в квантовой электронике только сейчас понята наукой и то не до конца. Вы

знаете про квантовые генераторы мазеры и лазеры? Кристаллы рубина или других минералов, дающие чудовищные усиления света. Кристаллы, освещающие Луну, достигающие светом далеко за пределы солнечной системы путем накопления и каскадной отдачи массы электронов. Про биологическое действие лазеров мы пока мало знаем. С другой стороны, нам известны с древности различные биологические воздействия, приписываемые драгоценным камням, в большинстве своем тоже кристаллам. Возможно, что в древних суевериях есть доля здравого смысла и точных наблюдений. Остается допустить, что серые кристаллы под действием солнечного света в определенных условиях испускают лучи, действующие на нервные клетки мозга. А их расположение в короне и ориентировка таковы, что излучение попадает в область задней половины больших полушарий, ведающих памятью.

— Ведь Леа стояла в короне на ослепительном солнце!.. — вспомнил Ивернев. — Но как такое открытие могло быть сделано в столь древние времена?

— Опытным путем, ощупью люди достигали очень многого. Часть этих достижений потом была забыта, утрачена в постоянных войнах, уничтожавших, пока люди были немногочисленны, полностью целые культуры. К числу подобных утрат относятся, видимо, и свойства серого кристалла, случайно открытые кем-то вторично. Хотел бы я знать — кем. Какого рода эти свойства, соображать уже минералогам, кристаллографам, физикам, а не мне, медику.

— Необходимо добыть образец. Иначе только можно гадать, в самом ли кристалле тут дело или в этих серебристых включениях. Включения газов и жидкостей в кристаллах давно изучаются. Один из первых исследователей был Гемфри Дэви. Растворы соленой воды в цинковой обманке — сфалерите или в топазе, включения органического нефтеподобного вещества в флюорите, газы под большим давлением в горном хрустале — все это с современным тончайшим методом анализа становится драгоценным свидетельством условий давления, температуры, состава растворов, которые были в момент образования кристаллов, миллионы и миллиарды лет назад.

— Может быть, дело не во включениях, а в общем составе? — усомнился Гирин.

— Все может быть. Можно пофантазировать и о примеси каких-либо особых, «вымерших» на поверхности

земли элементов вроде технеция или франция. Даже допустить, что в состав серого кристалла вошло вещество, вынесенное из таких громадных глубин земной коры, где все привычные нам элементы становятся другими с совершенно иными свойствами. Подобно тому как простецкий углерод, вынесенный с глубин в сто — сто двадцать километров, приходит к нам в форме крепчайшего из всех веществ — алмаза.

— И вместе с другими свойствами вещество это вынесло наверх ту первобытную, космическую злобу к жизни, какой отличаются все первичные процессы движения материи?

— Очень верно — поэтически! Но как перевести эту поэзию на почву реальной науки? — усмехнулся Иверпев.

— Способ один: чтобы ваш друг Чезаре достал корону, если она действительно им спрятана, как он намекнул вам. Пусть передаст ее в руки ученых и тем самым навсегда снимет с себя опасности, которые будут тянуться за ним заботами нашего общего «друга» Деразди.

— Действительно самый простой выход! И самый правильный. Так вы думаете, что ему можно рассказать все?

— Конечно! Конец нити у него в руках, а он не произвел на меня впечатления человека, который пойдет на все ради денег. Человек умный, он не может не понимать, что когда в дело вмешивается организованная сила, то одиночке надо отходить в сторону. И поручать дело другой организации, не менее могущественной. А вам, геологам, надо принять самые срочные меры к охране того древнего рудника, если его можно найти по записям вашего отца.

— Дорогой Иван Родионович, насколько я понимаю, этот рудник в Афганистане!

— Ну что же, все равно напишем докладную записку, и я сегодня же... да нет, так нельзя. Вы можете послать кого-нибудь из ваших товарищей самолетом в Дели?

— Придется просить только геофизика Володю Тулымова. Он второй советский геолог здесь, в Мадрасе, больше никого нет. Ну, слетает, ничего не сделается!

— Вот и хорошо. Вы дадите мне к нему записку. А сейчас вам следует четверть часа полежать спокойно — и за работу. Длинно писать нечего — там тоже не лыком шиты. Копию Леониду Кириллычу, пусть соображает.

Гирин уложил Ивернева и вышел на террасу, продолжая думать.

«Кристаллы — форма устойчивого существования вещества — требуют для своего образования добавочной энергии в отличие от аморфных веществ. Эта добавочная энергия дает им возможность противостоять внешним воздействиям своей организованной решеткой, твердыми углами и полированными гранями. Разрушение кристалла обязательно требует большой энергии. Так и психика человека, тренированного и сильного, имеет большую стойкость в отношении как высших раздражителей, так и внутренних конфликтов. А человек с недостаточно сильной психикой легко поддается внешнему давлению, панике, общественным психозам и вообще морально неустойчив. Жидковат — как сказала бы Сима».

Сима! Ее теплое имя отвлекло Гирина от всех забот. Самое большее через час он увидит ее огромные, сосредоточенные и от этого обманчиво-грустные глаза.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА

В купании принимали участие все, кроме Тиллоттамы. Став женой Даярама, она не в силах была перейти границы старинных правил, хотя любила купаться в море вместе с Даярамом или с итальянками без мужчин. Танцовщица устроилась в глубокой тени под тентом, а остальные шестеро с блаженными физиономиями погрузились в небесную по цвету, прохладную воду. Сима не могла отказать себе в удовольствии нырнуть с вышки и принялась прыгать ласточкой и вертеться в воздухе под одобрительные крики пятерки менее искусных пловцов. Только Леа решила посоревноваться с русской гимнасткой и бросилась с самой высокой площадки.

Сима поднялась, в свою очередь, и обдумывала трюк, встав на конец пружинящей доски. Все остальные уселись на дальнем конце бассейна. Чезаре, не сводивший глаз с Симы, следил за молодой женщиной, медленно покачивавшейся на ярком свету, точно статуэтка из черного дерева и светлой бронзы. Леа тихонько толкнула художника.

— Восхитительно, — шепнул Чезаре, — и в то же время линии ее фигуры кажутся мне какими-то диковатыми.

— Неправда! — шепнула Леа.

— Ну, не так выразился. Не дикими, а неожиданными, и от этого еще более красивыми. Именно так! Неожиданный изгиб тут, впадинка там...

— Наш Чезаре даже забыл прикинуть вайтлс, — заметила Сандра.

— Как бы не так! Давно установил: 34-24-40. При росте сто шестьдесят. Это оригинально!

Сима подпрыгнула, запрокинулась назад и, описав спираль, погрузилась в голубую воду. Сандра подмигнула Чезаре, а Леа послала воздушный поцелуй плывшей к ним Симе. Чезаре, пригнувшись к уху Даярама, что-то шептал ему, темпераментно жестикулируя.

— Они составляют заговор? — шутливо спросила Сима, выходя на желтый, нагретый солнцем камень, обрамлявший бассейн.

— Вовсе нет, — ответила Сандра, — я думаю, что они спорят, кому лепить вашу статую. Посмотрите только на их хищные лица: художники увидели добычу.

— Чезаре — никудышный скульптор, — засмеялась Леа, — но он отличный рисовальщик.

— Скажите им, что моя статуя уже стоит в Москве в Третьяковской картинной галерее... — Сима помедлила и, видя почтительное удивление, отразившееся на подвижных лицах итальянок, закончила: — ...и сделана за двадцать лет до моего рождения.

Итальянки засмеялись, но Сима продолжала серьезно:

— Все находят, что я ее копия, а если повторяется похожий образ — это значит, что таких, как я, много.

— Тогда можно лишь позавидовать России! — воскликнула Сандра. — Но вы должны обязательно увидеть статую Тиллоттамы работы ее мужа.

— Женщины, может быть, достаточно охладились и нащебетались? — крикнул Чезаре. — Поедем обедать. Синьора Гирина, мы заедем за вашим мужем, и вы присоединитесь к нам?

Сима отказалась. После дневного перерыва она должна была поехать в знаменитую на всю Индию школу танцев.

Гирин встретил Симу в условленном месте на Марк-Драйв, у памятника рыбакам.

— Милый, поедем на океан!

— Там акулищи! Пакость!

— Возьмем в провожатые эту отчаянную пару, Чезаре и Леа. Они с ножами и в аквалангах. Кстати, у меня маленькая победа: я показывала нашу гимнастику в школе танцев, и теперь они пригласили меня выступить по телевизору.

Он поднял ее на руках.

— Иван, это нечестно! И неприлично, все смотрят!

— Ничего подобного, кругом нет ни души.

— Не по-рыцарски. Пользоваться силищей, бросать в воздух! Это унижение свободной женщины! Чувствуешь себя очень маленькой... Ты смеешься надо мной, ну-ка посмотри мне в глаза! Что-то у тебя есть, какая-то хвастушка.

— Угадала. Помнишь мою лекцию у художников? Мои соображения насчет красоты. Оказывается, они совпадают с древней мудростью Индии. Послушай, что отец говорит сыну:

«— Принеси мне из сада плод дерева ниагродхи.

— Вот он, господин.

— Разломи его.

— Разломил, господин.

— Что ты видишь там?

— Семена, такие мелкие, что почти невидимы.

— Разломи одно из них.

— Я сделал это, господин.

— Что ты видишь в нем?

— Ничего, господин!»

И сказал отец: «Мой сын, вот эта крохотная частица, которую ты не можешь даже воспринять, и есть существо гигантского дерева ниагродхи. Поверь мне, сын, здесь все, что есть в дереве, вся его красота и величие...» Написано это, зорюшка, еще до нашей эры в Чандогье Упанишад. Знай я раньше, обязательно привел бы этот пример, чтобы показать, где скрыто в человеке чувство прекрасного.

По предложению Ивернева чета Гириных поселилась в его маленьком коттедже. Из посольства прибыло требование, чтобы Ивернев отправился в Дели, как только будет в состоянии перенести полет. Освобождаясь от заседаний, Гирин бывал в просторной библиотеке общества по изучению Веданты.

По вечерам к Иверневу приходили итальянцы и Рамамурти с женой. Чезаре упросил Симу позировать для портрета. Через два дня Рамамурти тоже принес свою папку. Оба художника соревновались в быстроте и точности набросков. Леа и Сандра, чуть-чуть ревнуя к увлечению Симой, без конца расспрашивали Ивернева и Гирина о Советской стране. Капитан Каллегари больше слушал, покуривая, и время от времени подавал острые реплики, подстрекая людей к ожесточенным спорам.

Только на пятый день Гирин и Сима смогли урвать время для поездки на выставку, где стояла «Апсара» Рамамурти.

Остаток дня Гирин был молчалив настолько, что Сима обеспокоилась. Отвечая на ее расспросы, он разобрался в своем странном состоянии. Гирин вспомнил другую статую на такой же простой подставке, там, где состоялась его встреча с Симой. И с глухой тревогой он подумал о встреченных им прекрасных людях и их отношении к обществу. Анна — и ее трагическая судьба в старой деревне. Лидия Иванова — великолепная балерина и хороший человек. Сандра — и ее неудачная жизнь. Наконец, Тиллоттама. Хотя она спасена из гангстерской трущобы, но как-то ощущается нависшая над ней опасность. Пожалуй, Леа права. Даяраму не следует быть таким самоуверенным. Ему пора понять, что сам он лишь очень слабая защита. Отрешиться от уединения и жить среди друзей в Дели. Идеи о роке, тяготеющем над всесторонне совершенными людьми, возникли уже очень давно. В древней Элладе люди хорошо понимали, что доброта и красота, не используемые для себя, справедливый ум и поиски правды, попытки жить по-иному, чем другие, подчиняющиеся угнетению или обманутые, ведут к мучительной жизни, а все эти качества, соединенные вместе, — к неизбежной и скорой гибели. На разных полюсах ойкумены — населенной земли — у индусов и греков — сочли, что боги не любят совершенства, не поняв простой истины, противоречия плохого общественного строя и подлинно хороших людей — провозвестников будущего человечества. В христианской Европе со времен легенд о справедливом короле Артуре считали, что идеальных рыцарей, таких, как Галахэд, бог призывает к себе. Оттого всем людям свойственна грусть при встрече с красотой, оттого и бьются художники всех поколений и рас, чтобы сохранить прекрасное в вечных материалах.

Даярам уже совершил этот подвиг, его «Апсара», юная небесная нимфа, войдет в общечеловеческое искусство Земли. А живая Тиллоттама еще вдохновит людей не на одно произведение.

Но она полностью беззащитна. Ведь закон карает лишь после совершившегося. Иначе нельзя, это верно, и все же такое устройство мира дает все преимущества нападающему, как тигру перед травоядным.

Небывалая в истории народная любовь, тысячи бди-

тельных глаз не уберегли великого нашего Ленина. Здесь народ Индии не сумел защитить своего вождя Махатму Ганди... может быть, еще потому, что истинно любящим людям не придет в голову, что злодей посмеет. А полубезумные фанатики, направляемые искусными в психологии людьми, — они смеют!

Занести руку на девушку, у которой единственная защита — ее красота, найти палача нетрудно.

Вот Сима, за Симу он спокоен. Скромную, как бы незаметную Симу, на самом деле соперничающую с Тиллоттамой, что сразу почувствовали оба художника — индиец и итальянец.

Почему? Да потому, что в нашей стране парализована волчья хватка эгоистических негодяев. Есть еще, разумеется, дрянь, но разгуляться ей труднее, потому что устранена власть денег. И как это хорошо, становится полностью понятно лишь тогда, когда пробудешь какое-то время в гуще далекой от нас жизни.

Накануне своего отъезда Ивернев пригласил Гирина и Чезаре к себе, чтобы поговорить о черной короне.

Трое мужчин уединились в рабочей комнате Ивернева.

Ивернев, теперь уже во всех подробностях, рассказал Чезаре происшедшее в Ленинграде и Москве до и во время визита Дерагази, не скрыв и своей личной трагедии. Суровые слова геолога растрогали художника, и тот, ожесточенно дымя сигаретой, несколько раз пожимал руку Ивернева.

Потом Гирин изложил факты и догадки, касающиеся серых кристаллов, разъяснив, что после похищения камней в Ленинграде, те, которые вставлены в корону, остались единственными, могущими послужить науке.

— Допустим, что ваши предположения верны, — прищурился от дыма итальянец, — и серые кристаллы действуют на память. Каков же смысл охоты за ними по всему миру, трата больших денег? Что такого необычайно важного, если человек, к голове которого приложат кристалл, потеряет память?

— Вы попали именно на самое важное, — ответил Гирин. — Это и есть суть дела. И, разумеется, недобрая суть, вот почему они действуют тайно. Недоброе всегда секретно. А дело, мне кажется, вот в чем. Создание боевых

и рабочих автоматов — очень дорогостоящая вещь. Под рукой же есть дешевые, почти даровые чудеснейшие биологические механизмы — люди. Но человек не автомат...

— Понял, понял, — вскричал, подскакивая, Чезаре, — человек, потерявший память, может стать автоматом!

— Потерявший полностью — никуда не годен, потому что утрачивает и всю свою приспособленность к жизни. Но если эта потеря частичная...

— Да, да, да! Как у Леа! Боже мой, да это же ясно как день, — художник взмахнул обеими руками, — вот почему охотятся за короной. Она может принести громадные деньги!

— Корона может принести немалые деньги и вам, если вы решите ее продать этим «охотникам», — холодно сказал Гирин, — хотя, честно сказать, я уверен, что шайка Дерагази найдет способы избавиться от вас, как только вы покажете им сокровище. Я не собираюсь ни в чем убеждать вас, но я видел этого человека!

Чезаре закивал головой, но, прежде чем он успел что-либо сказать, в раскрытых дверных занавесях показалась Леа.

— Милые мужчины, явилась чета Рамамурти! Тиллоттама будет танцевать! Она в наряде танцовщицы только что с выступления по телевидению. И с магнитофоном. Пойдемте скорее!

— Пойдемте, — улыбнулся Гирин, — пусть синьор Пирелли не торопится с решением. Оно будет для него очень ответственным, и хотелось бы узнать его в окончательном виде.

Сима бросилась навстречу Гирину.

— Иван, сейчас мы увидим танцы Тиллоттамы, как хорошо! — Она взяла его под руку и крепко прижалась щекой к плечу.

Тиллоттаму не смутила теснота комнаты. Наоборот, ее движения, как бы сжатые в тесном пространстве, приобрели упругость, силу и быстроту, еще невиданные зрителями. Магнитофон рассыпал трудноуловимую для европейца вязь двойных ритмов, рассеченную протяжными, дрожащими нотами струнных инструментов.

Сима, волнуясь и затаив дыхание, следила за ожившей апсарой, не зная, что Тиллоттама исполняет собственную импровизацию на недавно написанную тамиль-

ским композитором Рави Дасом музыку «Слезы лотоса». Оставив множество интонаций в движениях рук, поражающих в классических танцах Индии, Тиллоттама отказалась от некоторых древних поз, упорно повторяемых блюстителями древних традиций. Полусогнутые, широко расставленные ноги, знаменующие ничтожество человека, его связь с землей и медленное восставание к небу. Зачем они, если эти движения выглядят некрасивыми у самой лучшей танцовщицы или танцора? Тиллоттама следовала традиции танца Европы или Арабского Востока, восходящей к временам Эллады и Крита, очень строгой к эстетике поз и движений ног, наиболее рафинированно выраженной в русском классическом балете.

Для индийской танцовщицы это было дерзким новаторством, не оцененным ее европейскими зрителями. Однако танец понравился им гораздо больше традиционной индийской хореографии здесь, в Мадрасе, доведенной до высокого совершенства наследницами храмовых девадаси.

Лишь Даярам, с молитвенным восхищением следивший за своей возлюбленной, понимал все значение творчества танцовщицы и видел в ней будущее искусство Индии. Новый танец, за которым последует другой, третий. Она сможет повести за собой, отбрасывая накопившиеся в древнем искусстве ядовитые ошибки. Упреки спадут с нее, как горчичные зерна с острия шила, — так говорится в Дхаммападе — кодексе мудрости Южной Индии.

Ранняя тропическая ночь засияла луной. Погасив свет, Даярам распахнул широкое окно, и Тиллоттама продолжала танцевать в свете луны, настолько яркой, что он не смягчил, а резче оттенил малейшие движения танцовщицы, ее ставшие почти черными руки и тонкие черты ее лица, будто вырезанные из темного дерева.

Мягкий полудетский голосок в магнитофоне запел «Песню любви». В поразительном соответствии с нею тело Тиллоттамы как бы струилось, переливаясь скрытым чувством, вздрагивало, замирая в минутной тревоге. Песня умолкла, в тишине раздался резкий щелчок выключенного магнитофона. Леа бросилась целовать Тиллоттаму, не скрывая заблестевших в лунном свете слез восторга. Более сдержанная Сима притянула к себе танцовщицу и прикоснулась щекой к ее щеке, как делала в далекой России, поздравляя своих подруг и учениц с удачным выступлением или спортивной победой. И, так же

как у них, они почувствовала твердость тела в неотошедшем напряжении и такую же отрешенность чувств, еще не вернувшихся к обычному миру.

— Берегите ее, великую драгоценность! — сказал Гирин художнику Рамамурти.

— Конечно! — отозвался Даярам с такой гордой и счастливой улыбкой, что комната как бы осветилась.

Рамамурти стал прощаться, поднялись и трое итальянцев, предложивших довезти индийских друзей. Ивернев, еще на правах больного, вышел на веранду, а Сима с Гириным спустились в сад, чтобы проводить гостей до ворот. Машина итальянцев стояла немного в стороне, в кругу света яркого фонаря, как обычно окруженного облаком ночных насекомых. Дальше у второго фонаря под деревьями сидели на скамье люди.

Сима послала уходящим воздушный поцелуй и пошла к дому. Дорожка была узкой, и Гирин следовал за Симой по пятам, погруженный в какие-то размышления и односложно отвечавший на ее восхваления Тиллоттамы. Сима обернулась, посмотрев на мужа искоса и снизу. Взгляд этот почему-то действовал на Гирина совершенно неотразимо.

— Ты обращал внимание, какая глубокая у нее чернота волос? Они как сама ночь. Я поняла сегодня, увидев Тиллоттаму при лунном свете, — вот царица ночи в самом настоящем смысле.

— Да, у меня тоже ее волосы ассоциируются с покрывалом ночи.

— Это оттого, что они без малейшей рыжины. Иссиня-черные, как у наших цыган. Хотела бы я, чтобы у меня тоже были такие, а то ведь с каким-то красноватым, медным отливом. Тот же подцвет, что и у Сандры.

— Как на чей вкус, — очнулся наконец Гирин. — Мне кажется, что в цвете воронова крыла слишком много мрака, а у тебя сквозь черноту проглядывает огонь. Оттенок огня выдает тебя, и я давно раскрыл твою тайну.

— О чем ты говоришь? — воскликнула Сима, почему-то краснея.

— По мусульманским легендам, аллах сотворил человека из глины, а пери — из огня. Ты — пери, а я, как черепок, стал тверже и звонче...

— Ты милый, Иван!

— А что касается цыган, то ведь они — индийцы по происхождению, вернее дравиды. Я исповедую одну ересь,

считая, что иссиня-черные волосы — кстати, они характерны для многих древних народов монгольского и дравидийского корня, — это пережиток большой древности. Свидетельство когда-то случившегося усиления коротковолновой радиации солнца, а может быть, и близкой вспышки сверхновой звезды, вызвавшей особую пигментацию волос и кожи...

Вдруг на улице послышался глухой хлопок, как если бы откупорили бутылку шампанского, потом второй, и мужской вопль испуга, ярости и муки. Несколько секунд спустя гулко хлестнули выстрелы автоматического пистолета, смешавшиеся с криками. Гирин и Сима бросились к воротам. Ивернев, еще слабый на ногах, побежал по лестнице, упал и скатился на дорожку, оцарапав лицо и руки. На улице слышались крики, топот босых и обутых ног. Не больше трех минут прошло с момента прощания с друзьями...

Когда Сима с мужем скрылись в воротах, пятеро уезжавших стояли лицом к ним, махая на прощание. Первой повернулась Тиллоттама и вдруг заметила в группе людей, теснившихся около скамьи под деревом, знакомый профиль с длинным, будто стесанным, носом.

«Ахмед!» — подумала она, вздрогнув от полузабытой ненависти. Но лицо из прошлого исчезло, заслоненное двумя юношами в широких и пестрых рубашках навыпуск.

Тиллоттама стиснула руку Даярама. Он встревоженно наклонился, вопросительно глядя на ее побледневшее лицо.

— Поедем скорее! — тихо попросила Тиллоттама.

Леа вошла в машину, вставила ключ зажигания и открыла дверцу, приглашая Тиллоттаму.

В это время группа людей отошла от скамьи, приближаясь к фонарю, под которым стояла машина. Прежде чем кто-либо понял происходящее, один из них вытащил из-под рубашки длинноствольный пистолет с ребристой металлической муфтой на конце дула. Что-то хлопнуло о борт машины, задев бок Тиллоттамы. Сандра ринулась вперед, чтобы прикрыть Тиллоттаму, заводя руки за спину, как это делает наседка крыльями, защищая цыплят. Хлопнул второй выстрел. Пуля, пробив руку Сандры, попала в Тиллоттаму. Обе женщины упали как подкошенные. За секунду до этого Даярам, издав звериный вопль,

прыгнул навстречу стрелявшему. Один из спутников убийцы подставил ему ногу. Даярам грохнулся об асфальт у самых ног человека с пистолетом. Все же он успел ухватиться за ноги убийцы, рванул на себя и подмял негодяя, пытаясь вырвать оружие. Чезаре, старавшийся поднять раненых женщин и весь залитый их кровью, яростным ударом сбил второго бандита и наклонился над Даярамом, не замечая, что третий, пожилой и ранее не замеченный в своей темной одежде, занес над ним длинное, адской остроты шило. Мгновение — и шило вошло бы под лопатку итальянца, пронзив сердце, но на подмогу пришла Леа со своим тяжелым автоматическим пистолетом, который она носила с собой со дня нападения на Чезаре. Не колеблясь, она выстрелила прямо в черноусое лицо. Бандит рухнул, тупо ударившись головой о камень фонарного цоколя. Оставшиеся бандиты отпряпули назад. Стрелявший отчаянным усилием вырвался из цепких рук Даярама и нанес ему зверский удар пистолетом по затылку. Слепо раскидывая руки с растопыренными пальцами, Рама́мурти уткнулся в асфальт. Убийца ужом выскользнул из-под него, поднимая оружие. Леа выстрелила снова, но рука ее дрогнула, и убийца получил пулю в живот. Он согнулся и завыл, широко распяливая черный рот. Теряя сознание от ужаса и отвращения, Леа выстрелила еще раз. Вой захлебнулся, убийца брякнулся перед итальянкой, а она, бросив пистолет, закрыла лицо руками в припадке неодолимой тошноты.

Чезаре продолжал бороться с бандитом в пестрой рубашке. Он сознавал, что надо бежать к Тиллоттаме и Сандре, но не мог отпустить врага. Со всех сторон сбегались люди. Тяжело дышащая толпа стеной обступала место побоища, где в пыли катались Чезаре и бандит.

— Помогите же, берите его! — кричал Чезаре известные ему индийские слова.

Сухое хищное лицо с соструганным носом вынырнуло из-за спин.

— Что вы стоите? Бейте проклятых англичан! — вопил незнакомец на урду, тамили и на хинди. — Видите, мемсахиб зверски убила двух наших!

Тот, кто показался Тиллоттаме Ахмедом (и был им), рассчитал правильно. Толпа зашумела и надвинулась на оцепеневшую Леа и продолжавшего борьбу Чезаре. Как раз в этот миг из ворот выбежал Гирин. Опытом военного врача оценив обстановку, он кинулся к упавшим

друг на друга женщинам. Они лежали мирно, будто застигнутые сном дети, и этот внезапный покой сулил самое худшее. На ходу обернувшись, Гирин бросил Симе по-русски:

— Беги к Мстиславу, звони в полицию!

Легко подняв Сандру и наскоро убедившись, что ранившая руку и скользнувшая по ребру пуля причинила только шок, он положил ее на сиденье автомобиля и стал на колени перед Тиллоттамой. Губы прекрасной танцовщицы, три минуты назад такие яркие, стали серыми, голубой оттенок омертвил смуглую кожу. Из полураскрытого по-детски рта вытекала темная струйка крови, обильно разлившейся по асфальту.

Большой военный опыт Гирина позволил ему мгновенно определить безнадежность ранения. Одним прыжком Гирин вскочил как раз вовремя, чтобы повелительным жестом остановить напиравшую толпу. Схватив молодого бандита за руку, Гирин оторвал его от художника и поставил на ноги. Бандит обмяк, уставив выкаченные глаза на Гирина. Чезаре поднялся, тяжело дыша, шагнул к Леа и, крепко встряхнув ее, что-то крикнул по-итальянски.

Ахмед выступил вперед, указывая на Гирина и Леа, и закричал, как в кошмаре, скаля зубы и закатывая глаза. Поднятая рука его сжала кривой нож. Еще несколько ножей появилось в темных кулаках собравшихся.

Гирин уставился пристальным, тяжелым, точно свинец, взглядом на Ахмеда. Пакистанец умолк, опустил руку, потом и глаза. Дикое напряжение его тела ослабло, кинжал звякнул об асфальт.

Гирин, сообразив, что слуга американца должен знать английский язык, громко и властно скомандовал:

— Поди сюда, убийца!

Ахмед покорно шагнул вперед, отделяясь от толпы, и тотчас люди, теснившиеся за тем, кто показался им вожаком, отступили.

— На колени!

Ахмед рухнул, его коленные чашки громко стукнули об асфальт.

Не теряя ни секунды, Гирин вернулся к Тиллоттаме. С горькой уверенностью он нащупал твердой рукой хирурга отверстие пули, вошедшей наискось с левого бока, почти у подмышки и направившейся слегка вверх. Гирин все понял. Пробив аорту там, где она очень близка к ле-

вому бронху, пуля разорвала и бронх. Вся кровь Тиллоттамы, гонимая сильным сердцем, в несколько секунд вылетела через рот.

Даже случись тут, в ту же минуту, хорошо оборудованная операционная, Красота Ненаглядная Даярама не имела бы надежды на спасение. Все было кончено. «Звезда Индии» закатилась навсегда.

Толпа в ужасе застыла, некоторые попадали на колени, крича: «Санниази! Санниази!» («Святой! Святой!») Молодой бандит простерся ничком около предводителя. А тот продолжал стоять под ярким светом фонаря на коленях, с опущенной головой и по-собачьи оскаленными зубами. Таким и застала его полицейская машина, вихрем ворвавшаяся в толпу.

Гнетущее молчание воцарилось в уютном доме Ивернева, где три часа назад раздавалось нежное пение «Слез лотоса».

Гирин угрюмо шагал по диагонали гостиной. Сандра, искусно перевязанная, полулежала в кресле, переодетая в короткое для нее платье Симы. Леа курила сигарету за сигаретой, поглядывая на Чезаре, спрятавшего лицо в ладони и странно покачивавшегося. Ивернев в студии писал на портативной машинке: уезжая, он должен был оставить полиции свои показания.

— Доктор Гирин, — окликнула Сандра, — вы смотрели рану Даярама?

— Смотрел. Кость цела. Сильное сотрясение мозга.

— Когда же он очнется?

— Он должен был давно очнуться. Когда его увозили, я попросил врачей дать ему большую дозу снотворного. Чем позднее он проснется, тем лучше! Больше наберет сил.

— Лучше бы его убили вместе с ней, — поднял голову Чезаре.

— Пожалуй, да! Но, насколько знаю индийские обычаи, хоронить Тиллоттаму, то есть сжечь ее, должен он сам. Придется отложить его госпитализацию. Я звонил профессору Витаркананде, и мне стало как-то спокойнее за Даярама.

— Боже мой, боже мой, наша Тиллоттама мертва! — Леа, все время крепившаяся, разразилась отчаянными слезами. — Мне... мне всегда казалось, что она бессмертна, так она была прекрасна! Какая же тоненькая ниточка — человеческая жизнь!

Чезаре привлек Леа, прильнувшую к нему, содрогаясь от рыданий. Наступившая наконец нервная разрядка была благодетельна для нее.

Гирин заложил руки в карманы и пошел на веранду, где и остался стоять, глядя на звезды.

Сима вошла в гостиную, вкатив перед собой столик с посудой и чайниками. Поискав глазами, она вышла на веранду. Широкая спина Гирина заслоняла фонарь уличного освещения. Он не то напевал почти неслышно, не то нашептывал, и Сима уже знала, что так он утешает сам себя в трудные минуты жизни. Она приблизилась бесшумно, понимая, что мужу нельзя мешать в такие моменты. Сима услышала слова романса «Ни отзыва, ни слова, ни привета» и поразилась глубине его значения, неожиданно открывшейся ей в горькой тоске этой ночи. Гирин, смотревший на высокие созвездия, опустив голову. Голос его дрогнул и прервался с последними словами — «Как в мрак ночной упавшая звезда». Сима не выдержала, всхлипнула и, обливаясь слезами, бросилась на грудь к мужу.

— Вот и упала в вечный мрак «Звезда Индии», — пробормотала она. — Неужели нельзя было спасти ее, Иван, милый?

— Нельзя, зорюшка! Другая рана, но не эта! Не плачь, она ушла сразу, в полном расцвете красоты и сил. Для нее это хорошо! Куда хуже Даяраму!

— Я не могу... не могу примириться, — тихо всхлипывала Сима, — такая мерзкая, чудовищная жестокость! Почему так случилось, Иван?

— Знаешь, я впервые остро почувствовал, как рядом с великой любовью всегда тянется черная бездна. Очень верен образ звезды, упавшей во мрак. Это немилосердная несправедливость жизни в нашем мире. Человек озаряется и возвеличивается светом и теплом большой любви, но одновременно появляется чувство бездны потери. Не страх, он более конкретен и узок, а нечто гораздо большее, паника чудовищной утраты смысла всей жизни, когда впереди останется лишь непроглядная тьма.

Сима крепко поцеловала мужа и шепотом, словно боясь привлечь внимание темных сил, сказала, что черная пропасть на краю жизни ей также знакома.

— С той поры, как я накрепко полюбила тебя! — пояснила она.

Гирин молча гладил густые спутавшиеся волосы жены.

— Пойдем к людям! — наконец сказал он, увлекая Симу в гостиную.

Чезаре, увидев Гирина, поднялся и подошел к нему с официальным видом.

— Доктор Гирин, я должен сообщить вам, что продумал предложение ваше и Тислава. Я достану корону и передам ее вам! Как только на юге кончатся зимние бури, мы с капитаном Каллегари наймем корабль и сделаем это. Как можно скорее! Только я могу найти корону, а мало ли что может со мной случиться. Жизнь так хрупка.

Гирин задумался.

— Мне кажется, что передача короны нам была бы неправильным делом. Это древнейшая реликвия индийской земли и принадлежит ее народу. Поэтому передача черной короны правительству Индии — справедливая вещь. А нам, то есть опять-таки не нам, а правительству Советской России, следовало бы отдать один из серых кристаллов короны. Потому что отец Мстислава открыл заново эти камни, потому что они были у нас украдены и только с нашей помощью понято их значение. И еще потому, что мы сможем обнародовать эти исследования вопреки тайным делам, что задумываются людьми с кольцами, искателями серых камней. Таково мое мнение. Пойдите к Мстиславу, спросите его. Наверное, он скажет вам приблизительно то же.

Чезаре порывисто пожал протянутую руку. Гирин спросил:

— Вы что-то хотите узнать у меня, но не решаетесь? Наберитесь храбрости. У меня ведь нет никаких комплексов, и потому можно спрашивать о чем угодно.

— Да, вы правы! Дело вот в чем, я видел, как вы... что вы можете сделать с человеком, даже с такой опасной змеей, как Ахмед...

— Иными словами, почему я просто не приказал вам отдать корону?

— Да, да!

— Ну, не говоря уже об этике и морали, гипноз ведь не чудо и его возможности очень ограничены. Любопытно, что его куда легче использовать на доброе, чем на злое дело. Отсюда и древнее поверье, что врожденный дар внушения пропадает, если его используют во зло людям.

Чезаре нехотя простился с русскими, казалось, накрепко вошедшими в его жизнь.

Билет Иверневу достался на ночной самолет «Эр Индиа», и геолог был огорчен, что не увидит напоследок снежного великолепия Гималаев.

В полутемном самолете под ровный гул моторов Ивернев, полузакрыв глаза, сосредоточенно думал, стараясь представить себе встречу с матерью. Евгения Сергеевна прислала ему в Дели письмо. В десятый раз он развернул уже потершийся листок бумаги. Огромный самолет вздрагивал и продолжал нести его домой, к тому, без чего он не представляет себе своей жизни. Но без Таты, и это теперь навсегда! Какое страшное слово! Только теперь он понял всю беспросветную тьму его отрицательного значения.

«Мой дорогой, — писала мать, — мне пришлось пережить еще горе. Тата пришла ко мне, прочитав «Дар Алтая». Она знала, что ты далеко, и только потому пришла. Так она сказала, и я чувствую меньше свою вину, что не сумела удержать ее для тебя. Не смогла убедить. Иногда мне кажется, что права Тата, иногда — что ты, с твоей великолепной уверенностью в силе своей любви.

Тата призналась мне во всем. Войдя в дом как враг, вернее — как вор, она полюбила. Тебя и меня. Во всю силу великого контраста между тем, что она нашла в нашем доме и ее жестоким прошлым и будущим. Между ласковой крепостью новой опоры в жизни, новых интересов, друзей и счастья любить и быть любимой. И еще сильнее от отчаянного сознания безвыходности своего положения, невозможности спасти свою любовь, не подвергая смертельной опасности не только себя, но и нас.

Тата плакала, как девчонка, говоря мне об этом, и я видела, что это правда.

Она вырвалась из державших ее цепких преступных лап и никогда не вернется к прошлому. Это сделала твоя любовь и моя тоже. Но она исчезнет навсегда в необозримых далях нашей страны. И не потому только, чтобы ускользнуть от мести преступной шайки. В недолгие недели у нас, когда она была любимой, красивой и чистой, любила сама и впервые поняла, какой королевой чувствует себя женщина в добром счастье, она забыла обо всем, кроме тебя.

Короткое счастье злополучной девушки не возродится. Она не способна прийти в наш дом, к тебе, ко мне, прощенным вором, потому что это вечно будет стоять

между ней и нами. И единственное, что она могла сделать, — это уйти навсегда. И она ушла, сын!»

Ивернев понял, что мать права и Тата потеряна. Еще не было острой боли или тоски, рана безнадежности только начинала давать себя знать.

Виденное и испытанное им за прошедший трудный год — «перевертыш» — сделало его взрослее на несколько лет. Он пережил счастье и горе большой любви, увидел огромную страну с древней культурой и великим многообразием четырехсотмиллионного народа. Встретился с людьми, мудрыми, как Гирин, прекрасными, как Тиллоттама и Сима, ищущими, как Даярам, столкнулся с темными силами международных гангстеров...

Впервые осознал Ивернев, насколько сходны стремления людей к красоте, к яркой, насыщенной творчеством и пользой жизни в разных странах и эпохах. Стремления, остававшиеся неисполненными с незапамятных времен, пока не началась борьба за устройство нового общества в его стране. Общества, где, «взвешивая правое и взвешивая левое», по древней индийской поговорке, люди будут требовать от самих себя всегдашней ответственности за каждый поступок, слово и мысль — на пользу ли это людям?

— Нельзя понимать мое выражение о пути по лезвию бритвы буквально, — сказал ему Гирин на прощание, — это скорее высшая тонкость решений, исследований, законов и морали и, конечно, выбора направления.

И сам Ивернев, многому научившись, вернется в родной Ленинград познавшим простую мудрость: счастье не ищут, как золото или выигрыш. Его создают сами, те, у кого хватает сил, знания и любви.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МОСТ АШВИНОВ

Даярам еще не поднялся с больничной койки, когда прилетел его друг Анарендра, вызванный Витаркanандой. Старый ученый сумел подавить в Даяраме первый порыв жестокого отчаяния. Но художник был в таком плохом состоянии, что нуждался в непрестанном присмотре. Он нашел в себе силы быть на обряде похорон своей Красы Ненаглядной, поддерживаемый с двух сторон Анарендрой и Чезаре.

Волна общественного возмущения докатилась от Мадраса до Бомбея, и главный виновник убийства Тиллоттамы едва успел скрыться, бросив сообщников на суд и расправу.

Гирин больше не мог откладывать отъезда. Витарканanда собрал своих друзей накануне отлета русского врача.

Уже совсем стемнело, когда Гирин уселся рядом с очень серьезным и очень почтительным Анарендрой. Машина понеслась прочь с залитых огнями центральных улиц Мадраса, через слабо освещенные кварталы маленьких коттеджей и темные дороги предместий к редким огням на отдаленных холмах юго-запада. Гирин, на пути в Мадрас знакомившийся с путеводителем, определил, что они едут около горы Святого Фомы, где известны развалины древней несторианской церкви. Путь был довольно далек, и художник мчался со скоростью в шестьдесят миль. Наконец Анарендра уверенно свернул на неприметную в темноте узкую дорогу, обсаженную деревьями. Лучи фар уперлись в железную решетку массивных ворот, распахнувшихся сами собой, точно в детской сказке. Дорога, круто поднимавшаяся на склон холма, продолжалась и за воротами. Дом на его вершине, показав-

шийся Гирину очень большим, был едва освещен и оттого не сразу заметен в густой тропической темноте.

Двое людей, очевидно слуг, вынырнули из-за ваз с растениями с боков подъезда.

Гирин энергично отстранился от всех знаков почтения и взбежал по лестнице под аркаду подъезда, где стоял Витаркананда. Профессор повел гостя в глубь дома, в огромный центральный зал. Из всех четырех углов зала поднимались, красиво изгибаясь, лестницы белого камня, каким-то не сразу понятным поворотом сходившиеся к нависшему над залом балкону.

Гирин с любопытством рассматривал причудливую архитектуру здания.

— Не думайте, что это мой дом, — сказал профессор со своей беглой и суровой улыбкой, не подходившей к его доброму лицу. — Один из моих учеников из рода южноиндийских раджей захотел почтить меня предоставлением мне приюта, не соответствующего ни моим заслугам, ни вкусам. Но пойдемте выше, там ждут нас мои друзья. Должен предупредить вас, что они очень редко встречаются с европейцами. Это замкнутый круг, который открылся для вас после вашего доклада в Дели. Поэтому не осудите их за незнание европейских манер!

Они поднялись на балкон, затем прошли в большую комнату, наполовину открытую звездному небу, слабо освещенную, застланную коврами. В ней сидели на широких диванах человек десять в белом, в таких же белых тюрбанах, какой был на Витаркананде. Бороды, седые, смоляно-черные, широкие, узкие, казалось, были главными отличительными признаками всех этих людей. Все, кроме одного, самого старого, поднялись, приветствуя вошедших молчаливым поклоном. Едва слышно шелестели под низким потолком раскидистые веера механических опахал.

Витаркананда усадил Гирина так, что они с ним оказались напротив одного из присутствующих, глубокого старика с короткой бородой и золотой пряжкой в тюрбапе. Бесшумные слуги поставили перед Гириным столик с напитками и ящичек с несколькими сортами сигарет. Гирин отказался и попросил стакан простой воды. Немедленно столик исчез. Непроницаемые лица индийцев ничего не выразили. Лишь в темном взгляде сидевшего слева близко от него чернобородого Гирину увиделось одобрение.

Несколько минут тянулось молчание. Гирин физически ощущал на себе концентрированный взгляд собравшихся и старался сосредоточиться, понимая, что не из пустого любопытства захотели встретиться с ним эти серьезные, молчаливые люди.

— Мы все рады узнать, — заговорил наконец профессор Витаркананда, — что в Делийском конгрессе впервые участвует ученый-психофизиолог из той огромной дружественной и глубоко симпатичной нам страны, в которой до сих пор этой науке не уделялось внимания. Это немало озадачивало нас, ибо впервые за всю историю человечества ваша страна предприняла гигантский подвиг строительства нового мира. Но какой же может быть новый мир без новых людей и как воспитать этих новых людей без глубочайшего знания человеческой природы?

Тысячелетия лучшие умы Индии работали над познанием человека, его души и тела и достигли немалых успехов на этом труднейшем пути. К сожалению, Запад, не считая отдельных людей большой и широкой мысли, не придал значения философским открытиям Индии. Погруженные в заботу об изготовлении великого множества вещей, идущие путем нарастания технического могущества в ущерб заботе о совершенствовании человека, европейцы сочли наивными наши изыскания в области психологии.

И в то же время западные люди предаются детской вере в чудеса, якобы творимые нашими фокусниками, достигшими физического развития, равного самой первой ступени хатха-йоги, кажущегося европейцам сверхъестественным. Мнимые чудеса совершенно заслонили от них подлинные достижения человеческой мысли в индийской философии. Не сомневаюсь, что суеверия, нагромоздившиеся вокруг пресловутых индийских факиров, сказки о йогах и тот туман тайны и мнимого всемогущества, каким полны для жаждущих чуда людей сочинения теософов, антропософов и им подобных, якобы призванных открыть Западу тайны индийской науки, — не сомневаюсь, что все это помешало ученым Советской России всерьез ознакомиться с вкладом Индии в общую сокровищницу человечества. Нам странно, что, отвергая идеологию Запада, которую вы называете буржуазной, ваши ученые и деятели культуры пошли по следам известных необъективных исследователей Англии и Амери-

ки, для которых наше искусство — преимущественно порнография, мораль — примитивная, философия — наивно-религиозная и поскольку не христианская, то и вредная.

Мы удивляемся, как вы не разглядели суровой практической диалектики, пронизывающей всю нашу философию, тонко, осторожно и мудро развитых правил общественного поведения и общественной морали. Открытий в области психофизиологии, во многом опередивших европейскую научную мысль, некоторых разделов философии, как, например, вопроса перехода единства во множественность и множественности в единство, разработанных в совершенстве. — Профессор Витаркананда помолчал и закончил: — Неужели то, что большинство этих открытий облечено в религиозную форму изложения, мешает вам познать их истинную сущность? Вот почему мы хотели встретиться с вами. Ученый, изучающий психофизиологию, не может пройти мимо всех этих вопросов и не может не быть серьезно знакомым с индийской наукой, как бы он к ней ни относился. Мы хотим услышать от вас, ученого страны, строящей коммунизм, то есть борющейся за высший, наиболее мудрый, общественный строй на земле, ваш взгляд на возможность сочетания достижений исследователей Индии и Советской страны.

Витарквнанда умолк и опустился на диван, приняв позу спокойного ожидания. Никто не произнес более ни слова. Усилием воли Гирин заставил себя подавить волнение. Он медленно поднялся с мягких подушек сиденья, устойчиво стал, раздвинув ноги, и разом обрел нужное спокойствие. «Точность, помни о точности выражений, не увлекайся, говоришь не на родном языке», — мысленно сказал он себе, глубоко вздохнул и начал:

— Величайшим достижением религиозно-философской мысли Индии, почему-то не отмеченным Западом и, пожалуй, как следует не осознанным даже самими индийцами, было то, что еще в незапамятные времена вы поставили человека наравне с богом. В формуле, что бог и человек равно не властны над Кармой, над общими законами вселенной, я вижу величайшее мужество древней мысли. Человек и бог являются частями мировой души, нет божьей воли, а есть общий ход процессов мироздания, для преодоления которых необходимо познать их и считаться с ними. Насколько сильнее эта концепция, чем

рабское преклонение перед грозной силой бога, определяющего всю судьбу человека, карающего, преследующего и проклинающего, преклонение, составляющее основу древнееврейской религии и ее дериватов — христианства и ислама, охватывающих все основы религиозной философии и морали Запада, — мне нечего вам пояснять.

Гирин остановился, услышал легкое покашливание Витаркананды и повернулся к профессору.

— Не покажется ли затруднительным для уважаемого гостя делать паузы после окончания каждой формулировки? — осторожно спросил Витаркананда.

Гирин улыбнулся дружелюбно и виновато.

— Очень хорошо! Мне легче будет собираться с мыслями.

Витаркананда успокоенно поклонился и стал переводить сказанное Гириным на мелодичный, незнакомый Гирину язык. Присутствующие закивали головами, некоторые переглянулись.

— Многие положения индийской философии теперь, после того как европейская наука сделала гигантский шаг вперед, предстают в новом свете, — продолжал Гирин. — Гуны — их три — это по индийским понятиям основные качества материального мира вечно изменяющейся природы. Индуизм включает сюда и психику, следовательно, считая ее материальной и вечно изменяющейся. Это понимание развития психического мира человека давно уже принято философской мыслью Индии. Если взять учение о метампсихозе, в просторечии — переселении душ, перевоплощении из одного тела в другое, то с точки зрения наследственности мы, материалисты, можем принять, что происходит вечная передача механизмов наследственности. Эти механизмы в половых продуктах и есть настоящее бессмертие вида, передача эстафеты жизни от одного индивида к другому. В этом смысле мы все — отдаленные братья и уже много раз возрождались и умирали, как звенья великой цепи вида, неся в себе память поколений — их приспособительные инстинкты. Что же касается бесконечного повторения одного и того же, называйте вы это как хотите — душой или астральным телом, сгустком какой-то особой материи, — этого мы принять не можем. Если нет в мире двух похожих атомов, то как может быть повторим такой сложнейший организм, такая тонкая нервная организация, как человек? Каждая жизнь неповторима, как отдельность, и

в то же время вечна или, во всяком случае, долговечна, как протянутая в будущее цепь сменяющих друг друга и нарождающихся вновь и вновь индивидов, как бегущие ряды вздымающихся и падающих волн одной и той же воды.

И опять трое индийцев, сидевших группой с левого края дивана, переглянулись после перевода профессора. Мрачная, недоверчивая улыбка чуть тронула тонкие губы старика с золотой пряжкой.

— Еще одно понятие, предвосхищенное древнеиндийской философией, — понятие Кармы, то есть механизма, воздающего за проступки и заслуги, сделанные в прежних существованиях человека. Мы знаем теперь, что на механизмы наследственности, несомые в половых клетках, воздействуют, хотя и не сразу, хотя и не непосредственно (кстати, так же действует и ваша Карма, и это не совпадение, а отражение реальности), жизнь предков, их доблести и болезни. Влияя на наследственность, жизнь предков определяет не только физическую, но и психическую сущность потомков. Естественно, что правильная жизнь ведет к здоровью, духовному и телесному, следовательно, к жизни более счастливой и полной. Таким образом, и Карма и метампсихоз осуществляются как эстафета, как олимпийский факел — в накоплении инстинктивной памяти и здоровья, то есть красоты и радости или, наоборот, болезней, слабости и несчастья. В этом смысле можно принять и дальнейшее развитие учения о Карме — Карме целых народов. Но мы считаем глубоко ошибочной неизбежную неотвратимость Кармы, непосильную ни богу, ни человеку. Познание законов наследственности, создание здоровой жизни, воспитание высоких душевных и телесных качеств — все это в руках человека, правда не одиночки, а общества. И потому Карма для будущих поколений может быть сознательно исправлена и предотвращена.

— Карму сознательно исправляет сам для себя мудрец, познавший законы справедливой жизни, — заметил, окончив переводить, Витарකананда.

— Но он не может исправить накопленного в прошлом, то, что нависает над его головой грозным воздаянием, и не только его, но и целого народа, так следует из вашего учения. А мы думаем, что все передающееся из прошлого можно и нужно исправить, только стоит познать как. А что познание это возможно, то вряд ли вы

будете оспаривать! Вы учтите, что причинная вселенная подчинена единому механизму — это верно и с точки зрения материалиста. Однако если замысел божества неисповедим и цель его нам непонятна, то мы должны быть покорны неумолимому закону совершенствования. Для меня это неприемлемо...

Гирин заметил зажегшиеся осуждением и мрачным любопытством глаза собеседников, не смутился и продолжал:

— Каковы бы ни были цели развития вселенной и тяжкого пути совершенствования человека, только я как человек имею право судить, насколько правы зачинатели и направляющие развитие силы — природы или богов — все равно. Сознательная материя может оценить затраты на проведение процесса совершенствования — количество горя, крови, жертв и несчастий, которое кажется мне непомерно огромным по сравнению с достижениями!

Медленно поднялся чернобородый фанатического вида индиец с бирюзовым украшением в тюрбане. Едва дослушав перевод Витаркананды, он склонил набок голову и быстро заговорил по-английски:

— Как смеем судить высшие силы и высший разум нашим бедным, ограниченным чувствами, рассудком? Детская выходка, не более!

— Детство человечества — это склоняться перед тем, что вы зовете высшими силами! — энергично возразил Гирин. — Неужели нельзя понять, что поставивший эксперимент не участвует в процессе, ему важен только результат, по которому он судит об успехе. Тем самым он не может ни на мгновение стать наравне с теми, кто страдает и гибнет в жестоком процессе. Потому он нацело лишен права судить, стоит ли игра свеч. Только мы, дети человеческие, можем понять, оценить и решить, правильно ли происходит процесс. Мне кажется, что неправильно и мы его или исправим, или погибнем!

— Ужасное кощунство для индийца слышать такие вещи, — нахмурился даже Витаркананда.

— Разве уважаемым слушателям неизвестна древняя индийская легенда, сохранившаяся в традициях брахманизма об узурпации Брахмой творческого процесса вселенной? — спросил тихо Гирин.

Индийцы вдруг начали спорить, забыв о госте, пока Витаркананда, извинившись, не спросил, что известно гостю о легенде. Гирин пояснил, что Брахма, втайне от

верховного духа Махадевы, создал закрытый мир пространства и времени в причинной зависимости, изолированной от Великой Внепричинной Вселенной. Он даже обманом овладел Сарасвати, заставив ее оплодотворить женским принципом Шакти преступно созданный мир. По велению Вишну, Шива-разрушитель внедряется в этот мир, чтобы разомкнуть круг космической опухоли...

Индийцы, удивленные тем, что легенда из тайных писаний известна чужеземцу, мрачно переглянулись, сказав несколько непонятных слов. Гирин продолжал анализировать важнейшие положения индийской философии, вскрывая их диалектическую сущность и отбрасывая религиозную шелуху.

— Вам, индийцам, больше повезло, чем христианам-европейцам, — заключил свою речь Гирин. — Ваши мудрецы удалялись для размышления в прохладные леса и особенно в чудесный мир Гималайских гор. Там, созерцая холодное сверкание чистейших снегов, вознесенные в небо ледяные высочайшие пики, в отрешенной от земных страстей стране голого камня и глубокого ясного неба, ваши мудрецы подвергали мир бесстрастному и глубокому анализу. Вот что позволило вам вскрыть двустороннюю сущность вселенной, поставить человека на ее престоле наравне с богом, создать самую холодную и, если так можно сказать, безбожную религию, которую лишь впоследствии для народа одели в маску обрядов и образов. Ибо, конечно, Адваита и Веданта в своем чистом виде слишком далеки от сердца рядового человека, а религия без сердца возможна, пожалуй, только в отшельничестве снеговых гор.

А основатели христианской церкви и религиозной философии уходили в пустыни Аравии и Северной Африки. Здесь, палимые нещадным зноем, в жарком мареве раскаленного воздуха, в котором даже звезды вечного небосвода качаются, как в бреду, они подвергались ужасным галлюцинациям. Мозг, распаленный неистовым солнцем, усиливающим желания подавляемой плоти, породил всю безумную и человеконенавистническую концепцию злобного карающего бога, ада, дьявольского начала в женщине, потрясающих картин страшного суда и конца мира, ужасных козней сатаны. Характерно, что это начали древнееврейские пророки, также отшельничавшие в раскаленных пустынях, а христианские подвижники продолжили и развили ту же самую философскую линию.

Накопление отрицательного опыта жизни под всегдашним психическим давлением божьей кары и греха породило великое множество параноидальных психозов, принимавшихся за божественные откровения. С этим грузом мы, европейцы, пришли к средневековью, в оппозиции ко всему природному, естественному началу в человеке, к красоте и простору мира. Вы, индийцы, не потащили за собой этого груза в вашем искусстве, литературе и философии, но не избежали расплаты за другое — неумение удержаться на той тонкой границе между яростным фанатизмом и бесстрастной отрешенностью, какая нужна для правильного пути.

— И какова же эта расплата? — спросил Витарkананда, переведя очередную часть речи Гирина.

— Вы, индийцы, тысячелетия тому назад открыли правильный путь к совершенствованию человека путем тщательного развития и умножения его телесных и психических сил. Вы научились владеть теми мышцами и нервами, которые не подчиняются воле европейца, узнали многое о гипнозе и высшей физической культуре тела. Но разве вы употребили это знание для умножения счастья и красоты? Индивидуальное совершенствование без общественного назначения, во-первых, неполно, во-вторых, бесцельно. Это все равно что сделать могучую машину и запереть ее в сарай. Цель — действие в обществе людей, а не уход от них! Не поймите это как обвинение, я никого не вправе ни осуждать, ни порицать.

Я только искатель научной истины, знающий, что истина зависит от обстоятельств места и времени.

Вы скрылись от мира, вероятно, потому, что познали психофизиологические возможности человека очень давно, когда еще никто не думал о научно обоснованной возможности создания общественной формации, более совершенной, чем феодальные царства или рабовладельческие деспотии. Когда, кроме военной или жреческой касты, то есть наиболее бесполезных групп общества, все другие, подлинные создатели материальных и духовных ценностей, стали расцениваться наиболее низко.

Кастовая система, изобретенная с целью, так сказать, выведения пород людей разного общественного назначения, уже тысячи лет назад не оправдала себя, а в отношении своей прямой цели — улучшения людей полностью провалилась. Парии здесь, в Индии, родии на Цейлоне часто красивее и умнее людей высших каст.

Трудные условия их жизни сделали их такими, в то время как брахманы во многом отупели и закоснели. Здесь диалектика жизни не была учтена, и Индия понесла наказание.

Вы боялись использования полученных знаний во вред людям, как это случается сейчас с нашей могущественной европейской наукой. Вы думали, что качества, необходимые для достижения высшего познания, присущи лишь ничтожному числу избранных.

Вот и случилось, что открытия, сделанные лучшими умами Индии, оказались под спудом религиозных суеверий, никчемной обрядности, иногда служили случайным жуликам. В трудные часы вашей родины, а их было у многострадальных индийцев немало, эти знания были уделом крошечной кучки людей и не помогли Индии.

Едва профессор перевел эти слова Гирина, как с места поднялись три индийца, быстро заговорившие с Витаркanандой.

— Мои друзья говорят, что это несостоятельное заявление. Мудрецы Индии, йоги и свами боролись за свободу и гибли наравне со всеми и впереди многих.

— Я говорю не об этом. Я слишком мало знаю, чтобы бросать такое обвинение индийцам, которых я глубоко уважаю как народ. Поймите, речь идет о том, что психологические достижения йогов и свами ни прежде, ни теперь не увеличили сил вашего народа на его пути к лучшей жизни. Умение сосредоточивать все силы ума и воли на любом предмете должно было бы оставить далеко позади европейских ученых сейчас, когда и вам стало очевидным, что без науки о природе, о материальном мире народ Индии не сможет идти наравне с другими. Однако именно сейчас мы видим, что откровения йогов не дали пользы этой науке. Их силы направились не на реальное преодоление вредного и злого, а на другие, для народа мнимые, препятствия.

Теперь поднялись уже все друзья профессора, за исключением немощного старца, уставившегося удивленными глазами на ученого из Советской России. Он поднял руку, призывая к спокойствию, и слабым голосом что-то сказал Витаркананде.

— Свами Параматмананда хочет узнать причину, по которой мы, по мнению уважаемого гостя, не преуспели в открытиях материального мира, столь важного в глазах ученых Запада.

— Причина, мне кажется, в том, что вы отказались от древних традиций искания и борьбы, тех традиций, которые привели Индию к таким высоким достижениям науки и искусства в древние времена. Открытые в тысячелетних поисках силы души и тела вы направили на себя лично, на получение индивидуального блаженства и были за это наказаны самой природой, ибо дальнейшие исследования оборвались. В самом деле, если человек может достигнуть экстаза — самадхи и даже высшей его степени — нирвикальпасамадхи, которое вы называете слиянием с океаном мировой души и божеством по ту сторону жизни и смерти, зачем идти дальше? А аналогичные самадхи ощущения вызываются и у не посвященных в йогу людей понижением содержания в крови углекислого газа от усиленного дыхания в самогипнозе — так называемой гипокапнией. Это внутреннее состояние организма, а вовсе не сверхчувственная связь с внешним миром. Мы, западные ученые, можем вызвать мнимое погружение в бесконечность определенными лекарствами. Таким образом, вся великолепная и долгая подготовка мощной мыслительной машины, если конечной целью ставится мнимое слияние с божеством, получает известную аналогию с блаженством вовсе неподготовленных людей в бодлеровских «Исканиях рая». Тогда эта подготовка не ведет ни к каким откровениям и высотам познания. И не мудрено, что за последнее время йоги и свами не смогли повести за собой многих людей, как не смогли открыть ничего такого, что превосходило бы возможности просто талантливых ученых, долго занимавшихся своим предметом.

Мне кажется, что движение ваше остановилось и равнодушие сменило некогда пытливый дух великих ученых и философов Индии, еще в древности создавших материалистическую философию Чарвака, измеривших атмосферу Земли, открывших кровообращение за сотни лет до европейцев и даже предвосхитивших почти точные размеры атома водорода за две тысячи лет до нашей науки.

В раджа-йоге, королеве всех йог, одна из высших ступеней — пятая, если не ошибаюсь, называется титикша — это состояние полного равнодушия ко всему преходящему, к радости и страданию.

Вы называете это освобождением. С нашей точки зрения, это большое несчастье. В периоды больших невзгод

человечества у людей разных народов появлялось состояние ацедии — убийственного равнодушия ко всему и к себе самим в том числе. Это выключение из жизненной борьбы обязано повреждению наследственных механизмов и дефектности психики, а вы наносите это повреждение себе намеренно. Не из страха ли страдания? Не из опасения ли, что радость диалектически связана со страданием и, чтобы избежать страдания, надо отказаться от обоих?

— Так вы считаете путь йоги бесполезным? — строго спросил Витарканананда.

— Как можно так понять мои слова? — укоризненно покачал головой Гирин. — Физические силы и психические возможности человека громадны. Умение владеть ими особенно необходимо в нашу эпоху, когда столкновение старого и нового грозит миру небывалыми бедами. Сами же вы называли наше время «железным веком» — Калиюгой, а современность — эпохой Агни — космического огня, предвидите распространение неизвестных прежде болезней, призываете «подготовить врачей». Йогическая наука, хотя далеко не все мои западные коллеги отдают себе в этом отчет, полярна европейской в методе познания. Мы привлекаем информацию из внешнего мира через описание и эксперимент, нащупывая законы вселенной. Вы же стараетесь познать мир изнутри, из себя, считая, что человек, как микрокосм, вмещает в себя всю неисчерпаемость бытия и полноту познания. Самая важная часть всех наук о человеке — психология, борьба за его высокие и душевные качества, хотя и резко различны в Индии и на Западе, по существу, составляют диалектически две стороны единства. Наша психология зиждется на синтезе опытных данных. Индийский исследователь не рационализирует истину, он испытывает ее в личном, субъективном опыте. Из наших психологических школ ближе всего к индийской школа Чарльза Роджерса.

Элементарные достижения раджа-йоги — развитие бездонной фотографической памяти и интеллигентности выше среднего уровня — обычно отрицались западной психологией, хотя последние данные и начинают говорить о реальности этих достижений.

Противоположность наших путей в то же время диалектически едина в движении к раскрытию тайн природы и человека. На этой дороге мы неизбежно сойдемся

в необходимости двустороннего постижения, внутреннего и внешнего единства познания.

И в то же время весь идеал йоги зиждется на личном «спасении», уходе и предоставлении всему остальному миру идти своим путем. Разве это цель? Несколько десятков людей достигнут большого развития своих сил, обольщая себя мнимым спасением от круговорота рождений и смертей. Что же в этом толку для ваших братьев — людей? Даже если бы существовал какой-нибудь создатель всего сущего — то и для него? Мчится в будущее, вздуваясь и пенясь, поток миллиардов человеческих жизней, а вы стремитесь выпрыгнуть из него на берег? Гордо звание Тиртхакары — наводящего мост через поток существований для других людей. Но ведь в конечном итоге такая деятельность должна привести теоретически к прекращению смертей и рождений, то есть к концу человечества. И это после всех страданий жизни на пути к мысли и воле? Разве так поступали бодисатвы, отказавшиеся от нирваны? Разве не в тысячу раз более благородна другая цель, какую поставил себе целый народ — мой народ, идущий к ней через великие трудности? Цель эта — сделать всех знающими, чистыми, освобожденными от страха, равными перед законом и обществом, сделать доступным для них всю неисчерпаемую красоту человека и природы. В этой цели чем выше и совершеннее будут ее работники, тем быстрее окончится тяжелый и далекий путь. Как нужны бы были сейчас люди, вам подобные, освободившемуся народу Индии...

Гирин сдержал себя, спохватившись, что слишком увлекся, и закончил уже спокойно:

— Ваша йога, или психофизиологическое совершенствование, как скажет ученый Запада, представляется мне крепким свинчиванием сознательного с подсознательным в психике человека, железным стержнем, поддерживающим крепость души и тела, могучим зарядом энергии, делающим человека способным к высоким взлетам, тяжелой борьбе, необоримой стойкости. Но для чего это все, как не для отдачи людям, помощи им, борьбы за увеличение красоты и счастья на земле? Разве не говорил Будда как о величайшей заслуге о внесении хотя бы крупицы счастья для людей?

Человек, знающий из палеонтологии свою историю, тяжкое восхождение к мыслящему существу через миллиарды лет бессмысленного страдания живого, должен

чувствовать огромную ответственность за свою судьбу. Какое право он имеет рисковать собой, говорить о самоуничтожении или отказе от жизни и смерти, как то делают йоги? Только для индивидуального вознесения? Какая же это мудрость, где тут вторая чаша весов, на которой все страдания живой плоти в ее историческом пути от амебы до человека? Чем так уж отлична по своему результату подобная философия от безумного бреда об очистительном огне адской бомбы, которая призвана уничтожить погрязшее в злобе человечество? Как случилось, что вы до сих пор стоите в стороне от вашего подлинного назначения?

Самый великий ученый нашего века и один из величайших во все времена, мой соотечественник Вернадский ввел понятие ноосферы — суммы коллективных достижений человечества в духовной области, мысли и искусства. Она обнимает всех людей океаном, формирующим все представления о мире, и надо ли говорить, как важно, чтобы воды этого океана оставались чистыми и прозрачными. Все усилия людей творческих должны быть направлены сюда, и нужно не только создавать новое, но и не позволять пачкать прежнее, вот еще одна громадная задача на пользу всему миру.

Гирин умолк, неуклюже поклонился собравшимся и сел, вытирая потное от напряжения и волнения лицо. Молчание нарушил Витаркананда.

— Я называю брахманом того, кто говорит правдивую речь, поучительную, без резкостей и без намерения обидеть, — начал он по-тамильски, повторяя по-английски для Гирина. — Наука стала религией Запада, но есть еще многое в человеке, чего она не знает и не может ответить на все запросы его души. Но горе ей, если наука не оправдает гигантских надежд, на нее возлагаемых, тогда европейская мысль потерпит полнейший моральный крах...

Профессор Витаркананда наклонил набок голову, как присматривающаяся к чему-то птица, и продолжал:

— Пока результатом вашего устройства жизни, более обеспеченного и куда более технически могущественного, чем наше, не явилось большее счастье. Я не знаю России, но думаю, что вы, стоя между Западом и Востоком, взявшись за переустройство жизни по-новому, — другие. Но собственная статистика американцев, подтверждаемая научными исследованиями, говорит о неуклонном росте

наркомании, алкоголизма и соответственно психических заболеваний. Считается, что из ста восьмидесяти миллионов американцев двадцать восемь миллионов людей неполноценны в отношении душевного или физического здоровья, а восемь миллионов с явно поврежденной психикой. Число умственно отсталых людей в Соединенных Штатах, по подсчетам медицинских учреждений, превосходит всех больных раком, склерозом, туберкулезом, полиомиелитом и другими бичами человечества, вместе взятыми. Это в стране, наиболее сытой, далеко ушедшей вперед в области технической цивилизации. Где же здесь преимущества западной науки?

Профессор встал и подошел к балюстраде, обрамлявшей открытую часть комнаты. Гирин впервые заметил, что они расположились на плоской крыше высокой части дома, поднимавшейся, как приземистая квадратная башня. Едва различимо чернела в ночном мраке густая растительность парка, сбегавшая с холма на прибрежную равнину. Редкие желтые огоньки земли не могли соперничать со скопищем звезд, нависших над бесконечностью темного моря.

— Там и там, — Витаркананда показал на океан и на холмы, уступами громоздившиеся позади дома, — мир, в котором страны точно тигры, готовые к прыжку. Чудовищные ракеты, могущие стереть самые большие города в ядовитую пыль, нацелены друг на друга. Охваченные безумием вооружения люди, верящие только в силу, хвастаются перед всем миром смертоносностью своего оружия. Гигантские подводные лодки плавают по океанам, также вооруженные ракетами, готовыми взлететь из глубины вод. Помню рисунок в американском журнале — ровное поле, засеянное густой травой, а под его мирной поверхностью, в глубоких колодцах, укрыты акульи тела ракет, которые в нужный момент прорвут тонкую крышку и слой дерна, поднимаясь, чтобы обрушить свое отвратительное содержимое на обреченную страну.

Там высыхают реки и скудеют поля, потому что леса исчезают, превращенные в бумагу для бесчисленных газет, изливающих целый океан беззастенчивой лжи. Подобные псам из священной книги христиан, газеты все время возвращаются на извергнутое ими же, снова и снова пуская в человеческие массы ложь или чепуху, раздутую до невообразимых размеров. Теперь еще одно изо-

бретение западной науки уже не словами, а картинами, химерическими и вредными выдумками заполняет досуг людей, приковывая их к гипнотизирующим экранам внутри душных и тесных домов. Досуг, который мог бы быть отдан полезному совершенствованию и подлинно прекрасному. Даже то, что Запад берет у нас, претерпевает чудовищное опошление. Мнимые йоги сулят быстрое возвышение и могущество, за деньги, конечно, обманывая легковерных, жаждущих чуда и неспособных к громадному труду истинной йоги людей.

В Америке распространился так называемый «буддизм» японской секты Дзен, превращенный бездельниками, якобы исповедующими Дхарму, в дикое извращение даже самых недостойных обрядов низшего ламаизма. Праздные, тупые и ленивые, эти мнимые «буддисты» предаются скотским утехам.

Западные люди сами начали понимать, что отказ от природы ведет их цивилизацию к большой опасности.

Будучи сам частью природы, «человек тщательно разрушает ее вокруг себя, оголяя места своего обитания и создавая идеальные условия для заболеваний».

Другие говорят, что человек «сокрушил вокруг себя куда больше прекрасного, чем собрал в своих музеях и картинных галереях. Самое же гнусное, что он пытается подчинить основные законы биологии временным законам рынка». Красота и многообразие нашей Земли, ее людей, природы, искусства, геройских подвигов остается в подавляющем множестве случаев неизвестна среднему человеку, серому не душой, а своим поразительным невежеством, в узкой и монотонной жизни.

Еще хуже, когда в определенных целях нарочито скрывают широту огромного мира, направляют внимание на мелкие, якобы важные споры, на пустяковые вопросы, на мнимых врагов. Или восхваляют именно за невежество и узкое самоограничение в знании. Все это опустошает, озлобляет человека, делает духовно нищим, не видящим путей к чему-то большому и интересному. Большинство людей не понимает, что великое многообразие и красочность мира будут служить им крепчайшей душевной поддержкой на протяжении всей жизни. А те, кто крадет у них время и возможность познавания мира, — поистине людоеды-тигры.

Все больше становится у вас людей в темных очках, скрывающих самое прекрасное в человеке — его глаза,

боящихся правдивого взгляда, честно отражающего чувства. Вот западная цивилизация, расползающаяся по всему миру, как болезнь. Что может сделать с ней йог, вооруженный лишь силами собственной души?

Профессор умолк, поддержанный сочувственными кивками высоких тюрбанов. Гирин понял, что надо отвечать, и набрал воздуху в широкую грудь.

— Еще ни одна религия на земле не оправдала возлагавшихся на нее людьми надежд по справедливому устройству мира и жизни. Как ни грозили самыми ужасными наказаниями христианский, буддийский, мусульманский, еврейский ад или будущими перевоплощениями в гнусных существ — индуизм, переустройства жизни в согласии с религиозными принципами не получилось. Наука может достичь гораздо большего, но при условии, что она займется человеком во всей его сложности. Я признаю прямо, что этого в европейской науке, к сожалению, и в нашей советской еще нет. Но у нас есть другое — в борьбе различных идеологий все более ширится распространение коммунистических идей, и окончательная победа идеологии коммунизма неизбежна.

«Почему?» — наверное, спросите вы. Я отвечу: потому, что никакая религия или другая идеология не обещает равной жизни на земле каждому человеку — сильному и слабому, гениальному и малоспособному, красивому и некрасивому. Равной со всеми в пользовании всеми благами и красотами жизни теперь же, не в мнимых будущих существованиях, не в загробном мире. А так как человечество в общем состоит из средних людей, то коммунизм наиболее устраивает подавляющую часть человечества. Враги наши говорят, что равная жизнь у слабых получается за счет сильных, но ведь в этом суть справедливости коммунизма, так же как и вершин индуизма или философии чистого буддизма. Для этого и надо становиться сильными — чтобы помогать всем людям подниматься на высокий уровень жизни и познания. Разве вы видите здесь какое-нибудь противоречие с знаменитым принципом йоги: «Оберегай ближнего и дальнего и помогай ему возвыситься»?

Для меня не секрет, что на Западе, да, наверное, и здесь, на Востоке, многие люди, даже широко образованные и сами по себе не религиозные, считают открытого атеиста человеком аморальным. Дело простое — моральные принципы этого мира сформулированы религией и

внедряются через нее. Следовательно, считают эти люди, что атеист должен вместе с религией отвергать и все устои морали и этики. Я был бы рад, если бы вы увидели за моими несовершенными формулировками, что из материализма вместе с глубоким познанием природы вырастает и новая мораль, новая этика и эстетика, более совершенная потому, что ее принципы покоятся на научном изучении законов развития человека и общества, на исследовании неизбежных исторических изменений жизни и психик, на познании необходимости общественного долга. Что у материалиста тоже вещая душа и сердце, полное тревоги, по выражению нашего великого поэта. Тревоги не только за себя, но и за весь окружающий мир, с которым неразделен каждый человек, и судьба мира — его судьба.

Но если вещая душа и жесткая дисциплина поведения также составляют необходимые качества йога, то полное тревоги за судьбы людей и мира сердце вы одели в броню безразличия и не сочувствия.

Но есть еще одно в идеологии коммунизма, обусловливающее неотвратимость ее распространения во всем мире. Никакая другая общественная система не наполняет большим и высоким смыслом жизнь каждого среднего человека, ибо жизнь для других, для большой цели светла и интересна, а жизнь для себя убога!

Гирин также подошел к балюстраде и стал спиной к ней, лицом к индийцам.

— На этой земле, — воскликнул он, протянув руку в открывавшееся с балкона пространство, — другой земли человеку не дано. Он еще недорос, чтобы пробиться к другим планетам, через хаос неорганизованной материи космоса. И пока мы достоверно знаем, что в нашем участке Галактики только здесь, на Земле, материя поднялась до мысли и возможности переустройства мира по законам красоты и добра. Совершенство нашего организма, понятое в Индии издревле, не явилось даром богов. Оно завоевано, заработано страданиями, кровью, миллиардами миллиардов жертв на пути исторического развития животного мира планеты. Как же мы можем отречься от земной жизни, предоставить невеждам и негодяям разрушить и разграбить прекрасную природу и сделать всесторонне нищими грядущие поколения?

Гирин умолк и стал рассматривать хитросплетения резьбы на мраморных брусьях. Прислушиваться к раз-

говору было бесполезно, так как он ни слова не понимал.

Индийцы говорили негромко, по очереди, не перебивая и не возвышая голоса. Слуги внесли подносы, уставленные высокими бокалами с кисловатым холодным напитком вроде лимонада. Гирин с удовольствием осушил свой бокал. То один, то другой из присутствующих внимательно взглядывал на русского врача. Гирин соображал, удалось ли ему объяснить назревшую необходимость взаимопонимания между наследниками могучей мысли Индии и современной материалистической наукой. Пожалуй, его выступление не получилось, каким оно должно было бы быть. Отсутствие подготовки... главные мысли следовало бы написать заранее по-английски, да кто ж его знал!

Размышления его были прерваны старцем Параматманандой. С помощью двух своих соседей он встал с сиденья и поклонился Гирину, сказав несколько фраз.

— Мои друзья благодарят русского ученого за умную речь, — перевел профессор, — они услышали четкое изложение позиций материалиста в отношении философской мысли и некоторых особенностей индийской умозрительной науки. Диаметральная противоположность взглядов не испугала их — мы давно познали диалектику жизни. Более того, эта противоположность дает надежду на глубокое понимание и совместное исследование некоторых вопросов — вам со своей стороны, нам — со своей.

— Мои друзья, — продолжал Витаркананда после паузы, — надеются, что вы приедете снова, и предлагают вам содействие во всем, что вы захотите узнать во время пребывания здесь или в других городах Индии. Мы с удовольствием соберемся на новую встречу с вами. А сейчас мои друзья вынуждены нас покинуть.

Гирин попрощался с каждым в отдельности по-индийски, делая намасте, то есть склоняя голову над сложенными перед собой ладонями. Хозяин пошел провожать гостей, попросив Гирина остаться еще на несколько минут. Тот принялся ходить под легким вечерним ветерком, давая разрядку нервному напряжению.

Витаркананда, вернувшись с небольшим свертком в руках, присоединился к нему.

— Должен сказать, — заговорил Витаркананда, — что ни один из моих европейских друзей еще не удостаивался такого внимания. Мои друзья изведали многое на

пути, и поиски ваши вызвали у них уважение и дружеское участие.

Вы правы, что аналитическое исследование внешнего мира западной наукой можно сочетать с интравертированным синтезом йоги лишь диалектически. Вы знаете, что отдельные люди в прошлом и настоящем обладали подобным умением, но еще нет даже признаков распространения синтеза мудрости Запада и Востока. Мне известны предсказания, что Россия первой ступит па этот путь, неизбежный для высшего будущего познания, но пока еще не ступила. Это удивляет нас, потому что психологические методы йоги особенно важны для выработки социального поведения индивида.

«Йога есть искушенность в действиях», — сказал Шри Рамакришна, указывая, что человек вживается в йогу и лепит себя по созданному им идеалу. Но кому, как не вам, знать, что человек вне народа, вне общества — пустая абстракция. Народ вне человечества тоже абстракция. Поэтому успех в практике той или другой йоги зависит от состояния общества и человечества. Только что окончилась железная эпоха Кали-Юга, в которую можно было практиковать лишь карму-йогу и бхакти-йогу, теперь подошло время и для других йог.

Бхагавад-Гита говорит, что критерий Правды — Благо, и это определение полярно западному прагматизму Джемса с его пользой, как критерием действительности.

Мы знаем несколько дорог. Хатха-йога — человек, овладевший ею, — является владыкой дыхания — это лишь низшая ступень, наполняющая тело жизненной мощью. Но есть еще лайя-йога, или путь воли с ее подразделениями, включающими шакти-йогу, или владычество над энергией, возбуждающее силы природы, янтру-йогу, или путь владычества над формой, мантру-йогу — владычество над звуком, силами звуковых вибраций. Дхьяна-йога, или путь размышления, дает власть над силами мыслительного процесса.

Мне кажется, что ближе всех вам раджа-йога, или йога метода и анализа, особенно тот ее раздел, который назван джнани-йогой, или путем знания, владычества над силами интеллекта. Также не чужд вам путь карма-йоги, или йоги действия, общественной дисциплины и понимания взаимосвязи явлений в жизни. Ошибусь ли я, если скажу, что требования, которые ставит человеку тот общественный строй, к которому вы стремитесь в России,

во многом похожи на карма-йогу? Но вы совсем далеки от таких разделов раджа-йоги, как кундалини-йога и самадхи-йога, — путей владычества над нервно-психическими силами и силами экстаза, прозрения и соединения с океаном мировой души.

Как бы ни были различны наши методы, та великая цель, какую себе ставит человек, — познание природы и самого себя — так же вдохновляет нас, как и вас.

Нельзя не склонить с уважением головы перед титаническими усилиями материалистов и громаднымп успехами материальной науки. Поэтому так интересны нам мысли о духовной деятельности человека, какие высказаны вами, материалистом из Советской России, а также точки соприкосновения познаний, намеченные вашей речью.

Лишенные ложной гордости, мои друзья не восприняли как упрек суровые слова об отступлении философов Индии от своего долга перед страной и людьми. Надо обдумать сказанное и в следующую встречу показать вам обстоятельства и внутренние силы, создавшие современное положение. И на прощание я должен рассказать вам маленькую историю.

Один из наших художников тридцать лет назад написал картину, по понятным причинам не получившую тогда признания. Он назвал ее «Мост Ашвинов», то есть в прямом переводе с санскрита — всадников. Но под этим именем традиция Махабхараты понимает близнецов — богов и врачевателей, то есть утреннюю и вечернюю зори.

— Вот как, — заинтересованно воскликнул Гирин, — наша древнерусская сказочная традиция точно так же представляет себе зори, только добавляя к ним еще двух всадников — ночи и дня.

— Я позволю себе подарить вам картину «Мост Ашвинов», — продолжал Витаркананда, разворачивая принесенный им сверток накрахмаленной ткани.

В однообразной сумеречной серо-фиолетовой гамме красок простерся бушующий океан, бьющийся в иззубренные скалистые берега, затянутые глухой пеленой тумана. На левом берегу, на ступенчато поднимавшихся в глубь страны холмах виднелись могучие здания и дымящие трубы, на правом — снеговые горы. У их подножия — тесные восточные жилища и храмы индийской, тибетской и китайской архитектур.

Пологой дугой взмывал над океаном, соединяя оба бе-

рега, мост, как бы сплетенный из светящихся стрел. На него въезжали на черных конях два всадника, безоружные, но в броне. Левый — голубовато-серый, правый — оранжево-коричневый. Оба протягивали друг другу правые руки широким, свободным жестом призыва и дружбы.

Гирин благодарно посмотрел на старого индийца.

— Я понимаю без объяснений, — сказал он, — все, за исключением стрел.

— Символика проста, — улыбнулся Витаркананда, — стрелы — это мысли в познании, сплетающие мост между несоединимым. Потому что тут есть более глубокий смысл, легко ускользающий от северного человека, могущего видеть, как сходятся летом вечерняя и утренняя зори. Для жителя тропиков это невозможно, ибо равенство дня и ночи далеко раздвигает во времени обе зари.

В ответ на глубокий, испытующий взгляд Витаркананды Гирин протянул старому ученому руку жестом, почти сходным с движением всадника на мосту.

Конец четвертой части

ЭПИЛОГ

Холодный ветер подымал мелкие волны, с дробным плеском набегавшие на песок. Сосны шумели в унисон с морем, и этот монотонный ритмический шум одновременно усыплял и освобождал сознание, унося мысли куда-то в беспредельную даль времени, будя мимолетные отзвуки в памяти четырех чувств.

Гирин заметил, что Сима стала зябнуть, и поднялся, чтобы увести ее с безлюдной Стрелки.

— Пойдем через Острова, — предложил он.

Крепкие невысокие сосны упруго стояли на ветру, сыпавшему каскады листьев с гибких золотых берез. Могучие ели воротами чернели впереди. На поляне за ними горело холодным огнем море золота и пурпура. Зеленовато-серебряная листва ив и темные их стволы склонялись над коричневатой чистой водой, а опадавшие клены и ясени усыпали густую хвою голубых елей россыпью апельсинных листьев.

Особенная хмурая радость наполняла людей — от осенней красоты и суровости неба, ветра и низких облаков.

Гирин и Сима перешли Третий Елагин мост и оказались на приморском проспекте, напротив бывшего буддийского храма.

Сима остановилась в восхищении. Массивный забор дикого камня ограждал небольшой сад с желтыми лиственницами и оголенными дубами. Массивное здание тибетской архитектуры из негладкого серого гранита с обрамленными черным лабрадоритом проемами окон и дверей. Красные, белые, зеленые и синие кафельные полосы чередовались на карнизе фронтона с рядами фарфоровых кружков. Позолоченные колокола, колесо и две антилопы

на крыше казались странным диссонансом в этом строгом изяществе формы и цвета.

— Здание пустое, смотри, Иван, — сказала Сима. — Вот и надо, чтобы его отдали под твою лабораторию!

— Нельзя. Слишком роскошное начало. Такие замахи убивают даже хорошие намерения. Если бы организовался целый институт, большой коллектив. Но и тогда понадобится немалый срок. Иные ученые деятели думают, что дай здание и побольше вакансий — это называется штатные единицы, и разработка той или другой задачи пойдет быстро. А на деле нужны люди, много лет подготовлявшиеся к этому направлению! Но у меня есть идея, с которой я скоро выступлю в печати.

— Какая идея?

— Совсем новая! Создать институт обмена безумными, как выражаются физики, идеями. Новыми предвидениями на грани вероятного, научными фантазиями и недоказанными гипотезами. Так, чтобы здесь встречались, черпая друг у друга вдохновение, самые различные отрасли науки, писатели — популяризаторы и фантасты. И, уж конечно, молодежь! Только отнюдь не любители сенсационных столкновений и пустопорожних дискуссий, отдающие дань модному увлечению. Чтоб не было никаких научных ристалищ и боя быков! Товарищеская поддержка или умная критика... словом, не изничтожение научных врагов, а вдохновенное совместное искание. Вот для такого института, клуба, центра — называй его как хочешь! — цель ясна, и только не надо ее путать ни с чем другим, и годится это прекрасное здание. И я буду биться за создание такого института наравне с боями за психофизиологию.

— Что ж, ты уже одолел многие трудности, даже победил индийских идеалистов. А от меня держишь в секрете? Нечестно!

— Что такое, кто тебе это сказал?

— Мстислав, когда мы вчера были у них.

— Он оказывает мне очень плохую услугу. Кричать о победе, которой не было, значит проиграть будущее сражение, недооценив силы противника. Я считаю удачей, если мне удалось объяснить, что современный материалист — это не вульгарный поклонник косной материи, какими изображали нас еще в начале века, а человек, пытающийся познать, не упрощая, величайшую сложность мира. Превращения материи оказались так многообраз-

ны, что отсталыми упрощенцами стали наши западные идеалисты, уже не привлекающие действительно жаждущих знания людей. Индийские диалектики поняли меня, а понимание — самое главное в человеческих отношениях. Особенно теперь, когда назрела неотложная необходимость объединения народов всей планеты, утопив в океанских пучинах дремучие пережитки старых идеологий, фанатический догматизм и националистическую спесь — все это вместе с ядовитыми запасами ядерного оружия.

Сима подняла к нему повеселевшие глаза.

— Когда я с тобой, я верю, что теперь не случится плохого. И иногда вспомнишь фашизм, прочтешь об упорстве и злобе реакционеров всего мира, и сделается страшно.

— Не надо бояться, родная. Я верю в здравый смысл и разум потому, что знаю историю и учусь понимать психологию людей. Конечно, узка и трудна та единственно верная дорога к коммунистическому обществу, которую можно уподобить лезвию бритвы. От всех людей на этом пути требуется глубокое духовное самовоспитание, но совсем скоро они поймут, что их на планете теперь много. Простое пробуждение могучих социальных устоев человеческой психики, пробуждение чувств братства и помощи, которые уже были в прошлом, но были подавлены веками угнетения, зависти, религиозной и национальной розни рабовладельческих, феодальных и капиталистических обществ, даст людям такую силу, что самые свирепые угнетения, самые железные режимы рухнут карточными домиками, так что человечество застынет в удивлении. Так рухнуло у нас самодержавие, так развалились колониальные империи и разные диктатуры Центральной Америки.

— Мне становится хорошо, когда я посмотрю на мир через тебя. Я тревожусь будущего, как почти всякая женщина. Нам нужна ясность предстоящей жизни, и если ее нет, то приходит тревога. А за ней печаль. И у меня случаются приступы печали, говоря твоим языком врача. Помню один год после смерти мамы Лизы и других еще бед, когда я поддалась меланхолии и уехала летом в подмосковную деревню. Особенная печаль одолевала меня к ночи. Я уходила в поля за деревню. Шла навстречу звездам, мерцавшим над черной стеной елового леса, напевая какую-нибудь старинную песню. Из-за леса подни-

мался серп месяца, и каменные валуны на росистых лугах белели, как кости. Низко и бесшумно пролетали птицы, резко вскрикивая, слева от меня медленно угасала бледная поздняя заря. Хотелось поплакать о своих надеждах, больших и ярких, сбывшихся так мало, так скупо. Я говорю о чувствах, о встречах с красотой жизни. Все тревожней становилось на душе за будущее.

Я садилась на камень, еще теплый после дня, вдыхала запах увлажненной росой травы и дорожной пыли.

И вдруг приходило сознание, что все это мое, русское. Что так же сидели, заглядывая в будущее и тоскуя о прошедшем, другие наши девушки, может быть, вчера, может быть, пятьсот лет назад.

Не могу объяснить как, но настроение менялось, я предчувствовала утешение. Убегающая в темную даль дорога и непроглядный лес становились преддверием ожидающей меня тайны. Только уйти туда, и идти долго, правее зари и левее луны...

Многое изменилось с тех пор, утратилось прежнее чувство сказки, но осталось ожидание открывающейся тайны, расходящихся стен обыденной жизни. Хоть и не знаю, что откроется, к чему приведет.

А с тех пор как явился ты, ожидание стало уверенностью. Стены действительно раздвигаются, и я вижу, что за ними мир, многообразный, широкий, прекрасный. Дойду ли я, дойдем ли мы вместе — не знаю, но мы идем. И я так люблю тебя, Иван!

Гирин сжал руку Симы. Увлеченные разговором, они вышли за поворот шоссе и остановились перед внезапно открывшимся простором Лахты. Синеватая вечерняя мгла стелилась над болотистой равниной, розовыми зеркалами блестели озерки, и над верхушками маленьких сосен в просвете туч загорелось несколько звезд. Порыв ветра зашумел на просторе и вольным своим крылом склонил потемневшую траву, взметнул волосы Симы, легкой лаской коснувшиеся щеки Гирина. Они быстро пошли к городу, сливая свои шаги в одинаковом ритме.

Конец

БИБЛИОГРАФИЯ

«ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ». Роман приключений.

1. Журнал «Нева», 1963, № 6, 7, 8, 9.
2. «Лезвие бритвы». Роман приключений. М., «Молодая гвардия», 1964, 1965.

На языках союзных республик

1. Литовское издательство «Вага». Вильнюс, 1966 (литовский).

Переводы на иностранные языки

1. Издательство «Пентру литература универсала», Бухарест, 1966 (румынский).
2. Издательство «Свет Совету», Прага, 1967 (чешский).
3. Издательство «Кавадэ сиобо синся», 1965 (японский).

СОДЕРЖАНИЕ

Ефремов И. А.

Е92 Сочинения в 3-х тт. Т. 3. (Книга первая). Лезвие бритвы. Роман приключений. Оформление художника В. Максина. М., «Молодая гвардия», 1975.

672 с.

В третий том сочинений И. А. Ефремова вошел роман «Лезвие бритвы». Динамичный, приключенческий сюжет, а главное — невероятная насыщенность научным материалом, фактами и теоретическими положениями, гипотезами и точными данными характерны для этого романа И. А. Ефремова, ученого и писателя-фантаста.

Е $\frac{70302-299}{078(02)-75}$ подписное Р2

Иван Антонович Ефремов

СОЧИНЕНИЯ в 3-х тт. Т. 3. Кн. 1.

Редактор С. Жемайтис

Художник В. Максин

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор Н. Михайловская

Сдано в набор 25/IV 1975 г. Подписано к печати 4/XI 1975 г. А08254. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 1. Печ. л. 21 (усл. 35,28). Уч.-изд. л. 37,2. Тираж 200 000 экз. (100 001 — 200 000 экз.). Цена 1 р. 43 к. Т. П. 1975 г. Подписное. Заказ 571.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.